

Н. В. ГОГОЛЬ

Н. В. ГОГОЛЬ

Миргород



Н. В. ГОГОЛЬ

МИРГОРОД

Н. В. ГОГОЛЬ МИРГОРОД



Н. В. ГОГОЛЬ

Портрет работы К. Горюнова. 1835

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК

ЛИТЕРАТУРНЫЕ ПАМЯТНИКИ



Н. В. ГОГОЛЬ

Миргород



Издание подготовил
В. Д. Денисов



САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
«НАУКА»
2013

УДК 821.161.1
ББК 84(2Рос=Рус)1
Г58

Серия основана академиком С. И. Вавиловым

Ответственный редактор
В. М. МАРКОВИЧ

ISBN 978-5-02-038285-5

МИРГОРОД

ПОВЕСТИ,

служащие продолжением *Вечеров на хуторе близ Диканьки*

Н. ГОГОЛЯ

Миргород нарочито невеликий при реке Хороле город. Имеет 1 канатную фабрику, 1 кирпичный завод, 4 водяных и 45 ветряных мельниц.

География Зябловского

Хотя в Миргороде пекутся бублики из черного теста, но довольно вкусны.

Из записок одного путешественника



Часть первая

СТАРОСВЕТСКИЕ ПОМЕЩИКИ

Я очень люблю скромную жизнь тех уединенных владетелей отдаленных деревень, которых в Малороссии обыкновенно называют старосветскими, которые, как дряхлые живописные домики, хороши своею пестротою и совершенною противоположностью с новым гладеньким строением, которого стен не промыл еще дождь, крыши не покрыла зеленая плесень и лишенное щекатурки крыльцо не показывает своих красных кирпичей[В]. Я иногда люблю сойти на минуту в сферу этой необыкновенно уединенной жизни, где ни одно желание не перелетает за частокол, окружающий небольшой дворик, за плетень сада, наполненного яблонями и сливами, за деревенские избы, его окружающие, пошатнувшиеся на сторону, осененные вербами, бузиною и грушами. Жизнь их скромных владетелей так тиха, так тиха, что на минуту забываешься и думаешь, что страсти, желания и те неспокойные порождения злого духа, возмущающие мир, вовсе не существуют, и ты их видел только в блестящем, сверкающем сновидении. Я отсюда вижу низенький домик с галереею из маленьких почернелых деревянных столбиков, идущею вокруг всего дома, чтобы можно было во время грома и града затворить ставни окон, не замочась дождем. За ним душистая черемуха, целые ряды низеньких фруктовых дерев, потопленных багрянцем вишен и яхонтовым морем слив, покрытых свинцовым матом[1]; развесистый клен, в тени которого разостлан для отдыха ковер; перед домом просторный двор с низенькою свежею травкою, с протоптанною дорожкою от анбара до кухни и от кухни до барских покоев; длинношейный гусь, пьющий воду с молодыми и нежными, как пух, гусятами; частокол, обвешанный связками сушеных груш и яблок и проветривающимися коврами; воз с дынями, стоящий возле анбара, отпряженный вол, лениво лежащий возле него[В], — всё

это для меня имеет неизъяснимую прелесть, может быть, оттого, что я уже не вижу их и что нам мило всё то, с чем мы в разлуке. Как бы то ни было, но даже тогда, когда бричка моя подъезжала к крыльцу этого домика, душа принимала удивительно приятное и спокойное состояние; лошади весело подкачивали под крыльцо, кучер преспокойно слезал с козел и набивал трубку, как будто бы он приезжал в собственный дом свой; самый лай, который поднимали флегматические барбосы, бровки и жучки, был приятен моим ушам. Но более всего мне нравились самые владетели этих скромных уголков, старички, старушки, заботливо выходившие навстречу. Их лица мне представляются и теперь, иногда в шуме и толпе[в] среди модных фраков, и тогда вдруг на меня находит полусон и мерещится былое[в]. На лицах у них всегда написана такая доброта, такое радушие и чистосердечие[в], что невольно отказываешься, хотя по крайней мере на короткое время, от всех дерзких мечтаний и незаметно переходишь всеми чувствами в низменную буколическую жизнь[2].

Я до сих пор не могу позабыть двух старичков прошедшего века, которых, увы! теперь уже нет, но душа моя полна еще до сих пор жалости, и чувства мои странно сжимаются, когда воображу себе, что приеду со временем опять на их прежнее, ныне[в] опустелое жилище и увижу кучу развалившихся хат, заглохший пруд, заросший ров на том месте, где стоял низенький домик, — и ничего более. Грустно! мне заранее грустно! Но обратимся к рассказу.

Афанасий Иванович Товстогуб[в] и жена его Пульхерия[в] Иванова Товстогубиха, по выражению окружных мужиков, были те старики, о которых я начал рассказывать. Если бы я был живописец и хотел изобразить на полотне Филемона и Бавкиду, я бы никогда не избрал другого оригинала, кроме их. Афанасию Ивановичу было шестьдесят лет, Пульхерии Ивановне пятьдесят пять. Афанасий Иванович был высокого роста, ходил всегда в бараньем тулупчике, покрытом камлотом[3], сидел согнувшись и всегда почти улыбался, хотя бы рассказывал или просто слушал. Пульхерия Ивановна была несколько сурьезна, почти никогда не смеялась; но на лице и в глазах ее было написано столько доброты, столько готовности угостить вас всем, что было у них лучшего, что вы, верно, нашли бы улыбку уже чересчур приторною для ее доброго лица. Легкие морщины на их лицах были расположены с такою приятностию, что художник верно бы украл их[в]. По ним можно было, казалось, читать всю жизнь их, ясную, спокойную жизнь, которую вели старые национальные, простосердечные и вместе богатые фамилии, всегда составляющие противоположность тем низким малороссиянам, которые выдираются из дегтярей[4], торгашей, наполняют, как саранча, палаты[5] и присутственные места, дерут последнюю копейку с своих же

земляков, наводняют Петербург ябедниками[6], наживают наконец капитал и торжественно прибавляют к фамилии своей, оканчивающейся на *о*[в], слог *въ*. Нет, они не были похожи на этих презренных и жалких творений, так же как и все малороссийские старинные и коренные фамилии. Нельзя было глядеть без участия на их взаимную любовь. Они никогда не говорили друг другу *ты*, но всегда *вы*: вы, Афанасий Иванович; вы, Пульхерия Ивановна. «Это вы продавили стул, Афанасий Иванович?» — «Ничего, не сердитесь, Пульхерия Ивановна: это я». Они никогда не имели детей, и оттого вся привязанность их сосредоточилась в них самих. Когда-то в молодости Афанасий Иванович служил в компанейцах, был после секунд-майором[7], но это уже было очень давно, уже прошло, уже сам Афанасий Иванович почти никогда не вспоминал об этом. Афанасий Иванович женился тридцати лет, когда был молодцом и носил шитый камзол[8]; он даже увез довольно ловко Пульхерию Ивановну, которую родственники не хотели отдать за него; но и об этом уже он очень мало помнил, по крайней мере никогда не говорил о нем. Все эти давние, необыкновенные происшествия давно превратились или заменились спокойною и уединенною жизнию, теми дремлющими и вместе какими-то гармоническими грезами, которые ощущаете вы, сидя на деревенском балконе, обращенном в сад, когда прекрасный[в] дождь роскошно шумит, хлопая по древесным листьям, стекая журчащими ручьями и наговаривая дрему на ваши члены[в], а между тем радуга крадется из-за деревьев и в виде полуразрушенного свода светит матовыми семью цветами на небе[в]. Или когда укачивает вас коляска, ныряющая между зелеными кустарниками, а степной перепел гремит и душистая трава вместе с хлебными колосьями и полевыми цветами лезет в дверцы коляски, приятно ударяя вас по рукам и лицу. Он всегда слушал с приятною улыбкою гостей, приезжавших к нему, иногда и сам говорил, но более расспрашивал. Он не принадлежал к числу тех стариков, которые надоедают вечными похвалами старому времени или порицаниями нового[в]. Он, напротив, расспрашивая вас, показывал большое любопытство и участие в обстоятельствах вашей собственной жизни, удачах и неудачах[в], которыми обыкновенно интересуются все добрые старики, хотя оно несколько похоже на любопытство ребенка, который в то время, когда говорит с вами, рассматривает печатку[9] ваших часов. Тогда лицо его, можно сказать, дышало добротою.

Комнаты домика, в котором жили наши старички, были маленьки, низеньки, какие обыкновенно встречаются у старосветских людей[в]. В каждой комнате была огромная печь, занимавшая почти третью часть ее. Комнатки эти были ужасно теплы, потому что и Афанасий Иванович и Пульхерия Ивановна очень любили теплоту. Топки их были все проведены в сени, всегда почти до самого потолка наполненные соломою, которую обыкно-

венно употребляют в Малороссии вместо дров. Треск этой горящей соломы и освещение делают сени чрезвычайно приятными в зимний вечер, когда, прозябнувши от преследования за какой-нибудь брюнеткой, вбегаешь в них, похлопывая ладонями. Стены комнат убраны были несколькими картинами и картинками в старинных узеньких рамах. Я уверен, что сами хозяева давно позабыли их содержание и, если бы некоторые из них были унесены, то они бы, верно, этого не заметили. Два портрета было больших, писанных масляными красками. Один представлял какого-то архиерея[10], другой Петра III[11]. Из узеньких рам глядела герцогиня Ла Вальер[12], обпачканная мухами. Вокруг окон и над дверями находилось множество небольших картинок, которых как-то привыкаешь почитать за пятна на стене и потому их вовсе не рассматриваешь. Пол почти во всех комнатах был глиняный, но так чисто вымазанный и содержался с такою опрятностию, с какою, верно, не содержался ни один паркет в богатом доме, лениво подметаемый невыспавшимся господином в ливрее. Комната Пульхерии Ивановны была вся уставлена сундуками, ящиками, ящичками и сундучочками. Множество узелков и мешков с семенами, цветочными, огородными, арбузными, висели по стенам. Множество клубков с разноцветной шерстью, лоскутков старинных платьев, шитых за полстолетия прежде, были укладены по углам в сундучках и между сундучками. Пульхерия Ивановна была большая хозяйка и собирала всё, хотя иногда сама не знала, на что оно потом употребится. Но самое замечательное в доме — были поющие двери. Как только наставало утро, пение дверей раздавалось по всему дому. Я не могу сказать, отчего они пели: перержавевшие ли петли были тому виною, или сам механик, делавший их, скрыл в них какой-нибудь секрет; но замечательно то, что каждая дверь имела свой особенный голос: дверь, ведущая в спальню, пела самым тоненьким дискантом; дверь, ведшая в столовую, хрипела басом; но та, которая была в сенях, издавала какой-то странный дребезжащий и вместе стонущий звук, так что, вслушиваясь в него, очень ясно, наконец, слышалось: батюшки, я зябну! Я знаю, что многим очень не нравится сей звук; но я его очень люблю, и если мне случится иногда здесь услышать скрып дверей, тогда мне вдруг так и запахнет деревнею, низенькой комнаткой, озаренной свечкой в старинном подсвечнике, ужином, уже стоящим на столе, майскою темною ночью, глядящею из сада сквозь растворенное окно на стол, уставленный приборами, соловьем, обдающим сад, дом и дальнюю реку своими раскатами, страхом и шорохом ветвей... и, Боже, какая длинная навевается мне тогда вереница воспоминаний! Стулья в комнате были деревянные, массивные, какими обыкновенно отличается старина; они были все с высокими выточенными спинками в натуральном виде, без всякого лака и краски; они не были даже обиты материею и были несколько похожи на

те стулья, на которые и доныне садятся архиереи. Трехугольные[В] столики по углам, четырехугольные перед диваном и зеркалом в тоненьких золотых рамах, выточенных листьями[В], которых мухи усеяли черными точками, ковер перед диваном с птицами, похожими на цветы, и цветами, похожими на птиц, — вот всё почти убранство невзыскательного домика, где жили мои старики. Девичья была набита молодыми и немолодыми девушками в полосатых исподницах[13], которым иногда Пульхерия Ивановна давала шить какие-нибудь безделушки и заставляла чистить ягоды, но которые большею частию бегали на кухню и спали. Пульхерия Ивановна почитала необходимостию держать их в доме и строго смотрела за их нравственностью. Но, к чрезвычайному ее удивлению, не проходило нескольких месяцев, чтобы у которой-нибудь из ее девушек стан не делался гораздо полнее обыкновенного; тем более это казалось удивительно, что в доме почти никого не было из холостых людей, выключая разве только комнатного мальчика, который ходил в сером полуфраке, с босыми ногами и если не ел, то уж верно спал. Пульхерия Ивановна обыкновенно бранила виновную и наказывала строго, чтобы вперед этого не было. На стеклах окон звенело страшное множество мух, которых всех покрывал толстый бас шмеля, иногда сопровождаемый пронзительными визжаниями ос; но как только подавали свечи, вся эта ватага отправлялась на ночлег и покрывала черною тучею весь потолок.

Афанасий Иванович очень мало занимался хозяйством, хотя, впрочем, ездил иногда к косарям и жнецам и смотрел довольно пристально на их работу; всё бремя правления лежало на Пульхерии Ивановне. Хозяйство Пульхерии Ивановны состояло в беспрестанном отпирании и запирании кладовой, в солении, сушении[В], варении бесчисленного множества[В] фруктов и растений. Ее дом был совершенно похож на химическую лабораторию. Под яблонею вечно был разложен огонь; и никогда почти не снимался с железного треножника котел или медный таз с вареньем, желе, пастилою, деланными на меду, на сахаре и не помню еще на чем. Под другим деревом кучер вечно перегонял в медном лембике водку на персиковые листья, на черемуховый цвет, на золототысячник[14], на вишневые косточки и к концу этого процесса совершенно не был в состоянии поворотить языком, болтал такой вздор, что Пульхерия Ивановна ничего не могла понять, и отправлялся на кухню спать. Всей этой дряни наваривалось, насоливалось, насушивалось такое множество, что, вероятно, они потопили бы наконец весь двор, потому что Пульхерия Ивановна всегда сверх расчисленного на потребление любила приготовлять еще на запас, если бы большая половина этого не съедалась дворовыми девками, которые, забираясь в кладовую, так ужасно там объедались, что целый день стонали и жаловались на животы свои. В хлебопашество и прочие хозяйственные статьи вне двора Пульхерия Ивановна

мало имела возможности входить. Приказчик, соединившись с войтом[15], обкрадывали немилосердным образом. Они завели обыкновение входить в господские леса, как в свои собственные, наделывали из них множество саней и продавали их на ближней ярмарке; кроме того, все толстые дубы они продавали на сруб для мельниц соседним козакам. Один только раз Пульхерия Ивановна пожелала обревизировать свои леса. Для этого были запряжены дрожки[16], с огромными кожаными фартухами, от которых, как только кучер встряхивал вожжами и лошади, служившие еще в милиции[17], трогались с своего места, воздух наполнялся странными звуками, так что вдруг были слышны и флейта, и бубны, и барабан; каждый гвоздик и железная скобка звенели так, что возле самых мельниц было слышно, как пани выезжала со двора, хотя это расстояние было не менее двух верст. Пульхерия Ивановна не могла не заметить страшного опустошения в лесу и потери тех дубов, которых она еще в детстве знавала столетними.

— Отчего это у тебя, Ничипор[18], — сказала она, обратясь к своему приказчику, тут же находившемуся, — дубки сделались так редкими? Гляди, чтобы у тебя волосы не были редки.

— Отчего редки? — говаривал обыкновенно приказчик. — Пропали! Так-таки совсем пропали: и громом побило, и черви проточили — пропали, пани, пропали.

Пульхерия Ивановна совершенно удовлетворялась этим ответом и, приехавши домой, давала повеление удвоить только стражу в саду около шпанских вишен и больших зимних дуль[19]. Эти достойные правители, приказчик и войт, нашли вовсе излишним привозить всю муку в барские анбары, а что с бар будет довольно и половины; наконец и эту половину привозили они заплесневшую или подмоченную, которую обраковали на ярмарке. Но сколько ни обкрадывали приказчик и войт, как ни ужасно жрали[в] все в дворе, начиная от ключницы до свиней[в], которые истребляли страшное множество слив и яблок и часто собственною мордою толкали дерево, чтобы стряхнуть с него целый дождь фруктов, сколько ни клевали их воробьи и вороны, сколько вся дворня ни носила гостинцев своим кумовьям в другие деревни и даже таскала из анбаров старые полотна и пряжу, что всё обращалось к всемирному источнику, т. е. к шинку[20], сколько ни крали гости, флегматические кучера и лакеи, — но благословенная земля производила всего в таком множестве, Афанасию Ивановичу и Пульхерии Ивановне так мало было нужно, что все эти страшные хищения казались вовсе незаметными в их хозяйстве.

Оба старичка, по старинному обычаю старосветских помещиков, очень любили покушать. Как только занималась заря (они всегда вставали рано) и двери заводили свой разногласный концерт, они уже сидели за столиком

и пили кофий. Напившись кофию, Афанасий Иванович выходил в сени и, стряхнувши платком, говорил: «Киш, киш! пошли, гуси, с крыльца!» На дворе ему обыкновенно попадался приказчик. Он, по обыкновению, вступал с ним в разговор, расспрашивал о работах, с величайшею подробностью, и такие сообщал ему замечания и приказания, которые удивили бы всякого необыкновенным познанием хозяйства, и какой-нибудь новичок не осмелился бы и подумать о том, чтобы можно было украсть у такого зоркого хозяина. Но приказчик его был обстрелянная птица: он знал, как нужно отвечать, а еще более — как нужно хозяйничать. После этого Афанасий Иванович возвращался в покои и говорил, приблизившись к Пульхерии Ивановне:

— А что, Пульхерия Ивановна, может быть, пора закусить чего-нибудь?

— Чего же бы теперь, Афанасий Иванович, закусить? разве коржиков с салом, или пирожком с маком, или, может быть, рыжиков соленых?

— Пожалуй, хоть и рыжиков, или пирожков, — отвечал Афанасий Иванович, и на столе вдруг являлась скатерть с пирожками и рыжиками.

За час до обеда Афанасий Иванович закушивал[в] снова, выпивал старинную серебряную чарку водки, заедал грибками, разными сушеными рыбками и прочим. Обедать садились в двенадцать часов. Кроме блюд и соусников, на столе стояло множество горшочков с замазанными крышками, чтобы не могло выдыхаться какое-нибудь аппетитное изделие старинной вкусной кухни. За обедом обыкновенно шел разговор о предметах самых близких к обеду[в].

— Мне кажется, как будто эта каша, — говаривал обыкновенно Афанасий Иванович, — немного пригорела; вам этого не кажется, Пульхерия Ивановна?

— Нет, Афанасий Иванович; вы положите побольше масла, тогда она не будет казаться пригорелою, или вот возьмите этого соуса с грибками и подлейте к ней.

— Пожалуй, — говорил Афанасий Иванович и подставлял свою тарелку, — попробуем, как оно будет.

После обеда Афанасий Иванович шел отдохнуть один часик, после чего Пульхерия Ивановна приносила разрезанный арбуз и говорила:

— Вот попробуйте, Афанасий Иванович, какой хороший арбуз.

— Да вы не верьте, Пульхерия Ивановна, что он красный в средине, — говорил Афанасий Иванович, принимая порядочный ломоть, — бывает, что и красный, да не хороший.

Но арбуз немедленно исчезал. После этого Афанасий Иванович съедал еще несколько груш и отправлялся погулять по саду вместе с Пульхерией Ивановной. Пришедши домой, Пульхерия Ивановна отправлялась по

своим делам, а он садился под навесом, обращенным к двору, и глядел, как кладовая беспрестанно показывала и закрывала свою внутренность и девки, толкая одна другую, то вносили, то выносили кучу всякого дрязгу в деревянных ящиках, решетах, ночевках[21] и в прочих фруктохранилищах. Немного погодя он посылал за Пульхерией Ивановной или сам отправлялся к ней и говорил:

— Чего бы такого поесть мне, Пульхерия Ивановна?

— Чего же бы такого? — говорила Пульхерия Ивановна. — Разве я пойду скажу, чтобы вам принесли вареников с ягодами, которых приказала я нарочно для вас оставить?

— И то добре, — отвечал Афанасий Иванович.

— Или, может быть, вы съели бы киселику?

— И то хорошо, — отвечал Афанасий Иванович. После чего всё это немедленно было приносимо и, как водится, было съедаемо. Перед ужином Афанасий Иванович еще кое-чего закушивал. В половине десятого садились ужинать. После ужина тотчас отправлялись опять спать, и всеобщая тишина водворялась в этом деятельном и вместе спокойном уголке. Комната, в которой спали Афанасий Иванович и Пульхерия Ивановна, была так жарка, что редкий был бы в состоянии остаться в ней несколько часов. Но Афанасий Иванович еще сверх того, чтобы было теплее, спал на лежанке, хотя сильный жар часто заставлял его несколько раз вставать среди ночи и прохаживаться по комнате. Иногда Афанасий Иванович, ходя по комнате, стонал. Тогда Пульхерия Ивановна спрашивала:

— Чего вы стонете, Афанасий Иванович?

— Бог его знает, Пульхерия Ивановна, так как будто немного живот болит, — говорил Афанасий Иванович.

— Может быть, вы бы чего-нибудь съели, Афанасий Иванович?

— Не знаю, будет ли оно хорошо, Пульхерия Ивановна! впрочем, чего ж бы такого съесть?

— Кислого молочка или жиденького узвара[22] с сушеными грушами.

— Пожалуй, разве так только попробовать, — говорил Афанасий Иванович. Сонная девка отправлялась рыться по шкафам, и Афанасий Иванович съедал тарелочку; после чего он обыкновенно говорил:

— Теперь так как будто сделалось легче.

Иногда, если было ясное время и в комнатах довольно тепло натоплено, Афанасий Иванович, развеселившись, любил пошутить над Пульхериею Ивановною и поговорить о чем-нибудь постороннем.

— А что, Пульхерия Ивановна, — говорил он, — если бы вдруг загорелся дом наш, куда бы мы делись?

— Вот это Боже сохрани! — говорила Пульхерия Ивановна крестясь.

— Ну, да положим, что дом наш сгорел, куда бы мы перешли тогда?

— Бог знает, что вы говорите, Афанасий Иванович! как можно, чтобы дом мог сгореть: Бог этого не попустит.

— Ну, а если бы сгорел?

— Ну, тогда бы мы перешли в кухню. Вы бы заняли на время ту комнатку, которую занимает ключница.

— А если бы и кухня сгорела?

— Вот пусть Бог сохранит от такого попущения, чтобы вдруг и дом, и кухня сгорели! Ну, тогда бы в кладовую, покаместь выстроился бы новый дом.

— А если бы и кладовая сгорела?

— Бог знает, что вы говорите! я и слушать вас не хочу! Грех это говорить, и Бог наказывает за такие речи.

Но Афанасий Иванович, довольный тем, что подшутил над Пульхериею Ивановною, улыбался, сидя на своем стуле.

Но интереснее всего казались для меня старички в то время, когда бывали у них гости. Тогда всё в их доме принимало другой вид. Эти добрые люди, можно сказать, жили для гостей. Всё, что у них ни было лучшего, всё это выносилось. Они наперерыв старались угостить вас всем, что только производило их хозяйство. Но более всего приятно мне было то, что во всей их услужливости не было никакой приторности. Это радушие и готовность так кротко выражались на их лицах, так шли к ним, что поневоле соглашался на их просьбы. Они были следствие чистой, ясной простоты их добрых, бесхитростных душ. Это радушие вовсе не то, с каким угощает вас чиновник казенной палаты, вышедший в люди вашими стараниями, называющий вас благодетелем и ползающий у ног ваших. Гость никаким образом не был отпускаем того же дни: он должен был непременно переночевать.

— Как можно такою позднею порою отправляться в такую дальнюю дорогу! — всегда говорила Пульхерия Ивановна (гость обыкновенно жил в трех или в четырех от них верстах).

— Конечно, — говорил Афанасий Иванович, — неравно всякого случая: нападут разбойники или другой недобрый человек.

— Пусть Бог милует от разбойников! — говорила Пульхерия Ивановна. — И к чему рассказывать эдакое на ночь. Разбойники не разбойники, а время темное, не годится совсем ехать. Да и ваш кучер, я знаю вашего кучера, он такой тендитный[23] да маленький[в], его всякая кобыла побьет; да притом теперь он уже, верно, наклюкался и спит где-нибудь.

И гость должен был непременно остаться; но, впрочем, вечер в низенькой теплой комнате, радушный, греющий и усыпляющий рассказ, несущийся пар от поданного на стол кушанья, всегда питательного и мастерски

сготовленного, бывает для него наградою. Я вижу как теперь, как Афанасий Иванович согнувшись сидит на стуле с всегдашнею своею улыбкой и слушает со вниманием и даже наслаждением гостя! Часто речь заходила и об политике. Гость, тоже весьма редко выезжавший из своей деревни, часто с значительным видом и таинственным выражением лица выводил свои догадки и рассказывал, что француз тайно согласился с англичанином выпустить опять на Россию Бонапарта[24], или просто рассказывал о предстоящей войне, и тогда Афанасий Иванович часто говорил, как будто не глядя на Пульхерию Ивановну:

— Я сам думаю пойти на войну; почему ж я не могу идти на войну?

— Вот уже и пошел! — прерывала Пульхерия Ивановна. — Вы не верьте ему, — говорила она, обращаясь к гостю. — Где уже ему, старому, идти на войну! Его первый солдат застрелит! Ей-Богу, застрелит! Вот так-таки прицелится и застрелит.

— Что ж, — говорил Афанасий Иванович, — и я его застрелю.

— Вот слушайте только, что он говорит! — подхватывала Пульхерия Ивановна, — куда ему идти на войну! И пистоли[25] его давно уже заржавели и лежат в коморе[26]. Если б вы их видели: там такие, что, прежде еще нежели выстрелят, разорвет их порохом. И руки себе поотбивает и лицо искалечит и навеки несчастным останется!

— Что ж, — говорил Афанасий Иванович, — я куплю себе новое вооружение. Я возьму саблю или козацкую пику.

— Это всё выдумки[в]. Так вот вдруг[в] придет в голову и начнет рассказывать, — подхватывала Пульхерия Ивановна с досадою. — Я и знаю, что он шутит, но все-таки неприятно слушать. Вот эдакое он всегда говорит, иной раз слушаешь, слушаешь, да и страшно станет.

Но Афанасий Иванович, довольный тем, что несколько напугал Пульхерию Ивановну, смеялся, сидя согнувшись на своем стуле.

Пульхерия Ивановна для меня была занимательнее всего тогда, когда подводила гостя к закуске. «Вот это, — говорила она, снимая пробку с графина, — водка, настоянная на деревий и шалфей[27]. Если у кого болят лопатки или поясница, то она очень помогает. Вот это на золототысячник: если в ушах звенит и по лицу лишаи делаются, то очень помогает. А вот эта перегнанная на персиковые косточки, вот возьмите рюмку, какой прекрасный запах. Если как-нибудь, вставая с кровати, ударится кто об угол шкапа или стола, и набежит на лбу гугля[в], то стоит только одну рюмочку выпить перед обедом — и всё как рукой снимет, в ту же минуту всё пройдет, как будто вовсе не бывало». После этого такой перечет следовал и другим графинам, всегда почти имевшим какие-нибудь целебные свойства. Нагрузивши гостя всею этою аптекою, она подводила его ко множеству стоявших

тарелок. «Вот это грибки с чебрецом! это с гвоздиками и волошскими орехами[28]; солить их выучила меня туркеня, в то время, когда еще турки были у нас в плену. Такая была добрая туркеня, и незаметно совсем, чтобы турецкую веру исповедовала. Так совсем и ходит, почти как у нас; только свинины не ела: говорит, что у них как-то там в законе запрещено. Вот это грибки с смородинным листом и мушкатным орехом! А вот это большие травянки[29]: я их еще в первый раз мариновала; не знаю, каковы-то они; я узнала секрет от отца Ивана. В маленькой кадушке прежде всего нужно разостлать дубовые листья и потом посыпать перцем и селитрою и положить еще, что бывает на нечуй-витере[30], цвет, так этот цвет взять и хвостиками разостлать вверх. А вот это пирожки! это пирожки с сыром! это с урдою[31]! а вот это те, которые Афанасий Иванович очень любит, с капустою и гречневою кашею».

— Да, — прибавлял Афанасий Иванович, — я их очень люблю; они мягкие и немножко кисленькие.

Вообще Пульхерия Ивановна была чрезвычайно в духе, когда бывали у них гости. Добрая старушка! Она вся была отдана гостям. Я любил бывать у них и хотя объедался страшным образом, как и все, гостившие у них, хотя мне это было очень вредно, однако ж я всегда бывал рад к ним ехать. Впрочем, я думаю, что не имеет ли самый воздух в Малороссии какого-то особенного свойства, помогающего пищеварению, потому что если бы здесь вздумал кто-нибудь таким образом накушаться, то, без сомнения, вместо постели очутился бы лежащим на столе.

Добрые старички! Но повествование мое приближается к весьма печальному событию, изменившему навсегда жизнь этого мирного уголка[В]. Событие это покажется тем более разительным, что произошло от самого маловажного случая. Но, по странному устройству вещей, всегда ничтожные причины родили великие события и, наоборот, великие предприятия оканчивались ничтожными следствиями. Какой-нибудь завоеватель собирает все силы своего государства, воюет несколько лет, полководцы его прославляются, и наконец всё это оканчивается приобретением клочка земли, на котором негде посеять картофеля[32]; а иногда, напротив, два какие-нибудь колбасника двух городов подерутся между собою за вздор, и ссора объемлет наконец города, потом веси и деревни, а там и целое государство[33]. Но оставим эти рассуждения: они не идут сюда. Притом я не люблю рассуждений, когда они остаются только рассуждениями.

У Пульхерии Ивановны была серенькая кошечка, которая всегда почти лежала, свернувшись клубком у ее ног. Пульхерия Ивановна иногда ее гладила и щекотала пальцем по ее шейке, которую балованная кошечка вытягивала как можно выше. Нельзя сказать, чтобы Пульхерия Иванов-

на слишком любила ее, но просто привязалась к ней, привыкши ее всегда видеть. Афанасий Иванович однако ж часто подшучивал над такою привязанностию.

— Я не знаю, Пульхерия Ивановна, что вы такого находите в кошке. На что она? Если бы вы имели собаку, тогда бы другое дело: собаку можно взять на охоту, а кошка на что?

— Уж молчите, Афанасий Иванович, — говорила Пульхерия Ивановна, — вы любите только говорить и больше ничего. Собака нечистоплотная, собака нагадит, собака перебьет всё, а кошка тихое творение, она никому не сделает зла.

Впрочем, Афанасию Ивановичу было всё равно, что кошки, что собаки; он для того только говорил так, чтобы немножко подшутить над Пульхерией Ивановной.

За садом находился у них большой лес, который был совершенно пощажен предприимчивым приказчиком, может быть оттого, что стук топора доходил бы до самых ушей Пульхерии Ивановны. Он был глух, запущен, старые древесные стволы были закрыты разросшимся орешником и походили на мохнатые лапы голубей. В этом лесу обитали дикие коты. Лесных диких котов не должно смешивать с теми удальцами, которые бегают по крышам домов. Находясь в городах, они, несмотря на крутой нрав свой, гораздо более цивилизированы, нежели обитатели лесов. Это, напротив того, большею частию народ мрачный и дикий; они всегда ходят тощие, худые, мяукают грубым, необработанным голосом. Они подрываются иногда подземным ходом под самые анбары и крадут сало, являются даже в самой кухне, прыгнувши внезапно в растворенное окно, когда заметят, что повар пошел в бурьян. Вообще никакие благородные чувства им не известны; они живут хищничеством и душат маленьких воробьев в самых их гнездах. Эти коты долго обнюхивались сквозь дыру под анбаром с кроткою кошечкою Пульхерии Ивановны и наконец подманили ее, как отряд солдат подманивает глупую крестьянку. Пульхерия Ивановна заметила пропажу кошки, послала искать ее, но кошка не находилась. Прошло три дня; Пульхерия Ивановна пожалела, наконец вовсе о ней позабыла.

В один день, когда она ревизировала свой огород и возвращалась с вырванными своею рукою зелеными свежими огурцами для Афанасия Ивановича, слух ее был поражен самым жалким мяуканьем. Она, как будто по инстинкту, произнесла: кис, кис! — и вдруг из бурьяна вышла ее серенькая кошка, худая, тощая; заметно было, что она несколько уже дней не брала в рот никакой пищи. Пульхерия Ивановна продолжала звать ее, но кошка стояла перед нею, мяукала и не смела подойти близко; видно было, что она очень одичала с того времени. Пульхерия Ивановна пошла вперед, про-

должая звать кошку, которая боязливо шла за нею до самого забора. Наконец, увидевши прежние, знакомые места, вошла и в комнату. Пульхерия Ивановна тотчас приказала подать ей молока и мяса и, сидя перед нею, наслаждалась жадностию бедной своей фаворитки, с какою она глотала кусок за куском и хлебала молоко. Серенькая беглянка почти в глазах ее растолстела и ела уже не так жадно. Она протянула руку, чтобы погладить ее, но неблагодарная, видно, уже слишком свыклась с хищными котами или набралась романических правил, что бедность при любви лучше палат, а коты были голы как соколы; как бы то ни было, она выпрыгнула в окошко, и никто из дворовых не мог поймать ее.

Задумалась старушка: «Это смерть моя приходила за мною!» — сказала она сама в себе, и ничто не могло ее рассеять. Весь день она была скучна. Напрасно Афанасий Иванович шутил и хотел узнать, отчего она так вдруг загрустила: Пульхерия Ивановна была безответна или отвечала совершенно не так, чтобы можно было удовлетворить Афанасия Ивановича. На другой день она заметно похудела.

— Что это с вами, Пульхерия Ивановна? Уж не больны ли вы?

— Нет, я не больна, Афанасий Иванович! Я хочу вам объявить одно особенное происшествие[в]: я знаю, что я этим летом умру: смерть моя уже приходила за мною!

Уста Афанасия Ивановича как-то болезненно искривились. Он хотел однако ж победить в душе своей грустное чувство и, улыбнувшись, сказал:

— Бог знает что вы говорите, Пульхерия Ивановна! Вы, верно, вместо декохта[34], что часто пьете, выпили персиковой.

— Нет, Афанасий Иванович, я не пила персиковой, — сказала Пульхерия Ивановна.

И Афанасию Ивановичу сделалось жалко, что он так пошутил над Пульхерией Ивановной, и он смотрел на нее, и слеза повисла на его реснице.

— Я прошу вас, Афанасий Иванович, чтобы вы исполнили мою волю, — сказала Пульхерия Ивановна. — Когда я умру, то похороните меня возле церковной ограды. Платье наденьте на меня серенькое, то, что с небольшими цветочками по коричневому полю. Атласного платья, что с малиновыми полосками, не надевайте на меня: мертвой уже не нужно платье. На что оно ей? А вам оно пригодится: из него сошьете себе парадный халат — на случай, когда приедут гости, то чтобы можно было вам прилично показаться и принять их.

— Бог знает что вы говорите, Пульхерия Ивановна! — говорил Афанасий Иванович, — когда-то еще будет смерть, а вы уже стращаете такими словами.

— Нет, Афанасий Иванович, я уже знаю, когда моя смерть. Вы однако ж не горюйте за мною: я уже старуха, и довольно пожила, да и вы уже стары, мы скоро увидимся на том свете.

Но Афанасий Иванович рыдал, как ребенок.

— Грех плакать, Афанасий Иванович! Не грешите и Бога не гневите своею печалью. Я не жалею о том, что умираю. Об одном только жалею я (тяжелый вздох прервал на минуту речь ее): я жалею о том, что не знаю, на кого оставить вас, кто присмотрит за вами, когда я умру. Вы как дитя маленькое: нужно, чтобы любило вас то, которое будет[В] ухаживать за вами. — При этом на лице ее выразилась такая глубокая, такая сокрушительная сердечная жалость, что я не знаю, мог ли бы кто-нибудь в то время глядеть на нее равнодушно[В].

— Смотри мне, Явдоха[35], — говорила она, обращаясь к ключнице, которую нарочно велела позвать, — когда я умру, чтобы ты глядела за паном, чтобы берегла его, как гла́за своего, как свое родное дитя. Гляди, чтобы на кухне готовилось то, что он любит. Чтобы белье и платье ты ему подавала всегда чистое; чтобы, когда гости случатся, ты принарядила его прилично, а то, пожалуй, он иногда выйдет в старом халате, потому что и теперь часто позабывает он, когда бывает праздничный день, а когда будничный. Не своди с него глаз, Явдоха, я буду молиться за тебя на том свете, и Бог наградит тебя. Не забывай же, Явдоха, ты уже стара, тебе не долго жить, не набирай греха на душу. Когда же не будешь за ним присматривать, то не будет тебе счастия на свете. Я сама буду просить Бога, чтобы не давал тебе благополучной кончины. И сама ты будешь несчастна, и дети твои будут несчастны, и весь род ваш не будет иметь ни в чем благословения Божия.

Бедная старушка! она в то время не думала ни о той великой минуте, которая ее ожидает, ни о душе своей, ни о будущей своей жизни: она думала только о бедном своем спутнике, с которым провела жизнь и которого оставляла сирым и бесприютным. Она с необыкновенною расторопностию распорядила всё таким образом, чтобы после нее Афанасий Иванович не заметил ее отсутствия. Уверенность ее в близкой своей кончине так была сильна, и состояние души ее так было к этому настроено, что действительно чрез несколько дней[В] она слегла в постелю и не могла уже принимать никакой пищи. Афанасий Иванович весь превратился во внимательность и не отходил от ее постели. «Может быть, вы чего-нибудь бы покушали, Пульхерия Ивановна?» — говорил он, с беспокойством смотря в глаза ей. Но Пульхерия Ивановна ничего не говорила. Наконец, после долгого молчания, как будто хотела она что-то сказать, пошевелила губами — и дыхание ее улетело.

Афанасий Иванович был совершенно поражен. Это так казалось ему дико, что он даже не заплакал. Мутными глазами глядел[В] он на нее, как бы не зная всего значения трупа.

Покойницу положили на стол, одели в то самое платье, которое она сама назначила, сложили ей руки крестом, дали в руки восковую свечу — он на всё это глядел бесчувственно. Множество народа всякого звания наполнило двор, множество гостей приехало на похороны, длинные столы расставлены были по двору, кутья, наливки, пироги лежали кучами, гости говорили, плакали, глядели на покойницу, рассуждали о ее качествах, смотрели на него; но он сам на всё это глядел странно. Покойницу понесли наконец, народ повалил следом, и он пошел за нею; священники были в полном облачении, солнце светило[В], грудные ребенки[В] плакали на руках матерей, жаворонки пели, дети в рубашонках бегали и резвились по дороге. Наконец гроб поставили над ямой, ему велели подойти и поцеловать в последний раз покойницу; он подошел, поцеловал, на глазах его показались слезы, но какие-то бесчувственные слезы. Гроб опустили, священник взял заступ и первый бросил горсть земли[В], густой протяжный хор дьячка и двух пономарей пропел вечную память под чистым безоблачным небом, работники принялись за заступы, и земля уже покрыла и сравняла яму, — в это время он пробрался вперед; все расступились, дали ему место, желая знать его намерение. Он поднял глаза свои, посмотрел смутно и сказал: «Так вот это вы уже и погребли ее! зачем?!..» Он остановился и не докончил своей речи.

Но когда возвратился он домой, когда увидел, что пусто в его комнате, что даже стул, на котором сидела Пульхерия Ивановна, был вынесен, — он рыдал, рыдал сильно, рыдал неутешно, и слезы, как река, лились из его тусклых очей.

Пять лет прошло с того времени. Какого горя не уносит время? Какая страсть уцелеет в неровной битве с ним? Я знал одного человека в цвете юных еще сил, исполненного истинного благородства и достоинств, я знал его влюбленным нежно, страстно, бешено, дерзко, скромно, и при мне, при моих глазах почти, предмет его страсти — нежная, прекрасная, как ангел, — была поражена ненасытною смертию. Я никогда не видал таких ужасных порывов душевного страдания, такой бешеной палящей тоски, такого пожирающего отчаяния, какие волновали несчастного любовника. Я никогда не думал, чтобы мог человек создать для себя такой ад, в котором ни тени, ни образа и ничего, что бы сколько-нибудь походило на надежду... Его старались не выпускать с глаз; от него спрятали все орудия, которыми бы он мог умертвить себя. Две недели спустя он вдруг победил себя: начал смеяться, шутить; ему дали свободу, и первое, на что он употребил ее, это

было — купить пистолет. В один день внезапно раздавшийся выстрел перепугал ужасно его родных. Они вбежали в его комнату и увидели его распростертого с раздробленным черепом. Врач, случившийся тогда, об искусстве которого гремела всеобщая молва, увидел в нем признаки существования, нашел рану не совсем смертельною, и он, к изумлению всех, был вылечен. Присмотр за ним увеличили еще более. Даже за столом не клали возле его ножа и старались удалить всё, чем бы мог он себя ударить; но он в скором времени нашел новый случай и бросился под колеса проезжавшего экипажа. Ему растрощило[36] руку и ногу; но он опять был вылечен. Год после этого я видел его в одном многолюдном зале; он сидел за столом, весело говорил «петит-уверт»[37], закрывши одну карту, и за ним стояла, облокотившись на спинку его стула, молоденькая жена его, перебирая его марки[38].

По истечении сказанных пяти лет после смерти Пульхерии Ивановны я, будучи в тех местах, заехал в хуторок Афанасия Ивановича навестить моего старинного соседа, у которого когда-то приятно проводил день и всегда объедался лучшими изделиями радушной хозяйки. Когда я подъехал ко двору, дом мне показался вдвое старее, крестьянские избы совсем легли набок, без сомнения, так же, как и владельцы их; частокол и плетень в дворе были совсем разрушены, и я видел сам, как кухарка выдергивала из него палки для затопки печи, тогда как ей нужно было сделать только два шага лишних, чтобы достать тут же наваленного хвороста. Я с грустью подъехал к крыльцу; те же самые барбосы и бровки, уже слепые или с перебитыми ногами, залаяли, поднявши вверх свои волнистые, обвешанные репейниками хвосты. Навстречу вышел старик. Так это он! я тотчас <же> узнал его; но он согнулся уже вдвое против прежнего. Он узнал меня и приветствовал с тою же знакомою мне улыбкою. Я вошел за ним в комнаты; казалось, всё было в них по-прежнему, но я заметил во всем какой-то странный беспорядок, какое-то ощутительное отсутствие чего-то; словом, я ощутил в себе те странные чувства, которые овладевают нами, когда мы вступаем первый раз в жилище вдовца, которого прежде знали нераздельным с подругою, сопровождавшею его всю жизнь. Чувства эти бывают похожи тогда, когда видим перед собою того человека, которого всегда знали здоровым, без ноги. Во всем видно было отсутствие заботливой Пульхерии Ивановны: за столом подали один нож без колодочки; блюда уже не были приготовлены с таким искусством. О хозяйстве я не хотел и спросить, боялся даже и взглянуть на хозяйственные заведения.

Когда мы сели за стол, девка завязала Афанасия Ивановича салфеткою и очень хорошо сделала, потому что без того он бы весь халат свой запачкал соусом. Я старался его чем-нибудь занять и рассказывал ему разные новости; он слушал с тою же улыбкою, но по временам взгляд его был со-

вершенно бесчувствен и мысли в нем не бродили, но исчезали. Часто поднимал он ложку с кашею, вместо того, чтобы подносить ко рту, подносил к носу; вилку свою, вместо того, чтобы вонзить в кусок цыпленка, он тыкал в графин, и тогда девка, взявши его за руку, наводила на цыпленка. Мы иногда ожидали по несколько минут следующего блюда. Афанасий Иванович уже сам замечал это и говорил: «Что это так долго не несут кушанья?» Но я видел сквозь щель в дверях, что мальчик, разносивший нам блюда, вовсе не думал о том и спал, свесивши голову на скамью.

— Вот это то кушанье, — сказал Афанасий Иванович, когда подали нам *мнишки*[39] со сметаною, — это то кушанье, — продолжал он, и я заметил, что голос его начал дрожать и слеза готовилась выглянуть из его свинцовых глаз, но он собирал все усилия, желая удержать ее. — Это то кушанье, которое по... по... покой... покойни... — и вдруг брызнул слезами. Рука его упала на тарелку, тарелка опрокинулась, полетела и разбилась, соус залил его всего; он сидел бесчувственно, бесчувственно держал ложку, и слезы, как ручей, как немолчно точущий[В] фонтан, лились, лились ливмя[В] на застилавшую его салфетку.

«Боже! — думал я, глядя на него, — пять лет всё истребляющего времени — старик уже бесчувственный, старик, которого жизнь, казалось, ни разу не возмущало ни одно сильное ощущение души, которого вся жизнь, казалось, состояла только из сидения на высоком стуле, из ядения сушеных рыбок и груш, из добродушных рассказов — и такая долгая, такая жаркая печаль? Что же сильнее над нами: страсть или привычка? Или все сильные порывы, весь вихрь наших желаний и кипящих страстей — есть только следствие нашего яркого возраста и по тому одному только кажутся глубоки и сокрушительны?» Что бы ни было, но в это время мне казались детскими все наши страсти против этой долгой, медленной, почти бесчувственной привычки. Несколько раз силился он выговорить имя покойницы, но на половине слова спокойное и обыкновенное лицо его судорожно исковеркивалось, и плач дитяти поражал меня в самое сердце. Нет, это не те слезы, на которые обыкновенно так щедры старички, представляющие вам жалкое свое положение и несчастия; это были также не те слезы, которые они роняют за стаканом пуншу; нет! это были слезы, которые текли, не спрашиваясь, сами собою, накопляясь от едкости боли уже охладевшего сердца.

Он недолго после того жил. Я недавно услышал об его смерти. Странно однако же то, что обстоятельства кончины его имели какое-то сходство с кончиною Пульхерии Ивановны. В один день Афанасий Иванович решился немного пройтись по саду. Когда он медленно шел по дорожке, с обыкновенною своею беспечностию вовсе не имея никакой мысли, с ним

случилось странное происшествие. Он вдруг услышал, что позади его произнес кто-то довольно явственным голосом: Афанасий Иванович! Он оборотился, но никого совершенно не было, посмотрел во все стороны, заглянул в кусты — нигде никого. День был тих, и солнце сияло. Он на минуту задумался; лицо его как-то оживилось, и он наконец произнес: «Это Пульхерия Ивановна зовет меня!» Вам, без сомнения, когда-нибудь случалось слышать голос, называющий вас по имени, который простолюдимы объясняют так: что душа стосковалась за человеком и призывает его; после которого следует неминуемо смерть[40]. Признаюсь, мне всегда был страшен этот таинственный зов. Я помню, что в детстве я часто его слышал: иногда вдруг позади меня кто-то явственно произносил мое имя. День обыкновенно в это время был самый ясный и солнечный; ни один лист в саду на дереве не шевелился, тишина была мертвая, даже кузнечик в это время переставал, ни души в саду; но, признаюсь, если бы ночь самая бешеная и бурная, со всем адом стихий, настигла меня одного среди непроходимого леса, я бы не так испугался ее, как этой ужасной тишины, среди безоблачного дня. Я обыкновенно тогда бежал с величайшим страхом и занимавшимся дыханием из сада и тогда только успокоивался, когда попадался мне навстречу какой-нибудь человек, вид которого изгонял эту страшную сердечную пустыню.

Он весь покорился своему душевному убеждению, что Пульхерия Ивановна зовет его; он покорился с волею послушного ребенка, сохнул, кашлял, таял как свечка и наконец угас так, как она, когда уже ничего не осталось, что бы могло поддержать бедное ее пламя. «Положите меня возле Пульхерии Ивановны», — вот всё, что произнес он перед своею кончиною.

Желание его исполнили и похоронили возле церкви, близ могилы Пульхерии Ивановны. Гостей было меньше на похоронах, но простого народа и нищих было такое же множество. Домик барский уже сделался вовсе пуст. Предприимчивый приказчик вместе с войтом перетащили в свои избы все остававшиеся старинные вещи и рухлядь, которую не могла утащить ключница. Скоро приехал неизвестно откуда какой-то дальний родственник, наследник имения, служивший прежде поручиком[41], не помню в каком полку, страшный реформатор. Он увидел тотчас величайшее расстройство и упущение в хозяйственных делах; всё это решился он непременно искоренить, исправить и ввести во всем порядок. Накупил шесть прекрасных английских серпов, приколотил к каждой избе особенный номер и наконец так хорошо распорядился, что имение через шесть месяцев взято было в опеку. Мудрая опека (из одного бывшего заседателя[42] и какого-то штабс-капитана[43] в полинялом мундире) перевела в непродолжительное время всех кур и все яйца. Избы, почти совсем лежавшие на земле, развалились вовсе;

мужики распьянствовались и стали большею частию числиться в бегах. Сам же настоящий владетель, который, впрочем, жил довольно мирно с своею опекою и пил вместе с нею пунш, приезжал очень редко в свою деревню и проживал недолго. Он до сих пор ездит по всем ярмаркам в Малороссии; тщательно осведомляется и применивается к ценам на разные большие произведения, продающиеся оптом, как то: муку, пеньку[44], мед и прочее, — но покупает только небольшие безделушки, как то: кремешки, гвоздь прочищать трубку и вообще всё то, что не превышает всем оптом своим цены одного рубля.



ТАРАС БУЛЬБА

I

— А поворотись, сынку! цур тебе[1], какой ты смешной! Что это на вас за поповские подрясники? И эдак все[В] ходят в Академии[2]?

Такими словами встретил старый Бульба[В] двух сыновей своих, учившихся в киевской бурсе[В] и приехавших уже на дом к отцу.

Сыновья его только что слезли с коней. Это были два дюжие молодца, еще смотревшие исподлоба, как недавно выпущенные семинаристы. Крепкие, здоровые лица их были покрыты первым пухом волос, которого еще не касалась бритва. Они были очень оконфужены таким приемом отца и стояли неподвижно, потупив глаза в землю[В].

— Постойте, постойте, дети, — продолжал он, поворачивая их, — какие же длинные на вас свитки*! Вот это свитки! Ну, ну, ну! таких свиток еще никогда на свете не было. А ну, побегите оба: я посмотрю, не попадаете ли вы?[В]

— Не смейся, не смейся, батьку! — сказал наконец старший из них.

— Фу ты, какой пышный[3]! а отчего ж бы не смеяться?

— Да так. Хоть ты мне и батько, а как будешь смеяться, то, ей-Богу, поколочу![В]

— Ах ты, сякой-такой сын! Как, батька? — сказал Тарас Бульба, отступивши с удивлением несколько назад.

— Да хоть и батька. За обиду не посмотрю и не уважу никого.

— Как же ты хочешь со мною биться? разве на кулаки?

---

* Свиткой называется верхняя одежда у малороссиян[В].

— Да уж на чем бы то ни было.

— Ну давай на кулаки! — говорил Бульба, засучив рукава. И отец с сыном, вместо приветствия после давней отлучки, начали преусердно колотить друг друга.

— Вот это сдурел старый! — говорила бледная, худощавая и добрая мать их, стоявшая у порога и не успевшая еще обнять ненаглядных детей своих[В]. — Ей-Богу, сдурел! Дети приехали домой, больше году не видели их, а он задумал Бог знает что: биться на кулачки.

— Да он славно бьется! — говорил Бульба, остановившись. — Ей-Богу, хорошо![В] так-таки, — продолжал он, немного оправляясь, — хоть бы и не пробовать. Добрый будет козак! Ну, здоров, сынку! почеломкаемся! — И отец с сыном начали целоваться. — Добре, сынку! Вот так колоти всякого, как меня тузил. Никому не спускай! А все-таки на тебе смешное убранство. Что это за веревка висит? А ты, бейбас[4], что стоишь и руки опустил? — говорил он, обращаясь к младшему. — Что ж ты, собачий сын, не колотишь меня?

— Вот еще выдумал что! — говорила мать, обнимавшая между тем младшего. — И придет же в голову! Как можно, чтобы дитя било родного отца? Притом будто до того теперь: дитя малое, проехало столько пути, утомилось (это дитя было двадцати с лишком лет и ровно в сажень[5] ростом), ему бы теперь нужно отпочить и поесть чего-нибудь, а он заставляет биться!

— Э, да ты мазунчик[6], как я вижу! — говорил Бульба. — Не слушай, сынку, матери: она баба. Она ничего не знает. Какая вам нежба? Ваша нежба — чистое поле да добрый конь; вот ваша нежба. А видите вот эту саблю — вот ваша матерь[В] ! Это всё дрянь, чем набивают вас: и Академия, и все те книжки, буквари и философия, — все это *ка зна щo*[7] [В], я плевать на все это! — Бульба присовокупил еще одно слово, которое в печати несколько выразительно и потому его можно пропустить[В]. — Я вас на той же неделе отправлю на Запорожье[8]. Вот там ваша школа! Вот там только наберетесь разуму.

— И только всего одну неделю быть им дома? — говорила жалостно, со слезами на глазах, худощавая старуха мать[В]. — И погулять им, бедным, не удастся, и дому родного некогда будет узнать им, и мне не удастся наглядеться на них!

— Полно, полно, старуха! Козак не на то, чтобы возиться с бабами. Ступай скорее, да неси нам все, что ни есть, на стол. Пампушек, маковиков, медовиков и других пундиков[9] не нужно, а прямо так и тащи нам[В] целого барана на стол. Да горелки, чтобы горелки было побольше! Не этой разной, что с выдумками: с изюмом, родзинками и другими вытребеньками[10], а чистой горелки, настоящей, такой, чтобы шипела, как бес!

Бульба повел сыновей своих в светлицу, из которой пугливо выбежали две здоровые[в] девки в красных монистах[11], увидевши приехавших паничей, которые не любили спускать никому.

Все в светлице было убрано во вкусе того времени; а время это касалось XVI века[в], когда еще только что начинала рождаться мысль об Унии[12]. Все было чисто, вымазано глиною. Вся стена была убрана саблями и ружьями. Окна в светлице были маленькие, с круглыми матовыми стеклами, какие встречаются ныне только в старинных церквах. На полках, занимавших углы комнаты и сделанных угольниками, стояли глиняные кувшины, синие и зеленые фляжки, серебряные кубки, позолоченные чарки венецианской, турецкой и черкесской работы, зашедшие в светлицу Бульбы разными путями, чрез третьи и четвертые руки, что было очень обыкновенно в эти удалые времена. Липовые скамьи[в] вокруг всей комнаты и огромный стол посреди ее, печь, разъехавшаяся на полкомнаты, как толстая русская купчиха, с какими-то нарисованными петухами на изразцах[13], — все эти предметы были довольно знакомы нашим двум молодцам, приходившим почти каждый год домой на каникулярное время, приходившим потому, что у них не было еще коней, и потому, что не было в обычае позволять школярам ездить верхом. У них были только длинные чубы, за которые мог выдрать их всякий козак, носивший оружие. Бульба только при выпуске их послал им из табуна своего пару молодых жеребцов.

— Ну, сынки! прежде всего выпьем горелки! Боже, благослови! Будьте здоровы, сынки: и ты, Остап, и ты, Андрий! Дай же, Боже, чтоб вы на войне всегда были удачливы[14]! Чтобы бусурменов били, и турков бы били, и татарву[15] били бы, когда и ляхи[16] начнут что против веры нашей чинить, то и ляхов бы били. Ну, подставляй свою чарку; что, хороша горелка?[в] А как по-латыни горелка? То-то, сынку, дурни были латынцы: они и не знали, есть ли на свете горелка[17]. Как, бишь, того звали, что латинские вирши писал? Я грамоты-то не слишком разумею, то и не помню; Гораций[18], кажется?

«Вишь, какой батька, — подумал про себя старший сын, Остап, — всё, собака, знает, а еще и прикидывается».

— Я думаю, архимандрит[19], — продолжал Бульба, — не давал вам и понюхать горелки. А что, сынки, признайтесь, порядочно вас стегали березовыми да вишневыми по спине и по всему, а может, так как вы уже слишком разумные, то и плетюгами? Я думаю, кроме суботки, драли вас и по середам, и по четвергам[20 в]?

— Нечего, батько, вспоминать, — говорил Остап с обыкновенным своим флегматическим видом, — что было, то уже прошло.

— Теперь мы можем расписать всякого, — говорил Андрий, — саблями да списами[21]. Вот пусть только попадется татарва[в].

— Добре, сынку! ей-Богу, добре! Да когда так, то и я с вами еду! ей-Богу, еду. Какого дьявола мне здесь ожидать? Что, я должен разве смотреть за хлебом да за свинарями? Или бабиться с женою? Чтоб она пропала! Чтоб я для ней оставался дома? Я козак. Я не хочу! Так что же, что нет войны? Я так поеду с вами на Запорожье, погулять. Ей-Богу, еду! — И старый Бульба мало-помалу горячился и наконец рассердился совсем, встал из-за стола и, приосанившись, топнул ногою. — Завтра же едем! Зачем откладывать. Какого врага мы можем здесь высидеть? На что нам эта хата? к чему нам все это? на что эти горшки? — При этом Бульба начал колотить и швырять горшки и фляжки[В].

Бедная старушка жена, привыкшая уже к таким поступкам своего мужа, печально глядела, сидя на лавке. Она не смела ничего говорить; но, услышавши о таком страшном для нее решении, она не могла удержаться от слез; взглянула на детей своих, с которыми угрожала такая скорая разлука, — и никто бы не мог описать всей безмолвной силы ее горести, которая, казалось, трепетала в глазах ее и в судорожно сжатых губах.

Бульба был упрям страшно. Это был один из тех характеров, которые могли только возникнуть в грубый XV век и притом на полукочующем востоке Европы, во время правого и неправого понятия о землях, сделавшихся каким-то спорным, нерешенным владением, к каким принадлежала тогда Украйна. Вечная необходимость пограничной защиты против трех разнохарактерных наций[22] — все это придавало какой-то вольный, широкий размер подвигам сынов ее и воспитало упрямство духа. Это упрямство духа отпечаталось во всей силе на Тарасе Бульбе. Когда Баторий устроил полки в Малороссии и облек ее в ту воинственную[В] арматуру, которою сперва означены были одни обитатели порогов, он был из числа первых полковников[23]. Но при первом случае перессорился со всеми другими за то, что добыча, приобретенная от татар соединенными польскими и козацкими войсками, была разделена между ими не поровну и польские войска получили более преимущества[В]. Он, в собрании всех, сложил с себя достоинство и сказал: «Когда вы, господа полковники, сами не знаете прав своих, то пусть же вас черт водит за нос. А я наберу себе собственный полк, и кто у меня вырвет мое, тому я буду знать, как утереть губы». Действительно, он в непродолжительное время из своего же отцовского имения составил довольно значительный отряд, который состоял вместе из хлебопашцев и воинов и совершенно покорствовался его желанию. Вообще он был большой охотник до набегов и бунтов; он носом слышал, где и в каком месте вспыхивало возмущение, и уже как снег на голову являлся на коне своем. «Ну, дети! что и как? кого и за что нужно бить?» — обыкновенно говорил он и вмешивался в дело. Однако ж прежде всего он строго разбирал обсто-

ятельства и в таком только случае приставал, когда видел, что поднявшие оружие действительно имели право поднять его, хотя это право было, по его мнению, только в следующих случаях: если соседняя нация угоняла скот или отрезывала часть земли, или комиссары[24] налагали большую повинность, или не уважали старшин[25] и говорили перед ними в шапках, или посмеивались над Православною верою, — в этих случаях непременно нужно было браться за саблю; против бусурманов же, татар и турок, он почитал во всякое время справедливым поднять оружие во славу Божию, Христианства и Козачества. Тогдашнее положение Малороссии, еще не сведенное ни в какую систему, даже не приведенное в известность, способствовало существованию многих совершенно отдельных партизанов[26]. Жизнь вел он самую простую, и его нельзя бы было вовсе отличить от рядового козака, если бы лицо его не сохраняло какой-то повелительности и даже величия[27], особливо когда он решался защищать что-нибудь. Бульба заранее утешал себя мыслию о том, как он явится теперь с двумя сыновьями и скажет: «Вот посмотрите, каких я к вам молодцов привел!» Он думал о том, как повезет их на Запорожье — эту военную школу тогдашней Украйны, представит своим сотоварищам и поглядит, как при его глазах они будут подвизаться в ратной науке и бражничестве, которое он почитал тоже одним из первых достоинств рыцаря. Он вначале хотел отправить их одних, потому что считал необходимостию заняться новою сформировкою полка, требовавшей его присутствия. Но при виде своих сыновей, рослых и здоровых, в нем вдруг вспыхнул весь воинский дух его, и он решился сам с ними ехать на другой же день, хотя необходимость этого была одна только упрямая воля.

Не теряя ни минуты, он уже начал отдавать приказания своему асаулу, которого называл Товкачом[28] **[В]**, потому что тот действительно похож был на какую-то хладнокровную машину: во время битвы он равнодушно шел по неприятельским рядам, расчищая своею саблей, как будто бы месил тесто, как кулачный боец, прочищающий себе дорогу. Приказания состояли в том, чтобы оставаться ему в хуторе, покамест он даст знать ему выступить в поход. После этого пошел он сам по куреням[29] своим, раздавая приказания некоторым ехать с собою, напоить лошадей, накормить их пшеницею и подать себе коня**[В]**, которого он обыкновенно называл Чертом.

— Ну, дети, теперь надобно спать**[В]**, а завтра будем делать то, что Бог даст. Да не стели нам постель! Нам не нужна постель. Мы будем спать на дворе.

Ночь еще только что обняла небо, но Бульба всегда ложился рано. Он развалился на ковре, накрылся бараньим тулупом**[В]**, потому что ночной воздух был довольно свеж и потому что Бульба любил укрыться потеплее, когда был дома. Он вскоре захрапел, и за ним последовал весь двор. Всё,

что ни лежало в разных его углах, захрапело и запело; прежде всего заснул сторож, потому что более всех напился для приезда паничей.

Одна бедная мать не спала. Она приникла к изголовью дорогих сыновей своих, лежавших рядом. Она расчесывала гребнем их молодые, небрежно всклоченные кудри и смачивала их слезами. Она глядела на них вся, глядела всеми чувствами, вся превратилась в одно зрение и не могла наглядеться. Она вскормила их собственною грудью; она возрастила, взлелеяла их — и только на один миг видит их перед собою. «Сыны мои, сыны мои милые! что будет с вами? что ждет вас! Хоть бы недельку мне поглядеть на вас!» — говорила она, и слезы остановились в морщинах, изменивших ее когда-то прекрасное[в] лицо.

В самом деле, она была жалка, как всякая женщина того удалого века. Она миг только жила любовью, только в первую горячку страсти, в первую горячку юности, и уже суровый прельститель ее покидал ее для сабли, для товарищей, для бражничества. Она видела мужа в год два, три дня, и потом несколько лет о нем не бывало слуха. Да и когда виделась с ним, когда они жили вместе, что за жизнь ее была? Она терпела оскорбления, даже побои[в]; она видела из милости только оказываемые ласки; она была какое-то странное существо в этом соборище безженных рыцарей, на которых разгульное Запорожье набрасывало суровый колорит свой. Молодость без наслаждения мелькнула перед нею, и ее прекрасные свежие щеки и перси без лобзаний отцвели и покрылись преждевременными морщинами. Вся любовь, все чувства, всё, что есть нежного и страстного в женщине, — всё обратилось у ней в одно материнское чувство[в]. Она с жаром, с страстью, с слезами, как степная чайка, вилась над детьми своими[30]. Ее сыновей, ее милых сыновей берут от нее, берут для того, чтобы не увидеть их никогда. Кто знает, может быть, при первой битве татарин срубит им головы, и она не будет знать, где лежат брошенные тела их, которые расклюет хищная подорожная птица и за каждый кусочек которых, за каждую каплю крови она отдала бы всё. Рыдая, глядела она им в очи, которые всемогущий сон начинал уже смыкать, и думала: «Авось-либо Бульба, проснувшись, отсрочит денька на два отъезд. Может быть, он задумал оттого так скоро ехать, что много выпил».

Месяц с вышины неба давно уже озарял весь двор, наполненный спящими, густую кучу верб и высокий бурьян, в котором потонул частокол, окружавший двор. Она все сидела в головах милых сыновей своих, ни на минуту не сводила с них глаз своих и не думала о сне. Уже кони, зачуя рассвет, все полегли на траву и перестали есть; верхние листья верб начали лепетать, и мало-помалу лепечущая струя спустилась по ним до самого низу. Она просидела до самого света, вовсе не была утомлена и внутренне желала,

чтобы ночь протянулась как можно дольше. Со степи понеслось звонкое ржание жеребенка. Красные полосы ясно сверкнули на небе. Бульба вдруг проснулся и вскочил. Он очень хорошо помнил все, что приказывал вчера.

— Ну, хлопцы, полно спать! Пора! пора! Напойте коней! А где стара́? (так он обыкновенно называл жену свою.) Живее, стара, готовь нам есть, потому что путь великий лежит!

Бедная старушка, лишенная последней надежды, уныло поплелась в хату. Между тем, как она со слезами готовила все, что нужно к завтраку, Бульба раздавал свои приказания, возился на конюшне и сам выбирал для детей своих лучшие убранства. Бурсаки вдруг преобразились: на них явились вместо прежних запачканных сапогов — сафьянные красные с серебряными подковами, шаровары шириною в Черное море, с тысячью складок и со сборами, перетянулись золотым очкуром[31]. К очкуру прицеплены были длинные ремешки с кистями и прочими побрякушками для трубки. Козакин[32] алого цвета, сукна яркого, как огонь, опоясался узорчатым поясом[33]; чеканные турецкие пистолеты были задвинуты за пояс; сабля брякала по ногам их. Их лица, еще мало загоревшие, казалось, похорошели и побелели: молодые черные усы теперь как-то ярче оттеняли белизну их и здоровый, мощный цвет юности; они были хороши под черными бараньими шапками с золотым верхом. Бедная мать! она как увидела их, она и слова не могла промолвить, и слезы остановились в глазах ее.

— Ну, сыны, все готово! нечего мешкать! — произнес наконец Бульба. — Теперь, по обычаю Христианскому, нужно перед дорогою всем присесть.

Все сели, не выключая даже и хлопцев[в], стоявших почтительно у дверей.

— Теперь благослови, мать, детей своих! — сказал Бульба. — Моли Бога, чтобы они воевали храбро, защищали бы всегда честь Лыцарскую*, чтобы стояли всегда за Веру Христову, а не то пусть лучше пропадут, чтобы и духу их не было на свете! Подойдите, дети, к матери. Молитва материнская и на воде и на земле спасает[34].

Мать, слабая как мать, обняла их, вынула две небольшие иконы, надела им, рыдая, на шею.

— Пусть хранит вас... Божья Матерь... не забывайте, сынки, мать вашу... пришлите хоть весточку о себе... — далее она не могла продолжать.

— Ну, пойдем, дети! — сказал Бульба. У крыльца стояли оседланные кони. Бульба вскочил на своего Черта, который бешено отшатнулся[в], почувствовав на себе двадцатипудовое бремя, потому что Бульба был чрезвычайно тяжел и толст.

* Рыцарскую.

Когда увидела мать, что уже и сыны ее сели на коней, она кинулась к меньшему, у которого в чертах лица выражалось более какой-то нежности; она схватила его за стремя, она прилипнула к седлу его и, с отчаяньем во всех чертах, не выпускала его из рук своих. Два дюжих козака взяли ее бережно и унесли в хату. Но когда выехали они за ворота, она, со всею легкостию дикой козы, несообразной ее летам, выбежала за ворота, с непостижимою силою остановила лошадь и обняла одного из них с какою-то помешанною, бесчувственною горячностию; ее опять увели.

Молодые козаки ехали смутно[35] и удерживали слезы, боясь отца своего, который, однако же, с своей стороны тоже был несколько смущен, хотя не старался этого показывать. День был серый; зелень сверкала ярко; птицы щебетали как-то вразлад. Они, проехавши, оглянулись назад: хутор их как будто ушел в землю, только стояли на земле две трубы от их скромного домика; одни только вершины дерев, дерев, по сучьям которых они лазили, как белки; один только дальний луг еще стлался перед ними, тот луг, по которому они могли припомнить всю историю жизни, от лет, когда качались по росистой траве[В] его, до лет, когда поджидали в нем чернобровую козачку[В], боязливо летевшую чрез него с помощию своих свежих, быстрых ножек. Вот уже один только шест над колодцем, с привязанным вверху колесом от телеги, одиноко торчит на небе; уже равнина, которую они проехали, кажется издали горою и все собою закрыла. — Прощайте и детство, и игры, и все, и все!

II

Все три всадника ехали молчаливо. Старый Тарас думал о давнем: перед ним проходила его молодость, его лета, его протекшие лета, о которых всегда почти плачет козак, желавший бы, чтобы вся жизнь его была молодость[36]. Он думал о том, кого он встретит на Сече из своих прежних сотоварищей. Он вычислял, какие уже перемерли, какие живут еще. Слеза тихо круглилась на его зенице, и поседевшая голова его уныло понурилась.

Сыновья его были заняты другими мыслями. Теперь кстати сказать что-нибудь о сыновьях его. Они были отданы по двенадцатому году в Киевскую академию, потому что все почетные сановники тогдашнего времени считали необходимостью дать воспитание своим детям, хотя это делалось с тем, чтобы после совершенно позабыть его. Они тогда были, как все, поступавшие в бурсу, дики, воспитаны на свободе, и там уже они обыкновенно несколько шлифовались и получали что-то общее, делавшее их похожими[В] друг на друга. Старший, Остап, начал с того свое поприще,

что в первый год еще бежал. Его возвратили, высекли страшно и засадили за книгу. Четыре раза закапывал он свой букварь в землю, и четыре раза, отодравши его бесчеловечно, покупали ему новый. Но, без сомнения, он повторил бы и в пятый, если бы отец не дал ему торжественного обещания продержать его в монастырских служках[37] целые двадцать лет и что он не увидит Запорожья вовеки, если не выучится в Академии всем наукам. Любопытно, что это говорил тот же самый Тарас Бульба, который бранил всю ученость[38] и советовал, как мы уже видели, детям вовсе не заниматься ею. С этого времени Остап начал с необыкновенным старанием сидеть за скучною книгою и скоро стал наряду с лучшими. Тогдашний род учения страшно расходился с образом жизни. Эти схоластические[39], грамматические, риторические и логические тонкости решительно не прикасались к времени, никогда не применялись и не повторялись в жизни. Ни к чему не могли привязать они своих познаний, хотя бы даже менее схоластических. Самые тогдашние ученые более других были невежды, потому что вовсе были удалены от опыта. Притом же это республиканское устройство бурсы, это ужасное множество молодых, дюжих, здоровых людей — всё это должно было им внушить деятельность совершенно вне их учебного занятия. Иногда плохое содержание, иногда частые наказания голодом, иногда многие потребности, пробуждающиеся в свежем, здоровом, крепком юноше, — всё это, соединившись, рождало в них ту предприимчивость, которая после развивалась на Запорожье. Голодная бурса рыскала по улицам Киева и заставляла всех быть осторожными. Торговки, сидевшие на базаре, всегда закрывали руками своими пироги, бублики[40], семечки из тыкв, как орлицы детей своих, если только видели проходившего бурсака. Консул[41], долженствовавший, по обязанности своей, наблюдать над подведомственными ему сотоварищами, имел такие страшные карманы в своих шароварах, что мог поместить туда всю лавку зазевавшейся торговки[В]. Эта бурса составляла совершенно отдельный мир: в круг высший, состоявший из польских и русских дворян, они не допускались. Сам воевода, Адам Кисель[42], несмотря на оказываемое покровительство Академии, не вводил их в общество и приказывал держать их построже. Впрочем, это наставление было вовсе излишне, потому что ректор и профессоры-монахи не жалели лоз и плетей, и часто ликторы[43] по их приказанию пороли своих консулов так жестоко, что те несколько недель почесывали свои шаровары. Многим из них это было вовсе ничего и казалось немного чем крепче хорошей водки с перцем; другим, наконец, сильно надоедали такие беспрестанные припарки, и они бежали на Запорожье, если умели найти дорогу и если сами не были перехватываемы на пути. Остап Бульба, несмотря на то, что начал с большим старанием учить логику и даже богословие[В], но никак не

избавлялся неумолимых розг. Естественно, что все это должно было как-то ожесточить характер и сообщить ему твердость, всегда отличавшую козаков. Остап считался всегда одним из лучших товарищей. Он редко предводительствовал другими в дерзких предприятиях — обобрать чужой сад или огород, но зато он был всегда одним из первых, приходивших под знамена предприимчивого бурсака, и никогда, ни в каком случае не выдавал своих товарищей. Никакие плети и розги не могли заставить его это сделать. Он был суров к другим побуждениям, кроме войны и разгульной пирушки; по крайней мере никогда почти о другом не думал. Он был прямодушен с равными. Он имел доброту в таком виде, в каком она могла только существовать при таком характере и в тогдашнее время. Он душевно был тронут слезами бедной матери, и это одно только его смущало и заставляло задумчиво опустить голову.

Меньшой брат его, Андрий, имел чувства несколько живее и как-то более развиты. Он учился охотнее и без напряжения, с каким обыкновенно принимается тяжелый и сильный характер. Он был более изобретатель, нежели его брат; чаще являлся предводителем довольно опасного предприятия и иногда с помощию изобретательного ума своего умел увертываться от наказания, тогда как брат его, Остап, отложивши всякое попечение, скидал с себя свитку и ложился на пол, вовсе не думая просить о помиловании. Он также кипел жаждою подвига, но вместе с нею душа его была доступна и другим чувствам. Потребность любви вспыхнула в нем живо, когда он перешел за 18 лет. Женщина чаще стала представляться горячим мечтам его. Он, слушая философические диспуты[44], видел ее поминутно — свежую, черноокую, нежную. Пред ним беспрерывно мелькали ее сверкающие, упругие перси; нежная, прекрасная, вся обнаженная рука; самое платье, облипавшее вокруг ее свежих, девственных и вместе мощных членов, дышало в мечтах его каким-то невыразимым сладострастием. Он тщательно скрывал от своих товарищей эти движения страстной юношеской души, потому что в тогдашний век было стыдно и бесчестно думать козаку о женщине и любви, не отведав битвы. Вообще в последние годы он реже являлся предводителем какой-нибудь ватаги, но чаще бродил один где-нибудь в уединенном закоулке Киева, потопленном в вишневых садах, среди низеньких домиков, заманчиво глядевших на улицу. Иногда он забирался и в улицу аристократов, в нынешнем старом Киеве, где жили малороссийские и польские дворяне и домы были выстроены с некоторою прихотливостию. Один раз, когда он зазевался, наехала почти на него колымага[45] какого-то польского пана, и сидевший на козлах возница с престрашными усами хлыстнул его довольно исправно бичом. Молодой бурсак вскипел: с безумною смелостию схватил он мощною рукою своею за заднее колесо и остановил колымагу.

Но кучер, опасаясь разделки, ударил по лошадям, они рванули — и Андрий, к счастию успевший отхватить руку, шлепнулся на землю[в], прямо лицом в грязь. Самый звонкий и гармонический смех раздался над ним. Он поднял глаза и увидел стоявшую у окна брюнетку, прекрасную, как не знаю что, черноглазую и белую, как снег, озаренный утренним румянцем солнца. Она смеялась от всей души, и смех придавал какую-то сверкающую силу ее ослепительной красоте. Он оторопел. Он глядел на нее совсем потерявшись, рассеянно обтирая с лица своего грязь, которою еще более замазывался. Кто бы была эта красавица? Он хотел было узнать от дворни, которая кучею, в богатом убранстве, стояла за воротами, окруживши игравшего молодого бандуриста. Но дворня подняла смех, увидевши его запачканную рожу, и не удостоила его ответом. Наконец он узнал, что это была дочь приехавшего на время ковенского воеводы[46]. В следующую же ночь, с свойственною одним бурсакам дерзостию, он пролез чрез частокол в сад, взлез на дерево, раскинувшееся ветвями, упиравшими в самую крышу дома; с дерева перелез на крышу и чрез трубу камина пробрался прямо в спальню красавицы, которая в это время сидела перед свечою и[в] вынимала из ушей своих дорогие серьги. Прекрасная полячка так испугалась, увидевши вдруг перед собою незнакомого человека, что не могла произнесть ни одного слова; но когда увидела, что бурсак стоял, потупив глаза и не смея от робости поворотить рукою, когда узнала в нем того же самого, который хлопнулся перед ее глазами на улице, смех вновь овладел ею. Притом в чертах Андрия ничего не было страшного: он был очень хорош собою. Она от души смеялась и долго забавлялась над ним. Красавица была ветрена, как полячка, но глаза ее, глаза чудесные, пронзительно-ясные, бросали взгляд[в] долгий, как постоянство. Бурсак не мог поворотить рукою и был связан, как в мешке, когда дочь воеводы смело подошла к нему, надела ему на голову свою блистательную диадему, повесила на губы ему серьги и накинула на него кисейную прозрачную шемизетку с фестонами[47], вышитыми золотом. Она убирала его и делала с ним тысячу разных глупостей с развязностию дитяти, которою отличаются ветреные[в] полячки и которая повергла бедного бурсака в еще большее смущение[в]. Он представлял смешную фигуру, раскрывши рот и глядя неподвижно в ее ослепительные очи. Раздавшийся у дверей стук пробудил в ней испуг. Она велела ему спрятаться под кровать, и как только беспокойство прошло, она кликнула свою горничную, пленную татарку, и дала ей приказание осторожно вывесть его в сад и оттуда отправить через забор. Но на этот раз бурсак наш не так счастливо перебрался через забор: проснувшийся сторож хватил его порядочно по ногам, и собравшаяся дворня долго колотила его уже на улице, покамест быстрые ноги не спасли его. После этого проходить возле дома было очень опасно, потому что дворня

у воеводы была очень многочисленна. Он увидел ее еще раз в костеле: она заметила его и очень приятно усмехнулась, как давнему знакомому; он видел ее вскользь еще один раз, и после этого воевода ковенский скоро уехал, и вместо прекрасной, обольстительной брюнетки выглядывало из окон какое-то толстое лицо[В].

Вот о чем думал Андрий, повесив голову и потупив глаза в гриву коня своего.

А между тем степь уже давно приняла их всех в свои зеленые объятия, и высокая трава, обступивши, скрыла их, и только козачьи черные шапки одни мелькали между ее колосьями.

— Э, э, э! что же это вы, хлопцы, так притихли? — сказал наконец Бульба, очнувшись от своей задумчивости, — как будто какие-нибудь чернецы[48]! Ну, разом, разом! Все думки к нечистому! Берите в зубы люльки[49], да закурим, да пришпорим коней, да полетим так, чтобы и птица не угналась[В] за нами!

И козаки, прилегши несколько к коням, пропали в траве. Уже и черных шапок нельзя было видеть; одна только быстрая молния сжимаемой травы показывала бег их.

Солнце выглянуло давно на расчищенном небе и живительным теплотворным светом своим облило степь. Все, что смутно и сонно было на душе у козаков, вмиг слетело, сердца их встрепенулись[В], как птицы[В].

Степь, чем далее, тем становилась прекраснее. Тогда весь юг, всё то пространство, которое составляет нынешнюю Новороссию[50], до самого Черного моря, было зеленою девственною пустынею. Никогда плуг не проходил по неизмеримым волнам диких растений. Одни только кони, скрывавшиеся в них, как в лесу, вытоптывали их. Ничто в природе не могло быть лучше их. Вся поверхность земли представлялася зелено-золотым океаном, по которому брызнули миллионы разных цветов. Сквозь тонкие, высокие стебли травы сквозили голубые, синие и лиловые волошки; желтый дрок[51] выскакивал вверх своею пирамидальною верхушкою; белая кашка зонтикообразными шапками пестрела на поверхности; занесенный Бог знает откуда колос пшеницы наливался в гуще. Под тонкими их корнями шныряли куропатки, вытянув свои шеи. Воздух был наполнен тысячью разных птичьих свистов. В небе неподвижно стояли целою тучею ястребы, распластав свои крылья и неподвижно устремив глаза свои в траву. Крик двигавшейся в стороне тучи диких гусей отдавался Бог знает в каком дальнем озере[В]. Из травы подымалась мерными взмахами чайка и роскошно купалась в синих волнах воздуха. Вон она пропала в вышине и только мелькает одною черною точкою. Вон она перевернулась крылами и блеснула перед солнцем. Черт вас возьми, степи, как вы хороши!

Наши путешественники несколько минут только останавливались для обеда, причем ехавший с ними отряд из 10 козаков слезал с лошадей, отвязывал деревянные баклажки[52] с горелкою и тыквы, употребляемые вместо сосудов. Ели только хлеб с салом или коржи[53], пили только по одной чарке, единственно для подкрепления, потому что Тарас Бульба не позволял никогда напиваться в дороге, и продолжали путь до вечера. Вечером вся степь совершенно переменялась. Все пестрое пространство ее охватывалось последним ярким отблеском солнца и постепенно темнело, так что видно было, как тень перебегала по ним и они становились темно-зелеными; испарения подымались гуще, каждый цветок, каждая травка испускала амбру[54] [В], и вся степь курилась благовонием. По небу, изголуба-темному, как будто исполинскою кистью наляпаны были широкие полосы из розового золота; изредка белели клоками легкие и прозрачные облака, и самый свежий, обольстительный, как морские волны, ветерок едва колыхался по верхушкам травы и чуть дотрогивался к щекам[В]. Вся музыка, наполнявшая день, утихала и сменялась другою. Пестрые овражки[55] выползывали из нор своих, становились на задние лапки и оглашали степь свистом. Трещание кузнечиков становилось слышнее. Иногда слышался из какого-нибудь уединенного озера крик лебедя и, как серебро, отдавался в воздухе[В].

Путешественники, остановившись среди полей, избирали ночлег; раскладывали огонь и ставили на него котел, в котором варили себе кулиш[56]; пар отделялся и косвенно дымился на воздухе[В]. Поужинав[В], козаки ложились спать, пустивши по траве спутанных коней своих. Они раскидывались на свитках. На них прямо глядели ночные звезды. Они слышали своим ухом весь бесчисленный мир насекомых, наполнявших траву, весь их треск, свист, краканье, — все это звучно раздавалось среди ночи, очищалось в свежем ночном воздухе и доходило до слуха гармоническим. Если же кто-нибудь из них подымался и вставал на время, то ему представлялась степь усеянною блестящими искрами светящихся червей[57]. Иногда ночное небо в разных местах освещалось дальним заревом от выжигаемого по лугам и рекам сухого тростника, и темная вереница лебедей, летевших[В] на север, вдруг освещалась серебряно-розовым светом, и тогда казалось, что красные платки летели по темному небу.

Путешественники ехали без всяких приключений. Нигде не попадались им деревья, все та же бесконечная, вольная, прекрасная степь. По временам только в стороне синели верхушки отдаленного леса, тянувшегося по берегам Днепра. Один только раз Тарас указал сыновьям на маленькую, черневшую в дальней траве точку, сказавши: «Смотрите, детки, вон скачет татарин!» Маленькая головка с усами уставила издали прямо на них узенькие глаза

свои, понюхала воздух, как гончая собака, и, как серна, пропала, увидевши, что козаков было тринадцать человек. «А ну, дети, попробуйте догнать татарина! И не пробуйте — вовеки не поймаете: у него конь быстрее моего Черта[58]». Однако ж Бульба взял предосторожность, опасаясь где-нибудь скрывшейся засады. Они прискакали к небольшой речке, называвшейся Татаркою, впадающею в Днепр, кинулись в воду с конями своими и долго плыли по ней, чтобы скрыть след свой, и тогда уже, выбравшись на берег, они продолжали далее путь.

Через три дня после этого они были уже недалеко от места, служившего предметом их поездки. В воздухе вдруг захолодело; они почувствовали близость Днепра. Вот он сверкает вдали и темною полосою отделился от горизонта. Он веял холодными волнами и расстилался ближе, ближе и наконец обхватил половину всей поверхности земли. Это было то место Днепра, где он, дотоле спертый порогами, брал наконец свое и шумел, как море, разлившись по воле, где брошенные в средину его острова вытесняли его еще далее из берегов и волны его стлались по самой земле, не встречая ни утесов, ни возвышений. Козаки сошли с коней своих, взошли на паром и чрез три часа[В] плавания были уже у берегов острова Хортицы, где была тогда Сеча, так часто переменявшая свое жилище[59]. Куча народа бранилась на берегу с перевозчиками. Козаки оправили коней; Тарас приосанился, стянул на себе покрепче пояс и гордо провел рукою по усам. Молодые сыны его тоже осмотрели себя с ног до головы с каким-то страхом и неопределенным удовольствием, и все вместе въехали в предместье, находившееся за полверсты от Сечи. При въезде их оглушили пятьдесят кузнецких молотов[В], ударявших в двадцати пяти кузницах, покрытых дерном и вырытых в земле[В]. Сильные кожевники сидели под навесом крылец на улице и мяли своими дюжими руками бычачьи кожи. Крамари под ятками[60] сидели с кучами кремней, огнивами и порохом. Армянин развесил дорогие платки[В]. Татарин ворочал на рожнах бараньи катки[61] с тестом. Жид, выставив вперед свою голову, точил из бочки горелку[62 В]. Но первый, кто попался им навстречу, это был запорожец, спавший на самой средине дороги, раскинув руки и ноги. Тарас Бульба не мог не остановиться и не полюбоваться на него.

— Эх, как важно развернулся! Фу ты, какая пышная фигура! — говорил он, остановивши коня[В]. В самом деле, это была картина довольно смелая: запорожец, как лев, растянулся на дороге. Закинутый гордо чуб его захватывал на пол-аршина[63] земли. Шаровары алого дорогого сукна были запачканы дегтем, для показания полного к ним презрения[В].

Полюбовавшись, Бульба пробирался далее сквозь тесную улицу, которая была загромождена мастеровыми, тут же отправлявшими ремесло свое,

и людьми всех наций, наполнявших это предместие Сечи, которое было похоже на ярмарку и которое одевало и кормило Сечь[64], умевшую только гулять да палить из ружей.

Наконец они минули предместие и увидели несколько разбросанных куреней, покрытых дерном или, по-татарски, войлоком. Иные установлены были пушками. Нигде не видно было забора или тех низеньких домиков с навесами на низеньких деревянных столбиках, какие были в предместье. Небольшой вал и засека[65], не хранимые решительно никем, показывали страшную беспечность. Несколько дюжих запорожцев, лежавших с трубками в зубах на самой дороге, посмотрели на них довольно равнодушно и не сдвинулись с места. Тарас осторожно проехал с сыновьями между них, сказавши: «Здравствуйте, панове!» — «Здравствуйте и вы!» — отвечали запорожцы. На пространстве пяти верст[66] были разбросаны толпы народа. Они все собирались в небольшие кучи[В]. Так вот Сечь![В] Вот то гнездо, откуда вылетают все те гордые и крепкие, как львы![В] Вот откуда разливается воля и Козачество на всю Украйну!

Путники выехали на обширную площадь, где обыкновенно собиралась Рада[67]. На большой опрокинутой бочке сидел запорожец без рубашки; он держал в руках ее и медленно зашивал на ней дыры[В]. Им опять перегородила дорогу целая толпа музыкантов, в средине которых отплясывал молодой запорожец, заломивши чертом свою шапку и вскинувши руками. Он кричал только: «Живее играйте, музыканты! Не жалей, Фома[68], горелки православным Христианам!» И Фома с подбитым глазом мерял без счету каждому пристававшему по огромнейшей кружке. Около молодого запорожца четыре старых выработывали довольно мелко своими ногами[В], вскидывались, как вихорь, на сторону, почти на голову музыкантам, и вдруг, опустившись, неслися вприсядку и били круто и крепко своими серебряными подковами тесно убитую землю. Земля глухо гудела на всю округу, и в воздухе только отдавалось: тра-та-та, тра-та-та. Толпа, чем далее, росла: к танцующим приставали другие, и вся почти площадь покрылась приседающими запорожцами. Это имело в себе что-то разительно-увлекательное[В]. Нельзя было без движения всей души видеть, как вся толпа отдирала танец, самый вольный, самый бешеный, какой только видел когда-либо мир, и который, по своим мощным изобретателям, носит название козачка[69 В].

Тарас Бульба крякнул от нетерпения и досадуя, что конь, на котором сидел он, мешал ему пуститься самому. Иные были чрезвычайно смешны своею важностью, с какою они работали ногами. Чресчур дряхлые, прислонившись к столбу, к которому обыкновенно на Сече привязывали преступника, топали и переминали ногами. Крики и песни, какие только могли прийти в голову человеку в разгульном веселье, раздавались свободно.

Тарас скоро встретил множество знакомых лиц. Остап и Андрий слышали только приветствия: «А, это ты, Печерица! Здравствуй, Козолуп!» — «Откуда Бог несет тебя, Тарас?» — «Ты как сюда зашел, Долото? Здравствуй, Застежка! Думал ли я видеть тебя, Ремень?» И витязи, собравшиеся со всего разгульного мира восточной России[В], целовались взаимно, и тут понеслись вопросы: «А что Касьян? что Бородавка? что Колопер? что Пидсыток?» И слышал только в ответ Тарас Бульба, что Бородавка повешен в Толопане, что с Колопера содрали кожу под Кизикирменом[70], что Пидсыткова голова посолена в бочке и отправлена в самый Царь-Град. — Понурил голову старый Бульба и раздумчиво говорил: «Добрые были козаки!»

III

Уже около недели Тарас Бульба жил с сыновьями своими на Сече. Остап и Андрий мало могли заниматься военною школою, несмотря на то, что отец их особенно просил опытных и искусных наездников быть им руководителями. Вообще можно сказать, что на Запорожье не было никакого теоретического изучения или каких-нибудь общих правил; все юношество воспитывалось и образовывалось в ней одним опытом, в самом пылу битв, которые оттого были почти беспрерывны. Промежутки[В] же между ними козаки почитали скучным занимать изучением какой-нибудь дисциплины. Очень редкие имели примерные турниры[В]. Они всё время отдавали гульбе — признаку широкого размета душевной воли[В]. Вся Сеча представляла необыкновенное явление. Это было какое-то беспрерывное пиршество, бал, начавшийся шумно и потерявший конец свой. Некоторые занимались ремеслами, иные держали лавочки и торговали; но большая часть гуляла с утра до вечера, если в карманах звучала возможность и добытое добро не перешло еще в руки торгашей и шинкарей[71]. Это общее пиршество имело в себе что-то околдовывающее. Это не было какое-нибудь сборище бражников, напивавшихся с горя; это было просто какое-то бешеное разгулье веселости. Всякий приходящий сюда позабывал и бросал все, что дотоле его занимало. Он, можно сказать, плевал на все прошедшее и с жаром фанатика предавался воле и товариществу таких же, как сам, не имевших ни родных, ни угла, ни семейства, кроме вольного неба и вечного пира души своей[В]. Это производило ту бешеную веселость, которая не могла бы родиться ни из какого другого источника. Рассказы, балагуры, которые можно было слышать среди собравшейся толпы, лежавшей на земле, так были смешны и дышали таким глубоким юмором, что нужно было иметь только флегматическую

наружность запорожца, чтобы не смеяться ото всей души. Это не был какой-нибудь пьяный кабак, где бессмысленно, мрачно, искаженными чертами веселия забывается человек; это был тесный круг школьных товарищей. Вся разница была только в том, что, вместо сидения за указкой и пошлых толков учителя, они производили набег на пяти тысячах[В] коней, вместо луга, на котором производилась игра в мячик, у них были неохраняемые, беспечные границы, в виду которых татарин выказывал быструю свою голову и неподвижно, сурово глядел турок в зеленой чалме своей. Разница та, что, вместо насильной воли, соединившей их в школе, они сами собою кинули отцов и матерей и бежали из родительских домов своих; что здесь были те, у которых уже моталась около шеи веревка и которые, вместо бледной смерти, увидели жизнь, и жизнь во всем разгуле; что здесь были те, которые по благородному обычаю не могли удержать в кармане своем копейки; что здесь были те, которые дотоле червонец[72] считали богатством, у которых, по милости арендаторов-жидов, карманы можно было выворотить без всякого опасения что-нибудь уронить. Здесь были все бурсаки[В], которые не вынесли академических лоз[В] и которые не вынесли из школы ни одной буквы; но вместе с этими здесь были и те, которые знали, что такое Гораций, Цицерон и Римская республика[73]. Тут было множество образовавшихся опытных партизанов, которые имели благородное убеждение мыслить: что все равно, где бы ни воевать, только бы воевать, потому что неприлично благородному человеку быть без битвы. Здесь было много офицеров из польских войск; впрочем, из какой нации здесь не было народа? Эта странная республика была именно потребность того века. Охотники до военной жизни, до золотых кубков, богатых парчей, дукатов и реалов[74] во всякое время могли найти здесь себе работу. Одни только обожатели женщин не могли найти здесь ничего, потому что даже в предместье Сечи не смела показаться ни одна женщина[75]. Остапу и Андрию показалось чрезвычайно странным, что при них же приходила на Сечу гибель народа, и хоть бы кто-нибудь спросил их, откуда они, кто они и как их зовут. Они приходили сюда, как будто бы возвращались в свой собственный дом, из которого только за час перед тем вышли. Пришедший являлся только к кошевому[76], который обыкновенно говорил:

— Здравствуй, что, во Христа веруешь?

— Верую! — отвечал приходивший.

— И[В] в Троицу Святую веруешь?

— Верую!

— И в церковь ходишь?

— Хожу[В].

— А ну перекрестись! — Пришедший крестился.

— Ну, хорошо, — отвечал кошевой, — ступай же в который сам знаешь курень.

Этим оканчивалась вся церемония. И вся Сечь молилась в одной церкви и готова была защищать ее до последней капли крови, хотя и слышать не хотела о посте и воздержании. Только побуждаемые сильною корыстию жиды, армяне и татары осмеливались жить и торговать в предместье, потому что запорожцы никогда не любили торговаться, а сколько рука вынула из кармана денег, столько и платили. Впрочем, участь этих корыстолюбивых торгашей была очень жалка. Они были похожи на тех, которые селились у подошвы Везувия, потому что как только у запорожцев не ставало денег, то удалые разбивали их лавочки и брали всегда даром[в]. Такова была та Сечь, имевшая столько приманок для молодых людей. Остап и Андрий кинулись, со всею пылкостию юношей, в это разгульное море. Они скоро позабыли и юность, и бурсу, и дом отцовский, и все, что тайно волнует еще свежую душу. Они гуляли, братались с беззаботными бездомовниками и, казалось, не желали никакого изменения такой жизни. Между тем Тарас Бульба начинал думать о том, как бы скорее затеять какое-нибудь дело: он не мог долго оставаться в недеятельности.

— Что, кошевой, — сказал он один раз, пришедши к атаману, — может быть, пора бы погулять запорожцам?

— Негде погулять, — отвечал кошевой, вынувши изо рта маленькую трубку и сплюнув в сторону.

— Как негде? Можно пойти в Турещину или на Татарву[77].

— Не можно ни в Турещину, ни в Татарву, — отвечал кошевой, взявши опять в рот трубку.

— Как не можно?

— Так. Мы обещали султану мир.

— Да он ведь бусурмен: и Бог и Священное Писание велит бить бусурменов.

— Не имеем права. Если б мы не клялись нашею Верою, то, может быть, как-нибудь еще и можно было.

— Как же это, кошевой? Как же ты говоришь, что права не имеем? Вот у меня два сына, молодые люди, — им нужно приучиться и узнать, что такое война[78], а ты говоришь, что запорожцам не нужно на войну идти.

— Что ж делать? — отвечал кошевой с таким же хладнокровием. — Нужно подождать.

Но этим Бульба не был доволен. Он собрал кое-каких старшин и куренных атаманов и задал им пирушку на всю ночь. Загулявшись до последнего разгула, они вместе отправились на площадь, где обыкновенно собиралась Рада и стояли привязанные к столбу литавры, в которые обыкновенно били

сбор на Раду. Не нашедши палок, хранившихся всегда у довбиша[79], они схватили по полену и начали колотить в них. На бой прежде всего прибежал довбиш, высокий человек, с одним только глазом, несмотря на то, страшно заспанным.

— Кто смеет бить в литавры? — закричал он.

— Молчи! возьми свои палки, да и колоти, когда тебе велят, — отвечали подгулявшие старшины.

Довбиш вынул тотчас из кармана палки, которые он взял с собою, очень хорошо зная окончание подобных происшествий. Литавры грянули — и скоро на площадь, как шмели, начали собираться черные кучи запорожцев.

За кошевым отправились несколько человек и привели его на площадь.

— Не бойся ничего! — сказали вышедшие к нему навстречу старшины. — Говори миру речь, когда хочешь, чтобы не было худого, говори речь об том, чтобы идти запорожцам на войну против бусурманов!

Кошевой, увидевши, что дело не на шутку, вышел на середину площади, раскланялся на все четыре стороны и произнес:

— Панове запорожцы, добрые молодцы! позволит ли Господарство ваше речь держать?

— Говори, говори! — зашумели запорожцы.

— Вот в рассуждении того теперь идет речь, Панове добродийство[80], да вы, может быть, и сами лучше это знаете, что многие запорожцы позадолжались в шинки жидам и своим братьям столько, что ни один черт теперь и веры неймет[81]. Притом же, в рассуждении того, есть очень много[B] таких хлопцев, которые еще и в глаза не видали, что такое война, тогда как молодому человеку, и сами знаете, панове, без войны не можно пробыть. Какой и запорожец из него, естьли он еще ни раза не бил бусурмана?

— Вишь, он хорошо говорит, — сказал писарь, толкнув локтем Бульбу. Бульба кивнул головою.

— Не думайте, панове, чтобы я, впрочем, говорил это для того, чтобы нарушить мир. Сохрани Бог, я только так это говорю. Притом же у нас храм Божий грех сказать, что такое. Вот сколько лет уже, как по милости Божией стоит Сечь, а до сих пор не то уже чтобы наружность церкви, но даже внутренние образа без всякого убранства. Хотя бы серебряную рясу[82] кто догадался им выковать. Они только то и получили, что отказали в духовной иные козаки[B]. Да и даяние их было бедное, потому что они почти всё еще пропили при жизни своей. Так я все веду речь эту не к тому, чтобы начать войну с бусурманами. Ибо мы обещали султану мир, и нам бы великий был грех, потому что мы клялись по закону нашему.

— Вишь, проклятый! что это он путает такое? — сказал Бульба писарю.

— Да, так видите, панове, что войны не можно начать. Честь лыцарская не велит. А по своему бедному разуму вот что я думаю: пустить с челнами одних молодых. Пусть немного пошарпают берега Анатолии[83]. Как думаете, панове?

— Веди, веди всех! — закричала со всех сторон толпа. — За веру мы готовы положить головы!

Кошевой испугался. Он нимало не желал тревожить всего Запорожья. Притом ему казалось неправым делом разорвать мир.

— Позвольте, панове, речь держать?

— Довольно! [В] — кричали запорожцы. — Лучшего не скажешь.

— Когда так, то пусть по-вашему, только для нас будет еще большее раздолье. Вам известно, панове, что султан не оставит безнаказанно то удовольствие, которым потешатся молодцы. А мы, вот видите, будем наготове, и силы у нас будут свежие. Притом же и татарва может напасть во время нашей отлучки. Да естьли сказать правду, то у нас и челнов нет в запасе, чтобы можно было всем отправиться. А я, пожалуй, я рад, я слуга вашей воли[В].

Хитрый атаман замолчал. Кучи начали переговариваться, куренные атаманы совещаться, и решили на том, чтобы отправить несколько молодых людей под руководством опытных и старых.

Таким образом все были уверены, что они совершенно по справедливости предпринимают свое предприятие. Такое понятие о праве весьма было извинительно народу, занимавшему опасные границы среди буйных соседей. И странно, естьли бы они поступили иначе. Татары раз десять перерывали свое шаткое перемирие и служили обольстительным примером. Притом, как можно было таким гульливым рыцарям и в такой гульливый век пробыть несколько недель без войны?

Молодежь бросилась к челнам осматривать их и снаряжать в дорогу. Несколько плотников явились вмиг с топорами в руках. Старые, загорелые, широкочленистые запорожцы с проседью в усах, засучив шаровары, стояли по колени в воде и стягивали их с берега крепким канатом. Несколько человек было отправлено в скарбницу[84] на противуположный утесистый берег Днепра, где в неприступном тайнике они скрывали часть приобретенных орудий и добычу. Бывалые поучали других с каким-то наслаждением, сохраняя при всем том степенный, суровый вид. Весь берег получил движущийся вид, и хлопотливость овладела дотоле беспечным народом.

В это время большой паром начал причаливать к берегу. Стоявшая на нем куча людей еще издали махала руками. Куча состояла из козаков в оборванных свитках. Беспорядочный костюм (у них ничего не было, кроме рубашки и трубки) показывал, что они были слишком угнетены бедою[В] или

уже чересчур гуляли и прогуляли все, что ни было на теле. Между ними отделился и стал впереди приземистый, плечистый, лет пятидесяти[в] человек. Он кричал сильнее других и махал рукою сильнее всех.

— Бог в помощь вам, панове запорожцы!

— Здравствуйте! — отвечали работавшие в лодках, приостановив свое занятие.

— Позвольте, панове запорожцы, речь держать!

— Говори.

И толпа усеяла и обступила весь берег.

— Слышали ли вы, что делается на Гетманщине[85]?

— А что? — произнес один из куренных атаманов.

— Такие дела делаются, что и рассказывать нечего[в].

— Какие же дела?

— Что и говорить. И родились и крестились, еще не видали такого, — отвечал приземистый козак, поглядывая с гордостью владеющего важной тайной[в].

— Ну, ну рассказывай, что такое! — кричала в один голос толпа.

— А разве вы, панове, до сих пор не слыхали?

— Нет, не слыхали.

— Как же это? что ж, вы разве за горами живете, или татарин заткнул клейтухом[86] уши ваши?

— Рассказывай! полно толковать! — сказали несколько старшин, стоявших впереди.

— Так вы не слышали ничего про то, что жиды уже взяли церкви святые, как шинки на аренды[87]?

— Нет.

— Так вы не слышали и про то, что уже Христианину и пасхи не можно есть, покамест рассобачий жид не положит значка нечистою своею рукою[88 в]?

— Ничего не слышали! — кричала толпа, подвигаясь ближе.

— И что ксендзы ездят из села в село в таратайках[89], в которых запряжены пусть бы еще кони, это бы еще ничего, а то просто православные Христиане. Так вы, может быть, и того не знаете, что нечистое католичество хочет, чтобы мы кинули и веру нашу Христианскую? Вы, может быть, не слышали и об том, что уже из поповских риз жидовки шьют себе юбки?

— Стой, стой! — прервал кошевой, дотоле стоявший, углубивши глаза в землю, как и все запорожцы, которые в важных делах никогда не отдавались первому порыву, но молчали и между тем в тишине совокупляли в себе[в] всю железную силу негодования. — Стой! и я скажу слово: а что ж

вы, враг бы поколотил вашего батька, что ж вы, разве у вас сабель не было, что ли? Как же вы попустили такому беззаконию?

— Э, как попустили такому беззаконию! — отвечал приземистый козак. — А попробовали бы вы, когда пятьдесят тысяч было одних ляхов, да еще к тому и часть гетманцев приняла их веру.

— А Гетман ваш, а полковники что делали?

— Э, Гетман и полковники! А знаете, где теперь Гетман и полковники?

— Где?

— Полковников головы и руки развозят по ярмаркам[В], а Гетман, зажаренный в медном быке, и до сих пор лежит еще в Варшаве[90].

Содрогание пробежало[В] по всей толпе; молчание, какое обыкновенно[В] предшествует буре, остановилось на устах всех, и, миг после того, чувства, подавляемые дотоле в душе силою дюжего характера, брызнули целым потоком речей[В].

— Как, чтобы нашу Христову веру гнала проклятая жидова? чтобы эдакое делать с православными Христианами, чтобы так замучить наших, да еще кого? полковников и самого Гетмана! Да чтобы мы стерпели все это? Нет, этого не будет!

Такие слова перелетали во всех концах обширной толпы народа[В]. Зашумели запорожцы и разом почувствовали свои силы[В]. Это не было похоже на волнение народа легкомысленного. Тут волновались всё характеры тяжелые и крепкие. Они раскалялись медленно, упорно, но зато раскалялись, чтобы уже долго не остыть.

— Как, чтобы жидовство над нами пановало! А ну, паны-браты, перевешаем всю жидову! Чтобы и духу ее не было! — произнес кто-то из толпы. Эти слова пролетели молнией, и толпа ринулась на предместье, с сильным желанием перерезать всех жидов.

Бедные сыны Израиля, растерявши все присутствие своего и без того мелкого духа, прятались в пустых горелочных бочках, в печках и даже заползывали под юбки своих жидовок. Но неумолимые, беспощадные мстители везде их находили.

— Ясновельможные паны! — кричал один высокий и тощий жид, высунувши из кучи своих товарищей жалкую[В] свою рожу, исковерканную страхом. — Ясновельможные паны! Мы такое объявим вам, чего еще никогда не слышали, такое важное, что не можно сказать, какое важное.

— Ну, пусть скажут! — сказал Бульба, который всегда любил выслушать обвиняемого.

— Ясные паны! — произнес жид. — Таких панов еще никогда не видывано. — Ей-Богу! никогда. Таких добрых, хороших и храбрых не было еще на свете... — Голос его умирал и дрожал от страха. — Как можно, что-

бы мы думали про запорожцев что-нибудь нехорошее. Те совсем не наши, что арендаторствуют на Украйне! Ей-Богу, не наши! то совсем не жиды: то черт знает что. То такое, что только поплевать на него, да и бросить. Вот и они скажут то же. Не правда ли, Шлема, или ты, Шмуль[91]?

— Ей-Богу, правда! — отвечали из толпы Шлема и Шмуль, в изодранных яломках[92], оба белые, как глина.

— Мы никогда еще, — продолжал высокий жид, — не соглашались с неприятелями. А католиков мы и знать не хотим: пусть им черт приснится! Мы с запорожцами как братья родные...

— Как? чтоб запорожцы были с вами братья? — произнес один из толпы. — Не дождетесь, проклятые жиды! В Днепр их, панове, всех потопить поганцев!

Эти слова были сигналом, жидов расхватали по рукам и начали швырять в волны, жалкий крик раздался со всех сторон; но суровые запорожцы только смеялись, видя, как жидовские ноги в башмаках и чулках болтались на воздухе[в]. Бедный высокий оратор[в], накликавший сам на свою шею беду, схватил за ноги Бульбу и жалким голосом молил:

— Великий Господин, Ясне-вельможный пан. Я знал и брата вашего, покойного Дороша[93]. Какой был славный воин! Я ему восемьсот цехинов[94] дал, когда нужно было выкупиться из плена у турков.

— Ты знал брата? — спросил Тарас.

— Ей-Богу, знал: великодушный был пан.

— А как тебя зовут?

— Янкель[95].

— Хорошо, я тебя проведу. — Сказавши это, Тарас повел его к своему обозу, возле которого стояли козаки его. — Ну полезай под телегу, лежи там и не пошевелись, а вы, братцы, не выпускайте жида.

Сказавши это, он отправился на площадь, потому что раздавшийся бой литавров возвестил собрание Рады. Несмотря на свою печаль и сокрушение о случившихся на Украйне несчастиях, он был несколько доволен представлявшимся широким раздольем для подвигов, и притом для подвигов таких, которые представляли ему мученический венец по смерти[96].

Вся Сечь, всё, что было на Запорожье, собралось на площадь. Старшины, куренные атаманы по коротком совещании решили на том, чтобы идти с войсками прямо на Польшу, так как оттуда произошло все зло, желая внести опустошение в землю неприятельскую и предвидя себе при этом добычу[в].

И вся Сечь вдруг преобразилась. Везде были только слышны пробная стрельба из ружей, бряканье саблей, скрып телег, всё подпоясывалось, облачалось. Шинки были заперты; ни одного человека не было пьяного. Не-

обыкновенная деятельность сменила вдруг необыкновенную беспечность. Кошевой вырос на целый аршин. Это уже не был тот робкий исполнитель ветреных желаний[в] вольного народа. Это был неограниченный повелитель. Это был почти деспот, умевший только повелевать. Все своевольные и гульливые рыцари стройно стояли в рядах, почтительно опустив головы, не смея поднять глаз, когда он раздавал повеления тихо, с расстановкою, как глубоко знающий свое дело и уже не в первый раз приводивший его в исполнение. В деревянной небольшой церкви служил священник молебен, окропил всех святою водою, все целовали крест. Когда все Запорожское войско вышло из Сечи, головы всех обратились назад.

— Прощай, наша мать! — сказали почти все в одно слово. — Пусть же тебя хранит Бог от всякого несчастия!

Проходя предместие, Тарас Бульба увидел с изумлением, что жидок его уже раскинул свою лавочку и продавал какие-то кремешки и всякую дрянь.

— Дурень, что ты здесь сидишь? — сказал он ему. — Разве хочешь, чтобы тебя застрелили, как воробья?

— Молчите, — отвечал жид. — Я пойду за вами и войском и буду продавать провиант по такой дешевой цене, по какой еще никогда никто не продавал. Ей-Богу, так! Вот увидите!

Бульба пожал плечами и отъехал к своему отряду.

IV

Скоро весь польский юго-запад сделался добычею страха; везде только и слышно было про запорожцев. Скудельные[97] южные города и села были совершенно стираемы[в] с лица земли. Арендаторы-жиды были вешаны кучами вместе с католическим духовенством. Запорожцы, как бы пируя, протекали путь свой, оставляя за собою пустые пространства. Нигде не смел остановить их отряд польских войск: они были рассеваемы при первой схватке. Ничто не могло противиться азиатской атаке их. Прелат, находившийся тогда в Радзивилловском монастыре[98], прислал от себя двух монахов с представлением, что между запорожцами и правительством существует согласие и что они явно нарушают свою обязанность к королю, а вместе с тем и народные права.

— Скажи епископу от лица всех запорожцев, — сказал кошевой, — чтобы он ничего не боялся: это козаки еще только люльки раскуривают.

И скоро величественное аббатство обхватилось сокрушительным пламенем, и колоссальные готические окна его сурово глядели сквозь разделявшиеся волны огня. Бегущие толпы монахов, солдат, жидов наводнили

многолюдные города и деревни, почти оставленные[В] на произвол неприятеля.

Один только город Дубно[99] не сдавался[В]. Этим были раздражены все чины, в числе которых занимал не последнее место Тарас Бульба. Они положили взять его голодом. Толпы вольных наездников облегли со всех сторон его стены, расположились вместе с своими обозами, которые всегда почти за ними следовали. Жители с небольшим числом войск решились вытерпеть возможную степень бедствия и не сдаваться ни в каком случае. Запорожцы удвоили наблюдение, чтобы никакое вспомоществование не могло прийти в город, играли в чет и нечет[100], курили люльки и с убийственным хладнокровием смотрели на городские стены. Прошло две недели, и, несмотря на то, что они свои вольные набеги гораздо более предпочитали осадам городов, однако ж ничто не могло преодолеть их терпения.

Молодые, попробовавшие битв и опасностей, сгорали нетерпением, и в числе их были наши герои Остап и Андрий, вдруг приобревшие опытность в военном деле, пылкие, исполненные отваги, желавшие новых встреч, жадные узнать новые эволюции и вариации войны и показать свое умение играть опасностями. Остап, казалось, только на то и создан был, чтобы гулять в вечном пире войны. Он теперь уже казался чем-то атлетическим, колоссальным. Его движения приобрели крепкую уверенность, и все качества его, прежде незаметные, получили размер шире и казались качествами мощного льва. Андрий также погрузился весь в очаровательную музыку мечей и пуль, потому что нигде воля, забвение, смерть, наслаждение не соединяются в такой обольстительной, страшной прелести, как в битве.

Этот долгий роздых, который они имели под стенами города, им не нравился. Андрий сидел долго возле обоза своего, тогда как уже все спали, кроме некоторых, стоявших на сторóже. Ночь, июньская прекрасная ночь, с бесчисленными звездами, обнимала опустошенную землю. Вся окрестность представляла величественное зрелище: вблизи и вдали были видны зарева горевших деревень. В одном месте пламя спокойно и величественно стлалось по небу; в другом месте оно, встретив что-то горючее, вдруг вырвавшись вихрем, свистело и летело вверх под самые звезды, и оторванные охлопья его гаснули под самыми дальними небесами[В]. В одном месте обгорелый, черный монастырь, как суровый картезианский монах[101], стоял грозно, выказывая при каждом отблеске мрачное свое величие. В другом месте горело новое здание, потопленное в садах. Деревья шипели и покрывались дымом; иногда сквозь них просвечивалась лава огня, и гроздия груш, обвесивших ветви, принимали цвет червонного золота; даже видны были издали сливы, получившие фосфорический, лилово-огненный цвет;

и среди этого иногда чернело висевшее на стене здания тело бедного жида или монаха, погибавшее вместе с строением в огне. Над ним вились вдали птицы, казавшиеся кучею темных мелких крапинок в виде едва заметных крестиков на огненном поле[В]. Среди тишины одни только спутанные кони производили шум, и звонкое их ржание отдавалось с раскатами, несколько раз повторявшимися дребезжащим эхом.

Он глядел безмолвно на эту страшную и чудную[В] картину и вдруг почувствовал как будто присутствие чего-то; ему казалось, как будто возле него кто-то стоял. Он оглянулся и в самом деле увидел стоявшую подле себя женщину. Смуглые черты лица ее и азиатская физиогномия показались ему как-то знакомыми. Он стал глядеть пристальнее: так! это была татарка! та самая татарка, которая служила горничною при дочери ковенского воеводы. Он встрепенулся. Сердце сильным ударом стукнуло в его мощную грудь, и все минувшее, что было во глубине, что было закрыто, заглушено, подавлено настоящим вольным бытом, — все это всплыло[В] разом на поверхность, потопивши в свою очередь настоящее, вся гордая сила юности зажглась вдруг самым томительным приливом беспокойства, нестерпимого и страстного. Вопросы потоком излились из его груди[В]:

— Откуда? как? где твоя Панна? как ты явилась здесь? что это значит? говори, не мучь меня!

— Тише, ради Бога тише, — говорила татарка и закуталась в козацкий кобеняк[102], который было сбросила с себя. — Панна узнала вас между запорожцами. Она в городе.

— Милосердый Иисус! она здесь? что ты говоришь? она в городе?

Татарка кивнула утвердительно головою.

— Что ж она? говори, говори! что ж ты молчишь?

— Она другой день уже ничего не ела.

— Как!

— Ни у одного из жителей в городе нет куска хлеба. Все давно уже едят одну землю.

— Спаситель Иисус! И вы до сих пор не сделали ни одной вылазки?

— Нельзя. Запорожцы кругом облегли стены. Один только потаенный ход и есть; но на том самом месте стоят ваши обозы, и если только узнают этот ход, то город уже взят. Панна приказала мне все объявить вам, потому что вы не захотите изменить ей.

— Боже, изменить ей! И я ее увижу! О!.. когда бы мне не умереть только до того часу!

Вся грудь его была проникнута самым пронзительным острием радости. Он со всем пылом поспешности бросился из шатра своего, начал отыскивать все, что только мог найти съестного, и скоро два небольшие мешка были

нагружены пшеном и сухарями. Он дал их в руки татарке, закутал ее плащом и приказал сказать Панне, что он скоро будет сам; он велел татарке, отнесши припасы, ожидать его прихода. Он теперь думал только, как бы безопаснее привести ее до места, где был скрыт подземный ход. Этот ход был под самым возом, наполненным военными снарядами. К счастию его, запорожцы, по обыкновенной своей беспечности, все спали мертвецки. Тихо шел он с нею рука об руку и, желая обойти спящих, толкнул ее нечаянно локтем, кобеняк слетел, и зарево ярким блеском осветило ее белое платье. Спаситель, она открыта! все пропало. Он со страхом и мертвою, убитою душою повел глазами вокруг: Боже, какое счастие! даже зоркий сторож, стоявший на самом опасном посте, спал, склонившись на ружье. Татарка, закутавшись крепче в кобеняк, полезла под телегу, небольшой четвероугольник дерну приподнялся — и она ушла в землю.

Торопливо он воротился к своему месту, желая обсмотреть, все ли спят и все ли спокойно.

— Андрий? — сказал в это время, поднявши голову, старый Бульба, — какая это к тебе татарка приходила?

Если бы кто-нибудь в то время посмотрел на Андрия, то бы почел его за мертвеца, вставшего из могилы.

— Эй, смотри, сын, ей-Богу, отделаю тебя батогом[103] так, что до представления света будет болеть спина. Бабы не доведут тебя к добру.

Сказавши это, Бульба или был утружден заботами, или занят какимнибудь важным планом, вовсе не полагая, чтобы эта татарка была из города, а признав ее за какую-нибудь беглянку из села, с которою сын его свел интригу; как бы то ни было, только он поворотился на другую сторону и заснул.

Андрий отдохнул.

С трепещущим сердцем бросился он к обозам, обшарил, где только было съестное, нагрузил мешки и неизмеримые шаровары свои, и во все продолжение этого сердце его млело, дух занимался и, казалось, улетал при одной мысли о той радости, которая ждала его впереди. Еще раз обсмотрелся он вокруг, не чувствуя ни сердца, ни земли, ни себя, ни мира, и пополз под телегу. Небольшое отверстие вдруг открылось перед ним и снова за ним захлопнулось. Он вдруг очутился в совершенной темноте. Он чувствовал под ногами своими ступени, идущие вниз, кто-то схватил его за руку. Они шли долго; наконец ступени прекратились, под ним была гладкая земля. Свет фонаря блеснул в подземном мраке.

— Теперь идите прямо, — говорил ему голос: это была татарка.

Коридор шел под городской стеною и оканчивался такою же лестницею вверх. Наконец он очутился среди города, когда уже занялась заря

и перепархивал утренний ветер. Ни одна труба не дымилась. Мертвый вид города прерывался слабыми, болезненными стонами, которые не могли не поразить его. На страже стояли часовые, бледные как смерть: это были больше привидения, нежели люди. Среди самой дороги попался им самый ужасный, поразительный предмет: это была женщина, страшная жертва голода, лежавшая при последнем издыхании, стиснувшая зубами иссохшую свою руку. Содрогнувшись, спешил он вслед за татаркою; он летел всеми чувствами видеть ту, за счастие которой он готов был отдать всю жизнь[в]. Он взбежал на крыльцо; он взошел в комнату. Везде была тишина: всё или спало, утомленное страданием, или безмолвно мучилось. Он вступил на порог спальни. О, как замерло его сердце! как замлел он весь, когда оно ему сказало, что через секунду, чрез молнию мига, он ее увидит.

И он ее увидел, увидел ту, которая когда-то была беззаботна, весела, ветрена, шаловлива, которая когда-то надевала на него серьги и убирала его своими прекрасными, легкими, как крылья мотыльков, убранствами. Он опять увидел ее. Она сидела на диване, подвернувши под себя обворожительную, стройную ножку. Она была томна; она была бледна, но белизна ее была пронзительна, как сверкающая одежда серафима[104 в]. Гебеновые брови[105], тонкие, прекрасные, придавали что-то стремительное ее лицу, обдающее священным трепетом сладкой боязни в первый раз взглянувшего на нее. Ресницы ее, длинные, как мечтания, были опущены и темными тонкими иглами виднелись резко на ее небесном лице. — Что это было за создание! И это создание, которое, казалось, для чуда было рождено среди мира, к ногам которого повергнуть весь мир, все сокровища казалось малою жертвою, — это небесное создание терпело голод и все, что есть горького для жителей земли. Заплесневелая корка хлеба, лежавшая на золотом блюде, как драгоценность, показывала, что еще недавно здесь было чувствуемо все свирепство голода. Услышавши шум, она приподняла свою голову и обратила к нему взгляд долгий, сокрушительный. Он опять, казалось, исчезнул и потерялся[в]. Лицо ее с первого раза ему показалось как будто другим: в нем были прежние черты, но в нем же заключалась бездна новых, прекрасных, как небеса. Этот признак безмолвного страдания, этот болезненный вид... О, как она была лучше прежнего! Он бросился к ногам ее, приник и глядел в ее могучие очи. Улыбка какой-то радости сверкнула на ее устах, и в то же время слеза, как бриллиант, повисла на реснице.

— Царица! — сказал он, — что для тебя сделать? чего ты хочешь?

Она смотрела на него пристально и положила на плечо его свою чудесную руку. С пожирающим пламенем страсти покрыл он ее поцелуями.

— Нет. Я не пойду от тебя. Я умру возле тебя. Пусть же у ног твоих, пожираемый голодом, я умру, как и ты, моя Панна! и за смерть, за сладкую смерть у твоих ног, ничего не хочу!

— А твои товарищи, а твой отец, — ты должен идти к ним, — говорила она тихо. Уста ее еще долго шевелились без слов, и глаза ее, полные слез, не сводились с него.

— Что ты говоришь! — произнес Андрий со всею силою и крепостью воли. — Что бы тогда за любовь моя была, когда бы я бросил для тебя только то, что легко бросить. Нет, моя Панна, нет, моя прекрасная. Я не так люблю: отца, брата, мать, отчизну, все, что ни есть на земле, — все отдаю за тебя, все прощай! я теперь ваш! я твой! чего еще хочешь.

Она склонилась к нему головою. Он почувствовал, как электрически-пламенная щека ее коснулась его щеки, и лобзание, — у! какое лобзание! — слило уста их, прикипевшие друг к другу[В].

V

— Пане! — сказал жид Янкель, высунув свой яломок в шатер, где сидел Бульба. Это был тот самый Янкель, которого он избавил от смерти и который теперь маркитанствовал и шпионничал при запорожском войске. — Пане, знаете ли, что делается?

— А что?

— Идет пятнадцать тысяч войска польского, и пушки везут.

— Били двадцатерых, побьем и пятнадцать! — отвечал Бульба.

— А знаете ли, еще что делается?

— А что?

— Ваш сын Андрий, ой вей мир[106], что это за славный рыцарь!..

— Ну?

— Он теперь держит сторону Польши.

— Как? — подхватил Бульба, вскочивши, — чтобы дитя мое... чтобы мой сын... да я тебя убью, проклятый жид! врешь ты, чертово племя!

— Ай, ай! как можно, чтобы я врал! Пусть отцу моему не будет счастья на том свете, если я вру.

— Как! чтобы сын Тараса Бульбы да посягнул на такое дело?

— Далибуг[107], ей же Богу, так[В].

— Чтобы он продал Христову веру и отчизну?[В]

— Далибуг, так. Я его видел сам собственными глазами. Фай, какой важный рыцарь! Сто восемьдесят червонных стоят одни латы, богатые латы: все в золоте, а если бы вы увидели, как он славно муштрует солдатами.

Тарас Бульба был поражен, как будто громом.

— Ты путаешь, проклятый Иуда! Не можно, чтобы крещеное дитя продало веру. Если бы он был турок или нечистый жид... Нет, не может он так сделать! Ей-Богу, не может!

Но, однако же, он вспомнил, что уже два дни, как его не видал, он вспомнил про татарку, появлявшуюся в его ставке, — и глаза его сверкнули. Ярость, ярость железная, могучая, ярость тигра вспыхнула на его лице. «Вишь, чертова детина, ты таки свое взяла! Породил же тебя черт на позор всему роду!» С лицом, разгоревшимся от гнева, он вышел из ставки и дал приказ седлать коней[В]. Между тем кошевой раздавал повеления от себя быть всем в готовности и не позволять никаким образом осажденным соединиться с приближавшимися польскими войсками. Неприятельских войск было, однако же, более нежели пятнадцать тысяч. Кошевой вместе с советом старшин решили на том, чтобы усилить более ту линию, которая обращена к неприятелю. Через это цепь с противуположной стороны города ослабела. И хотя польские войска были отбиты с первого раза, и притом с большим уроном, но отряд, остававшийся в городе, решился воспользоваться малочисленностью прикрытия и действительно, сделавши вылазку, прорвался через цепь и успел соединиться почти в виду запорожцев. Бульба рвал на себе волоса с досады, что уже невозможно было уморить их всех голодом. Запорожцы сдвинулись в густую непроломную стену — маневр, всегда доставлявший им существенную выгоду, потому что тактика их соединяла азиатскую стремительность с европейскою крепостию. Неприятель, несмотря на то, что был вдвое сильнее, не был в силах удержать превосходства[В]. Битва завязалась самая жаркая и кровопролитная. Тарас Бульба занимал одно из главных начальств, и три коронные полка, не в состоянии будучи удержать его стремительной атаки, готовы были отступить и предаться бегству, как вдруг он обратил все силы свои совершенно в другую сторону.

Он завидел в стороне отряд, стоявший, по-видимому, в засаде. Он узнал среди его сына своего Андрия. Он отдал кое-какие наставления Остапу, как продолжать дело, а сам с небольшим числом бросился, как бешеный, на этот отряд. Андрий узнал его издали, и видно было издали, как он весь затрепетал. Он, как подлый трус[В], спрятался за ряды своих солдат и командовал оттуда своим войском. Силы Тараса были немногочисленны: с ним было только восемнадцать человек, но он ринулся с таким свирепством, с таким сверхъестественным стремлением, что ряды уступали со страхом перед этим разгневанным вепрем. Вряд ли тогда его можно было с чем-нибудь сравнить: шапки давно не было на его голове; волосы его развевались, как пламя, и чуб, как змея, раскидывался по воздуху; бешеный конь его грыз и кусал коней неприятельских; дорогой акшамет[108] был на нем разорван;

он уже бросил и саблю и ружье и размахивал только одной ужасной, непомерной тяжести булавой, усеянной медными иглами. Нужно было взглянуть только на лицо его, чтобы увидеть олицетворенное свирепство, чтобы извинить трусость Андрия, чувствовавшего свою душу не совсем чистою. Бледный — он видел, как гибли и рассеивались его поляки, он видел, как последние, окружавшие его уже готовы были бежать, он видел, как уже некоторые, поворотивши коней своих, бросали ружья. «Спасите! — кричал он, отчаянно простирая руки. — Куда бежите вы? глядите: он один!» Опомнившиеся воины на минуту остановились и в самом деле ободрились, увидевши, что их гонит только один с тремя утомленными козаками. Но напрасно силились бы они устоять против такой отчаянной воли[В]. «Нет, ты не уйдешь от меня!» — кричал Тарас, поражая бегущих, начинавших думать, что они имеют дело с самим дьяволом. Отчаянный Андрий сделал усилие бежать, но поздно: ужасный отец уже был перед ним. Безнадежно он остановился на одном месте. Тарас оглянулся: уже никого не было позади его, все сотоварищи его полегли в разных местах поля. Их только было двое.

— Что, сынку? — сказал Бульба, глянувши ему в очи[В].

Андрий был безответен[В].

— Что, сынку? — повторил Тарас. — Помогли тебе твои ляхи?

Андрий не произнес ни слова; он стоял, как осужденный.

— Так продать, продать веру? Проклят тот и час, в который ты родился на свет!

Сказавши это, он глянул с каким-то исступленно-сверкающим взглядом по сторонам.

— Ты думал, что я отдам кому-нибудь дитя свое? Нет! Я тебя породил, я тебя и убью. Стой и не шевелись и не проси у Господа Бога отпущения, за такое дело не прощают на том свете.

Андрий, бледный как полотно, прошептал губами одно только имя, но это не было имя родины, или отца, или матери: это было имя прекрасной полячки.

Тарас отступил на несколько шагов, снял с плеча ружье, прицелился... выстрел грянул...

Как хлебный колос, подрезанный серпом, как молодой барашек, почувствовавший смертельное железо, повис он головою и повалился на траву, не сказавши ни одного слова.

Остановился сыноубийца[В] и думал: предать ли тело изменника на расхищение и поругание, чтобы хищные птицы растрепали его и сыромахи-волки[109] расшарпали и разнесли его желтые кости, или честно погребсти в земле?[В]

В это время подъехал Остап.

— Батько! — сказал он. Тарас не слышал. — Батько, это ты убил его?
— Я, сынку!

Лицо Остапа выразило какой-то безмолвный упрек. Он бросился обнимать своего товарища и спутника, с которым двадцать лет росли вместе, жили пополам[В].

— Полно, сынку, довольно! Понесем мертвое тело, похороним! — сказал Тарас, который в то время сжал в груди своей подступавшее едкое чувство.

Они взяли тело и понесли на плечах в обгорелый лес[В], стоявший в тылу запорожских войск, и вырыли саблями и копьями яму[В].

Тарас оставил копье и взглянул на труп сына. Он был и мертвый прекрасен: мужественное лицо его, недавно исполненное силы и непобедимого для жен очарования, еще сохраняло в себе следы их; черные брови, как траурный бархат, оттеняли его побледневшие черты[В].

— Чем бы не козак был? — сказал Тарас. — И станом высокий, и чернобровый, и лицо как у дворянина, и рука была крепка в бою — пропал! пропал без славы!..

Труп опустили, засыпали землею, и чрез минуту уже Тарас размахивал саблею в рядах неприятельских как ни в чем не бывало. Разница в том только, что он бился с большим исступлением, сгорая желанием отмстить смерть сына. Прибывший в то время его собственный полк, под начальством Товкача, доставил ему значительный перевес. Он наконец узнал, кто был виною отступничества его сына, и положил, во что бы ни стало, взять город. И он бы исполнил это. Свирепый, он бы протек, как смерть, по его улицам. Он бы вытащил ее[В] своею железною рукою, ее — обворожительную, нежную[В], блистающую; свирепо повлек бы ее, схвативши за длинные, обольстительные волосы, и его кривая сабля сверкнула бы у ее голубиного горла... Но одно непредвиденное происшествие остановило его на пути непримиримой мести.

VI

В запорожское войско пришло известие, что Сечь взята, разорена татарами и большая часть остававшихся запорожцев забрана в плен вместе с несколькими пушками. В подобных случаях обыкновенно козаки старались, не теряя времени, настигнуть хищников на возвратной их дороге и перехватить добычу, потому что тремя неделями позже уже этого сделать было невозможно и пленные козаки могли вдруг очутиться на рынках Великой Азии. Кошевой положил, и мнение его подкрепили прочие чины, идти на помощь

немедленно, рассуждая, что уже довольно они отомстили за измену полякам и смерть гетманов и что опустошенные поля будут помнить, как гостили на них запорожцы. На это изъявил согласие и Бульба, хотя ему чрезвычайно хотелось взять город. Уже он отправился, чтобы отдать приказ вьючить коней и мазать телеги, как вдруг остановился и сказал:

— Я хотел спросить еще об одном у тебя, атаман! Ведь, кажется, в неприятельском войске есть наших человек тридцать в плену?[В]

— Я посылал просить размена — не соглашаются.

— Так мы, стало быть, их и оставим так?

— Что ж делать.

— Как! чтобы они опять замучили их?

— А что же делать! — отвечал кошевой. — Ведь помочь нельзя; хоть и останемся, то не одолеем, а между тем и свое прогуляем: татарва не станет ожидать нас.

— Так, стало быть, пусть еретичное поганство как хочет, так и ругается над Христианскою верою?

Кошевой пожал плечами.

— А мне кажется, атаман, так не бывать этому.

— А отчего ж бы не бывать?

— Да так; я уже знаю.

— Ова! как важно! — сказал кошевой, прижавши пальцем золу в своей люльке.

— Слышали ли вы, панове, что кошевой хочет сделать? — сказал Бульба, выходя от кошевого и обращаясь к запорожцам. — Он хочет, чтобы мы теперь же отправились[В] на Сечу, а товарищей, тех, что попались в плен неприятелю, так бы и оставили, чтобы их замучило поганое еретичество. Что вы скажете на это?

— Не послушаем мы кошевого! — сказала в один голос часть запорожцев, отделилась и стала на стороне. Их было около тысячи человек.

Кошевой вышел. Он уже слышал волнение, которое произвел неугомонный Бульба.

— Чего вы хотите? Из чего подняли вы такой гвалт! — закричал он грозно.

— Мы не хотим идти на Сечу! Мы остаемся здесь! — кричала толпа.

— Что вы? сдурели? Я вас, чертовы дети, перевяжу всех!

— Какую он может иметь власть? — сказал Тарас, обращаясь к запорожцам. — Мы вольные козаки!

— А что ж? мы вольные козаки! — говорили запорожцы.

— Дам я вам вольных! Вы где вольные? — на Сече. Вот там вы вольные! Там вы можете снять с меня достоинство, связать меня и убить, и все,

что хотите; а тут вы ни слова. Знаете ли вы, что такое военное право? — А ты что тут заводишь бунт? — сказал он, обращаясь к Бульбе.

— Нет, я не бунт чиню, а исполняю долг Христианский! — хладнокровно отвечал Тарас[в]. — Я стою за права наши, ибо мы должны защищать Христианскую кровь.

— Я тебя, старый черт, присмыкну к обозу[110].

— А ну, попробуй!

— Слушайте, пане-браты! — сказал кошевой, несколько смягчивши речь. — За что же вы оставляете тех своих товарищей, которых на Сече забрала татарва в полон? Или вы думаете, что татары поступят лучше, чем ляхи?

— То татарва, а то ляхи: другое дело, — отвечал Бульба. — Еще у бусурмена[в] есть совесть и страх Божий, а у католичества и не было и не будет. Постойте, хлопцы, и я скажу. Что, если бы вы попалися в плен да начали бы с вас живых драть кожу или жарить на сковродах[в]? Что бы вы тогда сказали? А из ваших земляков, из товарищей, из тех, что должны до последней крови защищать, из тех товарищей ни один бы не захотел подать руку помощи, что бы вы тогда сказали?

— А что бы сказали? — произнесли некоторые, — сказали бы: вы помои, а не запорожцы! — Заметно было, что слова Тараса сильно потрясли их.

— Стойте, хлопьята! и я скажу! — кричал атаман. — Ну, скажите, панове-браты, куда ваш ум делся? Посудите сами, где вам управиться с такими неприятелями? Их больше десяти тысяч, а вас, может быть, две. Ведь пропадете все на месте!

— Пропадать так пропадать! — сказал Бульба.

— Оставайтеся же тут, если уже так захотели своей погибели! А те, которые разумнее вас, гайда[111] в дорогу!

— Вы делайте свое, а мы будем делать свое! — сказал Бульба.

Обе стороны неподвижно стали одна против другой и минуту сохраняли мертвое молчание.

Наконец стоявшие в первых рядах поседевшие запорожцы, утупив глаза в землю, начали говорить:

— Оно, конечно, если рассудить по справедливости, то и вы исполняете честь лыцарскую, и мы поступаем по лыцарскому обычаю. На то и живет человек, чтобы защищать веру и обычай. Притом жизнь такое дело, что если о ней сожалеть, то уже не знаем, о чем не жалеть. Скоро будем жалеть, что бросили жен своих[112]. Нужно же попробовать, что такое смерть. Ведь пробовали всякие невзгоды в жизни. В том и другом случае мы не должны питать друг против друга никакой неприязни. Мы все запорожцы, все из

одного гнезда, всех нас вспоила Сечь, все мы братья родные... Спрашиваем каждого, не имеет ли против нас какого неудовольствия?

— Никакого! всегда были довольны! — закричали все в один голос.

— Ну, так пусть же на расставанье, что будет впредь, то Бог один знает, может быть, ни один из нас уже не увидит дружка дружку; так поцелуемся все[B].

И две тысячи войска перецеловались с двумя тысячами. Кошевой обнял Тараса.

— Ну, прощайте же, паны-браты, молодцы! Дай же, Боже, чтобы все было так, как Богу угодно! Если мы положим головы, то вы расскажете про нас, что такие-то гуляки не даром жили. Если же вы поляжете и примете честную смерть, то мы поведаем, чтобы знала вся Украйна, да и другие земли, что были такие молодцы, которые и веру Христову знали оборонять, да и товарищество уважали. Прощайте! пусть благословение Божие будет и с вами и с нами!

Обе половины войска соединились вместе, чтобы не дать узнать неприятелю о своем разделении, и отступили к обгорелому монастырю, у подошвы которого был глубокий яр[113]. Удалявшаяся половина с кошевым атаманом опустилась по скату горы и яром, невидимая неприятелем, пробиралась в тишине и молчании. Стоявший на высоте отряд польского войска не мог не заметить некоторого движения в войсках запорожских и уже решился было в тот же час сделать нападение, но французский артиллерист и инженер, служивший в польских войсках[114], большой знаток военного дела, остановил их, сказавши:

— Нет, нет, господа! это не то, что вы думаете: это больше ничего, как самая дьявольская засада. О, этот народ запороги, — сказал он, положивши палец на свой ястребиный нос, причем голос его, дотоле хриплый, пискнул дискантом, — этот народ запороги хитер, как сам черт или как капитан-дьявол[115]!

— Ну, панове молодцы! — сказал Бульба по удалении войска, — теперь пришла нам пора показать честь запорожскую. Глядите же: если придется до того, что уже не можно будет стоять против бусурменов, то, панове, чтобы все полегли на месте, чтобы ни один не остался вживе, чтобы все, как добрые товарищи, покотом[116] улеглись в одной могиле. Теперь, перед великим часом, выпьем, паны-браты, горелки, потому что судьба наша теперь похожа на свадьбу, на которой должен веселиться всякий человек.

Пятьдесят козаков отправились к обозам и вынули баклажки, готовясь[B] отправлять должность виночерпиев. Две тысячи козаков подставили свои рукавицы.

— Прежде всего, пане-браты, — сказал Бульба, поднявши вверх свою рукавицу, — долг велит выпить за веру Христову! Чтобы пришло наконец такое время, чтобы по всему свету разошлась она и все бусурмены поделались бы наконец Христианами. Да за одним уже разом и за Сечь, чтобы долго, долго она стояла на гибель всему бусурманству, чтобы с каждым годом выходили из нее молодцы один другого лучше, один другого краше. Да уже вместе выпьем и за нашу собственную славу, чтобы сказали внуки и сыны тех внуков, что были когда-то такие, что не постыдили товарищества и не выдали своих. Итак, панове-браты, чтобы как эта горелка играет и шибает пузырями, так бы и мы шли на смерть. Нуте, разом за веру!..

— За веру! — повторили ближние ряды, подняв вверх рукавицы.

— За веру! — подхватили дальние.

— За Сечь! — сказал Бульба, подняв снова рукавицу.

— За Сечь! — грянули ближние.

— За Сечь! — отозвалось в дальних.

— За славу и за всех Христиан, какие живут на Божьем свете!

— За славу и Христиан! — повторили ближние.

— За славу и Христиан! — повторили дальние.

— Теперь на коней, хлопьята[В]!

Все очутились на конях и выехали вместе стройною кучею[В]. Все дышали силою[В] свыше естественной. Это не был дикий энтузиазм, порожденный отчаянием: это было что-то совершенно другое. Какое-то вдохновение веселости, какой-то трепет величия ощущался в сердцах этой гульливой и храброй толпы. Их черные и седые усы величаво опускались вниз; их лица были исполнены уверенности. Каждое движение их было вольно и рисовалось. Вся конная колонна ударила на неприятеля твердо, не совокупляя всей своей силы, но как будто веселясь и играя своим положением. Под свист пуль выступали они, как под свадебную музыку. Без всякого теоретического понятия о регулярности, они шли с изумительною регулярностию, как будто бы происходившею оттого, что сердца их и страсти били в один такт единством всеобщей мысли. Ни один не отделялся; нигде не разрывалась эта масса. Польские войска, которые было приняли их стремительным упорством, начали отступать, пораженные робостию и думая, не сверхъестественная ли какая сила начала помогать козакам. Лучшие распоряжения армии были совершенно уничтожены этою разрушительною силою. Вся эта конная толпа неслась как-то вдохновенно, не изменяясь, не охлаждая, не увеличивая своего пыла. Это была картина, и нужно было живописцу схватить кисть и рисовать ее[117 В]. Французский инженер, который был истинный в душе артист, бросил фитиль, которым готовился зажигать пушки, и, позабывшись, бил в ладони, крича громко: «Браво, месье запороги!»

Около двух тысяч человек неприятеля было убито и столько же рассыпалось и обратилось в бегство. Свежее новоприбывшее войско остановилось как бы в недоумении. Запорожцы, с своей стороны, не решались идти далее. В виду самого неприятеля взяли они оставленные пушки, часть обоза с провиантом и отступили так же страшно, в таком же точно порядке к обгоревшему монастырю, которого положение чрезвычайно благоприятствовало укрытию. Бульба пировал вместе с запорожцами после такой славной битвы; но, когда обсмотрел и перечел ряды свои, их оставалось всего только не больше тысячи. Между тем новые войска приходили беспрестанно на помощь, и если что спасло его от неприятельского нападения, так это глубокая догадка французского инженера, заставлявшего опасаться скрытого множества запорожцев.

Между тем Бульба узнал, что запорожские пленники отправлены с конвоем по Варшавской дороге. В голове его тотчас родилась мысль перехватить их. Объявивши об этом войску, он начал тайно готовиться к отступлению. Целый день козаки мазали дегтем свои телеги, чтобы не скрыпели; большую половину пушек закопали в землю, чтобы они не могли достаться неприятелю, и продолжали беспрестанную перестрелку[в]. Часть запорожцев скинула с себя верхнюю одежду: из нее поделали чучел и расставили на стенах монастырских везде, где была стража. За монастырем они нашли дорогу, о которой, по всем вероятностям, ничего не знали неприятели. Она продиралась между двумя рытвинами и была совершенно завалена изрубленным лесом и пеплом. Пользуясь глубоким мраком ночи, они тронулись, потянулись гужом[118] со всем обозом, продирались около пяти верст и наконец пробрались на чистое поле, где совершенно уже не было видно неприятеля. Запорожцы приударили коней и понеслись. Еще полчаса времени — и они бы, верно, встретили своих закованных земляков. Они бы имели еще достаточное время броситься на проселочную дорогу, и, благодаря быстроте татарских коней, может быть, Сечь увидела бы вновь своих славных защитников. Но, как нарочно, польские войска вздумали сделать нападение на монастырь. Дальновидный инженер искусно зажег лес, к нему примыкавший, уверяя, что все будут иметь славное жаркое из козачьей дичи. Но глубокая тишина изумила их. Изумление еще более увеличилось, когда они увидели вместо замеченных ими издали запорожцев одни чучела. По всем признакам они видели, что запорожцев было небольшое число. Это увеличило их досаду, и начальствовавший войсками, человек запальчивый, в ту же минуту отдал приказ устремиться на преследование. Если бы Бульба не выбрался так громоздко, то он мог бы быть до сих пор гораздо далее и тем, может быть, ускользнуть от преследования. Но он пожалел оставить несколько пушек, а чрез несколько минут увидел подымавшуюся пыль от

многочисленного, с двух сторон шедшего войска. «Вишь, черт побери! Ляхи пронюхали», — сказал он, выпустив изо рта люльку, которую уже начал было курить с величайшим спокойствием[В].

Видя невозможность дальнейшего отступления от такого множества, он, с обыкновенным своим хладнокровием, дал повеление сдвинуть обоз в кучу и окружить его несколькими рядами запорожцев. Этот маневр считался совершенством козацкой тактики и возбуждал всегда удивление даже в самых глубоких теоретиках тогдашнего военного искусства. Его цель состояла в том, чтобы скрыть тыл. Тут козаки никогда не были побеждаемы: окружая обоз непроломною стеною, они со всех сторон были обращены лицом к неприятелю[119]. Пушки доставили им большую выгоду, не допуская их к близкой схватке и не утомляя чрез это их рядов, тем более, что неприятель, желая скорее настигнуть, отправился налегке. Войска польские, всегда отличавшиеся нетерпеливостию, уже готовы были бросить, если бы одна оплошность со стороны запорожцев не облегчила их[В].

В это время Остап, выстрелявший на своей стороне все пушечные заряды, увлекаемый пылкостию и негодуя на бездейственное положение, отделился немного подалее от обоза, вступил в мелкую перестрелку, а потом и в рукопашную битву. Его свирепое мужество рассеяло часть рядов неприятельских, но скоро он был схвачен стиснувшим его множеством, и старый Тарас видел собственными глазами, как он поднят несколькими руками, связан толстыми веревками[В] и уведен в толпу. Желание подать помощь и освободить любимого сына заставило его позабыть важность своего поста. Он отделился вместе с большею частию запорожцев от обоза и ударил в средину неприятеля, где полагал находившимся Остапа. Запорожцы совершенно затерялись в толпе, разделенные толпою. Каждый должен был действовать отдельно, и нужно было видеть, как каждый из них ворочался, как молния, на все стороны действуя и саблей, и ружейным прикладом, и нагайкою, и кием[120]. Каждый видел перед собою смерть и старался только подороже продать свою жизнь. Бульба, как гигант какой-нибудь, отличался в общем хаосе. Свирепо наносил он свои крепкие удары, воспламеняясь более и более от сыпавшихся на него. Он сопровождал все это диким и страшным криком, и голос его, как отдаленное ржание жеребца, переносили звонкие поля. Наконец сабельные удары посыпались на него кучею; он грянулся, лишенный чувств. Толпа стиснула и смяла, кони[В] растоптали его, покрытого прахом. Ни один из запорожцев не остался в живых: все полегли на месте. И ни один живой трофей не был свидетелем победы, одержанной польскими войсками.

VII

— Долго же я спал! — говорил Бульба, осматривая углы избенки, в которой он лежал, весь израненный и избитый. — Спал ли я это, или наяву видел?

— Да, чуть было ты навеки не заснул! — отвечал сидевший возле него Товкач, лицо которого одну минуту только блеснуло живостью и опять погрузилось в обыкновенное свое хладнокровие.

— Добрая была сеча! Как же это я спасся? Ведь, кажется, я совсем был под сабельными ударами, и что было далее, я уже ничего не помню...[В]

— Об том нечего толковать, как спасся; хорошо, что спасся.

Товкач был один из тех людей, которые делают дела молча и никогда не говорят о них.

На бледном и перевязанном лице Бульбы видно было усилие припомнить обстоятельства.

— А что же сын мой?.. что Остап? И он лег также вместе с другими и заслужил честную могилу?

Товкач молчал.

— Что ж ты не говоришь? Постой! помню, помню: я видел, как скрутили назад ему руки и взяли в плен[В] нечестивые католики, — и я не высвободил тебя, сын мой! Остап мой! изменила наконец сила! — Морщины сжались на лбу его, и раздумье крепко осенило лицо, покрытое рубцами.

— Молчи, пан Тарас. Чему быть, тому быть. Молчи да крепись; еще нам больше ста верст нужно проехать.

— Зачем?

— Затем, что тебя теперь ищет всякая дрянь. Знаешь ли ты, что за твою голову, если кто принесет ее, тому дадут 2 000 червонцев?

Но Тарас не слышал речей Товкача.

— Сын мой, Остап мой! — говорил он, — я не высвободил тебя!

И прилив тоски повергнул его в беспамятство. Товкач оставался целый день в избе; но с наступлением ночи он увез бесчувственного Тараса. Увернув его в воловую кожу, уложил в ящик наподобие койки, укрепил поперек седла[В] и пустился во всю прыть на татарском бегуне. Пустынные овраги и непроходимые места видели его, летевшего с тяжелою своею ношею. Товкач боялся встреч и преследований, и хотя уже он был на степи, которой хозяевами более других могли считаться запорожцы, но тогдашние границы были так неопределенны, что каждый мог прогуляться на нехранимой земле, как на своей собственности. Он не хотел везти Тараса в его хутор, почитая там его менее в безопасности, нежели на Запорожье, куда он теперь держал путь свой. Он был уверен, что встреча с прежними товарищами,

пирушки и новые битвы оживят его скорее и развлекут его. Он действительно не обманулся. Железная сила Тараса взяла верх, несмотря на то, что ему было шестьдесят лет; через две недели он уже поднялся на ноги. Но ничто не могло развлечь его. По-видимому, самые пиршества запорожцев казались ему чем-то едким. С ним неразлучно было то время, которому еще и двух месяцев не прошло, то время, когда он гулял с своими сыновьями, еще крепкими, свежими, исполненными сил, — и на этом, дотоле ничем не колеблемом лице прорывалась раздирающая горесть, и он тихо, понурив голову, говорил: «Сын мой, Остап мой!»[в]

Запорожцы собирались на морскую экспедицию. Двести челнов спущены были в Днепр; и Малая Азия видела их, с бритыми головами и длинными чубами, предававшими мечу и огню цветущие берега ее; видела чалмы своих магометанских обитателей раскиданными, подобно ее бесчисленным цветам, на смоченных кровию полях и плававшими у берегов[в]. Она видела немало запачканных дегтем запорожских шаровар, мускулистых рук с черными нагайками. Запорожцы переели и переломали весь виноград; в мечетях оставили целые кучи навозу; персидские дорогие шали употребляли вместо очкуров и опоясывали ими запачканные свои свитки. Долго еще после находили в тех местах запорожские коротенькие люльки. Они весело плыли назад; за ними гнался десятипушечный турецкий корабль и залпом из всех орудий своих разогнал, как птиц, утлые их челны. Третья часть их потонула в морских глубинах; но остальные снова собрались вместе и прибыли к устью Днепра с двенадцатью бочонками, набитыми цехинами. Но все это уже не занимало Тараса. Неподвижный, сидел он на берегу, шевеля губами и произнося: «Остап мой, Остап мой!» Перед ним сверкало и расстилалось Черное море; в дальнем тростнике кричала чайка; белый ус его серебрился, и слеза капала одна за другою[в].

Когда жид Янкель, который в то время очутился в городе Умани[121] и занимался какими-то подрядами и сношениями с тамошними арендаторами, когда жид Янкель молился, накрывшись своим довольно запачканным саваном[122], и оборотился, чтобы в последний раз плюнуть, по обычаю своей веры, как вдруг глаза его встретили стоявшего назади Бульбу. Жиду прежде всего бросились в глаза 2 000 червонных, которые были обещаны за его голову; но он тут же устыдился своей корысти и силился подавить в себе эту вечную мысль о золоте, которая как червь обвивает душу жида.

— Слушай, Янкель! — сказал Тарас жиду, который начал перед ним кланяться и запер осторожно дверь, чтобы их не видели. — Я спас твою жизнь, теперь ты сделай мне услугу!

Лицо жида несколько поморщилось.

— Какую услугу? Если такая услуга, что можно сделать, то для чего не сделать.

— Не говори ничего. Вези меня в Варшаву.

— В Варшаву? как, в Варшаву? — сказал Янкель. Брови и плечи его поднялись вверх от изумления.

— Не говори мне ничего. Вези меня в Варшаву. Что бы ни было, а я хочу еще раз увидеть его, сказать ему хоть одно слово.

— Как можно такое говорить? — говорил жид, расставив пальцы обеих рук своих. — Разве пан не слышал, что уже...

— Знаю, знаю всё: за мою голову дают 2 000 червонных. Знают же они, дурни, цену ей! Я тебе двенадцать дам. Вот тебе 2 000 сейчас, — при этом Бульба высыпал из кожаного гамана[123] 2 000 червонных, — а остальные как ворочусь.

Жид тотчас схватил полотенце и накрыл им червонцы.

— Славная монета! — сказал он, вертя один из них в своих пальцах и пробуя на зубах.

— Я бы не просил тебя. Я бы сам, может быть, нашел дорогу в Варшаву; но меня могут как-нибудь узнать и захватить проклятые ляхи. Ибо я не горазд на выдумки. А вы, жиды, на то уже и созданы. Вы хоть черта проведете. Вы знаете все штуки. Вот для чего я пришел к тебе! Да и в Варшаве я бы сам собою ничего не получил. Сейчас запрягай воз и вези меня!

— А как же вы думаете мне спрятать пана?

— Да уж вы, жиды, знаете как: в порожнюю бочку или там во что-нибудь другое.

— Как можно в бочку? Всяк подумает, что горелка!

— Ну что ж? То и хорошо.

— Как хорошо? Ах, Боже мой! как можно эдакое говорить! Разве пан не знает, что Бог на то создал горелку, чтобы ее всякий пробовал. Там все такие ласуны[124], что Боже упаси. А особливо военный народ: будет бежать верст пять за бочкою, продолбит как раз дырочку, тотчас увидит, что не течет, и скажет: «Жид не повезет порожнюю бочку, верно, тут есть что-нибудь».

— Ну так положи меня в воз с рыбою.

— Ох, вей мир! не можно, ей-Богу, не можно! Там везде по дороге люди голодные, как собаки, раскрадут, как ни береги, и пана нащупают.

— Так вези меня хоть на черте — только вези!

— Стойте, стойте! теперь возят по дорогам много кирпичу. Там строят какие-то крепости. Пан пусть ляжет на дне воза, а верх я закладу кирпичом. Пан здоровый и крепкий с виду, и потому ему ничего, что будет тяжеленько; а я сделаю в возу снизу дырочку, чтобы кормить пана.

— Делай как хочешь, только вези.

И через час воз с кирпичом выехал из Умани, запряженный в две клячи. На одной из них сидел высокий Янкель, и длинные курчавые пейсики[125] его развевались из-под яломка по мере того, как он подпрыгивал на лошади.

VIII

В то время когда происходило описываемое событие, на пограничных местах не было еще никаких таможенных чиновников и объездчиков, этой страшной грозы предприимчивых людей, и потому всякий мог везти, что ему вздумалось. Если же кто и производил обыск и ревизовку, то делал это большею частию для своего собственного удовольствия, особливо если на возу находились заманчивые для глаз предметы и если его собственная рука имела порядочный вес и тяжесть. Но кирпич не находил охотников и въехал беспрепятственно в главные городские ворота.

Бульба в своей тесной клетке мог только слышать шум, крики возниц и больше ничего. Янкель, подпрыгивая на своем коротком, запачканном пылью рысаке, поворотил, сделавши несколько кругов, в темную узенькую улицу, носившую название Грязной и вместе Жидовской, потому что здесь действительно находились жиды почти со всей Варшавы. Эта улица чрезвычайно походила на вывороченную внутренность заднего двора. Солнце, казалось, не заходило сюда вовсе. Совершенно почерневшие деревянные домы, со множеством протянутых из окон жердей, увеличивали еще более мрак. Изредка краснела между ними кирпичная стена, но и та уже во многих местах превращалась совершенно в черную. Иногда только вверху ощекотуренный кусок стены, обхваченный солнцем, блистал нестерпимою для глаз белизною. Тут все состояло из сильных резкостей: трубы, тряпки, шелуха, выброшенные разбитые чаны. Всякий, что было только у него негодного, швырял на улицу, доставляя прохожим возможные удобства питать все чувства свои этою дрянью[в]. Сидящий на коне всадник чуть-чуть не доставал рукою жердей, протянутых через улицу из одного дома в другой, на которых висели жидовские чулки, коротенькие панталонцы и копченый гусь. Иногда довольно смазливенькое личико еврейки, убранное потемневшими бусами[в], выглядывало из ветхого окошка. Куча жиденков, запачканных, оборванных, с курчавыми волосами, кричала и валялась в грязи. Рыжий жид с веснушками по всему лицу, делавшими его похожим на воробьиное яйцо, выглянул из окна, тотчас заговорил с Янкелем на своем тарабарском наречии, и Янкель тотчас въехал в один двор. По улице шел другой жид, остановился, вступил тоже в разговор,

и когда Бульба выкарабкался наконец из-под кирпича, он увидел трех жидов, говоривших с большим жаром.

Янкель обратился к нему и сказал, что все будет сделано, что его Остап сидит в городской темнице, и хотя трудно уговорить стражей, но, однако ж, он надеется доставить ему свидание.

Бульба вошел вместе с тремя жидами в комнату.

Жиды начали опять говорить между собою на своем непонятном языке. Тарас поглядывал на каждого из них. Что-то, казалось, сильно потрясло его. На грубом и равнодушном лице его вспыхнуло какое-то сокрушительное пламя надежды, надежды той, которая посещает иногда человека в последнем градусе отчаяния. Старое сердце его начало сильно биться, как будто у юноши.

— Слушайте, жиды! — сказал он, и в словах его было что-то восторженное. — Вы всё на свете можете сделать, выкопаете хоть из дна морского, и пословица давно уже говорит, что жид самого себя украдет, когда только захочет украсть. Освободите мне моего Остапа! Дайте случай убежать ему от дьявольских рук. Вот я этому человеку обещал двенадцать тысяч червонных, — я прибавляю еще двенадцать. Все, какие у меня есть дорогие кубки и закопанное в земле золото, хату и последнюю одежду продам и заключу с вами контракт на всю жизнь, с тем чтобы все, что ни добуду на войне, делить с вами пополам!

— О, не можно, любезный пан! не можно! — сказал со вздохом Янкель.

— Нет, не можно! — сказал другой жид.

Все три жида взглянули один на другого.

— А попробовать? — сказал третий, боязливо поглядывая на двух других. — Может быть, Бог даст.

Все три жида заговорили по-немецки. Бульба, как ни наострял свой слух, ничего не мог отгадать. Он слышал только часто произносимое слово «Мардохай»[126] и больше ничего.

— Слушай, пан! — сказал Янкель. — Нужно посоветоваться с таким человеком, какого еще никогда не было на свете. У, у! то такой мудрый, как Соломон[127], и когда он ничего не сделает, то уже никто на свете не сделает. Сиди тут! вот ключ! и не впускай никого! — Жиды вышли на улицу.

Тарас запер дверь и смотрел в маленькое окошечко на этот грязный жидовский проспект. Три жида остановились посредине улицы и стали говорить довольно азартно. К ним присоединился скоро четвертый, наконец и пятый. Он слышал опять повторяемое: «Мардохай, Мардохай». Жиды беспрестанно посматривали в одну сторону улицы. Наконец в конце ее из-за одного дрянного дома показалась нога в жидовском башмаке и за-

мелькали фалды полукафтанья[128]. «А! Мардохай! Мардохай!» — закричали все жиды в один голос. Тощий жид, несколько короче Янкеля, но гораздо более покрытый морщинами, с преогромною верхнею губою, приблизился к нетерпеливой толпе, и все жиды наперерыв спешили рассказывать ему, причем Мардохай несколько раз поглядывал на маленькое окошечко, и Тарас догадывался, что речь шла о нем. Мардохай размахивал руками, слушал, перебивал речь, часто плевал на сторону и, подымая фалды полукафтанья, засовывал в карман руку и вынимал какие-то побрякушки, причем показывал прескверные свои панталоны. Наконец все жиды подняли такой крик, что жид, стоявший на стороже, должен был давать знак к молчанию, и Тарас уже начал опасаться за свою безопасность, — но вспомнивши, что жиды не могут иначе рассуждать, как на улице, и что их языка сам демон не поймет, он успокоился.

Минуты две спустя жиды вместе вошли в его комнату. Мардохай приблизился к Тарасу, потрепал его по плечу и сказал:

— Когда мы да Бог захочет сделать, то уже будет так, как нужно[в].

Тарас поглядел на этого Соломона, какого еще не было на свете, и получил некоторую надежду. Действительно, вид его мог внушить некоторое доверие: верхняя губа у него была просто страшилище. Толщина ее, без сомнения, увеличилась от посторонних причин. В бороде у этого Соломона было только пятнадцать волосков, и то на левой стороне. На лице у Соломона было столько знаков побоев, полученных за удальство, что он, без сомнения, давно потерял счет им и привык их считать за родимые пятна.

Мардохай ушел вместе с товарищами, исполненными удивления к его мудрости. Бульба остался один. Он был в странном, небывалом положении: он чувствовал в первый раз в жизни беспокойство. Душа его была в лихорадочном состоянии. Он не был тот прежний, непреклонный, неколебимый, крепкий как дуб: он был малодушен; он был теперь слаб. Он вздрагивал при каждом шорохе, при каждой новой жидовской фигуре, показывавшейся в конце улицы. В таком состоянии пробыл он, наконец, весь день; не ел, не пил, и глаза его не отрывались ни на час от небольшого окошка на улицу. Наконец, уже ввечеру поздно, показался Мардохай и Янкель[в]. Сердце Тараса замерло.

— Что? удачно? — спросил он их с нетерпением дикого коня.

Но прежде еще, нежели жиды собрались с духом отвечать, Тарас заметил, что у Мардохая уже не было последнего локона, который хотя довольно неопрятно, но все же вился кольцами из-под яломка его. Заметно было, что он хотел что-то сказать, но наговорил такую дрянь, что Тарас ничего не понял. Да и сам Янкель прикладывал очень часто руку ко рту, как будто бы страдал простудою.

— О любезный пан! — сказал Янкель,— теперь совсем не можно! ей-Богу, не можно! Такой нехороший народ, что ему надо на самую голову наплевать. Вот и Мардохай скажет; Мардохай делал такое, какого еще не делал ни один человек на свете, но Бог не захотел, чтобы так было. Три тысячи войска стоят, и завтра их всех будут казнить.

Тарас глянул в глаза жидам, но уже без нетерпения и гнева.

— А если пан хочет видеться, то завтра нужно рано, так, чтобы еще и солнце не всходило. Часовые соглашаются, и один левентарь[129] обещался. Только пусть им не будет на том свете счастья, ой, вей мир, что это за корыстный народ! и между нами таких нет. 50 червонцев я дал каждому, а левентару...

— Хорошо. Веди меня к нему! — произнес Тарас решительно, и вся твердость возвратилась в его душу. Он согласился на предложение Янкеля переодеться иностранным графом, приехавшим из немецкой земли, для чего платье уже успел припасти дальновидный жид. Была уже ночь. Хозяин дома, известный рыжий жид с веснушками, вытащил тощий тюфяк, накрытый какою-то рогожею, и разостлал его на лавке, для Бульбы. Янкель лег на полу на таком же тюфяке. Рыжий жид выпил небольшую чарочку какой-то настойки, скинул полукафтанье и, сделавшись в своих чулках и башмаках несколько похожим на цыпленка, отправился с своею жидовкой во что-то похожее на шкаф[130]. Двое жиденков, как две домашние собачки, легли на полу возле шкафа[в]. Но Тарас не спал. Он сидел неподвижен и слегка барабанил пальцами по столу. Он держал во рту люльку и пускал дым, от которого жид спросонья чихал и заворачивал в одеяло свой нос. Едва небо успело тронуться бледным предвестием зари, он уже толкнул ногою Янкеля.

— Вставай, жид, и давай твою графскую одежду! — В минуту оделся он; вычернил усы, брови, надел на темя маленькую темную шапочку — и никто бы из самых близких к нему козаков не мог узнать его[131]. По виду ему казалось не более тридцати пяти лет. Здоровый румянец играл на его щеках, и самые рубцы придавали ему что-то повелительное. Одежда, убранная золотом, очень шла к нему.

Улицы еще спали. Ни одно меркантильное[132] существо еще не показывалось в городе с коробкою в руках. Бульба и Янкель пришли к строению, имевшему вид сидящей цапли. Оно было низкое, широкое, огромное, почерневшее, и с одной стороны его выкидывалась, как шея аиста, длинная, узкая башня, на верху которой торчал кусок крыши. Это строение отправляло множество разных должностей. Тут были и казармы, и тюрьма, и даже уголовный суд. Наши путники вошли в ворота и очутились среди пространной залы, или крытого двора. Около тысячи человек спали вместе. Прямо шла

низенькая дверь, перед которой сидевшие двое часовых играли в какую-то игру, состоявшую в том, что один другого бил двумя пальцами по ладони. Они мало обратили внимания на пришедших и поворотили головы только тогда, когда Янкель сказал:

— Это мы, слышите, паны, это мы.

— Ступайте! — говорил один из них, отворяя одною рукою дверь, а другую подставляя своему товарищу для принятия от него ударов.

Они вступили в коридор, узкий и темный, который опять привел их в такую же залу с маленькими окошками вверху.

— Кто идет? — закричало несколько голосов, и Тарас увидел порядочное количество <воинов> в полном вооружении. — Нам никого не велено пускать.

— Это мы! — кричал Янкель. — Ей-Богу, мы, ясные паны!

Но никто не хотел слушать. К счастию, в это время подошел какой-то толстяк[В], который по всем приметам казался начальником, потому что ругался сильнее всех.

— Пан, это ж мы. Вы уже знаете нас, и пан граф еще будет благодарить.

— Пропустите, сто дьяблов[В] чертовой матке! И больше никого не пускайте. Да саблей чтобы никто не скидал и не собачился на полу...

Продолжения красноречивого приказа уже не слышали наши путники.

— Это мы, это я, это свои! — говорил Янкель, встречаясь со всяким.

— А что, можно теперь? — спросил он одного из стражей, когда они наконец подошли к тому месту, где коридор уже оканчивался.

— Можно, только не знаю, пропустят ли вас в самую тюрьму. Теперь уже нет Яна: вместо его стоит другой, — отвечал часовой.

— Ай, ай, — произнес тихо жид, — это скверно, любезный пан!

— Веди! — произнес упрямо Тарас. Жид повиновался.

У дверей подземелья, оканчивавшихся кверху острием, стоял гайдук[133] с усами[В] в три яруса[В]. Верхний ярус[В] усов шел назад, другой прямо вперед, третий вниз, что делало его очень похожим на кота.

Жид съежился в три погибели и почти боком подошел к нему.

— Ваша ясновельможность! ясновельможный пан!

— Ты, жид, это мне говоришь?

— Вам, ясновельможный пан.

— Гм... а я просто гайдук! — сказал трехъярусный усач с повеселевшими глазами[В].

— А я, ей-Богу, думал, что это сам воевода. Ай, ай, ай... — при этом жид покрутил головою и расставил пальцы. — Ай, какой важный вид! Ей-Богу, полковник, совсем полковник! Вот еще бы только на палец приба-

вить, то и полковник. Нужно бы пана посадить на жеребца, такого скорого, как муха, да и пусть муштрует полки!

Гайдук поправил нижний ярус усов своих, причем глаза его совершенно развеселились[в].

— Что за народ военный, — продолжал жид, — ох, вей мир, что за народ хороший! Шнуречки, бляшечки...[134] так от них блестит, как от солнца; а цурки[135], где только увидят военных... ай, ай! — Жид опять покрутил головою.

Гайдук завил рукою верхние усы[в] и пропустил сквозь зубы звук, несколько похожий на лошадиное ржание.

— Прошу пана оказать услугу! — произнес жид. — Вот князь приехал из чужого края, хочет посмотреть на козаков. Он еще сроду не видел, что это за народ козаки.

Появление иностранных графов и баронов было в Польше довольно обыкновенно: они часто были завлекаемы единственно любопытством посмотреть этот почти полуазиатский угол Европы. Московию и Украйну они почитали уже находящимися в Азии. И потому гайдук, поклонившись довольно низко, почел приличным прибавить несколько слов от себя.

— Я не знаю, ваша ясновельможность, — говорил он, — зачем вам хочется смотреть их. Это собаки, а не люди. И вера у них такая, что никто не уважает[в].

— Врешь ты, чертов сын! — сказал Бульба[в], — сам ты собака! Как ты смеешь говорить, что нашу веру не уважают? Это вашу еретичную веру не уважают!

— Эге-ге! — сказал гайдук, — а я знаю, приятель, кто ты: сам из тех, которые уже сидят у меня. Постой же, я позову сюда наших.

Тарас увидел свою неосторожность; но упрямство и досада помешали ему подумать о том, как бы исправить ее. К счастию, Янкель в ту же минуту успел подвернуться.

— Ясновельможный пан! как же можно, чтобы граф да был козак? А если бы он был козак, то где бы он достал такое платье и такой вид графский?

— Рассказывай себе! — и гайдук уже растворил было широкий рот свой, чтобы крикнуть.

— Ваше Королевское Величество! молчите! Молчите, ради Бога! — закричал Янкель. — Молчите! мы уж вам за это заплотим так, как еще никогда и не видели: мы дадим вам два золотых червонца.

— Эге! два червонца! Два червонца мне нипочем. Я цирюльнику даю два червонца за то, чтобы мне только половину бороды выбрил. Сто червонных давай, жид! — Тут гайдук закрутил верхние усы. — А как не дашь ста червонных, сейчас закричу!

— И на что бы так много? — горестно сказал побледневший жид, развязывая кожаный мешок свой. Но он счастлив был, что в его кошельке не было более и что гайдук далее ста не умел считать. — Пан! пан! уйдем скорее! Видите, какой тут нехороший народ! — сказал Янкель, заметивши, что гайдук перебирал на руке деньги, как бы жалея о том, что не запросил более.

— Что ж ты, чертов гайдук, — сказал Бульба, — деньги взял, а показать и не думаешь? Нет, ты должен показать. Уж когда деньги получил, то ты не вправе теперь отказать.

— Ступайте, ступайте[В] к дьяволу! а не то я сию минуту дам знать, и вас тут... Уносите ноги, говорю я вам, скорее!

— Пан! пан! пойдем, ей-Богу, пойдем! Цур им! Пусть им приснится такое, что плевать нужно, — кричал бедный Янкель.

Бульба медленно, потупив голову, оборотился и шел назад, преследуемый укорами Янкеля, которого ела грусть при мысли о даром потерянных червонцах.

— И на что бы трогать? Пусть бы, собака, бранился! То уже такой народ, что не может не браниться! Ох, вей мир, какое счастие посылает Бог людям! Сто червонцев за то только, что прогнал нас! А наш брат: ему и пейсики оборвут, и из морды сделают такое, что и глядеть не можно, а никто не даст ста червонных. О Боже мой! Боже милосердый!

Но неудача эта гораздо более имела влияния на Бульбу. Она выражалась пожирающим пламенем[В] в его глазах.

— Пойдем! — сказал он вдруг, как бы встряхнувшись, — пойдем на площадь. Я хочу посмотреть, как его будут мучить.

— Ой, пан, зачем ходить? Ведь нам этим не помочь уже.

— Пойдем! — упрямо сказал Бульба, и жид, как нянька, вздыхая, побрел вслед за ним.

Площадь, на которой долженствовала производиться казнь, нетрудно было отыскать: народ валил туда со всех сторон. В тогдашний грубый век это составляло одно из занимательнейших зрелищ не только для черни, но и для высших классов. Множество старух самых набожных, множество молодых девушек и женщин самых трусливых, которым после всю ночь грезились окровавленные трупы, которые кричали спросонья так громко, как только может крикнуть пьяный гусар, не пропускали, однако же, случая полюбопытствовать. «Ах, какое мученье!» — кричали из них многие с истерическою лихорадкою, закрывая глаза и отворачиваясь, однако же простаивали иногда довольное время. Иной, и рот разинув, и руки вытянув вперед, желал бы вскочить всем на головы, чтобы оттуда посмотреть повиднее. Из толпы узких, небольших и обыкновенных голов высовывал свое толстое лицо мясник[В], наблюдал весь процесс с видом знатока и раз-

говаривал односложными словами с оружейным мастером, которого называл кумом, потому что в праздничный день напивался с ним в одном шинке[136]. Иные рассуждали с жаром, другие даже держали пари; но большая часть была таких, которые на весь мир и на всё, что ни случается в свете, смотрят, ковыряя пальцем в своем носу. На переднем плане, возле самых усачей, составлявших городовую гвардию, стоял молодой шляхтич[137], или казавшийся шляхтичем, в военном костюме, который надел на себя решительно всё, что у него ни было, так что на его квартире оставалась только изодранная рубашка да старые сапоги. Две цепочки, одна сверх другой, висели у него на шее с каким-то дукатом. Он стоял с коханкою своею, Юзысею[138], и беспрестанно оглядывался, чтобы кто-нибудь не замарал ее шелкового платья. Он ей растолковал совершенно всё, так что уже решительно не можно было ничего прибавить. «Вот это, душечка Юзыся, — говорил он, — весь народ, что вы видите, пришел затем, чтобы посмотреть, как будут казнить преступников. А вот тот, душечка, что, вы видите, держит в руках секиру[139] и другие инструменты, — то палач, и он будет казнить. И как начнет колесовать[140] и другие делать муки, то преступник еще будет жив; а как отрубят голову, то он, душечка, тотчас и умрет. Прежде будет кричать и двигаться, но как только отрубят голову, тогда ему не можно будет ни кричать, ни есть, ни пить, оттого, что у него, душечка, уже больше не будет головы». И Юзыся все это слушала со страхом и любопытством. Крыши домов были усеяны народом. Из слуховых окон выглядывали престранные рожи в усах и в чем-то похожем на чепчики. На балконах, под балдахинами[141], сидело аристократство. Хорошенькая ручка смеющейся, блистающей, как белый сахар, панны держалась за перилы. Ясновельможные паны, довольно плотные, глядели с важным видом. Холоп в блестящем убранстве, с откидными назад рукавами, разносил тут же разные напитки и съестное. Часто шалунья с черными глазами, схвативши светлою ручкою своею пирожное и плоды, кидала в народ. Толпа голодных рыцарей подставляла наподхват свои шапки, и какой-нибудь высокий шляхтич, высунувшийся из толпы своею головою, в полинялом красном кунтуше[142] с почерневшими золотыми шнурками, хватал первый с помощию длинных рук, целовал полученную добычу, прижимал ее к сердцу и потом клал в рот. Сокол, висевший в золотой клетке под балконом, был также зрителем: перегнувши набок нос и поднявши лапу, он, с своей стороны, рассматривал также внимательно народ. Но толпа вдруг зашумела, и со всех сторон раздались голоса: «Ведут! ведут! козаки!»

Они шли с открытыми головами, с длинными чубами. Бороды у них были отпущены; они шли не боязливо, не угрюмо, но с какою-то тихою горделивостию; их платья из дорогого сукна износились и болтались на них ветхими лоскутьями; они не глядели и не кланялись народу. Впереди всех шел Остап.

Что почувствовал старый Тарас, когда увидел своего Остапа? Что было тогда в его сердце?[в] Он глядел в него из толпы[в] и не проронил ни одного движения его. Они приблизились уже к лобному месту. Остап остановился. Ему первому приходилось выпить эту тяжелую[в] чашу[143]. Он глянул на своих, поднял руку вверх и произнес громко:

— Дай же, Боже, чтобы все, какие тут ни стоят еретики, не услышали, нечестивые, как мучится Христианин! чтобы ни один из нас не промолвил ни одного слова! — После этого он приблизился к эшафоту.

— Добре, сынку, добре! — сказал тихо Бульба и уставил в землю свою седую голову.

Палач сдернул с него ветхие лохмотья; ему увязали руки и ноги в нарочно сделанные станки[144] и... я не стану смущать читателей картиною адских мук, от которых дыбом поднялись бы их волоса. Они были порождение тогдашнего грубого, свирепого века, когда человек вел еще кровавую жизнь одних воинских подвигов и закалился в ней душою до такой степени, что сделался глух для человеколюбия. Должно, однако ж, сказать, что Король всегда почти являлся первым противником[в] этих ужасных мер. Он очень хорошо видел, что подобная жестокость наказаний может только разжечь мщение Козачьей Нации. Но Король не мог сделать ничего против дерзкой воли государственных магнатов, которые непостижимою недальновидностью, детским самолюбием, гордостью и неосновательностью превратили Сейм в сатиру на правление[145].

Остап выносил терзания, как исполин, с невообразимою твердостью, и когда начали перебивать ему на руках и ногах кости, так что ужасный хряск их слышался среди мертвой толпы отдаленными зрителями, когда панянки отворотили глаза свои[в], — ничто, похожее на стон, не вырвалось из уст его. Лицо его не дрогнулось. Тарас стоял в толпе с потупленною головою и с поднятыми, однако же, глазами и одобрительно только говорил: «Добре, сынку, добре!»

Наконец сила его, казалось, начала подаваться. Когда он увидел новые адские орудия казни, которыми готовились вытягивать из него жилы, губы его начали шевелиться.

— Батько! — произнес он все еще твердым голосом, показывавшим желание пересилить муки. — Батько! где ты? слышишь ли ты?

— Слышу! — раздалось среди всеобщей тишины, и весь миллион народа в одно время вздрогнул[в].

Часть военных всадников бросилась заботливо рассматривать толпы народа. Янкель побледнел как смерть, и когда они немного отдалились от него, он со страхом оборотился назад, но Тараса уже возле него не было: его и след простыл[в].

IX

След Тарасов отыскался: тридцать тысяч козацкого войска показалось на границах Украйны. Это уже не был какой-нибудь отряд, выступавший для добычи или своей отдельной[В] цели: это было дело общее. Это целая нация, которой терпение уже переполнилось, поднялась мстить за оскорбленные права свои, за униженную религию свою и обычай, за вероломные убийства Гетманов своих и полковников, за насилие жидовских арендаторов и за все, в чем считал себя оскорбленным угнетенный народ. Верховным Начальником войска был Гетман Остраница[146], еще молодой, кипевший желанием скорее сбросить утеснительный деспотизм, наложенный самоуправием государственных магнатов, и очистить Украйну от жидовства, Унии и постороннего сброда. Возле него был виден престарелый и опытный товарищ и советник его, Гуня[147]. Сорок тысяч лошадей нетерпеливо ржали под седоками и без седоков. Восемь полков, из которых половина конных и половина пеших, в суконных алых, синих и желтых кафтанах, выступали браво и горделиво. Восемь опытных полковников правили ими и хладнокровным движением бровей своих ускоряли или останавливали нетерпеливый поход их. Одним из них начальствовал Бульба. Преклонные лета, слава и опытность давали ему значительный перевес в Совете; но неумолимая и свирепая[В] жестокость его казалась ужасною даже для глубоко оскорбленных защитников. Его совет дышал только одним истреблением, и седая голова его определяла только огонь и виселицу.

Не буду описывать тех битв, где отличились козаки, ни постепенного хода всей великой кампании: это принадлежит Истории. Там изображено подробно, как бежали польские гарнизоны из освобождаемых городов, как были перевешаны бессовестные арендаторы-жиды, как слаб был Коронный Гетман Николай Потоцкий[148] с многочисленною своею армиею против этой непреодолимой силы, как, разбитый, преследуемый, перетопил он в небольшой речке лучшую часть своего войска, как облегли его в небольшом местечке Полонном[149] грозные козацкие полки и как приведенный в крайность польский Гетман клятвенно обещал полное удовлетворение во всем со стороны Короля и государственных чинов и возвращение всех прежних прав и преимуществ; но козаки, наученные прежним вероломством, были неумолимы, и Потоцкий не красовался бы более на шеститысячном своем аргамаке[150], привлекая взоры знатных панн и зависть дворянства, если бы не спасло его находившееся в местечке Русское Духовенство. Торжественная процессия с образами и крестами и мольбы Священника-старца тронули козаков, еще чувствовавших узы, привязывавшие их к Королю. Гетман и полковники решились отпустить Потоцкого, не прежде, как заключивши

трактат[151], обеспечивший бы во всем козаков. Но непреклонный Тарас вырвал из белой головы своей клок волос, когда увидел такое, по словам его, бабье малодушие полковников.

— Не попущу, полковники, чтобы вы учинили такое дело! — вскричал он твердо. Но на этот раз совет его был отвергнут. — Эй, не верьте, паны, ляхам! — повторил он опять тем же голосом, помахивая нагайкою и хлестнувши ею по пушке[в]. Когда же полковой писарь подал уже написанное условие подписать Гетману, он махнул рукою и сказал:

— Оставайтесь же себе, паны! Меня вы больше не увидите. Глядите, паны: вы вспомните меня! — и голос его имел в себе что-то пророческое. — Вы думаете, что купили этим спокойствие и будете теперь пановать, — увидите, что не будет сего! Сдерут с твоей головы, Гетман, кожу! набьют ее гречаною половою[152], и долго будут видеть ее по ярмаркам! Да и у вас, паны, у редкого уцелеет голова! Пропадете вы в сырых погребах, замурованные в каменные стены[в], если не сварят вас живых в котлах, как баранов!

— А вы, хлопцы, хотите умирать? — продолжал он, обращаясь к своему полку. — Умирать так, как умирают честные козаки? А может быть, вы думаете еще пожить, да залечь дома на печь, да и лежать там, покамест не приберет враг? Что ж лучше, спрашиваю я вас, молодцы? воротиться ли до дому, чтобы каждый день колотила вас жинка[153], и, напившись, пропасть где-нибудь под тыном[154], как собака; или всем, как верным лыцарям, как братьям родным, лечь вместе на поле и оставить по себе славу навеки?

— За тобою, пане полковнику! за тобою все! — отвечали передние в полку. — Веди! ей-Богу, веди!

— Добре, паны молодцы! — сказал Тарас, взявши свою шапку в руки и потом опять надевши ее на голову. Глаза его сверкнули. — Вырежем все католичество, чтобы его и духу не было! Пусть пропадут нечестивые! Гайда, хлопцы! — Сказавши это, исступленный седой фанатик отправился с полком своим в путь. Другие козаки с завистью глядели на удалявшихся сотоварищей, и только одно строгое повиновение к полковникам, бывшее всегдашнею их добродетелию, препятствовало многим охотникам к ним присоединиться.

Гетман и полковники не остановили удалявшегося полка. Казалось, предсказание Тараса несколько смутило их, по крайней мере они сидели несколько времени молча и не глядя друг на друга. Скоро, однако же, пророческие слова Бульбы исполнились. Немного времени спустя, после вероломного поступка под Каневым[155], голова Гетмана вздернута была на кол вместе со многими сановниками.

Но обратимся к нашей истории. Что ж делал Тарас с своим полком? А Тарас выжег восемнадцать местечек, около сорока костелов и уже доходил

до Кракова[156]. Напрасно небольшие отряды войск посылаемы были схватить его: он всегда почти разминался с ними. Он поступал неожиданно, скрывая свои намерения, и когда одно селение или небольшой городок ожидал с ужасом его прибытия, он вдруг переменял дорогу и нес гибель туда, где его вовсе не ожидали. Никакая кисть не осмелилась бы изобразить всех тех свирепств, которыми были означены разрушительные его опустошения. Ничто похожее на жалость не проникало в это старое сердце, кипевшее только отмщением. Никому не оказывал он пощады. Напрасно несчастные матери и молодые жены и девицы, из которых иные были прекрасны и невинны, как ландыш, думали спастись у алтарей: Тарас зажигал их вместе с костелом. И когда белые руки, сопровождаемые криком отчаяния, подымались из ужасного потопа огня и дыма к небу и растрепанные волосы сквозь дым рассыпались по плечам их, а свирепые козаки подымали копьями с улиц плачущих младенцев и бросали их к ним в пламя[в], — он глядел с каким-то ужасным чувством наслаждения и говорил: «Это вам, вражьи ляхи, поминки по Остапе!» — и такие поминки по Остапе отправлял он в каждом селении. Наконец польское правительство увидело, что поступки Тараса были несколько более, нежели обыкновенное разбойничество. И тому же самому Потоцкому поручено было с пятью полками поймать непременно Тараса.

Тарас понял опасность и поворотил назад. Проселочными дорогами, ночью, скакал он с своими козаками во всю мочь, и одни только татарские кони, которых он имел обычай держать целый табун при своем войске, могли вынести необыкновенную быстроту его бегства. Но на этот раз Потоцкий был достоин возложенного на него поручения: он преследовал его с удивительною неутомимостью и наконец настиг на берегу Днестра, где Бульба занял для небольшого роздыха оставленную полуразвалившуюся крепость.

Крепость была на возвышенном месте и оканчивалась к реке такою страшною, почти наклоненною стремниною, что, казалось, ежеминутно готова была обрушиться в волны. Почти на двадцать сажен вниз шумел Днестр. Здесь-то облег его Потоцкий своими войсками с трех сторон, обращенных к полю и к оврагам неровных берегов. Тарас, с помощью своей храбрости и упрямой воли, мог сделать тщетными все усилия осаждающих; но он не имел в опустелой крепости никаких средств для прокормления, а козаки менее всего могли сносить голод, особливо когда видели, что он должен наконец окончиться медленною смертью. С рекою невозможно было иметь сообщения: одна только половина узкой дорожки висела вверху, остальная упала в волны с недавно отколовшеюся глыбою скалы, и вместо нее осталась стремнина.

Тарас решился оставить крепость, попробовать удачи прорваться сквозь ряды неприятелей и по берегу достигнуть такого места, с которого бы можно

было кинуться на лошадях и пуститься с ними вплавь. Он стремительно вышел из крепости, и уже козаки пробрались сквозь неприятельские ряды, как вдруг Тарас, остановившись и нагнувшись в землю, сказал: «Стой, братцы! уронил люльку». В это самое время он почувствовал себя в дюжих руках, был схвачен набежавшим с тыла отрядом и отрезан от своих. Он двигнул своими членами, но уже не посыпались на землю, как бывало прежде, схватившие его гайдуки[в]. «Эх, старость, старость!» — сказал он, почти что не заплакав. Ему прикрутили руки, увязали веревками и цепями, привязали его к огромному бревну, правую руку, для большей безопасности, прибили гвоздем и поставили это бревно рубом в расселину стены, так что он стоял выше всех и был виден всем войскам, как победный трофей удачи[157]. Ветер развевал его белые волоса. Казалось, он стоял на воздухе, — и это, вместе с выражением сильного бессилия, делало его чем-то похожим на духа, представшего воспрепятствовать чему-нибудь сверхъестественною своею властью и увидевшего ее ничтожность. В лице его не было заметно никакой заботы о себе[в]. Он вперил глаза в ту сторону, где отстреливались козаки. Ему с высоты всё было видно, как на ладони.

— Занимайте, хлопцы, — кричал он, — занимайте, вражьи дети, говорю вам, скорее горку, что за лесом: туда не подступят они!

Но ветер не донес его слов.

— Вот пропадут, пропадут ни за что! — говорил он с бешенством и взглянул вниз, где блестел Днестр. Чувство радости сверкнуло в его глазах. Он увидел выдвинувшиеся из-за кустарника три кормы. Он собрал все усилия и закричал так, что едва не оглушил стоявших близ него:

— Хлопцы, к берегу! К берегу! Под кручею, где крепость, стоят челны! А за вами в двадцати[в] шагах спуск к берегу. Да забирайте все челны, чтобы не было погони!

На этот раз ветер дунул с другой стороны, и все слова были услышаны козаками. Но удар обухом по голове за такой совет переворотил в его глазах всё. Его опустили вместе с бревном ниже, чтобы он не мог более подавать своих наставлений.

Козаки поворотили коней и бросились бежать во всю прыть; но берег все еще состоял из стремнин. Они бы достигли понижения его, если бы дорогу не преграждала пропасть сажени в четыре шириною: одни только сваи разрушенного моста торчали на обоих концах; из недосягаемой глубины ее едва доходило до слуха умиравшее журчание какого-то потока, низвергавшегося в Днестр[в]. Эту пропасть можно было объехать, взявши вправо; но войска неприятельские были уже почти на плечах их. Козаки только один миг ока остановились, подняли свои нагайки, свистнули — и татарские их кони, отделившись от земли, распластались в воздухе, как змеи, и перелетели

через пропасть. Под одним только конь оступился; но зацепился копытом и, привыкший к крымским стремнинам, выкарабкался с своим седоком.

Отряд неприятельских войск с изумлением остановился на краю пропасти. Начальствовавший ими полковник, молодой, неустрашимый до безрассудности (он был брат прекрасной полячки, обворожившей бедного Андрия), без дальнего размышления решился повторить и себе то же и, желая подать пример своему отряду, бросился вперед с конем своим; но острые камни изорвали его, пропавшего среди пропасти, в клочки, и мозг его, смешанный с кровью, обрызгал росшие по неровным стенам провала кусты.

Когда Бульба очнулся немного от своего удара и глянул на Днестр, он увидел под ногами своими козаков, садившихся в лодки. Глаза его сверкнули радостью. Град пуль сыпался сверху на козаков, но они не обращали никакого внимания и отчаливали от берегов.

— Прощайте, паны-браты, товарищи! — говорил он им сверху. — Вспоминайте иной час обо мне. Об участи же моей не заботьтесь! Я знаю свою участь; я знаю, что меня заживо разнимут по кускам и что кусочка моего тела не оставят на земле[В], — да то уже мое дело... Будьте здоровы, паны-браты, товарищи! Да глядите, прибывайте на следующее лето опять! Да погуляйте хорошенько!..[В] — удар обухом по голове пресек его речи.

Черт побери! Да есть ли что на свете, чего бы побоялся козак? Не малая река Днестр; а как погонит ветер с моря, то вал дохлестывает до самого месяца. Козаки плыли под пулями и выстрелами, осторожно миновали зеленые острова, хорошенько выправляли парус, дружно и мерно[В] ударяли веслами и говорили про своего атамана.

Конец первой части





Часть вторая

ВИЙ*

Как только ударял в Киеве поутру довольно звонкий семинарский колокол, висевший у ворот[В] Братского монастыря, то уже со всего города спешили толпами школьники и бурсаки[1]. Грамматики, риторы, философы и богословы[2], с тетрадями под мышкой, брели в класс. Грамматики были еще очень малы: идя, толкали друг друга и бранились между собою самым тоненьким дискантом; <они> были все почти в изодранных или запачканных платьях, и карманы их вечно были наполнены всякою дрянью, как то: бабками, свистелками, сделанными из перышек, недоеденным пирогом, а иногда даже и маленькими воробьенками, из которых один, вдруг чиликнув среди необыкновенной тишины в классе, доставлял своему патрону порядочные пали[3] в обе руки, а иногда и вишневые розги. Риторы шли солиднее: платья у них были часто совершенно целы, но зато на лице всегда почти бывало какое-нибудь украшение в виде риторического тропа[4]: или один глаз уходил под самый лоб, или вместо губы целый пузырь, или какая-нибудь другая примета; эти говорили и божились между собою тенором[В]. Философы целою октавою брали ниже; в карманах их, кроме крепких табачных корешков, ничего не было. Запасов они не делали никаких и всё, что попадалось, съедали тогда же; от них слышалась трубка и горелка, иногда так далеко, что проходивший мимо ремесленник долго еще, остановившись, нюхал, как гончая собака, воздух[В].

---

* *Вий* — есть колоссальное создание простонародного воображения. Таким именем называется у малороссиян начальник гномов, у которого веки на глазах идут до самой земли. Вся эта повесть есть народное предание. Я не хотел ни в чем изменить его и рассказываю почти в такой же простоте, как слышал.

Рынок в это время обыкновенно только что начинал шевелиться, и торговки с бубликами, булками, арбузными семечками и маковниками дергали наподхват за полы тех, у которых полы были из тонкого сукна или какой-нибудь бумажной материи.

— Паничи! Паничи! Сюды! Сюды! — говорили они со всех сторон. — Ось бублики, маковники, вертычки, буханци[5] хороши! Ей-Богу, хороши! На меду! Сама пекла!

Другая, подняв что-то длинное, скрученное из теста, кричала:

— Ось сусулька! Паничи, купите сусульку!

— Не покупайте у этой ничего: смотрите, какая она скверная, и нос нехороший, и руки нечистые...[в]

Но философов и богословов они боялись задевать, потому что философы и богословы всегда любили брать только на пробу и притом целою горстью.

По приходе в семинарию вся толпа размещалась по классам, находившимся в низеньких, довольно, однако же, просторных комнатах с небольшими окнами, с широкими дверьми и запачканными скамьями. Класс наполнялся вдруг разноголосными жужжаниями: авдиторы[6] выслушивали своих учеников; звонкий дискант грамматика попадал как раз в звон стекла, вставленного в маленькие окна, и стекло отвечало почти тем же звуком; в углу гудел ритор, которого рот и толстые губы должны бы принадлежать, по крайней мере, философии. Он гудел басом, и только слышно было издали: бу, бу, бу, бу... Авдиторы, слушая урок, смотрели одним глазом под скамью, где из кармана подчиненного бурсака выглядывала булка, или вареник, или семена из тыкв.

Когда вся эта ученая толпа успевала приходить несколько ранее или когда знали, что профессора будут позже обыкновенного, тогда[в], со всеобщего согласия, замышляли бой, и в этом бою должны были участвовать все, даже и цензора, обязанные смотреть за порядком и нравственностию всего учащегося сословия. Два богослова обыкновенно решали, как происходить битве: каждый ли класс должен стоять за себя особенно, или все должны разделиться на две половины: на бурсу и семинарию. Во всяком случае, грамматики начинали прежде всех, и как только вмешивались риторы, они уже бежали прочь и становились на возвышениях наблюдать битву. Потом вступала философия с черными длинными усами, а наконец и богословия, в ужасных шароварах и с претолстыми шеями. Обыкновенно оканчивалось тем, что богословия побивала всех, и философия, почесывая бока, была теснима в класс и помещалась отдыхать на скамьях. Профессор, входивший в класс и участвовавший когда-то сам в подобных боях, в одну минуту, по разгоревшимся лицам своих слушателей, узнавал, что бой был недурен, и в то время, когда он сек розгами по пальцам риторику, в другом классе

другой профессор отделывал деревянными лопатками по рукам философию. С богословами же было поступаемо совершенно другим образом: им, по выражению профессора богословии, отсыпалось по мерке *крупного гороху*, что состояло в коротеньких кожаных канчуках[7].

В торжественные дни и праздники семинаристы и бурсаки отправлялись по домам с вертепами[8]. Иногда разыгрывали комедию, и в таком случае всегда отличался какой-нибудь богослов, ростом мало чем пониже Киевской колокольни, представлявший Иродиаду или Пентефрию, супругу египетского царедворца[9]. В награду получали они кусок полотна, или мешок проса, или половину вареного гуся и тому подобное.

Весь этот ученый народ, как семинария, так и бурса, которые питали какую-то наследственную неприязнь между собою, был чрезвычайно беден на средства к прокормлению и притом необыкновенно прожорлив; так что сосчитать, сколько каждый из них уписывал за вечерею галушек, было бы совершенно невозможное дело; и потому доброхотные пожертвования зажиточных владельцев не могли быть достаточны. Тогда сенат, состоявший из философов и богословов, отправлял грамматиков и риторов под предводительством одного философа, а иногда присоединялся и сам, — с мешками на плечах[В] опустошать чужие огороды. И в бурсе появлялась каша из тыкв. Сенаторы столько объедались арбузов и дынь, что на другой день авдиторы слышали от них вместо одного два урока: один происходил из уст, другой ворчал в сенаторском желудке. Бурса и семинария носили какие-то длинные подобия сюртуков, простиравшихся *по сие время*: слово техническое, означавшее — далее пяток.

Самое торжественное для семинарии событие было — вакансии, время с июня месяца, когда обыкновенно бурса распускалась по домам. Тогда всю большую дорогу усеивали грамматики, философы и богословы. Кто не имел своего приюта, тот отправлялся к кому-нибудь из товарищей. Философы и богословы отправлялись *на кондиции*[В], т. е. брались учить или приготовлять детей людей зажиточных, и получали за то в год новые сапоги, а иногда и на сюртук. Вся ватага эта тянулась вместе целым табором, варила себе кашу и ночевала в поле. Каждый тащил за собою мешок, в котором находилась одна рубашка и пара онуч[10]. Богословы особенно были бережливы и аккуратны: для того чтобы не износить сапогов, они скидали их, вешали на палки и несли на плечах, особенно когда была грязь. Тогда они, засучив шаровары по колени, бесстрашно разбрызгивали своими ногами лужи. Как только завидывали в стороне хутор[В], тотчас сворачивали с большой дороги и, приблизившись к хате, выстроенной поопрятнее других, становились перед окнами в ряд и во весь рот начинали петь кант[11]. Хозяин хаты, какой-нибудь старый козак-поселянин[В], долго их слушал,

подпершись обеими руками, потом рыдал прегорько и говорил, обращаясь к своей жене: «Жинко! то, что поют школяры, должно быть очень разумное; вынеси им сала и чего-нибудь такого, что у нас есть!» И целая миска вареников валилась в мешок. Порядочный кус сала, несколько паляниц, а иногда и связанная курица[12] помещались вместе. Подкрепившись таким запасом, грамматики, риторы, философы и богословы опять продолжали путь. Чем далее, однако же, шли они, тем более уменьшалась толпа их. Все почти разбродились по домам, и оставались те, которые имели родительские гнезда далее других.

Один раз во время подобного странствования три бурсака своротили с большой дороги в сторону, с тем чтобы в первом попавшемся хуторе[в] запастись провиантом, потому что мешок у них давно уже был пуст. Это были: богослов Халява, философ Хома Брут и ритор Тиберий Горобець. Богослов был рослый, плечистый мужчина и имел чрезвычайно странный нрав: всё, что ни лежало, бывало, возле него, он непременно украдет. В другом случае характер его был чрезвычайно мрачен, и когда напивался он пьян, то прятался в бурьяне, и семинарии стоило большого труда его сыскать там. Философ Хома Брут был нрава веселого, любил очень лежать и курить люльку. Если же пил, то непременно нанимал музыкантов и отплясывал тропака[13]. Он часто пробовал *крупного гороха*, но совершенно с философическим равнодушием, — говоря, что чему быть, того не миновать. Ритор Тиберий Горобець еще не имел права носить усов, пить горелки и курить люльки. Он носил только оселедец[14], и потому характер его в то время еще мало развился; но, судя по большим шишкам на лбу, с которыми он часто являлся в класс, можно было предположить, что из него будет хороший воин. Богослов Халява и философ Хома часто дирали его за чуб в знак своего покровительства и употребляли в качестве депутата.

Был уже вечер, когда они своротили с большой дороги. Солнце только что село, и дневная теплота оставалась еще в воздухе. Богослов и философ шли молча, куря люльки; ритор Тиберий Горобець сбивал палкою головки с будяков[15], росших по краям дороги. Дорога шла между разбросанными группами дубов и орешника, покрывавшими луг. Отлогости и небольшие горы, зеленые и круглые, как куполы, иногда перемежевывали равнину. Показавшаяся в двух местах нива с вызревавшим житом[16] давала знать, что скоро должна появиться какая-нибудь деревня. Но уже более часа, как они минули хлебные полосы, а между тем им не попадалось никакого жилья. Сумерки уже совсем омрачили небо, и только на западе бледнел остаток алого сияния.

— Что за черт! — сказал философ Хома Брут. — Сдавалось совершенно, как будто сейчас будет хутор.

Богослов помолчал, поглядел по окрестностям, потом опять взял в рот свою люльку, и все продолжали путь.

— Ей-Богу! — сказал опять, остановившись, философ. — Ни чертова кулака не видно.

— А может быть, далее и попадется какой-нибудь хутор, — сказал богослов, не выпуская люльки. Но между тем уже была ночь, и ночь довольно темная. Небольшие тучи усилили мрачность, и, судя по всем приметам, нельзя было ожидать ни звезд, ни месяца. Бурсаки заметили, что они сбились с пути и давно шли не по дороге.

Философ, пошаривши ногами во все стороны, сказал наконец отрывисто:

— А где же дорога?

Богослов помолчал и, надумавшись, примолвил:

— Да, ночь темная.

Ритор отошел в сторону и старался ползком нащупать дорогу, но руки его попадали только в лисьи норы. Везде была одна степь, по которой, казалось, никто не ездил. Путешественники еще сделали усилие пройти несколько вперед, но везде была та же дичь. Философ попробовал перекликнуться, но голос его совершенно заглох по сторонам и не встретил никакого ответа. Несколько спустя только послышалось слабое стенание, похожее на волчий вой.

— Вишь! Что тут делать? — сказал философ.

— А что? Оставаться и заночевать в поле! — сказал богослов и полез в карман достать огниво и закурить снова свою люльку. Но философ не мог согласиться на это. Он всегда имел обыкновение упрятать на ночь полпудовую краюху хлеба и фунта[17] четыре сала и чувствовал на этот раз в желудке своем какое-то несносное одиночество. Притом, несмотря на веселый нрав свой, философ боялся несколько волков.

— Нет, Халява, не можно, — сказал он. — Как же, не подкрепив себя ничем, растянуться и лечь так, как собака? Попробуем еще; может быть, набредем на какое-нибудь жилье и хоть чарку горелки удастся выпить на ночь.

При слове *горелка* богослов сплюнул в сторону и примолвил:

— Оно конечно, в поле оставаться нечего.

Бурсаки пошли вперед, и, к величайшей радости их, в отдалении почудился лай. Прислушавшись, с которой стороны, они отправились бодрее и, немного пройдя, увидели огонек. «Хутор! Ей-Богу, хутор!» — сказал философ. Предположения его не обманули: через несколько времени они увидели точно небольшой хуторок, состоявший из двух только хат, находившихся в одном и том же дворе. В окнах светился огонь. Десяток сливных

дерев торчало под тыном. Взглянувши в сквозные дощатые ворота, бурсаки увидели поверхность двора, уставленную чумацкими возами. Звезды кое-где глянули в это время на небе.

— Смотрите же, братцы, не отставать! Во что бы то ни было, а добыть ночлега!

Три ученые мужа дружно ударили в ворота и закричали:

— Отвори!

Дверь в одной хате заскрыпела, и минуту спустя бурсаки увидели перед собою старуху в нагольном тулупе[18].

— Кто там? — закричала она, глухо кашляя.

— Пусти, бабуся, переночевать. Сбились с дороги. Так в поле скверно, как в голодном брюхе[в].

— А что вы за народ?

— Да народ необидчивый: богослов Халява, философ Брут и ритор Горобець.

— Не можно, — проворчала старуха, — у меня народу полон двор и все углы в хате заняты. Куды я вас дену? Да еще все какой рослый и здоровый народ! Да у меня и хата развалится, когда помещу таких. Я знаю этих философов и богословов. Если таких пьяниц начнешь принимать, то и двора скоро не будет. Пошли! пошли! Тут вам нет места.

— Умилосердись[в], бабуся! Как же можно, чтобы христианские души пропали ни за что ни про что? Где хочешь помести нас. И если мы что-нибудь, как-нибудь того или какое другое что сделаем, — то пусть нам и руки отсохнут, и такое будет, что Бог один знает. Вот что!

Старуха, казалось, немного смягчилась.

— Хорошо, — сказала она, как бы размышляя, — я впущу вас; только положу всех в разных местах, ибо у меня не будет спокойно на сердце, когда будете лежать вместе.

— На то твоя воля; не будем прекословить, — отвечали бурсаки.

Ворота заскрыпели, и они вошли на двор.

— А что, бабуся, — сказал философ, идя за старухой, — если бы так, как говорят... ей-Богу, в животе как будто кто колесами стал ездить. С самого утра вот хоть бы щепка была во рту.

— Вишь, чего захотел! — сказала старуха. — Нет у меня, нет ничего такого, и печь не топилась сегодня.

— А мы бы уже за все это, — продолжал философ, — расплатились бы завтра как следует — чистоганом. Да, — продолжал он тихо, — черта с два! Получишь ты что-нибудь!

— Ступайте, ступайте! И будьте довольны тем, что дают вам. Вот черт принес каких нежных паничей!

Философ Хома пришел в совершенное уныние от таких слов. Но вдруг нос его почувствовал запах сушеной рыбы. Он глянул на шаровары богослова, шедшего с ним рядом, и увидел, что из кармана его торчал преогромный рыбий хвост. Богослов уже успел подтибрить с воза целого карася. И так как он это производил не из какой-нибудь корысти, но единственно по привычке, и позабывши совершенно о своем карасе, уже разглядывал, что бы такое стянуть другое, не имея намерения пропустить даже изломанного колеса, — то философ Хома запустил руку в его карман, как в свой собственный, и вытащил карася.

Старуха разместила бурсаков: ритора положила в хате, богослова заперла в пустую комору, философу отвела тоже пустой овечий хлев.

Философ, оставшись один, в одну минуту съел[в] карася, осмотрел плетеные стены хлева, толкнул ногою в морду просунувшуюся из другого хлева любопытную свинью и поворотился на правый бок, чтобы заснуть мертвецки. Вдруг низенькая дверь отворилась, и старуха, нагнувшись, вошла в хлев.

— А что, бабуся, чего тебе нужно? — сказал философ. Но старуха шла прямо к нему с распростертыми руками.

«Эге-ге! — подумал философ. — Только нет, голубушка! устарела!» Он отодвинулся немного подальше, но старуха, без церемонии, опять подошла к нему.

— Слушай, бабуся! — сказал философ, — теперь пост; а я такой человек, что и за тысячу золотых[в] не захочу оскоромиться.

Но старуха раздвигала руки и ловила его, не говоря ни слова.

Философу сделалось страшно, особливо когда он заметил, что глаза ее сверкнули каким-то необыкновенным блеском.

— Бабуся! Что ты? Ступай, ступай себе с Богом! — закричал он. Но старуха не говорила ни слова и хватала его руками.

Он вскочил на ноги, с намерением бежать; но старуха стала в дверях и вперила на него сверкающие глаза и снова начала подходить к нему.

Философ хотел оттолкнуть ее руками, но, к удивлению, заметил, что руки его не могут приподняться, ноги не двигались; и он с ужасом увидел, что даже голос не звучал из уст его: слова без звука шевелились на губах. Он слышал только, как билось его сердце; он видел, как старуха подошла к нему, сложила ему руки, нагнула ему голову, вскочила с быстротою кошки к нему на спину, ударила его метлой по боку, и он, подпрыгивая, как верховой конь, понес ее на плечах своих. Все это случилось так быстро, что философ едва мог опомниться и схватил обеими руками себя за колени, желая удержать ноги; но они, к величайшему изумлению его, подымались против воли и производили скачки быстрее черкесского бегуна. Когда уже минули

они хутор и перед ними открылась ровная лощина, а в стороне потянулся черный, как уголь, лес, тогда только сказал он сам в себе: «Эге, да это ведьма».

Обращенный месячный серп светлел на небе. Робкое полночное сияние, как сквозное покрывало[В], ложилось легко и дымилось на земле. Леса, луга, небо, долины — все, казалось, как будто спало с открытыми глазами. Ветер хоть бы раз вспорхнул где-нибудь. В ночной свежести было что-то влажно-теплое[В]. Тени от дерев и кустов, как кометы, острыми клинами падали на отлогую равнину. Такая была ночь, когда философ Хома Брут скакал с непонятным всадником на спине. Он чувствовал какое-то томительное, неприятное и вместе сладкое чувство, подступавшее к его сердцу. Он опустил голову вниз и видел, что трава, бывшая почти под ногами его, казалось, росла глубоко и далеко и что сверх ее находилась прозрачная, как горный ключ, вода, и трава казалась дном какого-то светлого, прозрачного до самой глубины моря; по крайней мере, он видел ясно, как он отражался в нем вместе с сидевшею на спине старухою. Он видел, как вместо месяца светило там какое-то солнце; он слышал, как голубые колокольчики, наклоняя свои головки, звенели. Он видел, как из-за осоки выплывала русалка, мелькала спина и нога, выпуклая, упругая, вся созданная из блеска и трепета[В]. Она оборотилась к нему — и вот ее лицо, с глазами светлыми, сверкающими, острыми, с пеньем вторгавшимися в душу, уже приближалось к нему, уже было на поверхности и, задрожав сверкающим смехом, удалялось[В] — и вот она опрокинулась на спину[В], и облачные перси ее, матовые, как фарфор, не покрытый глазурью, просвечивали пред солнцем по краям своей белой, эластически-нежной окружности. Вода в виде маленьких пузырьков, как бисер, обсыпала их. Она вся дрожит и смеется в воде...

Видит ли он это, или не видит? Наяву ли это, или снится? Но там что? Ветер или музыка: звенит, звенит, и вьется, и подступает, и вонзается в душу[В] какою-то нестерпимою трелью...

«Что это?» — думал философ Хома Брут, глядя вниз, несясь во всю прыть. Пот катился с него градом. Он чувствовал бесовски сладкое чувство, он чувствовал какое-то пронзающее, какое-то томительно-страшное наслаждение. Ему часто казалось, как будто сердца уже вовсе не было у него, и он со страхом хватался за него рукою[В]. Изнеможенный, растерянный, он начал припоминать все, какие только знал, молитвы. Он перебирал все заклятия против духов и вдруг почувствовал какое-то освежение; чувствовал, что шаг его начинал становиться ленивее, ведьма как-то слабее держалась на спине его. Густая трава касалась его, и уже он не видел в ней ничего необыкновенного[В]. Светлый серп светил на небе.

«Хорошо же[В]!» — подумал про себя философ Хома и начал почти вслух произносить заклятия. Наконец с быстротою молнии выпрыгнул из-

под старухи и вскочил, в свою очередь, к ней на спину[в]. Старуха мелким, дробным шагом побежала так быстро, что всадник едва мог переводить дух свой. Земля чуть мелькала под ним. Все было ясно при месячном, хотя и не полном свете. <Долины были гладки, но всё от быстроты[в] мелькало неясно и сбивчиво в его глазах>. Он схватил лежавшее на дороге полено и начал им со всех сил колотить старуху. После нескольких ударов заметил он, что бег ее становился медленнее и медленнее. Философ сгоряча крестил ее еще более. Наконец ведьма была не в силах переносить ударов, зашаталась и упала. Рассвет загорелся совершенно. Птицы чиликали в еще неподвижных и спавших рощах орешника. Перед ним, как на ладоне, был весь Киев с продолговатыми, как золотые груши, главами. Вставши на ноги, он взглянул на лежавшую на земле и едва дышавшую ведьму — и сам не мог растолковать своего чувства: он видел, что в лице ее показались молодые черты, сверкнула снежная белизна и как будто бы она была уже вовсе не старуха: какая-то приятная и вместе неприятная мина показалась на губах ее и врезалась ему в самое сердце. Он чувствовал что-то похожее на жалость, но не захотел и минуты оставаться и скорее направил путь свой в город, раздумывая об этом странном происшествии[в].

Бурсаков почти никого не было в городе: все разбрелись по хуторам, или на кондиции, или просто без всяких кондиций, потому что по хуторам малороссийским можно есть галушки[19], сыр, сметану и вареники величиною в шляпу, не заплатив гроша денег. Большая хата, в которой помещалась бурса, была решительно пуста, и сколько философ ни шарил по углам, не отыскал ни сала, ни книша[20], что, по обыкновению, запрятываемо было бурсаками. Однако же философ скоро сыскался, как поправить своему горю: он прошел, посвистывая, раза три по рынку, перемигнулся на самом конце с какою-то молодою вдовою в желтом очипке[21], продававшею ленты, ружейную дробь и колеса, — и был того же дня накормлен пшеничными варениками, курицею... и, словом, перечесть нельзя, что у него было за столом, накрытым в маленьком глиняном домике среди вишневого садика. Того же самого вечера видели философа в корчме[22]: он лежал на лавке, покуривая, по обыкновению своему, люльку, и при всех бросил жиду-корчмарю ползолотой[23]. Перед ним стояла кружка. Он глядел на приходивших и уходивших хладнокровно-довольными глазами и вовсе уже не думал о своем необыкновенном происшествии.

Между тем распространились везде слухи, что дочь одного из богатейших сотников[24], которого хутор находился в пятидесяти верстах[в] от Киева, возвратилась в один день с прогулки вся избитая, едва имевшая силы добрести до отцовского дома, находится при смерти и перед смертным часом

изъявила желание, чтобы отходную[25] по ней и молитвы в продолжение трех дней после смерти читал один из киевских семинаристов: Хома Брут. Об этом философ узнал от самого ректора, который нарочно призывал его в свою комнату[в] и объявил, чтобы он без всякого отлагательства спешил в дорогу, что именитый сотник прислал за ним нарочно людей и возок.

Философ вздрогнул по какому-то безотчетному чувству, которого он сам не мог растолковать себе. Он как будто слышал какой-то тайный голос, его удерживавший, и объявил напрямик, что не поедет[в].

— Послушай, dominus[в] Хома[26]! — сказал ректор (он в некоторых случаях объяснялся очень вежливо с своими подчиненными), — тебя никакой черт и не спрашивает о том, хочешь ли ты ехать, или не хочешь. Я тебе скажу только то, что если ты еще будешь показывать свою рысь да мудрствовать, то прикажу тебя по спине и по прочему так отстегать молодым березняком, что и в баню больше не нужно ходить.

Философ, почесывая слегка за ухом, вышел, не говоря ни слова, располагая при первом удобном случае возложить надежду на свои ноги. В раздумье сходил он с крутой лестницы, приводившей на двор, обсаженный тополями, и на минуту остановился, услышавши довольно явственно голос ректора, дававшего приказания своему ключнику и еще кому-то, вероятно, одному из посланных за ним от сотника.

— Благодари пана за крупу и яйца, — говорил ректор, — и скажи, что как только будут готовы те книги, о которых он пишет, то я тотчас пришлю. Я отдал их уже переписывать писцу. Да не забудь, мой голубе! прибавить пану, что на хуторе у них, я знаю, водится хорошая рыба, и особенно осетрина, то при случае прислал бы: здесь на базарах и нехороша, и дорога. А ты, Явтух[в], дай молодцам по чарке горелки. Да философа привязать, а не то как раз удерет.

«Вишь, чертов сын! — подумал про себя философ, — пронюхал, длинноногий вьюн!»

Он сошел вниз и увидел кибитку[в], которую принял было сначала за хлебный овин[27] на колесах. В самом деле, она была так же глубока, как печь, в которой обжигают кирпичи. Это был обыкновенный краковский экипаж, в каком жиды полсотнею отправляются вместе с товарами во все города, где только слышит их нос ярмарку. Его ожидало человек шесть здоровых и крепких козаков, уже несколько пожилых. Свитки из тонкого сукна с кистями показывали, что они принадлежали довольно значительному и богатому владельцу. Небольшие рубцы говорили, что они бывали когда-то на войне не без славы.

«Что ж делать? Чему быть, тому не миновать!» — подумал про себя философ и, обратившись к козакам, произнес громко:

— Здравствуйте, братья-товарищи[28]!

— Будь здоров, пан философ! — отвечали некоторые из козаков.

— Так вот это мне приходится сидеть вместе с вами? А брика знатная! — продолжал он, влезая. — Тут бы, только нанять музыкантов, то и танцевать можно.

— Да, соразмерный экипаж! — сказал один из козаков, садясь на облучок сам-друг с кучером, завязавшим голову тряпицею вместо шапки, которую он успел оставить в шинке. Другие пять вместе с философом полезли в углубление и расположились на мешках, наполненных разною закупкою, сделанною в городе.

— Любопытно бы знать, — сказал философ, — если бы, примером, эту брику нагрузить каким-нибудь товаром: положим, солью или железными клинами — сколько потребовалось бы тогда коней?

— Да, — сказал, помолчав, сидевший на облучке козак, — достаточное бы число потребовалось коней. — После такого удовлетворительного ответа козак почитал себя вправе молчать во всю дорогу.

Философу чрезвычайно хотелось узнать обстоятельнее: кто такой был этот сотник, каков его нрав, что слышно о его дочке, которая таким необыкновенным образом возвратилась домой и находилась при смерти и которой история связалась теперь с его собственною, как у них и что делается в доме[в]? Он обращался к ним с вопросами; но козаки, верно, были тоже философы, потому что в ответ на это молчали и курили люльки, лежа на мешках. Один только из них обратился к сидевшему на козлах вознице с коротеньким приказанием: «Смотри, Оверко, ты старый разиня; как будешь подъезжать к шинку, что на Чухрайловской дороге, то не позабудь остановиться и разбудить меня и других молодцов, если кому случится заснуть». После этого он заснул довольно громко. Впрочем, эти наставления были совершенно напрасны, потому что едва только приблизилась исполинская брика к шинку на Чухрайловской дороге, как все в один голос закричали: «Стой!» Притом лошади Оверка были так уже приучены, что останавливались сами перед каждым шинком[в]. Несмотря на жаркий июльский день, все вышли из брики, отправились в низенькую запачканную[в] комнату, где жид-корчмарь с знаками радости бросился принимать своих старых знакомых. Жид принес под полою несколько колбас из свинины и, положивши на стол, тотчас отворотился от этого запрещенного талмудом[29] плода. Все уселись вокруг стола. Глиняные кружки показались пред каждым из гостей. Философ Хома должен был участвовать в общей пирушке. И так как малороссияне, когда подгуляют, непременно начнут целоваться или плакать, то скоро вся изба наполнилась лобызаниями[в]: «А ну, Спирид, почеломкаемся!» — «Иди сюда, Дорош, я обниму тебя!»

Один козак, бывший постарее всех других, с седыми усами, подставивши руку под щеку, начал рыдать от души о том, что у него нет ни отца, ни матери и что он остался одним-один на свете. Другой был большой резонер и беспрестанно утешал <его>, говоря: «Не плачь, ей-Богу, не плачь! Что ж тут... уж Бог знает как и что такое». Один, по имени Дорош, сделался чрезвычайно любопытен и, оборотившись к философу Хоме, беспрестанно спрашивал его:

— Я хотел бы знать, чему у вас в бурсе учат: тому ли самому, что и дьяк читает в церкви, или чему другому?

— Не спрашивай! — говорил протяжно резонер[30]. — Пусть его там будет, как было. Бог уже знает, как нужно; Бог все знает.

— Нет, я хочу знать, — говорил Дорош, — что там написано в тех книжках. Может быть совсем другое, чем у дьяка.

— О Боже мой, Боже мой! — говорил этот почтенный наставник, — и на что такое говорить? Так уже воля Божия положила. Уже что Бог дал, того не можно переменить.

— Я хочу знать все, что ни написано. Я пойду в бурсу, ей-Богу, пойду! Что ты думаешь, я не выучусь? Всему выучусь, всему!

— О Боже ж мой, Боже мой!.. — говорил утешитель и спустил свою голову на стол, потому что совершенно был не в силах держать ее долее на плечах. Прочие козаки толковали о панах и о том, отчего на небе светит месяц.

Философ Хома, увидя такое расположение голов, решился воспользоваться и улизнуть. Он сначала обратился к седовласому козаку, грустившему об отце и матери:

— Что ж ты, дядько, расплакался? — сказал он. — Я сам сирота! Отпустите меня, ребята, на волю! На что я вам?!

— Пустим его на волю! — отозвались некоторые. — Ведь он сирота. Пусть себе идет, куда хочет.

— О Боже ж мой, Боже мой! — произнес утешитель, подняв свою голову. — Отпустите его! Пусть идет себе!

И козаки уже хотели сами вывесть его в чистое поле, но тот, который показал свое любопытство, остановил их, сказавши:

— Не трогайте; я хочу с ним поговорить о бурсе. Я сам пойду в бурсу...

Впрочем, вряд ли бы этот побег мог совершиться, потому что когда философ вздумал подняться из-за стола, то ноги его сделались как будто деревянными и дверей в комнате начало представляться ему такое множество, что вряд ли бы он отыскал настоящую.

Только ввечеру вся эта компания вспомнила, что нужно отправляться далее в дорогу. Взмостившись в брику, они потянулись, погоняя лоша-

дей и напевая песню, которой слова и смысл вряд ли бы кто разобрал. Проколесивши большую половину ночи, беспрестанно сбиваясь с дороги, выученной наизусть, они наконец спустились с крутой горы[в] в долину, и философ заметил по сторонам тянувшийся частокол или плетень, с низенькими деревьями и выказывавшимися из-за них крышами. Это было большое селение, принадлежавшее сотнику. Уже было далеко за полночь; небеса были темны, и маленькие звездочки мелькали кое-где. Ни в одной хате не видно было огня. Они взъехали, в сопровождении собачьего лая, на двор. С обеих сторон были заметны крытые соломою сараи и домики. Один из них, находившийся как раз посередине против ворот, был более других и служил, как казалось, пребыванием сотника[в]. Брика остановилась перед небольшим подобием сарая, и путешественники наши отправились спать. Философ хотел, однако же, несколько обсмотреть снаружи панские хоромы; но как он ни пялил свои глаза, ничто не могло означиться в ясном виде: вместо дома представлялся ему медведь; из трубы делался ректор. Философ махнул рукою и пошел спать.

Когда проснулся философ, то весь дом был в движении: в ночь умерла панночка. Слуги бегали впопыхах взад и вперед. Старухи некоторые плакали. Толпа любопытных глядела сквозь забор на панский двор, как будто бы могла что-нибудь увидеть. Философ начал на досуге осматривать те места, которые он не мог разглядеть ночью. Панский дом был низенькое небольшое строение, какие обыкновенно строились в старину в Малороссии. Он был покрыт соломою. Маленький, острый и высокий фронтон с окошком, похожим на поднятый кверху глаз, был весь измалеван голубыми и желтыми цветами и красными полумесяцами. Он был утвержден на дубовых столбиках, до половины круглых и снизу шестигранных, с вычурною обточкою вверху. Под этим фронтоном находилось небольшое крылечко со скамейками по обеим сторонам. С боков дома были навесы на таких же столбиках, инде[31] витых. Высокая груша, с пирамидальною верхушкою и трепещущими листьями, зеленела перед домом. Несколько амбаров в два ряда стояли среди двора, образуя род широкой улицы, ведшей к дому. За амбарами, к самым воротам, стояли треугольниками два погреба, один напротив другого, крытые также соломою. Треугольная стена каждого из них была снабжена низенькою дверью[в] и размалевана разными изображениями. На одной из них нарисован был сидящий на бочке козак, державший над головою кружку с надписью: «Всё выпью». На другой фляжка, сулеи[32] и по сторонам, для красоты, лошадь, стоявшая вверх ногами, трубка, бубны и надпись: «Вино козацкая потеха». Из чердака одного из сараев выглядывал сквозь огромное слуховое окно барабан и медные трубы. У ворот стояли две пушки. Все показывало, что

хозяин дома любил повеселиться и двор часто оглашали пиршественные клики. За воротами находились две ветряные мельницы. Позади дома шли сады; и сквозь верхушки дерев видны были одни только темные шляпки труб скрывавшихся в зеленой гуще хат. Все селение помещалось на широком и ровном уступе горы. С северной стороны все заслоняла крутая гора и подошвою своею оканчивалась у самого двора. При взгляде на нее снизу она казалась еще круче, и на высокой верхушке ее торчали кое-где неправильные стебли тощего бурьяна и чернели на светлом небе. Обнаженный глинистый вид ее навевал какое-то уныние. Она была вся изрыта дождевыми промоинами и проточинами. На крутом косогоре ее в двух местах торчали две хаты; над одною из них раскидывала ветви широкая яблоня, подпертая у корня небольшими кольями с насыпною землей. Яблоки, сбиваемые ветром, скатывались в самый панский двор. С вершины вилась по всей горе дорога и, опустившись, шла мимо двора в селенье. Когда философ измерил страшную круть ее и вспомнил вчерашнее путешествие, то решил, что или у пана были слишком умные лошади, или у козаков слишком крепкие головы, когда и в хмельном чаду умели не полететь вверх ногами вместе с неизмеримою брикою и багажом. Философ стоял на высшем в дворе месте, и, когда оборотился и глянул в противоположную сторону, ему представился совершенно другой вид. Селение вместе с отлогостью скатывалось на равнину. Необозримые луга открывались на далекое пространство; яркая зелень их темнела по мере отдаления, и целые ряды селений синели вдали, хотя расстояние их было более, нежели на двадцать верст. С правой стороны этих лугов тянулись горы и чуть заметною вдали полосою горел и темнел Днепр.

— Эх, славное место! — сказал философ. — Вот тут бы жить, ловить рыбу в Днепре и в прудах[В], охотиться с тенетами или с ружьем за стрепетами и крольшнепами[33]. Впрочем, я думаю, и дроф[34] немало в этих лугах. Фруктов же можно насушить и продать в город множество или, еще лучше, выкурить из них водку; потому что водка[В] из фруктов ни с каким пенником[35] не сравнится. Да не мешает подумать и о том, как бы улизнуть отсюда[В]; ибо я и сам не знаю отчего, только мне, кажется, плохо будет здесь. Почему же именно я должен читать, а не другой?..

Он приметил за плетнем маленькую дорожку, совершенно закрытую разросшимся бурьяном. Он поставил машинально на нее ногу, думая наперед только прогуляться, а потом тихомолком, промеж хатами, да и махнуть в поле, как внезапно почувствовал на своем плече довольно крепкую руку.

Позади его стоял тот самый старый козак, который вчера так горько соболезновал о смерти отца и матери и о своем одиночестве.

— Напрасно ты думаешь, пан философ, улепетнуть из хутора! — говорил он. — Тут не такое заведение, чтобы можно было убежать. Да и дороги для пешехода плохи; а ступай лучше к пану. Он ожидает тебя давно в светлице[в].

— Пойдем! Что ж... Я с удовольствием, — сказал философ и отправился вслед за козаком[в].

Сотник, уже престарелый, с седыми усами и с выражением мрачной грусти, сидел перед столом в светлице, подперши обеими руками голову. Ему было около 50 лет; но глубокое уныние на лице и какой-то бледно-тощий цвет показывали, что душа его была убита и разрушена вдруг в одну минуту и вся прежняя веселость и шумная жизнь исчезли навеки. Когда взошел Хома вместе с старым козаком, он отнял одну руку и слегка кивнул головою на низкий их поклон.

Хома и козак почтительно остановились у дверей.

— Кто ты, и откудова, и какого звания, добрый человек[в]? — сказал сотник ни ласково, ни сурово.

— Из бурсаков[в], философ Хома Брут.

— А кто был твой отец[в]?

— Не знаю, вельможный пан.

— А мать твоя?

— И матери не знаю. По здравому рассуждению, конечно, была мать; но кто она, и откуда, и когда жила — ей-Богу, добродию[36], не знаю.

Сотник помолчал и, казалось, минуту оставался в задумчивости.

— Как же ты познакомился с моею дочкою?

— Не знакомился, вельможный пан, ей-Богу, не знакомился! Еще никакого дела с панночками не имел, сколько ни живу на свете. Цур им, чтобы не сказать непристойного.

— Отчего же она не другому кому, а тебе именно назначила читать?

Философ пожал плечами:

— Бог его знает, как это растолковать. Известное уже дело, что панам подчас захочется такого, чего и самый наиграмотнейший человек не разберет; и пословица говорит: «Скачи, враже, як пан каже»[37].

— Да не врешь ли ты, пан философ?

— Вот на этом самом месте пусть громом так и хлопнет, если лгу.

— Если бы только минуточкой долее прожила ты, — грустно сказал сотник, — то верно бы я узнал все. «Никому не давай читать по мне, но пошли, тату, сей же час в Киевскую семинарию и привези бурсака Хому Брута; пусть три ночи молится по грешной душе моей. Он знает...» А что такое знает, я уже не услышал. Она, голубонька, только и могла сказать, и умерла. Ты, добрый человек, верно, известен святою жизнию своею и богоугодными делами, и она, может быть, наслышалась о тебе.

— Кто? Я? — сказал бурсак, отступивши от изумления. — Я святой жизни? — произнес он, посмотрев прямо в глаза сотнику. — Бог с вами, пан! Что вы это говорите! Да я, хоть оно непристойно сказать, ходил к булочнице против самого страстного четверга[38] [В].

— Ну... верно, уже недаром так назначено. Ты должен с сего же дня начать свое дело.

— Я бы сказал на это вашей милости... оно, конечно, всякий человек, вразумленный Святому Писанию, может по соразмерности... только сюда приличнее бы требовалось дьякона или, по крайней мере, дьяка[39]. Они народ толковый и знают, как все это уже делается, а я... Да у меня и голос не такой, и сам я — черт знает что. Никакого виду с меня нет[В].

— Уж как ты себе хочешь, только я все, что завещала мне моя голубка, исполню, ничего не пожалея. И когда ты с сего дня три ночи совершишь, как следует, над нею молитвы, то я награжу тебя; а не то — и самому черту не советую рассердить меня.

Последние слова произнесены были сотником так крепко, что философ понял вполне их значение.

— Ступай за мною! — сказал сотник.

Они вышли в сени. Сотник отворил дверь в другую светлицу, бывшую насупротив первой. Философ остановился на минуту в сенях высморкаться и с каким-то безотчетным страхом переступил через порог. Весь пол был устлан красною китайкой[40]. В углу, под образами, на высоком столе лежало тело умершей, на одеяле из синего бархата, убранном золотою бахромою и кистями. Высокие восковые свечи, увитые калиною[41], стояли в ногах и в головах, изливая свой мутный[В], терявшийся в дневном сиянии свет. Лицо умершей было заслонено от него неутешным отцом, который сидел перед нею, обращенный спиною к дверям. Философа поразили слова, которые он услышал:

— Я не о том жалею, моя наимилейшая мне дочь, что ты во цвете лет своих, не дожив положенного века, на печаль и горесть мне, оставила землю; я о том жалею, моя голубонька, что не знаю того, кто был, лютый враг мой, причиною твоей смерти. И если бы я знал, кто мог подумать только оскорбить тебя или хоть бы сказал что-нибудь неприятное о тебе, то, клянусь Богом, не увидел бы он больше своих детей, если он так же стар, как и я; ни своего отца и матери, если только он еще на поре лет, и тело его было бы выброшено на съедение птицам и зверям степным. Но горе мне, моя полевая нагидочка[42], моя перепеличка, моя ясочка[43], что проживу я остальной век свой без потехи, утирая полою дробные слезы, текущие из старых очей моих, тогда как враг мой будет веселиться и втайне посмеиваться над хилым старцем... — Он остановился, и причиною этого была разрывающая горесть, разрешившаяся целым[В] потопом слез.

Философ остановился, несколько тронутый такою безутешною печалию[В]. Он закашлял и издал глухое крехтание, желая очистить им немного свой голос.

Сотник оборотился и указал ему место в головах умершей, перед небольшим налоем[44], на котором лежали книги.

«Три ночи как-нибудь отработаю, — подумал философ, — зато пан набьет мне оба кармана чистыми червонцами». Он приблизился и принялся читать, <не обращая никакого внимания на сторону и не решаясь взглянуть в лицо умершей>. Глубокая тишина воцарилась. Он заметил, что сотник вышел. Медленно поворотил он голову, чтобы взглянуть на умершую и...

Трепет[В] пробежал по его жилам: пред ним лежала[В] красавица, какая когда-либо бывала на земле. Казалось, никогда еще черты лица не были образованы в такой резкой и вместе гармонической красоте. Она лежала как живая. Чело прекрасное, нежное, как снег, как серебро, казалось, мыслило; брови — ночь среди солнечного дня, тонкие, ровные, горделиво[В] приподнялись над закрытыми глазами, а ресницы, упавшие стрелами на щеки, казалось, пылавшие жаром тайных желаний; уста — светлые рубины, готовые усмехнуться[В] смехом блаженства, потопом радости... Но в них же, в тех же самых чертах, он видел что-то страшно-пронзительное. Он чувствовал, что душа его начинала как-то болезненно ныть[В], как будто бы вдруг среди вихря веселья и закружившейся толпы запел кто-нибудь песню похоронную[В]. Рубины уст ее, казалось, прикипали кровию к самому сердцу[В]. «Это та самая ведьма, которую я прибил![В]» — вскрикнул он, вглядевшись в ужасе. В самом деле в лице ее выразилась та же мина, которая так поразила его, когда он, вместо старухи, увидел молодую. «А! так вот почему она заставила читать меня!» Он в ужасе глядел на нее; каждая черта лица ее теперь казалась ему громовою и угрожающею. Холодный пот покатился с лица его.

Когда солнце стало садиться, мертвую понесли в церковь. Философ должен был плечом своим поддерживать черный траурный гроб и чувствовал на плече своем что-то холодное как лед. Сотник сам шел впереди, неся рукою правую сторону тесного дома умершей. Церковь деревянная, почерневшая, убранная зеленым мохом, с тремя конусообразными банями[45], уныло стояла почти на краю села. Заметно было, что в ней давно уже не отправлялось никакого служения. Свечи были зажжены почти перед каждым образом. Гроб поставили посередине, против самого алтаря. Старый сотник поцеловал еще раз умершую, повергнулся ниц и вышел вместе с носильщиками вон, дав повеление хорошенько накормить философа и после ужина проводить его в церковь. Пришедши в кухню, все несшие гроб начали прикладывать руки к печке, что обыкновенно делают малороссияне, увидевши мертвеца.

Голод, который в это время начал чувствовать философ, заставил его на несколько минут позабыть вовсе об умершей. Скоро вся дворня мало-помалу начала сходиться в кухню. Кухня в сотниковом доме была что-то похожее на клуб, куда стекалось все, что ни обитало во дворе, считая в это число и собак, приходивших с машущими хвостами к самым дверям за костьми и помоями. Куда бы кто ни был посылаем и по какой бы то ни было надобности, он всегда прежде заходил на кухню, чтобы отдохнуть хоть минуту на лавке и выкурить люльку. Все холостяки, жившие в доме, щеголявшие в козацких свитках, лежали здесь почти целый день на лавке, под лавкою, на печке — одним словом, где только можно было сыскать удобное место для леженья. Притом всякий вечно позабывал в кухне или шапку, или кнут для чужих собак, или что-нибудь подобное. Но самое многочисленное собрание бывало во время ужина, когда приходил и табунщик, успевший загнать своих лошадей в загон, и погонщик, приводивший коров для дойки, и все те, которых в течение дня нельзя было увидеть. За ужином болтовня овладевала самыми неговорливыми языками. Тут обыкновенно говорилось обо всем: и о том, кто пошил себе новые шаровары, и что находится внутри земли, и кто видел волка. Тут было множество бонмотистов[46], в которых между малороссиянами нет недостатка.

Философ уселся вместе с другими в обширный кружок на вольном воздухе перед порогом кухни. Скоро баба в красном очипке высунулась из дверей, держа в обеих руках горячий горшок с галушками, и поставила его посреди готовившихся ужинать. Каждый вынул из кармана своего деревянную ложку, иные, за неимением, деревянную спичку[В]. Как только уста стали двигаться немного медленнее и волчий голод всего этого собрания немного утишился, многие начали заговаривать. Разговор, натурально, должен был обратиться к умершей[В].

— Правда ли, — сказал один молодой овчар, который насадил на свою кожаную перевязь для люльки столько пуговиц и медных блях, что был похож на лавку мелкой торговки, — правда ли, что панночка, не тем будь помянута, зналась с нечистым?

— Кто? панночка? — сказал Дорош, уже знакомый прежде нашему философу. — Да она была целая ведьма! Я присягну, что ведьма!

— Полно, полно, Дорош! — сказал другой, который во время дороги изъявлял большую готовность утешать. — Это не наше дело; Бог с ним! Нечего об этом толковать.

Но Дорош вовсе не был расположен молчать. Он только что перед тем сходил в погреб вместе с ключником по какому-то нужному делу и, наклонившись раза два к двум или трем бочкам, вышел оттуда чрезвычайно веселый и говорил без умолку.

— Что ты хочешь? Чтобы я молчал? — сказал он. — Да она на мне самом ездила! Ей-Богу, ездила!

— А что, дядько, — сказал молодой овчар с пуговицами, — можно ли узнать по каким-нибудь приметам ведьму?

— Нельзя, — отвечал Дорош. — Никак не узнаешь; хоть все псалтыри[47] перечитай, то не узнаешь.

— Можно, можно, Дорош. Не говори[в] этого, — произнес прежний утешитель. — Уже Бог недаром дал всякому особый обычай. Люди, знающие науку, говорят, что у ведьмы есть маленький хвостик.

— Когда стара баба, то и ведьма, — сказал хладнокровно седой козак.

— О, уж хороши и вы! — подхватила баба, которая подливала в то время свежих галушек в очистившийся горшок, — настоящие толстые кабаны.

Старый козак, которого имя было Явтух, а прозвание Ковтун[48], выразил на губах своих улыбку удовольствия, заметив, что слова его задели за живое старуху; а погонщик скотины пустил такой густой смех, как будто бы два быка, ставши одни против другого, замычали разом.

Начавшийся разговор возбудил непреодолимое желание и любопытство философа узнать обстоятельнее про умершую сотникову дочь. И потому, желая опять навести его на прежнюю материю, обратился к соседу своему с такими словами:

— Я хотел спросить, почему все это сословие, что сидит за ужином, считает панночку ведьмою? Что ж, разве она кому-нибудь причинила зло или извела кого-нибудь?

— Было всякого, — отвечал один из сидевших, с лицом гладким, чрезвычайно похожим на лопату.

— А кто не припомнит псаря Микиту, или того...

— А что ж такое псарь Микита? — сказал философ.

— Стой! Я расскажу про псаря Микиту, — сказал Дорош.

— Я расскажу про Микиту, — отвечал табунщик, — потому что он был мой кум.

— Я расскажу про Микиту, — сказал Спирид.

— Пускай, пускай Спирид расскажет! — закричала толпа.

Спирид начал:

— Ты, пан философ Хома, не знал Микиты. Эх, какой редкий был человек! Собаку каждую он, бывало, так знает, как родного отца. Теперешний псарь Микола, что сидит третьим за мною, и в подметки ему не годится. Хотя он тоже разумеет свое дело, но он против него — дрянь, помои.

— Ты хорошо рассказываешь, хорошо! — сказал Дорош, одобрительно кивнув головою.

Спирид продолжал:

— Зайца увидит скорее, чем табак утрешь из носу. Бывало, свистнет: «А ну, Разбой! А ну, Быстрая!» — а сам на коня во всю прыть, — и уже рассказать нельзя, кто кого скорее обгонит: он ли собаку или собака его. Сивухи кварту[49] свиснет вдруг, как бы не бывало. Славный был псарь! Только с недавнего времени начал он заглядываться беспрестанно на панночку. Вклепался[50] ли он точно в нее, или уже она так его околдовала, только пропал человек, обабился совсем; сделался черт знает что; пфу! непристойно сказать.

— Хорошо, — сказал Дорош.

— Как только панночка, бывало, взглянет на него, то и повода из рук пускает, Разбоя зовет Бровком, спотыкается и невесть что делает. Один раз панночка пришла на конюшню, где он чистил коня. Дай, говорит, Микитка, я положу на тебя свою ножку. А он, дурень, и рад тому: говорит, что не только ножку, но и сама садись на меня. Панночка подняла свою ножку, и как увидел он ее нагую, полную и белую ножку, то, говорит, чара так и ошеломила его. Он, дурень, нагнул спину и, схвативши обеими руками за нагие ее ножки, пошел скакать, как конь, по всему полю, и куда они ездили, он ничего не мог сказать; только воротился едва живой, и с той поры иссохнул весь, как щепка; и когда раз пришли на конюшню, то вместо его лежала только куча золы да пустое ведро: сгорел совсем; сгорел сам собою. А такой был псарь, какого на всем свете не можно найти.

Когда Спирид окончил рассказ свой, со всех сторон пошли толки о достоинствах бывшего псаря.

— А про Шепчиху ты не слышал? — сказал Дорош, обращаясь к Хоме.

— Нет.

— Эге-ге-ге! Так у вас, в бурсе, видно, не слишком большому разуму учат. Ну, слушай: у нас есть на селе козак Шептун. Хороший козак! Он любит иногда украсть и соврать без всякой нужды. Но... хороший козак. Его хата не так далеко отсюда. В такую самую пору, как мы теперь сели вечерять, Шептун с жинкою, окончивши вечерю, легли спать, и так как время было хорошее, то Шепчиха легла на дворе, а Шептун в хате на лавке; или нет: Шепчиха в хате на лавке, а Шептун на дворе...

— И не на лавке, а на полу легла Шепчиха, — подхватила баба, стоя у порога и подперши рукою щеку.

Дорош поглядел на нее, потом поглядел вниз, потом опять на нее и, немного помолчав, сказал:

— Когда скину с тебя при всех исподницу, то нехорошо будет.

Это предостережение имело свое действие. Старуха замолчала и уже ни разу не перебила речи. Дорош продолжал:

— А в люльке, висевшей среди хаты, лежало годовое дитя — не знаю, мужеского или женского пола. Шепчиха лежала, а потом слышит, что за дверью скребется собака и воет так, хоть из хаты беги. Она испугалась: ибо бабы такой глупый народ, что высунь ей под вечер из-за дверей язык, то и душа войдет в пятки. Однако ж думает, дай-ка я ударю по морде проклятую собаку, авось-либо перестанет выть, — и, взявши кочергу, вышла отворить дверь. Не успела она немного отворить, как собака кинулась промеж ног ее и прямо к детской люльке. Шепчиха видит, что это уже не собака, а панночка. Да притом пускай бы уже панночка в таком виде, как она ее знала, — это бы еще ничего; но вот вещь и обстоятельство: что она была вся синяя, а глаза горели, как уголь. Она схватила дитя, прокусила ему горло и начала пить из него кровь. Шепчиха только закричала: «Ох, лишечко![51]» — да из хаты. Только видит, что в сенях двери заперты. Она на чердак: сидит и дрожит, глупая баба, а потом видит, что панночка к ней идет и на чердак; кинулась на нее и начала глупую бабу кусать. Уже Шептун поутру вытащил оттуда свою жинку, всю искусанную и посиневшую. А на другой день и умерла глупая баба. Так вот какие устройства и обольщения бывают! Оно хоть и панского помету, да всё когда ведьма, то ведьма.

После такого рассказа Дорош самодовольно оглянулся и засунул палец в свою трубку, приготовляя ее к набивке табаком. Материя о ведьме сделалась неисчерпаемою. К тому ведьма в виде скирды сена приехала к самым дверям хаты; у другого украла шапку или трубку; у многих девок на селе отрезала косу[52]; у других выпила по нескольку ведер крови.

Наконец вся компания опомнилась и увидела, что заболталась уже чересчур, потому что уже на дворе была совершенная ночь. Все начали разбродиться по ночлегам, находившимся или на кухне, или в сараях, или среди двора.

— А ну, пан Хома! Теперь и нам пора идти к покойнице, — сказал седой козак, обратившись к философу, и все четверо, в том числе Спирид и Дорош, отправились в церковь, стегая кнутами собак, которых на улице было великое множество и которые со злости грызли их палки. Философ[в], несмотря на то, что успел подкрепить себя доброю кружкою горелки, чувствовал втайне подступавшую робость по мере того, как они приближались к освещенной церкви. Рассказы и странные истории, слышанные им, помогали еще более действовать его воображению[в]. Мрак под тыном и деревьями начинал редеть; место становилось обнаженнее. Они вступили наконец за ветхую церковную ограду в небольшой дворик, за которым не было ни деревца и открывалось одно пустое поле да поглощенные ночным мраком луга. Три[в] козака взошли вместе с Хомою по крутой лестнице на крыльцо и вступили в церковь. Здесь они оставили философа, пожелав

ему благополучно отправить свою обязанность, и заперли за ним дверь, по приказанию пана.

Философ остался один. Сначала он зевнул, потом потянулся, потом фукнул в обе руки и наконец уже обсмотрелся. Посредине стоял черный гроб. Свечи теплились пред темными образами. Свет от них освещал только иконостас и слегка середину церкви. Отдаленные углы притвора были закутаны мраком[В]. Высокий старинный иконостас уже показывал глубокую ветхость; сквозная резьба его, покрытая золотом, еще блестела одними только искрами. Позолота в одном месте опала, в другом вовсе почернела; лики святых, совершенно потемневшие, глядели как-то мрачно. Философ еще раз обсмотрелся.

— Что ж, — сказал он, — чего тут бояться? Человек прийти сюда не может, а от мертвецов и выходцев из того света есть у меня молитвы такие, что как прочитаю, то они меня и пальцем не тронут. Ничего! — повторил он, махнув рукою, — будем читать.

Подходя к крылосу[53], увидел он несколько связок свечей. «Это хорошо, — подумал философ, — нужно осветить всю церковь так, чтобы видно было, как днем. Эх, жаль, что во храме Божием не можно люльки выкурить!» И он принялся[В] прилепливать восковые свечи ко всем карнизам, налоям и образам, не жалея их нимало, и скоро вся церковь наполнилась светом. Вверху только мрак сделался как будто сильнее, и мрачные образа глядели угрюмей из старинных резных рам, кое-где сверкавших позолотой. Он подошел ко гробу, с робостию посмотрел в лицо умершей и не мог не зажмурить, несколько вздрогнувши, своих глаз[В]:

Такая страшная, сверкающая красота!

Он отворотился и хотел отойти; но по странному любопытству, по странному поперечивающему себе чувству, не оставляющему человека особенно во время страха, он не утерпел, уходя, взглянуть на нее и потом, ощутивши тот же трепет, взглянул еще раз. В самом деле, резкая красота усопшей казалась страшною. Может быть, даже она не поразила бы таким паническим ужасом, если бы была несколько безобразнее[В]. Но в ее чертах ничего не было тусклого, мутного, умершего. Оно было живо, и философу казалось, как будто бы она глядит на него закрытыми глазами[В]. Ему даже показалось, как будто из-под ресницы правого глаза ее покатилась слеза, и когда она остановилась на щеке, то он различил ясно, что это была капля крови[54].

Он поспешно отошел к крылосу, развернул книгу и, чтобы более ободрить себя, начал читать самым громким голосом. Голос его поразил церковные деревянные стены, давно молчаливые и оглохлые. Одиноко, без эха, сыпался он густым басом в совершенно мертвой тишине и казался несколько

диким даже самому чтецу. «Чего бояться? — думал он между тем сам про себя. — Ведь она не встанет из своего гроба, потому что побоится Божьего слова. Пусть лежит! Да и что я за козак, когда бы устрашился? Ну, выпил лишнее — оттого и показывается страшно. А понюхать табаку: эх, добрый табак! Славный табак! Хороший табак!» Однако же, перелистывая каждую страницу, он посматривал искоса на гроб[В], и невольное чувство, казалось, шептало ему: «Вот, вот встанет! Вот поднимется, вот выглянет из гроба!»

Но тишина была мертвая. Гроб стоял неподвижно. Свечи лили целый потоп света. Страшна освещенная церковь ночью, с мертвым телом и без души людей!

Возвыся голос, он начал петь на разные голоса, желая заглушить остатки боязни[В]. Но через каждую минуту обращал глаза свои на гроб, как будто бы задавая невольный вопрос: «Что, если подымется, если встанет она?»[В]

Но гроб не шелохнулся. Хоть бы какой-нибудь звук, какое-нибудь живое существо, даже сверчок отозвался в углу. Чуть только слышался легкий треск какой-нибудь отдаленной свечки или слабый, слегка хлопнувший звук восковой капли, падавшей на пол. «Ну, если подымется?..»

Она приподняла голову...

Он дико взглянул и протер глаза. Но она точно уже не лежит, а сидит в своем гробе. Он отвел глаза свои и опять с ужасом обратил на гроб. Она встала... идет по церкви с закрытыми глазами, беспрестанно расправляя руки, как бы желая поймать кого-нибудь.

Она идет прямо к нему. В страхе очертил он около себя круг. С усилием начал читать молитвы и произносить заклинания, которым научил его один монах, видевший всю жизнь свою ведьм и нечистых духов.

Она стала почти на самой черте; но видно было, что не имела сил переступить ее, и вся посинела, как человек, уже несколько дней умерший. Хома не имел духа взглянуть на нее. Она была страшна. Она ударила зубами в зубы и открыла мертвые глаза свои. Но не видя ничего, с бешенством — что выразило ее задрожавшее лицо, — обратилась в другую сторону и, распростерши руки, обхватывала ими каждый столп и угол <стараясь поймать Хому>. Наконец, остановилась, погрозив пальцем, и легла в свой гроб.

Философ все еще не мог прийти в себя и со страхом поглядывал на это тесное жилище ведьмы. Наконец гроб вдруг сорвался с своего места и со свистом начал летать[В] по всей церкви, крестя во всех направлениях воздух. Философ видел его почти над головою, но вместе с тем видел, что он не мог зацепить круга, им очерченного, и усилил свои заклинания. Гроб грянулся на средине церкви и остался неподвижным. Труп опять поднялся <из него — > синий, позеленевший. Мертвые губы, казалось, что-то произносили и шевелились. Труп глухо топнул своею мягкою, почти без

костей, ногою о пол — и церковь вздрогнула. Он услышал, как будто что-то налегло на нее, и сквозь стекла окон начали показываться какие-то безобразные образы. Но в то время послышался отдаленный крик петуха. Труп упал в гроб.

Сердце у философа билось, и пот катился градом; но, ободренный петушьим криком, он дочитывал быстрее листы, которые должен был прочесть прежде. При первой заре пришли сменить его дьячок и седой Явтух, который на тот раз отправлял должность церковного старосты.

Пришедши на отдаленный ночлег, философ долго не мог заснуть, но усталость одолела, и он проспал до обеда. Когда он проснулся, все ночное событие казалось ему происходившим во сне. Ему дали для подкрепления сил кварту горелки. За обедом он скоро развязался, присовокупил кое к чему замечания и съел почти один довольно старого поросенка; но, однако же, о своем событии в церкви он не решался говорить по какому-то безотчетному для него самого чувству и на вопросы любопытных отвечал: «Да, были всякие чудеса». Философ был одним из числа тех людей, которых если накормят, то у них пробуждается необыкновенная филантропия. Он, лежа с своей трубкой в зубах, глядел на всех необыкновенно сладкими глазами и беспрерывно поплевывал в сторону.

После обеда философ был совершенно в духе. Он успел обходить все селение, перезнакомился почти со всеми; из двух хат его даже выгнали; одна[В] смазливая молодка хватила его порядочно лопатой по спине[В], когда он вздумал было пощупать и полюбопытствовать, из какой материи у нее была сорочка и плахта[55] [В]. Но чем более время близилось к вечеру, тем более становился философ задумчивее и пасмурнее. За час до ужина вся почти дворня собиралась играть в кашу или в крагли — род кеглей, где вместо шаров употребляются длинные палки, и выигравший имел право проезжаться на другом верхом[56]. Эта игра становилась очень интересною для зрителей: часто погонщик, широкий как блин, взлезал верхом на свиного пастуха, тщедушного[В], низенького, всего состоявшего из морщин. В другой раз погонщик подставлял свою спину, и Дорош, вскочивши на нее, всегда говорил: «Экой здоровый бык!» У порога кухни сидели те, которые были посолиднее. Они глядели чрезвычайно сурьезно, куря люльки, даже и тогда, когда молодежь от души смеялась какому-нибудь острому слову погонщика или Спирида. Хома напрасно старался вмешаться в эту игру: какая-то темная мысль как гвоздь сидела в его голове. За вечерей[В] сколько ни старался он развеселить себя, но страх загорался в нем вместе с тьмою, распростиравшеюся по небу.

— А ну, пора нам, пан бурсак! — сказал ему знакомый седой козак, подымаясь с места вместе с Дорошем. — Пойдем на работу.

Хому опять таким же самым образом отвели в церковь; опять оставили его одного и заперли за ним дверь. Как только он остался один, робость начала внедряться снова в его грудь.

Он опять увидел темные образа, блестящие рамы и знакомый черный гроб, стоявший в угрожающей тишине и неподвижности среди церкви.

— Что ж, — произнес он, — теперь ведь мне не в диковинку это диво. Оно с первого раза только страшно. Да! Оно только с первого раза немного страшно, а там оно уже не страшно; оно уже совсем не страшно.

Он поспешно стал на крылос, очертил около себя круг, произнес несколько заклинаний и начал читать громко, решаясь не подымать с книги своих глаз и не обращать внимания ни на что. Уже около часа читал он и начинал несколько уставать и покашливать. Он вынул из кармана рожок и прежде, нежели поднес табак к носу, робко повел глазами на гроб. Сердце его захолонуло:

Труп уже стоял перед ним на самой черте и вперил на него мертвые, позеленевшие глаза. Бурсак содрогнулся, и холод чувствительно пробежал по всем его жилам. Он, потупив голову, продолжал заклинания и слышал, как труп опять ударил зубами и начал махать рукой, желая схватить его. Возведши робкий взгляд на него, он заметил, что он ловил совершенно не там, где он стоял, и что труп не мог его видеть. Неуспех, казалось, приводил мертвую в бешенство. Она хлопнула зубами и, ставши на середину, опять топнула своею ногой. Этот стук раздался совершенно беззвучно; уста ее искривились и, казалось, произносили какие-то невнятные слова. И философ услышал, что стены церкви как будто заныли. Странный ропот и пронзительный визг раздался над глухими сводами; в стеклах окон слышалось какое-то отвратительное царапанье, и вдруг сквозь окна и двери посыпалось с шумом множество гномов, в таких чудовищных образах, в каких еще не представлялось ему ничто, даже во сне. Он увидел вдруг такое множество отвратительных крыл, ног и членов, каких не в силах бы был разобрать обхваченный ужасом наблюдатель! Выше всех возвышалось странное существо в виде правильной пирамиды, покрытое слизью. Вместо ног у него было внизу с одной стороны половина челюсти, с другой — другая; вверху, на самой верхушке этой пирамиды, высовывался беспрестанно длинный язык и беспрерывно ломался на все стороны. На противуположном крылосе уселось белое, широкое, с какими-то отвисшими до полу белыми мешками вместо ног; вместо рук, ушей, глаз висели такие же белые мешки. Немного далее возвышалось какое-то черное, всё покрытое чешуею, со множеством тонких рук, сложенных на груди, и вместо головы вверху у него была синяя человеческая рука. Огромный, величиною почти с слона, таракан остановился у дверей и просунул свои усы. С вершины самого купола со стуком

грянулось на средину церкви какое-то черное, всё состоявшее из одних ног; эти ноги бились по полу и выгибались, как будто бы чудовище желало подняться. Одно какое-то красновато-синее, без рук, без ног, протягивало на далекое пространство два своих хобота и как будто искало кого-то. Множество других, которых уже не мог различить испуганный глаз, ходили, летали и ползали в разных направлениях: одно состояло только из головы, другое из отвратительного крыла, летавшего с каким-то нестерпимым шипением. Хома зажмурил глаза и не имел духу уже взглянуть. Он слышал только, что весь этот сонм ищет его и прерывающимся голосом, собрав всё, что только знал, читал свои заклинания. Пот ужаса выступил на его лице. Ему казалось, что он умрет от одного только страха, когда нога какого-нибудь из этих чудовищ прикоснется до него отвратительною своею наружностью. Уже он видел, как одно из чудовищ протянуло свои длинные хоботы и уже один из них проникнул за черту... Боже... Но крикнул петух: всё вдруг поднялось и полетело сквозь двери и окна[В].

Вошедшие сменить философа нашли его едва жива. Он оперся спиною в стену, выпуча глаза, и глядел неподвижно на <пришедших> козаков. Его почти вывели и должны были поддерживать во всю дорогу. Пришедши на панский двор, он встряхнулся и велел себе подать кварту горелки. Выпивши ее, он пригладил на голове своей волосы и сказал:

— Много на свете всякой дряни водится! А страхи такие случаются — ну... — При этом философ махнул рукою.

Собравшийся возле него кружок потупил голову, услышав такие слова. Даже небольшой мальчишка, которого вся дворня почитала вправе уполномочивать вместо себя, когда дело шло к тому, чтобы чистить конюшни или таскать воду, даже этот бедный мальчишка тоже разинул рот.

В это время проходила мимо еще не совсем пожилая бабенка в плотно обтянутой запаске[57], выказывавшей ее круглый и крепкий стан, помощница старой кухарки, кокетка страшная, которая всегда находила что-нибудь пришпилить к своему очипку: или кусок ленточки, или гвоздику, или даже бумажку, если не было чего-нибудь другого.

— Здравствуй, Хома! — сказала она, увидев философа. — Ай-ай-ай! Что это с тобою? — вскрикнула она, всплеснув руками.

— Как что, глупая баба?

— Ах, Боже мой! Да ты весь поседел!

— Эге-ге! Да она правду говорит! — произнес Спирид, всматриваясь в него пристально. — Ты точно поседел, как наш старый Явтух.

Философ, услышавши это, побежал опрометью в кухню, где он заметил прилепленный к стене, обпачканный мухами треугольный кусок зеркала, перед которым были натыканы незабудки, барвинки[58] и даже гирлянда из

нагидок, показывавшие назначение его для туалета щеголеватой кокетки. Он с ужасом увидел истину их слов: половина волос его, точно, побелела.

Повесил голову Хома Брут и предался размышлению.

— Пойду к пану, — сказал он наконец, — расскажу ему всё и объясню, что больше не хочу читать. Пусть отправляет меня сей же час в Киев. — В таких мыслях направил он путь свой к крыльцу панского дома.

Сотник сидел почти неподвижен в своей светлице; та же самая безнадежная печаль, какую он встретил прежде на его лице, сохранялась в нем и доныне. Щеки его опали только гораздо более прежнего. Заметно было, что он очень мало употреблял пищи или, может быть, даже вовсе не касался ее. Необыкновенная бледность придавала ему какую-то каменную неподвижность.

— Здравствуй, небоже[59], — произнес он, увидев Хому, остановившегося с шапкою в руках у дверей. — Что, как идет у тебя? Все благополучно?

— Благополучно-то благополучно. Такая чертовщина водится, что прямо бери шапку, да и улепетывай, куда ноги несут.

— Как так?

— Да ваша, пан, дочка... По здравому рассуждению, она, конечно, есть панского роду; в том никто не станет прекословить; только не во гнев будь сказано, упокой Бог ее душу...

— Что же дочка?

— Припустила к себе сатану. Такие страхи задает, что никакое Писание не учитывается[В].

— Читай, читай! Она недаром призвала тебя. Она заботилась, голубонька моя, о душе своей и хотела молитвами изгнать всякое дурное помышление.

— Власть ваша, пан: ей-Богу, невмоготу!

— Читай, читай! — продолжал тем же увещательным голосом сотник. — Тебе одна ночь теперь осталась. Ты сделаешь Христианское дело, и я награжу тебя.

— Да какие бы ни были награды... Как ты себе хочь, пан, а я не буду читать! — произнес Хома решительно[В].

— Слушай, философ! — сказал сотник, и голос его сделался крепок и грозен, — я не люблю этих выдумок[В]. Ты можешь это делать в вашей бурсе, а у меня не так: я уже как отдеру, так не то, что ректор. Знаешь ли ты, что такое хорошие кожаные канчуки?

— Как не знать! — сказал философ, понизив голос. — Всякому известно, что такое кожаные канчуки; при большом количестве вещь нестерпимая.

— Да. Только ты не знаешь еще, как хлопцы мои умеют парить! — сказал сотник грозно, подымаясь на ноги, и лицо его приняло повелительное

и свирепое выражение, обнаружившее весь необузданный его характер, усыпленный только на время горестью. — У меня прежде выпарят, потом вспрыснут горелкою, а после опять. Ступай, ступай! Исправляй свое дело! Не исправишь — не встанешь; а исправишь — тысяча червонных!

«Ого-го! Да это хват! — подумал философ, выходя. — С этим нечего шутить. Стой, стой, приятель: я так навострю лыжи, что ты с своими собаками не угонишься за мною».

И Хома положил непременно бежать. Он выжидал только послеобеденного часу, когда вся дворня имела обыкновение забираться в сено под сараями и, открывши рот, испускать такой храп и свист, что панское подворье делалось похожим на фабрику. Это время наконец настало. Даже и Явтух зажмурил глаза, растянувшись перед солнцем. Философ со страхом и дрожью отправился потихоньку в панский сад, откуда, ему казалось, удобнее и незаметнее было бежать в поле. Этот сад, по обыкновению, был страшно запущен и, стало быть, чрезвычайно способствовал всякому тайному предприятию. Выключая только одной дорожки, протоптанной по хозяйственной надобности, все прочее было скрыто густо разросшимися вишнями, бузиною, лопухом, просунувшим на самый верх свои высокие стебли с цепкими розовыми шишками. Хмель покрывал, как будто сетью, вершину всего этого пестрого собрания дерев и кустарников и составлял над ними крышу, напялившуюся на плетень и спадавшую с него вьющимися змеями вместе с дикими полевыми колокольчиками. За плетнем, служившим границею сада, шел целый лес бурьяна, в который, казалось, никто не любопытствовал заглядывать, и коса разлетелась бы вдребезги, если бы захотела коснуться лезвием своим одеревеневших толстых стеблей его.

Когда философ хотел перешагнуть плетень, зубы его стучали и сердце так сильно билось, что он сам испугался. Пола его длинной хламиды, казалось, прилипала к земле, как будто ее кто приколотил гвоздем. Когда он переступал плетень, ему казалось, с оглушительным свистом трещал в уши какой-то голос: «Куда, куда?» Философ юркнул в бурьян и пустился бежать, беспрестанно оступаясь о старые корни[в] и давя ногами своими кротов. Он видел, что ему, выбравшись из бурьяна, стоило перебежать поле, за которым чернел густой терновник, где он считал себя безопасным и пройдя который он, по предположению своему, думал встретить дорогу прямо в Киев. Поле он перебежал вдруг и очутился в густом терновнике. Сквозь терновник он пролез, оставив, вместо пошлины, куски своего сюртука на каждом остром шипе, и очутился на небольшой лощине. Верба разделившимися ветвями преклонялась инде почти до самой земли. Небольшой источник сверкал, чистый, как серебро. Первое дело философа было прилечь и напиться, потому что он чувствовал жажду нестерпимую.

— Добрая вода! — сказал он, утирая губы. — Тут бы можно отдохнуть.

— Нет, лучше побежим вперед: неравно будет погоня! — Эти слова раздались у него над ушами. Он оглянулся: перед ним стоял Явтух.

«Чертов Явтух! — подумал в сердцах про себя философ. — Я бы взял тебя, да за ноги... И мерзкую рожу твою и всё, что ни есть на тебе, побил бы дубовым бревном».

— Напрасно дал ты такой крюк, — продолжал Явтух, — гораздо лучше выбрать ту дорогу, по какой шел я: прямо мимо конюшни. Да притом и сюртука жаль. А сукно хорошее. Почем платил за аршин? Однако ж погуляли довольно[в]: пора и домой.

Философ, почесываясь, побрел за Явтухом. «Теперь проклятая ведьма задаст мне пфейферу[60], — подумал он. — Да, впрочем, что я, в самом деле? Чего боюсь? Разве я не козак? Ведь читал же две ночи, поможет Бог и третью. Видно, проклятая ведьма порядочно грехов наделала, что нечистая сила так за нее стоит». Такие размышления занимали его, когда он вступал на панский двор. Ободривши себя такими замечаниями, он упросил Дороша, который[в] посредством протекции ключника имел иногда вход в панские погреба, вытащить сулею сивухи, и оба приятеля, севши под сараем, вытянули немного не полведра[61], так что философ, вдруг поднявшись на ноги, закричал: «Музыкантов! Непременно музыкантов!» — и, не дождавшись музыкантов, пустился среди двора на расчищенном месте отплясывать тропака. Он танцевал до тех пор, пока не наступило время полдника и дворня, обступившая его, как водится в таких случаях, в кружок, наконец плюнула и пошла прочь, сказавши: «Вот это как долго танцует человек!» Наконец философ тут же лег спать, и добрый ушат холодной воды мог только пробудить его к ужину. За ужином он говорил о том, что такое козак и что он не должен бояться ничего на свете.

— Пора, — сказал Явтух, — пойдем.

«Спичка тебе в язык, проклятый кнур[62]!» — подумал философ и, встав на ноги, сказал:

— Пойдем.

Идя дорогою, философ беспрестанно поглядывал по сторонам и слегка заговаривал с своими провожатыми. Но Явтух молчал; сам Дорош был неразговорчив. Ночь была адская. Волки выли вдали целою стаей. И самый лай собачий был как-то страшен.

— Кажется, как будто что-то другое воет: это не волк, — сказал Дорош. Явтух молчал. Философ не нашелся сказать ничего[в].

Они приблизились к церкви[в] и вступили под ее ветхие деревянные своды, показывавшие, как мало заботился владетель поместья о Боге и о душе

своей. Явтух и Дорош по-прежнему удалились, и философ остался один. Все было так же. Все было в том же самом грозно-знакомом виде. Он <на> минуту остановился. Посредине все так же неподвижно стоял гроб ужасной ведьмы. «Не побоюсь, ей-Богу, не побоюсь!» — сказал он и, очертивши по-прежнему около себя круг, начал припоминать все свои заклинания. Тишина была страшная; свечи трепетали и обливали светом всю церковь. Философ перевернул один лист, потом перевернул другой и заметил, что он читает совсем не то, что писано в книге. Со страхом перекрестился он и начал петь. Это несколько ободрило его: чтение пошло вперед, и листы мелькали один за другим... Вдруг... среди тишины... он слышит опять отвратительное царапанье, свист, шум и звон в окнах. С робостию зажмурил он глаза и прекратил на время чтение. Не отворяя глаз, он слышал, как вдруг грянуло об пол целое множество, сопровождаемое разными стуками — глухими, звонкими, мягкими, визгливыми. Немного приподнял он глаз свой и с поспешностию закрыл опять: ужас!.. это были все вчерашние гномы; разница в том, что он увидел между ими множество новых. Почти насупротив его стояло высокое, которого черный скелет выдвинулся на поверхность и сквозь темные ребра его мелькало желтое тело. В стороне стояло тонкое и длинное, как палка, состоявшее из одних только глаз с ресницами. Далее занимало почти всю стену огромное чудовище и стояло в перепутанных волосах, как будто в лесу. Сквозь сеть волос этих глядели два ужасные глаза. Со страхом глянул он вверх: над ним держалось в воздухе что-то в виде огромного пузыря с тысячью протянутых из середины клещей и скорпионных жал. Черная земля висела на них клоками. С ужасом потупил он глаза свои в книгу. Гномы подняли шум чешуями отвратительных хвостов своих, когтистыми ногами и визжавшими крыльями, и он слышал только, как они искали его во всех углах. Это выгнало последний остаток хмеля, еще бродивший в голове философа. Он ревностно начал читать свои молитвы. Он слышал их бешенство при виде невозможности найти его. «Что, если, — подумал он, вздрогнув, — вся эта ватага обрушится на меня?..»

— За Вием! Пойдем за Вием! — закричало множество странных голосов, и ему казалось, как будто часть гномов удалилась. Однако же он стоял с зажмуренными глазами и не решался взглянуть ни на что.

— Вий! Вий! — зашумели все; волчий вой послышался вдали и едва, едва отделял лаянье собак. Двери с визгом растворились, и Хома слышал только, как всыпались целые толпы. И вдруг настала тишина, как в могиле. Он хотел открыть глаза; но какой-то угрожающий тайный голос говорил ему: «Эй, не гляди!» Он показал усилие... По непостижимому, может быть происшедшему из самого страха, любопытству глаз его нечаянно отворился:

Перед ним стоял какой-то образ человеческий исполинского роста. Веки его были опущены до самой земли. Философ с ужасом заметил, что лицо его было железное, и устремил загоревшиеся глаза свои снова в книгу.

— Подымите мне веки! — сказал подземным голосом Вий — и всё сонмище кинулось подымать ему веки. «Не гляди!» — шепнуло какое-то внутреннее чувство философу. Он не утерпел и глянул:

Две черные пули глядели прямо на него. Железная рука поднялась и уставила на него палец.

— Вон он! — произнес Вий — и всё, что ни было, все отвратительные чудища разом бросились на него... бездыханный, он грянулся на землю... Петух пропел уже во второй раз. Первую песню его прослышали гномы. Всё скопище поднялось улететь, но не тут-то было: они все остановились и завязнули в окнах, в дверях, в куполе, в углах и остались неподвижны... В это время дверь отворилась и вошел священник, прибывший из отдаленного селения для совершения панихиды и погребения умершей. С ужасом отступил он, увидев такое посрамление святыни, и не посмел произносить в ней слова Божьего.

И с тех пор так всё и осталось в той церкви. Завязнувшие в окнах чудища там и поныне. Церковь поросла мохом, обшилась лесом, пустившим корни по стенам ее; никто не входил туда и не знает, где и в какой стороне она находится[В].

Когда слухи об этом дошли до Киева и богослов Халява услышал наконец о такой участи философа Хомы, то предался целый час раздумью. С ним в продолжение того времени произошли большие перемены. Счастие ему улыбнулось: по окончании курса наук его сделали звонарем самой высокой колокольни, и он всегда почти являлся с разбитым носом, потому что деревянная лестница на колокольню была чрезвычайно безалаберно сделана.

— Ты слышал, что случилось с Хомою? — сказал, подошедши к нему, Тиберий Горобець, который в то время был уже философ и носил свежие усы.

— Так ему Бог дал, — сказал звонарь Халява. — Пойдем в шинок да помянем его душу!

Молодой философ, который с жаром энтузиаста начал пользоваться своими правами, так что на нем и шаровары, и сюртук, и даже шапка отзывались спиртом и табачными корешками, в ту же минуту изъявил готовность.

— Славный был человек Хома! — сказал звонарь, когда хромой шинкарь поставил перед ним третью кружку. — Знатный был человек! А пропал ни за что.

— А я знаю, почему пропал он: оттого, что побоялся. А если бы не боялся, то бы ведьма ничего не могла с ним сделать. Нужно только, перекрестившись, плюнуть на самый хвост ей, то и ничего не будет. Я знаю уже все это. Ведь у нас в Киеве все бабы, которые сидят на базаре, — все ведьмы.

На это звонарь кивнул головою в знак согласия. Но заметивши, что язык его не мог произнести ни одного слова, он осторожно встал из-за стола и, пошатываясь на обе стороны, пошел спрятаться в самое отдаленное место в бурьяне. Причем не позабыл, по прежней привычке своей, утащить старую подошву от сапога, валявшуюся на лавке.



ПОГРЕШНОСТЬ

В сей повести, по неосмотрительности, пропущена половина страницы, объясняющая, каким образом бурсак узнал в сотниковой дочери ведьму, приходившую к нему в виде старухи.

ПОВЕСТЬ О ТОМ, КАК ПОССОРИЛСЯ ИВАН ИВАНОВИЧ С ИВАНОМ НИКИФОРОВИЧЕМ

ГЛАВА I.

Иван Иванович и Иван Никифорович.

Славная бекеша у Ивана Ивановича! отличнейшая! А какие смушки[1]! Фу ты, пропасть, какие смушки! сизые с морозом! Я ставлю Бог знает что, если у кого-либо найдутся такие! Взгляните, ради Бога, на них — особенно если он станет с кем-нибудь говорить, — взгляните сбоку: что это за объядение! Описать нельзя: бархат! серебро! огонь! Господи Боже мой! Николай Чудотворец, Угодник Божий! отчего же у меня нет такой бекеши! Он сшил ее тогда еще, когда Агафия Федосеевна не ездила в Киев. Вы знаете Агафию Федосеевну? та самая, что откусила ухо у заседателя[2]. Прекрасный человек Иван Иванович! Какой у него дом в Миргороде! Вокруг него со всех сторон навес на дубовых столбах, под навесом везде скамейки. Иван Иванович, когда сделается слишком жарко, скинет с себя и бекешу и исподнее, сам останется в одной рубашке и отдыхает под навесом и глядит, что делается во дворе и на улице. Какие у него яблони и груши под самыми окнами! Отворите только окно — так ветви и врываются в комнату. Это всё перед домом; а посмотрели бы, что у него в саду! Чего там нет? Сливы, вишни, черешни, огородина всякая, подсолнечники, огурцы, дыни, стручья, даже гумно и кузница. Прекрасный человек Иван Иванович! Он очень любит дыни. Это его любимое кушанье. Как только отобедает и выйдет в одной рубашке под навес, сейчас приказывает Гапке принести две дыни. И уже сам разрежет, соберет семена в особую бумажку и начнет кушать. Потом велит Гапке принести чернильницу и сам, собственною рукою, сделает над-

пись над бумажкою с семенами: «Сия дыня съедена такого-то числа». Если при этом был какой-нибудь гость, то: «участвовал такой-то». Покойный судья миргородский всегда любовался, глядя на дом Ивана Ивановича. Да, домишко очень недурен. Мне нравится, что к нему со всех сторон пристроены сени и сенички, так что если взглянуть на него издали, то видны одни только крыши, посаженные одна на другую, что весьма походит на тарелку, наполненную блинами, а еще лучше на губки, нарастающие на дереве. Впрочем, крыши все крыты очеретом[3]; ива, дуб и две яблони облокотились на них своими раскидистыми ветвями. Промеж дерев мелькают и выбегают даже на улицу небольшие окошки с резными выбеленными ставнями. Прекрасный человек Иван Иванович! Его знает и комиссар[4] полтавский! Дорош Тарасович Пухивочка, когда едет из Хорола[5], то всегда заезжает к нему. А протопоп[6] отец Петр, что живет в Колиберде[7], когда соберется у него человек пяток гостей, всегда говорит, что он никого не знает, кто бы так исполнял долг христианский и умел жить, как Иван Иванович. Боже, как летит время! Уже тогда прошло более десяти лет, как он овдовел. Детей у него не было. У Гапки есть дети и бегают часто по двору. Иван Иванович всегда дает каждому из них или по бублику, или по кусочку дыни, или грушу. Гапка у него носит ключи от комор и погребов; от большого же сундука, что стоит в его спальне, и от средней коморы ключ Иван Иванович держит у себя и не любит никого туда пускать. Гапка, девка здоровая, ходит в запаске, с свежими икрами и щеками. А какой богомольный человек Иван Иванович! Каждый воскресный день надевает он бекешу и идет в церковь. Взошедши в нее, Иван Иванович, раскланявшись на все стороны, обыкновенно помещается на крылосе и очень хорошо подтягивает басом[8]. Когда же окончится служба, Иван Иванович никак не утерпит, чтоб не обойти всех нищих. Он бы, может быть, и не хотел заняться таким скучным делом, если бы не побуждала его к тому природная доброта.

— Здорово, небого*[9]! — обыкновенно говорил он, отыскавши самую искалеченную бабу, в изодранном, сшитом из заплат платье. — Откуда ты, бедная?

— Я, паночку, из хутора пришла: третий день, как не пила, не ела, выгнали меня собственные дети.

— Бедная головушка, чего ж ты пришла сюда?

— А так, паночку, милостыни просить, не даст ли кто-нибудь хоть на хлеб.

— Гм! что ж, тебе разве хочется хлеба? — обыкновенно спрашивал Иван Иванович.

---

* Бедная.

— Как не хотеть! голодна, как собака.

— Гм! — отвечал обыкновенно Иван Иванович. — Так тебе, может, и мяса хочется?

— Да все, что милость ваша даст, всем буду довольна.

— Гм! разве мясо лучше хлеба?

— Где уж голодному разбирать. Все, что пожалуете, все хорошо.

При этом старуха обыкновенно протягивала руку.

— Ну, ступай же с Богом, — говорил Иван Иванович. — Чего ж ты стоишь? ведь я тебя не бью![10] — и, обратившись с такими расспросами к другому, к третьему, наконец возвращается домой или заходит выпить рюмку водки к соседу Ивану Никифоровичу, или к судье, или к городничему. Иван Иванович очень любит, если ему кто-нибудь сделает подарок или гостинец. Это ему очень нравится.

Очень хороший также человек Иван Никифорович. Его двор возле двора Ивана Ивановича. Они такие между собою приятели, каких свет не производил. Антон Прокофьевич Пупопуз, который до сих пор еще ходит в коричневом сюртуке с голубыми рукавами и обедает по воскресным дням у судьи, обыкновенно говорил, что Ивана Никифоровича и Ивана Ивановича сам черт связал веревочкой. Куда один, туда и другой плетется. Иван Никифорович никогда не был женат. Хотя поговаривали, что он женился, но это совершенная ложь. Я очень хорошо знаю Ивана Никифоровича и могу сказать, что он даже не имел намерения жениться. Откуда выходят все эти сплетни? так как пронесли было, что Иван Никифорович родился с хвостом назади. Но эта выдумка так нелепа и вместе гнусна и неприлична, что я даже не почитаю нужным опровергать пред просвещенными читателями, которым без всякого сомнения известно, что у одних только ведьм, и то у весьма немногих, есть назади хвост, которые, впрочем, принадлежат более к женскому полу, нежели к мужескому.

Несмотря на большую приязнь, эти редкие друзья не совсем были сходны между собою. Лучше всего можно узнать характеры их из сравнения: Иван Иванович имеет необыкновенный дар говорить чрезвычайно приятно. Господи, как он говорит! Это ощущение можно сравнить только с тем, когда у вас ищут в голове или потихоньку проводят пальцем по вашей пятке. Слушаешь, слушаешь — и голову повесишь. Приятно! чрезвычайно приятно! как сон после купанья. Иван Никифорович, напротив, больше молчит, но зато если влепит словцо, то держись только: отбреет лучше всякой бритвы. Иван Иванович худощав и высокого роста; Иван Никифорович немного ниже, но зато распространяется в толщину. Голова у Ивана Ивановича похожа на редьку хвостом вниз; голова Ивана Никифоровича на редьку хвостом вверх. Иван Иванович только после обеда лежит в одной рубашке

под навесом; ввечеру же надевает бекешу и идет куда-нибудь — или к городовому магазину, куда он поставляет муку, или в поле ловить перепелов. Иван Никифорович лежит весь день на крыльце; если не слишком жаркий день, то обыкновенно выставив спину на солнце, — и никуда не хочет идти. Если вздумается утром, то пройдет по двору, осмотрит хозяйство, и опять на покой. В прежние времена зайдет, бывало, к Ивану Ивановичу. Иван Иванович чрезвычайно тонкий человек и в порядочном разговоре никогда не скажет неприличного слова и тотчас обидится, если услышит его. Иван Никифорович иногда не обережется; тогда обыкновенно Иван Иванович встает с места и говорит: «Довольно, довольно, Иван Никифорович; лучше скорее на солнце, чем говорить такие богопротивные слова». Иван Иванович очень сердится, если ему попадется в борщ муха: он тогда выходит из себя — и тарелку кинет, и хозяину достанется. Иван Никифорович чрезвычайно любит купаться и, когда сядет по горло в воду, велит поставить также в воду стол и самовар, и очень любит пить чай в такой прохладе. Иван Иванович бреет бороду в неделю два раза; Иван Никифорович один раз. Иван Иванович чрезвычайно любопытен. Боже сохрани, если что-нибудь начнешь ему рассказывать, да недоскажешь! Если ж чем бывает недоволен, то тотчас дает заметить это. По виду Ивана Никифоровича чрезвычайно трудно узнать, доволен ли он или сердит; хоть и обрадуется чему-нибудь, то не покажет. Иван Иванович несколько боязливого характера. У Ивана Никифоровича, напротив того, шаровары в таких широких складках, что если бы раздуть их, то в них можно бы поместить весь двор с амбарами и строением. У Ивана Ивановича большие выразительные глаза табачного цвета и рот несколько похож на букву *ижицу*[11]; у Ивана Никифоровича глаза маленькие, желтоватые, совершенно пропадающие между густых бровей и пухлых щек, и нос в виде спелой сливы. Иван Иванович, если попотчивает вас табаком, то всегда наперед лизнет языком крышку табакерки, потом щелкнет по ней пальцем и, поднесши, скажет, если вы с ним знакомы: «Смею ли просить, государь мой, об одолжении?» — если же незнакомы, то: «Смею ли просить, государь мой, не имея чести знать чина, имени и отчества, об одолжении?» Иван же Никифорович дает вам прямо в руки рожок свой и прибавит только: «Одолжайтесь». Как Иван Иванович, так и Иван Никифорович очень не любят блох; и оттого ни Иван Иванович, ни Иван Никифорович никак не пропустят жида с товарами, чтобы не купить у него эликсира в разных баночках против этих насекомых, выбранив наперед его хорошенько <за то, что он исповедует еврейскую веру>.

Впрочем, несмотря на некоторые несходства, как Иван Иванович, так и Иван Никифорович прекрасные люди.

ГЛАВА II.

Из которой можно узнать, чего захотелось Ивану Ивановичу, о чем происходил разговор между Иваном Ивановичем и Иваном Никифоровичем и чем он окончился.

Утром, это было в июле месяце, Иван Иванович лежал под навесом. День был жарок, воздух сух и переливался струями. Иван Иванович успел уже побывать за городом у косарей и на хуторе, успел расспросить встретившихся мужиков и баб, откуда, куда и почему; уходился страх и прилег отдохнуть. Лежа, он долго оглядывал коморы, двор, сараи, кур, бегавших по двору, и думал про себя: «Господи Боже мой, какой я хозяин! Чего у меня нет? Птицы, строение, амбары, всякая прихоть, водка перегонная настоянная; в саду груши, сливы; в огороде мак, капуста, горох... Чего ж еще нет у меня?.. Хотел бы я знать, чего нет у меня?»

Задавши себе такой глубокомысленный вопрос, Иван Иванович задумался; а между тем глаза его отыскали новые предметы, перешагнули чрез забор в двор Ивана Никифоровича и занялись невольно любопытным зрелищем. Тощая баба выносила по порядку залежалое платье и развешивала его на протянутой веревке выветривать. Скоро старый мундир с изношенными обшлагами протянул на воздух рукава и обнимал парчовую кофту, за ним высунулся дворянский, с гербовыми пуговицами, с отъеденным воротником; белые казимировые[12] панталоны с пятнами, которые когда-то натягивались на ноги Ивана Никифоровича и которые можно теперь натянуть разве на его пальцы. За ними скоро повисли другие, в виде буквы Л. Потом синий козацкий бешмет[13], который шил себе Иван Никифорович назад тому лет двадцать, когда готовился было вступить в милицию и отпустил было уже усы. Наконец, одно к одному, выставилась шпага[14], походившая на шпиц, торчавший в воздухе. Потом завертелись фалды чего-то похожего на кафтан травяно-зеленого цвета, с медными пуговицами величиною в пятак. Из-за фалд выглянул жилет, обложенный золотым позументом[15], с большим вырезом напереди. Жилет скоро закрыла старая юбка покойной бабушки, с карманами, в которые можно было положить по арбузу. Всё, мешаясь вместе, составляло для Ивана Ивановича очень занимательное зрелище, между тем, как лучи солнца, охватывая местами синий или зеленый рукав, красный обшлаг или часть золотой парчи, или играя на шпажном шпице, делали его чем-то необыкновенным, похожим на тот вертеп, который развозят по хуторам кочующие пройдохи. Особливо когда толпа народа, тесно сдвинувшись, глядит на царя Ирода[16] в золотой короне или на Антона, ведущего козу[17]; за вертепом визжит скрыпка; цыган бренчит руками по губам своим

вместо барабана, а солнце заходит, и свежий холод южной ночи незаметно прижимается сильнее к свежим плечам и грудям полных хуторянок.

Скоро старуха вылезла из кладовой, кряхтя и таща на себе старинное седло с оборванными стременами, с истертыми кожаными чехлами для пистолетов, с чепраком[18] когда-то алого цвета, с золотым шитьем и медными бляхами.

«Вот глупая баба! — подумал Иван Иванович, — она еще вытащит и самого Ивана Никифоровича проветривать!»

И точно: Иван Иванович не совсем ошибся в своей догадке. Минут через пять воздвигнулись нанковые[19] шаровары Ивана Никифоровича и заняли собою почти половину двора. После этого она вынесла еще шапку и ружье.

«Что ж это значит? — подумал Иван Иванович, — я не видел никогда ружья у Ивана Никифоровича. Что ж это он? стрелять не стреляет, а ружье держит! На что ж оно ему? А вещица славная! Я давно себе хотел достать такое. Мне очень хочется иметь это ружьецо; я люблю позабавиться ружьецом».

— Эй, баба, баба! — закричал Иван Иванович, кивая пальцем.

Старуха подошла к забору.

— Что это у тебя, бабуся, такое?

— Видите сами, ружье.

— Какое ружье?

— Кто его знает, какое! Если б оно было мое, то я, может быть, и знала бы, из чего оно сделано. Но оно панское.

Иван Иванович встал и начал рассматривать ружье со всех сторон и позабыл дать выговор старухе за то, что повесила его вместе с шпагою проветривать.

— Оно, должно думать, железное, — продолжала старуха.

— Гм! железное. Отчего ж оно железное? — говорил про себя Иван Иванович. — А давно ли оно у пана?

— Может быть, и давно.

— Хорошая вещица! — продолжал Иван Иванович. — Я выпрошу его. Что ему делать с ним? Или променяюсь на что-нибудь. Что, бабуся, дома пан?

— Дома.

— Что он? лежит?

— Лежит.

— Ну, хорошо; я приду к нему.

Иван Иванович оделся, взял в руки суковатую палку от собак, потому что в Миргороде гораздо более их попадается на улице, нежели людей, и пошел.

Двор Ивана Никифоровича хотя был возле двора Ивана Ивановича и можно было перелезть из одного в другой через плетень, однако ж Иван Иванович пошел улицею. С этой улицы нужно было перейти в переулок, который был так узок, что если случалось встретиться в нем двум повозкам в одну лошадь, то они уже не могли разъехаться и оставались в таком положении до тех пор, покамест, схвативши за задние колеса, не вытаскивали их каждую в противную сторону на улицу. Пешеход же убирался, как цветами, репейниками, росшими с обеих сторон возле забора. На этот переулок выходили с одной стороны сарай Ивана Ивановича, с другой — амбар, ворота и голубятня Ивана Никифоровича.

Иван Иванович подошел к воротам, загремел щеколдой: изнутри поднялся собачий лай; но разношерстная стая скоро побежала, помахивая хвостами, назад, увидевши, что это было знакомое лицо. Иван Иванович перешел двор, на котором пестрели индейские голуби, кормимые собственноручно Иваном Никифоровичем, корки арбузов и дынь, местами зелень, местами изломанное колесо, или обруч из бочки, или валявшийся мальчишка в запачканной рубашке, — картина, которую любят живописцы! Тень от развешанных платьев покрывала почти весь двор и сообщала ему некоторую прохладу. Баба встретила его поклоном и, зазевавшись, стала на одном месте. Перед домом охорашивалось крылечко с навесом на двух дубовых столбах — ненадежная защита от солнца, которое в это время в Малороссии не любит шутить и обливает пешехода с ног до головы жарким потом. Из этого можно было видеть, как сильно было желание у Ивана Ивановича приобресть необходимую вещь, когда он решился выйти в такую пору, изменив даже своему всегдашнему обыкновению прогуливаться только вечером.

Комната, в которую вступил Иван Иванович, была совершенно темна, потому что ставни были закрыты, и солнечный луч, проходя в дыру, сделанную в ставне, принял радужный цвет и, ударяясь в противостоящую стену, рисовал на ней пестрый ландшафт из очеретяных крыш, дерев и развешанного на дворе платья, всё только в обращенном виде. От этого всей комнате сообщался какой-то чудный полусвет.

— Помоги Бог! — сказал Иван Иванович.

— А! здравствуйте, Иван Иванович! — отвечал голос из угла комнаты. Тогда только Иван Иванович заметил Ивана Никифоровича, лежащего на разостланном на полу ковре. — Извините, что я перед вами в натуре.

Иван Никифорович лежал безо всего, даже без рубашки.

— Ничего. Почивали ли вы сегодня, Иван Никифорович?

— Почивал. А вы почивали, Иван Иванович?

— Почивал.

— Так вы теперь и встали?

— Я теперь встал? Христос с вами, Иван Никифорович! как можно спать до сих пор! Я только что приехал из хутора. Прекрасные жита по дороге! восхитительные! и сено такое рослое, мягкое, злачное!

— Горпина[20]! — закричал Иван Никифорович, — принеси Ивану Ивановичу водки да пирогов со сметаною.

— Хорошее время сегодня.

— Не хвалите, Иван Иванович. Чтоб его черт взял! некуда деваться от жару.

— Вот-таки нужно помянуть черта. Эй, Иван Никифорович! Вы вспомните мое слово, да уже будет поздно: достанется вам на том свете за богопротивные слова.

— Чем же я обидел вас, Иван Иванович? Я не тронул ни отца, ни матери вашей. Не знаю, чем я вас обидел.

— Полно уже, полно, Иван Никифорович!

— Ей-Богу, я не обидел вас, Иван Иванович!

— Странно, что перепела до сих пор нейдут под дудочку.

— Как вы себе хотите, думайте, что вам угодно, только я вас не обидел ничем.

— Не знаю, отчего они нейдут, — говорил Иван Иванович, как бы не слушая Ивана Никифоровича. — Время ли не приспело еще, только время, кажется, такое, какое нужно.

— Вы говорите, что жита хорошие?

— Восхитительные жита, восхитительные! — За сим последовало молчание.

— Что это вы, Иван Никифорович, платье развешиваете? — наконец сказал Иван Иванович.

— Да, прекрасное, почти новое платье загноила проклятая баба. Теперь проветриваю; сукно тонкое, превосходное, только выворотн — и можно снова носить.

— Мне там понравилась одна вещица, Иван Никифорович.

— Какая?

— Скажите, пожалуйста, на что вам это ружье, что выставлено выветривать вместе с платьем? — Тут Иван Иванович поднес табаку. — Смею ли просить об одолжении?

— Ничего, одолжайтесь! я понюхаю своего! — При этом Иван Никифорович пощупал вокруг себя и достал рожок. — Вот глупая баба, так она и ружье туда же повесила! Хороший табак жид делает в Сорочинцах[21]. Я не знаю, что он кладет туда, а такое душистое! На канупер[22] немножко похоже. Вот возьмите, разжуйте немножко во рту. Не правда ли, похоже на канупер? Возьмите, одолжайтесь!

— Скажите, пожалуйста, Иван Никифорович, я все насчет ружья: что вы будете с ним делать? ведь оно вам не нужно.

— Как не нужно? а случится стрелять?

— Господь с вами, Иван Никифорович, когда же вы будете стрелять? Разве по Втором Пришествии. Вы, сколько я знаю и другие запомнят, ни одной еще качки[23] не убили, да и ваша натура не так уже Господом Богом устроена, чтоб стрелять. Вы имеете осанку и фигуру важную. Как же вам таскаться по болотам, когда ваше платье, которое не во всякой речи прилично назвать по имени, проветривается и теперь еще, что же тогда? Нет, вам нужно иметь покой, отдохновение. (Иван Иванович, как упомянуто выше, необыкновенно живописно говорил, когда нужно было убеждать кого. Как он говорил! Боже, как он говорил!) Да, так вам нужны приличные поступки. Послушайте, отдайте его мне!

— Как можно! это ружье дорогое. Таких ружьев теперь не сыщете нигде. Я, еще как собирался в милицию, купил его у турчина. А теперь бы то так вдруг и отдать его? Как можно? это вещь необходимая.

— На что же она необходимая?

— Как на что? А когда нападут на дом разбойники... Еще бы не необходимая. Слава Тебе Господи! теперь я спокоен и не боюсь никого. А отчего? Оттого, что я знаю, что у меня стоит в коморе ружье.

— Хорошее ружье! Да у него, Иван Никифорович, замок испорчен.

— Что ж, что испорчен? Можно починить. Нужно только смазать конопляным маслом, чтоб не ржавел.

— Из ваших слов, Иван Никифорович, я никак не вижу дружественного ко мне расположения. Вы ничего не хотите сделать для меня в знак приязни.

— Как же это вы говорите, Иван Иванович, что я вам не оказываю никакой приязни? Как вам не совестно! Ваши волы пасутся на моей степи, и я ни разу не занимал их[24]. Когда едете в Полтаву, всегда просите у меня повозки, и что ж? разве я отказал когда? Ребятишки ваши перелезают чрез плетень в мой двор и играют с моими собаками — я ничего не говорю: пусть себе играют, лишь бы ничего не трогали! пусть себе играют!

— Когда не хотите подарить, так, пожалуй, поменяемся.

— Что ж вы дадите мне за него? — При этом Иван Никифорович облокотился на руку и поглядел на Ивана Ивановича.

— Я вам дам за него бурую свинью, ту самую, что я откормил в сажу[25]. Славная свинья! Увидите, если на следующий год она не наведет вам поросят.

— Я не знаю, как вы, Иван Иванович, можете это говорить. На что мне свинья ваша? Разве черту поминки делать.

— Опять! без черта-таки нельзя обойтись! Грех вам, ей-Богу, грех, Иван Никифорович!

— Как же вы, в самом деле, Иван Иванович, даете за ружье черт знает что такое: свинью!

— Отчего же она — черт знает что такое, Иван Никифорович?

— Как же, вы бы сами посудили хорошенько. Это-таки ружье, вещь известная; а то — черт знает что такое: свинья! Если бы не вы говорили, я бы мог это принять в обидную для себя сторону.

— Что ж нехорошего заметили вы в свинье?

— За кого же, в самом деле, вы принимаете меня? Чтоб я свинью...

— Садитесь, садитесь! не буду уже... Пусть вам остается ваше ружье, пускай себе сгниет и перержавеет, стоя в углу в коморе, — не хочу больше говорить о нем.

После этого последовало молчание.

— Говорят, — начал Иван Иванович, — что три короля объявили войну царю нашему.

— Да, говорил мне Петр Федорович. Что ж это за война? и отчего она?

— Наверное не можно сказать, Иван Никифорович, за что она. Я полагаю, что короли хотят, чтобы мы все приняли турецкую веру.

— Вишь, дурни, чего захотели! — произнес Иван Никифорович, приподнявши голову.

— Вот видите, а царь наш и объявил им за то войну. Нет, говорит, примите вы сами веру Христову!

— Что ж? ведь наши побьют их, Иван Иванович!

— Побьют. Так не хотите, Иван Никифорович, менять ружьеца?

— Мне странно, Иван Иванович: вы, кажется, человек, известный ученостью, а говорите, как недоросль. Что бы я за дурак такой...

— Садитесь, садитесь. Бог с ним! пусть оно себе околеет; не буду больше говорить!..

В это время принесли закуску.

Иван Иванович выпил рюмку и закусил пирогом с сметаною.

— Слушайте, Иван Никифорович. Я вам дам, кроме свиньи, еще два мешка овса, ведь овса вы не сеяли. Этот год все равно вам нужно будет покупать овес.

— Ей-Богу, Иван Иванович, с вами говорить нужно, гороху наевшись[26]. (Это еще ничего, Иван Никифорович и не такие фразы отпускает.) Где видано, чтобы кто ружье променял на два мешка овса? Небось бекеши своей не поставите.

— Но вы позабыли, Иван Никифорович, что я и свинью еще даю вам.

— Как! два мешка овса и свинью за ружье?

— Да что ж, разве мало?

— За ружье?

— Конечно, за ружье.

— Два мешка за ружье?

— Два мешка не пустых, а с овсом; а свинью позабыли?

— Поцелуйтесь с своею свиньею, а коли не хотите, так с чертом!

— О! вас зацепи только! Увидите: нашпигуют вам на том свете язык горячими иголками за такие богомерзкие слова. После разговору с вами нужно и лицо и руки умыть, и самому окуриться[27].

— Позвольте, Иван Иванович; ружье вещь благородная, самая любопытная забава, притом и украшение в комнате приятное...

— Вы, Иван Никифорович, разносились так с своим ружьем, как *дурень с писаною торбою*, — сказал Иван Иванович с досадою, потому что действительно начинал уже сердиться.

— А вы, Иван Иванович, настоящий *гусак*.

Если бы Иван Никифорович не сказал этого слова, то они бы поспорили между собою и разошлись, как всегда, приятелями; но теперь произошло совсем другое. Иван Иванович весь вспыхнул.

— Что вы такое сказали, Иван Никифорович? — спросил он, возвысив голос.

— Я сказал, что вы похожи на гусака, Иван Иванович.

— Как же вы смели, сударь, позабыв и приличие и уважение к чину и фамилии человека, обесчестить таким поносным именем?

— Что ж тут поносного? Да чего вы, в самом деле, так размахались руками, Иван Иванович?

— Я повторяю, как вы осмелились, в противность всех приличий, назвать меня гусаком?

— Начхать я вам на голову, Иван Иванович! Что вы так раскудахтались?

Иван Иванович не мог более владеть собою: губы его дрожали; рот изменил обыкновенное положение *ижицы*, а сделался похожим на О; глазами он так мигал, что сделалось страшно. Это было у Ивана Ивановича чрезвычайно редко. Нужно было для этого его сильно рассердить.

— Так я ж вам объявляю, — произнес Иван Иванович, — что я знать вас не хочу!

— Большая беда! ей-Богу, не заплачу от этого! — отвечал Иван Никифорович.

Лгал, лгал, ей-Богу, лгал! Ему очень было досадно это.

— Нога моя не будет у вас в доме.

— Эге-ге! — сказал Иван Никифорович, с досады не зная сам, что делать, и, против обыкновения, встав на ноги. — Эй, баба, хлопче! — При

сем показалась из-за дверей та самая тощая баба и небольшого роста мальчик, запутанный в длинный и широкий сюртук. — Возьмите Ивана Ивановича за руки да выведите его за двери!

— Как! Дворянина? — закричал с чувством достоинства и негодования Иван Иванович. — Осмельтесь только! подступите! Я вас уничтожу с глупым вашим паном! Ворон не найдет места вашего! (Иван Иванович говорил необыкновенно сильно, когда душа его бывала потрясена.)

Вся группа представляла сильную картину: Иван Никифорович, стоявший посреди комнаты в полной красоте своей без всякого украшения! Баба, разинувшая рот и выразившая на лице самую бессмысленную, исполненную страха мину! Иван Иванович с поднятою вверх рукою, как изображались римские трибуны! Это была необыкновенная минута! спектакль великолепный! И между тем только один был зрителем: это был мальчик в неизмеримом сюртуке, который стоял довольно покойно и чистил пальцем свой нос. Наконец Иван Иванович взял шапку свою.

— Очень хорошо поступаете вы, Иван Никифорович! прекрасно! Я это припомню вам.

— Ступайте, Иван Иванович, ступайте! да глядите, не попадайтесь мне; а не то я вам, Иван Иванович, всю морду побью!

— Вот вам за это, Иван Никифорович! — отвечал Иван Иванович, выставив ему кукиш и хлопнув за собою дверью, которая с визгом захрипела и отворилась снова.

Иван Никифорович показался в дверях и что-то хотел присовокупить, но Иван Иванович уже не оглядывался и летел со двора.

ГЛАВА III.

Что произошло после ссоры Ивана Ивановича с Иваном Никифоровичем?

Итак, два почтенные мужа, честь и украшение Миргорода, поссорились между собою! и за что? за вздор, за гусака. Не захотели видеть друг друга, прервали все связи, между тем как прежде были известны за самых неразлучных друзей! Каждый день, бывало, Иван Иванович и Иван Никифорович посылают друг к другу узнать о здоровье и часто переговариваются друг с другом с своих балконов и говорят друг другу такие приятные речи, что сердцу любо слушать было. По воскресным дням, бывало, Иван Иванович в штаметовой[28] бекеше, Иван Никифорович в нанковом желто-

коричневом козакине[29] отправляются почти об руку друг с другом в церковь. И если Иван Иванович, который имел глаза чрезвычайно зоркие, первый замечал лужу или какую-нибудь нечистоту посреди улицы, что бывает иногда в Миргороде, то всегда говорил Ивану Никифоровичу: «Берегитесь, не ступите сюда ногою, ибо здесь нехорошо». Иван Никифорович, с своей стороны, показывал тоже самые трогательные знаки дружбы и, где бы ни стоял далеко, всегда протянет к Ивану Ивановичу руку с рожком, примолвивши: «Одолжайтесь!» А какое прекрасное хозяйство у обоих!.. И эти два друга... Когда я услышал об этом, то меня как громом поразило! Я долго не хотел верить: Боже праведный! Иван Иванович поссорился с Иваном Никифоровичем! Такие достойные люди! Что ж теперь прочно на этом свете?

Когда Иван Иванович пришел к себе домой, то долго был в сильном волнении. Он, бывало, прежде всего зайдет в конюшню посмотреть, ест ли кобылка сено (у Ивана Ивановича кобылка саврасая[30], с лысинкой на лбу; хорошая очень лошадка); потом покормит индеек и поросенков из своих рук и тогда уже идет в покои, где или делает деревянную посуду (он очень искусно, не хуже токаря, умеет выделывать разные вещи из дерева), или читает книжку, печатанную у Любия Гария и Попова[31] (названия ее Иван Иванович не помнит, потому что девка уже очень давно оторвала верхнюю часть заглавного листка, забавляя дитя), или же отдыхает под навесом. Теперь же он не взялся ни за одно из всегдашних своих занятий. Но вместо того, встретивши Гапку, начал бранить, зачем она шатается без дела, между тем как она тащила крупу в кухню; кинул палкой в петуха, который пришел к крыльцу за обыкновенной подачей; и когда подбежал к нему запачканный мальчишка в изодранной рубашонке и закричал: «Тятя, тятя, дай пряника!» — то он ему так страшно пригрозил и затопал ногами, что испуганный мальчишка забежал Бог знает куда.

Наконец, однако ж, он одумался и начал заниматься всегдашними делами. Поздно стал он обедать и уже ввечеру почти лег отдыхать под навесом. Хороший борщ с голубями, который сварила Гапка, выгнал совершенно утреннее происшествие. Иван Иванович опять начал с удовольствием рассматривать свое хозяйство. Наконец остановил глаза на соседнем дворе и сказал сам себе: «Сегодня я не был у Ивана Никифоровича; пойду-ка к нему». Сказавши это, Иван Иванович взял палку и шапку и отправился на улицу; но едва только вышел за ворота, как вспомнил ссору, плюнул и возвратился назад. Почти такое же движение случилось и на дворе Ивана Никифоровича. Иван Иванович видел, как баба уже поставила ногу на плетень с намерением перелезть в его двор, как вдруг послышался голос Ивана Никифоровича: «Назад! назад! не нужно!» Однако ж Ивану Ивановичу

сделалось очень скучно. Весьма могло быть, что сии достойные люди на другой же бы день помирились, если бы особенное происшествие в доме Ивана Никифоровича не уничтожило всякую надежду и не подлило масла в готовый погаснуть огонь вражды.

К Ивану Никифоровичу ввечеру того же дня приехала Агафия Федосеевна. Агафия Федосеевна не была ни родственницей, ни свояченицей, ни даже кумой Ивану Никифоровичу. Казалось бы, совершенно ей незачем было к нему ездить, и он сам был не слишком ей рад; однако ж она ездила и проживала у него по целым неделям, а иногда и более. Тогда она отбирала ключи и весь дом брала на свои руки. Это было очень неприятно Ивану Никифоровичу, однако ж он, к удивлению, слушал ее, как ребенок, и хотя иногда и пытался спорить, но всегда Агафия Федосеевна брала верх.

Я, признаюсь, не понимаю, для чего это так устроено, что женщины хватают нас за нос так же ловко, как будто за ручку чайника? Или руки их так созданы, или носы наши ни на что не годятся. И несмотря, что нос Ивана Никифоровича был несколько похож на сливу, однако ж она схватила его за этот нос и водила за собою, как собачку. Он даже изменял при ней, невольно, обыкновенный свой образ жизни: не так долго лежал на солнце, если же и лежал, то не в натуре, а всегда надевал рубашку и шаровары, хотя Агафия Федосеевна совершенно этого не требовала. Она была не охотница до церемоний, и, когда у Ивана Никифоровича была лихорадка, она сама своими руками вытирала его с ног до головы скипидаром и уксусом. Агафия Федосеевна носила на голове чепец, три бородавки на носу и кофейный капот с желтенькими цветами. Весь стан ее похож был на кадушку, и оттого отыскать ее талию было так же трудно, как увидеть без зеркала свой нос. Ножки ее были коротенькие, сформированные на образец двух подушек. Она сплетничала, и ела вареные бураки по утрам, и отлично хорошо ругалась, — и при всех этих разнообразных занятиях лицо ее ни на минуту не изменяло своего выражения, что обыкновенно могут показывать одни только женщины.

Как только она приехала, все пошло навыворот.

— Ты, Иван Никифорович, не мирись с ним и не проси прощения: он тебя погубить хочет, это таковский человек! Ты его еще не знаешь.

Шушукала, шушукала проклятая баба и сделала то, что Иван Никифорович и слышать не хотел об Иване Ивановиче.

Всё приняло другой вид: если соседняя собака затесалась когда на двор, то ее колотили чем ни попало; ребятишки, перелазившие через забор, возвращались с воплем, с поднятыми вверх рубашонками и с знаками розг на спине[в]. Даже самая баба, когда Иван Иванович хотел было ее спросить о чем-то, сделала такую непристойность, что Иван Иванович, как человек

чрезвычайно деликатный, плюнул и примолвил только: «Экая скверная баба! хуже своего пана!»

Наконец, к довершению всех оскорблений, ненавистный сосед выстроил прямо против него, где обыкновенно был перелаз чрез плетень, гусиный хлев, как будто с особенным намерением усугубить оскорбление. Этот отвратительный для Ивана Ивановича хлев выстроен был с дьявольской скоростью: в один день.

Это возбудило в Иване Ивановиче злость и желание отомстить. Он не показал, однако ж, никакого вида огорчения, несмотря на то, что хлев даже захватил часть его земли; но сердце у него так билось, что ему было чрезвычайно трудно сохранять это наружное спокойствие.

Так провел он день. Настала ночь... О, если б я был живописец, я бы чудно изобразил всю прелесть ночи! Я бы изобразил, как спит весь Миргород; как неподвижно глядят на него бесчисленные звезды; как видимая тишина оглашается близким и далеким лаем собак; как мимо их несется влюбленный пономарь[32] и перелазит чрез плетень с рыцарскою бесстрашностию; как белые стены домов, охваченные лунным светом, становятся белее, осеняющие их деревья темнее, тень от дерев ложится чернее, цветы и умолкнувшая трава душистее, и сверчки, неугомонные рыцари ночи, дружно со всех углов заводят свои трескучие песни. Я бы изобразил, как в одном из этих низеньких глиняных домиков разметавшейся на одинокой постеле чернобровой горожанке с дрожащими молодыми грудями снится гусарский ус и шпоры, а свет луны смеется на ее щеках. Я бы изобразил, как по белой дороге мелькает черная тень летучей мыши, садящейся на белые трубы домов... Но вряд ли бы я мог изобразить Ивана Ивановича, вышедшего в эту ночь с пилою в руке. Столько на лице у него было написано разных чувств! Тихо, тихо подкрался он и подлез под гусиный хлев. Собаки Ивана Никифоровича еще ничего не знали о ссоре между ними и потому позволили ему, как старому приятелю, подойти к хлеву, который весь держался на четырех дубовых столбах; подлезши к ближнему столбу, приставил он к нему пилу и начал пилить. Шум, производимый пилою, заставлял его поминутно оглядываться, но мысль об обиде возвращала бодрость. Первый столб был подпилен; Иван Иванович принялся за другой. Глаза его горели и ничего не видали от страха. Вдруг Иван Иванович вскрикнул и обомлел: ему показался мертвец; но скоро он пришел в себя, увидевши, что это был гусь, просунувший к нему свою шею. Иван Иванович плюнул от негодования и начал продолжать работу. И второй столб подпилен: здание пошатнулось. Сердце у Ивана Ивановича начало так страшно биться, когда он принялся за третий, что он несколько раз прекращал работу; уже более половины его было подпилено, как вдруг шаткое здание сильно покачнулось... Иван

Иванович едва успел отскочить, как оно рухнуло с треском. Схвативши пилу, в страшном испуге прибежал он домой и бросился на кровать, не имея даже духа поглядеть в окно на следствия своего страшного дела. Ему казалось, что весь двор Ивана Никифоровича собрался: старая баба, Иван Никифорович, мальчик в бесконечном сюртуке — все с дрекольями[33], предводительствуемые Агафией Федосеевной, шли разорять и ломать его дом.

Весь следующий день провел Иван Иванович как в лихорадке. Ему все чудилось, что ненавистный сосед в отмщение за это, по крайней мере, подожжет дом его. И потому он дал повеление Гапке поминутно обсматривать везде, не подложено ли где-нибудь сухой соломы. Наконец, чтобы предупредить Ивана Никифоровича, он решился забежать зайцем вперед и подать на него прошение в миргородский поветовый[34] суд. В чем оно состояло, об этом можно узнать из следующей главы.

ГЛАВА IV.

О том, что произошло в присутствии Миргородского поветового суда.

Чудный город Миргород! Каких в нем нет строений! И под соломенною, и под очеретяною, даже под деревянною крышею; направо улица, налево улица, везде прекрасный плетень; по нем вьется хмель, на нем висят горшки, из-за него подсолнечник выказывает свою солнцеобразную голову, краснеет мак, мелькают толстые тыквы... Роскошь! Плетень всегда убран предметами, которые делают его еще более живописным: или напяленною плахтою, или сорочкою, или шароварами. В Миргороде нет ни воровства, ни мошенничества, и потому каждый вешает, что ему вздумается. Если будете подходить к площади, то, верно, на время остановитесь полюбоваться видом: на ней находится лужа, удивительная лужа! единственная, какую только вам удавалось когда видеть! Она занимает почти всю площадь. Прекрасная лужа! Домы и домики, которые издали можно принять за копны сена, обступивши вокруг, дивятся красоте ее.

Но я тех мыслей, что нет лучше дома, как поветовый суд. Дубовый ли он или березовый, мне нет дела; но в нем, милостивые государи, восемь окошек! Восемь окошек в ряд, прямо на площадь и на то водное пространство, о котором я уже говорил и которое городничий называет озером! Один только он окрашен цветом гранита: прочие все домы в Миргороде просто выбелены. Крыша на нем вся деревянная, и была бы даже выкрашена крас-

ною краскою, если бы приготовленное для того масло канцелярские, приправивши луком, не съели, что было, как нарочно, во время поста, и крыша осталась некрашеною. На площадь выступает крыльцо, на котором часто бегают куры, оттого что на крыльце всегда почти рассыпаны крупы или что-нибудь съестное, что, впрочем, делается не нарочно, но единственно от неосторожности просителей. Он разделен на две половины: в одной *присутствие*, в другой *арестантская*. В той половине, где присутствие, находятся две комнаты чистые, выбеленные: одна — передняя для просителей; в другой стол, убранный чернильными пятнами; на нем зерцало[35]. Четыре стула дубовые с высокими спинками; возле стен сундуки, кованные железом, в которых сохранялись кипы поветовой ябеды. На одном из этих сундуков стоял тогда сапог, вычищенный ваксою. Присутствие началось еще с утра. Судья, довольно полный человек, хотя несколько тонее Ивана Никифоровича, с доброю миною, в замасленном халате, с трубкою и чашкою чаю, разговаривал с подсудком. У судьи губы находились под самым носом, и оттого нос его мог нюхать верхнюю губу, сколько душе угодно было. Эта губа служила ему вместо табакерки, потому что табак, адресуемый в нос, почти всегда сеялся на нее. Итак, судья разговаривал с подсудком[36]. Босая девка держала в стороне поднос с чашками.

В конце стола секретарь читал решение дела, но таким однообразным и унывным тоном, что сам подсудимый заснул бы, слушая. Судья, без сомнения, это бы сделал прежде всех, если бы не вошел в занимательный между тем разговор.

— Я нарочно старался узнать, — говорил судья, прихлебывая чай уже с простывшей чашки, — каким образом это делается, что они поют хорошо. У меня был славный дрозд, года два тому назад. Что ж? вдруг испортился совсем. Начал петь Бог знает что. Чем далее, хуже, хуже, стал картавить, хрипеть, — хоть выбрось! А ведь самый вздор! это вот отчего делается: под горлышком делается бобон[37], меньше горошинки. Этот бобончик нужно только проколоть иголкою. Меня научил этому Захар Прокофьевич[38], и именно, если хотите, я вам расскажу, каким это было образом: приезжаю я к нему...

— Прикажете, Демьян Демьянович[39], читать другое? — прервал секретарь, уже несколько минут как окончивший чтение.

— А вы уже прочитали? Представьте, как скоро! Я и не услышал ничего! Да где ж оно? дайте его сюда, я подпишу. Что там еще у вас?

— Дело козака Бокитька о краденой корове.

— Хорошо, читайте! Да, так приезжаю я к нему... Я могу даже рассказать вам подробно, как он угостил меня. К водке был подан балык, единственный! Да, не нашего балыка, которым, — при этом судья сделал

языком и улыбнулся, причем нос понюхал свою всегдашнюю табакерку, — которым угощает наша бакалейная миргородская лавка. Селедки я не ел, потому что, как вы сами знаете, у меня от нее делается изжога под ложечкою. Но икры отведал; прекрасная икра! нечего сказать, отличная! Потом выпил я водки персиковой, настоянной на золототысячник. Была и шафранная[40]; но шафранной, как вы сами знаете, я не употребляю. Оно, видите, очень хорошо: наперед, как говорят, раззадорить аппетит, а потом уже завершить... А! слыхом слыхать, видом видать... — вскричал вдруг судья, увидев входящего Ивана Ивановича.

— Бог в помощь! желаю здравствовать! — произнес Иван Иванович, поклонившись на все стороны, с свойственною ему одному приятностию. Боже мой, как он умел обворожить всех своим обращением! Тонкости такой я нигде не видывал. Он знал очень хорошо сам свое достоинство и потому на всеобщее почтение смотрел, как на должное. Судья сам подал стул Ивану Ивановичу, нос его потянул с верхней губы весь табак, что всегда было у него знаком большого удовольствия.

— Чем прикажете потчевать вас, Иван Иванович? — спросил он. — Не прикажете ли чашку чаю?

— Нет, весьма благодарю, — отвечал Иван Иванович, поклонился и сел.

— Сделайте милость, одну чашечку! — повторил судья.

— Нет, благодарю. Весьма доволен гостеприимством, — отвечал Иван Иванович, поклонился и сел.

— Одну чашку, — повторил судья.

— Нет, не беспокойтесь, Демьян Демьянович! — При этом Иван Иванович поклонился и сел.

— Чашечку?

— Уж так и быть, разве чашечку! — произнес Иван Иванович и протянул руку к подносу.

Господи Боже! какая бездна тонкости бывает у человека! Нельзя рассказать, какое приятное впечатление производят такие поступки!

— Не прикажете ли еще чашечку?

— Покорно благодарствую, — отвечал Иван Иванович, ставя на поднос опрокинутую чашку и кланяясь.

— Сделайте одолжение, Иван Иванович!

— Не могу. Весьма благодарен. — При этом Иван Иванович поклонился и сел.

— Иван Иванович! сделайте дружбу, одну чашечку!

— Нет, весьма обязан за угощение. — Сказавши это, Иван Иванович поклонился и сел.

— Только чашечку! одну чашечку!

Иван Иванович протянул руку к подносу и взял чашку. Фу ты пропасть! как может, как найдется человек поддержать свое достоинство!

— Я, Демьян Демьянович, — говорил Иван Иванович, допивая последний глоток, — я к вам имею необходимое дело: я подаю позов[41]. — При этом Иван Иванович поставил чашку и вынул из кармана написанный гербовый лист бумаги. — Позов на врага своего, на заклятого врага.

— На кого же это?

— На Ивана Никифоровича Довгочхуна.

При этих словах судья чуть не упал со стула.

— Что вы говорите! — произнес он, всплеснув руками. — Иван Иванович! вы ли это?

— Видите сами, что я.

— Господь с вами и все святые! Как! вы, Иван Иванович, стали неприятелем Ивану Никифоровичу? Ваши ли это уста говорят? повторите еще! Да не спрятался ли у вас кто-нибудь сзади и говорит вместо вас?..

— Что ж тут невероятного. Я не могу смотреть на него; он нанес мне смертную обиду, оскорбил честь мою.

— Пресвятая Троица! как же мне теперь уверить матушку! А она, старушка, каждый день, как только мы поссоримся с сестрою, говорит: «Вы, детки, живете между собою, как собаки. Хоть бы вы взяли пример с Ивана Ивановича и Ивана Никифоровича. Вот уж друзья так друзья! то-то приятели! то-то достойные люди!» Вот тебе и приятели! Расскажите, за что же это? Как?

— Это дело деликатное, Демьян Демьянович! На словах его нельзя рассказать. Прикажите лучше прочитать просьбу. Вот, возьмите с этой стороны, здесь приличнее.

— Прочитайте, Тарас Тихонович[42]! — сказал судья, оборотившись к секретарю.

Тарас Тихонович взял просьбу и, высморкавшись таким образом, как сморкаются все секретари по поветовым судам, с помощию двух пальцев, начал читать:

— «От дворянина Миргородского повета и помещика Ивана, Иванова сына, Перерепенка прошение; а о чем, тому следуют пункты:

1) Известный всему свету своими богопротивными, в омерзение приводящими и всякую меру превышающими законопреступными поступками, дворянин Иван, Никифоров сын, Довгочхун, сего 1810 года июля 7 дня учинил мне смертельную обиду, как персонально до чести моей относящуюся, так равномерно в уничижение и конфузию чина моего и фамилии. Оный дворянин, и сам притом гнусного вида, характер имеет бранчивый и преисполнен разного рода богохулениями и бранными словами...»

Тут чтец немного остановился, чтобы снова высморкаться, а судья с благоговением сложил руки и только говорил про себя: «Что за бойкое перо! Господи Боже! как пишет этот человек!»

Иван Иванович просил читать далее, и Тарас Тихонович продолжал:

— «Оный дворянин, Иван, Никифоров сын, Довгочхун, когда я пришел к нему с дружескими предложениями, назвал меня публично обидным и поносным для чести моей именем, а именно: *гусаком*, тогда как известно всему Миргородскому повету, что сим гнусным животным я никогда отнюдь не именовался и впредь именоваться не намерен. Доказательством же дворянского моего происхождения есть то, что в метрической книге, находящейся в церкви *Трех Святителей*, записан как день моего рождения, так равномерно и полученное мною крещение. *Гусак* же, как известно всем, кто сколько-нибудь сведущ в науках, не может быть записан в метрической книге, ибо *гусак* есть не человек, а птица, что уже всякому, даже не бывавшему в семинарии, достоверно известно. Но оный злокачественный дворянин, будучи обо всем этом сведущ, не для чего иного, как чтобы нанесть смертельную для моего чина и звания обиду, обругал меня оным гнусным словом.

2) Сей же самый неблагопристойный и неприличный дворянин посягнул притом на мою родовую, полученную мною после родителя моего, состоявшего в духовном звании, блаженной памяти Ивана, Онисиева сына[43], Перерепенка, собственность, тем, что, в противность всяким законам, перенес совершенно насупротив моего крыльца гусиный хлев, что делалось не с иным каким намерением, как чтоб усугубить нанесенную мне обиду, ибо оный хлев стоял до сего в изрядном месте и довольно еще был крепок. Но омерзительное намерение вышеупомянутого дворянина состояло единственно в том, чтобы учинить меня свидетелем непристойных пассажей: ибо известно, что всякий человек не пойдет в хлев, тем паче в гусиный, для приличного дела. При таком противузаконном действии две передние сохи[44] захватили собственную мою землю, доставшуюся мне еще при жизни от родителя моего, блаженной памяти Ивана, Онисиева сына, Перерепенка, начинавшуюся от амбара и прямою линией до самого того места, где бабы моют горшки.

3) Вышеизображенный дворянин, которого уже самое имя и фамилия внушает всякое омерзение, питает в душе злостное намерение поджечь меня в собственном доме. Несомненные чему признаки из нижеследующего явствуют: во-1-х, оный злокачественный дворянин начал выходить часто из своих покоев, чего прежде никогда, по причине своей лености и гнусной тучности тела, не предпринимал; во-2-х, в людской его, примыкающей о самый забор, ограждающий мою собственную, полученную мною от покойного

родителя моего, блаженной памяти Ивана, Онисиева сына, Перерепенка, землю, ежедневно и в необычайной продолжительности горит свет, что уже явное есть к тому доказательство, ибо до сего, по скаредной его скупости, всегда не только сальная свеча, но даже каганец[45] был потушаем.

И потому прошу оного дворянина Ивана, Никифорова сына, Довгочхуна, яко повинного в зажигательстве, в оскорблении моего чина, имени и фамилии и в хищническом присвоении собственности, а паче всего в подлом и предосудительном присовокуплении к фамилии моей названия *гусака*, ко взысканию штрафа, удовлетворения проторей[46] и убытков присудить и самого, яко нарушителя, в кандалы забить и, заковавши, в городскую тюрьму препроводить, и по сему моего прошению решение немедленно и неукоснительно учинить. — Писал и сочинял дворянин, миргородский помещик Иван, Иванов сын, Перерепенко».

По прочтении просьбы судья приблизился к Ивану Ивановичу, взял его за пуговицу и начал говорить ему почти таким образом:

— Что это вы делаете, Иван Иванович? Бога бойтесь! бросьте просьбу, пусть она пропадает! (Сатана приснись ей!) Возьмитесь лучше с Иваном Никифоровичем за руки, да поцелуйтесь, да купите сантуринского, или никопольского, или хоть просто сделайте пуншику[47], да позовите меня! Разопьем вместе и позабудем все!

— Нет, Демьян Демьянович! Не такое дело, — сказал Иван Иванович с важностию, которая так всегда шла к нему. — Не такое дело, чтобы можно было решить полюбовною сделкою. Прощайте! Прощайте и вы, господа! — продолжал он с тою же важностию, оборотившись ко всем. — Надеюсь, что моя просьба возымеет надлежащее действие. — И ушел, оставив в изумлении все присутствие.

Судья сидел, не говоря ни слова; секретарь нюхал табак; канцелярские опрокинули разбитый черепок бутылки, употребляемый вместо чернильницы; и сам судья в рассеянности разводил пальцем по столу чернильную лужу.

— Что вы скажете на это, Дорофей Трофимович[48]? — сказал судья, после некоторого молчания обратившись к подсудку.

— Ничего не скажу, — отвечал подсудок.

— Экие дела делаются! — продолжал судья.

Не успел он этого сказать, как дверь затрещала и передняя половина Ивана Никифоровича высадилась в присутствие, остальная оставалась еще в передней. Появление Ивана Никифоровича, и еще в суд, так показалось необыкновенным, что судья вскрикнул; секретарь прервал свое чтение. Один канцелярист, в фризовом подобии полуфрака[49], взял в губы перо; другой проглотил муху. Даже отправлявший должность фельдъегеря[50] и сто-

рожа инвалид, который до того стоял у дверей, почесывая в своей грязной рубашке с нашивкою на плече, даже этот инвалид разинул рот и наступил кому-то на ногу.

— Какими судьбами! что и как? Как здоровье ваше, Иван Никифорович?

Но Иван Никифорович был ни жив ни мертв, потому что завязнул в дверях и не мог сделать ни шагу вперед или назад. Напрасно судья кричал в переднюю, чтобы кто-нибудь из находившихся там выпер сзади Ивана Никифоровича в присутственную залу. В передней находилась одна только старуха просительница, которая, несмотря на все усилия своих костистых рук, ничего не могла сделать. Тогда один из канцелярских, с толстыми губами, с широкими плечами, с толстым носом, глазами, глядевшими скоса и пьяна, с разодранными локтями, приблизился к передней половине Ивана Никифоровича, сложил ему обе руки накрест, как ребенку, и мигнул старому инвалиду, который уперся своим коленом в брюхо Ивана Никифоровича, и, несмотря на жалобные стоны, вытиснут он был в переднюю. Тогда отодвинули задвижки и отворили вторую половинку дверей. Причем канцелярский и его помощник, инвалид, от дружных усилий дыханием уст своих распространили такой сильный запах, что комната присутствия превратилась было на время в питейный дом.

— Не зашибли ли вас, Иван Никифорович? Я скажу матушке, она пришлет вам настойки, которою потрите только поясницу и спину, и все пройдет.

Но Иван Никифорович повалился на стул и, кроме продолжительных *охов*, ничего не мог сказать. Наконец слабым, едва слышным от усталости голосом произнес он:

— Не угодно ли? — и, вынувши из кармана рожок, прибавил: — Возьмите, одолжайтесь!

— Весьма рад, что вас вижу, — отвечал судья. — Но все не могу представить себе, что заставило вас предпринять труд и одолжить нас такою приятною нечаянностию.

— С просьбою... — мог только произнесть Иван Никифорович.

— С просьбою? с какою?

— С позвом... — тут одышка произвела долгую паузу, — ох!.. с позвом на мошенника... Ивана Ивановича Перерепенка.

— Господи! и вы туда! Такие редкие друзья! Позов на такого добродетельного человека!..

— Он сам сатана! — произнес отрывисто Иван Никифорович.

Судья перекрестился.

— Возьмите просьбу, прочитайте.

— Нечего делать, прочитайте, Тарас Тихонович, — сказал судья, обращаясь к секретарю с видом неудовольствия, причем нос его невольно понюхал верхнюю губу, что обыкновенно он делал прежде только от большого удовольствия. Такое самоуправство носа причинило судье еще более досады. Он вынул платок и смел с верхней губы весь табак, чтобы наказать дерзость его.

Секретарь, сделавши обыкновенный свой приступ, который он всегда употреблял перед начатием чтения, то есть без помощи носового платка, начал обыкновенным своим голосом таким образом:

— «Просит дворянин Миргородского повета Иван, Никифоров сын, Довгочхун, а о чем, тому следуют пункты:

1) По ненавистной злобе своей и явному недоброжелательству, называющий себя дворянином, Иван, Иванов сын, Перерепенко всякие пакости, убытки и иные ехидненские[51] и в ужас приводящие поступки мне чинит и вчерашнего дня пополудни, как разбойник и тать[52], с топорами, пилами, долотами и иными слесарными орудиями, забрался ночью в мой двор и в находящийся в оном мой же собственный хлев, собственноручно и поносным образом его изрубил. На что, с моей стороны, я не подавал никакой причины к столь противозаконному и разбойническому поступку.

2) Оный же дворянин Перерепенко имеет посягательство на самую жизнь мою и до 7-го числа прошлого месяца, содержа втайне сие намерение, пришел ко мне и начал дружеским и хитрым образом выпрашивать у меня ружье, находившееся в моей комнате, и предлагал мне за него, с свойственною ему скупостью, многие негодные вещи, как то: свинью бурую и две мерки овса. Но, предугадывая тогда же преступное его намерение, я всячески старался от оного уклонить его; но оный мошенник и подлец, Иван, Иванов сын, Перерепенко, выбранил меня мужицким образом и питает ко мне с того времени вражду непримиримую. Притом же оный, часто поминаемый, неистовый дворянин и разбойник, Иван, Иванов сын, Перерепенко, и происхождения весьма поносного: его сестра была известная всему свету потаскуха и ушла за егерскою ротою, стоявшею назад тому пять лет в Миргороде, а мужа своего записала в крестьяне. Отец и мать его тоже были пребеззаконные люди, и оба были невообразимые пьяницы. Упоминаемый же дворянин и разбойник Перерепенко своими скотоподобными и порицания достойными поступками превзошел всю свою родню и под видом благочестия делает самые соблазнительные дела: постов не содержит, ибо накануне Филипповки[53] сей богоотступник купил барана и на другой день велел зарезать своей беззаконной девке Гапке, оговариваясь, аки[54] бы ему нужно было под тот час сало на каганцы и свечи.

Посему прошу оного дворянина, яко разбойника, святотатца, мошенника, уличенного уже в воровстве и грабительстве, в кандалы заковать и в тюрьму, или государственный острог[55], препроводить, и там уже, по усмотрению, лиша чинов и дворянства, добре барбарами шмаровать[56] и в Сибирь на каторгу по надобности заточить; проторы, убытки велеть ему заплатить и по сему моему прошению решение учинить. — К сему прошению руку приложил дворянин Миргородского повета Иван, Никифоров сын, Довгочхун».

Как только секретарь кончил чтение, Иван Никифорович взялся за шапку и поклонился, с намерением уйти.

— Куда же вы, Иван Никифорович? — говорил ему вслед судья. — Посидите немного! выпейте чаю! Орышко[57]! что ты стоишь, глупая девка, и перемигиваешься с канцелярскими? Ступай, принеси чаю!

Но Иван Никифорович, с испуга, что так далеко зашел от дому и выдержал такой опасный карантин, успел уже пролезть в дверь, проговорив:

— Не беспокойтесь, я с удовольствием... — и затворил ее за собою, оставив в изумлении все присутствие.

Делать было нечего. Обе просьбы были приняты, и дело готовилось принять довольно важный интерес, как одно непредвиденное обстоятельство сообщило ему еще большую занимательность. Когда судья вышел из присутствия в сопровождении подсудка и секретаря, а канцелярские укладывали в мешок нанесенных просителями кур, яиц, краюх хлеба, пирогов, книшей и прочего дрязгу, в это время бурая свинья вбежала в комнату и схватила, к удивлению присутствовавших, не пирог или хлебную корку, но прошение Ивана Никифоровича, которое лежало на конце стола, перевесившись листами вниз. Схвативши бумагу, бурая хавронья убежала так скоро, что ни один из приказных чиновников не мог догнать ее, несмотря на кидаемые линейки и чернильницы.

Это чрезвычайное происшествие произвело страшную суматоху, потому что даже копия не была еще списана с нее. Судья, то есть его секретарь и подсудок, долго трактовали об таком неслыханном обстоятельстве; наконец решено было на том, чтобы написать об этом отношение к городничему, так как следствие по этому делу более относилось к гражданской полиции[В]. Отношение за № 389 послано было к нему того же дня, и по этому самому произошло довольно любопытное объяснение, о котором читатели могут узнать из следующей главы.

ГЛАВА V.

В которой излагается совещание двух почтенных в Миргороде особ.

Как только Иван Иванович управился в своем хозяйстве и вышел, по обыкновению, полежать под навесом, как, к несказанному удивлению своему, увидел что-то красневшее[в] в калитке. Это был красный обшлаг городничего, который, равномерно как и воротник его, получил политуру и по краям превращался в лакированную кожу. Иван Иванович подумал про себя: «Недурно, что пришел Петр Федорович поговорить», — но очень удивился, увидя, что городничий шел чрезвычайно скоро и размахивал руками, что случалось с ним, по обыкновению, весьма редко. На мундире у городничего посажено было восемь пуговиц, девятая как оторвалась во время процессии при освящении храма назад тому два года, так до сих пор десятские[58] не могут отыскать, хотя городничий при ежедневных рапортах, которые отдают ему квартальные надзиратели[59], всегда спрашивает, нашлась ли пуговица. Эти восемь пуговиц были насажены у него таким образом, как бабы садят бобы; одна направо, другая налево. Левая нога была у него прострелена в последней кампании, и потому он, прихрамывая, закидывал ею так далеко в сторону, что разрушал этим почти весь труд правой ноги. Чем быстрее действовал городничий своею пехотою, тем менее она подвигалась вперед. И потому, покамест дошел городничий к навесу, Иван Иванович имел довольно времени теряться в догадках, отчего городничий так скоро размахивал руками. Тем более это его занимало, что дело касалось необыкновенной важности, ибо при нем была даже новая шпага.

— Здравствуйте, Петр Федорович! — вскричал Иван Иванович, который, как уже сказано, был очень любопытен и никак не мог удержать своего нетерпения при виде, как городничий брал приступом крыльцо, но все еще не поднимал глаз своих вверх и ссорился с своею пехотою, которая никаким образом не могла с одного размаху взойти на ступеньку.

— Доброго дня желаю любезному другу и благодетелю Ивану Ивановичу! — отвечал городничий.

— Милости прошу садиться. Вы, как я вижу, устали, потому что ваша раненая нога мешает...

— Моя нога! — вскрикнул городничий, бросив на Ивана Ивановича один из тех взглядов, какие бросает великан на пигмея, ученый педант на танцевального учителя. При этом он вытянул свою ногу и топнул ею об пол. Эта храбрость, однако ж, ему дорого стоила, потому что весь корпус

его покачнулся и нос клюнул перила; но мудрый блюститель порядка, чтоб не подать никакого вида, тотчас оправился и полез в карман, как будто бы с тем, чтобы достать табакерку. — Я вам доложу о себе, любезнейший друг и благодетель Иван Иванович, что я делывал на веку своем не такие походы. Да, серьезно, делывал. Например, во время кампании тысяча восемьсот седьмого года[60]... Ах, я вам расскажу, каким манером я перелез через забор к одной хорошенькой немке. — При этом городничий зажмурил один глаз и сделал бесовски плутовскую улыбку.

— Где же вы бывали сегодня? — спросил Иван Иванович, желая прервать городничего и скорее навести его на причину посещения; ему бы очень хотелось спросить, что такое намерен объявить городничий; но тонкое познание света представляло ему всю неприличность такого вопроса, и Иван Иванович должен был скрепиться и ожидать разгадки, между тем как сердце его колотилось с необыкновенною силою.

— А позвольте, я вам расскажу, где был я, — отвечал городничий. — Во-первых, доложу вам, что сегодня отличное время...

При последних словах Иван Иванович почти что не умер.

— Но, позвольте, — продолжал городничий. — Я пришел сегодня к вам по одному весьма важному делу. — Тут лицо городничего и осанка приняли то же самое озабоченное положение, с которым брал он приступом крыльцо.

Иван Иванович ожил и трепетал, как в лихорадке, не замедливши, по обыкновению своему, сделать вопрос:

— Какое же оно важное? разве оно важное?

— Вот извольте видеть: прежде всего осмелюсь доложить вам, любезный друг и благодетель Иван Иванович, что вы... с моей стороны, я, извольте видеть, я ничего, но виды правительства, виды правительства этого требуют: вы нарушили порядок благочиния!..

— Что это вы говорите, Петр Федорович? Я ничего не понимаю.

— Помилуйте, Иван Иванович! Как вы ничего не понимаете? Ваша собственная животина утащила очень важную казенную бумагу, и вы еще говорите после этого, что ничего не понимаете!

— Какая животина?

— С позволения сказать, ваша собственная бурая свинья.

— А я чем виноват? Зачем судейский сторож отворяет двери!

— Но, Иван Иванович, ваше собственное животное — стало быть, вы виноваты.

— Покорно благодарю вас за то, что с свиньею меня равняете.

— Вот уж этого я не говорил, Иван Иванович! Ей-Богу, не говорил! Извольте рассудить по чистой совести сами: вам, без всякого сомнения,

известно, что, согласно с видами начальства, запрещено в городе, тем же паче в главных градских улицах, прогуливаться нечистым животным. Согласитесь сами, что это дело запрещенное.

— Бог знает что это вы говорите! Большая важность, что свинья вышла на улицу!

— Позвольте вам доложить, позвольте, позвольте, Иван Иванович, это совершенно невозможно. Что ж делать? Начальство хочет — мы должны повиноваться. Не спорю, забегают иногда на улицу и даже на площадь куры и гуси, — заметьте себе: куры и гуси; но свиней и козлов я еще в прошлом году дал предписание не впускать на публичные площади. Которое предписание тогда же приказал прочитать изустно, в собрании, пред целым народом.

— Нет, Петр Федорович, я здесь ничего не вижу, как только то, что вы всячески стараетесь обижать меня.

— Вот этого-то не можете сказать, любезнейший друг и благодетель, чтобы я старался обижать. Вспомните сами: я не сказал вам ни одного слова прошлый год, когда вы выстроили крышу целым аршином выше установленной меры. Напротив, я показал вид, как будто совершенно этого не заметил. Верьте, любезнейший друг, что и теперь бы я совершенно, так сказать... но мой долг, словом, обязанность требует смотреть за чистотою. Посудите сами, когда вдруг на главной улице...

— Уж хороши ваши главные улицы! Туда всякая баба идет выбросить то, что ей не нужно.

— Позвольте вам доложить, Иван Иванович, что вы сами обижаете меня! Правда, это случается иногда, но по большей части только под забором, сараями или коморами; но чтоб на главной улице, на площадь втесалась супоросная свинья[61], это такое дело...

— Что ж такое, Петр Федорович! Ведь свинья творение Божие!

— Согласен! Это всему свету известно, что вы человек ученый, знаете науки и прочие разные предметы. Конечно, я наукам не обучался никаким: скорописному письму я начал учиться на тридцатом году своей жизни. Ведь я, как вам известно, из рядовых.

— Гм! — сказал Иван Иванович.

— Да, — продолжал городничий, — в тысяча восемьсот первом году я находился в сорок втором егерском полку в четвертой роте поручиком. Ротный командир у нас был, если изволите знать, капитан Еремеев. — При этом городничий запустил свои пальцы в табакерку, которую Иван Иванович держал открытою и переминал табак.

Иван Иванович отвечал:

— Гм!

— Но мой долг, — продолжал городничий, — есть повиноваться требованиям правительства. Знаете ли вы, Иван Иванович, что похитивший в суде казенную бумагу подвергается, наравне со всяким другим преступлением, уголовному суду?

— Так знаю, что, если хотите, и вас научу. Так говорится о людях, например, если бы вы украли бумагу; но свинья животное, творение Божие!

— Всё так, но закон говорит: «виновный в похищении...» Прошу вас прислушаться внимательно: *виновный*! Здесь не означается ни рода, ни пола, ни звания, — стало быть, и животное может быть виновно. Воля ваша, а животное прежде произнесения приговора к наказанию должно быть представлено в полицию как нарушитель порядка.

— Нет, Петр Федорович! — возразил хладнокровно Иван Иванович. — Этого-то не будет!

— Как вы хотите, только я должен следовать предписаниям начальства.

— Что ж вы стращаете меня? Верно, хотите прислать за нею безрукого солдата? Я прикажу дворовой бабе его кочергой выпроводить. Ему последнюю руку переломят.

— Я не смею с вами спорить. В таком случае, если вы не хотите представить ее в полицию, то пользуйтесь ею, как вам угодно: заколите, когда желаете, ее к Рождеству и наделайте из нее окороков, или так съедите. Только я бы у вас попросил, если будете делать колбасы, пришлите мне парочку тех, которые у вас так искусно делает Гапка из свиной крови и сала. Моя Аграфена Трофимовна[62] очень их любит.

— Колбас, извольте, пришлю парочку.

— Очень вам буду благодарен, любезный друг и благодетель. Теперь позвольте вам сказать еще одно слово: я имею поручение, как от судьи, так равно и от всех наших знакомых, так сказать, примирить вас с приятелем вашим, Иваном Никифоровичем.

— Как! с невежею? чтобы я примирился с этим грубияном? Никогда! Не будет этого, не будет! — Иван Иванович был в чрезвычайно решительном состоянии.

— Как вы себе хотите, — отвечал городничий, угощая обе ноздри табаком. — Я сам не смею советовать; однако ж позвольте доложить: вот вы теперь в ссоре, а как помиритесь...

Но Иван Иванович начал говорить о ловле перепелов, что обыкновенно случалось, когда он хотел замять речь.

Итак, городничий, не получив никакого успеха, должен был отправиться восвояси.

ГЛАВА VI.

Из которой читатель легко может узнать все то, что в ней содержится.

Сколько ни старались в суде скрыть дело, но на другой же день весь Миргород узнал, что свинья Ивана Ивановича утащила просьбу Ивана Никифоровича. Сам городничий первый, позабывшись, проговорился. Когда Ивану Никифоровичу сказали об этом, он ничего не сказал, спросил только: «Не бурая ли?»

Но Агафия Федосеевна, которая была при этом, начала опять приступать к Ивану Никифоровичу:

— Что ты, Иван Никифорович? Над тобой будут смеяться, как над дураком, если ты попустишь! Какой ты после этого будешь дворянин! Ты будешь хуже бабы, что продает сластены, которые ты так любишь!

И уговорила неугомонная! Нашла где-то человечка[в] средних лет, черномазого, с пятнами по всему лицу, в темно-синем, с заплатами на локтях, сюртуке — совершенную приказную чернильницу! Сапоги он смазывал дегтем, носил по три пера за ухом и привязанный к пуговице на шнурочке стеклянный пузырек вместо чернильницы; съедал за одним разом девять пирогов, а десятый клал в карман, и в один гербовый лист столько уписывал всякой ябеды, что никакой чтец не мог за одним разом прочесть, не перемежая этого кашлем и чиханьем. Это небольшое подобие человека копалось, корпело, писало и наконец состряпало такую бумагу:

«В миргородский поветовый суд от дворянина Ивана, Никифорова сына, Довгочхуна.

Вследствие оного прошения моего, что от меня, дворянина Ивана, Никифорова сына, Довгочхуна, к тому имело быть, совокупно с дворянином Иваном, Ивановым сыном, Перерепенком, чему и сам поветовый миргородский суд потворство свое изъявил. И самое оное нахальное самоуправство бурой свиньи, будучи втайне содержимо и уже от сторонних людей до слуха дошедшись. Понеже[63] оное допущение и потворство, яко злоумышленное, суду неукоснительно подлежит; ибо оная свинья есть животное глупое и тем паче способное к хищению бумаги. Из чего очевидно явствует, что часто поминаемая свинья не иначе как была подущена к тому самим противником, называющим себя дворянином Иваном, Ивановым сыном, Перерепенком, уже уличенным в разбое, посягательстве на жизнь и святотатстве. Но оный миргородский суд, с свойственным ему лицеприятием, тайное своей особы соглашение изъявил; без какового соглашения оная свинья никоим бы образом не могла быть допущенною к утащению бумаги: ибо миргородский

поветовый суд в прислуге весьма снабжен, для сего довольно уже назвать одного солдата, во всякое время в приемной пребывающего, который хотя имеет один кривой глаз и несколько поврежденную руку, но, чтобы выгнать свинью и ударить ее дубиною, имеет весьма соразмерные способности. Из чего достоверно видно потворство оного миргородского суда и бесспорно разделение жидовского от того барыша по взаимности совмещаясь. Оный же вышеупомянутый разбойник и дворянин Иван, Иванов сын, Перерепенко в приточении ошельмовавшись состоялся[64]. Почему и довожу оному поветовому суду я, дворянин Иван, Никифоров сын, Довгочхун, в надлежащее всеведение, если с оной бурой свиньи или согласившегося с нею дворянина Перерепенка означенная просьба взыщена не будет и по ней решение по справедливости и в мою пользу не возымеет, то я, дворянин Иван, Никифоров сын, Довгочхун, о таковом оного суда противозаконном потворстве подать жалобу в палату имею с надлежащим по форме перенесением дела. — Дворянин Миргородского повета Иван, Никифоров сын, Довгочхун».

Эта просьба произвела свое действие: судья был человек, как обыкновенно бывают все добрые люди, трусливого десятка. Он обратился к секретарю. Но секретарь пустил сквозь губы густой «гм» и показал на лице своем ту равнодушную и дьявольски двусмысленную мину, которую принимает один только сатана, когда видит у ног своих прибегающую к нему жертву. Одно средство оставалось: примирить двух приятелей. Но как приступить к этому, когда все покушения были до того неуспешны? Однако ж еще решились попытаться; но Иван Иванович напрямик объявил, что не хочет, и даже весьма рассердился. Иван Никифорович вместо ответа оборотился спиною назад и хоть бы слово сказал. Тогда процесс пошел с необыкновенною быстротою, которою обыкновенно так славятся судилища. Бумагу пометили, записали, выставили нумер, вшили, расписались — всё в один и тот же день, и положили дело в шкаф, где оно лежало, лежало, лежало — год, другой, третий. Множество невест успело выйти замуж; в Миргороде пробили новую улицу; у судьи выпал один коренной зуб и два боковых; у Ивана Ивановича бегало по двору больше ребятишек, нежели прежде: откуда они взялись, Бог один знает! Иван Никифорович, в упрек Ивану Ивановичу, выстроил новый гусиный хлев, хотя немного подальше прежнего, и совершенно застроился от Ивана Ивановича, так что сии достойные люди никогда почти не видали в лицо друг друга, — и дело все лежало, в самом лучшем порядке, в шкафу, который сделался мраморным от чернильных пятен.

Между тем произошел чрезвычайно важный случай для всего Миргорода.

Городничий давал ассамблею[65]! Где возьму я кистей и красок, чтоб изобразить разнообразие съезда и великолепное пиршество? Возьмите часы, откройте их и посмотрите, что там делается! Не правда ли, чепуха страшная? Представьте же теперь себе, что почти столько же, если не больше, колес стояло среди двора городничего. Каких бричек и повозок там не было! Одна — зад широкий, а перед узенький; другая — зад узенький, а перед широкий. Одна была и бричка и повозка вместе; другая ни бричка, ни повозка; иная была похожа на огромную копну сена или на толстую купчиху; другая на растрепанного жида или на скелет, еще не совсем освободившийся от кожи; иная была в профиле совершенная трубка с чубуком[66]; другая была ни на что не похожа, представляя какое-то странное существо, совершенно безобразное и чрезвычайно фантастическое. Из среды этого хаоса колес и козел возвышалось подобие кареты с комнатным окном, перекрещенным толстым переплетом. Кучера, в серых чекменях, свитках и серяках[67], в бараньих шапках и разнокалиберных фуражках, с трубками в руках, проводили по двору распряженных лошадей. Что за ассамблею дал городничий! Позвольте, я перечту всех, которые были там: Тарас Тарасович, Евпл Акинфович, Евтихий Евтихиевич, Иван Иванович — не тот Иван Иванович, а другой, Савва Гаврилович, наш Иван Иванович, Елевферий Елевфериевич, Макар Назарьевич, Фома Григорьевич[68]... Не могу далее! не в силах! Рука устает писать! А сколько было дам! смуглых и белолицых, длинных и коротеньких, толстых, как Иван Никифорович, и таких тонких, что, казалось, каждую можно было упрятать в шпажные ножны городничего. Сколько чепцов! сколько платьев! красных, желтых, кофейных, зеленых, синих, новых, перелицованных, перекроенных; платков, лент, ридикулей! Прощайте, бедные глаза! вы никуда не будете годиться после этого спектакля. А какой длинный стол был вытянут! А как разговорилось всё, какой шум подняли! Куда против этого мельница со всеми своими жерновами, колесами, шестерней, ступами! Не могу вам сказать наверно, о чем они говорили, но должно думать, что о многих приятных и полезных вещах, как то: о погоде, о собаках, о пшенице, о чепчиках, о жеребцах. Наконец Иван Иванович — не тот Иван Иванович, а другой, у которого один глаз крив, — сказал:

— Мне очень странно, что правый глаз мой (кривой Иван Иванович всегда говорил о себе иронически) не видит Ивана Никифоровича, господина Довгочхуна.

— Не хотел прийти! — сказал городничий.

— Как так?

— Вот уже, слава Богу, есть два года, как поссорились они между собою, то есть Иван Иванович с Иваном Никифоровичем; и где один, туда другой ни за что не пойдет!

— Что вы говорите! — При этом кривой Иван Иванович поднял глаза вверх и сложил руки вместе. — Что ж теперь, если уже люди с добрыми глазами не живут в мире, где же жить мне в ладу с кривым моим оком!

На эти слова все засмеялись во весь рот. Все очень любили кривого Ивана Ивановича за то, что он отпускал шутки совершенно во вкусе нынешнем. Сам высокий, худощавый человек, в байковом сюртуке, с пластырем на носу, который до того сидел в углу и ни разу не переменил движения на своем лице, даже когда залетела к нему в нос муха, — этот самый господин встал с своего места и подвинулся ближе к толпе, обступившей кривого Ивана Ивановича.

— Послушайте! — сказал кривой Иван Иванович, когда увидел, что его окружило порядочное общество. — Послушайте! Вместо того что вы теперь заглядываетесь на мое кривое око, давайте вместо этого помирим двух наших приятелей! Теперь Иван Иванович разговаривает с бабами и девчатами, — пошлем потихоньку за Иваном Никифоровичем, да и столкнем их вместе.

Все единодушно приняли предложение Ивана Ивановича и положили немедленно послать к Ивану Никифоровичу на дом — просить его во что бы то ни стало приехать к городничему на обед. Но важный вопрос — на кого возложить это важное поручение? — повергнул всех в недоумение. Долго спорили, кто способнее и искуснее в дипломатической части; наконец единодушно решили возложить все это на Антона Прокофьевича Голопузя.

Но прежде нужно несколько познакомить читателя с этим замечательным лицом. Антон Прокофьевич был совершенно добродетельный человек во всем значении этого слова: даст ли ему кто из почетных[В] людей в Миргороде платок на шею или исподнее — он благодарит; щелкнет ли его кто слегка в нос, он и тогда благодарит. Если у него спрашивали: «Отчего это у вас, Антон Прокофьевич, сюртук коричневый, а рукава голубые?» — то он обыкновенно всегда отвечал: «А у вас и такого нет! Подождите, обносится, весь будет одинаковый!» И точно: голубое сукно от действия солнца начало обращаться в коричневое и теперь совершенно подходит под цвет сюртука! Но вот что странно: что Антон Прокофьевич имеет обыкновение суконное платье носить летом, а нанковое зимою. Антон Прокофьевич не имеет своего дома. У него был прежде, на конце города, но он его продал и на вырученные деньги купил тройку гнедых лошадей и небольшую бричку, в которой разъезжал гостить по помещикам. Но так как с ними много было хлопот и притом нужны были деньги на овес, то Антон Прокофьевич их променял на скрыпку и дворовую девку, взявши придачи двадцатипятирублевую бумажку. Потом скрыпку Антон Прокофьевич продал, а девку променял за кисет сафьянный с золотом. И теперь у него кисет такой, какого ни у кого нет. За это наслаждение он уже не может разъезжать

по деревням, а должен оставаться в городе и ночевать в разных домах, особенно тех дворян, которые находили удовольствие щелкать его по носу. Антон Прокофьевич любит хорошо поесть, играет изрядно в «дураки» и «мельники»[69]. Повиноваться всегда было его стихиею, и потому он, взявши шапку и палку, немедленно отправился в путь. Но идучи стал рассуждать, каким образом ему подвигнуть Ивана Никифоровича прийти на ассамблею. Несколько крутой нрав сего, впрочем, достойного человека делал его предприятие почти невозможным. Да и как, в самом деле, ему решиться прийти, когда встать с постели уже ему стоило великого труда? Но положим, что он встанет, как ему прийти туда, где находится, — что, без сомнения, он знает, — непримиримый враг его? Чем более Антон Прокофьевич обдумывал, тем более находил препятствий. День был душен; солнце жгло; пот лился с него градом. Антон Прокофьевич, несмотря, что его щелкали по носу, был довольно хитрый человек на многие дела, — в мене только был он не так счастлив, — он очень знал, когда нужно прикинуться дураком, и иногда умел найтиться[в] в таких обстоятельствах и случаях, где редко умный бывает в состоянии извернуться.

В то время как изобретательный ум его выдумывал средство, как убедить Ивана Никифоровича, и уже он храбро шел навстречу всего, одно неожиданное обстоятельство несколько смутило его. Не мешает при этом сообщить читателю, что у Антона Прокофьевича были, между прочим, одни панталоны такого странного свойства, что когда он надевал их, то всегда собаки кусали его за икры. Как на беду, в тот день он надел именно эти панталоны. И потому едва только он предался размышлениям, как страшный лай со всех сторон поразил слух его. Антон Прокофьевич поднял такой крик, — громче его никто не умел кричать, — что не только знакомая баба и обитатель неизмеримого сюртука выбежали к нему навстречу, но даже мальчишки со двора Ивана Ивановича посыпались к нему, и хотя собаки только за одну ногу успели его укусить, однако ж это очень уменьшило его бодрость и он с некоторого рода робостью подступал к крыльцу.

ГЛАВА VII.

И последняя.

— А! здравствуйте. На что вы собак дразните? — сказал Иван Никифорович, увидевши Антона Прокофьевича, потому что с Антоном Прокофьевичем никто иначе не говорил, как шутя.

— Чтоб они передохли все! Кто их дразнит? — отвечал Антон Прокофьевич.

— Вы врете.

— Ей-Богу, нет! Просил вас Петр Федорович на обед.

— Гм!

— Ей-Богу! так убедительно просил, что выразить не можно. Что это, говорит, Иван Никифорович чуждается меня, как неприятеля. Никогда не зайдет поговорить либо посидеть.

Иван Никифорович погладил свой подбородок.

— Если, говорит, Иван Никифорович и теперь не придет, то я не знаю, что подумать: верно, он имеет на меня какой умысел! Сделайте милость, Антон Прокофьевич, уговорите Ивана Никифоровича! Что ж, Иван Никифорович? пойдем! там собралась теперь отличная компания!

Иван Никифорович начал рассматривать петуха, который, стоя на крыльце, изо всей мочи драл горло.

— Если бы вы знали, Иван Никифорович, — продолжал усердный депутат, — какой осетрины, какой свежей икры прислали Петру Федоровичу!

При этом Иван Никифорович поворотил свою голову и начал внимательно прислушиваться. Это ободрило депутата.

— Пойдемте скорее, там и Фома Григорьевич! Что ж вы? — прибавил он, видя, что Иван Никифорович лежал все в одинаковом положении. — Что ж? идем или нейдем?

— Не хочу.

Это «не хочу» поразило Антона Прокофьевича. Он уже думал, что убедительное представление его совершенно склонило этого, впрочем, достойного человека, но вместо того услышал решительное «не хочу».

— Отчего же не хотите вы? — спросил он почти с досадою, которая показывалась у него чрезвычайно редко, даже тогда, когда клали ему на голову зажженную бумагу, чем особенно любили себя тешить судья и городничий.

Иван Никифорович понюхал табаку.

— Воля ваша, Иван Никифорович, я не знаю, что вас удерживает.

— Чего я пойду? — проговорил наконец Иван Никифорович, — там будет разбойник! — Так он называл обыкновенно Ивана Ивановича.

Боже праведный! А давно ли...

— Ей-Богу, не будет! вот как Бог свят, что не будет! Чтоб меня на самом этом месте громом убило! — отвечал Антон Прокофьевич, который готов был божиться десять раз на один час. — Пойдемте же, Иван Никифорович!

— Да вы врете, Антон Прокофьевич, он там?

— Ей-Богу, ей-Богу, нет! Чтобы я не сошел с этого места, если он там! Да и сами посудите, с какой стати мне лгать? Чтоб мне руки и ноги отсохли!.. Что, и теперь не верите? Чтоб я околел тут же перед вами! чтоб ни отцу, ни матери моей, ни мне не видать Царствия Небесного! Еще не верите?

Иван Никифорович этими уверениями совершенно успокоился и велел своему камердинеру в безграничном сюртуке принесть шаровары и нанковый козакин.

Я полагаю, что описывать, каким образом Иван Никифорович надевал шаровары, как ему намотали галстук и, наконец, надели козакин, который под левым рукавом лопнул, совершенно излишне. Довольно, что он во все это время сохранял приличное спокойствие и не отвечал ни слова на предложения Антона Прокофьевича — что-нибудь променять на его турецкий кисет.

Между тем собрание с нетерпением ожидало решительной минуты, когда явится Иван Никифорович и исполнится наконец всеобщее желание, чтобы сии достойные люди примирились между собою; многие были почти уверены, что не придет Иван Никифорович. Городничий даже бился об заклад с кривым Иваном Ивановичем, что не придет, но разошелся только потому, что кривой Иван Иванович требовал, чтобы тот поставил в заклад подстреленную свою ногу, а он кривое око, — чем городничий очень обиделся, а компания потихоньку смеялась. Никто еще не садился за стол, хотя давно уже был второй час — время, в которое в Миргороде, даже в парадных случаях, давно уже обедают.

Едва только Антон Прокофьевич появился в дверях, как в то же мгновение был обступлен всеми. Антон Прокофьевич на все вопросы закричал одним решительным словом: «Не будет». Едва только он это произнес, и уже град выговоров, браней, а может быть и щелчков, готовился посыпаться на его голову за неудачу посольства, как вдруг дверь отворилась и — вошел Иван Никифорович.

Если бы показался сам сатана или мертвец, то они бы не произвели такого изумления на все общество, в какое повергнул его неожиданный приход Ивана Никифоровича. А Антон Прокофьевич только заливался, ухватившись за бока, от радости, что так подшутил над всею компаниею.

Как бы то ни было, только это было почти невероятно для всех, чтобы Иван Никифорович в такое короткое время мог одеться, как прилично дворянину. Ивана Ивановича в это время не было; он зачем-то вышел. Очнувшись от изумления, вся публика приняла участие в здоровье Ивана Никифоровича и изъявила удовольствие, что он раздался в толщину. Иван Никифорович целовался со всяким и говорил: «Очень одолжен».

Между тем запах борща понесся чрез комнату и пощекотал приятно ноздри проголодавшимся гостям. Все повалили в столовую. Вереница дам, говорливых и молчаливых, тощих и толстых, потянулась вперед, и длинный стол зарябел всеми цветами. Не стану описывать кушаньев, какие были за столом! Ничего не упомяну ни о мнишках в сметане, ни об утрибке[70], которую подавали к борщу, ни об индейке с сливами и изюмом, ни о том кушанье, которое очень походило видом на сапоги, намоченные в квасе, ни о том соусе, который есть лебединая песнь старинного повара, — о том соусе, который подавался обхваченный весь винным пламенем[71], что очень забавляло и вместе пугало дам. Не стану говорить об этих кушаньях потому, что мне гораздо более нравится есть их, нежели распространяться об них в разговорах.

Ивану Ивановичу очень понравилась рыба, приготовленная с хреном. Он особенно занялся этим полезным и питательным упражнением. Выбирая самые тонкие рыбьи косточки, он клал их на тарелку и как-то нечаянно взглянул насупротив: Творец небесный, как это было странно! Против него сидел Иван Никифорович!

В одно и то же самое время взглянул и Иван Никифорович!.. Нет!.. не могу!.. Дайте мне другое перо! Перо мое вяло, мертво, с тонким расщепом для этой картины! Лица их с отразившимся изумлением сделались как бы окаменелыми. Каждый из них увидел лицо давно знакомое, к которому, казалось бы, невольно готов подойти, как к приятелю неожиданному, и поднесть рожок с словом: «одолжайтесь» или «смею ли просить об одолжении»; но вместе с этим то же самое лицо было страшно, как нехорошее предзнаменование! Пот катился градом у Ивана Ивановича и у Ивана Никифоровича.

Присутствующие, все, сколько их ни было за столом, онемели от внимания и не отрывали глаз от некогда бывших друзей. Дамы, которые до того времени были заняты довольно интересным разговором о том, каким образом делаются каплуны[72], вдруг прервали разговор. Все стихло! Это была картина, достойная кисти великого художника!

Наконец Иван Иванович вынул носовой платок и начал сморкаться; а Иван Никифорович осмотрелся вокруг и остановил глаза на растворенной двери. Городничий тотчас заметил это движение и велел затворить дверь покрепче. Тогда каждый из друзей начал кушать и уже ни разу не взглянули друг на друга.

Как только кончился обед, оба прежние приятели схватились с мест и начали искать шапок, чтобы улизнуть. Тогда городничий мигнул, и Иван Иванович, — не тот Иван Иванович, а другой, что с кривым глазом, — стал за спиною Ивана Никифоровича, а городничий зашел за спину Ивана Ива-

новича, и оба начали подталкивать их сзади, чтобы спихнуть их вместе и не выпускать до тех пор, пока не подадут рук. Иван Иванович, что с кривым глазом, натолкнул Ивана Никифоровича, хотя и несколько косо, однако ж довольно еще удачно и в то место, где стоял Иван Иванович; но городничий сделал дирекцию[73] слишком в сторону, потому что он никак не мог управиться с своевольною пехотою, не слушавшею на тот раз никакой команды и, как назло, закидывавшею чрезвычайно далеко и совершенно в противную сторону (что, может, происходило оттого, что за столом было чрезвычайно много разных наливок), так что Иван Иванович упал на даму в красном платье, которая из любопытства просунулась в самую средину. Такое предзнаменование не предвещало ничего доброго. Однако ж судья, чтоб поправить это дело, занял место городничего и, потянувши носом с верхней губы весь табак, отпихнул Ивана Ивановича в другую сторону. В Миргороде это обыкновенный способ примирения. Он несколько похож на игру в мячик. Как только судья пихнул Ивана Ивановича, Иван Иванович с кривым глазом уперся всею силою и пихнул Ивана Никифоровича, с которого пот валился, как дождевая вода с крыши. Несмотря на то что оба приятеля весьма упирались, однако ж таки были столкнуты, потому что обе действовавшие стороны получили значительное подкрепление со стороны других гостей.

Тогда обступили их со всех сторон тесно и не выпускали до тех пор, пока они не решились подать друг другу руки.

— Бог с вами, Иван Никифорович и Иван Иванович! Скажите по совести, за что вы поссорились? не по пустякам ли? Не совестно ли вам перед людьми и перед Богом!

— Я не знаю, — сказал Иван Никифорович, пыхтя от усталости (заметно было, что он был весьма не прочь от примирения), — я не знаю, что я такое сделал Ивану Ивановичу; за что же он порубил мой хлев и замышлял погубить меня?

— Не повинен ни в каком злом умысле, — говорил Иван Иванович, не обращая глаз на Ивана Никифоровича. — Клянусь и пред Богом и пред вами, почтенное дворянство, я ничего не сделал моему врагу. За что же он меня поносит и наносит вред моему чину и званию?

— Какой же я вам, Иван Иванович, нанес вред? — сказал Иван Никифорович.

Еще одна минута объяснения — и давнишняя вражда готова была погаснуть. Уже Иван Никифорович полез в карман, чтобы достать рожок и сказать: «Одолжайтесь».

— Разве это не вред, — отвечал Иван Иванович, не подымая глаз, — когда вы, милостивый государь, оскорбили мой чин и фамилию таким словом, которое неприлично здесь сказать?

— Позвольте вам сказать по-дружески, Иван Иванович! (при этом Иван Никифорович дотронулся пальцем до пуговицы Ивана Ивановича, что означало совершенное его расположение), — вы обиделись за черт знает что такое: за то, что я вас назвал *гусаком*...

Иван Никифорович спохватился, что сделал неосторожность, произнесши это слово; но уже было поздно: слово было произнесено. Все пошло к черту!

Когда при произнесении этого слова без свидетелей Иван Иванович вышел из себя и пришел в такой гнев, в каком не дай Бог видывать человека, — что ж теперь, посудите, любезные читатели, что теперь, когда это убийственное слово произнесено было в собрании, в котором находилось множество дам, перед которыми Иван Иванович любил быть особенно приличным? Поступи Иван Никифорович не таким образом, скажи он *птица*, а не *гусак*, еще бы можно было поправить.

Но — все кончено!

Он бросил на Ивана Никифоровича взгляд — и какой взгляд! Если бы этому взгляду придана была власть исполнительная, то он обратил бы в прах Ивана Никифоровича. Гости поняли этот взгляд и поспешили сами разлучить их. И этот человек, образец кротости, который ни одну нищую не пропускал, чтоб не расспросить ее, выбежал в ужасном бешенстве. Такие сильные бури производят страсти!

Целый месяц ничего не было слышно об Иване Ивановиче. Он заперся в своем доме. Заветный сундук был отперт, из сундука были вынуты — что же? карбованцы[74]! старые, дедовские карбованцы! И эти карбованцы перешли в запачканные руки чернильных дельцов. Дело было перенесено в палату[75]. И когда получил Иван Иванович радостное известие, что завтра решится оно, тогда только выглянул на свет и решился выйти из дому. Увы! с того времени палата извещала ежедневно, что дело кончится завтра, в продолжение десяти лет!

Назад тому лет пять я проезжал чрез город Миргород. Я ехал в дурное время. Тогда стояла осень с своею грустно-сырою погодою, грязью и туманом. Какая-то ненатуральная зелень — творение скучных, беспрерывных дождей — покрывала жидкою сетью поля и нивы, к которым она так пристала, как шалости старику, розы — старухе. На меня тогда сильное влияние производила погода: я скучал, когда она была скучна. Но, несмотря на то, когда я стал подъезжать к Миргороду, то почувствовал, что у меня сердце бьется сильно. Боже, сколько воспоминаний! я двенадцать лет не видал Миргорода. Здесь жили тогда в трогательной дружбе два единственные человека, два единственные друга. А сколько вымерло знаменитых людей! Судья Демьян Демьянович уже тогда был покойником; Иван Иванович, что с кривым глазом, тоже приказал долго жить. Я въехал в главную улицу, везде стояли шесты с привязанным вверху пуком соломы: производилась какая-то новая планировка[76]! Несколько изб было снесено. Остатки заборов и плетней торчали уныло.

День был тогда праздничный; я приказал рогоженную кибитку свою остановить перед церковью и вошел так тихо, что никто не обратился. Правда, и некому было. Церковь была пуста. Народу почти никого. Видно было, что и самые богомольные побоялись грязи. Свечи при пасмурном, лучше сказать — больном дне, как-то были странно неприятны; темные притворы были печальны; продолговатые окна с круглыми стеклами обливались дождливыми слезами. Я отошел в притвор и оборотился к одному почтенному старику с поседевшими волосами:

— Позвольте узнать, жив ли Иван Никифорович?

В это время лампада вспыхнула живее пред иконою, и свет прямо ударился в лицо моего соседа. Как же я удивился, когда, рассматривая, увидел черты знакомые! Это был сам Иван Никифорович! Но как изменился!

— Здоровы ли вы, Иван Никифорович? Как же вы постарели!

— Да, постарел. Я сегодня из Полтавы, — отвечал Иван Никифорович.

— Что вы говорите! вы ездили в Полтаву в такую дурную погоду?

— Что ж делать! тяжба...

При этом я невольно вздохнул. Иван Никифорович заметил этот вздох и сказал:

— Не беспокойтесь, я имею верное известие, что дело решится на следующей неделе, и в мою пользу.

Я пожал плечами и пошел узнать что-нибудь об Иване Ивановиче.

— Иван Иванович здесь, — сказал мне кто-то, — он на крылосе[в].

Я увидел тогда тощую фигуру. Это ли Иван Иванович? Лицо было покрыто морщинами, волосы были совершенно белые; но бекеша была все та же. После первых приветствий Иван Иванович, обратившись ко мне с веселою улыбкою, которая так всегда шла к его воронкообразному лицу, сказал:

— Уведомить ли вас о приятной новости?

— О какой новости? — спросил я.

— Завтра непременно решится мое дело. Палата сказала наверное.

Я вздохнул еще глубже и поскорее поспешил проститься, потому что я ехал по весьма важному делу, и сел в кибитку.

Тощие лошади, известные в Миргороде под именем курьерских, потянулись, производя копытами своими, погружавшимися в серую массу грязи, неприятный для слуха звук. Дождь лил ливмя на жида, сидевшего на козлах и накрывшегося рогожкою. Сырость меня проняла насквозь. Печальная застава с будкою, в которой инвалид чинил серые доспехи[77] свои, медленно пронеслась мимо. Опять то же поле, местами изрытое, черное, местами зеленеющее, мокрые галки и вороны, однообразный дождь, слезливое без просвету небо. — Скучно на этом свете, господа!

Конец второй части



Дополнения





БИСАВРЮК, ИЛИ ВЕЧЕР НАКАНУНЕ ИВАНА-КУПАЛА

Малороссийская повесть
(из народного предания),
рассказанная дьячком Покровской церкви[1]

Дед мой имел удивительное искусство рассказывать. — Бывало, час, два стоишь перед ним, глаз не сводишь, вот словно прирос к одному месту: так были занимательны его речи; не чета нынешним краснобайным балагурам, от которых, прости Господи, такая нападает зевота, что хоть из хаты вон. Живо помню, как, бывало, в зимние долгие вечера, когда мать моя пряла перед слабо мелькающим *каганцом**, качая одной ногою люльку и напевая заунывную песню, которой звуки, кажется, и теперь слышатся мне, собирались мы, ребятишки, около старого деда своего, по дряхлости уже более десяти лет не слезавшего с печи. И тут-то нужно было видеть, с каким вниманием слушали мы дивные речи: про старинные, дышавшие разгульем годы, про Гетманщину, про буйные наезды запорожцев, про тиранские мучительства ляхов, про удалые подвиги Подковы, Полтора-кожуха и Сагайдачного[2]. Но нам более всего нравились повести, имевшие основанием какое-нибудь старинное, сверхъестественное предание, которое нынешние умники без зазрения совести не побоялись бы назвать баснею; но я готов голову отдать, если дед мой хотя раз солгал в продолжение своей жизни. Чтобы уверить вас в справедливости этого, я хоть сей же час расскажу вам одну из тех повестей, которые так сильно нравились нам во время-оно, надеясь, что и вам полюбится.

«Лет более нежели за сто пред сим, еще за малолетство Богдана[3], село наше, говорил дед мой, не похоже было на нынешний самый негодный хутор: две, три хаты, необмазанные, неукрытые[4], торчали среди необозримой пустыни; о существовании же прочих догадывались только по дыму, выходив-

* Большая часть слов, выделенных курсивом, пояснена в конце повести. — *Ред.*

шему из земли. — Наши предки не слишком роскошничали и жили большею частию в землянках[5], в которые свет проходил в одни только двери, а сырость во все стены. Вы спросите: отчего же они так бедно жили? Господи, Боже мой! да такие ли тогда времена были, чтоб роскошничать, когда они не могли удержаться в своих землянках. Не слишком бывало весело, когда нагрянут беззаконные толпы ляхов. А литва? а крымцы[6]? а весь этот заморский сброд? Да еще лучше: бывало, свои, как нет поживы в неверной земле, навалят ватагами, да и обдирают своих же. Уж прямо лихое было времячко!

В этой-то деревушке имел притон свой — человек или, лучше сказать, сам черт в образе человеческом. Чем он занимался, это один Бог знал: днем он был почти невидимка; одни рассказывали, что будто он гайдамачил[7] по захолустьям, обдирая проезжих купцов; другие, что у него в лесу был шалаш, совершенно похожий на ятку[8], в какой обыкновенно у нас во время ярмонки жидовки продают горелку. Те же, которым случалось проходить мимо этого бесовского гнезда, утверждали, что слышали какой-то странный, бессмысленный шум и речь совершенно не нашу[9]. — Ночью же только и дела, что пьяная шайка Бисаврюка (под таким именем был известен этот дивный человек), ни в чем не уступавшая своему предводителю, с адским визгом и криком рыскала по оврагам или по улицам соседнего села, которое было несравненно обширнее нашего. Понаберет с собою всех встречавшихся козаков, да и давай угощать; деньги сыплются... водка словно вода... Пристанет, бывало, к красным девушкам, надарит лент, серег, монист... ну, так, что девать некуда. Правда, что красные девушки немного призадумывались, принимая подарки: Бог знает, может быть, в самом деле они перешли чрез нечистые руки. Родная тетка моего деда, содержавшая в то время шинок по нынешней Опошнянской дороге[10], в котором часто разгульствовал Бисаврюк, именно говорила, что ни за какие благополучия в мире не согласилась бы принять от него подарков; но что прикажешь делать? не взять — беда, всякого проберет страх, особливо когда он нахмурит свои густые, толщиною в палец, брови; а возьмешь — так на следующую ночь как раз и тащится домовой и давай душить за шею, когда на шее монисто, или кусать за палец, когда на нем перстень, или тянуть за косу, когда в нее вплетена лента. Бог с ними со всеми этими подарками. Рады были отвязаться от них, но не тут-то было: бросят в воду, глядь — чертовский перстень или монисто и плывут поверх воды, да прямо к тебе в руки[11].

В селе находилась церковь во имя *Трех Святителей*[12], шагов на 400 от нашей Покровской, что можно и теперь видеть по оставшимся камням от фундамента. Притом вам, я думаю, не безызвестно, что почтенный шапар наш Терешко[13] еще недавно, копая ров около своего огорода, открыл необыкновенной величины камень с явственно вырезанным на нем крестом,

который, вероятно, служил основанием алтаря; неверящих отсылаю к нему самому лично. При церкви находился иерей[14], блаженной памяти отец Афанасий. Заметивши, что Бисаврюк не бывал даже и на *Велик-день* в заутрене и узнавши наверное про знакомство его с Сатаною, решился было порядком пожурить его: наложить церковное покаяние. Куды вам! насилу ноги унес. «Послушай, батюшка! — зарычал он своим бычачьим голосом, — чем тебе мешаться в чужие дела, знай-ка лучше свое, а не то, будь я такой же, как ты, бородатый козел, если твоя речистая глотка не будет заколочена горячею кутьёю[15]». — Что станешь делать с окаянным? Отец Афанасий объявил только, что всякого, кто зазнается с Бисаврюком, станут считать за католика, за врага християнской церкви и всего человеческого рода[16].

В том самом селе, где была церковь во имя Трех Святителей, находился в услужении у одного богатого козака статный и рослый парубок, по имени Петро Безродный[17]; так называли его потому, что ни один из всего села не мог запомнить никого из его родных. Староста помянутой церкви утверждал, будто даровавшие ему жизнь умерли вскоре от чумы; но тетка моего деда явно тому противуречила и по великодушию, свойственному, впрочем, всем женщинам, старалась всеми силами наделить его родней, хотя бедному Петро было столько же в ней нужды, сколько нам в прошлогоднем снеге. Она говорила, что отец его и теперь на Запорожье, что он был полонен турками, что терпел нивесть какую муку, что после чудесным образом избавился, переодевшись евнухом, и проч. и проч. ...За подлинно же нам известно только то, что до семнадцатилетнего своего возраста Петро был главным гетманом всего домашнего скота, принадлежавшего богатому козаку, и надобно сказать, что все красные девушки решительно признавали его очень пригожим детиною; утверждали даже, что если бы его одеть только в новый жупан, затянуть красным поясом[18], надеть на голову шапку из черных смушек[19], с щегольским синим верьхом, привесить к боку турецкую саблю, дать в одну руку *малахай*, в другую *люльку* в красивой оправе, то вряд ли бы кто из тогдашних парней поспорил с ним в красоте. Но то беда, что у бедного Петруся весь наряд составляла смурая свитка[20] с разноцветными заплатами. После, когда он пришел в состояние помогать своему хозяину, одевали его несколько поприличнее; но величайшая беда для него была следующая: старый Корж (так назывался богатый козак, у которого служил Петро) имел дочь, красавицу, какой, думаю, вряд ли кому-нибудь из вас удалось видывать. Тетка покойного моего деда рассказывала (а женщины редко говорят в пользу сестриц своих, особливо когда дело идет о красоте), что полненькие щеки козачки подобились маку самого нежного розового цвета, когда он с ранним утром томно расправляет свои листики и улыбается перед вырезывающимся из-за горизонта солнцем, что черные как смоль ее

брови огибались двумя очаровательными дугами над прелестными карими глазками; что ротик, на который глядя облизывалась тогдашняя молодежь, кажись, на то и создан был, чтоб выводить соловьиные песни; что ее волосы темно-темно-русые (тогда еще не заплетали их наши девушки в *дрибушки*, переплетенные красивыми ярких цветов *синдячками*[21]) упадали природными, курчавыми кудрями на богатый, шитый золотом кунтуш[22]. Признаюсь, хоть бы и нашему брату представилось подобное искушение, то, несмотря на то, что седь пробирается по всему старому лесу, покрывающему мою макушу; несмотря на то, что под боком моя старуха, как бельмо в глазу; несмотря на всё сие, я готов бы раз двадцать позабыть то и другое — за один взгляд прекрасной козачки.

Что ж теперь сказать о Петрусе, которого сердце было словно сухой хворост, вспыхивающий от одной неосторожно оброненной искры? нужно ли говорить, что и Пидорка была не прочь от красивого парубка? Отцам, как и тогда водилось, дети почитали за лишнее открываться в любви, и старый Корж никогда бы и не подумал подозревать молодежь, если бы в один вечер черт не дернул Петруся, не осмотревшись хорошенько, влепить довольно звучный поцелуй в прелестные губки красавицы и если бы в то же время этот же самый черт не дернул старого хрена сдуру отворить дверь хаты. Это явление так ошеломило его, что он долго стоял, как окаменелый, разинувши рот и взявшись одною рукою за деревянную задвижку полурастворенной двери. Проклятый поцелуй, казалось, оглушил его совершенно. Ему почудился он несравненно громче, чем удар макогона об стену, которым обыкновенно в наше время мужик прогоняет кутю, за неимением фузеи и пороха[23]. Очнувшись от своего беспамятства, первым делом его было снять со стены дедовскую нагайку, а вторым покропить ею спину бедного Петруся. — Но в то самое время откуда ни возьмись пятилетний брат Пидоркин — *Ивась*, которого без памяти любил он, и уцепясь ему на шею, давай молить со слезами: «Тату, тату! не бей Петруся». — Что прикажешь делать? у отца сердце не каменное; повесив нагайку на стену, он выгнал Петруся по шеям, с строжайшим приказанием — не появляться никогда под окнами его хаты; в противном случае поклялся всеми чертями, что не оставит в нем ни одной косточки целой, присовокупив, что и самому его длинному, ровному оселедцю[24] (который у Петро начинал уже два раза замотываться около уха) предстоит опасность распрощаться с родною макушею. Во всё продолжение сей разделки Пидорка была ни жива, ни мертва; и тогда только почувствовала вполне свое горе, когда осталась одна среди пустой хаты. — Вспомня случившееся, прижала Ивася к сердцу, зарыдала и бросилась в изнеможении на лавку. Признаюсь, что глядя на нее и дерево бы заплакало. Ну, да тогдашние времена были пожестче наших. Тетка моего

деда говорила, что, несмотря на все усилия отца Афанасия растрогать своих прихожан проповедью, он только мог видеть широкие их пасти, которые они со всем усердием показывали в продолжение его речей. — Ничто не могло сравниться с грустию бедного парубка: только и утешения было у него, чтоб издали следовать за Пидоркою; после чего с невыразимою тоскою ворочался он в свою темную хату. Но согласитесь сами, что из этого мало проку, и потому Петро взялся за ум: давай думать, как бы пособить горю; вот и выдумал ехать на Дон, пристать к какой-нибудь ватаге удалой — воевать Туретчину или крымцев. — Мысль эта словно гвоздь засела в голове его: бывало, то и дела, что видит он кучи золота; драгоценные каменья ограбленных иноверцев беспрестанно чудились ему перед глазами. Чего не забредет в голову? то иногда представлялся ему радостный прием старого Коржа, то приятный испуг Пидорки, увидевшей перед собою доблестного наездника[25], обремененного богатою добычею; — как вдруг неожиданное известие вздуло на ветер золотые его думы. Одним утром, когда он едва только приподнял голову, отягченную дивными снами, и размахивал руками, как будто поражая нечестивые толпы крымцев и ляхов, — вбежал к нему Ивась и поведал с детским простодушием, что Пидорка нивесть как покучила[26] по нем, что у них теперь какой-то поляк, весь в золоте, что старый Корж сажает его за стол подле Пидорки, что гость то и дела, что ласкается к ней да прислуживает; дарит перстни один другого лучше, серьги одни других ярче; что Пидорка не принимает да плачет; что *тата* ругается на чем свет стоит... и проч. и проч. — Выпуча глаза, как безумный, слушал Петро лепетание Ивася. Час целый он не мог опомниться, и что деялось в душе его — не нам то рассказать. Наконец он махнул рукою, будто решившись на что-то. «К чему тут мудрование? — сказал он, — коли пропадать, так пропадать!» — да и направил стопы свои прямехонько в шинок.

Тетка моего дедушки удивилась, когда увидела Петруся, с природы трезвого и воздержного, вступающего в шинок; но удивление ее превзошло меру, когда он потребовал в один раз полкварты[27] водки, чего самый горький пьяница вряд ли в состоянии был выпить. — Но напрасно думал он потопить свое горе: водка превращалась, казалось, в палящий огонь и жалила его язык, словно крапива. В сердцах бросил он фляжку[28] о землю так, что дребезги ее разлетелись по всем углам хаты. «Полно тебе горевать!» — загремел кто-то позади его, и толстая жилистая рука расположилась на плече Петруся. Он оглянулся и вздрогнул, увидев перед собою дьявольскую рожу Бисаврюка. «Знаю, — продолжал он, — о чем твое горе; тебе недостает вот чего». Тут он с бесовскою улыбкою брякнул толстым кожаным кошельком, висевшим у него около пояса. Петро изумился; перекрестившись и три раза плюнув, молвил: «Недаром тебя почитают за дьявола, когда ты

знаешь, что еще на мыслях у человека». — «Гм! земляк, это не штука узнать, о чем думаешь; а вот штука — помочь тому, о чем думаешь». — При сих словах Петро неподвижно уставил на него глаза свои. Часто видел он Бисаврюка, но тщательно избегал с ним всякой встречи; да и кому придет охота встретиться с дьяволом! Притом в чертах Бисаврюка столько было недоброго, что он и без заклятия отца Афанасия ни за что бы не поздоровался с ним; а теперь был готов обнять дьявола как родного брата. Ведь иной раз наваждение бесовское так ошеломит тебя, что сам пресловутый Сатана — прости, Господи, согрешение — покажется Ангелом. — «От тебя *одного* потребуют», — сказал *нечистый*, отведя Петро в сторону. Несмотря на всё присутствие духа, дрожь проняла насквозь Петруся, когда он услышал слова сии; ну, думает себе, и до души дело доходит. Пусть же берет меня хоть всего, а Пидорка будет моя. — «От тебя одного потребуют, — продолжал Бисаврюк, — одного только дела, для твоего же добра». — «Хоть десять дел давай, только скорее деньги». — «Постой, земляк, не спеши так. Завтра Иванов день; смотри же, ровно о полночи, еще до петухов, чтобы ты был у *волчьей плотины*; перейдя ее, увидишь ты за тремя пригорками, промеж терновника и бурьяна, много цветов: не рви их; но как только перед тобою зацветет папоротник, сорви его скорее, не бойся ничего и не оглядывайся назад. Смотри же, не прозевай! в эту ночь только и цветет папоротник[29]»*. — Тут они ударили по рукам и был ли у них *могорич*[30], или нет, об этом тетка моего деда ни слова не сказала. Только Петро как полуумный возвратился домой; тысячи мыслей ворочались в его голове, словно мельничные колеса, и все около одной цели.

С каким нетерпением выжидал он вожделенного вечера! Целый Божий день то и дела, что поглядывал, не начинает ли темнеть, не думает ли солнце прилечь на водные пуховики свои. Но на беду его — день, как нарочно, был предлинный: несносный жар усиливал тоску ожидания, и веселые песни жнецов, одни только нарушавшие тишину летнего дня, были ему горше полыни. Но вот уже солнышко закатилось. Рев и блеяние коров и овец послышались в отдалении... Сердце в нем ёкнуло... Вооружившись кием и татарскою кривою саблею, отправился он в назначенное место.

Немалого труда ему стоило пробираться оврагами и топкими болотными местами, беспрестанно цепляясь за густо разросшийся терновник и спотыкаясь почти на каждом шагу, покаместь не достиг волчьей плотины. Перешед ее, увидел он означенные три пригорка, но цветов не нашел. Дикий бурьян,

---

* В Малороссии существует поверье, что папоротник цветет только один раз в год, и именно в полночь перед Ивановым днем, огненным цветом. Успевший сорвать его — несмотря на все призраки, ему препятствующие в том, находит клад.

казалось, глушил всё своею густотою, но вот, при свете блеснувшей молнии, показалась Петро целая гряда цветов, всё чудных, всё невиданных, и между ними обыкновенные листки папоротника. С сомнением рассматривал он это зелье: кажись, что бы тут невиданного! Уже он начинал думать, что Бисаврюк затеял посмеяться над ним, уже начал проклинать свое легковерие — как вдруг заметил небольшую цветочную почку, будто движущуюся; чудесная почка начала мало-помалу развертываться: что-то вспыхнуло подобно звездочке, и яркий, как огонь, цветок развернулся пред изумленными очами его. Только что он протянул руку сорвать его, как увидел, что тысячи мохнатых рук также тянутся к цветку. Собравши всё присутствие духа и зажмуря глаза, разом дернул он за стебель, и цветок остался в руках его. Оглянувшись, увидел он Бисаврюка, неподвижно и немо сидевшего на заросшем пне, словно мертвеца; только одною рукою показал он ему место подле себя. Напрасно спрашивал Петро, что ему должно делать? долго ли ждать еще? Хоть бы одно слово в ответ: сидит да молчит, устремив страшные глаза свои на что-то. Но вот послышался свист, от которого у Петро захолонуло внутри. Лицо Бисаврюка вдруг оживилось, глаза засверкали... «А! — пробормотал он сквозь зубы, — старая ведьма воротилась на бешеной кочерге своей. Смотри же, Петро! я тебе еще раз говорю: ты должен, во что бы то ни стало, исполнять ее приказания, не то пропал ты навеки».

Разделяя суковатыми палками терновник, добрались они до хаты ветхой и низкой, стоявшей, как говорят в сказках, на курьих ножках. Бисаврюк ударил кулаком, и вся избенка зашаталась; большая черная собака выбежала навстречу и с визгом, оборотившись в кошку[31], бросилась прямо им в глаза. «Не бесись, не бесись, старая чертовка!» — проговорил Бисаврюк, скрепив свое прошение таким словцом, от которого бы добрый человек и уши заткнул. Кошка пропала, как в воду канула, и на место ее явилась сухая, согнутая в дугу старуха, с лицом похожим, вот как две капли воды, на печеное яблоко, с седыми длинными волосами, еще более увеличившими ее безобразие. Бедный Петро как посмотрел на нее, так и по спине пошли мурашки. Ну, ни дать ни взять, сама правоверная супруга Сатаны. Когда ж заговорила она на каком-то чертовском наречии с Бисаврюком; когда ее сизый нос, и без того бывший в дружеском соседстве с подбородком, составил с ним инструмент, похожий на клещи, которыми хватают раскаленное железо; когда изо рта у ней посыпались искры и показалась адская пена — мороз подрал Петро по коже; а нечего делать: нужно было слушать ведьму, приказавшую ему подбросить цветок в верьх, отойдя на небольшое расстояние, и цветок, к величайшему его удивлению, не прямо упал на землю, но, долго колебаясь в воздухе, — тихо спустился и так далеко, что едва только видна была звездочка, величиною в маковое зерно.

«Здесь!» — глухо прохрипела старуха, а Бисаврюк, подавая ему заступ, примолвил: «Копай здесь, Петро! тут ты увидишь столько золота, сколько тебе еще и не снилось». Слово *золото* придало Петро рвения и сил. Раз, другой, третий копнул заступом, как и зазвучало что-то твердое, и глаза его ясно начинали различать большой железный сундук. Уже он хотел достать его рукою, как сундук глубже и глубже стал погружаться в землю; и позади его послышалось шипение, походившее на хохот, вылетавшее из беззубого ведьмовского рта. Досада взяла Петруся; вот и вскинется он к ней с заступом; а та, вместо всякого ответа, сунь ему нож в руку, примолвив с адским смехом, что пока не достанет он человеческой крови, до тех пор клад не будет в его руках[32]. И вот, не говоря ни слова, подвела к нему мальчика лет пяти, с накрытою головою, показывая знаком, чтобы он отсек ему голову. Он обезумел от страха и гнева. Шутка ли отрезать голову человеку, да еще и безвинному младенцу! Но кто ж выразит его удивление, когда, сдернув с малютки покрывало, узнал он в нем Ивася: сложив накрест ручонки, он, казалось, умолял его о пощаде. Тут уже он не мог удержать своего бешенства... С тем же самым ножом бросился он к ведьме и уже было занес руку, как вдруг громовой голос Бисаврюка «Вспомни свою клятву!» поразил его, словно пулею. Ведьма топнула ногою: синеватое пламя показалось из земли и осветило всю ее внутренность, и всё, что было под землею, стало видимо, вот как на ладони: червонцы и дорогие камни грудами навалены были под тем самым местом, где они стояли... Глаза у Петруся разгорелись... тут, вдобавку, представилось ему отчаяние Пидорки, принужденной идти за нечестивого католика... Ум его помутился; как сумасшедший бросился он за нож — и кровь невинного младенца брызнула ему в лицо... Адский хохот раздался вокруг него; безобразные чудовища стаями скакали перед ним, а гнусная ведьма, вцепившись руками за обезглавленный труп, с жадностью пила из него кровь... Всё пошло кругом в голове его; как угорелый бросился он бежать; но ему казалось, что деревья, кусты, скирды сена и всё, что попадалось на дороге, гналось за ним в погоню[33]. Обеспамятев и выбившись из сил, вбежал он в свою лачужку и как сноп повалился на землю.

Целый день и целую ночь спал Петрусь наш словно убитый. На другое только утро пробудился он от своего богатырского сна и мутными глазами окидывал пыльные углы своей хаты, как будто несполна протрезвившийся пьяница. Напрасно силился он припомнить случившееся с ним: память его была словно карман старого скряги, из которого шеляга[34] не выманишь. Как вот заметил он в ногах у себя четыре туго набитые мешка. — Глянь в них — чистое золото! Тут только начало проясняться пред ним, как в тумане, его ночное странствие. Тут только вспомнил он, что искал какого-то чудного растения, что отрыл богатый клад; вспомнил, как ему было страшно

одному ночью. Но каким образом достал он клад, какою ценою пришло ему это сокровище — сколько ни ломал головы своей, никак не мог понять. — Да и до того ли, когда перед глазами такая несметная куча денег? Вот схвативши мешки в обе руки, подрал он во весь дух к хате богатого козака. Старый Корж изумился, долго щупал себя за нос и за усы, наконец принялся и за сытые мешки[35], как бы желая увериться, не спит ли он, не во сне ли чудится ему такое диво? Чтобы скорее уверить его, что всё это наяву, Петро высыпал пред ним один мешок: яркие, как огонь, червонцы зазвенели... Это чуть не свело старичину с последнего ума. Откуда ни возьмись и приветливые слова и ласки: сякой, такой, Петрусь, не мазаный! да я ли тебя не жаловал? да не был ли ты у меня как сын родной? Так, что Петруся до слез разобрало. — Добром или худом было нажито золото, о том предки наши мало заботились: не то было время. Всякий знавал за собой грешок, и разве из тысячи только один мог выбраться такой, у которого обе руки были святы. Как бы то ни было, только старый Корж захлопнул дверь щеголеватому поляку под самый нос, с приговоркою едва ли не погрознее той, какую услышал от него Петрусь. Слышно было, что поляк долго еще хвастался, крутя усы и бряча саблею, что старый Корж хотел ему навязать девку, какой бы не согласился взять ни один порядочный человек, да встретившись один раз под темный вечерок с Петрусем, так присмирел после того, что сколько ни спрашивали у него потом, — он молчал, как рыба. Тут Пидорка с плачем рассказала Петрусю, как мимо проходившие цыганы украли Ивася... и что ж вы думаете? хоть бы ненароком переменился он в лице. Проклятая бесовщина так обморочила его, что он едва мог запомнить даже лицо Ивася, чему Пидорка немало дивовалась и сколько ни билась, не могла разгадать, что все это значит?

Откладывать было незачем. Вот и заварил Корж свадьбу, какой в тогдашние времена слыхать не слыхано. Меду наварено столько, сколько душа желала, в водке хоть выкупайся. Посадили *молодых* за стол, разрезали коровай, заиграли бандуры, цимбалы, сопилки, кобзы[36], и пошла потеха...

В старину свадьба водилась не в сравненье с нашей. Тетка моего деда с восторгом рассказывала, как красные девушки в красивом головном уборе из алых, синих и розовых стричек*, сверх коих повязывался золотой галун, в тонких рубашках, вышитых по всем швам красным шелком и изнизанных мелкими серебряными цветочками, в сафьянных сапогах на высоких железных подковах, наперед плавно, словно павы, и после с шумом — что вихорь, скакали в *горлице*[37], как *молодицы с корабликом* на голове, которого верьх был весь сделан из сутозолотой парчи и казался

* Ленты, составляющие наряд малороссийских девушек.

словно выкованным из золота, на затылке с вырезом, из которого выглядывал золотой *очипок* с двумя выдавшимися, один наперед, другой назад, рожками самого мелкого черного смушка; в синих из лучшего *полутабенеку*, с красными клапанами, *кунтушах*, важно подбоченившись, выступали хором и мерно выбивали *Гопака*[38]. — Как парубки в высоких козацких шапках, в тонких суконных свитках, затянутых шитыми серебром поясами, с люльками в зубах, рассыпались перед ними мелким бесом и точили лясы на колесах[39]. — Довольно, когда даже сам старый Корж не утерпел, глядя на молодых, чтоб не тряхнуть стариной. С бандурою в руках, потягивая люльку и вместе припевая с чаркою на голове, пустился при громком крике гуляк вприсядку. Чего не выдумает молодежь навеселе? как начнут, бывало, наряжаться в хари[40]: — Господи, Боже ты мой! Ведь на человека не похожи. — Не стать нынешних переодеваний, что бывают на свадьбах наших! только что корчат цыганок да москалей. Нет, вот, бывало, один оденется жидом, а другой чертом[41], да пустятся между собою в раздобары, а после в драку — что за умора? надорвешься со смеху! Иные пооденутся в турецкие и татарские платья: все горит на них как жар... А как начнут дуреть да строить шутки — ну! тогда хоть святых выноси. С почтенною свидетельницею, сообщившею моему деду все сии подробности, случилось одно забавное происшествие: она была тогда одета в татарское широкое платье и с чаркою в руках угощала всё собрание; вот одному вздумалось окатить ее сзади водкою, другой, тоже видно не промах, высек в ту ж минуту огня да и поджег... синее пламя вспыхнуло, бедная тетка, испугавшись, давай сбрасывать с себя при всех платье... шум, хохот! — ералаш такой поднялся, как на первый день ярмонки. — Одним словом, старики говорили, что еще никогда не запомнили такой веселой свадьбы.

Вот и начали жить да поживать Петрусь с Пидоркою — как Царь с Царицею. Дом словно полная чаша; платье-то на них как ясные звезды; еда-то у них мед, да сало, да вареники[42]. Правда, что добрые люди кивали головою, глядя на их житье, поговаривали даже, что недолго поживут они так, чужое добро не в корысть, особливо дьявольское. Об том уже и не сомневались, что он получил его чрез бесовские руки. Не ушло из виду и то, что в тот самый день, когда у Петра появились золотые мешки, Бисаврюк канул как в воду. Говорите же, что люди злоречивы: ведь в самом деле не прошло месяца, как Петро наш сделался совсем не тот, а что за причина была этому — никто не мог узнать. Только Пидорка начала примечать, что иногда по целым часам сидит он пред своими мешками и вздрагивает при малейшем шорохе, как будто боится, чтобы кто не пришел отнять или украсть их. А иногда вдруг середи речи остановится и час, другой стоит словно убитый; всё силится что-то вспомнить, и сердится, и бесится,

что не может вспомнить. Так, что наконец и веселость прежняя пропала. Бывало, ходит вокруг своей хаты пасмурный и угрюмый, как воробьиная ночь[43], с знакомыми хоть бы слово, и чуть где завидит человеческое лицо, так и удирает околицами да проселками. Чего не делала Пидорка, чтобы пособить горю: и советовалася с *знахарями* и услужливыми старушками, ворочавшими языком столь же исправно, как веретеном, и сама старалась ласками и просьбами разогнать хандру его — ничто не помогало. Все средства были испытаны, и заговаривали зло, и *выливали переполох*, и *заваривали сояшницу**. — Всё понапрасну!

Так прошло и лето: одни отжались и откосились, другие, которые были поразгульнее, начали в поход снаряжаться. Стаи уток еще толпились на наших болотах, но *кропивянок*[44] уже и в помине не было. В полях закраснело. Скирды хлеба то сям, то там, словно козацкие шапки, пестрели по полю, и мужик на дюжих волах давно уже поплелся за дровами в лес. Земля сделалась тверже и начала прохватываться местами морозом. Копыты молодецкого коня верст за пять стали слышны; а тут и зима не за горами: снег начал перепадать большими охлопьями; деревья закутало пушистою шубою. Вот уже в ясный, морозный день красногрудый снегирь, словно щеголеватый польский шляхтич, прогуливался по снеговым кучам, вытаскивая зерно, и дети огромными киями гоняли по льду деревянные кубари[45], между тем как почтенные отцы их покойно вылеживались на печи, выходя по временам с зажженною люлькою в зубах, ругнуть добрым порядком православный морозец или проветриться и промолотить в сенях залежалый хлеб. Вот уже и на тепло понесло, и снега начали таять, и *щука хвостом лед расколотила*** — а Петро наш всё чем далее, тем суровее. Одичал так, что на него смотреть сделалось страшно, и всё по-прежнему сидит над мешками, да думает, да боится. — Бедной Пидорке жизнь не в жизнь стала; изныла, иссохла, словно щепка, на свет Божий не глядит. Сначала было страх ее пробирал — да чего не сделает привычка? Свыклась, бедняжка, с невзгодою, как с родною сестрою. Одно только ей горько было, что Петро сначала хоть нищей братии уделял из своих мешков, теперь же ни копейки ни на церковь, ни жене своей, так что впоследствии ей даже ходить не

---

* *Выливают переполох* от испугу; для сего топят и льют воск в холодную воду, и чье подобие он примет, тот самый предмет испугал больного. По совершении сего действия он немедленно выздоравливает.

Заваривают сояшницу от дурности и боли в животе; для этого ставят больному на живот миску, наполненную водою, берут глиняную кружку или горшок и, бросив в него зажженный клок пеньки, с приговариванием и зашептыванием, оборачивают его вверх дном и ставят в миску. После чего дают пить этой воды больному.

** В Малороссии существует поверье, что лед не сам разламывается, но щуки разбивают его хвостами[46].

в чем было. Бедность в хате такая, какой у последнего бобыля[47] не бывает. Петро дрожит, вынимая копейку, всю ночь не спит напролет: залает ли бровко[48], заскрипит ли что, зашелестит ли какая птица на крыше — уже он схватывается и обшаривает закоулки всей хаты, после чего ни с места от своих мешков. Люди дивовались, дивовались, да и перестали дивиться. Уже советовали Пидорке бросить своего мужа... Но ничто не могло убедить ее; нет, думает себе, он для меня погубил, может быть, свою душу, а я его оставлю, оставлю покинутого всем светом — и целый день простаивала перед иконою да молилась о спасении души Петра.

Вот в один вечер, именно накануне Ивана Купала, Петро наш вдруг заболел и не мог встать с постели, горячка и бред поминутно усиливались, так что Пидорка принуждена была отправиться в дальнее село просить помощи. Только на половине дороги попадается ей старушка беззубая, вся в морщинах, словно кошелек без денег. Слово за словом, узнает Пидорка, что она мастерица лечить. Этого-то ей и нужно. Уговоривши старуху со слезами помочь ей в напасти, приводит она ее в хату. — Сначала Петро было не заметил новой гостьи, как же всмотрится пристально в лицо ей, как задрожит, как хватится с постели, как размахнется топором... Топор на два вершка[49] вбежал в дубовую дверь, а старухи и след простыл. Выхватив его с неимоверною силою, подступил он к Пидорке: «Зачем ты привела ко мне ведьму? Ты хочешь меня сгубить?» Господи Боже мой! уже было и руку занес... да глядь невзначай в сторону, и руки опустились, и язык отняло; болезненная судорога прохватила его по всем членам, волосы поднялись дыбом, и мертвый холодный пот выступил на лице: посереди хаты стояло дитя с покрытою головою. Покрывало свеялось... «Ивась!..» — закричала Пидорка и хотела броситься к нему — неизъяснимый страх удержал ее; а привидение покрылось с ног до головы кровавым цветом и стало рость, рость, как из воды идти, пока не тронулось наконец головою в перекладину; тут голова его отделилась, всё туловище сделалось как огонь... Пидорка с испугу выскочила в сени. «Меня жжет! мне душно!..» — кричал Петро, как будто охваченный пламенем; но дверь так крепко захлопнулась вслед за нею, что, сколько она ни силилась, никак не могла отворить ее. В страхе и попыхах побежала она звать на помощь кого-нибудь. Отчаянный голос Петра: «Меня жжет! мне душно!..» — поминутно чудился и жалобно свистал ей в уши. Людей сбежалась целая орда. Ведь и в тогдашние времена зевак было довольно. Дверь отперли, и что ж вы думаете, хоть бы одна душа была в хате. На середине только лежала куча серого пеплу, который еще дымился местами[50]. Кинулись к мешкам — одни битые черепки лежали в них на место червонцев[51]. Долго стояли все, разинув рты и выпуча глаза, словно вороны, не смея пошевельнуть ни одним усом, — такой страх навело

на них это дивное происшествие. — Наконец такой подняли шум, толкуя каждый по-своему, что собаки со всего околодка[52] начали лаять. Явились и добрые старушки, пронюхавшие, что у Пидорки осталось еще отцовское добро, которым, по скупости своего мужа, она никогда почти не пользовалась, и принялись дружно, со всем усердием утешать ее. Бедной Пидорке казалось все это так дико, так чудно, как во сне. — Совещание кончилось тем, что с общего голосу пепел раздули на ветер, а мешки спустили по веревке в яму, потому что никто из честных козаков не захотел осквернить рук дьявольщиною. В награду за такое благоразумное распоряжение потребовали они себе ведра четыре водки и, шатаясь на все стороны, отправились восвояси. Попечения ж усердных старушек не кончились тем: одна из них трещала на ухо Пидорке, что ей нужно построить новую хату, другая предлагала щегольского жениха, третия открыла по секрету, что знает искусных швей для свадебных рушников, четвертая трезвонила, что нужно сделать люльку для будущего робенка... Признаюсь, что такая куча советов взбесила бы хоть кого; но бедная Пидорка ничего не видела, ничего не слышала.

Оправившись немного, она дала себе обет идти на Богомолье, и чрез несколько времени точно ее уже не было на селе. Но никто не знал, куды девалась она; почтенные старушки отправили ее было уже туда, куды и Петро потащился, как один раз приезжий козак, бывший в Киеве, рассказывал, что видел в монастыре монахиню, беспрестанно молящуюся, в которой по всем описаниям узнали земляки Пидорку; что она пришла пешком и внесла богатый оклад к иконе Божией Матери, какого еще и не видывали, весь из золота, исцвеченный такими яркими и блестящими камнями, что все зажмуривались, глядя на него.

Постойте — этим еще не всё кончилось; в тот самый день, когда Петра взяла нелегкая, появился снова Бисаврюк, снова начал разгульничать да сыпать деньгами, только люди не дались уже в обман, все бегом от него. История Петруся слишком запамятовалась у всех, узнали, что этот Бисаврюк никто другой, как сам нечистый, принявший человеческой образ, чтобы отрывать клады, а как клад не дается нечистым рукам, так вот он и губит людей. Чтобы не попасться в соблазн лукавому, они бросили свои землянки и хаты и перебирались в село; но и тут не было покою от проклятого Бисаврюка. Тетка моего деда говорила, что нечистый именно более всего злился на нее за то, что оставила она прежний шинок свой по Опошнянской дороге, и потому всеми силами старался выместить всё на ней. Один раз все старейшины села собрались в шинок и чинно беседовали за дубовым столом, на котором, кроме разного рода фляжек, на диво возвышался огромный жареный баран. Беседа шла долго, приправляемая, как водится, шутками и диковинными россказнями. Вот и померещилось — еще

бы ничего, естьли бы одному, а то именно всем — что баран поднял голову, блудящие глаза его ожили и засветились, и вмиг появившиеся черные щетинистые усы значительно заморгали на присутствующих; все тотчас узнали на бараньей голове рожу Бисаврюка, так что тетка деда моего думала уже, что вот-вот попросит водки... Честные председатели пирушки скорей за шапки да опрометью восвояси.

В другой раз сам церковный староста, любивший по временам раздобарывать про старину глаз на глаз с дедовскою чаркою, не успел еще два раза достать дна и поставить ее перед собою, как видит, что чарка кланяется ему в пояс, он от нее; давай креститься!.. А тут с достойною половиною его тоже диво: только что она начала замешивать тесто в огромной диже[53], как вдруг дижа выпрыгнула и, подбоченившись, важно пустилась в присядку по всей хате... Да, смейтесь, смейтесь, сколько себе хотите, только тогда не до смеху было нашим дедам. Долго терпели, наконец потянулись все гурьбою к отцу Афанасию и взмолятся: помоги ты нам Божьею властию, выгони нечистого. Отец Афанасий обошел крестным ходом всё село, окропил святою водою все переулки, и с той поры никаких проказ уже не было, хотя тетка моего деда долго еще жаловалась, что слышала часто, как будто кто-то стучит в крышу и царапается по стене.

Несколько лет прошло. Село наше стоит теперь на том самом месте, где творилась чертовщина, и, кажись, все спокойно, — а ведь еще недавно, еще отец и я даже запомнил, как возле стоящего в захолустьи развалившегося шинка, который черти долго еще поправляли на свой счет, нельзя было ни пройти, ни проехать[54]. Часто замечали, как густой дым валил клубом из обвалившейся трубы, и вместе с дымом подымалось какое-то чудище, длинное, длинное, с красными, как две горячие головни, глазами. Доставши такой высоты, что посмотреть, так шапка валилась, с шумом рассыпалось и мелким, как горох из мешка, смехом обдавало всю окрестность».

Объяснение некоторых малороссийских слов, упомянутых в сей повести.

Каганец — род ночника.

Велик-день — Христов день.

Дрибушки — мелкие косы, обходящие несколько раз около головы.

Синдячки — ленты.

Полутабенек — в старину употреблявшаяся в Малороссии материя вроде гроденапеля, волнистая, лоснящая, но несравненно плотнее.

Горлица, Гопак — танцы в Малороссии.



Художественные фрагменты

<ГЛАВЫ ИСТОРИЧЕСКОЙ ПОВЕСТИ>

ГЛАВА <I>

Был апрель 1645 года[1], время, когда природа в Малороссии похожа на первый день своего творенья; самая нежная детская зелень убирала очнувшиеся деревья и степи. Этот день был перед самым Воскресением Христовым. Он уже прошел, потому что молодая ночь давно уже обнимала землю. А чистый девственный воздух, разносивший дыхание весны, веял сильнее. Сквозь жидкую сеть вишневых листьев мелькали в огне окна деревянной церкви села Комишны. Старая, истерзанная временем, покрытая мохом церковь будто обновилась; вокруг ее как рои пчел толпились козаки с ближних и дальних хуторов, из которых едва десятая часть поместилась в церкви. Было душно, но что-то говорило светлым торжеством. Автор просит читателей вообразить себе эту картину [18] 17 столетия. Мужественные, худощавые, с резкими чертами лица, подбритые головы, опустившиеся вниз усы, падавшие на грудь, широкие плечи атлетской силы, при каждом почти заткнутые за пояс пистолеты, сабли показывали уже, в какую эпоху собравшиеся <sic!> козаки. Странно было глядеть на это море голов, почти не волновавшееся [на это остановившееся движение, отраженное на лицах].

Благоговейное чувство обнимало зрителя. Всё здесь собравшееся было характер и воля, но и то и другое было тихо и безмолвно. Свет паникадила[2], отбрасываясь на всех, придавал еще сильнее выражения лицам. Это была картина Великого Художника, вся полная движения, жизни, действия и между тем неподвижная. Почти незаметно прибавилось одно новое лицо к молящимся. Оно возвышалось над другими целою головою, какой-то

крепкий смелый оклад, какая-то легкая беспечность означивалась на нем. Оно было спокойно и вместе так живо, что взглянувший ожидал бы в стороне непременно услышать от него слово, чтобы увидеть его изменившимся, как будто бы оно непременно должно было всё заговорить конвульсиями. Но между тем как все мало-помалу начали обращаться на него, вся масса двинулась из храма для торжественного хода вокруг церкви, и замечательная физиономия смешалась с другими, выходя по церковной лестнице. У самого крыльца стояли несколько жидов, содержавшие по велению польского правительства откуп, и спорили между собою, намечая мелом пасхи, приносимые для освящения христианами[3]. Нужно было видеть, как на лице каждого выходившего дрогнули скулы*. Это постановление правительства было уже давно объявлено; народ с ропотом, но покорился. Оппозиционисты были <н>испровержены, к этому, кажется, все уже привыкли, затем что это так поступлено; но, несмотря на это, при виде этого постановления, приводимого в исполнение, они так изумлялись исполнению, как будто бы это было новость. Так преступник, знающий о своем осуждении на смерть, еще движется, еще думает о всех делах, но прочитанный приговор разом разрушает в нем жизнь. После перемены в лице рука каждого невольно опускалась к кинжалу или к пистолетам. Но ход окончился, и все спокойно вошли в церковь при пении.

Между тем совершенно наступило утро. «Христос Воскресе из мертвых», выстрелы из пистолетов и мушкетов[4] потрясали дряхлые стены церкви. На всех лицах просияла радость: у одних при мысли о пасхах <?>, у девушек при целовании, а <у> козаков при попойках. Как вдруг страшный шум извне заставил многих повернуть. Народ, окруживший церковь, собрался в кучу, из которой раздавались брань и крик жидов. Три жида отбирали у дряхлого, поседевшего как лунь козака пасху, яйца и барана, утверждая, что он не вносил за них денег. За старика вступились двое стоящих около него, к ним пристали еще, и наконец целая толпа готовилась задавить жидов, если бы тот же самый широкоплечий, высокого росту, чья физиономия так поразила находившихся в церкви, не остановил одним своим мощным взглядом.

* По предположению Н. С. Тихонравова, сюда относится приписка на отдельном листе: «Правительство или, лучше сказать, деспотические магнаты мимо правительства [с страною, имевшею] с народом, имевшим собственные Постановления, поступало безрассудно. Но величайшее [заблуждение] ошибка его состояла в том, что <оно> решилось унижать веру [народа кот<орый>] соплеменного народа, который оказывал почти изумительную покорность при этой ширине разгульной жизни, [и] но который вместе с тем, будучи доведен до крайности, мог показать весь вихорь самых сильных и порывных страстей. Не [употребляй] одевая своей власти нетерпимостью, Польша в соединении этой земли воинственных Козаков...» (*не дописано. — В. Д.*).

— Чего вы, хлопцы, сдуру беснуетесь. У вас, видно, нет ни на волос Божьего страху. Люди стоят в церкви и молятся. А вы тут черт знает что делаете. Гайда по местам!

Послушно все, как овцы, разбрелись по своим местам, рассуждая, что это за чудо такое, откудова оно взялось и с какой стати ввязывается он, куда его не просят, и отчего он хочет, чтобы <его> слушали. Но это каждый только подумал, а не сказал вслух. Взгляд и голос незнакомца как будто имели волшебство, так были повелительны. Один жид стоял только не отходя, и как скоро оправился от первого страха, то, будучи ободрен незваною помощью, начал было быстро снова приступать, как тот же самый и схватил его могучею рукою за ворот так, что бедный потомок Израилев съежился и присел на колене.

— Э, не понимаешь, свиное ухо? Так тебе еще мало, что душа осталась в галанцях?[5] Ступай же, тебе говорю, поганая жидовина, пока не оборвал тебе пейсики[6].

После чего толкнул его, и жид распластался на земле, как лягушка. Приподнявшись же немного, с страхом <?> и без памяти пустился бежать и спустя несколько времени возвратился с начальником польских улан. Это был довольно рослый поляк с глупо-гордецкой физиогномиею, которая всегда почти отличает полицейских служителей.

— Что это?.. Как это?.. Гунство терем-те-те[7]. Зачем драка, холопство проклятое? Лысый бес в кашу с смальцем![8] Что вы все?.. что тут драка? Порвал бы вас собака!..

Блюститель порядка не знал бы, куда обратиться и на кого излить поток своих наставлений, приправляемых бранью, если бы жид не подвел его к старому козаку, которого волосы, вздуваемые ветром, как снежный иней серебрились.

— Что ты, глупый холоп, вздумал? Что ты драку начал драку <sic!>? Баса мазенята[9], гунство! Знаешь ты, что жид? Гунство проклятое... Знаешь, что борода попа вашего не стоит подошвы? Черт бы тебя схватил в бане зубами за пуп! У него еломок краше, чем ваша *холопска вяра*[10]... — Тут <он> схватил за вол<осы> старца и выдернул клок серебряных волос его... Глухое стенание испустил старый козак.

— Бей, пан, дери меня за чуб, дери. Бей еще! Сам я виноват, что дожил до таких лет, что и счету уж им потерял. Сто лет, а может и больше тому назад, меня драли за чуб, когда я был хлопцем у батька. Теперь опять бьют. Видно, снова воротились лета мои. Только нет, не то, не в силах теперь и руки поднять. Бей же меня!..

При сих словах стодвадцатилетний старец наклонил свою белую голову на руки, сложенные крестом на палке, и, подпершись ею, долго стоял

в живописном положении. В словах старца было невыразимо трогательное. Заметно было, что многие хватались рукою за сабли и пистолеты. Но вид нескольких усатых уланов на лошадях и несколько слов, сказанных незнакомцем тихо почти каждому, заставили всех принять положение молельщиков и креститься.

— Что ты врешь, глупый мужик, терем-те-те! Что<бы?> я на тебе руки поганил, гунство проклятое! Лысый бес начхай тебе в кашу. Гершко! Возьми от него пасху, пусть его овсяным сухарем разговеется! Вишь, гунство <*1 нрзб.*> проклятое! — говорил блюститель правосудия, подвигаясь к ряду девичьему и ущипнув одну из них за руку. — Что за драка? Ох, славная девка! Вишь, драку!.. Ай да Параска! Ай да Пидорка![11] Вишь, глупый мужик, порвал бы его собака!.. Ай, ай, ай, ай, сколько тут жиру...

Блюститель порядка верно себе позволил нескромность, потому что одна из девушек вскрикнула во все горло. В это время пасхи были освящены и обедня кончилась, и многие стали уже расходиться. И двигаясь толпа народу обступила козака, так заинтересовавшего толпу, который между тем подходил к исправлявшему звание алгвазила[12].

— Славный у тебя ус, пан, — проговорил он, подступив к нему близко.

— Хороший! у тебя, холопа, не будет такого! — произнес он <и> расправил его рукою.

— Славный! Только не туда ты, пан, его крутишь, вот куда нужно, — проговорил мощный козак, дернувши его сильной рукою так, что половина уса осталась у него. Старый волокита закряхтел и заревел от боли. Лицо его сталось цвета вареной свеклы.

— Рубите его! рубите лайдака[13]! — кричал он. Но, почувствовав себя в руках дюжего<?> высокого козака и увидя насмешливые лица всех, стал искать глазами своих воинов. Малеванный шут струсил и топорщился, стараясь вырваться.

— Как же тебе, пан, не совестно бить такого старика! А если бы твоего старого отца кто-нибудь стал бесчестить так поносно при всех, как ты обесчестил старейшего из всех нас. Что тогда? весело тебе было бы терпеть это? Ступай, пан! Если б ты не у короля в службе был, я бы тебя не выпустил живого.

Выпущенный пленник побежал вовсю, отряхиваясь. За ним следом повалил народ. Между тем козак <*3 нрзб.*>, отвязавши коня, привязанного к церковной ограде, готовился сесть, как был остановлен среднего росту воином, поседевшим человеком, который долго не отводил от него внимания и заглядывал ему в глаза с таким любопытством, как иногда собака, когда видит ядущего хлеб.

— Добродию[14], ведь я вас знаю.

— Может быть, и правда?

— Ей-Богу, знаю, не шучу, таки точно взаправду знаю. Ей-Богу, знаю. Не Остраница ли вы Омельченко[15]?

— Может, и он.

— Ну так! Я стою в церкви и говорю: вот то, что стоит возле его, — то Тарас Остраница. Ей, ей, Остраница. Да, может быть, и нет. Может быть, и не Остраница. Нет, Остраница. [Ей, то только] тебе так показалось. Ну как нет? Остраница, да и Остраница... Как только послушал голос, ну тогда и рукой махнул. Вот так точнехонько покойный батюшка, пусть ему легко икнется на том свете[16], так же разумно, бывало, каждое слово отлепят.

Остраница внимательно начал в него всматриваться и нашел точно что-то знакомое. Небольшое продолговатое лицо его было уже про<рыто?> морщинами, шея, нагнувшаяся вниз, придавала ему несколько горбатое сложение и неподвижность голове, но зато небольшие серые глаза продирались довольно увертливо сквозь чащу насунувшихся бровей, которые верно придали бы лицу суровый вид, если бы нижняя часть лица, что-то простодушное и веселое в губах не давало ему противного выражения. Под кобеняком[17], надетым в рукава, виден был овчинный кожух[18], хотя воздух был довольно тепел.

Это<т> все говорил <*1 нрзб.*>:

— Я верю и не верю, что вижу опять вас. А что, добродию, не во гнев будь сказано, прошу извинить, но я хотел бы узнать, что сделалось с теми, которые пошли с вами? Что Дигтяй, Кузубия?[19] воротились ли они с вами, или там остались, или ворон, может, где-нибудь доедает козацкие косточки?

— Дигтяй твой сидит на колу у турецкого султана. А Кузубия гуляет с рыбами на дне Сивача[20] и тянет гнилую воду вместо горелки... Но, Пуд<ько>[21], после об этом поговорим. Я тебя тоже узнал. Здравствуй, старый Пудько! Христос Воскресе!..

— Воистину Воскресе! — говорил целуясь Пудько. — Как назло, крашанки[22] и нет. Жинка давала, побоялся взять, народу таке множество... передавил бы на кисель. Так, добродию, как будто сердце знало...

— Ну, Пудько, так, ты по-прежнему торгуешь всякою дрянью?

— А что же делать? Нужно торговать. Еще слава Богу, что продал табак. Прошлую зиму опять с полвоза накупил кремней, дроби, пороху, серы, ну и всего, что до мизерии[23] относится. Напросился на дороге жидок один: «Свези, чоловиче, на Хыякивску ярмарку — дам три рубли». Свез его как доброго, и надул проклятый жидок, ей-Богу надул, хоть бы чвертку[24] горелки дал, грязная лысина. Знаете, что у меня чуть было ляхи не отняли всего скота, 2 кобыл взяли под верх вербуны[25]. Теперь у меня только и конины, что Гнедко, — промолвил он, садясь на гнедого коня и видя, что Остраница

поворотил коня ехать. — Эх, добродию! Если бы теперь кто сказал: «А ну, старый, гайда на войну бить ляхов!» — все бы продал, и жинку и детей бы покинул, пошел бы в компанейство[26].

При этом Пудько выпрямился и поскакал за Остраницей, который пришпорил сильнее коня своего.

— Скажите, добродию, пане сотнику, — говорил он, поравнявшись с ним, — может, вы теперь уже и не сотник, в другом ранге каком значитесь? Скажите, до какой это поры дожили, что уже и храмы Божии взяло на откуп жидовство[27]? Как же это, добродию, не обидно. Каково было снесть всякому христианину, что горелка находится <у> врагов Христовых[28]? А теперь и храмы Божии! Тут, добродию, нужно нам взять вправо, ибо мимо валу нет уже проезду. Да и забыл, что он при вас был подкопан. Говорят, как свечка полетел под самое небо. Боже Ты мой, сколько народу перемерло! Так и Дигтяй, вы говорите, теперь сидит на колу. И Кузубия потонул! А какой важный, какой сильный народ был! Сколько, как подумаешь, пропадает Козачества... Мы сейчас будем ехать мимо площади, где веселится народ. Вы слышите, как потешаются хлопцы из мушкетов да хаты вздрагивают? Если вы в хутор свой едете, добродию, то и я с вами. Лучше там разговеюсь святою пасхою, чем дома с бабами. Пусть жинка и дочка остается сама. Верно, добродию, что произошло меж народом, потому что все столпились в кучу и бросили всякое гулянье.

В самом деле, на открывавшейся в это время из-за изб площади народ сросся в одну кучу. Качели, стрельба и игры были оставлены. Остраница, взглянувши, тотчас увидел причину: на платане[29] был повешен вверх ногами жид, тот самый, которого он освободил из рук разгневанного народа. На ту же самую виселицу тащили храбреца с оборванным усом. Остраница ужаснулся, увидев это.

— Нужно поспешить, — говорил он, пришпорив коня. — Народ не знает сам, что делает. Дурни, это на их же головы рушится. Стойте, козаки, рыцарство и посполитый народ![30] Разве этак по-козацки делать? — произнес он, возвысяя голос.

— Что смотреть <на> него! — послышался гневный говор между молодежью. — В другой раз хочет у нас вытащить его из рук.

— Послушайте, <у> кого есть свой разум. Он правду говорит, — говорили несколько умеренных.

— Молоды вы еще. Я вам расскажу, как делают по-козацки. Когда один да выйдет против трех — то бравый козак; против десяти — еще лучше; один против одного — не штука; когда же три на одного нападут, то все не козаки. Бабы они тогда, то, что... плюнуть хочется, для святого праздника не скажу срамного слова. Как же назвать тех теперь, братцы,

которые гурьбою нападут на беззащитного, как будто на какую крепость страшную? Спрашиваю вас, братцы, — продолжал Остраница, заметив размышление, — как назвать тех...

— А чем назвать его? — поговаривали многие вполголоса. — Что ж есть хуже бабы, или того, что он постыдился сказать, мы не знаем.

— Э, не к тому речь козак своротил, — произнесло в голос несколько парубков. — Что ж, разве мы должны позволить, чтоб всякая падаль топтала нас ногами?

— Глупы вы еще, невелик, видно, ус у вас, — продолжал Остраница. При этом многие ухватились за усы и начали покручивать их, как бы в опровержение сказанного им. — Слушайте, я расскажу вам одну присказку. Один школяр учился у одного дьяка. Тому школяру не далось слово Божье, верно, он был придурковат, а может быть, и лень тому мешала. Дьяк его поколотил дубинкою раз, а после в другой. А там и в третий. «Крепко бьется проклятая дубина!» — сказал школяр, принес дурень секиру и изрубил ее в куски. «А постой же ты», — сказал дьяк, да и вырубил дубину толщиною с оглоблю и так погладил ему бока, что и теперь еще болят. — Кто ж тут виноват, дубина разве?

— Тут виноват, виноват Король![31]

Радуясь, что наконец удалось успокоить народ и спасти шляхтича, Остраница выехал из местечка и пришпорил коня сильнее и услышал, что его нагоняет Пудько. Чем-то тягостно ему было видеть возле себя другого. Множество скопившихся чувств нудили его к раздумью. Свежий тихий весенний воздух, нежно одевающиеся деревья всем располагали в такое состояние, когда всякий товарищ бывает скучен около на вечно [девственной] упоительной природе. И потому Остраница выдумал предлог отослать вперед Пудька в хутор и ожидать его там. А сам, сказав, что ему еще нужно заехать к одному пану, поворотил с дороги.

Этому распоряжению Пудько не слишком, кажется, был не доволен или, может, принял на себя только такой вид, потому что чрез это нимало не изменял любимой привычке своей говорить. Вся разница, что вместо Остраницы он все это пересказывал своему Гнедку...

— О, это разумная голова, ты еще не знаешь его, Гнедко. Он тогда еще, когда было поднялось все наше рыцарство на ляхов, он славную им дал перебойку. Дали б и они ему перцу, когда бы не улизнул на Запорожье... А правда, важно жид болтается на виселице. А пана напрасно было затянули веревкою за шею. Правда, у него недостает одной клепки в голове[32], ну да что ж делать, он от короля поставлен. Может, ты еще спросишь, за что ж жида повесили, ведь и он от короля поставлен. Гм!.. Ведь ты дурень, Гнедко. Он на то враг Христов, нашего Бога Святого. — При <се>м он

ударил хлыстом своего скромного слушателя: убаюкиваемый его рассказнями <конь> развесил уши и начал ступать уже шагом. — Оно не так-то далеко и хутор, а все лучше раньше поспеть... хочется разговеться, пора уже, давно пора, святою пасхою. Говори, мол, мне не пасхи, мне овса подавай. Потерпи немножко, у пана славный овес, и пашницы[33] даст вволю, и сивухою[34] попотчивают. Я давно хотел у тебя спросить, Гнедко, что лучше для коня, пашница или овес? Молчишь? Ну, и будешь же век молчать, потому что Бог повелел <говорить> только человеку и да еще одной маленькой пташке... — При этом он опять хлестнул Гнедка, заметив, что он заслушался и стал выступать опять по-прежнему... Но вместо того, чтобы слушать рассуждения наших путешественников на седле и по<д> седлом, обратимся к Остранице, давно скакавшему по проселочной дороге.

<ГЛАВА> II

Как только рыцарь потерял из вида своего сотоварища, тот же час остановил рысь коня своего и поехал шагом. Солнце показывало полдень. День был ясный, как душа младенца. Изредка два или три небольших облака, повиснув, еще более увеличивали собою яркость небесной лазури. Лучи солнечные были осязательно живительны, ветру не было, но щеки чувствовали какое-то томное веяние свежести. Птицы чиликали и перепархивали по недавно разрытым нивам, на которых стройно, как будто лес из зеленых игол, восходил молодой посев. Дорога входила в рытвины и была с обеих сторон сжата крутыми глинистыми стенами. Без сомнения, очень давно была прорыта эта дорога в горе, потому что по обеим сторонам недо<ст>упного обрыва поросла орешником, на самой же горе подымались по обеим сторонам высокие, как стрела, как разящие копья, осокори[35]; иногда перемежевывали их клены, лоза вся в отпрысках[36]. Иногда дуб толстый, которому сто лет, и весь он, убранный повиликой[37], плющом, величаво расширял вершину свою над нею и казался еще выше от обросшего зеленью подмостка. Местами дикая яблоня протягивалась искривленными своими кудрявыми ветвями на противоположную сторону и образовала над головою свод и сыпала на голову путешественника сребророзовые цветы свои *<1 нрзб.>*, между тем как из дерев часто выглядывал обрыв, весь в цветах и самых нежных первенцах весны*. Уже дорога становилась шире,

* По предположению Н. С. Тихонравова, сюда относится приписка на отдельном листе: «В другом месте деревья так тесно и часто перемешивались между собою, что образовали, несмотря на молодость листьев, совершенный мрак, на котором резко зеленели обхваченные лучами солнца

и наконец открылась равнина, раздольная, [ограниченная] как рамами [окружен<ная>] синевшими вдали горами и лесами, сквозь которые искрами серебра блестела прерывистая нить реки, и над нею стлались хутора. Здесь путешественник наш остановился, встал с коня и, как будто в усталости или в желании собраться с мыслями, стал поваживать рукою по лбу. Долго стоял он в таком положении, наконец, как бы решившись на что, сел на коня и, уже не останавливаясь более, поехал в ту сторону, где на косогоре синели сады и по мере приближения становились белее разбросанные хаты. Посреди хутора над прудом находилась вся закрытая вишневыми и сливными деревьями светлица[39]. Серая очеретяная[40] ее крыша, местами поросшая [зеленью] и местами на которой ярко отливалась желтая свежая заплата, с белою трубою, покрытою китайскою черною крышею, была очень хороша. В эту минуту солнце стало кидать лучи уже вечерние, и тогда нежный сребророзовый колер цветущих дерев становился пурпурным. Путешественник <слез> с коня и, держа его за повод, пошел пешком через плотину, стараясь идти как можно тише. Хлопочущие утки покрывали пруд, через плотину девчонка лет 7-ми гнала гусей.

— Дома пан? — спросил путеш<ественник>.

— Дома, — отвечала девчонка, разинув рот и став <в> совершенно онемелое<?> положение.

— А пани?

— И пани дома.

— А панночка? – Это слово произнес путешественник как-то тише и с каким-то страхом.

— И панночка дома.

— Умная девчонка! Я дам тебе пряник. А как сделаешь то, что я скажу, дам и другой, еще и злотый[41].

— Дай, — говорила простодушно девчонка, протягивая руку.

— Дам, только пойди наперед к панночке и скажи, чтоб она на минуту вышла; скажи, что одна баба старая дожидается ее. Слышишь? Ну, скажешь ли ты так?

— Скажу.

— Как же ты скажешь ей?

молодые ветви. Здесь было изумительное разнообразие. Листья осины трепетали под самым небом. Клен простирал свои листья, [как] похожие на зеленые лапки, узколиственный ясень рябил еще более, в чаще сгущались<?> листья дуба <*3 нрзб.*>, а терновник и дикий глод[38] [задвин<ули>] оградили их колючею стеною, <с>крыли в темноте стволы и сучья, и только очень редко северная береза высовывала из этих листьев часть своего ослепительного, как рука краса<вицы>, ствола». Давно уже замечено, что данный текст стал прототипом описания сада Плюшкина в 6-й главе первого тома «Мертвых душ».

— Не знаю.

Рыцарь засмеялся и повторил ей снова те самые слова и, наконец уверившись, что она совершенно поняла, отпустил ее вперед. А сам в ожидании сел под вербою. Не прошло несколько минут, как мелькнула меж дерев белая сорочка и девушка лет осьмнадцати стала спускаться к гребле[42]. Шелковая плахта и кашемировая запаска туго обхватывали стан ее[43], так что все формы ее были как будто отлиты*. Стройная роскошь совершенно нежных ног не была скрыта, широкие, шитые красным шелком и все в мережках[45] рукава спускались с плеча, и обнаженное плечо, слегка зарумянившееся, выказывалось мило, как спеющее яблоко, тогда как на груди под сорочкою упруго трепетали молодые перси. Сходя на плотину, она подняла дотоле опущенную голову, и черные очи и брови мелькнули как молния. Это не была правильная совершенно голова, профиль лица совершенно не приближавшийся к греческому, ничего в ней не было законно прекрасного, правильного, ни одна черта лица почти не соответствовала положенным правилам красоты. Но в этом своенравном, несколько смугловатом, словно огненном или живом лице что-то было такое, что вдруг поражало всякого. От взгляда ее холонуло на сердце, душа занималась, и дыханье отрывисто уходило.

— Откудова ты, человек добрый? — спросила она, увидев козака.

— А из Запорожья, панночка. Зашел сюда по просьбе одного пана, коли милости вашей известно, Остраницы.

Девушка вспыхнула.

— А ты видел его?!

— Видел.

— Слушай, нет, говори по правде. Может быть, ты научен от злых людей или сам имеешь какой умысел? Ну скажи же еще раз, видел?

— Видел.

---

* В приписке к этому месту на отдельном листе, атрибутированной Н. С. Тихонравовым, описание нарядов красавицы было расширено: «Одежда ее была так фантастически пестра, что, казалось, она принесла с собою кучу самых разнородных цветочей[44], которые, казалось, шевелились и волновались [по мере] между деревьями по мере того, как она шла. Сама ярая шелко<вая> плахта, почти скрытая под кашемировою с турецким узором запаскою, сладострастно льнула и вызначала всю роскошную [выпуклость] выпуклую фор<му?> выступавшей ноги. Только до пояса простиралась вся эта пестрота богатого убора; на груди и на руках трепетала белая, как снег, сорочка, как будто ничто, кроме тонкого чистого полотна (*Над строкой вписано*: ничто так нейдет, как чистое белое), не должно прикрывать девических персей. Складки сорочки падали каскадом на упруго [дышавшие] молодые груди дрожали.

Нигде так не хороши [перси] девическая грудь, как под полотном. Он видел, как [упругие] молодые груди подымали свои дышавшие негою куполовидные [вершины] перси и [ежеминутно их] тотчас опускали их, после чего они упруго дрожали под своим покровом».

— Забожись!

— Ей-Богу!

— Ну, теперь я верю, — повторила она, немного успокоившись. — Где же ты его видел? Что он, не позабыл меня?

— Тебя позабыть, моя Галочка[46], мое серденько, дорогой ты кристалл мой, голубочка моя! Разве хочется мне быть растоптану [хазарским] татарским конем?..

Тут он схватил ее за руки и посадил подле себя. Удивление девушки так было велико, что она краснела и бледнела, не произнося ни одного слова.

— Как ты сюда прискакал? — говорила она шепотом. — Тебя поймают, еще никто не позабыл про тебя. Ляхи еще не вышли из Украины[47].

— Не бойсь, моя голубочка. Я не один, со мною соберется кой-кто из наших... Слушай, Прис<ю>[48], любишь ли ты меня?

— Люблю, — отвечала она и склонила к нему на грудь разгоревшееся лицо.

— Когда любишь, слушай же, что я скажу тебе. Убежим отсюда! Мы поедем в Польшу к королю, он *<1 нрзб.>* даст мне землю. Не то поедем куда, хоть в Галицию[49] или хоть к султану[50], и он даст мне землю. Мы с тобою не разлучимся тогда ник<оли?> и заживем так же хорошо, еще лучше, чем тут на хуторах наших. Золота у меня немало, ходить есть в чем, суконь, эдамашек[51], чего захоти только.

— Нет, нет, нет, козак, — говорила она, качая головою с грустным выражением в лице. — Не пойду с тобою. Пусть у тебя и золото, и сукни, и эдамашки, хотя я тебя больше люблю, чем все сокровища, но не пойду. Как я оставлю престарелую бедную мать мою, кто приглядит за нею? Глядите, люди, скажет она, как бросила меня родная дочка моя. — Слезы покатились по ее щекам.

— Мы не надолго ее оставим, — говорил Остраница. — Только год один пробудем на Перекопе[52] или на Запорожье[53]. А тогда я выхлопочу грамоту от короля и шляхетства[54], и мы воротимся снова сюда. Тогда не скажет ничего и отец твой.

Прися качала головою все с тою же грустью и слезами на глазах.

— Тогда мы оба станем присматривать за матерью. И у меня тоже есть старая мать, гораздо старее твоей. Но я не сижу с ней вместе. Придет время, женюсь — тогда и мать будет со мною...

— Нет, нет. Ты не то, ты козак, тебе подавай коня, сбрую да степь, и больше ни о чем тебе не думать. Если б я была козаком, и я бы закурила люльку, села на коня, и всё мне (при этом она махнула грациозно рукой) — трын-трава. Но что будешь делать, я козачка. У Бога не вымолишь, чтоб переменил долю... Еще бы я кинула, может быть, когда бы она была

на руках у добрых людей, хоть даже одна, но ты знаешь, каков отец мой. Он прибьет ее, жизнь ее, бедненькой моей матери, будет горше полыни. Она и то говорит: видно, скоро поставят надо мною крест, потому что мне все снится, то что замуж выходит она, то что рядят ее в богатое платье, но все с черными пятнами.

— Может быть, тебе оттого так жаль своей матери, что ты не любишь меня, — говорил Остраница, поворотив голову на сторону.

— Я не люблю тебя? Гляди, я как хмелинонька около дуба вьюсь к тебе[55], — говорила она, обвивая его руками. — Я без тебя [ничего не вижу].

— Может быть, вместо меня какой-нибудь другой. С шпорами, с золотою кистью, чего доброго, может быть, и лях?..

— Тарас, Тарас! пощади, помилуй. Мало я плакала по тебе? зачем ты укоряешь меня так? — сказала она, почти упав на колени и в слезах.

— О, ваш род таков, — продолжал все так же Остраница. — Вы, когда захотите, подымете такой вой, как десять волчиц, и слез, когда захотите, напускаете вволю, хоть ведра подставляй, а как на деле...

— Ну чего ж тебе хочется, скажи, что тебе нужно, чтоб я сделала?

— Едешь со мною или нет?

— Еду, еду...

— Ну, вставай, полно плакать, встань, моя голубочка, Галочка, — говорил он, принимая ее на руки и обсыпая поцелуями. — Ты теперь моя! теперь я знаю, что тебя никто не отнимет. Не плачь, моя... за это согласен я, чтобы ты осталась с матерью до тех пор, пока не пройдет наше горе. Что делает отец твой отец <sic!> твой?

— Он спал в саду под грушею, теперь я слышу, ведут ему коня, верно, он проснулся. Прощай, советую тебе ехать скорее, и лучше не попадайся ему теперь, он на тебя сердит. — При этом Ганна вскочила и побежала в светлицу... Остраница медленно садился на коня и, выехавши, оборачивался несколько раз назад, как бы желая вспомнить, не позабыл ли он чего... И уже позд<н>о, почти около полуночи, достигнул он своего хутора.

<ГЛАВА III>

Небо звездилось, но оде<я>ние ночи было так темно, что рыцарь едва мог только при<м>етить хаты, почти подъехав к самому хутору. В другое время путешественник наш верно бы досадовал на темноту, мешавшую взглянуть на знакомые хаты, сады, огороды, нивы, с которыми срослось его детство. Но теперь столько его занимали происшествия дня, что он не

обращал внимания, не чувствовал, почти не заметил, <и как> конь сам собою ускорил шаг, угадав родимое стойло, и как заливавшиеся со всех сторон собаки прыгали перед лошадью его так высоко, что, казалось, хотели ее укусить за морду. И только одни приветливые ветки вишен, которые, перекидываясь через плетень, стеснявший узкую улицу, хлеставши его полу, заставляли его иногда браться рукою, но это движение было машинально. Тогда только, когда конь остановился под воротами, окошки низенькие решетчатые отворились. «Кто такой?» Так человек, которого будят, открывает на мгновение глаза и тотчас их смежает. Он еще не разлучился со сном, неподвижною рукою берется он за платье, но это движение для того только, чтобы обмануть разбудившего его, будто он хочет вставать, а между тем он еще весь в бреду и во сне, щеки его горят, можно читать целый водопад сновидений, а утро дышит свежестью, и лучи солнца еще так жив<ительны> и прохладны, как горный ключ. Наконец ворота отворились, Остраница въехал во двор, но к изумлению своему чуть не наехал на улан польских, спящих в <*1 нрзб.*> мундирах. Это выгнало все мечты из головы его. Он терялся в догадках, откудова взялись польские уланы. Неужели успели уже узнать о его прибытии. И кто бы мог открыть это? Если бы точно узнали, то как можно в таком скором времени совершить эту экспедицию и где же делись его запорожцы, которые должны были еще утром поспеть в его хутор? Все это повергло его в такое недоумение, что не знал, на что решиться: ехать ли опрометью назад или остаться и узнать причину такой странности. [Посреди] этих размышлений он был тронут слегка тем самым, который отпер ему ворота. Первым его движением было схватиться за саблю, но увидевши, что это запорожец, он опустил руку.

— Но пойдемте, добродию, в светлицу, здесь не в обычае говорить, слишком многолюдно, — отвечал последний.

В сенях вышла старая ключница, бывшая нянькою нашего героя, с каганцом[56] в руках. Осмотревши с головы до ног вошедших, она начала ворчать:

— Чего вас носит черт сюда, все только пугают меня. Я думала, что наш пан приехал. Чего вам нужно? Еще мало горелки выдули?

— Дурна баба, рассмотри хорош<енько>, ведь это пан ваш.

Горпина[57] снова начала осматривать с ног до головы, наконец в<с>кликнула:

— Да это ж ты, мой голубчик! Да это ж ты, моя матусенька[58]!.. Да это ж ты, мой сокол. Как же ты переменился весь, как же ты загорел, как же ты оброс. Да у тебя, я думаю, и головка не мыта, и сорочки никто не дал переменить.

Тут Горпина <за>рыдала навзрыд и подняла такой вой, что лай собак, который было начал стихать, удвоился.

— Сумасшедшая баба, — говорил запорожец, отступивши и плюнувши ей почти в глаза. — Чего сдуру ты заревела. Народ весь разбудишь.

— Довольно, Горпина, — прервал Остраница. — Вот тебе, гляди на меня. Ну, насмотрелась?

— Насмотрелась, моя матинко родная, как не наглядеться! Еще когда ты маленьким был, носила я на руках тебя, и как вырастал, все не спускала глаз. Боже Ты мой, а теперь вот опять вижу тебя. Охо, хо, хо! — и старуха принялась рыдать.

— Слушай, Горпина! — сказал Остраница, приметивши, что ключница для праздника наградила себя порядочной кружкой водки, — лучше ты принеси закусить чего-нибудь и наперед подай св<ятой> пасхи, потому что я, грешный, целый день сегодня не ел ничего и даже не попробовал пасхи.

— Да ты ж вот это и пасхи еще не отведывал, бедная моя головонька, несчастная горемыка я на этом свете! Охо, хо, хо! — Тут потоки слез, разрешившись, хлынули целым водопадом, и [Горпина], подперши щеку рукою, снова было готовилась завыть, если бы не увидела над собою замахнувшейся руки запорожца.

— Добродию, позвольте кием[59] угомонить проклятую бабу! Что это за соромный народ! Пришла же охота Господу Богу подарить эдакое племя. Или Ему недосуг тогда было, иль Бог Его знает, что Ему тогда было...

Остраница вошел между тем в светлицу и, сбросивши с себя кобеняк, бросился на ковер. Дорога, голод и встречи привели его в такую усталость, что он, разлегшись на нем в совершенной бесчувственности, не обращал ни на что глаз своих. А потому наше дело представить описание светлицы, замечательной тем, что постройка ее принадлежала еще деду. Очень замечательная достопамятность в той стране, где древностей почти не было, где брани, вечные брани, производили жестокое [разрушение] и обращали в руины все то, что успевало сделать трудолюбие и общежительность. Это была просторная, более продолговатая комната и вместе с тем низенькая, как обыкновенно строилось в прежнее время. Ничто в ней не говорило о прочности, как будто, кажется, строитель был твердо уверен, что <ее> существование должно быть эфемерно. Но, однако же, с поправками, приделками ветхое строение простояло около 50 лет. Стены были очень тонки, и вымазаны глиною и выбелены снаружи и внутри так ярко, что глаза едва могли выносить этот блеск. Весь пол в комнате был тоже вымазан глиною, но так был чисто выметен, что на нем можно было лечь, не опасаясь запылить платья. В углу комнаты у дверей находилась огромная печь и занимала почти четверть комнаты; сторона ее, обращенная к окнам, была покрыта белыми изразцами, на которых синею краскою были нарисованы подобия человеческим лицам с желтыми глазами и губами; другая сторона состояла

из зеленых гладких изразцов. Окна были невелики, круглые матовые стекла, пропуская свет, не давали видеть ничего происходящего <на> дворе. На стене висел портрет деда Остраницы, воевавшего под знаменем Батория[60]. Он был изображен почти во весь рост, в кольчуге, с парою заткнутых за пояс <пистолетов>, нижняя часть ног до колен его не была только видна. Потемневшие краски едва позволяли видеть суровое, мужественное лицо, которому жалость и все мягкое, казалось, было совершенно неизвестно. Над дверьми висела тоже небольшая картина масляными красками, изображающая беззаботного запорожца с бочонком водки с надписью «Козак, душа правдивая, сорочки не мае»[61], которую и доныне можно иногда встретить в Малороссии. Против дверей — несколько икон, убранных калиною и ранними цветами, а под ними на длинной деревянной доске [несколь<ко>] нарисованных сцен из Священного Писания. Там был Авраам, прицеливающийся из пистолета в Исаака[62], св. Дамиян, сидящий на колу[63], и другие — под<обные>. Подальше висели несколько турецких саблей, ружье и разной величины пистолеты; и подвижной под образами стол, накрытый чистою скатертью, шитою по краям красным шелком и потемневшим серебром, два странного вида складные стула. В этом состояло убранство комнаты...

Остраница между тем теперь только заметил, что стол был уставлен деревянными блюдами с яйцами, маслом и бараниною. Первое его дело было приблизиться к столу и утолить голод, который теперь начал сильнее докучать ему. В это время вошла старая ключница с св<ятою> пасхой, с сметаной, сыром...

— Вот тебе, панычику мой, и пасха, вот тебе и сметанка! — говорила <она>. — Куды ж как проголодалась, бедная дитина! Хоть как не подавится, бидненько! А я-то думала... А я хлопотала... А я бегала, как бы ему, моему сердечному... А вот Господь сподобил, опять вижу тебя. Охо, хо, хо, хо! — Горпина опять было хотела всплакнуть, и запорожец Пудько, который начал было подремывать, сидя возле насыщавшего свой голод рыцаря, устремил на нее глаза и проговорил:

— Ну, ну, ну! попробуй только зареветь!..

Это остановило намерение Горпины.

— Кушай, кушай, сынку мой, ешь на здоровье, ешь, я не мешаю тебе. Голубчик мой, мы с тобой только раз христосовались, похристосуемся, мое серденько... похристосуемся...

— Еще и христосоваться! — проговорил Пудько сквозь сон и хватил вместо чарки баранью ногу. — Пошла, проклятая баба!

— Ступай, Горпина, полно тебе! — про<го>ворил поднявшись Остраница. — А не то я, несмотря на то, что ты стара и что нянчила меня, сниму со стены вот этот батог. Видишь ты этот батог?

Горпина, которая привыкла бояться повелительного голоса своего<?> пана, немедленно повиновалась.

— Ну, Пудько, где ж Тарас? Что он делает, что я его не вижу?

— А что ж ему делать? Известно, что делает, спит где-нибудь.

— Ну так пойдем же и мы спать, только не в душной хате, а на вольной земле под небом.

Запорожец натянул на себя кобеняк и вышел вслед за Остраницею из светлицы, <в> которой чуть было не упал, зацепившись за что-то, лежавшее у порогу. По голосу, который подало завернувшееся в кожух туловище, Остраница узнал Курника, но заметно было, что он хватил не меньше других, потому что в его словах была странная противуположность тому, что он еще говорил вечером. Даже самый образ выражения был не тот, множество слов вмешивалось таких, которых странно и смешно было от него слышать. Заметно было, что на него много сделали влияния запорожцы. «Эх, славная конница у запорожцев! Торо, торо, торо, торо, гоп, гоп, гоп... Эх, славная конница у запорожцев. Торо, торо, гоп, гоп, гоп! Слав<на>я конница! Послушай, любезный, скажи мне, какая у тебя конница. У меня конница запорожская. Откуда ты, мужик, зачем ты пришел? Не скажу, у меня конница запорожская! Торо, торо, торо, конь, гоп, гоп!» — и тому подобное. Остраница попробовал было подойти к атаману, которого указал ему Пудько и который лежал, подмостивши себе под голову бочонок, но услышал от него одни совершенно бессвязные слова, из чего он заключил, что все гуляли как следует, и решился оставить их в покое и присоединиться к другим, которых храпение составило самую фантастическую музыку. Скоро все заснуло.

ГЛАВА IV

Однако ж Остраница долго не мог заснуть, напрасно переворачивался он с боку на бок и пробовал все положения, сон убегал его, а думы незваные приходили и силою ложились в его мозг. Итак, его приезд понапрасну, столько приуготовлений, столько забот — все по-пустому! Она не хочет ехать с ним. Так вот это та любовь, та горячая, та безграничная любовь! Ей жаль матери, для матери готова она забыть свою любовь. Способна ли она для страсти, когда может еще думать при ней об другом, об отце или матери? Нет, нет, где любовь настоящая, такая, как следует, т<ам> нет ни брата, ни отца.

— Нет, я хочу, — говорил он, разбрасывая руками, — чтоб она или меня одного, или никого не любила. Целуй, прижимай меня! Пусть жар ды-

ханья твоего пахнет мне на щеки, дрожащие груди твои прижмутся к моим грудям... и еще при этом думать об другом... О! как чудно! как странно создана женщина. Нас приводит она в бешенство, весь горишь, весь пламень в сердце, душно, тоска, а они... а сама она, может, и не знает, что творит в нас. Она себе так, как ни в чем не бывало, глядит беспечно и не знает, что за муку произвела.

Между тем луна, плывшая среди необозримого синего роскошного неба, и свежий воздух весенней ночи на время успокоили его мысли. Они излились в длинном монологе, из которого, может быть, <читатели> узнают сколько-нибудь о жизни героя.

— И как же ей в самом деле оставить бедную мать, которая когда-то ее лелеяла и которую теперь она лелеет, для которой нет ничего и не будет уже ничего в мире, когда не будет [с нею дочери]. Она одна для нее радость, пища, жизнь, защита от отца. Нет, права она... И странная судьба моя. Отца я не видал, его убили на войне, когда меня на свете еще не было. Матерь утонула, я видел только посинелый и разрезанный труп. Она, говорят, утонула. Ее вытянули мертвую и из утробы ее вырезали меня, бесчувственного, неживого. Как мне спасли жизнь, сам не знаю. Кто спас, зачем спас, лучше б пропал не живши! Чужие пригрели. Еще мал и глуп, я уже наездничал с запорожцами. [Дальше] опять случай, меня полонили татары. Не годится жить меж ними христианину, пить кобылье молоко, есть конину. Однако ж я был весел душой, ну вырвусь же когда-нибудь на волю! И вот приехал я на родину сирота сиротою. Не встретил никого знакомого. Хоть бы собака была такая, которая знала меня в детстве. Никого, никого[64]. Однако ж хо<тя> грустная, а все-таки радость была, и печально и радостно. Больно было глядеть, как посмеивался католик православному народу, и вместе весело. Подожди, ляше, увидишь, как растопчет тебя вольный, как степи, народ! Что же? вот тебе и похвалился! Увидел хорошую дивчину и все позабыл, все к черту. Ох, очи, черные очи, захотел Бог погубить людей за беззаконья и послал вас. Собиралось компанейство отомстить за ругательство над Христовой верой и за бесчестье народу. Я ни об чем не думал, меня почти силою уже заставили схватиться за саблю. В недобрый час затеялась эта битва. Что-то делают теперь в полону преданный гетман наш и полковники? Грех лежит на мне. Еще бы можно было поправить, вражья потеря верно б была сильнее, когда бы ударил из <за>сады я. Бежит все Запорожье, увидав, что и Галькин отец держит вражью сторону. А всё вы, черные брови, вы всему виной! И вот я снова приехал сюда с ватагою товарищей, но не правая месть и не жажда искупить себе славу силой и кровью завела меня. Всё вы, всё вы, черные брови! Дивно диво любовь? ни об чем не думаешь, ничего на свете не хочешь, только бы сидеть

бы возле ней, уставивши на нее очи, прижавши ее ближе к себе, так, чтобы пылающая щека коснулась щеки, и все бы глядеть. Боже, как хороша она была сегодня. Вот она глядит на меня. Серденько мое, Галя, Галюночка, Галочка, Галюня, душка моя, краса<вица?> моя, что-то теперь делаешь ты? Верно, не спишь и думаешь обо мне. Нет, не могу, не в силах оставить тебя, не оставлю ни за что... Как же придумать? Голова моя горит, и не знаю, что делать! Поеду к королю, упрошу Ивана Остраницу, он добудет мне грамоту и королевское прощение, и тогда, тогда... Бог знает, что тогда будет, только все лучше, я буду близ нее жить...

Так раздумывал и почти разговаривал сам с собою Остраница. Уже он обнимал в мыслях свою жизнь и Галю вместе... уже воображал себя с нею в одной светлице, они хозяйничали вместе в семейном рае. Но настоящее опять вторглось в это обворожительное будущее, и герой наш в досаде снова разбрасывал руками, кобеняк слетел с плеч его. Его терзала мысль, каким образом объявить запорожскому атаману, что теперь уже он оставляет свое предприятие и, стало быть, помощь его больше не нужна.

Г<ЛАВА> V

Как только проснулся Остраница, то увидел весь двор, наполненный народом: усы, байбараки, женские парчовые кораблики, белые намитки, синие кунтуши[65]. Одним словом, двор представлял игрушечную лавку, или блюдо винегрета, или, еще лучше, пестрый турецкий платок. Со всею этою кучей народа <он> должен был перецеловаться и принять необозримое множество яиц, подносимых в шапках, в платках, уток, гусей и прочего — обыкновенную дань, которую подносили поселяне своему господину, который со своей стороны должен был отблагодарить угощением[66]. Подносимое принято; и так как яйца, будучи сложены в кучу, казались пирамидою ядер, выставленных на крепости, против этого козаки выкатили по повелению пана две [порядочные] страшные бочки. Хозяин пригласил за стол всех гостей и хуторянцев. Сделав самое страшное выражение и поглаживая усы, толпа нетерпеливо ждала вступить в бой с этим драгоценным неприятелем.

И между тем как одна толпа бросилась на столы, трещавшие под баранами, жареными поросятами, сыром и салом, а другая к пустившей хмельной водопад бочке, Остраница пошел искать атамана, которого, наконец, нашел. Крепко держа в руках плеть, он хлестал ею одного из подчиненных своих, который стоял неподвижно, только почесываясь, и сколько мог, удерживал стенания. При каждом ударе атаман приговаривал таким дружеским обра-

зом, что если бы у него не было в руках плети, то можно подумать, что он ласкает родного сына...[67]

— Вот это тебе, голубчик, за то, чтоб ты знал, как почитать старших! Вот тебе, любезный, еще на придачу. А вот еще один прими, вот тебе до пары другой. Да, голубчик, не делай так. А вот это как тебе кажется? А этот вкусен, признайся, вкусен. Когда до вкусу, так вот еще. Что за славная плеть! Чудная плеть! Что, как вот это? Нашлись же такие искусники, что так хитро сплели. Что, танцуешь? Тебе, видно, весело, то-то я знал, что будет весело. Я затем тебя и благословляю так... — Тут атаман, увидев, что молодой преступник, несмотря на все старания устоять на месте, готов был закричать, остановился. — Ну теперь подойди, да поклонись же. Да ниже поклонись! — Принявший удары с опущенными глазами, из которых разом полились слезы, приблизился и отвесил поклон в ноги.

— Говори, любезный: благодарю, атаман, за науку.

— Благодарю, атаман, за науку.

— Теперь ступай! Гайда! задай перцю баранам и сивухе!

— Христос Воскрес, атаман. Мы с тобой еще не христосовались.

— Воистину Воскрес, — ответил атаман.

— Нет ли у тебя в запасе губки[68]? Охота берет люльку затянуть. — При этом <он> вложил в зубы вытянутую из кармана трубку.

— Как не быть! Что за козак, когда мизерия не имеется.

— Я хотел тебе сказать дело, — примолвил Остраница с некоторою робостью.

— Гм, — отвечал атаман, вырубливая огонь.

— Мое дело не кроится.

— Не кроится? — промолвил <атаман>, раскуривая трубку. — Погано!

— Вряд ли нам что-нибудь достанется здесь.

— Не достанется? — погано!

— Придется нам возвратиться ни с чем.

— Гм...

— Что ж ты скажешь? — спросил Остраница, удивленный таким неудовлетворительным ответом.

— Когда воротиться, — отвечал запорожец, сплевывая, — так и воротиться.

Остраницу ободрило такое равнодушие.

— Только я не пойду с вами. Я поеду на время в Варшаву.

— Гм... — ответил атаман.

— Ты, может быть, сердит, извини, что я так обманул и подвел вас. Божусь, что я сам обманут. — При этом слове грянула музыка и вместе

с ней грянуло топанье танцующих. Атаман с трубкою в зубах ринулся в кучу танцующих, кулаками очистил около себя круг и пустился выбивать ногами и навприсядку.

<ГЛАВА VI>

— Что он себе думает, этот дурень Остраница? — говорил старый Пудь<ко>. — Щенок! Еще и родниться задумал со мною. Поганый нечестивец, поди к матери своей, чтоб доносила тебя наперед. И достало духу у него сказать это. Дурень, дурень! — говорил он, дергая рукою, как будто драл кого-нибудь за волоса. — Молод козак, ус еще не прошибся. — Старый Кузубия не мог вынести, когда видел, что младший равняется со старшим. — Знать должен, что кто задумал мстить, то от того не жди милости. Скорее солнце посинеет, вместо дождя посыплются раки с неба[69], чем я позабуду прошлое. Пропаду, но не забуду. Не хочу! Не хочу! Жинка! Жинка!

Этим восклицанием обыкновенно оканчивал он свою речь, когда бывал сердит, и Боже сохрани жинке не явиться тот же час. На эту речь, едва передвигая ноги, пришло, или, лучше сказать, приползло иссохнувшее, едва живущее существо... Вид ее не вдруг <*1 нрзб.*>, нужно было вглядеться в этот несчастный остаток человека, в это олицетворенное страдание, чтобы ощутить в душе неизъяснимо тоскливое чувство. Представьте себе длинное, всё в морщинах, почти бесчувственное лицо. Глаза черные, некогда [пылавшие всем жаром страсти] как уголь, огонь, буря, ныне почти неподвижные; губы какого-то мертвого цвета, но, однако ж, они были когда-то свежи, как румянец на спеющем яблоке. И кто бы подумал, что эти слившиеся в сухие руины щеки были некогда чертовски очаровательны, что движение этих некогда гордых и величественных бровей дарило счастие, необитаемое на земле. И все прошло, прошло, перегорело и [осталось] обратилось наконец лишь в бесчувстве<нное> терпение и безграничное повиновение.



ГЛАВА ИЗ ИСТОРИЧЕСКОГО РОМАНА*

Между тем посланник наш переехал границу, отделяющую ныне Пирятинский повет от Лубенского[1]. Общих езжалых дорог тогда не было в Малороссии; но почти каждому известна была какая-нибудь проселочная, по мнению его, самая ближайшая. Часто такая дорога, уклоняясь от ровной поверхности, проскальзывала в рытвины, царапалась по косогору, вешалась над провалами, и один неровный, слегка протоптанный подковою коня след означал ее уклонения. Достаточно было только выехать в дорогу, чтобы выучиться не разбирать[в] ночлегов. Главное же неудобство для путешественника, не ознакомленного с местами, было то, что он должен был на расстоянии 25 или 50[в] ружейных выстрелов выведывать или выспрашивать пути у жителей, которых показания всегда почти разногласили.

Пустив повода и наклонив голову, всадник наш давно уже погружен был в раздумье, и только изредка попадавшиеся кочки и пни срубленных дерев, заставляя спотыкаться верного его товарища, борзого коня, перерезывали разом его думы, которые снова обычным ожерельем низались в голове его. В первый раз еще случалось ему выполнять такое поручение: ехать Бог знает куда, в незаселенные степи Украины! И кто этот Глечик?.. какая нужда Казимиру до начальника какой-то шайки, называвшего себя полковником миргородского полку[2]?.. Ему не объявлено было ничего удовлетворительного ни о характере, ни о силе его, ни о том, какие он имеет сношения и с кем... К чему же эта осторожность, какую нужно было иметь

* Из романа под заглавием «Гетьман»; первая часть его была написана и сожжена, потому что сам автор не был ею доволен; две главы, напечатанные в периодических изданиях, помещаются в этом собрании.

в речах с ним? Зачем перелетать такую даль, чтобы только доставить ему сведения о событиях, волновавших Варшаву? И чем мог быть полезен такой отдаленный союзник?.. Мысленно досадовал он на себя, что не выведал обстоятельно об этом от Бригитты: ей, без сомнения, сколько-нибудь были известны причины такого странного посольства.

Солнце медленно прощалось с землею. Живописные облака, обхваченные по краям огненными лучами, поминутно меняясь и разрываясь, летели[в] по воздуху. Сумерки угрюмо надвигали сизую тень свою и притворяли мало-помалу ставни окошек, освещавших светлый Божий мир. В это время путник наш, после долгого степного странствия, въехал в лес. Раздетые безжалостною осенью деревья сквозили, как решето, и казалось, дрожали от вечернего холода. Желтые листья, как объедки и битые ковши от недавнего пиршества, валялись неприбранные, и один только шелест их, ходя по лесу, давал знать о присутствии в нем нашего всадника. Сквозь обнаженную вершину леса темнело небо; резкий ветер подымался с поля и мчал заунывные свои вопли в гущу леса. Путник поневоле задумался и остановил коня своего в нерешимости, что предпринять, потому что дорога совершенно исчезла и перед ним торчал один только лес да неизвестность; как вдруг громкий голос «цоб, цоб!» поразил слух его; тяжело нагруженный воз заскрыпел, и пара волов показалась из-за деревьев. Надобно вообразить себя на месте путешественника, чтобы вполне почувствовать радость такой встречи. Луна в это время вырезалась на небе. Серебряный свет, перепутанный тенью от дерев, пал решеткою на землю, осветив далеко окрестность, и Лапчинский увидел перед собою дюжего пожилого селянина. Седые, закрученные вниз усы его гордо покоились на смуглом, означенном резкими мускулами лице, которое так простодушно оттеняла какая-то азиатская беспечность. По черным бровям серебрилась седина, огонь вылетал из небольших карих глаз, и в огне том высвечивались попеременно то хитрость, то простодушие. На голове у него была черная козацкая шапка с синим верхом. Коротенький нагольный тулуп[3], затянутый яркоцветным поясом, служил непроницаемыми латами от холода; сверх этого одеяния вдобавку накинут был обыкновенный кобеняк из толстого смурого сукна[4], который и поныне носят малороссийские мужики. Из-за пояса торчали пищаль[5] и изогнутая татарская сабля — оружие, которое в тогдашние смутные времена всякий козак, ратник и селянин почитал необходимостью всегда иметь при себе.

— Помогай, Боже! — сказал он, остановив волов и обнажив увенчанную только на верхушке кистью волос голову, в знак того уважения, какое обыкновенно оказывали тогда простые поселяне ратным людям. Надобно припомнить, что Лапчинский, в избежание неприятностей, каким бы он неминуемо подвергнулся от жителей, не терпевших всего, что только носило

название ляха или принадлежало ляхам[6], принужден был переменить щегольский костюм свой на скромное одеяние козацкого десятника. Всадник наш отвечал легким наклонением головы на сие приветствие.

— Не знаешь ли, земляк, — молвил он с ласковым видом, — далеко ли отсюда до Ромодановского шляху[7]?

— Не сумею, добродию[8], сказать вдруг; повремените немножко! — Тут принялся он высчитывать, что выражали машинально сгибаемые им пальцы. — До Ромодановского шляху!.. Как бы вам сказать... оно не так, чтобы близко. Надобно знать, что козаки наши немного было перетрусили: кто-то пронес слух, что все шляхетство[9] собирается к нам на Сулу[10] в гости. Спохватились сдуру и разломали мосты; так вам, добродию, чтоб не пришлось давать больших объездов. Впрочем, Бог его знает: я говорю это потому, что другие говорят... так, может быть, выберется и короткий путь; только, знаете, теперь время осеннее... то станется, что и далеко... Только опять же как подумаешь, то кажется, что и близко. Вот другое дело, если б были поставлены столбы по дороге, какие, без сомнения, сами, добродию, если бывали в Польше, встречали по тамошним дорогам.

Не должно удивляться противоречиям, испестрявшим монолог нашего поселянина. Кроме действительной неизвестности, малороссияне любили поусомниться и в самом знакомом им деле. Малороссиянин и доныне ничего не скажет наобум, но раз десять поправит себя, а иногда с умыслом запутает своего слушателя так, что тот, к изумлению своему, видит, что до такого-то места и далеко, и близко.

— Куда же, по крайней мере, мне теперь держать путь? — спросил странник, вперив испытующий взор на своего наставника.

Тут селянин наш осмотрел его хорошенько с головы до ног.

— А вы, добродию, хотите теперь ехать?

— Почему же не теперь?

— Бог с вами! теперь и наш брат, здешний, уже сильно подумавши разве, поедет. Знаешь, мосьпане[11]! ведь нам стоит только проехать такое время, в какое добрый мужик успеет вымолотить полкопны жита[12], чтобы заслышать собачий лай с моего двора. Всё бы лучше опочить в теплой хате, а завтра хоть и с Богом!

От такого предложения нельзя было отказаться путнику, который, кажется, того только и ожидал.

— А куда, — спросил дорогою поселянин наш своего будущего гостя, — лежит путь вам, мосьпане?

— Еду-то я далеко, на ту сторону Воркслa[13], к миргородскому полковнику Глечику. Что, земляк, не знаешь ли и ты его?

— Как не знать этой старой собаки![в] А из каких мест Бог несет?

— Из великой станицы[14], что под Лохвицею[15].

— Как же это, добродию! мы не слышали ничего про то, чтобы станица была под Лохвицею? — Тут вонзил он в него острый взор свой, который, казалось, хотел выпытать его душу. — И то сказать! где уже мужику знать всё про войсковые дела; до нашего захолустья еще и слухи не дошли об этом.

Посланник наш спохватился, что не нужно бросать осторожности в россказнях и с простым селянином, и потому, собравшись немного с мыслями, продолжал:

— То есть, вот видишь, земляк, наверное я еще не могу сказать. В самой-то станице я не был, а встретившийся под Лохвицею запорожский сотник Шляйко, узнав, что я еду в эти места, дал мне грамотку к миргородскому полковнику. Летел он как угорелый; из расспросов его я ничего не мог узнать наверное. Недавно перед тем возвратился я из Варшавы... Видишь, он, может быть, имел причины не доверять мне... то есть... он... ты, думаю, понимаешь меня.

— Что вы говорите, добродию! Разве мужик поймет то, что толкуют паны? Ей-Богу, нет, — где нам понять! у нас и голова не так сделана, как у панов; черт знает что такое: больше на капусту похоже, чем на голову.

«О, да ты штука!» — подумал про себя Лапчинский и положил себе быть как можно осторожнее в словах.

Он во всё это время ехал шагом, уравнивая легкую поступь своего гордого коня с ленивою выступкою тяжелых волов, впереди которых с флегматическою важностью шел селянин, помахивая батогом[16] и потягивая коротенькую люльку*. Дым от нее обнимал облаками смуглое лицо его, которое, освещаясь иногда вспыхивавшим огоньком, казалось лицом какого-нибудь упыря[17], выказывавшимся по временам из непробудного болотного тумана и сеявшим искры чудного огня. Это заставляло Лапчинского чаще всматриваться ему в глаза, чтоб удостовериться, точно ли то был его товарищ. Но селянин наш сам отгонял всякое насчет его сомнение, не давая минуты задуматься своему гостю.

— Слыхали ль вы, добродию, про таковое диво? — говорил он, не выпуская изо рта своей трубки. — Видишь ли сосну, вон далеко-далеко чернеет перед нами?

И путник, к удивлению своему, точно увидел сосну. Каким образом зашла она сюда, когда во всей почти этой стороне Малороссии, на расстоянии, может быть, по сту верст во все стороны, взор не отыскивал этой суровой жилицы Севера? Невольно вперил он на нее глаза свои: она одна только посреди обнаженного леса сохраняла, казалось, жизнь. Но жизнь

* Трубку.

ли это? Это была мумия, которую с изумлением отыскивают между голыми скелетами, одну не сокрушенную тлением. В ней видны те же черты, та же прекрасная форма человека объемлет ее. Но, Боже, в каком виде!? Неотразимое, непонятное чувство тоски и ужаса врывается в душу при взгляде на жалкий обман, которым суетное искусство силится выхватить и удержать что-то похожее на жизнь[в].

— Это еще не большое диво, что сосна, а вот что диво: лет за пятьдесят перед тем, как мы балагурим с вами, жил, чуть ли не на вот этом месте, в хоромах великий пан. Воевода ли он был, сотник ли какой или просто пан, этого я не умею сказать; знаю только, что он был лях и не нашей веры. Жил он, как все нечистые польские паны живут: дом с утра до вечера ходенем ходил от вина да от песен, и далече прохватывала дрожь крещеного человека, когда он слышал раздававшиеся из лесу крики. Хлопцы из дворни его то и дело что наездничали по хуторам да обирали бедных жителей. Этого мало. Стали обворовывать да обдирать Божьи церкви, и такое делали... враг с ними! не хочу и говорить, что такое. Побить бы их всех, добродию, — так нельзя, потому что дворни одной у них было, может, с полторы сотни, да и на каждого бердыши, самопалы[18] и вся сбруя ратная. Вот и вызвался один дьякон — как уже его звали и из какого приходу он был, ей-Богу, добродию, не знаю, — вызвался и пришел в лес. Если бы теперь не ночь и не засыпало листьем, то я, может статься, показал бы вам останки этого дьявольского гнезда. На ту пору — так, видно, сам Бог уже хотел — был у них какой-то окаянный праздник. Дьякон шел уже напропало, сказал: «Господи, благослови!» — и, сколько доставало духу, толкнулся[в] в ворота, запертые толпившимся народом. Цимбалы и бандуры[19] бренчали и гудели, словно на свадьбе, а пьяные паны и дворня изо всей силы отдирали краковяк. Как только завидели дьякона, так, добродию, и закричали: «Зачем сюда принесло попа?» А пан говорит: «Гей, хлопцы! налейте-ка попу водки: пусть его танцует с нами, добрыми христианами, краковяк, да подгоняйте его хорошенько батожьем!» Дьякон, исполнившись, видно, Святого Духа, начал представлять нечестивым весь грех беззаконного житья их, и какие на том свете будут им муки, и как будут они плясать в пекле*, только не по своей воле, а подгоняемые горячими вилами чертей. — «А! так ты еще и проповедь читаешь! Гей, хлопцы! поднимите попа на крылос[20], а чтоб не застудил горла, накиньте ему галстук на шею!» И тут же челядь с нечеловечьим смехом и гиканьем встащила несчастного дьякона на ту самую сосну, мимо которой лежит нам путь. Позвольте, добродию: тут-то и история. Сосна эта как раз стояла перед хоромами и, как нарочно, еще перед самы-

* В аде.

ми окошками панской светлицы. Вот как ночь уже разогнала всех: кого на лавку, кого под лавку, — пану нашему чудится, что на него каплет что-то холодное. «Что за нечистый! — подумал пан, — отчего это каплет?» Встал с постели, глядит[в]: колючие ветви сосны царапаются к нему сквозь стену и, будто живые, вытягиваются длиннее, длиннее и как раз достают до него. Перекрестился, может быть, в первый раз отроду наш пан, когда увидел, что из них каплет человечья кровь, сначала холодная, как лед, а потом жжет, да и только! К окну — так и ноги подкосились: сосна вся посинела, как мертвец, и страшно кивает ему черною всклокоченною бородою. Сначала было думал пан, не хмель ли бродит у него в голове; так на следующую ночь то же диво, и вся дворня в один голос, что по лесу то и дело, что отпевают усопшего таким страшным голосом, что всякого мороз драл по коже и волосы щетиною поднимались на голове. Чего уж ни делали: и погребли с честью тело дьякона, и принимались было рубить сосну — так секира не берет: что ни ударят, топор вызубрится, а дерево стонет, будто дитя некрещеное. Решились наконец бросить это окаянное место. Вот каждый день и соберется вся челядь, оседлают коней, заберут все с собою и выедут, еще черти не бьются на кулачки; едут, едут, до самого вечера: кажись, Бог знает куда заехали! Остановятся ночевать — смотрят, знакомые все места: опять тот же дикий лес, те же хоромы, а проклятая сосна, протягивая ветви, словно руки, хватает пана и обдает его кровавыми каплями, а черная всклокоченная борода так же жутко кивает ему... — Тут рассказчик наш стремительно ударил в слушателя огненными глазами своими, блиставшими еще ярче посреди ночи, и, казалось, не без удовольствия заметил в нем впечатление, произведенное его рассказом. Действительно, путник наш не мог не ощутить какого-то тайно врывавшегося в душу страха и с беспокойством посматривал вокруг. В это время поравнялись они с сосной. Серебряный свет падал на печальные ветви ее, и отбрасывавшиеся от них тени, будто продолжение их, переламливаясь о встречные деревья, ложились бесконечною лестницею на землю. Ветер слегка покачивал вершину, и когда путник, немного проехав, оглянулся назад, то ему показалось, что какой-нибудь неприязненный дух, приняв дикий, величественный образ, медленно следовал за ним, печально покачивая угрюмою бородою и раскидывая темно-зеленые объятия свои, в намерении схватить его.

— Что же далее случилось? — спросил он умолкшего рассказчика, стараясь подавить невольную робость.

— Что? Круто пришлось пану: распустил всю свою дворню, стал схимником[21] и как отправил пятьдесят две панихиды за упокой души дьякона, тогда только стихнуло чудо. Куда же делся после того схимник, этого никто не скажет вам. Дня за три до Купала[22] каплет с этого дерева день и ночь

роса. Говорят еще, что и сгубленная чья-то душа таскается по лесу. Теща рассказывала года за четыре, когда была еще при памяти, что встретила однажды в лесу дьявола в красном жупане[23], в каком ходил и покойный пан... — Цоб, цоб, цобе! гей! Вот мы, добродию, и приехали.

Лапчинский увидел действительно перед собою низенькие ворота, редко убитые впоперек положенными досками, какие и теперь можно видеть почти у каждого малороссийского поселянина. Лай собак залился по лесу, и старая женщина, в накинутом на плеча тулупе, вышла отворить ворота. Глазам нашего путника представился небольшой дворик, обнесенный забором из болотного тростника, несколько сараев и хлевов, укрытых таким же тростником, и обыкновенная малороссийская хата. На дворе навален был ворох ульев, из которых многие развешаны были на деревьях, нагибавших со всех сторон любопытные ветви свои во двор, как будто низкая буколическая жизнь[24] его могла доставить им, величественным, занимательное зрелище. Позади двора тянулось еще какое-то строение, которого за темнотою нельзя было распознать. По всему можно было заключить, что имение сие принадлежало слишком зажиточному козаку: в тогдашние времена не у всякого могло найтись подобное великолепие. Пока хозяин занимался выгрузкою своего вьюка, Лапчинскому было довольно времени рассмотреть внутренность этого обиталища. Все в нем было почти так же, как и ныне у простолюдимов Малороссии: против дверей несколько окон, перед ними стол, на котором заметил он ржаной хлеб и соль, не снимавшиеся с него никогда в знак того, что гость во всякое время может найти радушный прием себе[25]. Всю комнату обходили липовые широкие и узкие лавки; у дверей громоздилась печь с отверстием внизу, заслоненным частою решеткою, из-за которой выглядывали куры, гуси, индейки и домашние кролики. Каждый из сих бессловесных жильцов суетился по-своему: пищал, кудахтал, гоготал и давал знать, что он нимало не последнее из творений. На полу мальчишка лет четырех колотил огромным подсолнечником по опрокинутому горшку, между тем как другой, годом постарее, душил за горло кота, напевая какую-то песню, которую, верно, от частого повторения его матери, заучил навеки. Перед большим окованным сундуком сидела девочка лет одиннадцати, держа на руках грудного ребенка, плакавшего изо всех сил, несмотря на то что она, желая забавить его, побрякивала огромным замком и стращала малютку вошедшим гостем. На стене висели: серп, сабля, ружье, которого замок был развинчен и лежал близ него на полке, вероятно, отложенный для починки, секира, турецкий пистолет, еще ружье, неопущенная коса[26] и коротенькая нагайка — орудия, с незапамятных времен вечно враждовавшие между собою и которые непонятный человек заставляет мириться, несмотря на несходные их свойства.

— Прошу не погневаться, добродию, что заставил вас ждать немного, — сказал вошедший хозяин. — Так проклятая ярмарка ошеломила меня, что до сих пор в голове базар ходит. Счастье еще, что старухи моей нет дома, а то бы она вымыла мне голову. Дома только нас: я да теща.

При сем слове вошла та самая старуха, которая отворяла ворота. С каким-то грустным чувством рассматривал ее путник: казалось, перед ним стояла жертва могилы, в которой сильная природа нарочно удерживала жизнь, чтобы показать человеку всю ничтожность долголетия, к коему так жадно стремятся его желания. Могильное равнодушие разливалось на усеянных морщинами чертах ее. Ни искры какой-нибудь живости в глазах! мутные, они устремлялись порой на него; но тот бы обманулся, кто прочитал бы в них что-нибудь похожее на любопытство. Они ни на что не глядели; им все казалось смутно[27], как не совсем проснувшемуся человеку. Покамест предавался он таким чувствам, старуха отправилась на печь, всегдашнее свое жилище, весь мир свой, который так же казался ей просторен и люден, как и всякий другой; а хозяин обратился к детям своим.

— Ай да Федот! — говорил он, поднимая одною рукою под потолок мальчика с подсолнечником. — Где ты взял такой страшный сонечник?* да этим ты как-нибудь человека убьешь! Ты что там делаешь, Карпо? кота душишь? какой же я тебе гостинец привез! Ступай же, собачий сын! что ж ты стоишь и рот разинул? Вот, как видите, добродию, сто раз толкую, что я его батька; до сих пор не верит, ледача детина!** А ты, плакса, долго будешь реветь!? А подайте мне батог! вот я его! Давай его сюда, Маруся; я сейчас за окошко: пусть там съедят его волки либо ляхи...

— Тебя-таки, земляк, Бог наделил детьми? — сказал гость наш своему хозяину.

— Да не без того, мосьпане! всех-то их у меня семеро. Два уже поженились на чужой стороне, только черт знает какое приданое взяли за невестами: по сажени земли, на которой ничего не родится, кроме полыни и бурьяну[28]. Что ж ты, Федот, не скажешь спасибо? пан дает пряник, а он и не поклонится. Не извольте целовать его! у него вся рожа выпачкана золою. Были мне с ним порядочные хлопоты. Услышал, что еду на ярмарку: «Возьми и меня, тату!» — «Да куда я тебя дену? там тебя задавят!» — «Нет, не задавят, возьми да и возьми!» — «Да там теперь столько цыганов, что еще украдут тебя, и тогда поминай как звали». — «Возьми, да и только!» Что станешь делать? плачу такого натворил, что Боже упаси. Насилу унял его обещанием привезти медового коня с золотой головою.

* Подсолнечник, по малороссийскому произношению.
** Негодный ребенок.

Ну, Маруся, матери незачем дожидаться: давай-ка нам вечерять; баба уж, верно, спит! Так до кого, добродию, — продолжал он, вдруг оборотясь к гостю и садясь за стол, — говоришь ты, едешь? у меня под старость голова как дырявое ведро: сколько ни лей воды в него, все пусто; сколько ни толкуй умных речей, все позабудет.

— Как, земляк? разве я не сказал тебе, что до Глечика? — отвечал гость, немного удивленный такою странною забывчивостью.

— До миргородского полковника? так нечего тебе и забираться так далеко: не кто другой, как он, сидит перед тобою, мосьпане!

Если бы в это время пуля пролетела мимо ушей Лапчинского, он был бы менее удивлен. Так внезапно, так неожиданно напасть на него врасплох, когда все мысли его разбрелись... когда... нет! не может быть: он ослышался! И глаза его неподвижно устремились на хозяина, как бы желая удостовериться в лживости того, о чем донес ему слух его.

1830



<КРОВАВЫЙ БАНДУРИСТ>

В 1543 году, в начале весны, ночью, тишина маленького городка Лукомья[1] была смущена отрядом рейстровых коронных войск. Ущербленный месяц, вырезываясь блестящим рогом своим сквозь беспрерывно обступавшие его тучи, на мгновение освещал дно провала, в котором лепился этот небольшой городок. К удивлению немногих жителей, успевших проснуться, отряд, которого <прежде> одно уже появление служило предвестием буйства и грабительств, ехал с какою-то ужасающею тишиною. Заметно было, что всю силу напряженного внимания его останавливал тащившийся среди его пленник, в самом странном наряде, какой когда-либо налагало насилие на человека: он был весь с ног до головы увязан ружьями, вероятно, для сообщения неподвижности его телу. Пушечный лафет был укреплен на спине его[2]. Конь едва ступал под ним. Несчастный пленник давно бы свалился, если бы толстый канат не прирастил его к седлу. Осветить бы месячному лучу хоть на минуту его лицо — и он бы, верно, блеснул в каплях кровавого пота, катившегося по щекам его! Но месяц не мог видеть его лица, потому что оно было заковано в железную решетку. Любопытные жители, с разинутыми ртами, иногда решались подступить поближе, но, увидя угрожающий кулак или саблю одного из провожатых, пятились и бежали в свои щедушные домики, закутываясь покрепче в наброшенные на плеча татарские тулупы и продрогивая от свежести ночного воздуха.

Отряд минул город и приближался к уединенному монастырю. Это строение, составленное из двух совершенно противуположных частей, стояло почти в конце города, на косогоре. Нижняя половина церкви была каменная и, можно сказать, вся состояла из трещин; обожжена, закурена порохом, почерневшая, позеленевшая, покрытая крапивою, хмелем и дикими коло-

кольчиками, носившая на себе всю летопись страны, терпевшей кровавые жатвы. Верх церкви с теми изгибистыми деревянными пятью куполами, которые установила испорченная архитектура византийская, еще более изуродованная варваризмом подражателей, был весь деревянный. Новые доски, желтевшие между почернелыми старыми, придавали ей пестроту и показывали, что еще не так давно она была починена богомольными прихожанами. Бледный луч серпорогого месяца, продравшись сквозь кудрявые яблони, укрывавшие ветвями в своей гуще часть здания, упал на низкие двери и на выдавшийся над ними вызубренный <карниз>, покрытый небольшими, своевольно выросшими желтыми цветами, которые на тот раз блестели и казались огнями или золотою надписью на диком карнизе. Один из толпы с неизмеримыми, когда-либо виданными усами, длиннее даже локтей рук его, которого по замашкам и дерзкому повелительному взгляду признать можно было начальником отряда, ударил дулом ружья в дверь. Дряхлые монастырские стены отозвались и, казалось, испустили умирающий голос, уныло потерявшийся в воздухе. После сего молчание снова заступило свое место. Брань на разных наречиях посыпалась из-под огромнейших усов начальника отряда: «Терем-те-те[3], поповство проклятое! А то я знаю, чем вас разбудить!» Раздался пистолетный выстрел, пуля пробила ворота и шлепнулась в церковное окно, стекла которого с дребезгом посыпались во внутренность церкви. Это произвело смятение в кельях, которые примыкали к церкви; показались огни; связка ключей загремела; ворота со скрыпом отворились — и четыре монаха, предшествуемые игуменом, предстали бледные, с крестами в руках.

— Изыдите, нечистые! кромешники![4] — произнес едва слышным дрожащим голосом настоятель. — Во имя Отца, и Сына, и Святого Духа, изыди, диаволе!

— Але[5] то еще и брешет, поганый![В] — прогремел начальник языком, которому ни один человек не мог бы дать имени: из таких разнородных стихий был он составлен. — То брешешь, лайдак[6], же[7] говоришь, что мы дьяволы, а то мы не дьяволы, мы коронные.

— Что вы за люди? я не знаю вас! зачем вы пришли смущать православную церковь?

— Я тебе, псяюха[8], порохом прочищу глаза! Дай нам ключи от монастырских погребов.

— На что вам ключи от наших погребов!

— Я, глупый поп, не буду с тобою говорить. <Але> ты хочешь, басамазенята[9], поговори з моим конем: <нех[10] тебе отвечает из-под...>

— Принеси им, антихристам, ключи, брат Касьян! — простонал настоятель, оборотившись к одному монаху. — Только у меня нет вина! Как

Бог Свят, нет! ни одной бочки, ни бочонка и ничего такого, что бы вам было нужно.

— А <то> мне какое дело! Ребята <хочут> пить. Я тебе говорю, <же> ты, глупый поп, сена, стойла и пшеницы не дашь лошадям, то я их в костел ваш поставлю и тебя сапогом до морды.

Настоятель, не говоря ни слова, возвел на них оловянные свои глаза, которые, казалось, давно уже не принадлежали миру сему, потому что не выражали никакой страсти, и встретился с злобно устремившимися на него глазами иезуита[11]. <Отворотившись от него>, он остановил их на странном пленнике с железным наличником[12]. Вид этот, казалось, поразил почти бесчувственного ко всему, кроме церкви, старца.

— За что вы схватили этого человека? Господи, накажи их трехипостасною силою[13] Своею! Верно, опять какой-нибудь мученик за веру Христову!

Пленник испустил только слабое стенание.

Ключи были принесены — и при свете сонно горевшей светильни вся эта ватага подошла ко входу пещеры, находившейся за церковью. Как только опустились они под земляные безобразные своды, могильная сырость обдала всех. В молчании шел начальствовавший отрядом, и непостоянный огонь светильни, окруженный туманным кружком, бросал в лицо ему какое-то бледное привидение света, тогда как тень от бесконечных усов его подымалась вверх и двумя длинными полосами покрывала всех. Одни только грубо закругленные оконечности лица его были определительно тронуты светом и давали разглядеть глубоко бесчувственное выражение его, показывавшее, что все мягкое умерло и застыло в этой душе, что жизнь и смерть — трын-трава, что величайшее наслаждение — табак и водка, что блаженство там, где все дребезжит и валится от пьяной руки. Это было какое-то смешение пограничных наций. Родом серб, буйно искоренивший из себя всё человеческое в венгерских попойках и грабительствах, по костюму и несколько по языку поляк, по жадности к золоту жид, по расточительности его козак, по железному равнодушию дьявол. Во всё время казался он спокоен; по временам только шумела между усами его обыкновенная брань, особенно когда неровный земляной пол, час от часу уходивший глубже вниз, заставлял его оступаться. Тщательно осматривал он находившиеся в земляных стенах норы, совершенно обсыпавшиеся, служившие когда-то кельями и единственными убежищами в той земле, где в редкий год не проходило по степям и полям разрушение, где никто не строил крепких строений и за́мков, зная, как непрочно их существование. Наконец, показалась деревянная, заросшая мхом, зацвевшая гнилью дверь, закиданная тяжелыми бревнами и каменьями. Пред ней остановился он и оглянул ее значительно снизу доверху. «А ну!» — сказал он, мигнувши бровью на дверь, и от его

волосистой брови, казалось, пахнул ветер. Несколько человек принялись и не без труда отвалили бревна. Дверь отворилась. Боже, какое ужасное обиталище открылось глазам! Присутствовавшие взглянули безмолвно друг на друга прежде, нежели осмелились войти туда. Есть что-то могильно-страшное во внутренности земли. Там царствует в оцепенелом величии смерть, распустившая свои костистые члены под всеми цветущими весями и городами, под всем веселящимся, живущим миром. Но если эта дышущая смертью внутренность земли населена еще живущими, теми адскими гномами, которых один вид уже наводит содрогание, тогда она еще ужаснее. Запах гнили пахнул так сильно, что сначала заняло у всех дух. Почти исполинского роста жаба[14] остановилась неподвижно, выпучив свои страшные глаза на нарушителей ее уединения. Это была четырехугольная, без всякого другого выхода, пещера. Целые лоскутья паутины висели темными клоками с земляного свода, служившего потолком. Обсыпавшаяся со сводов земля лежала кучами на полу. На одной из них торчали человеческие кости; летавшие молниями ящерицы быстро мелькали по ним. Сова или летучая мышь были бы здесь красавицами.

— А чем не светлица? Светлица хорошая! — проревел предводитель. — <Терем-те-те! Лысый бес начхай тебе в кашу!> Але тебе, псяюхе, тут добре будет спать. Сам ложись на ковалки[15], а под голову подмости ту жабу али возьми ее за женку на ночь!

Один из коронных вздумал было засмеяться на это — но смех его так страшно-беззвучно отдался под сырыми сводами, что сам засмеявшийся испугался. Пленник, который стоял до того неподвижно, был столкнут на середину и слышал только, как захрипела за ним дверь и глухо застучали заваливаемые бревна. Свет пропал, и мрак поглотил пещеру.

Несчастный вздрогнул. Ему казалось, что крышка гроба захлопнула над ним, и стук бревен, заваливших вход его, показался стуком заступа, когда страшная земля валится на последний признак существования человека и могильно-равнодушная толпа говорит, как сквозь сон: «Его нет уже, но он был». После первого ужаса он предался какому-то бессмысленному вниманию, бездушному существованию, которому предается человек, когда удар бывает так ужасен, что он даже не собирается с духом подумать о нем, но вместо того устремляет глаза на какую-нибудь безделицу и рассматривает ее. Тогда он принадлежит к другому миру и ничего не разделяет человеческого. Видит без мыслей; чувствует не чувствуя; странно живет. Прежде всего внимание его впилось в темноту. Все было на время забыто, и ужас ее, и мысль о погребении живого. Он всеми чувствами вселился в темноту. И тогда пред ним развернулся совершенно новый, странный мир: ему начали показываться во мраке светлые струи — последнее воспоминание света!

Эти струи принимали множество разных узоров и цветов. Совершенного мрака нет для глаза[16]. Он всегда, как ни зажмурь его, рисует и представляет цветы[в], которые видел. Эти разноцветные узоры принимали или вид пестрой шали, или волнистого мрамора, или, наконец, тот вид, который поражает нас своею чудною необыкновенностью, когда рассматриваем в микроскопе часть крылышка или ножки насекомого. Иногда стройный переплет окна, — которого, увы! не было в его темнице, — проносился перед ним. Лазурь фантастически мелькала в черной его раме, потом изменялась в кофейную, потом исчезала совсем и обращалась в черную, усеянную или желтыми, или голубыми, или неопределенного цвета крапинами. Скоро весь этот мир начал исчезать: пленник чувствовал что-то другое. Сначала чувствование это было безотчетное; потом начало приобретать определительность. Он слышал на руке своей что-то холодное; пальцы его невольно дотронулись к чему-то склизкому. Мысль о жабе вдруг осенила его!.. Он вскрикнул и разом переселился в мир действительный. Мысли его окунулись вдруг в весь ужас существенности. К тому еще присоединилось изнурение сил, ужасный спертый воздух: все это повергло его в продолжительный обморок.

Между тем отряд коронных войск разместился в монастырских кельях как дома, высылал монахов подчищать конюшни и пировал, радуясь, что наконец схватил того, кто им был нужен.

— Попался, псяюха! — говорил усатый предводитель. — Хотел бы я знать, чего они так быстры на ноги, собачьи дети? Пойдем, хлопцы, доведаемся, кто с ним был, лысый бес начхай ему в кашу!

Жолнеры[17] опустились вниз и нашли пленника лежащего без чувств.

— Дай ему понюхать чего-нибудь!

Один из них немедленно насыпал ему на руку пороху, к которой прислонилась его голова, и зажег его. Пленник чихнул и поднял голову, будто после беспокойного сна.

— Толкните его дубиной! рассказывай, терем-те-те, бабий сын! Але кто с тобою разбойничал? Двенадцать дьяблов твоей матке! Где твои ребята?

Пленник молчал.

— А то я тебе спрашиваю, псяюха! Скиньте с него наличник! Сорвите с него епанчу[18]! А то лайдак! Але то я знаю добре твою морду: зачем ее прячешь?

Жолнеры принялись — разорвали верхнюю эпанчу[в] тонкого черного сукна, которою закрывался пленник, сорвали наличник... и глазам их мелькнули две черные косы, упавшие с головы на грудь, очаровательная белизна лица, бледного, как мрамор, бархат бровей, обмершие губы и девственные обнаженные груди, стыдливо задрожавшие, лишенные покрова.

Начальник отряда коронных войск окаменел от изумления; команда тоже.

— Але то баба? — наконец обратился он к ним с таким вопросом.

— Баба! — отвечали некоторые.

— А то как могла быть баба? Мы козака ловили.

Предстоящие пожали плечами.

— На цугундру[19] бабу! Как ты, глупая баба, дьявол бы тебя!.. Але как ты смела?.. рассказывай, где тот псяюха, где Остржаница?

Полуживая не отвечала ни слова.

— То тебя заставят говорить, лысый бес начхай тебе в кашу! — кричал в ярости воевода. — Ломайте ей руки!

И два жолнера схватили ее за обнаженные руки, белизною равнявшиеся пыли волн. Раздирающий душу крик раздался из уст ее, когда они стиснули их жилистыми руками своими.

— Что? скажешь теперь, бесова баба?

— Скажу! — простонала жертва.

— Оставь ее! Рассказывай, где тот бабий сын, сто дьяблов его матке!

— Боже! — проговорила она тихо, сложив свои руки. — Как мало сил у женщины! Отчего я не могу стерпеть боли!

— То мне того не нужно! Мне нужно знать, где он?[в]

Губы несчастной пошевелились и, казалось, готовы были что-то вымолвить, как вдруг это напряжение их было прервано неизъяснимо странным происшествием: из глубины пещеры послышались довольно внятно умоляющие слова: «Не говори, Ганулечка! Не говори, Галюночка[20]!» Голос, произнесший эти слова, несмотря на тихость, был невыразимо пронзителен и дик. Он казался чем-то средним между голосом старика и ребенка. В нем было какое-то, можно сказать, нечеловеческое выражение; слышавшие чувствовали, как волосы шевелились на головах и холод трепетно бегал по жилам; как будто это был тот ужасный *черный голос*, который слышит человек перед смертью[21].

Допросчик содрогнулся и положил невольно на себя крест, потому что он всегда считал себя католиком. Минуту спустя уже ему показалось, что это только почудилось. Жолнеры обшарили углы, но ничего не нашли, кроме жаб и ящериц.

— Говори! — проговорил снова неумолимый допросчик, однако ж не присовокупив на этот раз никакой брани. Она молчала.

— А ну, принимайтесь! — При этом густая бровь воеводы мигнула предстоящим.

Исполнители схватили ее за руки.

И те снежные руки, за которые бы сотни рыцарей переломали копья, те прекрасные руки, поцелуй в которые уже дарит столько блаженства чело-

веку, эти белые руки должны были вытерпеть адские мучения! Не многие глаза выдержали бы то ужасное зрелище, когда один из них с варварским зверством свернул ей два пальца, как перчатку. Звук хрустевших костей был тих, но его, казалось, слышали самые стены темницы. Сердцу с не совсем оглохлыми чувствами недостало бы сил выслушать этот звук. Страшно внимать хрипению[в] убиваемого человека; но если в нем повержена сила, оно может вынести и не тронуться его страданиями. Когда же врывается в слух стон существа слабого, которое ничто пред нашею силою, тогда нет сердца, которого бы даже сквозь самую ярость мести не ужалила ядовитая змея жалости.

Пленница ни звука не издала. Лицо ее только означилось мгновенным судорожным движением муки, и губы задрожали.

— Говори, я тебя!.. поганая лайдачка!.. — произнес воевода, которому муки слабого доставляли какое-то сладострастное наслаждение, которое он мог только сравнить с дорого доставшеюся рюмкою водки.

Но только что он произнес эти слова, как снова тот же нестерпимый голос так же явственно раздался и так же невыносимо жалобно произнес: «Не говори, Ганулечка!»[в]

На этот раз страх запал глубже в душу начальника.

Все обратились в ту сторону, откуда послышался этот странный голос — и что же?..

Ужас оковал их. Никогда не мог предстать человеку страшнейший фантом[22]!.. Это был... ничто не могло быть ужаснее и отвратительнее этого зрелища! Это был... у кого не потряслись бы все фибры, весь состав человека! Это был... ужасно! — это был человек... но без кожи. Кожа была с него содрана. Весь он был закипевший кровью. Одни жилы синели и простирались по нем ветвями[23]!.. Кровь капала с него!.. Бандура на кожаной ржавой перевязи висела на его плече. На кровавом лице страшно мелькали глаза.

Невозможно было описать ужаса присутствовавших. Все обратились, казалось, в неподвижный мрамор со всеми знаками испуга на лицах. Но, к удивлению, это появление, отнявши силу у сильных, возвратило ее слабому. Собравши всю себя, всю душевную крепость, молодая узница тихо поползла к дверям и вступила в земляной коридор, которого гнилой воздух показался ей райским в сравнении с ее темницей...

1832 год



<„МНЕ НУЖНО ВИДЕТЬ ПОЛКОВНИКА“>

<I>

— Мне нужно к полковнику. Я хочу видеть самого полковника.

— Тебе полковника... — говорил полунасмешливым и полупрезрительным тоном сторожевой козак, потряхивая откидными рукавами алого цвета с золотым шнурком и поглядевши пристально на просителя, почти отрока, в темном длинном кунтуше[1]. — Подожди немножко.

— Мне наскучило ждать, я устал и очень долго ожидаю.

— Подожди немножко.

— Да до коих пор ждать мне?

— А вот, пока подрастешь, — отвечал хладнокровно козак, готовя и прочищая свою трубку.

— Дядюшка, ты мой батька, мать моя родная, пусти к полковнику!

— Какого тебе дьявола нужно? Пан полковник не станет говорить с такими, как ты.

— Не будет говорить, так прогонит. Пусти только меня.

— Нельзя, пан полковник теперь спит.

— Лжет он. Я не сплю, — послышался голос из ставки[2].

Козак привстал. Молодой проситель вздрогнул: бледность вдруг осенила его лицо, и сердце начало так сильно биться, что другому можно было слышать его.

— Ну, ступай, иди. Чего ж стал!

Но обеспамятевший насилу мог собраться с духом. В это время пошли в ставку эсаул и полковой писарь[3]. Обрадовавшись этому случ<аю>, он скрепился и пошел вслед за ними.

<II>

— Мне нужно видеть полковника, я к нему имею дело, — говорил почти отрок 17 лет.

— Тебе полковника?.. — произнес с расстановкою сторожевой козак перед большою ставкою, рассматривая и переминая на своей ладони с какой-то недоверчивостью грубый крошеный табак — это странное растение, которое с такою изумительною быстротою разнесла во все концы мира новооткрытая часть света. Трубка давно у него была в зубах. — На что тебе полк<овник>? — При этом <он> взглянул на просителя. Это был почти отрок, готовящийся быть юношею, лет 16, уже с мужественными чертами лица, воспитанного солнцем <и> здоровым воздухом, в полотняном крашеном кунтуше и шароварах[4]. — С тобою не станет говорить полковник, — примолвил <козак, поглядев> на него почти презрительно и <*1 нрзб.*> закинув назад алый рукав с золотым шнурком.

— Отчего же он не станет со мною говорить?

— Кто ж с тобою станет говорить? ты еще недавно молоко сосал. Если б у тебя был хоть суконный кунтуш да пищаль, тогда бы конечно... Ведь ты верно попович или школяр? Знаешь ли ты этот инструмент? — примолвил <козак> с видом самодовольной гордости, указав на трубку.

— Да думать...

Но молодой воин остановился, увидевши, что козак вдруг онемел, потупил глаза в землю и снял шапку, до того заломленную набекрень. Двое пожилых мужчин — один в коротком плаще с рукавами, выстеганными золотом, с узорно вычеканенными пистолетами, другой в шитом кафтане с серебряною привесною к поясу чернильницею — прошли мимо и вошли в ставку. Дрожа и бледнея, шмыгнул за ними молодой человек и вошел в ставку.

Молодой человек ударил поклон в самую землю от страха, увидевши, как вошедшие перед ним богатые кафтаны поклонились в пояс и почтительно потупили глаза в землю с тем безгранич<ным> повиновением, которое так странно вмещалось вместе с необузданно<стью>, чем особенно славились козацкие войска. Прямо на разостланном ковре сидел полковн<ик>. Ему, казалось на вид, было лет 50. Волоса у него стали седеть, сизые усы величаво опускались вниз. Длинный синий рубец на щеке и лбу тянулся по его почти бронзовому лицу. Кажется, нельзя было отыскать никакой резкой характерной черты, но просто оно выражало с спокойствием уверенность коза<ка>. Глядя на него, можно было тотчас узнать, что у него рука железная и мощно может управлять уздою. На нем были широкие, синие с серебром, шаровары. Верхнее платье небрежно валялось на полу.

Несколько пистолетов и ружей стояли, и висели по углам ставки уздечки; в углу куль соломы. Полковник сам своею рукой чинил свое седло, когда вошли к нему писарь и эсаул.

— Здравствуйте, панове, мои верные, мои добрые товарищи. Вот вам приказ: не пускать далеко на попас[5], потому что татарва теперь рыскает по степям. Идти как можно подальше, и выбирайте траву повыше и шапки даже не снимайте. Да чтоб козаки не стреляли по дорогам дрохв[6] и гусей, потому что и порох избавят даром, да что за мясоед[7] такой козаку? Сухари та вода — то козацкая еда[8]. А вы, мой любый кум и мой любезный приятель (при этом он оборотился к писарю), сделайте сей же час прокличку и запишите всех, кто налицо. Да смотрите оба, что<бы> все было как следует; а то я вам скажу, вчера я видел, как козак кланялся что<-то> слишком часто <на> коне. Я хотел было <*1 нрзб.*> его, да жаль было заряда: у меня пистолет был заряжен хорошим порохом...





Статьи. Заметки. Наброски

ВЗГЛЯД НА СОСТАВЛЕНИЕ МАЛОРОССИИ*

I. Какое ужасно-ничтожное время представляет для России XIII век! Сотни мелких государств, единоверных, одноплеменных, одноязычных, означенных одним общим характером и которых, казалось, против воли соединяло родство, — эти мелкие государства так были между собою разъединены, как редко случается с разнохарактерными народами. Они были разъединены не ненавистью — сильные страсти не досягали сюда, — не постоянною политикою — следствием непреклонного и ума и познания жизни. Это был хаос браней за временное, за минутное, браней разрушительных, потому что они мало-помалу извели народный характер, едва начинавший принимать отличительную физиогномию при сильных норманских князьях[1]. Религия, которая более всего связывает и образует народы, мало на них действовала. Религия не срослась тогда тесно с законами, с жизнью. Монахи, настоятели, даже митрополиты были схимники, удалившиеся в свои кельи и закрывшие глаза для мира; молившиеся за всех, но не знавшие, как схватить с помощью своего сильного оружия, веры, власть над народом и возжечь этой верой пламень и ревность до энтузиазма, который один властен соединить младенчествующие народы и настроить их к великому. Здесь была совершенная противоположность Западу, где самодержавный папа, как будто невидимою паутиною, опутал всю Европу своею религиозною властью, где его могущественное слово прекращало брань или возжигало ее, где угроза страшного проклятия обуздывала страсти и полудикие народы[2]. Здесь монастыри были убежищем тех людей,

---

* Эскиз этот составлял введение к Истории Малороссии; но так как вся первая часть Истории Малороссии переделана вовсе, то он остался заштатным и помещается здесь как совершенно отдельная статья.

которые кротостью и незлобием составляли исключение из общего характера и века. Изредка пастыри из пещер и монастырей увещали удельных князей; но их увещания были напрасны: князья умели только поститься и строить церкви[3], думая, что исполняют этим все обязанности христианской религии, а не умели считать ее законом и покоряться ее велениям. Самые ничтожные причины рождали между ими бесконечные войны. Это были не споры королей с вассалами или вассалов с вассалами — нет! это были брани между родственниками, между родными братьями, между отцами и детьми. Не ненависть, не сильная страсть воздымала их,— нет! брат брата резал за клочок земли или просто чтобы показать удальство. Пример ужасный для народа! Родство рушилось, потому что жители двух соседних уделов, родственники между собою, готовы были каждую минуту восстать друг против друга с яростью волков[4]. Их не подвигала на это наследственная вражда, потому что кто был сегодня друг, тот завтра делался неприятелем. Народ приобрел хладнокровное зверство, потому что он резал, сам не зная за что. Его не разжигало ни одно сильное чувство — ни фанатизм, ни суеверие, ни даже предрассудок. Оттого, казалось, умерли в нем почти все человеческие сильные благородные страсти, и если бы явился какой-нибудь гений, который бы захотел тогда с этим народом совершить великое, он бы не нашел в нем ни одной струны, за которую бы мог ухватиться и потрясти бесчувственный состав его, выключая разве физической, железной силы. Тогда история, казалось, застыла и превратилась в географию: однообразная жизнь, шевелившаяся в частях и неподвижная в целом, могла почесться географическою принадлежностью страны.

II. Тогда случилось дивное происшествие. Из Азии, из средины ее, из степей, выбросивших столько народов в Европу, поднялся самый страшный, самый многочисленный, совершивший столько завоеваний, сколько до него не производил никто. Ужасные монголы, с многочисленными, никогда дотоле не виданными Европою табунами, кочевыми кибитками, хлынули на Россию, осветивши путь свой пламенем и пожарами — прямо азиатским буйным наслаждением. Это нашествие наложило на Россию двухвековое рабство и скрыло ее от Европы. Было ли оно спасением для нее, сберегши ее для независимости, потому что удельные князья не сохранили бы ее от литовских завоевателей[5], или оно было наказанием за те беспрерывные брани, — как бы то ни было, но это страшное событие произвело великие следствия: оно наложило иго на северные и средние русские княжения, но дало между тем происхождение новому славянскому поколению в южной России, которого вся жизнь была борьба и которого историю я взялся представить.

III. Южная Россия более всего пострадала от татар. Выжженные города и степи, обгорелые леса, древний разрушенный Киев, безлюдье и пусты-

ня — вот что представляла эта несчастная страна! Испуганные жители разбежались или в Польшу, или в Литву; множество бояр и князей выехало в северную Россию. Еще прежде народонаселение начало заметно уменьшаться в этой стороне. Киев давно уже не был столицею[6]; значительные владения были гораздо севернее. Народ, как бы понимая сам свою ничтожность, оставлял те места, где разновидная природа начинает становиться изобретательницею; где она раскинула степи прекрасные, вольные, с бесчисленным множеством трав почти гигантского роста, часто неожиданно среди них опрокинула косогор, убранный дикими вишнями, черешнями, или обрушила рытвину, всю в цветах, и по всем вьющимся лентам рек разбросала очаровательные виды, протянула во всю длину Днепр с ненасытными порогами, с величественными гористыми берегами и неизмеримыми лугами, и все это согрела умеренным дыханием юга. Он оставлял эти места и столплялся в той части России, где местоположение, однообразно-гладкое и ровное, везде почти болотистое, истыканное печальными елями и соснами, показывало не жизнь живую, исполненную движения, но какое-то прозябение, поражающее душу мыслящего. Как будто бы этим подтвердилось правило, что только народ сильный жизнью и характером ищет мощных местоположений или что только смелые и поразительные местоположения образуют смелый, страстный, характерный народ.

IV. Когда первый страх прошел, тогда мало-помалу выходцы из Польши, Литвы, России начали селиться в этой земле, настоящей отчизне славян, земле древних полян, северян, чистых славянских племен[7], которые в Великой России начинали уже смешиваться с народами финскими, но здесь сохранялись в прежней цельности, со всеми языческими поверьями, детскими предрассудками, песнями, сказками, славянской мифологией, так простодушно у них смешавшейся с христианством. Возвращавшиеся на свои места прежние жители привели по следам своим и выходцев из других земель, с которыми от долговременного пребывания составили связи. Это население производилось боязненно и робко, потому что ужасный кочевой народ был не за горами: их разделяли или, лучше сказать, соединяли одни степи.

Несмотря на пестроту населения, здесь не было тех браней междоусобных, которые не переставали во глубине России: опасность со всех сторон не давала возможности заняться ими. Киев — древняя матерь городов русских, сильно разрушенный страшными обладателями табунов, долго оставался беден и едва ли мог сравниться со многими, даже не слишком значительными, городами северной России[8]. Все оставили его, даже монахи-летописцы, для которых он всегда был священ. Известия о нем разом прервались, и, несмотря на то, что там оставалась еще отрасль князей русских,

ничто не спасло его от полувекового забвения. Изредка только, как будто сквозь сон, говорят летописцы, что он был страшно разорен, что в нем были ханские баскаки[9], — и потом он от них задернулся как бы непроницаемою завесою.

V. Между тем как Россия была повергнута татарами в бездействие и оцепенение, великий язычник Гедимин[10] вывел на сцену тогдашней истории новый народ, народ бедный и жизнью, и средствами для жизни, населявший дикие сосновые леса нынешней Белоруссии, еще носивший звериную кожу вместо одежды, еще боготворивший Перуна и поклонявшийся древнему огню в нетроганных топором рощах, платививший прежде дань русским князьям, известный под именем литовцев[11]. И этот народ при своем князе Гедимине сделался самым видным на огромном северо-востоке Европы! Тогда города, княжества и народы на западе России были какие-то отрывки, обрезки, оставшиеся за гранью татарского порабощения. Они не составляли ничего целого, и потому литовский завоеватель почти одним движением языческих войск своих, совершенно созданных им, подверг своей власти весь промежуток между Польшей и татарской Россией. Потом двинул он войска свои на юг, во владения волынских князей. Весьма естественно, что успех сопровождал его везде. В Луцке, однако ж, князь Лев сильно сопротивлялся, но не в силах был отстоять земель своих. Гедимин, назначив старост и начальников, шел далее на юг, к самому сердцу южной России, к Киеву. Убежавший луцкий князь Лев успел кое-как уговорить киевского князя Станислава выйти с своими немноголюдными дружинами навстречу грозному победителю: дружины были усилены союзниками-татарами; но все бежало перед мощным литовцем. Гедимин, сильно поразив их при реке Ирпени, вступил с торжеством в Киев, носивший на себе свежую печать татарского посещения, и постановил в нем правителем князя Миндова Ольшанского, принявшего греческую веру[12]. Итак, литовский завоеватель у самых татар вырвал почти перед глазами их находившуюся землю! Это должно бы, казалось, возбудить борьбу между двумя народами, но Гедимин был человек ума крепкого, был политик, несмотря на видимую свою дикость и свое невежественное время. Он умел сохранить дружбу с татарами, владея отнятыми у них землями и не платя никакой дани. Этот дикий политик, не знавший письма и поклонявшийся языческому богу, ни у одного из покоренных им народов не изменил обычаев и древнего правления[13]: всё оставил по-прежнему, подтвердил все привилегии и старшинам строго приказал уважать народные права, нигде даже не означил пути своего опустошением. Совершенная ничтожность окружавших его народов и прямо исторических лиц придают ему какой-то исполинский размер. Он умер в 1340 году; мертвый был посажен на коня с своим оруженосцем, с охотничьими собаками,

соколами и сожжен по языческому обычаю литовцев[14]. Вслед за ним такие же два сильные характера, Ольгерд и Ягайло, вознесли Литву[15], употребляя ту же самую политику с присоединенными народами.

VI. И вот южная Россия, под могущественным покровительством литовских князей, совершенно отделилась от северной. Всякая связь между ими разорвалась; составились два государства, называвшиеся одинаким именем — Русью, одно под татарским игом, другое под одним скипетром с литовцами*. Но уже сношений между ими не было. Другие законы, другие обычаи, другая цель, другие связи, другие подвиги составили на время два совершенно различные характера. Каким образом это произошло — составляет цель нашей истории. Но прежде всего нужно бросить взгляд на географическое положение этой страны, что непременно должно предшествовать всему, ибо от вида земли зависит образ жизни и даже характер народа. Многое в истории разрешает география.

Эта земля, получившая после название Украины, простирающаяся на север не далее 50° широты, более ровна, нежели гориста. Небольшие возвышенности встречаются очень часто, но ни одной гористой цепи. Северная ее часть перемежается лесами, содержавшими прежде в себе целые шайки медведей и диких кабанов; южная вся открыта, вся из степей, кипевших плодородием, но только изредка засевавшихся хлебом. Девственная и могучая почва их своевольно произращала бесчисленное множество трав. Эти степи кипели стадами сайг[16], оленей и диких лошадей, бродивших табунами. С севера на юг проходит великий Днепр, опутанный ветвями впадающих в него рек. Правый берег его горист и представляет пленительные и вместе дерзкие местоположения; левый — весь из лугов, покрытых рощами, потоплявшимися водою. Двенадцать порогов — выросших из дна реки скал[17] — недалеко от впадения его в море преграждают течение и делают плавание по нем чрезвычайно опасным. Около порогов водился род диких коз — сугаки, с белыми лоснящимися рогами, с мягкою, атласною шерстью[18]. Прежде во́ды в Днепре были выше, разливался он шире и далее потоплял луга свои.

---

* К этому месту относится черновой набросок из *РП*, не включенный в печатную редакцию: «Литовские князь<я> на северо-востоке Европы были сильнейшие владетели. Когда в Польше произошли Великие смуты по случаю смерти [бездетного] Короля Людовика, не оставившего сыновей, [престол] была коронована тринадцатилетняя его дочь, знаменитая красавица Ядвига. [Кучи] женихов [окружили ее двор], жадных ее совершенств и более блистательных, стеклись в Польшу. Но Литовский князь Ягайло взял перевес и получил руку венценосной красавицы с условием <*1 нрзб.*> присоединить [Литвы] свои пространные руские <sic!> владения и литовские владения, [самому] принять Христианскую веру вместе с Литовским народом. [И вот] Таким образом, три [народа] зем<ли>: Литва, южная Росия <sic!> и Польша соединились вместе. [Папа] Ягайло провозгласил <*вписано над строкой: 4 нрзб.*> себя Владиславом, и Папа приобрел в свою обширную, обнимавшую почти все моря <*1 нрзб.*> новую паству» (*ПССиП*. Т. 3. С. 355).

Когда воды начинают опадать, тогда вид поразителен: все возвышенности выходят и кажутся бесчисленными зелеными островами среди необозримого океана воды. В Днепр впадает только одна судоходная река, Десна, проходящая в северной Украине, с лесистыми берегами, почти с обеих сторон потопляемыми водою; но и эта река только в некоторых местах судоходна. Кроме того, на севере Остер и часть Сейма, на юге Сула, Псел с цепью видов, Хорол и другие; но ни одна из них не судоходна. Сообщения никакого нет, произведения не могли взаимно размениваться — и потому здесь не мог и возникнуть торговый народ*. Все реки разветвляются посередине, ни одна из них не протекала на рубеже и не служила естественною гранью с соседственными народами. К северу ли с Россией, к востоку ли с кипчакскими татарами[19], к югу ли с крымскими, к западу ли с Польшей — везде она граничила полем, везде равнина, со всех сторон открытое место. Будь хотя с одной стороны естественная граница из гор или моря — и народ, поселившийся здесь, удержал бы политическое бытие свое, составил бы отдельное государство. Но беззащитная, открытая земля эта была землей опустошений и набегов, местом, где сшибались три враждующие нации, унавожена костями, утучнена кровью. Один татарский наезд разрушал весь труд земледельца: луга и нивы были вытаптываемы конями и выжигаемы, легкие жилища сносимы до основания, обитатели разгоняемы или угоняемы в плен вместе со скотом. Это была земля страха, и потому в ней мог образоваться только народ воинственный, сильный своим соединением, народ отчаянный, которого вся жизнь была бы повита и взлелеяна войною. И вот выходцы вольные и невольные, бездомные, те, которым нечего было терять, которым жизнь — копейка, которых буйная воля не могла терпеть законов и власти, которым везде грозила виселица, расположились и выбрали самое

* Это положение уточняется в черновом наброске, сделанном при чтении книги Боплана на отдельном листе: «Народ не мог сделаться торговым, получивши заматерелость, следствие местоположения. Никогда малороссий<ские> купцы не были значительны. Всегда или руские <sic!> [или] ныне, или греки и жиды прежде держали в руках своих торговлю.

Этот народ не имел строгой расчетливости и размера на всю жизнь, следствие местоположения, беспечность, равнодушие к богатству и неуверенность в нем. Часто всё, накопленное трудами, обращало<сь> в одну праздничную попойку, в увеселение и забвение на одну минуту.

Особенная страсть к увеселениям, к общественным гульбищам. С начала весны все девки и парни выходят на улицу из хат и поют [в которой] приветствия весне. Улица делается всеобщим собранием.

Как просто, как высоко постигнуто это удержимое средство (о свадьбах). Человек ничего так не боится, как стыда.

Вольность в обращении.

Всё, что до наслажденья относилось, всё это имел народ. Он в этом не отказывал себе никогда. Разнообразие разных блюд, совершенно [приличных] отличных в разные времена года, в разных случаях» (*Ар.*, 409—410).

опасное место в виду азиатских завоевателей — татар и турков. Эта толпа, разросшись и увеличившись, составила целый народ, набросивший свой характер и, можно сказать, колорит на всю Украину, сделавший чудо — превративший мирные славянские поколения в воинственные, известный под именем козаков, народ, составляющий одно из замечательных явлений европейской истории, которое, может быть, одно сдержало это опустошительное разлитие двух магометанских народов, грозивших поглотить Европу.

VII. Если не к концу XIII, то к началу XIV века можно отнести появление Козачества[20], к тем векам, когда святая, сильная ревность к религии еще не остыла в Европе, когда почти вдруг во всех концах беспрестанно образовывались братства и ордена рыцарские, составлявшие странную противоположность с тогдашним разъединением, с изумительным самоотвержением разрушившие и отвергнувшие условия обыкновенной жизни, безбрачные, суровые, неотразимые соглядатаи дел мира, железные поборники веры Христовой. Чем слабее была связь тогдашних государств, тем сильнее росла ужасная сила этих обществ. Разлитие магометанства и магометанских новых сильных народов, уже врывавшихся в Европу, увеличивало их еще более. Дух этих братств распространился везде и не между рыцарями и не для подобных предназначений. В это время явился близ порогов городок, или острог, Черкасы, построенный удалыми выходцами, имя которого звучит обитателями Кавказа[21], которого даже построение многие приписывают им и где было главное сборище и местопребывание козаков. Вначале частые нападения татар на северную часть Украины заставляли жителей спасаться бегством, приставать к козакам и увеличивать их общество*. Это было пестрое сборище самых отчаянных людей пограничных наций. Дикий горец, ограбленный россиянин, убежавший от деспотизма панов польский холоп, даже беглец исламизма татарин, может быть, положили первое начало этому странному обществу по ту сторону Днепра, впослед-

---

* Вероятно, к этому месту относится черновой набросок, не вошедший в печатную редакцию: «Какое было первоначальное устройство этого необыкновенного <...> Какие были первоначальные законы для вольнолюбивой и буйной вольницы, я об этом теперь ничего не скажу (хотя всякой может себе верно представить, как должно было быть тогда), потому что до времен Ружинского[22] ничего [об] не известно. [Ни один инок-летописец не укрывался в монаст<ыре>] и самых монастырей нигде не было в этой изруинованной земле. Летописи писались тогда не пером, а кривыми саблями и пищаля<ми>. Ни один инок-времяннописец не укрывался в монастыре. Иностранцы, особливо впоследствии французские инженеры, писавшие об Украйне[23], нигде не доискивали<сь> сведений исторически<х>, не расспрашиваясь старых, еще касавшихся прежними годами своими времен патриархальных, еще живо хранивших в памяти первые подвиги и дела. Они большею частью <*1 нрзб.*> в географию в настоящем, тогдашнем виде. Как досадно, когда минувшее, может быть кипевшее событиями, бежит и темнеет в виду всех [людей] и ни один не хватится остановить его. Это похоже — но вперед, моя история[24]» (*Ар.*, 410).

ствии постановившему целью, подобно орденским рыцарям, вечную войну с неверными. Это скопище людей не имело никаких укреплений, ни одного за́мка. Землянки, пещеры и тайники в днепровских утесах, часто под водою, на днепровских островах, в гуще степной травы, служили им укрытием для себя и для награбленных богатств. Гнездо этих хищников было невидимо; они налетали внезапно и, схвативши добычу, возвращались назад. Они поворотили против татар их же образ войны — те же азиатские набеги. Как жизнь их определена была на вечный страх, так точно, с своей стороны, они решились быть страхом для соседей. Татары и турки должны были всякий час ожидать этих неумолимых обитателей порогов. Магометанский сосед не знал, как назвать этот ненавистный народ. Если кто хотел к кому выразить величайшее презрение, то называл его козаком[в].

VIII. Большая часть этого общества состояла, однако ж, из первобытных, коренных обитателей южной России. Доказательство — в языке, который, несмотря на принятие множества татарских и польских слов, имел всегда чисто славянскую южную физиогномию, приближавшую его к тогдашнему русскому, и в вере, которая всегда была греческая. Всякий имел полную волю приставать к этому обществу, но он должен был непременно принять греческую религию[25]. Это общество сохраняло все те черты, которыми рисуют шайку разбойников; но, бросивши взгляд глубже, можно было увидеть в нем зародыш политического тела, основание характерного народа, уже вначале имевшего одну главную цель — воевать с неверными и сохранять чистоту религии своей. Это, однако ж, не были строгие рыцари католические: они не налагали на себя никаких обетов, никаких постов; не обуздывали себя воздержанием и умерщвлением плоти; были неукротимы, как их днепровские пороги, и в своих неистовых пиршествах и бражничестве позабывали весь мир. То же тесное братство, которое сохраняется в разбойничьих шайках, связывало их между собою. Все было у них общее — вино, цехины[26], жилища. Вечный страх, вечная опасность внушали им какое-то презрение к жизни. Козак больше заботился о доброй мере вина, нежели о своей участи. Но в нападениях видна была вся гибкость, вся сметливость ума, все уменье пользоваться обстоятельствами. Нужно было видеть этого обитателя порогов в полутатарском, полупольском костюме, на котором так резко отпечаталась пограничность земли, азиатски мчавшегося на коне, пропадавшего в густой траве, бросавшегося с быстротою тигра из неприметных тайников своих или вылезавшего внезапно из реки или болота, обвешанного тиною и грязью, казавшегося страшилищем бегущему татарину[в]. Этот же самый козак, после набега, когда гулял и бражничал с своими товарищами, сорил и разбрасывал награбленные сокровища, был бессмысленно пьян и беспечен до нового набега, если только не предупреждали их татары, не

разгоняли их пьяных и беспечных и не разрывали до основания городка их, который, как будто чудом, строился вновь, и опустошительный, ужасный набег был отмщением. После чего снова та же беспечность, та же разгульная жизнь.

IX. Казалось, существование этого народа было вечно. Он никогда не уменьшался: выбывшие, убитые, потонувшие заменялись новыми. Такая разгульная жизнь приманивала всякого. Тогда было то поэтическое время, когда все добывалось саблею, когда каждый, в свою очередь, стремился быть действующим лицом, а не зрителем. Это скопление мало-помалу получило совершенно один общий характер и национальность и, чем ближе к концу XV века, тем более увеличивалось приходившими вновь. Наконец целые деревни и села начали поселяться с домами и семействами около этого грозного оплота, чтобы пользоваться его защитою, с условием за то некоторых повинностей. И таким образом места около Киева начали пустеть, а между тем по ту сторону Днепра люднели. Семейные и женатые мало-помалу от обращения и сношения с ними получали тот же воинственный характер. Сабля и плуг сдружились между собою и были у всякого селянина. Между тем разгульные холостяки вместе с червонцами, цехинами и лошадьми стали похищать татарских жен и дочерей и жениться на них. От этого смешения черты лица их, вначале разнохарактерные, получили одну общую физиогномию, более азиатскую. И вот составился народ, по вере и месту жительства принадлежавший Европе, но между тем по образу жизни, обычаям, костюму совершенно азиатский, — народ, в котором так странно столкнулись две противоположные части света, две разнохарактерные стихии: европейская осторожность и азиатская беспечность, простодушие и хитрость, сильная деятельность и величайшая лень и нега, стремление к развитию и усовершенствованию — и между тем желание казаться пренебрегающим всякое совершенствование.

1832



О МАЛОРОССИЙСКИХ ПЕСНЯХ

Только в последние годы, в эти времена стремления к самобытности и собственной народной поэзии, обратили на себя внимание малороссийские песни, бывшие до того скрытыми от образованного общества и державшиеся в одном народе[1]. До того времени одна только очаровательная музыка их изредка заносилась в высший круг[2], слова же оставались без внимания и почти ни в ком не возбуждали любопытства. Даже музыка их не появлялась никогда вполне. Бездарный композитор безжалостно разрывал ее и клеил в свое бесчувственное, деревянное создание*. Но лучшие песни и голоса слышали только одни украинские степи: только там, под сенью низеньких глиняных хат, увенчанных шелковицами и черешнями, при блеске утра, полудня и вечера, при лимонной желтизне падающих колосьев пшеницы, они раздаются, прерываемые одними степными чайками, вереницами жаворонков и стенящими иволгами.

Я не распространяюсь о важности народных песен. Это народная История, живая, яркая, исполненная красок, истины, обнажающая всю жизнь народа. Если его жизнь была деятельна, разнообразна, своевольна, исполнена всего поэтического и он, при всей многосторонности ее, не получил высшей цивилизации, то весь пыл, все сильное, юное бытие его выливается в народных песнях. Они — надгробный памятник былого, более нежели надгробный памятник: камень с красноречивым рельефом, с историческою надписью — ничто против этой живой, говорящей, звучащей о прошедшем летописи. В этом отношении песни для Малороссии — всё: и Поэзия,

---

* Впрочем, любители музыки и поэзии могут несколько утешиться: недавно издано прекрасное собрание песен Максимовичем, и при нем голоса, переложенные Алябьевым[3].

и История, и отцовская могила. Кто не проникнул в них глубоко, тот ничего не узнает о протекшем быте этой цветущей части России. Историк не должен искать в них показания дня и числа битвы или точного объяснения места, верной реляции[4]: в этом отношении немногие песни помогут ему. Но когда он захочет узнать верный быт, стихии характера, все изгибы и оттенки чувств, волнений, страданий, веселий изображаемого народа, когда захочет выпытать дух минувшего века, общий характер всего целого и порознь каждого частного, тогда он будет удовлетворен вполне: история народа разоблачится перед ним в ясном величии.

Песни малороссийские могут вполне назваться историческими, потому что они не отрываются ни на миг от жизни и всегда верны тогдашней минуте и тогдашнему состоянию чувств. Везде проникает их, везде в них дышит эта широкая воля козацкой жизни[5]. Везде видна та сила, радость, могущество, с какою козак бросает тишину и беспечность жизни домовитой, чтобы вдаться во всю поэзию битв, опасностей и разгульного пиршества с товарищами. Ни черноброван подруга, пылающая свежестью, с карими очами, с ослепительным блеском зубов, вся преданная любви, удерживающая за стремя коня его, ни престарелая мать, разливающаяся, как ручей, слезами, которой всем существованием завладело одно материнское чувство, — ничто не в силах удержать его. Упрямый, непреклонный, он спешит в степи, в вольницу товарищей. Его жену, мать, сестру, братьев — все заменяет ватага гульливых рыцарей набегов. Узы этого братства для него выше всего, сильнее любви. Сверкает Черное море; вся чудесная, неизмеримая степь от Тамана до Дуная — дикий океан цветов колышется одним налетом ветра; в беспредельной глубине неба тонут лебеди и журавли; умирающий козак лежит среди этой свежести девственной природы и собирает все силы, чтобы не умереть, не взглянув еще раз на своих товарищей.

То ще добре козацька голова знала,
Що без війска Козацького не вмирала.

Увидевши их, он насыщается и умирает[6]. Выступает ли козацкое войско в поход с тишиною и повиновением; извергает ли из самопалов потоп дыма и пуль; кружает ли вольно мед, вино[7]; описывается ли ужасная казнь гетмана, от которой дыбом подымается волос, мщение ли козаков, вид ли убитого козака с широко раскинутыми руками на траве, с разметанным чубом, клекты ли орлов в небе, спорящих о том, кому из них выдирать козацкие очи[8], — все это живет в песнях и окинуто смелыми красками. Остальная половина песней изображает другую половину жизни народа: в них разбросаны черты быта домашнего; здесь во всем совершенная про-

тивуположность. Там одни козаки, одна военная, бивачная и суровая жизнь; здесь, напротив, один женский мир, нежный, тоскливый, дышущий любовию. Эти два пола виделись между собою самое короткое время и потом разлучались на целые годы. Годы эти были проводимы женщинами в тоске, в ожидании своих мужей, любовников, мелькнувших перед ними в своем пышном военном убранстве, как сновидение, как мечта. Оттого любовь их делается чрезвычайно поэтическою. Свежая, невинная, как голубка, молодая супруга вдруг узнала все блаженство, весь рай женщины, которая вся создана для любви. Все начало весны ее, проведенное с этим мощным, вольным питомцем войны, столпило для нее радость всей жизни в одно быстро мелькнувшее мгновение. Против него ничто вся остальная жизнь; она живет одним этим мгновением. Тоскуя, ждет она с утра до вечера возврата своего чернобрового супруга.

Ой чорные бровенята!
Лыхо мини з вами:
Не хочете ночеваты
Ни ноченьки сами.

Она вся живет воспоминанием. Все, на что они глядели вместе, куда они вместе ходили, что вместе говорили, — все это припоминает она, не упуская ни одной мелкой черты. Она обращается ко всему, что ни видит в природе, дышущей жизнью, и даже к бесчувственным предметам, и всем им говорит и жалуется.

И как просты, как поэтически-просты ее исполненные души речи! Ко всему применяет она состояние свое и не может наговориться, потому что человек многоречив всегда, когда в его грусти заключается тайная сладость. Наконец с тихим, но безнадежным отчаянием говорит она:

Да вжеж мини не ходыты,
Куды я ходыла!
Да вжеж мини не любиты,
Кого я любила!
Да вжеж мини не ходыты
Ранком по-пид замком!
Да вжеж мини не стояты
И з моим коханком!
Да вжеж мини не ходыты
В лиски по оришки!
Да вжеж мини минулися
Дивоцкие смишки![9]

Чтобы сколько-нибудь сделать доступною для не знающих малороссийского языка глубину чувств, рассыпанных в этих песнях, привожу одну из них в переводе[10]:

Рассердился, разгневался на меня мой милый! Вот он седлает своего вороного коня и едет далеко-далеко от меня.

Куда же ты, мой милый, голубчик мои сизый, куда ты уезжаешь? Кому ты меня, беззащитную, молодую, кому оставляешь?

«Оставляю тебя, моя милая, одному Богу. Жди меня, пока не возвращусь из дальней дороги»[11].

О, если б я знала, если бы видела, откуда будет ехать мои милый: я бы ему по всей дороге мостила мосты из зеленого тростника и все бы ждала его в гости.

Боже Всесильный! Выровняй все долины и горы, чтобы везде было ровно, чтобы оттоле ему до самого дому было хорошо ехать.

Чу! луга шумят, берега звенят, по дороге зеленеет трава — это он! это мой милый едет!

Чу! луга шумят, берега звенят, расцветает калина, — верно, где-нибудь мой милый, голубчик мой сизый, с другою разговаривает.

Зачем же ты не приехал, зачем не прилетел, как я тебе говорила? Коня ли не имел, дороги ли не знал или мать не велела тебе?

«Я коня имею; я и дорогу знаю, и мать еще вчера с вечера велела мне седлать коня. —

Но только лишь сяду на коня, только лишь выеду за ворота, как уже бежит за мною другая и так жалко стонет, так плачет, что тоска ее хватает за самое сердце».

Можно привесть до тысячи подобных песен, может быть, даже гораздо лучших. Все они благозвучны, душисты, разнообразны чрезвычайно. Везде новые краски, везде простота и невыразимая нежность чувств. Где же мысли в них коснулись религиозного, там они необыкновенно поэтически. Они не изумляются колоссальным созданиям вечного Творца: это изумление принадлежит уже ступившему на высшую ступень самопознания; но их вера так невинна, так трогательна, так непорочна, как непорочна душа младенца. Они обращаются к Богу, как дети к отцу[12]; они вводят Его часто в быт своей жизни с такою невинною простотою, что безыскусственное Его изображение становится у них величественным в самой простоте своей. От этого самые обыкновенные предметы в песнях их облекаются невыразимою поэзией, чему еще более помогают остатки обрядов древней славянской мифологии, которые они покорили Христианству. Часто тоскующая дева умоляет Бога, чтобы Он засветил на небе восковую свечку, пока ее милый перебредет через реку Дунай[13]. На всем печать чистого первоначального

младенчества, стало быть и высокой поэзии. Изложение песней их, как женских, так и козацких, почти всегда драматическое — признак развития народного духа и деятельной, беспокойной жизни, долго обнимавшей народ. Песни их почти никогда не обращаются в описательные и не занимаются долго изображением природы. Природа у них едва только скользит в куплете; но тем не менее черты ее так новы, тонки, резки, что представляют весь предмет. Впрочем, к ним прибегают для того только, чтобы сильнее выразить чувства души, и потому явления природы послушно влекутся у них за явлениями чувства. То же самое у них представляется разом и во внешнем и во внутреннем мире. Часто вместо целого внешнего находится только одна резкая черта, одна часть его. В них нигде нельзя найти подобной фразы: был вечер; но вместо этого говорится то, что бывает вечером, например:

Шли коровы из дубровы, а овечки с поля.
Выплакала кари очи, край милого стоя[14].

Оттого весьма многие, не поняв, считали подобные обороты бессмыслицей. Чувство у них выражается вдруг, сильно, резко и никогда не охлаждается длинным периодом. Во многих песнях нет одной общей мысли, так что они походят на ряд куплетов, из которых каждый заключает в себе отдельную мысль. Иногда они кажутся совершенно беспорядочными, потому что сочиняются мгновенно; и так как взгляд народа жив, то обыкновенно те предметы, которые первые бросаются на глаза, первые помещаются и в песни. Но зато из этой пестрой кучи вышибаются такие куплеты, которые поражают самою очаровательною безотчетностью поэзии. Самая яркая и верная живопись и самая звонкая звучность слов разом соединяются в них. Песня сочиняется не с пером в руке, не на бумаге, не с строгим расчетом, но в вихре, в забвении, когда душа звучит и все члены, разрушая равнодушное, обыкновенное положение, становятся свободнее, руки вольно вскидываются на воздух и дикие волны веселья уносят его от всего. Это примечается даже в самых заунывных песнях, которых раздирающие звуки с болью касаются сердца. Они никогда не могли излиться из души человека в обыкновенном состоянии, при настоящем воззрении на предмет. Только тогда, когда вино перемешает и разрушит весь прозаический порядок мыслей, когда мысли непостижимо-странно в разногласии звучат внутренним согласием, — в таком-то разгуле, торжественном, больше нежели веселом, душа, к непостижимой загадке, изливается нестерпимо-унылыми звуками. Тогда прочь дума и бдение! Весь таинственный состав его требует звуков, одних звуков. Оттого поэзия в песнях неуловима, очаровательна, грациозна, как музыка. Поэзия мыслей более доступна каждому, нежели поэзия звуков,

или, лучше сказать, поэзия Поэзии. Ее один только избранный, один истинный в душе поэт понимает; и потому-то часто самая лучшая песня остается незамеченною, тогда как незавидная выигрывает своим содержанием.

Стихосложение малороссийское самое выгодное для песен: в нем соединяются вместе и размер, и тоника, и рифма. Падение звуков[15] в них скоро, быстро; оттого строка никогда почти не бывает слишком длинна; если же это и случается, то цезура посередине, с звонкою рифмою, перерезывает ее. Чистые, протяжные ямбы редко попадаются; большею частию быстрые хореи, дактили, амфибрахии летят шибко один за другим, прихотливо и вольно мешаются между собою, производят новые размеры и разнообразят их до чрезвычайности. Рифмы звучат и сшибаются одна с другою, как серебряные подковы танцующих. Верность и музыкальность уха — общая принадлежность их. Часто вся строка созвукивается с другою, несмотря, что иногда у обеих даже рифмы нет. Близость рифм изумительна. Часто строка два раза терпит цезуру и два раза рифмуется до замыкающей рифмы, которой сверх того дает ответ вторая строка, тоже два раза созвукнувшись на середине. Иногда встречается такая рифма, которую, по-видимому, нельзя назвать рифмою, но она так верна своим отголоском звуков, что нравится иногда более, нежели рифма, и никогда бы не пришла в голову поэту с пером в руке.

Характер музыки нельзя определить одним словом: она необыкновенно разнообразна. Во многих песнях она легка, грациозна, едва только касается земли и, кажется, шалит, резвится звуками. Иногда звуки ее принимают мужественную физиогномию, становятся сильны, могучи, крепки; стопы тяжело ударяют в землю, и кажется, как будто бы под них можно плясать одного только гопака. Иногда же звуки ее становятся чрезвычайно вольны, широки, взмахи гигантские, силящиеся обхватить бездну пространства, вслушиваясь в которые танцующий чувствует себя исполином: душа его и все существование раздвигается, расширяется до беспредельности. Он отделяется вдруг от земли, чтобы сильнее ударить в нее блестящими подковами и взнестись опять на воздух. Что же касается до музыки грусти, то она нигде не слышна так, как у них. Тоска ли это о прерванной юности, которой не дали довеселиться; жалобы ли это на беспприютное положение тогдашней Малороссии... но звуки ее живут, жгут, раздирают душу. Русская заунывная музыка выражает, как справедливо заметил М. Максимович, забвение жизни[16]: она стремится уйти от нее и заглушить вседневные нужды и заботы; но в малороссийских песнях она слилась с жизнью: звуки ее так живы, что, кажется, не звучат, а говорят, — говорят словами, выговаривают речи, и каждое слово этой яркой речи проходит душу. Взвизги ее иногда так похожи на крик сердца, что оно вдруг и внезапно вздрагивает, как будто бы коснулось к нему острое железо. Безотрадное, равнодушное

отчаяние иногда слышится в ней так сильно, что заслушавшийся забывается и чувствует, что надежда давно улетела из мира. В другом месте отрывистые стенания, вопли, такие яркие, живые, что с трепетом спрашиваешь себя: звуки ли это? Это невыносимый вопль матери, у которой свирепое насилие вырывает младенца, чтобы с зверским смехом расшибить его о камень. Ничто не может быть сильнее народной музыки, если только народ имел поэтическое расположение, разнообразие и деятельность жизни; если натиски насилий и непреодолимых вечных препятствий не давали ему ни на минуту уснуть и вынуждали из него жалобы и если эти жалобы не могли иначе и нигде выразиться, как только в его песнях. Такова была беззащитная Малороссия в ту годину, когда хищно ворвалась в нее Уния[17]. По ним, по этим звукам, можно догадываться о ее минувших страданиях, так точно, как о бывшей буре с градом и проливным дождем можно узнать по бриллиантовым слезам, унизывающим с низу до вершины освеженные деревья, когда солнце мечет вечерний луч, разреженный воздух чист, вдали звонко дребезжит мычание стад, голубоватый дым — вестник деревенского ужина и довольства — несется светлыми кольцами к небу, и вечер, тихий, ясный вечер обнимает успокоенную землю.

1833



ОБ ИЗДАНИИ ИСТОРИИ МАЛОРОССИЙСКИХ КАЗАКОВ

Сочинение Н. Гоголя (автора Вечеров на хуторе близь Диканьки)

До сих пор у нас еще не было полной, удовлетворительной Истории Малороссии и народа, действовавшего в продолжение почти четырех веков независимо от России. Я не называю Историями многих компиляций (впрочем, полезных как материалы), составленных из разных летописей, без строгого критического взгляда, без общего плана и цели, большею частию неполных и не указавших доныне этому народу места в Истории мира. Это побудило меня решиться принять на себя этот труд и в Истории моей представить обстоятельно, каким образом отделилась эта часть России; как образовался в ней этот воинственный народ, казаки, означенный совершенною оригинальностью характера и подвигов; как он три века с оружием в руках добывал права свои и упорно отстоял свою религию; наконец, как нечувствительно исчезало воинственное бытие его и превращалось в земледельческое; как мало-помалу вся страна получила новые взамен прежних права и наконец совершенно слилась с Россиею.

Около пяти лет собирал я с большим старанием материалы, относящиеся к истории этого края. Половина моей Истории почти готова, но я медлю выпускать ее, подозревая существование многих источников, мне неизвестных, которые, без сомнения, где-нибудь хранятся в частных руках. И потому, обращаясь ко всем, усердно прошу имеющих какие бы то ни было материалы: записки, летописи, повести бандуристов, песни, деловые акты, особливо относящиеся к первобытной Малороссии, присылать их мне, если нельзя в оригиналах, то в копиях. Прошу также приславших назначать мне время, какое я могу у себя продержать их рукописи (если они им очень нужны).

Адресовать мне: в СПб. или в магазин А. Ф. Смирдина, или в собственную квартиру: в 1 Адм<иралтейской>части, в Малой Морской, в доме Лепена.

<РАЗМЫШЛЕНИЯ МАЗЕПЫ[1]>

Такая власть, такая гигантская сила и могущество навели уныние на самобытное государство, бывшее только под покровительством России. Народ, собственно принадлежавший Петру, издавна [униженный] рабством и [деспотизмом], покорялся, хотя с ропотом. Он имел не только необходимость, но даже и нужду, как после увидим, покориться. Их необыкновенный повелитель стремился к тому, чтобы возвысить его, хотя лекарства его были слишком сильные. Но чего можно было ожидать народу, так отличному от русских, дышавшему вольностью и лихим козачеством, хотевшему пожить своею жизнью? Ему угрожала <у>трата национальности, большее или мень<шее> уравнение прав с собственным народом русского самодержца. А не сделавши этого, Петр никак не действовал бы на них. Всё это занимало преступн<ого> гетьмана. Отложиться? Провозгласить свою независимость? Противопоставить грозной силе деспотизма силу единодушия, возложить мужественный отпор на самих себя? Но гетьман был уже престарелый и отвергнул мысли, которые бы дерзко схватила выполнить буйная молодость. Самодержец был слишком могуч. Да и неизвестно, вооружилась <ли бы> против него вся нация и притом нация свободная, <которая> не всегда была в спокойствии, тогда как самодержец всегда [мог] действовать, не дав<ая> никому отчета. Он видел, что без посторонних сил, без помощи которого-нибудь из европейских государей невозможно выполнить этого намерения. Но к кому обратиться с этим? Крымский хан был слишком слаб и уже презираем запорожцами. Да и воспомоществование его могло быть только временное. Деньги могли его подкупить на всякую сторону. Тогда как здесь именно нужна была дружба такого государства, которое всегда бы могло стать посредником и заступником. Кому бы можно это сделать, как не Польше, соседке, единоплеменнице? Но царство Баториево[2] было

на краю пропасти и эту пропасть изрыло само себе. Безрассудные магнаты позабыли, что они члены одного государства, сильного только единодушием, и были избалованные деспоты в отношении к народу и непокорные демокра<ты> к государю. И потому Польша действовать решительно <не могла>. Оставалось государство, всегда бывшее в великом уважении у козаков, которое хотя и не было погранично с Малороссией, но, находясь на глубоком севере, оканчивающееся там, где начинается Россия, могло быть очень полезно малороссиянам, тревожа беспрестанно границы и держа, так сказать, в руках Московию. Притом шведские войска, удивившие подвигами своими всю Европу, ворвавшись в Россию, [могли] бы привести царя в нерешимость, действовать <ли> на юге против козаков или на севере против шведов. В таких размышлениях застало Мазепу известие, что царь прервал мир и идет войною на шведов.



ВАРИАНТЫ

СТАРОСВЕТСКИЕ ПОМЕЩИКИ

С. 6. и лишенное ~ кирпичей / и крыльцо [не пок<азывает>], лишенное щекотурки и глины, не показывает живописных кирпичей или безыскусственного плетня

С. 6. возле него / возле своего ярма

С. 7. толпе / вихре

С. 7. тогда ~ былое / я предаюсь всегда какой-то полузадумчивости

С. 7. чистосердечие / [добросердечие] простосердечие

С. 7. что приеду ~ ныне / что придет же время, когда я посечу когда-нибудь их прежнее, теперь

С. 7. Товстогуб / Сырогуб

С. 7. Пульхерия / Настасия

С. 7. верно бы украл их / украл бы их без сомнения с торопливостью и жадностью

С. 8. *После* на **о** *было*: [или енко]

С. 8. прекрасный / чистый [шумный]

С. 8. стекая ~ члены / и стекая журчащими ручьями с крыши, [чувствами] вами невольно овладевает дрема

С. 8. и в виде ~ на небе / и померкши посереди на разрушенном своде светит матовыми лучами в сером небе

С. 8. порицаниями нового / [бранью] и презрением ко всему новому

С. 8. большое любопытство ~ неудачам / участие, любопытство знать обстоятельства вашей собственной жизни, удач и случаев

С. 8. людей / панов

С. 10. *После* Трехугольные *было*: [и овальные]

С. 10. в тоненьких ~ листьями / всегда почти маленьким с тоненькими золотыми рамами в виде листьев

С. 10. сушении / печении

С. 10. бесчисленного множества / [тысячи] мириад разных

С. 11. вовсе ~ жрали / что напр<асно> [весь хлеб] всю муку привозить в панские амбары, что с них будет довольно и половины, и эту половину наконец они привозили самую негодную. Но удивительное дело, сколько ни обкрадывали приказчик и войт, как много <*1 нрзб.*> ни пропало, сколько ни ели

С. 11. до свиней / до тех неблагородных животных, которых не любят жиды и

С. 12. закушивал / закусывал

С. 12. *После* обеду *было*: во время которого стоявшие за стульями девки с огромными грудями, дрожавшими за рубашкой, [обмахивали сво<их господ>] махали над головами Афанасия Ивановича и Пульхерии Ивановны <*2 нрзб.*> кленовыми ветвями, прогоняя мух.

С. 14. тендитный да маленький / хилый

С. 15. *Перед* Это всё выдумки *было*: [Такое говорит неподобное!]

С. 15. вдруг / сдуру

С. 15. *После* гугля *было*: и если у кого заколет в боку [или бурчит в животе]

С. 16. к весьма ~ уголка / к тому месту когда [это их взаимное счастие] счастие этого мирного уголка было нарушено одним печальным событием

С. 18. Я хочу ~ происшествие / Слушайте, что я вам скажу

С. 19. чтобы ~ будет / чтобы любило вас то, [кот<орое>] что будет [смотреть]

С. 19. в то время ~ равнодушно / взглянуть в то время не залившись слезами

С. 19. чрез несколько дней / через [к концу дня] два дня

С. 20. *После* глядел *было*: с раскрытым ртом совершенно

С. 20. *После* светило *было*: [ясно]

С. 20. ребенки / младенцы

С. 20. *После* горсть земли *было*: [«Вечная память!» раздалось всем]

С. 22. точущий / текущий

С. 22. лились, лились ливмя / лились [и падали] сами

ТАРАС БУЛЬБА

С. 25. на вас ~ эдак все / у тебя такое? Это поповский подрясник? Что, у вас все так

С. 25. Бульба / Кульбаба[1]

С. 25. бурсе / Академии

С. 25. *После* в землю *было*: [одетые в несколько длинные сюртуки]

С. 25. *После* не попадаете ли вы? *было*: А по латыни заяц[2]?

С. 25. Свиткой ~ у малороссиян / *Нет в черновом автографе.*

С. 25. «Фу, ты какой ~ поколочу» / «Смотри, какой хват! а отчего ж бы не смеяться?» «Да так. Хоть ты мне и батько, а как будешь смеяться, то ей-богу побью»

С. 26. *После* своих *было*: и плакавшая слез<ами> радости.

С. 26. хорошо / добре

С. 26. А видите ~ матерь! / Острая сабля — вот ваша матерь, а мушкет[3] видите вы, что у меня висит? вот это ваш батько. А не кто другой...

С. 26. всё это *ка зна що* / всё [дрянь] то ни к чорту <*1 нрзб.*> не служит

С. 26. которое в печати ~ можно пропустить / которого однако же цензора не пропускают в печать и хорошо делают!

С. 26. худощавая старуха-мать / старуха, которая, казалось, вся была слита из одной материнской любви

С. 26. тащи нам / при нам

С. 27. здоровые / дородные

С. 27. касалось XVI века / [было] касалось XV века, [в годину Унии] в годину начинавшейся унии

С. 27. Липовые скамьи/ Лавки

С. 27. хороша горелка? / добра сивуха?

С. 27. То-то, сынку ~ по четвергам / А? Не знаешь! Вот то и есть. Глупый был народ все латынщики: они не знали, что и на свете есть горелка. Как зовут того, что латинские вирши писал, Гораська[4] или Гораций? Я [уже позабыл] человек не письменный, то и не помню. Я думаю, архимандрит не давал вам понюхать горелки. А что, сынки, признайтесь, порядочно вас расписывали по ногам и спине плетюгами! Я думаю, кроме суботки, и по середам, и четвергам драли вас?

С. 27. Теперь ~ татарва / И мы будем расписывать других, прибавил Андрий: только уже [саблями] не канчуками, а порохом да списами.

С. 28. Какого дьявола ~ и фляжки / Чего мне тут дожидаться? Что, я должен смотреть за полем своим да за хлебом? или бабиться с женою? С какой стати я буду сидеть дома? Чего не видал я, разве кур да гусей да [сви<ней?>] пастухов, что свиньи пасут. Да я козак. [Я их хочу] [Я хочу

сам козаковать] Я хочу <*2 нрзб.*>. [Что] Так что ж, <что> нет войны? Да и войну можно сейчас сделать. Ей-богу, еду с вами! — И старый Бульба мало-помалу рассердился совершенно и встал из-за стола и, приосанившись, топнул ногою. — Еду завтра же! зачем откладывать? Завтра же выведут коней нам. [Зачем сидеть] Какого врага сидеть! К чему нам этот хлеб? на что нам эти горшки? и при этом Бульба начал швырять и колотить горшки и фляжки.

С. 28. *После* воинственную *было*: [кирасу[5]]

С. 28. добыча ~ преимущества / те не согласились оставить, не заводить войны с ханом за разграбленный соляной обоз

С. 29. Товкачом / Долбешкою

С. 29. *После* подать себе коня *было*: Чорта, которого хотел он при этом случае объездить.

С. 29. дети, теперь надобно спать / диты, теперь спать лягай

С. 29. *После* накрылся бараньим тулупом *было*: потому что тогда была молодая майская весна и ночной воздух довольно свеж

С. 30. изменивших ~ прекрасное / [на ее бле<дном лице?>] измявших ее бледное, сухое

С. 30. Она ~ побои / Она терпела египетские казни

С. 30. *После* чувство *было*: Она потонула в материнской любви своей.

С. 31. хлопцев / простых холопьев[6]

С. 31. отшатнулся / потянулся <и> запрыгал

С. 32. *После* траве *было*: и ловили кузнечиков

С. 32. козачку / смуглянку

С. 32. дики ~ похожими / дикие, воспитанные на свободе, которых акад<еми>ческие лозы несколько вышлифовали и давали им всем что-то похожее

С. 33. зазевавшейся торговки / как-нибудь зазевавшейся перекупки

С. 33. богословие / поэзию

С. 35. на землю / [лицом в грязь] навзничь на улицу

С. 35. *После* перед свечою и *было*: [скидала]

С. 35. пронзительно-ясные, бросали взгляд / [полные] фантастический бросали взгляд

С. 35. отличаются ветреные / всегда отличаются победоносные

С. 35. *После* смущение *было*: [Он глядел на нее неподвижно с раскрытым ртом и преданными] [Он представлял собою]

С. 36. толстое лицо / толстая рожа.

С. 36. птица не угналась / орел не угнался

С. 36. *После* встрепенулись *было*: [и вскипели только волею] <*2 нрзб.*> [огненною силою юности]

С. 36. *После* как птицы *было*: жадные воли

С. 36. отдавался ~ озере / наполнял вольный небесный воздух

С. 37. совершенно ~ амбру / изменялась совершенно и представлялась вовсе в другом виде, нежели днем. Всё пестрое пространство охватывалось, темнело; каждый цветок в тишине вечера пускал амбру [благоуханье] и мирру[7]

С. 37. изредка ~ к щекам / самые смелые, неправильные, [белые] легкие и тонкие облака обступали их, и свежий душистый, обольстительный, как морские волны, ветерок хотел принести вместе с мраком и очищенное (*не окончено. — В. Д.*).

С. 37. Иногда ~ в воздухе / и вдруг снова эти легкие крики слышались из какого-нибудь уединенного озера или [из] даже из самого Днепра, крик лебедя, который <как> серебро раздавался.

С. 37. косвенно дымился на воздухе / стлался [по небу косвенным облаком] белым прозрачным дымом по воздуху

С. 37. Поужинав / Повечерявши

С. 37. от выжигаемого ~ летевших / от зажигаемого [прошлогоднего] сухого тростника по [берегу] лугам и темная вереница лебедей, [летевших] путешествовавших

С. 38. чрез три часа / [на] чрез день

С. 38. оглушили ~ молотов / оглушило [*1 нрзб.*] 60 молотов

С. 38. дерном и вырытых в земле / зеленою травою

С. 38. Армянин ~ платки / *Нет в черновом автографе.*

С. 38. *После* горелку *было*: [и первый, успевший попробовать этого нектара запорожец, лежал на самой середине улицы, раскинув руки и ноги]

С. 38. остановивши коня / глядя на него с какою<-то> завистью.

С. 38. Шаровары ~ презрения / Широкие шаровары алого дорогого сукна он сам запачкал дегтем, чтобы показать презрение к ним.

С. 39. На пространстве ~ кучи / [Четыре] Везде были раскинуты на пространстве [4] 6-ти верст группы народу [четыре]

С. 39. *После* Сечь! *следовало*: Вот Сеча

С. 39. гордые и крепкие, как львы! / гордые [отважные] как львы, крепкие как быки [разгульные рыцари]

С. 39. На большой ~ дыры / *Нет в черновом автографе.*

С. 39. выработывали ~ ногами / чесали ногами землю

С. 39. имело ~ разительно-увлекательное / представляло что-то разительное, электрическое, увлекательное.

С. 39. *После* козачка *следовал фрагмент, не включенный в беловую редакцию*: [Тут только волен совершенно человек] Только в одной музыке

есть воля человеку. Он в оковах везде, он сам себе кует еще тягостнейшие оковы, чем налагает на него общество и власть, везде, где только коснулся жизни. Он раб, и он волен, только потерявшись в бешеном танце, где душа его не слышит тела и возносится вол<ь>ными [прыжками <?>] готова<я> завеселиться на [все] вечность

С. 40. России / Руси

С. 40. Промежутки / Антракты

С. 40. примерные турниры / какие-нибудь примерные карусели

С. 40. душевной воли / [страсти] духа и воли. [Это бы<ло>]

С. 40. *После* своей *было*: [Он уповал, что] Он упивался им, не забывая вовсе себя

С. 41. на пяти тысячах / на 20 тысячах

С. 41. бурсаки / академики

С. 41. лоз / розг

С. 41. *После* И *было*: [в Божью Матерь веруешь] [в церкви бываешь]

С. 41. Хожу. / *Нет в черновом автографе.*

С. 42. брали всегда даром / отбирали ими же когда-то выпущенное

С. 43. Вот ~ есть очень много / Я [потому] человек простой и не письменный, желающий <*2 нрзб.*> такой, какой сами лучше знаете. Вам уже [может] известно, панове, что многие запорожцы позадолживались в шинки жидам и своим братьям столько, что ни один чорт и веры неймет. [Да я уже не говорю притом, что] Притом же оно, если взять в рассуждение, то очень много есть

С. 43. Хотя бы ~ иные козаки / Николай, угодник Божий, сердега, в таком платье, в каком нарисовал его маляр, и до сих пор даже и серебряной рясы нет на нем. Варвара великомученица только то и получила, что уже в духовной отказали иные козаки.

С. 44. Довольно! / Годи, годи!

С. 44. *После* воли *было*: Мне Бог дал по той причине <*2 нрзб.*> пришел перед панство, что есть

С. 44. угнетены бедою / были угнетены обстоятельствами

С. 45. лет пятидесяти / лет 40 с виду

С. 45. Такие ~ нечего / Как что? что вы, панове, разве за горами живете или [до вас и дороги] вам и ушей не дал Господь Бог? [Что ж]

С. 45. с гордостью ~ тайной / с [потайным] тайным чувством наслаждения владеющего важною новостью

С. 45. Так вы ~ рукою? / И что уже [крещенному] Христианину и пасхи не можно [спечь самому] есть, покамест жид не положит значка мелом?

С. 45. в тишине совокупляли в себе / [собирали] накопляли

С. 46. *После* по ярмаркам *было*: а [гетьмана сожгли в Варшаве]

С. 46. Содрогание пробежало / Как будто какой-нибудь электрический удар пробежал

С. 46. *После* обыкновенно *было*: [предвозвещает]

С. 46. миг ~ речей / в тот же самый <миг> чувства, дотоле [притаившиеся] подавляемые в душе силою дюжего характера, брызнули потоком огненных речей

С. 46. *После* народа *было*: [и превратились в совершенный гром и развязали все силы. Это было не]

С. 46. свои силы / железные силы свои

С. 46. жалкую / бедную

С. 47. *После* на воздухе *было*: Черствые души козаков сопровождали это смехом

С. 47. оратор / [адвокат]

С. 47. желая ~ добычу: и заплатить им [тем же, чем те] такою же монетою

С. 48. исполнитель ветреных желаний / консул

С. 48. стираемы / очищены

С. 49. города ~ оставленные / большие города и деревни почти пустыми оставлялись

С. 49. *После* не сдавался *было*: этим суровым мстителям

С. 49. стлалось ~ небесами / поднималось, но в другом месте оно, встретив что-то горючее, вдруг вихрем вейрварка свистело и летело вверьх, касаясь оторванным охлопьем своим самих звезд

С. 50. Над ним ~ поле / Едва-едва только слышался крик птиц, поднимавшихся над ними кучами, <он>и казались темными мелкими крапинами, брызнувшими на огненном поле.

С. 50. и чудную / и вместе величественную

С. 50. всплыло / [появилось] [вылезло] выплыло

С. 50. потоком излились из его груди / [кучей] потоком вырвались из груди

С. 52. Среди ~ всю жизнь / Тут же перед ними на улице лежала [в] судорожно свернувшаяся женщина с разметанными волосами, с чертами лица, когда-то прекрасными, но искаженными ужасно бешенством страдания. Возле нее [был] лежал мертвый младенец. Она стиснула зубами иссохшую свою руку, и глаза ее были как окаменелые. Тронутый до глубины, Андрий положил возле нее кусок хлеба, но она только издала какое глухое стенание и не изменила своего положения. Он спешил за татаркою, он летел видеть ее, [опаса<ясь>] дрожа за нее всем телом.

С. 52. серафима / херувима

С. 52. Он опять ~ потерялся / Он опять был недвижим, он исчезнул, он обратился в явление мира духовного. [О как она была]

С. 52—53. Она смотрела ~ друг к другу / Не отходи возле меня, отвечала она, смотря на него пристально, и положила ему на плечо свою чудесную руку. — Клянусь Богом и всем, что есть на Небе

С. 53. Ай, ай! ~ так! / Ей-Богу, не вру! Чтоб отцу моему не было счастья, если я вру! — Как, ты говоришь!.. Чтобы мой сын?.. — Ей же Богу, ваш! — Чтобы сын Тараса Бульбы да посягнул на такое дело? — [Ей же Бо<гу>] Далибуг, ей же Богу так!

С. 53. *После* отчизну *было*: [бра<та>] [отца]

С. 54. Ты путаешь ~ коней / [Так ты говоришь] Врешь ты, проклятый Иуда! как можно, <чтобы> крещеное дитя продало свою веру. [Он стиснул] Если бы он был турок или нечистый жид такой, как ты, или хоть лях, тогда бы, может быть, еще бог попустил это сделать. [А то] Но чтобы Христовой веры человек да сделал эдакое бесчестное дело — не может он этого сделать, ей-Богу не может! Я тебя повешу, нечистый, чтобы и духу твоего здесь не было! Жид увидевши, что в самом деле ему оставаться было не слишком прилично, поспешил убежать, согнувшись втрое. Бульба, оставшись один, не знал, что и говорить. Он стоял и смотрел только на все стороны.

С. 54. с досады ~ превосходства / Теперь уже было невозможно облегать город: силы их слишком разделились. Тогда запорожцы решились принять обыкновенный свой маневр, который всегда делал их непобедимыми и возбуждал удивление всегда в опытных знатоках тогдашнего военного искусства. [За<порожцы>] Он состоял в том, чтобы [не иметь ты<ла>] скрыть тыл. Запорожцы сдвинули все телеги, весь обоз в одну кучу и в несколько рядов [стя<нули>] окружили обоз, будучи со всех сторон обращены лицом к неприятелю. Между тем часть наездников должна была, со всех сторон, полететь как вихорь [на ряды], нападать на ряды и беспрестанно развлекать их. Запорожцы решились <сдвинуться?> в густую, непр<о>ломную стену, всегда доставлявшую им [больш<ие>] существенные выгоды, тем более, что тактика их соединяла вместе и стремительность азиатского нападения и крепость европейскую. Неприятель, несмотря на то, что был вдвое сильнее, но не был в состоянии [некоторое немного] получить превосходство.

С. 54. как подлый трус / *Нет в черновом автографе.*

С. 55. чувствовавшего ~ воли / который чувствовал <себя> не слишком чистым душою. Отчаянно он устремился за бегущим отрядом, который не вынес такой битвы и начинал уже думать, что не имеет ли он дела с самим дьяволом.

С. 55. Тарас ~ в очи / Тарас, устремив <на> него свои грозные очи

С. 55. Андрий был безответен / Андрий [не промолвил ни одного] молчал

С. 55. *После* сыноубийца *было*: [глянул вокруг и жалеет ли проступка своего, но только он] повесил свою голову

С. 55. или честно погребсти в земле? / наполнивши [стоном] <*1 нрзб.*> [свирепую] свирепым стоном пустыню

С. 56. *После* пополам *было*: Он лежал прекрасен. Его черные брови отливались как траурный бархат над закрытыми глазами на бледном как (*не дописано. — В. Д.*).

С. 56. на плечах в обгорелый лес / в сосновый [в стороне] лес

С. 56. и ~ яму / саблями вырыли небольшую яму [и закопали при свисте и пуль и крике двух бившихся народов]

С. 56. Тарас ~ черты / Тарас опустил лопату и взглянул на труп сына. Он был и мертвый прекрасен: мужественное, исполненное некогда силы и непобедимого для жен очарования лицо еще сохранило на себе следы их. [Тарас поглядел]

С. 56. *После* вытащил ее *было*: из замка

С. 56. нежную / перл мира

С. 57. человек тридцать в плену? / в плену человек десять

С. 57. А мне ~ отправились / Нет, я думаю [так], что не бывать этому. — Ужли можешь ты сделать это? сказал кошевой. — Может быть, и я. [Чи вы] Слышали вы, Панове, что кошевой хочет, чтобы <мы> поднялись домой

С. 58. я не бунт ~ Тарас / я не бунтую, а исполняю долг святой, отвечал хладнокровно Тарас

С. 58. бусурмена / магометанства

С. 58. на сковродах / в медном быке

С. 59. пусть же ~ все / почеломкаемся!

С. 59. Пятьдесят ~ готовясь / Сотня козаков вынула баклажки и [начала]

С. 60. хлопьята / ребята

С. 60. Все ~ кучею / Все мигом вскочили на коней с каким-то порывом и выехали густою [куч<ею>] <и> вместе стройною кучею

С. 60. *После* силою *было*: [юнос<ти>]

С. 60. Это была ~ ее / Нужно <*1 нрзб.*> было какому-нибудь гениюживописцу стать на высоте и рисовать это зрелище.

С. 61. *После* перестрелку *было*: из мушкетов

С. 62. *После* спокойствием *было*: [«А, ну, дети, сдвигайте обозы вместе!»]

С. 62. Войска ~ их / Неприятель уже отчаивался одолеть эту густую толпу, если бы одно <*1 нрзб.*> упущение со стороны запорожцев не открыло ему новых средств.

С. 62. веревками / канатами

С. 62. Толпа ~ кони / Толпа <*1 нрзб.*> стиснувшая, смяла. Он [упал] грянулся, лишенный чувств. Кони гусар

С. 63. Добрая ~ не помню / [Вот] Добрая была сеча! сказал Бульба слабым голосом: еще никогда не помню я такой битвы. Что, Товкач, все наши полегли на месте? — Все. — Добрая сеча! Как же это я спасся? Ведь я, кажется, совсем был под саблею и уже не помню ничего...

С. 63. в плен / в полон

С. 63. и я не высвободил ~ седла / Сыну мой! Остап мой! и я не подал руку помощи! И я не высвободил тебя! Глубокая горесть осенила его покрытое рубцами лицо. — Полно, полно, чего зарюмился, старой! Чему быть, тому быть. Молчи да крепись, потому что нам еще верст сто нужно проехать. — На что, куда это? — На то, что тебя всякая дрянь теперь ищет. Знаешь ты, что за твою голову, хоть бы мертвую, тому, кто принесет, дадут 200 червонцев? — Сыну мой, Остап мой! говорил с тоской Бульба, не слушая речей Товкача. [После то<го>] От сильной горести им овладело беспамятство. Товкач день целый оставался еще в избушке; с наступлением ночи он увез бесчувственного Тараса. Как дитя положил его в лубочный ящик, наподобие койки, положил ящик поперек седла

С. 64. По-видимому ~ Сын мой, Остап мой / Вид Сечи и ее пиршества, казалось, становился ему едким. Он вспоминал, что еще недавно, еще два месяца назад, он гулял с своими сыновьями, крепкими, свежими, исполненными сил; он вспоминал, и грудь его горела, и он раздирающим голосом повторял: «Сыну мой!»

С. 64. обитателей ~ у берегов / защитников, раскиданные, как разноцветные цветы, раскиданные над опустошенными полями и плывущими <у> берегов

С. 64. в дальнем ~ за другою / белый ус его серебрился, как крыло птицы, и слеза одна за другою скатывалась на желтые волосы

С. 66. Изредка ~ дрянью / [Кирпичная] Кирпич краснел изредка, но превратился в совершенно черные. Иногда только вверху какой-нибудь ощекатуренный кусок стены блистал при солнце нестерпимою для глаз белизною. Тут всё состояло из сильных резкостей. Всякой что только было у него негодного швырял из окон, доставляя прохожим от всей души пользоваться зрением (*не окончено. — В. Д.*).

С. 66. убранное потемневшими бусами / в потемневших, замасленных бусах

С. 68. Когда ~ нужно / Не бойся, добрый человек! Когда бог захочет сделать, то так и будет.

С. 68. Наконец ~ Янкель / Наконец показались Мардохай и Янкель с поникнувшими головами.

С. 69. Хорошо ~ возле шкафа / «Добре. Веди меня к нему!» произнес Тарас решительно, и вся твердость возвратилась снова в его душу. «[Слушай, как я скажу] Нужно, чтоб пан надел какую-нибудь другую одежду. Я скажу, что это граф и что недавно приехал из Немецкой земли. Я уже достал и платье». Бульба согласился с этим. Была уже ночь. Жид, хозяин дома, начал суетиться по избе, вытащил тощий, жиденький тюфяк, накрытый какою-то рогожкою, расстелил его на лавке для Бульбы. Янкель лег на полу, на таком же тюфяке. Рыжий жид выпил небольшую чарку <и> убрался с своею жидовкою во что-то похожее на шкаф. Пара жиденков, как собачки, полегли возле шкафа

С. 70. толстяк / довольно толстый усач

С. 70. дьяблов / дьяволов

С. 70. *Перед* усами *было*: [преогромными]

С. 70. яруса / этажа

С. 70. ярус / этаж

С. 70. Гм ~ глазами / А я вовсе не ясновельможный, я просто гайдук! сказал усач с глупою улыбкою

С. 71. поправил ~ развеселились / погладил нижний этаж усов своих и мигнул бровями

С. 71. *После* усы *было*: [глянул по-над усами исподлобья]

С. 71. И вера ~ не уважает / и вера их такая, что всякой [гнуш<ается>] не уважает

С. 71. *После* сказал Бульба *было*: [схватив его за ус]

С. 72. Ступайте, ступайте / Пошли, пошли

С. 72. Но ~ пламенем / Если бы кто взглянул на лицо Бульбы, тот бы увидел, что эта неудача слишком была едка для него и выражалась пожирающим пламенем досады

С. 72. толстое лицо мясник / широкое лицо мясник, истинный в душе артист

С. 74. *После* сердце *было*: [Но того никто не видал]

С. 74. *После* из толпы *было*: всею силою своею

С. 74. тяжелую / ужасную

С. 74. Должно ~ противником / Я должен, однако ж, сказать, что Король первый стал против

С. 74. так что ~ глаза свои / когда хряск их слышала среди мертвой тишины отдаленная толпа, когда панянки отворотили глаза свои и говорили: «Боже, какое мученье!»

С. 74. *После* вздрогнул *было*: [Этот голос был разительным среди всеобщей]

С. 74. Часть ~ простыл / Тощая голова жида Янкеля побледнела, как смерть. Часть военных всадников начала заботливо рассматривать толпы народа, а три человека на лошадях подскочили прямо к Янкелю, которого изменившийся вид показывал соумышленничество. Но бедный жид не мог ни слова выговорить. [Отряд] Всадники, бросивши его, устремились, но Бульбы и след простыл.

С. 75. *После* отдельной *было*: [выгоды]

С. 75. неумолимая и свирепая / неумолимость и [запорожская] свирепая

С. 76. помахивая ~ по пушке / и ударяя своею саблею по стоявшей тут же пушке.

С. 76. *После* стены *было*: если [не распилят тел ваших в печь] [не спекут вас в горячих банях] не сварят вас живых в котлах, как баранов. [Прощайте и торже<ствуйте?>]

С. 77. подымались ~ пламя / подымались к небу из ужасного потопа огня и дыма, и растрепанные черные волосы сыпались сквозь дым по плечам их, и козаки подымали с улиц копьями невинных

С. 78. и пуститься ~ гайдуки / в реку и вплавь пуститься по Днестру. Это ему казалось тем легче, что действительно одна сторона неприятеля была слабая. Он стремительно вышел из крепости, и уже козаки пробились сквозь первые ряды, как Бульба нагнулся и сказал: «Стой, хлопцы, уронил люльку!» В то время, когда он искал ее в траве, он был схвачен назади своих войск с тыла налетевшим отрядом, отделившим его от козаков. Он двинул своими членами, но уже с него не стряхнулись на землю, как бывало прежде, дужие гайдуки.

С. 78. Ему прикрутили ~ о себе / Ему скрутили руки, увязали его веревками, цепями, привязали его к огромному бревну и поставили это бревно рубом в расселину стены, так что он стоял теперь выше всех и мог обозревать битву и волны, и видел поражение<?> его козаков. Для сообщения ему большей неподвижности одну руку его прибили железным гвоздем. И стоял он на воздухе, как какой-нибудь явивший<ся> дух с неизобразимым выражением лица, с белыми, подымавшимися от ветра волосами. Но ни мало не было на лице его видно мысли о себе.

С. 78. *После* челны *следовало*: Хлопцы, бегите!

С. 78. в двадцати / в двух

С. 78. состоял ~ низвергавшегося в Днестр / возвышался стремниною. Они видели вдали его покатость, но дорогу перегородил им широкий провал сажени в четыре: одни сваи изломанного моста торчали на берегу; в ужасной

глубине едва доходило до слуха тонкое журчание какого-то потока, вливавшегося в Днестр

С. 79. участь ~ на земле / судьбу: я знаю, что на мне и кусочка тела моего не оставят, что меня всего по кусочкам растащат

С. 79. *После* хорошенько *следовало*: [Чтобы попробовали опять ляхи козацкие силы]

С. 79. под пулями ~ мерно / под <*1 нрзб.*> [пулями] и выстрелами плыли веером, осторожно миновали зеленые острова, расправляли парус дружно и опытно

ВИЙ

С. 80. семинарский ~ у ворот / колокол близ

С. 80. со всего города ~ тенором / по всему Киеву спешили школьники, бурсаки, граматики <sic!>, риторы, философы и богословы. Все они спешили в семинарию в класс. — Граматики все были еще очень малы, все почти в изодранных или запачканных платьях. Риторы имели платья целые, но зато у них или глаз один уходил под лоб, или на лбу была шишка, или вместо губы целый пузырь, или какое-нибудь украшение в роде риторического тропа на лице.

С. 80. в карманах ~ воздух / причем слышался сильный запах трубки и водки, так что попадавшийся ремесленник остановившись долго еще нюхал воздух, как гончая собака

С. 81. Паничи ~ нечистые / «Паничи, паничи, сюда, школяры, школяры, сюда, вот горяченькие <*1 нрзб.*> пальчики, вертычки». «Не покупайте у ней, она ведьма. Ей-богу! такая скверная пьяница. Вот, вот хорошие, паничи, паничи».

С. 81. *После* тогда *было*: [заводили] замышляли всеобщий

С. 82. Тогда сенат ~ на плечах / Часто по определению сената, который составляли философы и богословы, часть граматиков, риторов и философов отправлялась с мешками

С. 82. Кто не имел ~ *на кондиции* / Кто имел приют, тот брел в родительский дом свой, другие же, особенно неимущие философы и богословы, отправлялись на кондиции

С. 82. хутор / деревню

С. 82. Хозяин ~ козак-поселянин / Мужик

С. 83. в первом попавшемся хуторе / в первой попавшейся деревне

С. 85. как в голодном брюхе / как в болоте

С. 85. Умилосердись / Сжалься

С. 86. съел / уплел
С. 86. и за тысячу золотых / ни за миллион [рублей]
С. 87. *После* покрывало *было*: [эфирно лежало]
С. 87. влажно-теплое / влажное и проникающее
С. 87. из-за осоки ~ трепета / из осоки выходила русалка и мелькала спина, и роскошно выпуклая нога, вся созданная из трепета и блеска, уносила за собою глаза его
С. 87. удалялось / отдалилось, отдалилось, отдалилось
С. 87. *После* на спину и *было*: [плывет холодная, мелким бисером убора обсыпает его всего, наконец]
С. 87. в душу / в сердце
С. 87. бесовски сладкое ~ рукою / сладкое, бесовски сладкое чувство наслаждения, ужасное наслаждение томило его, ему даже представилось, как будто нет у него сердца, и он схватил за него рукою.
С. 87. касалась ~ необыкновенного / касается к нему, моря нет
С. 87. Хорошо же! / Эка!
С. 88. *После* на спину *было*: Он чувствовал, как будто земля стала бежать
С. 88. *После* от быстроты *было*: казалось, что сосны стояли копьями в поле, как будто верхушки леса слоем отделялись
С. 88. После ~ об этом странном происшествии / После нескольких ударов заметил он, что бег ее становился медленнее и медленнее. Философ сгоряча крестил ее еще более. Наконец ведьма была не в силах переносить ударов, зашаталась и упала. Рассвет загорелся совершенно. Птицы чиликали в еще неподвижных и спавших рощах орешника. Перед ним, как на ладони, был весь Киев с продолговатыми, как золотые груши, главами. Вставши на ноги, он не хотел и взглянуть на лежавшую на земле и едва дышавшую ведьму; он сам не мог растолковать своего чувства: он чувствовал что-то похожее на жалость, но не захотел и минуты оставаться и скорее направил путь свой в город, раздумывая об этом странном происшествии.
С. 88. в пятидесяти верстах / в пяти верстах
С. 89. призывал его в свою комнату / призвал его для этого в свою келью
С. 89. Он как будто ~ не поедет / Он слышал какое-то странное предчувствие, казалось, его удерживавшее, и объявил напрямик, что он не поедет
С. 89. Dominus / domine
С. 89. Явтух / Омельче[1]!
С. 89. кибитку / колоссальное подобие кибитки
С. 90. что слышно ~ в доме / как у них и что делается в доме и что такое слышно о дочке, которая [нечаянно] таким образом скончалась

С. 90. Притом ~ шинком / и даже спавшие по какому-то инстинкту проснулись

С. 90. запачканную / натопленную

С. 90. малороссияне ~ лобызаниями / малороссияне [когда подгуляют] обыкновенно подгулявши прежде всего начнут целовать или плакать, то скоро в избе только и слышно было восклицанья

С. 92. *После* горы *было*: вместе с брикой [похожею на слона, в яр]

С. 92. и домики ~ сотника / и несколько [светлиц, выстроенных] больший домик, тоже под соломенною крышею

С. 92. Треугольная ~ дверью / Небольшая стенка, обращенная лицом к другому, была снабжена маленькими дверями, ведшими в подземные лабиринты

С. 93. ловить ~ прудах / и рыбу ловить в ставках[2] и в реке

С. 93. водку ~ водка / горелку, потому что горелка

С. 93. *После* отсюда *было*: Потому что чорт с ней, [я не хочу] с этой ведьмою читать святых книг. — Я думаю, она припомнит мне мое угощение

С. 93—94. наперед ~ в светлице / еще только попробовать, как вдруг услышал руку довольно крепкую на своем плече и вопрос: «Ты думаешь, пан философ, улепетнуть из нашего хутора? Тут не такое заведение, чтобы кто убежал. Нет, этого не водится тут. А ступай лучше к пану сотнику, который ожидает тебя в светлице».

С. 94. за козаком / за старым козаком. Это был тот самый козак, который соболезновал о смерти отца и матери и о своем одиночестве.

С. 94. откудова ~ человек / откуда ты? Что ты за человек добрый?

С. 94. *После* Из бурсаков *было*: [пане сотнику]

С. 94. отец / батько

С. 94—95. «Ты, добрый человек ~ четверга» / «Что ж, ты, верно, известен святостью своей жизни и богоугодными делами?» «Какой!» сказал философ, ударившись от изумления затылком в двери. «Я святого поведения?» при этом он посмотрел сотнику прямо в глаза: «Бог с вами, пан, что вы это говорите. Да я в самый пост ходил два раза к булочнице».

С. 94—95. «Отчего же она ~ Никакого виду с меня нет» / «Отчего ж она не кому другому, а именно тебе назначила читать по себе?» — Философ пожал плечами. — «На то паны. Известное уже дело, что панам захочется такое, что и самый грамотный человек не разберет. И пословица говорит: „Скачи, враже, як пан каже“» — «Да не врешь ли ты, пан философ?» — «Вот на этом самом месте пусть так громом и хлопнет, если лгу!» — «Минутку бы долее прожила», отвечал грустно сотник: «то верно бы мне рассказала всё. — „Никому не давай <*1 нрзб.*> читать, пошли, тату, сей же час в киевскую семинарию и привези бурсака Хому Брута.

Пусть три дни и три ночи читает по грешной душе моей. Он знает меня, пусть вспомнит только в овечьем“... а что такое „в овечьем“, я не услышал. Она, голубка моя, только и могла сказать и умерла». Избыток горести заставил сотника минуту остановиться. «Ты должен знать», сказал он, немного отдохнув: «что значит „в овечьем“». — «Бог его знает, пан сотник, что такое значит это. У меня есть овчинный тулуп. Может быть, <потому> она сказала это. Может быть, как-нибудь видела, что я шел в нем на базар или куда в другое место». — «Ну, как бы то ни было, ты должен с сего дня начать свое дело: три дни и три ночи читать над нею». — «Я бы сказал на это пану <—> оно, конечно... Только сюда приличнее бы требовалось дьякона или, по крайней мере, дьяка. То уже народ толковый и знают, как, а я никогда не читал, да и нет на всё голоса никакого».

С. 95. тело умершей ~ мутный / тело умершей, покрытое алым бархатом, золотые кисти и бахрома висели до самого пола, высокие восковые свечи, изубранные калиной в ногах и головах, изливали мутный

С. 95. *После* целым *было*: жарким потопом

С. 96. Философ ~ печалью / «Да», подумал про себя философ, несколько, однако же, тронутый такою безутешной печалью: «Да, хорошо, что я [не р<ассказал>] заперся и не сказал ничего о происшествии с ведьмою»

С. 96. *После* Трепет *было*: [и холод] пробежал по его жилам. [Он увидел]

С. 96. *После* лежала *следовало*: [но [слово] никакие слова не расскажут, что лежало перед ним. Если сказать красавица — это будет мало.] [Пред <ним> лежала красавица. Нет, не красавица — это было больше всякой красоты]

С. 96. горделиво / как будто в раздумье

С. 96. уста ~ усмехнуться / и уста, как светлые рубины, готовы были усмехнуться смехом блаженства, потопом радости [веющей около сердца]

С. 96. ныть / мучиться [по мере того, как он глядел на нее пристальнее]

С. 96. среди вихря ~ похоронную / среди бешеного веселья и среди толпы [вдруг] кто-нибудь запел песнь об угнетенном народе

С. 96. Рубины ~ сердцу / В рубиновых устах ее он начинал ясно различать что<-то> едкое.

С. 96. Это та самая ведьма, которую я прибил! / Он отвел глаза свои в книгу и уже долго не прерывал чтения.

С. 97. спичку / спицу

С. 97. Как только ~ к умершей / и за то могли пользоваться одними только галушками [и никак ни могли попробовать] и скоро философ <*1 нрзб.*> странные вещи

С. 98. Не говори / Не [бреши]

С. 100. *После* Философ *было*: [начал дорогою чувствовать дрожь]

С. 100. помогали ~ воображению / распалили несколько его воображение

С. 100. Три / Четыре

С. 101. закутаны мраком / темные. [Все было безгласно]

С. 101. И он принялся / прибавил он потихоньку, но после плюнул и перекрестился. Усердно начал он

С. 101. Он подошел ~ глаз / Зажавши очи, он подошел к гробу и посмотрел в лицо умершей и не мог не отпрянуть, зажмурив глаза.

С. 101. резкая ~ безобразнее / усопшая казалась страшною своею резкою красотою. Если бы она была безобразна, может быть она не так [была бы страшна] поразила паническим ужасом.

С. 101. как будто бы она ~ глазами / как будто без глаз глядит на него

С. 102. *После* на гроб *было*: [в душе его начало как будто что-то говорить]

С. 102. Возвыся ~ боязни / Он возвышал свой голос громче, принялся петь разными голосами знакомые ему ирмосы[3]

С. 102. Что если подымется, если встанет она / Ну что если подымется, ну что если встанет она? [Она приподняла голову. Хома протер глаза, не представляется ли это]

С. 102. остановилась ~ летать / она погрозила пальцем и легла в свой гроб. — Гроб со свистом начал носиться

С. 103. *После* одна *было*: [хорошенькая]

С. 103. *После* по спине *было*: [за какую-то неуместную вольность]

С. 103. была ~ плахта / было платье

С. 103. *После* тщедушного *было*: [как хлебная сосулька]

С. 103. Хома ~ За вечерей / Хому на этот раз, казалось, не занимала и эта игра или мысли о том, что он должен итти опять на всю ночь в церковь, уже слишком смущали. За ужином

С. 104—105. Он, потупив ~ окна / Он потупил голову и продолжал заклинания, и слышал, как труп опять ударил зубами и начал махать руками, желая схватить. Робко <*1 нрзб.*> возведши взгляд, он заметил однако же, что он ловил его совершенно не там, где он стоял, и заключил, что труп его не видит. Неуспех, казалось, приводил мертвую в бешенство. Она хлопнула зубами и, ставши на середину, опять топнула своею ногою. Этот стук раздался совершенно беззвучно, но уста ее не говорили и стали произносить какие-то едва слышимые слова. Потом бурсак услышал, что стены церкви как будто заныли. Странный ропот и пронзительный визг раздался под глухими сводами; в стеклах окон слышалось какое-то отвратительное цара-

панье, и вдруг сквозь окна и двери посыпалось множество гномов в таких чудовищных образах, в каких еще никогда во сне не представлялось ему. Он видел вначале только множество отвратительных крыл, ног и членов таких, каких никак не в силах разобрать был объятый ужасом наблюдатель. Выше всех возвышалось странное существо в виде правильной пирамиды, покрытое слизью. Вместо ног у него были внизу с одной стороны половина челюсти, с другой другая; вверху, на самой верхушке этой пирамиды, высовывался беспрестанно длинный язык, беспрестанно извиваясь <*2 нрзб.*> Почти под образом уселось белое, широкое, с какими-то отвисшими белыми мешками вместо ног, вместо рук белелись эти мешки, <*1 нрзб.*> вместо глаз висели тоже белые мешки. Из них возвышалось какое-то черное, все покрытое чешуею, со множеством тонких рук, сложенных на груди, и вместо головы вверху у него была синяя человеческая рука. Огромный, величиною почти с слона, таракан остановился у дверей и просунул свои черные усы. С вершины самого купола со стуком <упало> на середину церкви какое-то черное, все состоявшее из одних ног; эти ноги бились по полу и выгибались, как будто бы чудовище желало подняться. Одно какое-то красновато-синее, без рук, без ног, протягивало на далекое пространство два свои хобота и как будто искало кого. Множество других, которых уже не мог различить испуганный глаз, ходили, вились и летали в разных направлениях. Одно состояло только из головы, другое из одного отвратительного крыла, которое летало с каким-то шипением. Хома зажмурил глаза и не имел духу глядеть. Он услышал только, что весь этот сонм ищет его, и прерывающимся голосом, собрав все силы, читал свои заклинания. Пот ужаса катился с его лица <*1 нрзб.*>. Ему казалось, что он умрет от одного только страха, когда нога которого-нибудь из этих чудищ прикоснется до него отвратительным. Боже, он уже показался над ним, вот одно просунуло свой... за черту... Боже...

С. 106. Да ваша ~ не учитывается / Ваша дочка, не во гнев будь сказано, упокой Бог ее душу, видно пустила к себе сатану; такого страха задает, что никак не в моготу читать Писание.

С. 106. Да какие ~ решительно / Не хочу я никакой награды. Ни за какие деньги не хочу читать, произнес философ, возвысив голос.

С. 106. выдумок / штук

С. 107. Хмель ~ корни / Хмель покрывал вершину всего этого как сетью и составлял крышу, кончавшуюся у самого забора и опускавшуюся по нем вниз вместе с дикими колокольчиками. За этим плетнем шел целый лес бурьяну, в который, кажется, никто еще не любопытствовал заглядывать, и коса разлетелась бы вдребезги, если бы вздумала срезать лезвием своим их одеревяневшие толстые стебли. Когда философ добрел до плетня, им овладела такая дрожь, какой он понять не мог, зубы его начали стучать один

о другой, и сердце билось так громко, что он сам испугался. Пола длинной хламиды его, казалось, прикипала к самой земле и удерживала, как будто бы ее кто-нибудь прибил. Когда он переступил плетень, ему казалось, вдруг шептал кто-то с оглушительным свистом говоря: «Куда, куда?» Залезши в бурьян, философ немного остановился, отдохнувшись, пустился бурьяном, беспрестанно оступаясь о старые коренья

С. 108. Напрасно ~ довольно / <*1 нрзб.*> напрасно ты, продолжал Явтух, дал такой большой крюк: тебе бы выбрать было ту же самую дорогу, что я, напрямик, вместо того, чтобы бурьян, просто было бы мимо конюшен. Ну, погулял и проходился [теперь]

С. 108. на панский двор ~ который / в двор. Он немного ободрился и упросил Дороша, которого характер ему очень показался и который

С. 108. по сторонам ~ ничего / на сторону и расспрашивал Явтуха: отчего [это] темно бывает ночью? Но Явтух <*1 нрзб.*> молчал, а Дорош [хладнокровно] отвечал, что так уже давно водится, что ночью темно.

С. 108. *После* к церкви *следовало*: [Железный замок был снят]

С. 109—110. Посередине ~ где и в какой стороне она находится / Посередине стоял неподвижно гроб страшной ведьмы. Хома прикинулся, как будто бы и не видел его, и пошел на крылос. «Не боюсь, ей-богу, не боюсь» сказал он и, очертивши опять около себя круг, начал припоминать все свои заклинания. Тишина была страшная; свечи трепетали и обливали светом всю церковь. Философ перевернул один лист, потом перевернул другой и заметил, что он читает совсем не то, что писано в книге. Со страхом перекрестился он и начал петь. Это ободрило его, и чтение его пошло обычным чередом. Как вдруг к полуночи он слышит опять отвратительное царапанье, свист и шум и звон в окнах. С робостью зажмурил он глаза свои и прекратил со страха чтение. Он слышал, точно вдруг грянуло около с разными стуками, крепкими, звонкими, мягкими, страшное множество, и, дрожа, приподнял немного один глаз свой, ужас: это были все вчерашние гномы, только он в числе их увидел еще новых. <Как> раз против него стояло высокое, которого черный скелет выдвинулся на поверхности, и сквозь темные ребра его мелькало желтое тело; в стороне стояло тонкое и длинное, как палка, состоявшее из одних только глаз с ресницами, за спиною его занимало всю стену огромное чудище и стояло в перепутавшихся волосах, как будто в лесу. Сквозь волосы глядели два ужасные глаза. Глянул он вверх: над ним держалось в воздухе что-то в виде большого пузыря с тысячью протянутых из середины клещей и скорпионных жал. С ужасом он зажмурил глаза. Гномы подняли шум, и он слышал только, что они искали во всех углах. Это выгнало последний остаток хмелю, который еще бродил в голове философа. Он читал свои молитвы [и заметил только] бешенство гномов, которые

<*1 нрзб.*> и не могли найти его. «Что, если», подумал он: «вся эта ватага обратится на меня?»

«За Вием! За Вием! Пойдем за Вием!» закричало несколько каких-то странных голосов, и часть гномов, как казалось ему, удалилась. Он, однако же, стоял с зажмуренными глазами и не глядел на них. — «Вий! Вий! Вий!» зашумело. Двери с шумом отворились, и Хома слышал только, что ввалилось страшное множество. Тишина вдруг сделалась, как в могиле. Философ, казалось, слышал шептавший ему на ухо голос: «Ей, не гляди! ей, не гляди!» Но какое непостижимое любопытство! глаз нечаянно отворился: перед ним стоял какой-то образ человеческий высокий. Веки его были опущены до самой земли. Философ с ужасом заметил, что лицо его было железное, и со страхом поворотил глаза свои в книгу. — «Подымите мне веки!» сказал подземным голосом Вий — и всё сонмище кинулось подымать ему веки. «Ей, не гляди! Не гляди!» шептал какой-то голос в уши философу. Он не утерпел и глянул: две черные пули глядели прямо на него, железная рука Вия поднялась и уставила на него палец — и все чудища бросились на него... Ух... Петух пропел, но уже второй раз, первый они <?> прослушали. Услышавши крик петуха, всё скопище поднялось улететь, но тут они все остановились и завязнули в окнах, в дверях, куполе и остались неподвижны. Философ лежал мертвый на полу. В это время дверь отворилась и вошел священник...

ПОВЕСТЬ О ТОМ, КАК ПОССОРИЛСЯ ИВАН ИВАНОВИЧ С ИВАНОМ НИКИФОРОВИЧЕМ

С. 125. с знаками розг на спине / с знаками розог назади
С. 135. к гражданской полиции / к градской полиции
С. 136. красневшее / красневшееся
С. 140. человечка / человека
С. 143. почетных / почтенных
С. 144. найтиться / найтись
С. 151. крылосе / клиросе

ГЛАВА ИЗ ИСТОРИЧЕСКОГО РОМАНА

(варианты по первопечатному тексту)

С. 189. только выехать ~ чтобы выучиться не разбирать / ввалиться в лес или на безлюдное поле, чтобы заставить странствующего рыцаря не разбирать

С. 189. на расстоянии 25 или 50 / на расстоянии 50 или 100

С. 190. облака ~ разрываясь, летели / облака, разрываясь, будто чудные тени волшебного фонаря летели

С. 191. Как не знать этой старой собаки / Как не знать этой старой собаки, которая ни себе, ни другим добра на полшеляга[1] не сделает.

С. 193. что-то похожее на жизнь / тень, одну только тень жизни из челюстей разрушения

С. 193. Дьякон ~ толкнулся / У дьякона вещее застучало, как на заре дятел. Скрепившись, сколько доставало духу, толкнулся он

С. 194. Что за нечистый ~ глядит / Дрожь проняла его, метнулся как полоумный с постели, смотрит

<КРОВАВЫЙ БАНДУРИСТ>

С. 199. *После* поганый *добавлено*: собака

С. 202. цветы / цвета

С. 202. разорвали верхнюю эпанчу / разорвали верхний кобеняк

С. 203. *После* где он? *было*: «О, не говори! Не говори!» простонал неизъяснимо ужасный голос из одного угла пещеры.

С. 204. Страшно внимать хрипению / Страшно видеть хрипение

С. 204. раздался и так же невыносимо жалобно произнес: «Не говори, Ганулечка!» / раздался и произнес снова медленно: «Не говори!»

ВЗГЛЯД НА СОСТАВЛЕНИЕ МАЛОРОССИИ

С. 215. Как жизнь их ~ называл его козаком / Никакое препятствие не могло остановить этого немноголюдного, но разрушительного набега. [Татары] Соседственные татары и турки оказывали всеми силами презрение. Султан турецкий, желая нанесть большое оскорбление, называл его козаком.

С. 215. казавшегося страшилищем бегущему татарину / подобно подземному гному. Это заставило турецкого султана сказать: когда поляки и немцы воюют, я сплю на оба уха, когда же козаки зашевелятся, я должен одним ухом слушать.

Приложения



В. Д. Денисов

ИСТОРИЧЕСКАЯ ПРОЗА ГОГОЛЯ

Две дороги идут из Васильевки — поместья Гоголей-Яновских: одна в город Полтаву через уже прославленную Диканьку, другая в уездный город Миргород и дальше — в Россию. Летом 1832 г. на этом перепутье оказался приезжий из Санкт-Петербурга, молодой, но уже известный землякам своими «украинскими сказками» Николай Гоголь, преподававший историю и географию в Патриотическом институте. Вернувшись на родину знаменитым, он поневоле сравнивал увиденное со столицей, да и смотрел уже иначе, нежели в юности. «Чего бы, казалось, недоставало этому краю? — размышлял Гоголь в письме известному поэту, другу Карамзина, бывшему министру юстиции Ивану Дмитриеву. — Полное, роскошное лето! Хлеба, фруктов, всего растительного гибель! А народ беден, имения разорены и недоимки неоплатные <...> Признаюсь, мне очень грустно было смотреть на расстроенное имение моей матери...» (X, 239).

Что же сближало для Гоголя его родную Малороссию, бедную при всем своем изобилии, с богатеющим «щеголем Петербургом», свирепых степных «лыцарей» — защитников Православия — с корпящими на службе чиновниками и блестящими деловыми людьми? — Вероятно, и переезд молодого провинциала с южной окраины Российской империи в ее северную столицу, и отношения центра и провинции. Такие переезды были тогда обычны: стремившиеся на север потомки козаков «наводняли Петербург ябедниками» и торговцами, служили в «палатах и присутственных местах», да и выше — в министерствах и при дворе, составляя в столице первое по численности и могуществу землячество. Это не было секретом. Так, в комической опере И. П. Котляревского «Москаль-чаровник» (1819) в ответ на ехидную реплику солдата, что «хохлы никуда не годятся, да голос у них хорош» (намек на происхождение «из певчих» последнего малороссийско-

го гетмана К. Г. Разумовского), чумак Михайло с достоинством отвечал: «Ось заглянь в столицю, в одну і в другу, та заглянь в сенат, та кинься по міністрах, та тоді і говори — чи годяться наші куди, чи ні?» (*Котляревский*, 264). Приехавший в столицу «нежинец» Е. Гребёнка назвал ее «колонией образованных малороссиян. Все присутственные места, все академии, все университеты наполнены земляками, и при определении на службу малоросс обращает <на себя> особенное внимание» (цит. по изд.: *Гребінка Є. П.* Твори: У 3 т. Киев, 1981. Т. 3. Листи. С. 566). Украинцами были многие петербургские певчие, музыканты, актеры, художники, а среди них — приятели, земляки, однокашники и хорошие знакомые Гоголя. С начала 1830-х годов стала очевидной и украинская культурная экспансия (об этом: *Пиксанов Н. К.* Областные культурные гнезда. М.; Л., 1928. С. 26). Она подготовила шумный театральный дебют Нестора Кукольника, успех Алексея Венецианова и его живописной школы... Тогда эти имена — так же, как имена «всесильного» историка и критика искусств Владимира Григоровича, любимца публики актера Михаила Щепкина, да и самого Пасичника, — тоже были на слуху в столицах и в большой моде!

Отношения *козацкого* и *петербургского* в художественном мире Гоголя можно понимать и как связь *прошлого* и *настоящего*, *идеала* и его последующего исторического *искажения*, а также *причины* и *следствия*, *реального* и *сказочного*... «Пропавшая грамота» для царицы в Петербург проводит козака через загробное адское «чертово логово» в обетованный «рай» царской хаты, но и тут и там сияет «золото», обозначая, в народном понимании, «тот свет». Путешествие по Украине Екатерины Великой из Петербурга в Тавриду и обратно будет памятно не только Голове: ведь Крым для России помогли завоевать козаки. В повести «Ночь перед Рождеством» запорожцы напомнят об этом императрице, которая уже решила уничтожить и Сечу, и Гетманщину, и остатки прежних вольностей Козачества. А защита козаками православной веры, битвы с поляками, козацко-крестьянские волнения откровенно перекликались с недавними кровавыми событиями Польского восстания 1830—1831 годов. Тогда Петербург наполнился и теми, кто бежал от ужасов войны, от нее пострадал, и теми, кто приехал просить за своих близких, участвовавших в восстании. То есть уже в самой столице в какой-то мере возобновилась скрытая вражда поляков с украинцами и русскими на административном, религиозном и бытовом уровнях*, и прежние исторические противоречия стали вновь актуальны в петербургском мире.

---

* Так, например, в черновой редакции «Записок сумасшедшего» (1834) Гоголь иронически замечал о доме Зверкова, «машина» которого впервые поднялась выше Зимнего дворца, символи-

В то время Санкт-Петербург как град Святого Петра, религиозный и культурный центр народов Российской империи, виделся «Третьим Римом», соединившим российское с византийским (греческим) и римским. Украину же представляли славянской Италией или Грецией, именуя соответственно *Авзонией* (как идеализированную Италию в древнеримской поэзии) или *Аркадией* — так называли в античных мифах счастливую страну, идиллический край хлеборобов и скотоводов Греции, где человек находился в первоначальном единстве с природой, не зная несчастий и даже самой смерти. Однако в историческом плане Малороссию воспринимали двояко. Поскольку она — даже территориально — прямая наследница Древней Руси, то **старше** своей великой сестры: это «колыбель Россов, потому что предки оных сарматы, скифы и славяне поселились там прежде и построили первые города»; там, согласно Нестору, «в 33 или 34 году по Р.Х. Св. апостол Андрей Первозванный проповедовал им Христианскую веру». Но после распада «материнского» государства эти земли оказались под властью Литвы, затем вместе с ней были фактически захвачены Речью Посполитой и лишь после долгих мытарств волею народа были возвращены в состав России. Все это время Украина фактически не имела собственной государственности и потому сохранила некие исконные, «младенческие» черты Киевской Руси, славянского мировосприятия, единства с природой, которые были признаны и оценены даже Европой. Этим «полуденная Россия» напоминает Авзонию и Аркадию, а ее «райские уголки» — сам «Эдем» (общее место просветительских, а позднее и романтических сочинений о ней). Так что, с точки зрения Российской империи, своей «отдельной» истории Малороссия не имела и не могла иметь. Во «Введении» к официозной «Истории Малой России, от присоединения ее к Российскому государству до отмены гетманства...» (1822) Д. Н. Бантыш-Каменский объяснял, как религиозно-освободительная борьба вела к воссоединению с Россией[1]. В середине 1820-х годов — возможно, как отклик на этот труд — получила распространение рукописная «История Русов, или Малой России», приписывавшаяся Святителю Георгию Конисскому, архиепископу Могилевскому и Белорусскому, которая именовала украинцев «русским народом» и повествовала о его бедствиях,

---

зируя новый, буржуазный Петербург: «Какого в нем народа не живет: сколько кухарок, сколько поляков! а нашей братьи, чиновников, как собак...» (*Ар.*, 199, 266).

[1] *Бантыш-Каменский Д. Н.* История Малой России, от присоединения ее к Российскому государству до отмены гетманства, с общим введением, приложением материалов и портретами: В 4 т. М., 1822 (в наст. изд. цит. по *ИМР*; ее оценку, которую мы разделяем, см. в работе: *Казарин*, 21).

мужественной борьбе, неисчислимых жертвах во времена польско-католической экспансии[2].

Внимание к истории Малороссии в то время привлекло и возмутившее Россию требование шляхты вернуть Польше принадлежавшие ей ранее земли на Украине, охотно растиражированное французскими газетами. Затем заставило вспомнить о прежних конфликтах украинцев и поляков Польское восстание 1830—1831 годов. Чтобы дать верную оценку происходящему, художник-историк (согласно романтической концепции, именно он представляет свой народ — как, например, «истинный сын своей страны» В. Скотт, создавший поэтическую историю Шотландии) должен был показать роль каждой стороны в конфликте. Украинскую сторону представляло Козачество, во главе с Богданом Хмельницким освободившее страну от польского владычества, а значит вопрос о том, кто такие козаки, откуда они взялись и каково их значение, становится центральным для художественно-исторических сочинений такого рода.

I

«Здесь так занимает всех всё малороссийское...» (X, 142), — сообщал Гоголь в письме матери из Санкт-Петербурга 30 апреля 1829 г. Показателем интереса служило увеличившееся в том году количество «украинских» публикаций. Среди них по важности и читательскому вниманию первой и главной, несомненно, стала поэма А. С. Пушкина «Полтава». Малороссийские повести «Терешко» и «Козацкие шапки» И. Г. Кулжинского напечатал «Дамский журнал» (№ 24, 32, 34—35), альманах «Подснежник» — «Русалку. Малороссийское предание» Порфирия Байского <О. М. Сомова>; в альманахе «Северные Цветы на 1830 год» (СПб., 1829) появились «Малороссийская песня» классика украинской литературы И. П. Котляревского и «Малороссийская мелодия» А. А. Дельвига, в журнале «Московский Телеграф» (№ 11—12, 23) — стихотворения Н. Маркевича, затем составившие книгу «Украинские мелодии», а журнал «Сын Отечества и Северный Архив» в № 41 поместил «Сказание о Хмельницком» выпускника Нежинской гимназии В. И. Любича-Романовича. Растущий интерес к Украине под влиянием «Истории Русов» привел

---

[2] О появлении «Истории Русов» (*ИР*), ее тенденциях и значении см.: *Казарин*, 22—23. О генезисе и влиянии *ИР*, а также проблеме ее авторства см.: *Звиняцковский 1994*, 259—262; *Он же*. Историческое ядро «Миргорода» в свете художественно-мифологических установок XVIII—первой трети XIX в. и документированной истории Украины. «Тарас Бульба» и «История русов» // Н. В. Гоголь: Материалы и исследования. Вып. 2. М., 2009. С. 291—295.

Пушкина в 1829 г. к замыслу исторического труда о Малороссии (см. об этом: *Оксман*, 211—214).

Именно с 1829 г. Гоголь начинает активно пополнять собранный исторический материал этнографическими сведениями. Можно полагать, что «идеей времени» стала **поэтическая история народа**, которая бы объяснила черты современного национального характера. В том же году она отчасти была реализована: Н. А. Полевой начал издавать многотомную «Историю русского народа» (М., 1829—1833. Т. 1—6; не завершена), М. Н. Загоскин опубликовал исторический роман «Юрий Милославский, или Русские в 1612 году» (М., 1829), а привыкший чутко улавливать запросы публики Ф. В. Булгарин дописывал исторический роман «Димитрий Самозванец» и уже в ноябре открыл на него подписку (причем оба автора, независимо друг от друга, ввели в свои произведения образы запорожских козаков).

Чуть раньше попытку изобразить в поэтическом и этнографическом плане украинского селянина предпринял преподаватель латинского языка Нежинской гимназии высших наук И. Г. Кулжинский, описавший Украину в своей книге «Малороссийская деревня» (М., 1827) как идиллическо-буколический «сокращенный Эдем». Тогда же поэт и фольклорист, историк М. А. Максимович выпустил сборник «Малороссийские песни» (М., 1827; далее: *Максимович 1827*), где — соответственно идеям немецкого философа И. Г. Гердера — песни представали воплощением *духа* украинского народа и самого его развития, а потому имели и непреходящую эстетическую, и самостоятельную историческую ценность. А еще через несколько лет уроженец Черниговщины, поэт и этнограф Николай Маркевич в предисловии к сборнику «Украинские мелодии» уже напишет о том, что создание поэтической истории страны становится **насущной потребностью**:

«...*Полуботок*, *Войнаровский*, *Палий*, *Мазепа* не менее достойны воспоминаний поэта.

Если станет на то сил моих и времени, быть может, я решусь принесть моим соотечественникам и земле, кормившей некогда наших праотцов, а ныне хранящей остатки их, — подробное описание красот исторических, прелестей природы, обычаев, обрядов, одежд, древнего правления Малороссийского. Приятно было б вспомнить, каков был Батурин, Чигирин или Глухов* во времена предков наших, каковы были нравы, язык; приятно

---

* Город Батурин со второй половины XVII в. был резиденцией гетманов Левобережной Украины; после измены Мазепы в 1708 г. город по приказу Петра I был разрушен, жители разогнаны, а резиденция перенесена в г. Глухов, где и находилась 1-я, а затем 2-я Малороссийская коллегия — до 1764 г., когда автономия Левобережной Украины была ликвидирована. Город Чигирин — легендарная вотчина Богдана Хмельницкого, место его рождения и, вероятно, смерти, его резиденция в 1648—1657 годах, затем дотла уничтоженная турками и татарами.

представить себе отечество в дни его протекшие <...> Для истинных любителей Русского слова не менее приятно было бы узнать наречие Малороссийское, как от одного корня проистекающее, тем более что в нем находятся слова, для русских теперь уже хотя и не понятные, но некогда и им как нам *принадлежавшие*» (*Маркевич*, XXVII—XXVIII; курсив автора).

Еще позднее, выпуская новый сборник «Украинские народные песни» (М., 1834), М. А. Максимович определит значение этих песен так: «Это надгробные памятники и вместе живые свидетели отжитой старины. Другие народы в память важных происшествий своих чеканят медали, по которым История часто разгадывает минувшее; события козацкой жизни отливались в звонкие песни, и потому они должны составить самую верную и вразумительную летопись для нового бытописателя Малороссии», — таким «новым историком Малороссии» был провозглашен «*Н. В. Гоголь*... автор Вечеров на хуторе близь Диканьки» (*Максимович 1834*, IV—V).

Он заслужил это звание за несколько лет своей жизни в Петербурге именно потому, что не был самоуверенным «недоучкой», легенда о котором живуча до сих пор. Он видел пробелы в своем образовании и откровенно сообщал о них матери еще из гимназии (*Манн 1994*, 189), а его запас различных сведений не ограничивался специально заведенной в 1827 г. «Книгой всякой всячины, или Подручной энциклопедией». В гимназии он приобрел опыт театральных, литературных и «художнических» занятий, предполагавших обширные познания, работу с источниками, определенную систематизацию, без чего не может обойтись серьезный ученый или писатель. Николай Гоголь-Яновский сначала не располагал историческими сведениями, нужными для лекций и/или статей, но лихорадочно работал над пополнением своих знаний, надеясь на универсальный теоретический «фундамент» и некий принцип, «идею» — стержень, что помог бы построить, а потом поддерживал «здания» всеобщей, средневековой и малороссийской Истории.

Историческая составляющая раннего гоголевского творчества очевидна. Первоначальный интерес мальчика к истории питали сведения из Священного Писания, в основном сообщенные матерью, рассказы о Полтавской баталии, о славном 1812 годе, семейные и козацкие предания, легенды Полтавщины, а затем книги из библиотеки Д. П. Трощинского в Кибинцах, его домашний театр, козацкие соборы в Нежине... Более серьезные представления формируются под впечатлением событий 1825 г., когда внезапная смерть отца, а затем известия о восстании декабристов обратили внимание юноши на историю своей семьи. Очень важно, что развитие взглядов на Историю, судя по письмам Гоголя-гимназиста, было связано с его самосознанием, освящено христианским Преданием, мыслями о Промысле

Божием, пониманием долга человека на Земле, идеями деятельного Добра, служения людям, свойственными «нежинской школе»[3].

Будущего писателя привлекала историческая тематика, и первыми ученическими опытами, о которых теперь можно судить лишь по заглавиям, стали поэма «Россия под игом татар», стихотворная трагедия «Разбойники», славянская повесть «Братья Твердиславичи» (*Манн 1994*, 109—110). Есть догадки о том, что позднее Гоголь-гимназист работал над замыслом трагедии «из исторического прошлого» (*Михальский*, 9), скорее всего, под влиянием исторической трагедии А. С. Пушкина «Борис Годунов», сцена из которой «Ночь. Келия в Чудовом монастыре» появилась в первом же номере журнала «Московский Вестник» за 1827 г. (а слухи о содержании пьесы опередили ее полную публикацию в конце 1830 г., восторженно принятую Гоголем и описанную в его неопубликованной статье о «Борисе Годунове»). Именно с 1827 г. начинает заполняться «Книга всякой всячины», в письмах того времени к матери проскальзывают намеки о «начале великого предначертанного... здания» (X, 117 и др.). Тогда гимназист Гоголь, по-видимому, представлял историю как Божественный театр — с героями и толпой, «актерами» и «зрителями-существователями». О подобном восприятии действительности и ее переосмыслении в отчетливо сатирическом и/или комедийном ключе свидетельствуют его письма Г. И. Высоцкому 1827 г. (см.: X, 79—81, 84—89, 97—103) и явно драматизированная сатира в пяти картинах «Нечто о Нежине, или Дуракам Закон не писан» (ср.: *Манн 1994*, 115), а театральность восприятия истории и современности в начале 1830-х годов отражена его комическими опытами (см. с. 416).

Историческая трагедия в то время считалась «вершиной» романтизма и была для юного театрала куда ближе романов, вероятно, и потому, что — в силу театральной условности — не требовала особых исторических познаний, житейского и психологического опыта, тех конкретных подробностей и связей, без знания которых или без их учета нельзя создать роман. На драматический жанр указывают первоначальные записи в «Книге всякой всячины»: большинство их посвящено лексикону, одежде, нравам и мало-

---

[3] Об этом см.: *Михед П. В.* О нежинской литературной школе // Наследие Н. В. Гоголя и современность: Тезисы докл. и сообщ. Гоголевской конф. Нежин, 1988. Ч. 1. С. 11—12; *Жаркевич Н. М.* Нежинский период жизни Н. В. Гоголя и становление его исторических взглядов и интересов (к постановке проблемы) // Там же. С. 7—8; *Жаркевич Н. М.* Н. В. Гоголь и И. С. Орлай (к вопросу о становлении исторических взглядов и интересов Н. В. Гоголя) // Творчество Н. В. Гоголя и современность: Тезисы докл. и сообщ. Гоголевской конф. Нежин, 1989. С. 9—10; *Якубина Ю. В.* Роль Нежинской гимназии высших наук в формировании религиозных взглядов Н. В. Гоголя // IV Гоголевские чтения: Сб. науч. статей. Полтава, 1997. С. 118—120; Неизданный Гоголь / Изд. подготовил И. А. Виноградов. М., 2001. С. 4—5.

россиян, и русских — особенно XVII в. — как вероятных персонажей некой пьесы о Смутном времени (этнографические сведения собственно о малороссиянах понадобятся Гоголю лишь в Петербурге). Причем трагедия (конечно же, в стихах!) родственна по жанру драматической идиллии в картинах, и потому М. И. Гоголь, то ли не посвященная сыном в подробности, то ли просто за давностью лет, вполне могла перепутать, вспоминая о «двух трагедиях», с которыми Никоша отправился в Петербург. Эти сведения отчасти подтверждаются их соседом по имению, помещиком В. Я. Ломиковским в письме от 9 января 1830 г. Явно опираясь на действительные высказывания М. И. Гоголь, он дает свою оценку некоторым замыслам ее сына: «...быв выпущен из Нежинского училища, нигде не захотел служить, как в одном из министерств, и отправился в столицу с великими намерениями и вообще с общеполезными мероприятиями; во-первых, сообщить матушке не менее 60000 рублей, кои он имеет получить за свои трагедии; во-вторых, исходатайствовать Малороссии увольнение от всех податей» (цит. по изд.: *Манн 1994*, 201).

Необходимо отметить, что подобное движение Гоголя в начале творческого пути от гипотетической *исторической драмы* в сторону *исторической прозы* соответствовало общему направлению европейской и русской литературы той эпохи (см.: *Петрунина*, 49). Однако недостаток достоверных сведений позволяет говорить лишь о существовании некой целостной государственно-исторической «идеи», что питала с 1827 по 1830 г. гоголевские замыслы различных по жанру произведений — вероятно, основанных на биографических мотивах и семейных преданиях (об этом ниже, на с. 295—296). Эта «идея» будет вдохновлять и последующие творческие поиски Гоголя. Параллельно он работает над идиллией «Ганц Кюхельгартен» (СПб., 1829) — поэтической историей одинокого юного мечтателя («мировой души»), который, чтобы увидеть Мир и творения Искусства, лично причаститься европейской Истории, уходит из деревенского дома, долго странствует на чужбине, однако обретает покой, уют, уверенность в себе и — видимо — семейную гармонию, лишь воротившись в родной Дом. То есть обращение к прошлому, к истокам европейской культуры (Греция, Италия) отнюдь не отчуждает героя от настоящего — наоборот, после этого он *принимает действительность*, довольствуется своей судьбой и перестает ее испытывать именно потому, что осознает преемственность, отсутствие разрыва между прошлым и настоящим, общность своего Дома с Градом и Миром.

Переход от «истории героя-одиночки» к поэтической истории народа через «историю семьи», вероятно, и определил особенности малороссийской повести «Бисаврюк, или Вечер накануне Ивана-Купала», которую Гоголь

анонимно опубликовал в начале 1830 г. Это старинное народное «сверхъестественное предание» пересказывает со слов своего деда и оценивает дьячок, то есть человек церкви. Действие отнесено к неопределенно далекому времени (хотя вряд ли в полтавском селе после 1630-х годов «лях» мог разгуливать один), но представленную картину народного прошлого трудно назвать героической: «...бывало, свои, как нет поживы в неверной земле, навалят ватагами, да и обдирают своих же», — подобно «беззаконным толпам ляхов», «литве... крымцам... заморскому сброду», а беззащитность народа перед набегами вынуждает ютиться в убогих мазанках или прятаться в «ямы» землянок. Все это лишает смысла понятия козацкой «вольности» и «братства». Если проще отнять, чем жить своим трудом, плоды которого тоже могут забрать или уничтожить в любое время, то «вольность» — это отсутствие любой другой власти, кроме первобытного права сильного. И незачем поровну, справедливо, по-братски делить добычу, если можно **всё** взять себе, спрятать или прогулять. — Ср. высказывание Карамзина о «нравственном уничижении» народа из-за «иноплеменного ига», когда умножились бесстыдство, ложь, корыстолюбие, люди стали «бесчувственнее к обидам», и «отечество... походило более на темный лес, нежели на Государство: сила казалась правом; кто мог, грабил; не только чужие, но и свои; не было безопасности ни в пути, ни дома; татьба (разбой, грабеж. — *В. Д.*) сделалась общею язвою собственности» (*ИГР*. Т. V. С. 202).

Видимо, в тот период «братство», «вольность», защита Веры, без чего нельзя и представить «удалые подвиги Подковы, Полтора-кожуха и Сагайдачного», начинают уступать отношениям корыстной нехристианской несвободы — даже в делах, казалось бы, сугубо личных. И можно заставить на себя работать за кусок хлеба круглого сироту, даже родственника, выгодно женить сына или выдать замуж дочь и вообще «устроить» их жизнь, не спрашивая на то их согласия, пресмыкаться перед богатой родней и презирать бедную... ибо жизнь народа теперь определяет не Вера, не подвиг, не общее благо и даже не семья, а личная выгода. И тогда жизнь одиночек, потерявших Веру, потому и разобщенных, становится подвластной «дьявольскому» насилию, индивидуализму, собственничеству. Так, Корж готов продать свою красавицу дочь «ляху», если тот богат. А сирота Петр Безродный знает: чтобы создать семью, нужны деньги, — и мечтает уйти «на Дон, пристать к какой-нибудь ватаге удалой — воевать туретчину или крымцев», награбить «кучи золота, драгоценные каменья», то есть стать козаком, лишать жизни других, или потерять свою, или даже продать дьяволу душу. В народной поэзии был достаточно распространен мотив человека без роду и племени, поддавшегося черту, — в повести этот мотив связан с козаками.

В комической опере И. П. Котляревского «Наталка Полтавка» (1819), хорошо известной Гоголю классике украинской литературы, круглый сирота Петрусь тоже был взят в богатый дом, «выкормлен» вместе с дочерью хозяев и стал работником, а затем из-за любви к ней его выгнали из дома. Другой юный сирота — Мыкола, не зная, как жить дальше, тоже хочет пристать «до черноморцев» — козаков «Черноморского войска»: ведь «они если не пьют, то людей бьют, а всё не гуляют», — и он мечтает с ними «тетерю (тюрю. — *В. Д.*) есть, горилку пить, люльку курить и черкес бить» (*Котляревский*, 229—230). Однако эти представления о козаках включают молодечество, гульбу и жестокую, полную опасностей, зато сытную военную жизнь на воле. И ни слова о награде, добыче, деньгах! Весь заработок Петрусь отдаст в приданое Наталке, лишь бы она была счастлива, а ее нареченный жених, увидев их взаимные чувства, не станет им мешать, и все завершится торжеством дружбы, любви, справедливости. Здесь отношения героев лишены корысти, злого, демонического и потому так легко вновь становятся гармоничными, и слова льются песней — по-видимому, от природы (ведь село стоит на берегу Ворскла, как и Полтава, но в городе герои были несчастны).

У Гоголя показано, что и близость к земле в глухом селе на Полтавщине не ограждает от зла, корысти, несправедливости, влияния дьявольских сил, как не спасает отступников от Божьего суда. Об этом свидетельствует «история сироты Петруся», начало которой явно перекликается с особенностями драматического конфликта и характеристики персонажей в «Наталке Полтавке». Таковы сиротство героя и героини, скупость и/или разорение родителя(-ей), желание выдать дочь за богатого, но нелюбимого, тогда как изгнанный за любовь герой вынужден думать о деньгах для будущей семьи, и под. Герои повести остались в основном «верны» характерам прототипов: Корж скареден, жесток, ограничен и самонадеян, как Терпило — отец Наталки, влюбленные самоотверженны, трудолюбивы и... наивны, у героя есть черты Петра и Мыколы, а героиня превосходит его по характеру, как и Наталка Петра. Кроме того, мотивы пьес «Наталка Полтавка» и «Москаль-чаровник» отчетливо различимы в первых повестях «Вечеров...» (за исключением повести «Пропавшая грамота»), несколько эпиграфов к повести «Сорочинская ярмарка» взято из «Перелицованной Энеиды» Котляревского (1798), и ее же узнаваемыми мотивами будет дополнена 2-я, каноническая редакция повести «Вечер накануне Ивана Купала». Одной из причин того, что Гоголь в своих ранних произведениях опирался на творчество И. П. Котляревского, вероятно, стал 60-летний юбилей украинского классика и 10-летний — его пьесы в 1829 г. (по ее мотивам М. П. Погодин написал повесть «Петрусь» для альманаха «Сиротка» 1831 г.).

Однако в гоголевских героях очевидно и демоническое начало, которого не было и не могло быть у героев Котляревского, и оно присуще не только Бисаврюку. Так, описывались явная трусость козаков и то, как они апатичны в церкви, безучастны к Слову Божию, что пастырь «мог видеть только широкие их пасти (пастырского стада? — *В. Д.*), которые они со всем усердием показывали в продолжение его речей» (отмечено: *Вайскопф*, 104), — хотя эти пассажи мог ввести и Свиньин, редактируя гоголевский текст. Но и 2-я его редакция, где упомянутые инвективы сняты, показывает, как вместо церкви козаки зачастую, причем намного охотнее, посещают шинок и за деньги ищут веселья либо забвенья на «покупном пиру», когда гости сидят «по чинам». Это гиблое место, ибо, по народным представлениям, пьянство и гульба от бесовства (об этом см.: *Булашев*, 342—346). Средневековые поучения клеймили «неправедное житье» (подобное «содомскому греху») как тех, кто «колдовством занимается и волхвует», так и тех, кто «держит корчму», и тех, кто «ест и пьет безудержно, до обжорства и опьянения, праздников и поста не блюдя, всегда пребывает в разгуле» (*Домострой*, 167). В этом свете предстает нехристианским поведение и посетителей шинка, и тетки рассказчика — шинкарки (когда она оставила шинок и тот развалился, его «черти долго еще поправляли на свой счет»). Здесь, в шинке и при шинкарке, Петра искушает Бисаврюк, уже по кличке — «черт в образе человеческом»: его занятия непонятны; днем он «почти невидимка», но, как зверь, ведет ночной образ жизни (и возможно, грабит купцов); живет в шалаше, «в каком обыкновенно... во время ярмонки... продают горелку»; из «этого бесовского гнезда» доносится «какой-то странный, бессмысленный шум» и чужая, неразборчивая речь. Ночью его «пьяная шайка... ни в чем не уступавшая своему предводителю» рыщет «с адским визгом и криком... по оврагам или по улицам...» И такое поведение, если считать чертами «настоящего козака» разгул, бражничание, проматывание денег, соответствовало козацким идеалам: «Понаберет с собою всех встречавшихся козаков, да и давай угощать; деньги сыплются... водка словно вода... » Вместе с тем Бисаврюк не бывает в церкви даже на Пасху и способен угрожать священнику. Однако, как показано, и те, кто в церковь ходит, демонстрируют там безразличие к вере, а потому не могут считаться истинными христианами. И Петрусь, убитый горем, тоже «готов обнять дьявола как родного брата. Ведь иной раз наваждение бесовское так ошеломит... что сам пресловутый Сатана... покажется Ангелом»*.

---

* Во 2-й редакции и Петр, и Пидорка вполне готовы скорее пойти на самоубийство (то есть отречься от Бога!), чем расстаться (это трагический мотив «Наталки Полтавки»: там любящие друг друга герои заявляют о невозможности прожить без любимого. — *Котляревский*, 239, 244);

Безродным отступником Петром открывается у Гоголя ряд героев-сирот, который завершат Чичиков и князь из повести «Рим». Здесь мы не касаемся метафизических аспектов «неполноты семьи/мира» и «одиночества героя в мире/миру» (см.: *Гончаров*, 38—43), но следует отметить, что сиротство для Гоголя — это и личный мотив: он сам на пороге юности остался без попечения и наставлений отца. Во времена Козачества сиротство возникало по вполне реальным причинам: разгульная жизнь, «козацкая вольность» и «рыцарское братство», пренебрежение удобствами, болезнями, да и самой смертью в походах разрушали семью и умножали сирот. В свою очередь, отсутствие родовых и бытовых «корней» часто делало сироту «перекати-полем» — равнодушным ко всему, подвластным искушению маргинальным героем, как будет показано в «истории Хомы Брута». В первой гоголевской повести акценты были расставлены несколько иначе. Сиротство заставляет Петра работать за кусок хлеба, довольствуясь тем, что дают; отсутствие самого необходимого порождает и поддерживает мечту о богатстве, а любовь Пидорки разрушает отчуждение, заменив родительскую любовь и заботу, которую он не знал. И потому союз с Пидоркой дороже «братов-товарищей», да и всего на свете, ибо без нее Петр просто не мыслит жизни! Так возникает парадоксальная *пограничная ситуация*, когда во имя любви и будущей семьи, освященной Богом, герой «на все готов!» — нарушить заповеди, совершить преступление или самоубийство, отказавшись от Бога. Это сближает Петра с будущими гоголевскими героями — Вакулой и Андрием. С другой стороны, как явствует из повествования, уже нет прославлявшихся бандуристами козацких идеалов: защиты Веры и Отечества, Братства, Вольности, ради которых герой мог бы отказаться от семьи, которые ее могли бы ему заменить... — Ср. в повести «Тарас Бульба» предписанный тогда образец козацкого поведения: «...в тогдашний век было стыдно и бесчестно думать козаку о женщине и любви, не отведав битвы».

Пограничную ситуацию — «пружину» исторических романов и всей романтической прозы — как правило, создает оппозиция или прямое столкновение «двух наций, культур, религий, жизненных укладов, быта и пр.» (*Альтшуллер*, 16), либо идеального (духовного, возвышенного, небесного, Божественного) с материальным (косным, вещным, земным, в конечном итоге — дьявольским), либо обычного (реального, жизненного) с необычным (фантастическим, чудесным) и т. д. Отчасти мы уже характеризовали *пограничное*, говоря о татарских, литовских и сарматских, да и козацких

в дальнейшем, чтобы вылечить мужа, Пидорка обратится к знахарке, пренебрегая обращением к св. Пантелеймону-целителю (*Комментарии СС*. Т. 1/2. С. 434).

набегах, показывающих относительность «национальных границ» собственности, о богатстве-нищете «земляных жителей» (среди них появляется и «лях, обшитый золотом»), о «братстве» и собственничестве, «воле» и неволе, церкви и шинке, человеке по кличке Бисаврюк и нехристианском в поступках других козаков. Кроме того, вдовец Корж, сирота Пидорка и особенно круглый сирота Петр имели в этом обществе отчетливый пограничный статус.

Пограничен и сам пейзаж: поле — лес — болото — отдаленные от них степи характерны для северной границы со Слободской Украиной, тогда входившей в состав Русского царства (ср. украинские пейзажи «Миргорода»). Тот же пейзаж в остальных повестях «Вечеров на хуторе близ Диканьки», исключая «Страшную месть», обозначает явную близость к России, *пограничье* (здесь вероятна перекличка с произведениями В. Скотта, где действие происходило на «пограничной полосе» земли между Англией и Шотландией). Противопоставлено украинской степи и место действия в ранних исторических фрагментах Гоголя: лес — в «Главе из исторического романа», городок на «дне провала» и монастырское подземелье — в <Кровавом бандуристе>. В то же время степь как будто сопутствует героям, находится достаточно близко, на «втором плане» пейзажа: вероятно, из степи привозят таинственного пленника, шляхтич попадает в лес только «после долгого степного странствия». В рукописных <Главах исторической повести> (о них пойдет речь далее) герой и его возлюбленная упоминают степь как символ козацкой вольности, хотя среди холмов Приднепровья лишь однажды откроется простор «равнины».

Само заглавие «Бисаврюк, или Вечер накануне Ивана-Купала» имеет и мифологическое, и пограничное значение, ибо здесь «бесовским» именем назван «сам нечистый, принявший человеческой образ», не черт и не человек. Вечер — это «сумеречное» состояние между днем и ночью, светом и тьмой, которое можно также воспринимать как границу между жизнью и смертью, правдой и ложью (см. об этом: *Манн 1988*, 56, 68). И канун праздника тоже находится между обыденным и необычным (этим же будет объяснять Пасичник в предисловии к первым «Вечерам...» появление «диковинных» историй: «Бывало, соберутся накануне праздничного дня добрые люди в гости, в пасичникову лачужку, усядутся за стол, — и тогда прошу только слушать». — I, 104). Сам же праздник совместил Рождество Иоанна Предтечи (24 июня ст. ст.) с поклонением языческому богу земных плодов Купале. В «Книге всякой всячины» Гоголь записал: «*Купаловые песни* поют в Иванов день или в день Купала» (IX, 518). Наряду с этим существовало иное представление, вероятно, восходившее к периоду, когда в народном сознании христианский и языческий праздники еще не со-

единились. Так, в «Сказках о кладах» уроженец Слободской Украины О. М. Сомов, вслед за *ИГР*, утверждал, что «*Купаловым днем* в Малороссии называется день св. Агриппины, накануне Иванова дня (23 июня). Летописцы говорят, что во времена язычества славянских народов в этот день приносились жертвы богу Купалу» (Невский альманах на 1830 год. СПб., 1829; цит. по изд.: *Русские альманахи*, 303), а Карамзин сближал эти праздники потому, что св. Агриппина была «прозвана в народе *Купальницею*» (*ИГР*. Т. I. С. 81). Гоголь, по-видимому, придерживался генеральной линии таких сочинений, и подчеркивая общеславянскую языческую основу малороссийских обычаев, и сближая их с обычаями русских. Так, в примечании он поместил, немного изменив, сведения из сборника народных песен Максимовича: «В Малороссии существует поверье, что папоротник цветет только один раз в год, и именно в полночь перед Ивановым днем, огненным цветом. Успевший сорвать его — несмотря на все призраки, ему препятствующие в том, находит клад» (*Максимович 1827*, 219—220). Это же место в своей книге позднее воспроизвел Н. Маркевич, причем оба автора не воспользовались украинским названием «папороть», хотя Гоголь его внес в «Книгу всякой всячины» (IX, 518).

Согласно общеславянской языческой мифологии, «на Ивана Купалу... Перун... выступал на битву с демоном-иссушителем, останавливающим колесницу Солнца на небесной высоте, разбивал его облачные скалы, отверзал скрытые в них сокровища», и потому ночной «молниеносный цвет Перуна» (цветок папоротника), в частности, «обнаруживает подземные клады — подобно тому, как удары молнии, разбивая облачные скалы, обретают за ними золото солнечных лучей. Кто владеет чудесным цветком, тот видит все, что кроется в недрах земли», а нечистые силы хотят захватить цветок, ибо его владелец «становится вещим человеком, знает прошедшее, настоящее и будущее, угадывает чужие мысли и понимает разговоры растений, птиц, гадов и зверей» (*Афанасьев*, 237—240), — но, по христианским понятиям, это знания и умения демонические, сатанинские, напоминающие всеведение Адама до грехопадения. С другой стороны, в народной культуре золото земли — это атрибут и дьявола, и подземного **царства мертвых**, потому обычно клад не дается людям без жертвы, будь то кровь, жизнь или душа. К язычеству восходит и отчетливый план испытания-инициации главного героя.

У древних славян юношей «возраста мужества» отправляли в святилище (лагерь) вне территории племени или рода — обычно в лесу, где они как бы умирали для остальных. Главенство в святилище принадлежало жрецам и жрицам божеств **царства мертвых**. Яга, вероятнее всего, была жрицей языческой богини судьбы Мокоши, среди ее функций — определение

судьбы человека и владычество над миром мертвых, поэтому она (или заменявшая ее ведьма) входила в круг лиц, проводивших посвящение. Его ритуалами были временная смерть, когда испытуемых поглощало чудовище, последующее «воскрешение» — освобождение из его чрева, как бы новое рождение (*Пропп*, 149), а затем, вероятно, употребление наркотических веществ, создававших у неофита иллюзию беседы с тотемным предком или духами предков. Затем он должен был участвовать с товарищами в походах, набегах, боевых действиях племени/рода (позднее их стали имитировать так называемые ритуальные бесчинства). Окончательное превращение юноши в мужчину-воина завершалось изменением внешности и/или имени (подробнее об этом см. ниже, на с. 325—326). Только после этого он мог владеть собственностью и вступать в брачные отношения (сведения приведены по изд.: *Балушок*, 57—66).

На этом фоне видно, как в своей первой повести Гоголь трансформирует черты языческого посвящения, мотивирует его нехристианским насилием, кровопролитием ради богатства и уподобляет грехопадению. Так, герой вооружается по-козацки: «кием (здесь: небольшим копьем-пикой. — *В. Д.*) и татарскою кривою саблею»; его окружают «дикий бурьян» и «терновник», символизирующие возмездие за первородный грех (после чего Адаму было определено, что отныне земля «произрастит» ему лишь «терние и волчцы». — Быт. 3:18). Когда Петр завладевает цветком для демона и ведьмы, чтобы добыть клад, он как бы лишается чистоты, всеведения и веры Адама до грехопадения[4], и лишь затем отступник способен убить «безвинного младенца» Ивася, младшего брата любимой девушки — такого же сироту, как сам Петрусь. Эта языческая кровавая жертва «подземному миру» подобна и языческому «избиению младенцев», от которого был спасен ребенком Иоанн Предтеча, и отсечению головы Крестителя (ср.: *Вайскопф*, 91). Лишь после этого преступления самый обездоленный из «земляных жителей» сможет увидеть богатства «подземной» жизни и добыть «червонцы и дорогие камни». Все это можно истолковать как приметы **царства мертвых**. А его властительница, вначале обнаружившая зооморфные черты оборотня-вампира (собаки и кошки), затем становится старухой, по словам Бисаврюка — «старой чертовкой», для Петра — «старой ведьмой», похожей на «правоверную супругу Сатаны», которая, по существу, и определяет дальнейшую судьбу Ивася и Петруся, их принадлежность **царству мерт-**

[4] Во 2-й редакции повести «оживление» *купальской* языческой символики происходит в сфере сознания героя: недаром ему застывший «на пне... как мертвец» Басаврюк напоминает «истукана», то есть языческого идола, а затем среди «пустой и немой» ночной природы чудится, «будто трава зашумела, цветы начали между собою разговаривать голоском тоненьким, будто серебряные колокольчики; деревья загремели сыпучею бранью...» (I, 144—145).

вых (во 2-й редакции она будет прямо именоваться Бабой-Ягой и жить в «кусте терновника»).

Жилище Яги — ее «хата... на курьих ножках» (обычное место испытания героя восточнославянской волшебной сказки) — в повести выглядит обычным сказочным атрибутом и тем самым вроде бы исчерпывает свою роль в сюжете. Но встреча с Ягой и описание ее жилища чрезвычайно значимы в «Перелицованной Энеиде» Котляревского, где Бабой-Ягой («бабищей» и «цацей» в глазах рассказчика) представала Кумская Сивилла, проводница в царство мертвых, с которой Эней особо не церемонился, выражаясь почти как Бисаврюк (*Энеида*, 95). И поскольку герои поэмы были изображены троянцами-запорожцами, то перекличка с «Энеидой» в данном случае подтверждала принадлежность героев повести Гоголя к малороссийским козакам и «языческую» символику действия и не оставляла сомнения в творческой ориентации автора, а также вводила некий иронический подтекст, понятный лишь читателям поэмы И. П. Котляревского. Однако то, что сходило с рук энергичным героям поэмы, видевшим и рай, и ад, приводит к жизненному краху героев повести.

Вернувшийся из **царства мертвых** Петрусь впадает в «мертвый сон» и, очнувшись на другой день, оказывается лишен памяти, не помнит, что делал и откуда взялись 4 мешка золота. Недолго думая он несет дьявольское золото Коржу — и становится ему «как сын родной». Поляку отказывают и тут же «заваривают» свадьбу. Но можно ли ее играть? ведь «свадьба у крестьян малороссийск<их> обыкновенно бывает осенью», к тому же действие происходит на Петров пост, который установлен в память о святых апостолах Петре и Павле, постившихся перед евангельской проповедью (Деян. 13:3). Этот апостольский пост начинается через неделю после Святой Троицы, а заканчивается в день Петра и Павла — 12 июля (29 июня ст. ст.). Так возникает мотив «неправедной свадьбы», которую играют в неположенное время и/или на «нечистом» месте, не соблюдая обязательных обрядов, — как это будет в повести «Сорочинская ярмарка» (см.: *ПССиП*. Т. 1. С. 694—696), — недаром рассказчик-дьячок описывает традиционные «бесчинства» на самой свадьбе и после нее как яркие, красочные, но дикие, языческие, «бесовские игрища».

Здесь же появляется народный и балладный мотив «жениха-мертвеца», обусловленный тем, что герой соприкоснулся с **царством мертвых**, принес ему искупительную жертву — Ивася. После этого сознание героя постепенно «затемняется» для жены и окружающих, ибо Петр все более «одержим» скупостью: утратив свободу воли, он «одичал так, что на него смотреть сделалось страшно, и всё по-прежнему сидит над мешками, да думает, да боится», — то есть существование его становится *пограничным*,

полуживотным. Через год память возвращается к нему после встречи с ведьмой, порождая «огненное привидение» невинно погибшего Ивася, которое становится все больше и жжет преступника изнутри, пока не уничтожает его вместе с дьявольско-языческим наваждением. От Петра («камня») остается лишь пепел — изначальный неодухотворенный хаос — тот «земной прах», из которого был создан Адам. Искупить «падение» в язычество своей семьи Пидорка может, только уйдя от грешного мира в освященное пространство: беспрерывно молиться, стать монахиней, чей религиозный подвиг обращает демоническое богатство и золото в «богатый оклад к иконе Божией Матери... весь из золота, исцвеченный такими яркими и блестящими камнями, что все зажмуривались, глядя на него». А «земляным жителям» за их грехи так и «не было покою от проклятого Бисаврюка», хотя «они бросили свои землянки и хаты и перебрались в село <...> Долго терпели, наконец потянулись все гурьбою к отцу Афанасию и взмолятся: помоги ты нам Божьею властию, выгони нечистого. Отец Афанасий обошел крестным ходом всё село, окропил святою водою все переулки, и с той поры никаких проказ уже не было...»

«История создания и разрушения семьи», основанная на традиционных фольклорных мотивах: любовь двух сирот, разлучение влюбленных (и/или смерть одного из них), продажа души за богатство (невесту, родство), преступление Божьих заповедей и кара за отступничество, — в силу этого обретает характерный эпический охват сказки[5]. А изображение всей жизни типичного героя: от рождения до свадьбы и смерти — и типичного в то время для его социума пути в козаки можно отнести к формальным приметам романа. Но если «ни один из всего села не мог запомнить никого из... родных», ни обстоятельств рождения героя — значит, вопреки постулату свободы воли, он оказывается изначально обречен на трагическое одиночество в мире, отчуждение от социума, искушение и «падение» в язычество. «Вторичное» отчуждение Петра (от жены) тоже происходит вопреки христианским установлениям («...оставит человек отца и мать и прилепится к жене своей, и будут два одною плотью, / Так что они уже не двое, но одна плоть. Итак, что Бог сочетал, того человек да не разлучает». — Мф. 19:5—6). Таким образом, фатальная «безродность» героя и его отступничество вызывает крушение не только семейных, но и всех человеческих связей после «неправедной свадьбы» и, наконец, гибель. Всё

---

[5] На рубеже 1820—1830-х годов повесть нередко отождествляется со сказкой (см. об этом: Русская повесть XIX века: История и проблематика жанра. Л., 1973. С. 9; а также: *Петрунина Н. Н.* Проза второй половины 1820—1830-х гг. // История русской литературы: В 4 т. Л., 1981. Т. 2. С. 502—504).

это обнажает демоническую сторону народной жизни, дезавуируя идею романа как «христианской истории любви»[6].

Обещанное вначале «чудесное» по ходу повествования интерпретируется лишь как *демоническое, языческое*, проявления которого сугубо телесны, материальны или «животны», наделены грубыми земными или «подземными» чертами, чертами мертвого или безумного — своего рода «терновником» и «бурьяном» бытия, напоминающими о хаосе. Так, Бисаврюк «зарычал... своим бычачьим голосом», назвав священника «бородатым козлом» (то есть «кацапом»); он «неподвижно и немо», как языческий истукан, сидел в лесу «на заросшем пне, словно мертвец». У ведьмы «сизый нос» и подбородок составили «инструмент, похожий на клещи <...> изо рта у ней посыпались искры и показалась адская пена <...> шипение, походившее на хохот, вылетало из беззубого ведьмовского рта <...> Адский хохот раздался вокруг... безобразные чудовища стаями скакали... а гнусная ведьма, вцепившись руками за обезглавленный труп, с жадностью пила из него кровь...» Возможности такого истолкования обоснованы обычными фольклорными и языковыми «ходами» (к ним относятся и устойчивые сравнения). Позднее, уже в 1840-х годах, подобные «ходячие» славянские сюжеты (схемы) с иронией воспроизвел В. И. Даль, относя, например, к ним «целый ряд сказок и поверьев о цвете папоротника, который-де цветет ночью на Иванов день. Этот небывалый цвет (папоротник тайниковое, бесцветное растение) почитается ключом колдовства и волшебной силы, в особенности же для отыскания кладов: где только зацветет папоротник в полночь красным огнем, там лежит клад; а кто сорвет цвет папоротника, тот добыл ключ для подъема всякого клада, который без этого редко кому дается.

<...> Клад вообще не всякому дается; хозяин клада, по смерти своей, бродит тихо вокруг и бережет его сторого и чутко: либо вовсе не найдешь, либо и найдешь, да не возьмешь, не дастся в руки; не подымешь по тяжести; обмираешь, как тронешь, ровно кто тебе руки и ноги перебьет; кружишь на этом месте и не выйдешь, ровно леший обошел, поколе не положишь клад опять на место; или, если клад под землей, в подвале, глубокой яме, то взявший его не вылезет никак, перед тобою земля смыкается, железные двери с запорами затворяются; либо выскочит откуда ни возьмись невидимка, схватит и держит на месте, покуда не выпустишь из рук клада; либо навалится

[6] В статье «О романе как представителе образа жизни новейших европейцев» В. Титов утверждал, что европейский (и российский тоже) роман обратился к «индивидуальному и семейственному существованию, связанному с развитием христианских идей» (*МВ*. 1828. Ч. 7. С. 171). То есть «мысль семейная» и «мысль народная» были взаимосвязаны задолго до известного высказывания Л. Н. Толстого.

на плечо ровно гора, так что и языка не повернуть; либо ноги подкосятся, либо станут, упрутся, словно приросли к земле; или, если и возьмешь клад и унесешь, то сколько ни носишь его домой, берешь золото, а принесешь черепки; или же, наконец, возьмешь, да и сам не рад; вся семья сподряд вымрет. Все это оттого, что клад кладется со свинцом или с зароком, что клад бывает всегда почти заповедный и дается тому только, кто исполнит зарок; избавляет же от этой обязанности только цвет папоротника или разрыв — прыгун... трава, железняк или кочедыжник; папоротнику и плакуну повинуются все духи, а *прыгун* ломает замки и запоры, побеждая всякое препятствие. Иногда клад бродит не только свечой, огоньком, но даже каким-нибудь животным или человеком <...> Во время выемки клада всегда приключаются разные страсти, и черти пугают и терзают искателя...» (*Даль*, 143—144).

Столь же очевидно, как в повести «Вечер накануне Ивана Купала» демонические образы включают черты или фольклорно-языческих, или европейских романтических, или античных героев, легко опознаваемые читателем. Однако эти разнородные характерные черты здесь не столько «подсвечивают», сколько отчасти «размывают» образы. И потому комментаторы отмечают, что образ Бисаврюка/Басаврюка «не имеет прямых аналогий в народной демонологии: его статус... не ясен, он то ли черт, обернувшийся человеком, то ли ходячий покойник, упырь; для народной традиции, где колдун, черт, упырь и т. д. обладают каждый своими отчетливо выраженными признаками, такая расплывчатость не характерна» (*ПССиП*. Т. 1. С. 717).

Поэтому проявления и действия *нечистой силы* в повести изображены как *всеобщие*. К ним так или иначе причастны все — и живущие разбоем (набегами), и пьющие, и равнодушные к вере, и трусливые, и девушки, падкие на подарки, и отцы, готовые выдать дочь за богатого, но ненавистного «ляха», и ряженные демонами на свадьбе... У «юного» (как главные герои) народа есть угроза старческого распада на отдельные, даже не семейные, а сугубо индивидуальные мирки, когда *земное* берет верх над *духовным*, человека охватывают безверие и корысть и он живет для себя, служа Богу и Мамоне, провоцируя явление «чёрта в образе человеческом» — одного из ликов антихриста. Такая перспектива распада семьи должна быть признана апокалиптической. Обозначает ее служитель церкви, вместе с тем выражающий и родовую (народную) точку зрения. — Ср., как будет обосновывать подобную перспективу «средневековый» художник-монах в повести «Портрет» (1835): «...земля наша — прах пред Создателем. Она, по Его законам, должна разрушаться, и с каждым днем законы природы будут становиться слабее, и от того границы, удерживающие сверхъестественное, приступнее» (*Ар*., 72).

Подобная «демоническая» характеристика украинских козаков в первой повести Гоголя как бы иллюстрировала обвинения Козачества в нехристианском образе жизни: азиатских разбойных набегах («наездах»), язычестве, пьянстве и обжорстве, кровожадности, жестокости, коварстве и алчности. Это, видимо, «польские» и/или «господские» взгляды на Козачество, которым, в отличие от Гоголя, оставался и позднее верен его однокашник, поэт и драматург Н. В. Кукольник: «Тогда на просторе свободно и безнаказанно разыгрывалось казацкое молодечество. Свои не хуже татар грабили... уводили в плен красавиц; казак с верховий Буга с товарищами гостил на берегах чистого Псла, а у него в то же время в гостях пировали степные наездники по-своему. И теперь в Малороссии тяжба в моде, но только на бумаге, а тогда та же вечная тяжба, только на шабельках» (*Кукольник Н.* Вольный гетман пан Савва: В 2-х т. СПб., 1852. Т. 2. С. 455). Подобные инвективы можно объяснить и распространенностью этих взглядов в обществе (так, при обсуждении романа «Юрий Милославский» вспоминали о набегах козацких шаек на русскую землю в Смутное время), и отчасти — традициями украинского вертепа, где на образ *козака* повлиял его польский театральный вариант — плута-хвастуна-пьяницы-гуляки, «разносителя шинков» (*Розов*, 109—113). Обычно же в малороссийской драме XVIII в. козака характеризовали «презрение к мирной жизни, ее занятиям и ремеслам, пренебрежение к имуществу, богатству, особенно золоту и серебру, отвращение к роскоши. Слава единственная цель его жизни, оружие — одна его радость, война — единственное занятие и искусство» (Там же. С. 106).

Негативная оценка Гоголем исторической роли Козачества приводит к тому, что в повести «Бисаврюк» единственными защитниками односельчан (и самой Православной Веры) от демонического воздействия предстают одиночки: священник Афанасий и Пидорка (Федора), подвиг которых возможен только **вне** обычной жизни — в освященном пространстве «Богомолья», церкви или монастыря. Соответствует этому и значение имен героев: Афанасий — греч. 'бессмертный', Пидорка (Феодора) — греч. 'Божий дар'. Имена Афанасия и Феодора носили многие видные духовные лица в России, а священник — борец с нечистой силой, вероятнее всего, назван так в честь одного из отцов церкви, епископа Александрийского Афанасия Великого (293—373), беспощадного и неустанного воителя с арианской ересью, «творца компромисса» между белым и черным духовенством, иерархией и монашеством (можно соотнести с этим решение Пидорки уйти в монастырь). Имя Афанасий носил дед Гоголя, сын священника, окончивший Киевскую Духовную академию; его родственники тоже были священниками. Именем Петр (греч. 'камень') Гоголь обозначил вероотступника, предателя, чью «двойственность» души определяет евангельская легенда

о том, как будущий апостол Петр трижды отрекся от Учителя, предсказавшего это (Лк. 22:55—62). Кроме того, престол св. Петра принадлежит главе католической церкви (в повести же слово «католик» имеет противоположное значение: «враг християнской церкви и всего человеческого рода»). Значимы и приравнивание Петра к «Иуде Искариотскому» в известной тогда повести Л. Тика «Пиетро Апоне» (рус. пер.: *МВ*. 1828), и параллель Петра с Иудой в украинском фольклоре, обоснованная отступничеством Петра (а наравне с ней есть и почитание св. Петра. — *Вайскопф*, 82, 92—93). Так ономастика проясняет символический подтекст повести.

С другой стороны, в предисловии действие повести ограничивалось всего **одним** «каким-нибудь старинным, сверхъестественным преданием», **одной** из всевозможных точек зрения на прошлое, наряду с «буйными наездами запорожцев» и «удалыми подвигами» легендарных народных героев. По мере изложения его тенденциозность во многом смягчали субъективность и сказочность, отдаленность действия во времени, ирония и оптимизм старого дьячка, отчасти дезавуирующие апокалиптическую перспективу. Ведь, по словам рассказчика, в конце концов бесовские проявления все же прекратились, исчез Бисаврюк, разрушен и шинок на Опошнянской дороге, нравы исправляются, бывший «бедный хутор» стал селом, что «стоит теперь на том самом месте, где творилась чертовщина, и, кажись, всё спокойно...»

Однако представленное в повести **негативное** отношение к прошлому Козачества в целом **не характерно** ни для известных Гоголю работ Цертелева, Максимовича, Кулжинского, ни для трудов Д. Н. Бантыш-Каменского, где подобные инвективы адресовались лишь «изменникам-запорожцам» (примеры см. ниже, на с. 277—278). А так как *демоническое* будет обосновано в «Вечерах...» несколько иначе, то, вероятно, перед нами первоначальный этап разработки Гоголем истории Козачества, который можно назвать «цивилизаторским» и «пророссийским». Тогда начинающий автор (скорее всего, под воздействием гимназического курса) связывал смягчение «хаоса» буйных языческих народных нравов, его упорядочивание и установление «космоса» общественного согласия с влиянием «русской» Церкви и последующим присоединением к России (то есть с гармонией славянской империи, ее цивилизации). Здесь воинственность козаков объясняется «азиатской» традицией и страстью к наживе как сила *бесовская* — агрессивная, разрушительная, антинародная, которая разобщает людей, делает чужими родителей и детей, мужа и жену, плодит сирот. И характерно, что затем, обрабатывая повесть для «Вечеров...», Гоголь предисловие к ней сделал ярко полемическим, но в тексте сузил круг *демонических* проявлений, исключив упоминания о шайке Басаврюка, о трусости козаков, их равнодушии к церкви... Впрочем, в своем следующем опубликованном произведении — «Главе

из исторического романа» (1831) — Гоголь обратился к принятому тогда представлению, что воинственность козаков была вызвана покушениями вероломных соседей на их землю, веру, обычаи предков, попытками изменить народную жизнь, навязать не свойственные ей ценности, начиная с унии 1596 г.

Та и другая концепции Козачества перекликаются в повестях «Вечеров...». Связь прошлого и современности здесь обусловлена тем, что во времена Гоголя **казаками** уже именовались и военнослужащие, состоявшие в официальном реестре, и государственные, «казенные» крестьяне. Считалось, что от прежних воинов-козаков «произошли и украинцы, составлявшие прежде Малороссийское войско: остаток оного суть нынешние козаки, но они уже не воины, а сельские жители. Они пользуются особливыми правами, не состоят в крестьянстве и могут торговать вином <...> остается их в Малороссии еще весьма много, где и живут отдельно или вместе с крестьянами» (*Маркович Я.*, 39). О. М. Сомов уточнял: «Казаками в Малороссии называются и теперь все казенные крестьяне. В Слободско-Украинской губернии носят они имя казенных обывателей» (*Гайдамак*, 190).

Итак, автор «Вечеров на хуторе близ Диканьки» воспевал изначальное, генетическое единство вольных хлебопашцев, ремесленников и защитников родной земли, которое он явно противопоставлял отношениям унизительной крепостной зависимости. Позже, во 2-й редакции «Тараса Бульбы», Гоголь покажет, как в прошлом на первый же призыв добиваться «славы рыцарской и чести <...> доставать козацкой славы!» — «Пахарь ломал свой плуг, бровари и пивовары кидали свои кади и били бочки, ремесленник и торгаш посылал к черту и ремесло и лавку, бил горшки в доме. И всё, что ни было, садилось на коня» (II, 47—48). Об этом былом единстве, вновь заявившем о себе в Отечественной войне 1812 г., писатель хотел напомнить современникам, не скрывая и противоречащих единению христиан — разрушительных тенденциях в обществе, негативных чертах народного характера. Поэтому в посвященном Украине цикле «Вечеров на хуторе близ Диканьки» **все** повести так или иначе о козаках, а романтические «истории создания семьи» («Сорочинская ярмарка», «Майская ночь, или Утопленница», «Ночь перед Рождеством») не только противопоставлены низкой бытовой прозе «истории Шпоньки», «истории создания и разрушения семьи» в «Вечере накануне Ивана Купала» или «истории уничтожения семьи и рода» в «Страшной мести», но и сами обнаруживают явные или скрытые чудесные проявления *демонического* (об этом см.: *Манн 1988*, 69—74).

Изображая **чудесное** в своих первых малороссийских произведениях, Гоголь и следовал сложившимся литературным традициям, и отступал от них — впрочем, тоже в соответствии с «духом» романтического на-

правления, тогда уже явно определявшего развитие русской литературы. К тому времени творческое освоение фольклора и культурного наследия Древней Руси продолжалось около 70 лет. Под влиянием отечественной эстетики и историографии во второй половине XVIII в. были созданы такие популярные произведения, как «Пересмешник, или Славенские сказки» (1766—1768) М. Д. Чулкова, «Славенские древности, или Приключения славенских князей» (1770—1771) М. И. Попова, «Русские сказки, содержащие Древнейшие Повествования о славных Богатырях. Сказки народные и прочие, оставшиеся чрез пересказывание в памяти Приключения» (1780—1783) В. А. Лёвшина, его же «Вечерние часы, или Древние сказки Славян Древлянских» (1787) и др. А «Краткий мифологический лексикон» Чулкова (1767), затем неоднократно переиздававшийся под разными названиями, стал основой знаменитой «Абевеги русских суеверий, идолопоклоннических приношений, свадебных простонародных обрядов, колдовства, шеманства и проч.» (1786). В большинстве «сказок» мифопоэтический мир Древней Руси воссоздавался авторами на основе сюжетов богатырского эпоса, традиционных фольклорных мотивов, особенно волшебной сказки, и «полуисторических» сведений о язычестве, быте и нравах древних славян. Особенно значимым было сближение таких произведений с западноевропейским рыцарским романом, подчеркнутое прямыми историко-литературными соответствиями (например, изображением турнира вместо поединка), или, наоборот, скрытое отторжение от этого повествовательного жанра, подтверждавшее своеобычность, оригинальность изображаемого, его отличие от западноевропейского (см. об этом: *Троицкий*, 28—41). Так Россия представала естественной и единственной «законной наследницей», «правопреемницей» древнерусского мифопоэтического мира, сопоставимого с мифами средневековой Европы.

Те же тенденции изображения сказочного прошлого сохранялись в русской литературе первой трети XIX в., — например, в сказочно-рыцарских «Славенских вечерах» В. Т. Нарежного (1809), балладах, сказках и «древнерусской» прозе В. А. Жуковского, поэме «Руслан и Людмила», балладах и сказках А. С. Пушкина. Особую роль при этом играли историография (известно, *как* «История Государства Российского» вдохновляла авторов в 1820—1830-е годы) и влияние западноевропейских псевдоисторических литературных жанров, а затем и романов В. Скотта. Так, например, «Двенадцать спящих дев» В. А. Жуковского — это сокращенный перевод в стихах немецкого «исторического» романа Х.-Г. Шписа.

В подобных произведениях русской литературы *чудесное* было имманентно свойственно средневековому миру, а потому представлено или фольклорными, или европейскими книжными образами традиционных

носителей (волхв—колдун—кудесник, финн или восточный чародей). К середине 1820-х годов под воздействием немецкого романтизма, в частности произведений Э. Т. А. Гофмана, чудесное начинает проникать в изображение современной действительности (например, описание русского городского быта в повести А. А. Перовского «Лафертовская Маковница» 1825 г.), — причем модифицируются, «маскируясь» под обычных героев, и носители *чудесного*. Однако его сфера продолжает ограничиваться русским, сугубо европейским или восточным. Так, в сборнике «Двойник, или Мои вечера в Малороссии» А. А. Перовского (СПб., 1828) намеченный несколькими деталями украинский фон не имел прямого отношения к самому повествованию о таинственном в русской и европейской жизни. Черты глухого провинциального быта просто обозначали окраину России, удаленную от европейской культуры, где сама обстановка как бы инициировала «образованное» повествование о необычном (ср. высказывание Пасичника в его предисловии ко второй книжке «Вечеров...»: «Я всегда люблю приличные разговоры; чтобы, как говорят, вместе и услаждение и назидательность была...» — I, 196).

И главная особенность ранних гоголевских произведений, при определенной близости Гоголя к повествовательной манере тех или иных его литературных предшественников и современников, состоит в том, что здесь Малороссия — пожалуй, впервые! — предстала *краем чудес*, настоящим заповедником мифопоэтического мира, со своей историей, которая отражена в современности как устные предания, песни, сказки *европейского* ее народа — в книгах, в письменности, в жизни. Здесь христианское встречается (а главное, уживается) с язычеством, Божественное — с демоническим, чудесное — с обыденным, славянское и «русское» — с европейским, то и другое — с азиатским...

Таким образом, еще не входя в пушкинский круг, Гоголь понимал задачу создания *истории народа* в духе времени — скорее литературно-историософской, нежели научно-исторической, — но, видимо, не оставлял мысли о такой большой теоретической работе и продолжал накапливать исторические сведения. Дальнейший их поиск, осмысление, применение обусловило знакомство с Жуковским и Пушкиным, а также с петербургскими и московскими литераторами, которые занимались историей профессионально (в первую очередь, это, конечно, В. Ф. Одоевский, М. П. Погодин и М. А. Максимович). Большую роль играл и курс Всеобщей истории, который Гоголь вел в Патриотическом институте благородных девиц. А после завершения весной 1832 г. «Вечеров на хуторе близ Диканьки» его занятия всемирной, средневековой и русской историей все больше переплетаются с углубленным изучением источников по истории Украины, чтением козац-

ких летописей и относящихся к делу сочинений, даже самых мелких, по его словам, «лоскутков».

Впервые о своем труде Гоголь открыто упомянул в письме к М. А. Максимовичу от 9 ноября 1833 г.: «Теперь я принялся за историю нашей единственной бедной Украины. Ничто так не успокаивает, как история. Мои мысли начинают литься тише и стройнее. Мне кажется, что я напишу ее, что я скажу много того, что до меня не говорили» (X, 284). 23 декабря 1833 г. он сообщил А. С. Пушкину, что «достал летопись без конца, без начала, об Украйне, писанную, по всем признакам, в конце XVII века», а в Киеве (если ему дадут место профессора в Киевском университете) он хочет закончить «историю Украйны и юга России» (X, 290). Чуть позже, в письме М. П. Погодину от 11 января 1834 г., Гоголь восторженно признавался: «Ух, брат! Сколько приходит ко мне мыслей теперь! да каких крупных! полных, свежих! мне кажется, что сделаю кое-что необщее во всеобщей истории, малороссийская история моя чрезвычайно бешена, да иначе, впрочем, и быть ей нельзя. Мне попрекают, что слог в ней слишком уже горит, не исторически жгуч и жив; но что за история, если она скучна!» (X, 294). По-видимому, Гоголь в то время считал **художественными** и «мысли» о всеобщей и украинской истории, и «пламенный слог» их воплощения — в отличие от Карамзина, который в «Предисловии» к «Истории Государства Российского» требовал от историка представить читателю «единственно то, что сохранилось от веков в Летописях, в Архивах», ибо «здравый вкус... навсегда отлучил Дееписание от Поэмы, от цветников красноречия, оставив в удел первому быть верным зерцалом минувшего, верным отзывом слов, действительно сказанных Героями веков»; а ниже, в характеристике замечательных исторических трудов, сообщалось, что «усердно хваля Мюллера (Историка Швейцарии), знатоки не хвалят его Вступления, которое можно назвать Геологическою Поэмою», — подобное «желание блистать умом, или казаться глубокомысленным, едва ли не противно истинному вкусу» (*ИГР*. Т. I. С. 18—19). Гоголя явно стеснял подобный подход. Ведь история, как заявит он в статье «О преподавании всеобщей истории», должна «составить одну величественную полную поэму <...> Слог профессора должен быть увлекательный, огненный <...> Каждая лекция профессора непременно должна... в уме слушателей... представляться стройною поэмою...» (*Ар*., 29, 31, 32). Но размах его научно-художественных замыслов требовал все новых и новых материалов...

В начале 1834 г. в газетах «Северная Пчела» и «Молва», а также в журнале «Московский Телеграф» Гоголь напечатал «Объявление об издании Истории Малороссийских казаков» (в газете «Молва» этот труд был назван «Историей Малороссии»), где заявил, что «еще не было полной,

удовлетворительной истории Малороссии и народа, действовавшего в продолжение почти четырех веков независимо от России», не было показано, «как образовался... этот *воинственный народ*, козаки, означенный совершенною оригинальностью характера и подвигов», и его «место в истории мира»; и потому автор брал на себя этот тяжелый, но почетный труд. Намечая его главные цели, Гоголь набросал развернутый план предисловия (или вводной статьи): «...представить обстоятельно, каким образом отделилась эта часть России; как образовался в ней этот воинственный народ <...> как он три века с оружием в руках добывал права свои и упорно отстоял свою религию; наконец, как нечувствительно исчезало воинственное бытие его и превращалось в земледельческое; как мало-помалу вся страна получила новые взамен прежних права и наконец совершенно слилась с Россиею». Далее сообщалось, что автор «около пяти лет собирал... с большим старанием материалы» и «половина... истории почти готова», но с выпуском ее он медлит, «подозревая существование многих источников... неизвестных, которые, без сомнения, где-нибудь хранятся в частных руках», и потому предлагалось присылать ему «какие бы то ни было материалы: записки, летописи, повести бандуристов, песни, деловые акты, особливо относящиеся к первобытной Малороссии...».

В письме М. А. Максимовичу от 12 февраля 1834 г. Гоголь обещает «Историю Малороссии», написанную «в шести малых или в четырех больших томах», «от начала до конца» (X, 297). Однако И. И. Срезневскому, который откликнулся на «Объявление» и предложил прислать необходимые материалы, 6 марта 1834 г. Гоголь уже пишет о том, что «недоволен польскими историками», а к украинским «летописям охладел, напрасно силясь в них отыскать то, что хотел бы отыскать. Нигде ничего о том времени, которое должно бы быть богаче всех событиями <...> И потому-то каждый звук песни мне говорит живее о протекшем, нежели наши вялые и короткие летописи...» (X, 298—299). Фактически это приговор задуманной «Истории Малороссии», если не Истории как таковой...

Именно в марте—апреле 1834 г., по мнению исследователей, была вчерне набросана повесть «Тарас Бульба» — своеобразный «поэтический» вызов Гоголя компилятивным научным трудам, тенденциозным летописям и сочинениям, — и это, вероятно, разрушило в глазах писателя прежний грандиозный замысел, хотя и чуть позднее в «Отчете по Санкт-петербургскому учебному округу за 1835 год» утверждалось, что Гоголь «занимается... разысканием и разбором для Истории малороссиян, которой два тома уже готовы, но которые, однако ж, он медлит издавать до тех пор, пока обстоятельства не позволят ему осмотреть многих мест, где происходили некоторые события» (цит. по изд.: *Машинский*, 150). Началом большого

исторического сочинения и обещал стать «Отрывок из Истории Малороссии. Том I, книга I, глава 1», опубликованный весной 1834 г. вместе со статьей «О малороссийских песнях» в «Журнале Министерства Народного Просвещения» (№ 4. Отд. II. С. 1—26). Но напрасно читатель стал бы здесь искать сухой фактической точности, перечня дат и событий — даже «приложения и ссылки» были отложены «за недостатком места» (*Ар.*, 405), ибо, согласно идее «поэтической истории народа», концепция автора оказалась воплощена живым, образным повествованием, своего рода исторической «поэмой» о козаках как основе нации, ее стержне, «соли земли». Видимо, потому Гоголь в «Отрывке из Истории Малороссии» и не разделяет Козачество на Запорожское и «остальное», и вообще обходит весьма актуальные тогда, острые вопросы о происхождении козаков и самого слова «козак», которые каждый автор считал необходимым ставить заново и уже по-своему излагать.

В первую очередь, это был вопрос об отношении к запорожцам. В украинском фольклоре запорожец — только положительный герой, легко берущий верх над врагами, демоническими силами и самой смертью. Обычно вертепное «представление оканчивалось дракою Запорожца со смертию, побиением и бегством последней, уничижением черта пред Запорожцем...» (*Маркевич*, XVI—XVII). Однако в повести «Пропавшая грамота» выясняется, что удалец-запорожец, не уступающий ни в чем козаку, посланцу гетмана, когда-то продал душу черту, — потому и козак вынужден иметь дело с нечистой силой. В «Ночи перед Рождеством» бывший запорожец Пузатый Пацюк (Крыса) фантастически ленив и прожорлив — словно животное, он «знахарь» и, как считает Вакула, «немного сродни черту»; в Петербурге запорожцы не только просты и наивны как дети, но и грубы, надменны, невежественно-жестоки. Такая «двойственность» образов зависела от трактовки запорожцев в отечественной историографии, публицистике и литературе того времени.

С конца XVIII в. запорожские козаки (а не малороссийское Козачество), как правило, изображались «изменниками» и «разбойниками». На это были причины... В 1708 г. после измены гетмана Мазепы часть запорожцев влилась в его войско и сражалась с армией Петра I, а затем ушла в днепровские низовья под руку Крымского хана. Поэтому Старая Сечь на острове Чертомлык в 1709 г. была разрушена регулярными войсками, запорожцы объявлены врагами России, а если кого-то из них ловили, его ждала виселица. В 1733 г. запорожцы отказались помочь полякам против русских, и в 1734 г., после официального помилования, им разрешили вернуться к охране российских границ. На Днестре под Никополем они основали Новую Сечь, которая постепенно превратилась в центр антифеодального движения

и была разорена после разгрома Пугачевщины в 1775 г. Тогда многие запорожцы ушли в Турцию — и в устье Дуная основали Сечь Задунайскую, то есть вновь, с точки зрения России, переметнулись к врагу, что и отразилось на государственном отношении к ним. Оно стало иным лишь после того, как войско задунайских запорожцев во главе с кошевым Осипом Гладким к началу русско-турецкой войны в 1828 г. перешло на российскую сторону, повернув оружие против турок. Переменившееся отношение к запорожцам и Сечи на рубеже 30-х годов отразилось в стихах Н. Маркевича, в подборе запорожских песен и дум в сборниках И. Срезневского и М. Максимовича — **наряду** с традиционной демонизацией запорожцев (ей по-своему отдал дань в «Вечерах...» и Гоголь).

Второй — не менее острый, связанный с первым вопрос об отношении запорожских козаков и малороссийского Козачества. В «Краткой летописи Малой России с 1506 по 1776 год», записи которой якобы «ведены были Генеральными Малороссийскими писарями, бывшими при Гетманах», а «получены... от преосвященного Георгия <Конисского>, епископа Могилевского», говорилось, что «поляки, владеющие Киевом и Малою Россиею», хотели «в работе и подданстве людей малороссийских украинских содержать, которые, не приобыкши жить в невольничьей службе, избрали себе место пустое около Днепра, ниже порогов Днепровых, на жилье, где в диких полях, упражняясь в звериных и рыбных ловлях, при том Бусурман, на море разбивающи, укрощали, называясь Козаками от древних Козаров, рода славено-российского, при Кагане еще служивших в походах на Грецию <...> Король Жигмунт I (Сигизмунд I. — *В. Д.*)», в ответ на разорение Малой России татарским ханом Мелик-Гиреем, в 1516 г. «собрал охотного войска как поляков, так и козаков многое число, которые завоевали турецкий Белгород и возвращаясь с корыстьми, как на них напали турки и татары, хотя отнять корысти, то они и тех нападших на себя победили, и от того времени не только козаки, но и поляки назывались козаками, аки бы вольными бесплатежными воинами. От того ж времени козаки малороссийские, чрез храбрость и силу, отменную и повсюду гремящую славу приобрели, воюя часто с турками, и в тех войнах к алчбе и жажде, к морозу и зною приобыкли.

Каким же порядком жили и ныне еще живут, какое у них оружие и пища, о сем всякому известно быть может, да они ж в праздности жить никогда не любят, и для малой славы великую нужду принимают, и море переплывать отваживаются, и в лотках подъезжая под турецкие города и разоряя оные, с корыстьми в домы возвращаются, и для... военных дел их за честь вменяли из высоких польских фамилий быть у них Гетманами...» (*Летопись*, б/п, 4—6). Таким образом, если верить *Летописи*, козаками стали украинцы,

ушедшие от польской «неволи» за пороги Днепра, «в дикие поля» (то есть степи), они же «разбивали» басурманов (мусульман) на море. Намечены их исторические связи с хазарами и Хазарским каганатом, в начале X в. занимавшим часть Северного Кавказа, Крыма, Приазовья и Приднепровья. Как видим, здесь украинские козаки ничем не различаются между собой: у них общее «древлее имя» и происхождение, одни и те же занятия.

В дальнейшем многие отечественные историки также представляли козаков основой всего народа, не отделяя от них Запорожской Сечи, — в отличие от западноевропейских авторов, в основном прославлявших запорожцев как основу и отдельную, лучшую часть козаков. Французский историк и дипломат Ж.-Б. Шерер, восхищаясь тем, что именно запорожцы долгое время спасали и себя, и Европу от «наступления полумесяца», приписывал «гражданам республики» Сечи спартанское воспитание, постоянную готовность к бою, как у римлян, — ведь они всегда отважно защищали свой край и не зарились на чужие земли (*Шерер*, 4).

В «Записках о Малороссии, ее жителях и произведениях», посвященных Д. П. Трощинскому и, безусловно, Гоголю известных, Я. Маркович утверждал, что «происхождение Козаков есть нерешимая в истории задача. Некоторые производят их от Козар и Коссогов, обитавших в древние времена при Днепре, или от какого-то вождя, Козаком именуемого[7]; а по другому название сие произошло от того, что несколько поляков и малороссиян поселились на Днепровской косе, где они занимались ловлею диких коз[8]. Может быть всех вероятнее следующее мнение, что в начале XVI века некто из малороссиян по прозванию *Дашкевич*, видя частые от Крымских татар набеги, уговорил многих единоземцев своих для отогнания неприятеля сего от своих пределов. Сие имело щастливый успех; и победители назвались тогда Козаками, что значит на татарском языке *легковооруженные*[9] (Г. Болтин производит козаков от половцев, что также может быть справедливо)» (*Маркович Я.*, 38).

Версию, иначе объяснявшую все прежние, выдвинул Н. М. Карамзин. В томе V «Истории Государства Российского» (1813) происхождение козаков возводилось к племенам «Торков и Берендеев», обитавших с дохристианских времен «на берегах Днепра, ниже Киева» (где потом жили козаки). Те «назывались *Черкасами*: Козаки также», — указывает историк по официальным актам и документам Русского государства во второй половине XVI—первой половине XVII века. Такие доказательства позволили автору

---

[7] По *Стриковскому*, польскому историку (Примеч. автора. — *В. Д.*).
[8] Так думает другой польский историк *Веспасиян Каховский* (Примеч. автора. — *В. Д.*).
[9] Ср.: козак «по-татарски значит *легкоконец, легкий ездок*» (*Булгарин 1830*. Ч. II. С. 218).

сделать вывод, что «Торки и Берендеи, называясь *Черкасами*, назывались и *Козаками*; что некоторые из них, не хотев покориться ни Моголам, ни Литве, жили как вольные люди на островах Днепра, огражденных скалами, непроходимым тростником и болотами; приманили к себе многих Россиян, бежавших от угнетения; смешались с ними, и под именем *Козаков* составили один народ, который сделался совершенно Русским, тем легче, что предки их, с десятого века обитав в области Киевской, уже сами были почти Русскими. Более и более размножаясь числом, питая дух независимости и братства, Козаки образовали воинскую Христианскую Республику в южных странах Днепра, начали строить селения, крепости в сих опустошенных Татарами местах; взялись быть защитниками Литовских владений со стороны Крымцев, Турков, и снискали особенное покровительство» Государей Польских; а запорожцы всегда «были частию Малороссийских» козаков, и потому «сочинения о *Козаках Запорожских* <...> в 948 году» — просто «басни» (*ИГР*. Т. V. С. 215—216; курсив автора).

То есть, по мысли Н. М. Карамзина, козаки произошли от неких полуазиатских разбойничьих племен (кто не знал тогда, что *черкесы* разбойники?!), обитавших в Древней Руси близ Киева, принявших Православие, почти русских, а потом уже совсем с ними «смешавшихся». Затем они образовали свою Христианскую Республику в «опустошенных татарами местах», защищали Литву и Польшу, за что польские короли преобразовали их войско и даровали привилегии. А запорожцы были теми же козаками — но *холостыми*, более жестокими, не знавшими иных занятий, «кроме войны и грабежа». Это обнажает идеологическую задачу автора: показать козаков, даже наименование которых восходило к турецкому языку[10], — не совсем русскими и не совсем разбойниками, в их массе «растворив» запорожцев. И тогда «азиатское варварство» козаков объясняется просто и естественно: «разбойничья кровь!» На том же будут основываться писатели, изображая козаков разбойниками (см. об этом с. 294, 358—359).

Позднее авторы брали одну из приведенных версий происхождения и названия козаков (которых после воссоединения в 1654 г. официально стали называть «малороссийскими казаками») или предлагали свою — обычно «литературно-философическую», объединявшую несколько вариантов. Так, по версии студента Харьковского университета А. И. Лёвшина, «ко-

---

10 Козак — «слово в Турецком языке... новое и произошло от разбоев Козацких. — Некоторые иностранные писатели производят название Козак от *косы*, *козы*, *козявки*, *Козаров*, *Кипчака* и проч.» (*ИГР*. Т. V. С. 395; курсив автора). Впрочем, Карамзин оговаривал, что изначально *Козаками* звали «*вольницу*, *наездников*, *удальцов*, но не *разбойников* <...> оно, без сомнения, не бранное, когда витязи мужественные, умирая за вольность, отечество и Веру, добровольно так назвалися» (Там же. С. 216; курсив автора).

зак значит бездомовный. Сие объяснение Г. Болтина наиболее принято. Стриковский производит козаков от собственного имени вождя их Козака. Летопись Малой России и Левек утверждают, что сие слово означает *легко вооруженного*. Шерер в Annales de la petite Russie доказывает, что название козаков происходит от днепровской косы» (*Лёвшин*, 60).

В известном Гоголю-гимназисту сочинении «Малороссийская деревня» (1827) И. Г. Кулжинский вспоминал «то незабвенное в летописях время, когда козаки, основав из себя народ независимый и гордый, долго оставались предметом соблазна для честолюбия и спокойствия своих соседей. О происхождении сих могучих сынов брани и раздора можно то же сказать, что говорится о происхождении римлян. Шайка молодых людей, недовольных собою и, может быть, собственным сердцем, удалилась от взоров людей в обширные степи и, основавши там свое общество, страшными воинскими криками дала знать людям о своем существовании» (*Кулжинский*, 104—105). Однако подобная «литературно-историческая» формулировка весьма расплывчата и вызывает большие сомнения. Например, если козаки лишь «сыны брани и раздора», как могла их «шайка» стать «могучим обществом»? Или они, с точки зрения автора, воевали только для самоутверждения и потому беспокоили соседей?

В официозной «Истории Малой России» (Гоголь ее прилежно штудировал, но отнюдь не со всем мог согласиться) Д. Н. Бантыш-Каменский сообщал: «...иностранные писатели весьма забавным образом изъясняют происхождение названия Козаков: Гербиний производит слово Козак от польского *Kossa* (коса или серп), потому что, по его мнению, Козаки или, по крайней мере, некоторая из них часть вооружены были косами. Пясецкий, Гарткнох и Ле Шевалье от *козы*, с которою сравнивают они проворство, ловкость и оборотливость Козаков в непроходимых местах! Зиморович от слова *Козака*, означающего, будто, на нашем языке муху!! желая чрез то показать сходное Козаков с мухами непостоянство и наглость; Де Гюинь от *Kiptschak*, и так далее! — В ежемесячном сочинении 1760 года, ч. I, стр. 309, упоминается, будто слово Козак означает на татарском языке *воина легко вооруженного или наездника*. Не зная языка татарского, не можем судить о справедливости сего показания. Впоследствии Козаками назывались все военнослужащие в Малой России. Так было и у татар <...> Вообще татары именовали Козаками всех вольных бездомовных людей, промышлявших военным ремеслом» (*ИМР*. Ч. 1. С. 14).

В фольклорном сборнике «Запорожская старина» наряду с цитатой из «Истории Русов», что Козаков (Козар) назвали так «по легкости их конной, уподобляющейся козьему скоку», филолог-славист И. И. Срезневский (1812—1880) приводил и другие утверждения, стилизуя их под

старославянский язык летописей: «А нарицахуся Козаками, яко глаголят, от древнего рода своего Козарска. Аще убо Веспасиян Коховский и от коз диких Козаков нарицает, яко тем скоростью добране соравняются, и ловом тех упражняхуся наипаче; но не прилично от коз Козаков нарицати. Приличнее Стриковский нарицает Козаков от древнего и славного их вождя Козака. Александер же Гванин от свободы нарицает Козаками, занеже яко продкове их не от нужд коей, но по доброй воле, охотне, и без найму на брань хождаху, тако и ныне Козаки храбрости своей не сокрывающе, ко брани охочи, видят бо вси на око, яко немцы, поляки и турки берут наем многий и между собою только биющиеся показуют храбрость, сопротивным же скоро дают прещи; и мужество их вси видят, ибо спод Лядского ига малою силою отъемлышися, на многих бранех Ляхов победиша и Лядскую всю землю повоеваша» (*Срезневский*. Отд. II. С. 18—19, 51). Эти формулировки можно свести к утверждениям: 1) козаки возводят свое название к козарам; 2) но неприлично называть козаков от «козы», как Коховский; 3) лучше, как Стриковский, именовать их по вождю Козаку, или же 4) от свободы, как Гванин, ибо козаки доказали это своей историей.

Примечательна и точка зрения переводчика книги Г. де Боплана: «Украйна, родная нам и по вере, и по языку, и по происхождению ее обитателей, отторгнута была литовцами от России в бедственные времена татарского владычества и вместе с Литвою в XIV столетии досталась Польше. С сего времени многие россияне, не терпевшие владычества поляков, соединились на берегах Днепра, в южных степях Украйны, опустошенных татарами, построили селения, крепости — и под именем казаков с XVI в. прославились в истории удальством редким, неимоверным. Рожденные для войны, с молоком матерним всасывая страсть к битвам, ненависть к мусульманам, они долго служили стражами литовским и польским владениям против татар и турков, ежегодно выплывали в Черное море, производили отважные поиски в Крыму, в Малой Азии, даже в окрестностях Константинополя. Воинственная жизнь, зависимость от поляков, беспрерывные связи с татарами изменили их обычаи, самый язык, но вера и любовь к Отечеству всегда напоминали им, что они — сыны России. Так, еще в первую, счастливую эпоху царствования Иоанна Грозного, любимый вождь их, князь Дмитрий Вишневецкий, пылая ревностью служить под знаменами древнего своего Отечества, предлагал Иоанну все южные днепровские области. Обстоятельства не дозволили привесть в исполнение сию великую мысль, и Казаки Украинские в смуты Самозванцев явились если не врагами России, по крайней мере — своевольными хищниками; эту вину они загладили, избавив в половине XVII в. Малороссию от власти иноплеменников и возвратив Отечеству древнее достояние оного. Никогда история

Малороссии не была так любопытна, как в первой половине XVII в., когда Богдан Хмельницкий готовился ударить челом Русскому Государю: в это время казаки явили доблесть героев» (*Боплан*, VI—VII)*.

Сам Боплан описывал козаков, в первую очередь, как запорожцев, «искусных во всех ремеслах, необходимых для общежития: плотников для постройки домов и лодок, тележников, кузнецов, ружейников, кожевников, сапожников, бочаров, портных и т. д.»; они «весьма искусны в добывании селитры, которою изобилует Украйна, и в приготовлении пушечного пороха <...> Все казаки умеют пахать, сеять, жать, косить, печь хлебы, приготовлять яства, варить пиво, мед и брагу, гнать водку и проч. <...> Впрочем, справедливо и то, что они вообще способны ко всем искусствам, хотя некоторые из них опытнее в одном, чем в другом. Встречаются также между ими люди с познаниями высшими, нежели каких можно было бы ожидать от простолюдинов. Одним словом, казаки имеют довольно ума, но заботятся только о полезном и необходимом, особенно о вещах, которые нужны для сельского хозяйства.

Плодородная земля доставляет им хлеб в таком изобилии, что они часто не знают, куда девать оный...»; а «в мирное время охота и рыбная ловля составляют главное занятие казаков» (*Боплан*, 5—6, 10). Они всегда верны своей «Греческой вере» и соблюдают посты, обходясь «без мяса, но никогда — без напитков» (о бражничестве и воздержании козаков см. примеч. 17 к повести «Тарас Бульба»); «Соединяя с умом, хитрым и острым, щедрость и бескорыстие, казаки страстно любят свободу, смерть предпочитают рабству и для защищения независимости часто восстают против притеснителей своих — поляков: на Украйне не проходит семи или осьми лет без бунта. Впрочем, коварны и вероломны, а потому осторожность с ними необходима; телосложения крепкого, легко переносят холод и голод, зной и жажду; в войне неутомимы, отважны, храбры или, лучше сказать, дерзки и мало дорожат своею жизнью. Метко стреляя из пищалей, обыкновенного своего оружия, казаки наиболее показывают храбрость и проворство в *таборе*, огороженные телегами, или при обороне крепостей <...> Если бы конные казаки имели такое же мужество, как пешие, то были бы, по мнению моему, непобедимы. Одаренные от природы силою и ростом

---

* О Г. де Боплане и его записках см. с. 448. Возможно, срочный перевод Ф. Устряловым записок Боплана был обусловлен тем, что сведения из них не совсем корректно использовал Ф. Булгарин в своем историческом романе «Димитрий Самозванец» (1830). Там обнаружились прямые заимствования из исторической трагедии Пушкина «Борис Годунов», отданной через А. Х. Бенкендорфа на рецензию царю, и Булгарина заподозрили в связях с III отделением Собственной Его Императорского Величества Канцелярии, а потом фактически приравняли к заглавным героям его же романов — предателям, изменникам, переметчикам (см. об этом: *Акимова*, 134—135).

видным, они любят пощеголять, но только тогда, когда возвращаются с добычею, отнятою у врагов, обыкновенно же носят одежду простую»; все они «пользуются крепким здоровьем <...> Немногие из них умирают на постели и в глубокой старости: большая часть оставляет свои головы на поле чести» (Там же. С. 6—8).

Эти наблюдения и суждения долгое время были краеугольным камнем при рассмотрении истории Украины, основывался на них и Гоголь. Описанные Бопланом черты характера и жизни козаков (отвага, мужество, предприимчивость, бытовое пьянство и трезвость в походах, умение защищаться в *таборе* — см. примеч. 119 к повести «Тарас Бульба») стали важнейшими в структуре художественных и художественно-публицистических козацких образов у Гоголя. Он и доверял этим сведениям очевидца, и переосмысливал, и/или по-другому истолковывал их. Так, в своих черновых набросках писатель резюмировал наблюдения французского военного инженера: «Этот народ не имел строгой расчетливости и размера на всю жизнь, следствие местоположения, беспечность, равнодушие к богатству и неуверенность в нем. Часто всё, накопленное трудами, обращало<сь> в одну праздничную попойку, в увеселение и забвение на одну минуту.

<Отсюда идет> Особенная страсть к увеселениям, к общественным гульбищам <...> Улица делается всеобщим собранием <...>

Всё, что до наслажденья относилось, всё это имел народ. Он в этом не отказывал себе никогда. Разнообразие разных блюд, совершенно [приличных] отличных в разные времена года, в разных случаях» (*Ар*., 409—410). Комментируя похвалу: «...надобно отдать справедливость украинским девицам. Хотя свобода пить водку и мед могла бы довести до соблазна, но торжественное осмеяние и стыд, коим подвергаются они, потеряв целомудрие, удерживают их от искушения» (*Боплан*, 77), — Гоголь размышляет: «Как просто, как высоко постигнуто это удержимое средство... Человек ничего так не боится, как стыда», — и видит именно в этом причины народной «вольности в обращении» (*Ар*., 410).

Другой, более важный для нас, пример. Один из черновых фрагментов истории Украины имеет примечание, вписанное явно позже основного текста на чистой странице: «Около порогов водился род диких коз — сугаки, с белыми лоснящимися рогами, с мягкою, атласною шерстью» (*РП*. Л. 4). Это краткое переложение рассказа Боплана о «животном, которое по-русски называется сугаком. Величиною оно с козу, ноги имеет весьма тонкие, на голове два рога белые и лоснящиеся, шерсть мягкую, гладкую и нежную, как атлас, когда животное линяет <...> Я пробовал его мясо: вкусом оно не уступает козлятине...» (*Боплан*, 92). Таким образом, это «излишнее», немотивированное примечание о водившихся у днепровских порогов «диких

козах», которое затем Гоголь ввел в текст исторической статьи, вероятно, следует понимать как скрытое указание на то, что слово «козак» произошло от «козы».

По Гоголю, географический фактор сыграл важнейшую роль в образовании Малороссии. Азиатская Великая Степь породила монгольское хищное нашествие, которое, разрушив уже бессильную Древнюю Русь и погрузив в рабство Северную и Среднюю Россию, дало «происхождение новому славянскому поколению» на юге — в Степи и Приднепровье. Эти места оказались оставлены народом, который «столплялся» на «однообразно-гладких» болотистых русских равнинах и здесь начал смешиваться с «народами финскими», становясь бесцветен, как сама природа[11]. А покинутые земли постепенно заселили «выходцы из Польши, Литвы, России». Окончательное отделение и разрыв связей с остальной Россией произошли после завоевания юга «великим язычником» Гедимином, который «ни у одного из покоренных им народов не изменил обычаев и древнего правления...» То есть «отчизна славян» — в отличие от России, избежав длительного татарского владычества, — сохранила бóльшую чистоту, культурную самобытность* («...со всеми языческими поверьями, детскими предрассудками, песнями, сказками, славянской мифологией, так простодушно... смешавшейся с христианством»). А поскольку Украина не имела никаких естественных пограничных преград (степь да поле), но и «никакого сообщения» между своими частями, ей суждено было стать «землей опустошений и набегов», «землей страха», — и «потому здесь не мог и возникнуть торговый народ», а возник «народ воинственный, сильный своим соединением, народ отчаянный, которого вся жизнь... повита и взлелеяна войною»: сюда пришли те, чья «буйная воля не могла терпеть законов и власти...».

Великая Степь как гиблое пространство и — одновременно — богатырский простор свободного разгула стихий привлекает, сталкивает и приводит во взаимодействие исконное и чужеродное, православие с инославием (католическим, исламским, языческим), родовое с индивидуальным, и это дает начало новому народу, что «составляется» из «пестрого сборища самых отчаянных людей пограничных наций», где не только россияне,

---

11 В статье «Несколько слов о Пушкине» (1835) Гоголь отмечал, что в России до «императоров» (то есть до Петра Великого) «характер народа большею частию был бесцветен...» (*Ар*., 85).

* Здесь вероятна скрытая полемика с Н. М. Карамзиным, писавшим в своей записке «О древней и новой России в ее политическом и гражданском отношениях» (1811): «Владимир, Суздаль, Тверь назывались Улусами Ханскими; Киев, Чернигов, Мценск, Смоленск — городами Литовскими. Первые хранили, по крайней мере, свои нравы, вторые заимствовали и самые обычаи чуждые» (*Комментарии* СС. Т. 7. С. 546).

поляки, литовцы, но и «дикий горец», и «беглец исламизма татарин». И «эта толпа... составила целый народ, набросивший свой характер и, можно сказать, колорит на всю Украину, сделавший чудо — превративший мирные славянские поколения в воинственные... одно из замечательных явлений европейской истории, которое, может быть, одно сдержало это опустошительное разлитие двух магометанских народов, грозивших поглотить Европу».

Собственно, пафос статьи — принципиальное историко-географическое различение двух родственных славянских народов. Так, в историческом фрагменте <Размышления Мазепы> Гоголь писал о «самобытном государстве», принадлежавшем «народу, так отличному от русских, дышавшему вольностью и лихим козачеством, хотевшему пожить своею жизнью» (см. «Дополнения»). М. А. Максимович — отчасти вслед за Карамзиным — склонен был это различие объяснять тем, что в Малороссии народную «массу... составили не одни племена славянские, но и другие европейцы, а еще более, кажется, азиятцы. Недовольство и отчасти угнетение свели их в одно место, а желание хотя скудной независимости, мстительная жажда набегов и какое-то рыцарство сдружили их. Отвага в набегах, буйная забывчивость в веселье и беспечная лень в мире — это черты диких азиятцев — жителей Кавказа, которых невольно вспомните и теперь, глядя на малороссиянина в его костюме, с его привычками. ...коренное племя получило совсем отличный характер, облагороженный и возвышенный Богданом Хмельницким» (*Максимович 1827*, IV—V).

По мысли Гоголя, Степь и соответствующая свобода проявления евроазиатских начал формируют на Украине особый славянский характер, что отличается от великорусского своей «яркостью», энтузиазмом, воинственностью. Именно козаки как наследники древнерусского государства, заслонившего Европу от монголов, в свою очередь, спасают ее от нашествия «магометанского». Это можно соотнести с историческими воззрениями Пушкина, высказанными в статье «О ничтожестве литературы русской» (1834): «России определено было высокое назначение... Ее необозримые равнины поглотили силу монголов и остановили их нашествие на самом краю Европы: варвары не осмелились оставить у себя в тылу порабощенную Русь... Образующееся просвещение было спасено растерзанной и издыхающей Россией...*» (*Пушкин*. Т. 11. С. 268).

Единство этих самоотверженных, «безбрачных, суровых... железных поборников веры Христовой» определяет религиозный «энтузиазм». Но,

* А не Польшею, как еще недавно утверждали европ.<ейские> журналы: но Европа в отношении к России всегда была столь же невежественна, как и неблагодарна (Примеч. автора. — *В. Д.*).

в отличие от средневековых католических рыцарей или исконных их врагов — мусульман, представителям воинствующего православия вообще чужд религиозный аскетизм: будучи «неукротимы, как их днепровские пороги», они не знают воздержания, обетов, постов... Это христианско-республиканское юношеское «братство... разбойничьих шаек», когда всё «общее — вино, цехины, жилища», живет «азиатским буйным наслаждением» набега, а после него козаки впадают в «беспечность» языческих «неистовых пиршеств и бражничества». — Стоит напомнить, что «пьянство, излишество в пище и питии» христианство считает признаком языческого «распутства» (1 Пет. 4:3) и что в народной культуре порождения земли — золото и зелье («горелка», табак) — считаются бесовскими (об этом см.: *Булашев*, 342—346, 379—391).

Изображая жизнь козаков, Гоголь использует ассоциации с библейским Адамом (его имя означало «взятый из земли»): их укрытия — «землянки, пещеры и тайники в днепровских утесах»; козак представлялся «страшилищем бегущему татарину»[12], вылезая «внезапно из реки или болота, обвешанный тиною и грязью...». О том же говорят и прямые природные уподобления: «гнездо этих хищников», «неукротимы, как... пороги», «с быстротою тигра» — и скрытое сравнение с лесными «шайками медведей и диких кабанов». Такие же уподобления в статье «О движении народов в конце V века» характеризовали древних германцев: «Они жили и веселились одною войною. Они трепетали при звуке ее, как молодые, исполненные отваги тигры»; они тоже использовали «пещеры для первоначальных... жилищ или сохранения сокровищ» (*Ар.*, 178—179). Сопоставимы и вольнолюбие воинов, и неукротимость их в бою — наряду с беспечностью и «бесчувственной ленью» в домашней жизни, — и страсть к пиршествам. Гоголь объясняет это «норманнской» теорией (см. о ней подробнее примеч. 1 на с. 528—530), сближая козаков и викингов.

При этом вольное христианско-республиканское «братство» козаков явно соотносится с древнерусской «вечевой республикой», а их «азиатские набеги» похожи и на половецкие, и на походы князей против половцев — как в «Слове о полку Игореве», которое оказывало с начала XIX в. значительное воздействие на русскую литературу (его высоко ценил Пушкин). Цитаты из «Слова...» стали эпиграфами в сборнике украинских народных песен (*Максимович 1834*). О древнерусской воинской повести напоминает и фольклорная метафора в статье Гоголя («...земля эта... унавожена костями, утучнена кровью»). В «Слове о полку Игореве» Великая

---

[12] В черновых набросках статьи было сравнение козака и с «подземным гномом» — «духом земли», «охранителем кладов» в европейской мифологии (см.: *Вариант* на с. 247).

Степь представала «землей незнаемой», неким запретно-чуждым пространством, об опасности которого сама природа как бы предупреждала солнечным затмением и где стихийные силы губили нарушивших запрет. Столь же стихийно и желание князя Игоря достигнуть «земли незнаемой». И потому его поход, который должен был стать богатырским подвигом, показан неразумным, во многом «слепым», ибо, возвышая героя, противопоставляет его другим князьям, нарушает договоры с половцами, в конечном итоге разрушает мир и согласие на Руси, угрожая целостности государства. Степь здесь — неведомое, чуждое, гибельное пространство стихий и одновременно простор, манящий испытать себя, свои силы, безоглядно освободить желания, дающий «волю» (уже тогда — явно — своеволие!), что обнажает богатство или пустоту души и отторгает личность от общества. Причем сам амбивалентный пространственный образ Степи (его можно назвать литературным *археотопонимом*) искони был ориентирован на Азию, на иноязычный, иноверческий, чудесно-демонический Восток. Можно заметить, как переосмысливаются традиционные черты этого образа в «Отрывке из Истории Малороссии».

Степное — вот главное для Гоголя в Козачестве! Это стихийное, «евразийское», исходящее из противоположных начал, обычно непримиримых и в то же время генетически присущих европейцам. Ведь, как показано в статье «О движении народов...», фундамент новой, христианской Европы закладывает не только противостояние почти оседлого земледельческого населения варварам и азиатским кочевникам из Великой Степи — готам и гуннам, но и постоянная вынужденная ассимиляция и гуманизация варваров. По мысли Гоголя, эти тенденции действуют и на другом краю Европы в иное время, когда развитие азиатской языческой экспансии ведет к появлению противостоящего ей Козачества, сохраняющего традиции коренной европейской вольности и древней, природной «греческой религии» в то время, когда гибнет Византия (об этом см. ниже, на с. 384).

Соединяя европейское и азиатское, оседлое и кочевое, воинственное и мирное, земледельческое («саблю и плуг»), козаки противостояли, в первую очередь, «магометанству» и католичеству, роскоши, привитой арабами (мусульманами) европейской цивилизации. Так «составился народ, по вере и месту жительства принадлежавший Европе, но между тем по образу жизни, обычаям, костюму совершенно азиатский, — народ, в котором так странно столкнулись две противоположные части света, две разнохарактерные стихии: европейская осторожность и азиатская беспечность, простодушие и хитрость, сильная деятельность и величайшая лень и нега, стремление к развитию и усовершенствованию — и между тем желание казаться пренебрегающим всякое совершенствование».

Эту характеристику поясняют следующие положения гоголевской статьи «Мысли о географии». Азия — это «колыбель... младенчество» человечества, «где все так велико и обширно, где люди так важны, так холодны с вида и вдруг кипят неукротимыми страстями; при детском уме своем думают, что они умнее всех; где все гордость и рабство; где все одевается и вооружается легко и свободно, все наездничает; где турок рад просидеть целый век, поджав ноги и куря кальян свой, и где бедуин как вихорь мчится по пустыне; где вера переходит в фанатизм, и вся страна — страна вероисповеданий, разлившихся отсюда по всему миру», — а Европа, согласно этому «возрастному» взгляду, представляет полное развитие и «зрелость ума» человека (в ранней редакции статьи было отчетливее: по «возрасту» и значению «первое место должна занимать Азия, как колыбель человечества; второе Африка, как жаркое юношество; третие Европа — зрелость и мужество; четвертое Америка...» — *Ар.*, 155—156, 262).

Столкновение противоречивых начал (христианских и явно не христианских, по сути, демонических) как бы само порождает *чудесное*, связанное с Божьим Промыслом и «чудесными» средними веками, когда «чудесное прорывается при каждом шаге и властвует везде...» (статья «О средних веках»; *Ар.*, 18), когда человек, по своей Божественной природе, естественно и энергично противостоит дьявольскому разрушению мира. — Тогда и образовалось Козачество (его, по более позднему выражению Гоголя, «вышибло из народной груди огниво бед». — II, 46), и козацкий городок, стертый татарами «до основания», «как будто чудом, строился вновь <...> Казалось, существование этого народа было вечно». *Чудесное* оказывается присуще и народному сознанию, в котором «простодушно» смешались языческая «славянская мифология... с христианством», возвышенный религиозный энтузиазм и вполне «земная», языческая чувственность.

Еще одно противоречие — назовем его этическим — в отношении козаков к женщине и семье. Похищать «татарских жен и дочерей» себе в жены, как это делали «разгульные холостяки», явно не по-христиански (здесь вероятно влияние традиций «удалых выходцев» с «Кавказа», то есть черкесов — им «приписывают» основание Черкас, «где было главное сборище и местопребывание козаков...»). Далее, как сказано в статье «О малороссийских песнях», ни мать, ни жена, «ничто не в силах удержать» козака дома: «Упрямый, непреклонный, он спешит в степи, в вольницу товарищей». Поэтому есть две «половины жизни народа»: суровый ратный мир «гульливых рыцарей набегов» и «женский мир, нежный, тоскливый, дышащий любовию». Противоречие сохраняется, пока для козаков «узы этого братства... выше всего, сильнее любви», — ведь семья «уже не двое, но одна плоть. Итак, что Бог сочетал, того человек да не разлучает» (Мф. 19:6).

Таким образом, история Козачества соединила старое и новое, восточное и западное, чудесное и обыденное, Божественное и дьявольское. Этому способствовали противоречивые историко-географические (в современном понимании — геополитические), а также экономические (отсутствие торговых связей, уничтожение труда земледельца) и этические факторы, религиозные идеалы. Но для Максимовича, Срезневского и Гоголя единственной настоящей историей Козачества — «живой, говорящей, звучащей о прошедшем летописью», заключившей в себе «дух... изображаемого народа», — могут быть только народные песни. Основанием для таких утверждений, очевидно, стал тезис Гердера о том, что народные песни воплощают «дух нации», а потому без песен невозможно создать **поэтическую историю народа** (см.: *Чудаков*, 33—34).

Итак, две статьи о Малороссии в «Журнале Министерства Народного Просвещения», принадлежавшие, судя по фамилии, типичному малороссу, представляли читателям научно-поэтическую историю его народа. Правомерность же подобной концепции определяли и научные познания (разумное, логическое), и видимое художественное мастерство (чувственное, интуитивное), и врожденный, и жизненный, благоприобретенный опыт автора — художника и ученого, чье духовное развитие соотнесено с развитием его народа. И потом, когда Гоголь перепечатывает «Отрывок...» под названием «Взгляд на составление Малороссии» с датой «1832» в сборнике «Арабески» 1835 г. вместе со статьей «О малороссийских песнях» и заявляет о своем историческом романе, датируя его 1830 г., — он не только комментирует свое раннее творчество и предваряет явление «Миргорода», но и дает понять, что его художественные и нехудожественные «малороссийские» произведения составляют, при всей разнородности, *единую* картину прошлого и настоящего народной жизни, а каждое из них — своего рода ступень поэтического постижения истории Украины им, художником-ученым, на фоне развития русского и всемирного.

II

Работе Гоголя над украинскими повестями, фрагментами и статьями, вошедшими затем в сборники «Арабески» и «Миргород», предшествовали труды по созданию научно-поэтической истории Малороссии. А такое постоянное накопление и последующая обработка разнопланового украинского материала вызвали его творческое переосмысление в художественно-образном плане. Причем идея совместить художественное и научное занимала Гоголя, возможно, до осени 1835 г. (так, подзаголовок «Мир-

города» — «Повести, служащие продолжением „Вечеров на хуторе близь Диканьки“» — подразумевал и дальнейшее *продолжение* поэтической истории народа). Подобное соединение художественного творчества с научными трудами, которые сам автор отнюдь не считал завершенными, затем приведет к появлению двух «объемлющих всю Россию», по сути, религиозно-исторических сюжетов «Ревизора» и «Мертвых душ» (об этом см.: *Золотусский*, 240, 258). Но еще не было отмечено, что в тот период Гоголь как бы возвращается к началу своего писательского пути, когда он создавал исторический роман.

Отрывок такого большого исторического произведения появился в альманахе «Северные Цветы на 1831 год» под названием «Глава из исторического романа» и обнаружил определенную зависимость от вышедшего в самом конце 1829 г. первого русского исторического романа М. Н. Загоскина «Юрий Милославский, или Русские в 1612 году». Исследователи давно уже подметили сходство ситуации в гоголевском фрагменте и начале романа, когда посланец поляков встречается с козаком. Однако встреча героя с загадочным незнакомцем, их беседа-разведка и, наконец, внезапное открытие (признание), проливающее свет на события, объясняя характер и поступки незнакомца, было распространенным сюжетным ходом в романах В. Скотта (таких, например, как «Айвенго», 1820; рус. перевод — «Ивангое, или Возвращение из крестовых походов», 1826), на которые, не скрывая того, опирался Загоскин. К тем же типичным ситуациям восходило и его повествование о разбойничьем гнезде боярина Шалонского на месте разоренной монашеской обители в Муромском лесу, об отступничестве боярина от веры и связях с поляками, описание страшных преступлений, творившихся с его ведома, рассказ, как разбойники хотели повесить на сосне запорожского козака Киршу, о Божьей каре захватчикам, преступникам, изменникам.

В «Главе...» также отчетливо различимы мотивы «готического» романа (на них основывался и сам В. Скотт), преображенные соответственно времени и месту действия: лес, где блуждает герой; развалины в лесу, с которыми связана легенда о проклятии, смерти, возмездии; меняющееся освещение природы и человеческого лица как игра светотени; разрушение природных объектов, человека, плодов его труда под воздействием времени. Эти мотивы — общие для «Главы...» и «готического» фрагмента «Пленник» (об этом см. ниже, на с. 299, 301). К приметам «готического» романа следует отнести и вставную легенду о страшном грешнике. Но в роли «проклятого или крестного дерева» апокрифов здесь выступает не яблоня или осина, а северная сосна-мумия, причем ее изображение схоже с описанием «проклятого дерева» из повести американского романтика В. Ирвинга «Легенда

о Сонной Лощине» (в рус. пер. — «Безголовый мертвец»)[13]. А крона сосны после казни дьякона напоминает «бороду», отличавшую православное духовенство (в украинском фольклоре — и «москаля»/«кацапа»). Все это, если соотнести с повествованием Загоскина, позволяло читателю видеть в легенде намек на неудачу возможного польского нашествия на Левобережную Украину («всё шляхетство... в гости»), как это уже было в России, тем более что действие, согласно топонимическим указаниям автора, происходит на Полтавщине, у границы Слободской Украины, тогда — части Русского государства, где бежавшие от панского гнета козаки и холопы жили слободами.

«Смутное время» действия в «Главе...» уточняется несколькими хронологическими деталями. Имя Казимир, упомянутое шляхтичем Лапчинским, по-видимому, принадлежит Яну II Казимиру Ваза (1609—1672), королю Речи Посполитой в 1648—1668 годах. Это позволило исследователям датировать время действия концом 1650-х годов, после смерти Хмельницкого, когда король пытался наладить отношения с Правобережной Украиной (*Каманин*, 98—99). Вероятнее, однако же, что Гоголь связал «посольство от Казимира» и эпизод, с которого начиналась вторая часть «Истории Малой России». Там рассказывалось, как в 1654 г. еще при жизни Хмельницкого, после Переяславской рады (надо полагать, это и были «события, волновавшие Варшаву»), Ян II Казимир хотел заставить козаков «отложиться» от России. Король поручил гетману Ст. Потоцкому уговорить «славного храбростью» полковника Ивана Богуна, который еще не присягал русскому царю, «отказаться от Хмельницкого, присоединиться к польским войскам», и выступавший посредником «литвин Павел Олекшич... обещал ему (полковнику. — *В. Д.*) ...именем Казимира: *Гетманство Запорожское, шляхетство и любое староство в Украине*. — Верный чести Богун препроводил письмо... к Хмельницкому...» (*ИМР*. Ч. 2. С. 2; курсив автора). И поскольку «посольство от Казимира» было темой «Главы...» (правда, истинная цель визита — предварительно узнать настроения миргородского полковника Глечика как потенциального союзника поляков), то действие можно отнести к 1650-м годам. Соответствует этому и звание «полковника Миргородского полку»: за участие в козацких восстаниях 1637—1638 го-

[13] «Перед ним среди дороги возвышался огромный тюльпан, как исполин превосходивший огромностию все окрестные деревья, точный маяк гибели и ужаса <...> Это дерево ознаменовано было несчастною смертию маиора Андре... народ смотрел на него с почтением и с робостью, вспоминая и горестный жребий человека, которого носил он имя, и странные явления, как известно было всем, вокруг его происходящие» (Безголовый мертвец. Повесть Ирвина Вашингтона // *МТ*. 1826. Ч. 9. С. 176—177). Ранее ту же повесть Гоголь использовал как основу для создания «Двух глав из малороссийской повести „Страшный кабан“» (*ЛГ*. 1831. № 1, 17; см. об этом: *Ар*., 484—485).

дов полк был расформирован и практически заново создан в 1648 г., когда началась народно-освободительная война. То же время действия подтверждается легендой о пане — «воеводе ли... сотнике ли», который жил в этих местах «лет за пятьдесят перед тем», то есть в начале XVII в., когда, после отказа большинства простых малороссиян принять Брестскую унию 1596 г., на Украину были введены польские войска, в городах поставлены гарнизоны.

В «Главе из исторического романа» история **создания семьи** — основы народа (или, наоборот, ее «несложения», распада в «Вечере накануне Ивана Купалы») как типичный сюжет романа и повести того времени отодвинута на второй план. Три поколения: теща — близкая «жертва могилы», Глечик и его жена-«старуха», их дети — показаны как естественная и достаточно устойчивая козацкая семья, хотя тестя уже нет, а два старших сына погибли (они «поженились на чужой стороне»), младший же сын из-за отлучек Глечика не признает его «батькой». Но главное — эта семья представляет *украинскую часть* славянского мира. В доме Глечика всегда на столе в знак гостеприимства «ржаной хлеб и соль»[14], на стене мирно соседствуют военные и хозяйственные орудия, а женщины вполне самостоятельны. Сами козаки независимы, близки к природе, у них живой ум, разнообразные таланты. Хозяева земли, лесов и степей ведут мирную, оседлую жизнь на хуторах, типичных для Украины (об этом см.: *Сенько*, 8—9), верны своей природной греческой вере и потому — в отличие от поляков! — сохранили многие черты и традиции древних славян: они миролюбивы, гостеприимны, добры, терпеливы, наблюдательны, самоотверженны, чадолюбивы... В их семьях с младенчества прививают бранный дух, ненависть к насилию «ляхов»[15], а женщины привыкли хозяйствовать одни и ничего не бояться, хотя авторитет *хозяина Дома* — воина и защитника — здесь остается непререкаем.

Впрочем, в «Главе...» обрисовка одного из тех, кто живет на уединенном лесном хуторе, достаточно противоречива: полковника Глечика до конца фрагмента должна скрывать от собеседника-поляка (и недалеких читателей) маска плутоватого словоохотливого крестьянина. Поэтому в повествовании как бы два плана. Первый — восприятие посланца поляков, который переоделся козацким десятником и со страхом видит во встречном обыкновенного вооруженного, по обычаю того времени, «дюжего пожилого селянина»,

---

[14] Об этой традиции древних славян Гоголь упоминал в своей гимназической работе по русской истории (IX, 15), опираясь на сведения «Истории Государства Российского» (Т. 1. Гл. 3) и, видимо, зная, насколько жива подобная традиция среди простых малороссиян.

[15] Ср. современную Гоголю констатацию того, что все малороссы испытывают «ненависть к великороссиянам <...> Они переливают чувство сие в самых малюток и пугают их *москалями*. При сем имени устрашенное дитя перестает кричать» (*Лёвшин*, 72—73; курсив автора).

хотя и с «огнем» в глазах. Взгляд же всеведущего автора — художника и историка — сразу замечает

• «седые, закрученные вниз, усы... резкие мускулы... азиатскую беспечность» на «смуглом... лице», «то хитрость, то простодушие» в «огне» глаз героя;

• «черную козацкую шапку с синим верхом», сняв которую герой покажет «кисть волос» на макушке — знаменитый козацкий оселедец;

• его умение понять, кто перед ним (по одежде, поведению, по нарушению принятого этикета встречи, но вернее всего по разговору, может быть, по акценту), а затем использовать это в своих целях. Значимо и «рыцарское» сравнение тулупа с «латами от холода». Так внимательный читатель получает представление о вероятной незаурядности героя-козака, и это далее подтверждает его талант *искусного* и *миролюбивого* рассказчика (по сути, художника). Потому рассказчик столь близок повествователю: голоса их перекликаются или даже сливаются...

Характеристика козаков как разбойников-кочевников и язычников — «общее место» в европейском искусстве того времени[16]. Так, роман Загоскина, где запорожец Кирша был по происхождению русским и в целом положительным героем, хотя и разбойником, английский переводчик дополнил от себя, помимо прочего, описаниями зверств запорожцев и цивилизованного гуманизма поляков (*Альтшуллер*, 83). Напротив, в «Главе...» и поведение, и речь героя-козака, и его жилище (без «трофеев» — в отличие от светлицы у Бульбы) создают впечатление мирной крестьянской жизни, вовсе не воинственной. Об этом как бы случайно и простодушно говорит сам Глечик: «...козаки наши немного было перетрусили: кто-то пронес слух, что всё шляхетство собирается к нам... в гости». И хотя испуганному шляхтичу собеседник, идущий рядом и курящий *козацкую люльку*, видится «упырем», лесное убежище Глечика в дальнейшем оказывается вполне зажиточным «имением», где на стене рядом висят «серп, сабля, ружье... секира, турецкий пистолет, еще ружье... коса и коротенькая нагайка», а ульи во дворе дополняют картину *оседлой* жизни малороссиян XVII в. (она почти не отличалась от картин жизни украинских крестьян при Гоголе и описания жизни русской деревни XVII в. в романе Загоскина).

И наоборот: бесчеловечными, нечестивыми, демоническими показаны действия поляков. Их бесчинства, преступления, пренебрежение народными обычаями, православной верой — и Божья кара за это ярко изображены

---

[16] В усыпальнице короля Яна II Казимира Ваза (церковь Сен-Жермен де Пре, Париж) барельеф работы Ж. Тибо изображает короля во главе рыцарей, дающих отпор злобной, коварной, трусливой шайке козаков и татар.

в легенде, восходящей к апокрифам о «крестном дереве», о раскаянии «великого грешника-разбойника». Но легенда многозначительна — это и народное истолкование прошлого, актуальное для героев (Лапчинский чувствует страх), и часть авторского повествования, а *чудесное* оказывается одинаково важным для обоих героев и для автора — современного историка и художника, хотя и не может быть истолковано однозначно: есть пан, который покаялся и принял Православие, став схимником (как литовский князь Ольгерд — см.: *ИМР*. Ч. 1. С. 33), и он же — нераскаянный пан-дьявол «в красном жупане»[17].

Атмосферу этого «смутного» времени, переходного от средневекового к Новому, передают и взаимные презрительные оценки обеих сторон конфликта, и легенды, и отношения типичных героев: безымянных козака и шляхтича, пана-католика и православного дьякона. Здесь селянину-полковнику, с его умом и талантом, миролюбием и гостеприимством (хотя и небесхитростным), всей его семье оказывается противопоставлен одинокий пришлец из Варшавы, в чужом платье пробирающийся по чужой земле, которому пославшие его не слишком, видно, доверяют. И потому на последнего так действует легенда о злодействах «великого пана» и Божьей каре за это. Знаменательно, что читатель видит основные моменты происходящего «через» восприятие этого героя, вызывающего определенное сочувствие, а прием, оказанный ему, по существу, напоминает встречу селянами заблудившегося на охоте пана или паныча. О козаке же нам предоставлено судить лишь по его облику, речи, поступкам, искусно рассказанной легенде, обстановке в его доме. Такие отношения и открытость сознания посланца поляков свидетельствуют об отсутствии антагонизма между ним и козаком, хотя оба сохраняют взаимную, вполне объяснимую настороженность. Кроме того, миролюбие шляхтича объясняется и страхом, и стремлением скрыть свое истинное лицо, и миссией к потенциальному союзнику, тогда как настроение козака определяется не только пониманием того, кто перед ним, но и осознанием своей правоты и полного морального превосходства над нечестным поляком.

Повествование о полковнике-селянине Глечике, бесподобном рассказчике, обнаруживает и некую биографическую основу. Дед и отец Гоголя тоже слыли великолепными рассказчиками. Но главное — род Гоголей-

---

[17] Ср. легенду о «красной свитке» черта из повести «Сорочинская ярмарка» (1831). В повести «Страшная месть» (1832) колдун «в красном жупане» идет ночью в свой замок, появляется с поляками и под видом названого брата пана Данилы (I, 256, 257, 274), а козаки обычно — «в синих и желтых жупанах» (I, 254). Видимо, цветовая символика здесь восходит к польскому национальному стягу красного цвета с белым орлом. Но, в отличие от колдуна, пан Данила Бурульбаш изображен в «кармазинном жупане» из ярко-алого сукна (I, 246).

Яновских, согласно их Дворянской грамоте, вел свое начало от сподвижника Хмельницкого, полковника подольского и могилевского Евстафия-Остапа Гоголя, которому якобы пожаловал поместье король Ян II Казимир (см.: *Манн 1994*, 15—16). В «Истории Русов» Евстафий Гоголь упомянут как гетман (*ИР*, 176, 180). Вероятно, создавая образ Глечика, автор и опирался на какие-то семейные предания, и соответствующим образом трансформировал их, в частности, «поселив» героя (надо полагать — будущего гетмана) на Полтавщину. Упомянутые в «Главе...» города Пирятин и Лубны, река и город Лохвица были хорошо знакомы Гоголю по дороге из родительской Васильевки в Нежин. Первую свою публикацию в № 1 «Литературной газеты» 1831 г. Гоголь подписал *П. Глечик*. Именно на рубеже 1830—1831 годов — ко времени Польского восстания, вероятного знакомства с «Историей Русов» и появления «Главы...» — Гоголь навсегда отбросил от своей фамилии «польскую прибавку» Яновский (*Манн 1994*, 19).

Перепечатывая «Главу из исторического романа» в сборнике «Арабески» (1835), Гоголь сделал примечание: «Из романа под заглавием „Гетьман"; первая часть его была написана и сожжена, потому что сам автор не был ею доволен; две главы, напечатанные в периодических изданиях, помещаются в этом собрании» (Ч. I. С. 41). Таково единственное упоминание о романе и связи с ним «Главы из исторического романа» и «Пленника. Отрывка из романа», датированных в сборнике «1830» — временем публикации первых русских исторических романов «Юрий Милославский» М. Н. Загоскина и «Димитрий Самозванец» Ф. В. Булгарина.

Впервые являясь читателю под своим именем в «Арабесках», Гоголю, по-видимому, было важно заявить, что это он еще до «Вечеров...» создал **первый** исторический малороссийский (как следовало из названия) роман, который соответствовал и литературным тенденциям того времени, и ожиданиям читателей. На этом фоне обращает на себя внимание сознательный отказ автора от формы «вымышленного» романического повествования («потому что... не был ею доволен») и уничтожение огнем всего несовершенного — в пользу «достоверности» повестей «Вечеров...» и научно-художественного осмысления в «Арабесках» прошлого и особенно настоящего автором — художником и ученым. Смысл названия отвергнутого исторического романа был понятен всем знавшим, что украинских гетманов до 1708 г. выбирали «из рыцарства вольными голосами» (*ИР*, 7). Это подразумевало и типичность, и определенную исключительность главного героя, которого Козачество избрало предводителем (см. примеч. 85 на с. 465). А территориальный принцип войскового устройства, которое создал Стефан Баторий (по другим сведениям — князь Евстафий Ружинский или Дмитрий Вишневецкий) и согласно которому «Украина разделилась на

10 полков (каждый со своим городом), полки делились на сотни (каждая со своим местечком...), а сотни на курени (со слободами, селами и хуторами)», обусловливал взаимосвязь судьбы гетмана с исторической судьбой народа, наделяя его не только военной, но и гражданской властью (*Максимович 1834*, 4). Н. Маркевич отмечал, что «Гетман тот же Roi, Круль и Rex... царь, избранный народом... Гетманство тоже правление монархическое избирательное», и считал гетманами Наливайко, Петра Конашевича-Сагайдачного, Хмельницкого, Павла Полуботка и Мазепу (*Маркевич*, 121). Конечно, образованный читатель того времени вполне отчетливо представлял ряд гетманов, вплоть до последнего — К. Г. Разумовского, расставшегося с гетманской булавой в 1764 г., когда Екатерина II упразднила автономию Гетманщины на Левобережной Украине и само гетманство.

А для общественного сознания были тогда (и остались до сих пор!) актуальны *два* украинских гетмана, противопоставляемых официальной историей. Это спаситель отечества Богдан Хмельницкий (в народном понимании — избавитель, данный Богом, наделенный от Него властью, воссоединивший два православных народа) и демонический изменник Мазепа, отчужденный от Бога, народа и власти своим клятвопреступлением. Образы гетманов запечатлели эпические произведения того времени: поэма Байрона «Мазепа» (1818), роман Ф. Глинки «Зиновий Богдан Хмельницкий, или Освобожденная Малороссия» (1817, опубл. 1819), думы К. Рылеева «Богдан Хмельницкий» (1822) и «Петр Великий в Острогожске» (1823), его же поэма «Войнаровский» (1825), знаменитая пушкинская «Полтава» (1828), поэма «Мазепа» (1829) В. Гюго, поэма анонимного автора «Богдан Хмельницкий» (1833; подробнее см. ниже примеч. 22), романы П. Голоты «Иван Мазепа» (1832) и «Хмельницкие» (1834), роман Ф. Булгарина «Мазепа» (1833—1834)[18]. Причем главного героя этих произведений характеризовала соответствующая любовная коллизия — *созидательная* для его семьи или, наоборот, как в поэме «Полтава», *разрушительная*. И, воспроизводя заглавие романа, Гоголь просто не мог этого не учитывать.

Однако две главы исторического романа «Гетьман», представленные в «Арабесках», не соответствовали ожиданиям читателя хотя бы потому, что здесь, на первый взгляд, ни о каком гетмане речь не шла и не было даже намека на любовную коллизию. К тому же сообщение автора о частично сожженном романе «Гетьман» и его оставшихся главах можно было лишь

[18] Предисловие к роману «Мазепа» заканчивалось так: «Облеченный в звание Гетмана, или предводителя освобожденного народа, Хмельницкий, признавая власть Русского Царя, управлял Малороссиею и Украйною как независимый владелец на основании дарованных им прав и пребыл верен России» (*Булгарин 1833*, 4).

принимать на веру: ведь «Глава...» и отрывок «Пленник» были во многом различны... И вообще неясно, был ли этот отрывок самостоятельным художественным целым, или главой одноименного романа, или какой-то частью романа «Гетьман» (но здесь — так же, как в «Главе из исторического романа», — о каком-либо гетмане не упомянуто). Весьма проблематично и заявленное Гоголем в примечании единство «Пленника» и «Главы...»: несмотря на одинаковую дату создания и общее место действия — под Лубнами на Полтавщине, — между ними нет никаких сюжетных и вообще смысловых связей. И если действие в «Главе...» относится ко временам Хмельницкого (1650-м годам), то датой «1543 год» в «Пленнике» обозначено время, когда еще не могло быть ни гетманов, ни иезуитов. Предводителей козаков стали называть гетманами после Люблинской унии 1569 г., объединившей Великое княжество Литовское — с Малороссией в его составе — и Польское королевство в единое государство Речь Посполиту. Иезуиты, по словам Булгарина, обосновались в Польше со времен Батория и завели позднее Унию «для ниспровержения Восточной церкви» (*Булгарин 1830*. Ч. 3. С. 14).

Сложнее вопрос о времени основания «рейстровых» (реестровых) коронных войск (см. об этом: *Казарин*, 66—67). Большинство авторитетных источников, известных Гоголю, указывали, что эти войска были созданы в 1572 г. королем Сигизмундом II Августом (1520—1572, коронован в 1530) из украинских козаков, принятых на военную службу польским правительством и внесенных в особый список-реестр — в отличие от нереестровых козаков, которых оно официально не признавало. Однако «История Русов» (а ей тогда больше доверяли и Гоголь, и Пушкин) приписывает создание этих войск князю Евстафию Ружинскому, который в начале XVI в. «по изволению короля Сигизмунда Первого <...> учредил в Малороссии двадцать непременных козацких полков»; они наполнялись «выбранными из куреней и околиц шляхетских молодыми Козаками, записанными в реестр военный до положенного на выслугу срока, и от того названы они реестровыми Козаками» (*ИР*, 15—16).

Итак, отрывки *одного* романа, помещенные в *разных* частях сборника, оказываются не только принципиально различны по стилю, но и отделены друг от друга по времени действия на целое столетие! Возможно, причиной столь явного анахронизма стала авторская установка несколько «смягчить» тенденциозность фрагмента, предназначенного для журнала поляка Сенковского, но в то же время акцентировать внимание на извечном конфликте Козачества с Польшей и Литвой, о чем упоминалось в «Истории Малой России» (Ч. 1. С. 151—169, 197—227). И то и другое отчасти подтверждается изображением предводителя отряда — серба с теми же «неизмери-

мыми усами», какими в других исторических произведениях Гоголя наделен только польский военный. Это означает, что «Остржаницей» в тексте с куда большим правом, чем гетман Остраница, на которого обычно указывают исследователи, мог именоваться уроженец Острога («остржанин», пол. «остржаница») гетман Наливайко. Он возглавил первое выступление козаков против унии в 1594—1596 годах, затем потерпел поражение «от Жолкевского при Лубнах, на урочище Солонице» (поблизости от места действия в гоголевском фрагменте), был выдан полякам и замучен в 1597 г. (*ИМР*. Ч. 1. С. 176). Согласно некоторым источникам, почти там же, недалеко от городка Лукомль, в 1638 г. было разбито войско Остраницы. Вероятно, поэтому автор соединил прозвища двух гетманов, известных своей злосчастной судьбой, в «Остржаницу» и так назвал трагического героя, чей образ соответствует тональности повествования. Этот *тип* героя-гетмана вновь «раздвоится» в повести «Тарас Бульба» на трагические образы Наливайко («...гетьман, зажаренный в медном быке... лежит еще в Варшаве») и Остраницы («...голова гетьмана вздернута была на кол вместе со многими сановниками»).

Готический стиль во фрагменте предопределен некой «средневековостью» действия. И хотя многое в «Пленнике» напоминает о «неистовой словесности» (об этом: *Виноградов В. 1976*, 91—94), думается, Гоголь здесь использовал поэтику ее прямого «готического» предшественника, мотивы которого различимы уже в «Главе из исторического романа». Об этом свидетельствуют переклички с готическим романом М. Г. Льюиса «Монах» (1796; рус. пер. — 1802)[19], в котором описывались мрачные монастырские катакомбы, откуда слышны странные звуки, похожие на стоны погребенных заживо (*Монах*. Ч. 3. С. 88—101). Там за нарушение монашеского обета заточена сестра Агнесса, чью одежду составляет «одна епанча»; ужас девушки вызывают темнота, «зловредный и густой воздух... пронзительный хлад», «холодная ящерица... отвратительная жаба, изрыгающая черный яд». Агнессу спасают, услышав стоны в пустой пещере (*Монах*. Ч. 4. С. 117, 129, 131, 197). Можно заметить, как преобразуются эти мотивы у Гоголя: праведный настоятель православного монастыря считает своих незваных гостей «дьяволами», девушку-воина бросают в мрачное монастырское подземелье-кладбище, и она борется с дьявольским искушением предательства, обращаясь к Богу. Насильственное разоблачение ее, когда взорам мучителей предстают чудные волосы, «очаровательная белизна лица, бледного, как мрамор, бархат бровей, обмершие губы и девственные

[19] Среди подписавшихся на издание первым указан Д. П. Трощинский, и книга, по-видимому, находилась в библиотеке его миргородского имения Кибинцы.

обнаженные груди», а потом «снежные руки», напоминает постепенное саморазоблачение Матильды перед аскетом Гиларием; так же были поражены и полицейские, когда они схватили мнимого монаха и сняли с него одежду. В романе был описан и «окровавленный призрак» монашки Беатриксы, жертвы преступной страсти (Там же. Ч. 2. С. 171). Подобные готические мотивы были представлены в широко известных русской публике романах В. Гюго «Собор Парижской Богоматери», Ч. Р. Метьюрина «Мельмот Скиталец» и — значительно трансформированные — в других знаменитых произведениях «неистовой словесности» (подробнее см.: *ПССиП*. Т. 3. С. 934—935). На этом фоне «кровавый бандурист» представляется мучеником за православную веру (так, по легенде, казнили апостола Варфоломея), и появление кровавого «фантома», вероятно, должно предостеречь Ганну от предательства. Он мог возникнуть и потому, что бандурист стал невинной жертвой насилия, и потому, что героиня после смерти мужа (или жениха) нестерпимо одинока и жаждет мести.

В «Кровавом бандуристе» есть и другие литературные реминисценции. Основной мотив — девушки или жены-воина — характерен для средневекового эпоса и позднейших подражаний ему. Так, среди персонажей рыцарской поэмы Ариосто «Неистовый Орланд» (1516), как бы венчающей героическую эпику Средневековья, есть девы-рыцари Марфиза и Брадаманта. Переводивший «древние поэмы Оссиана» (оказалось — стилизацию Макферсона) Е. Костров, «предуведомляя» читателя о нравах древних каледонцев (шотландцев), замечает, что «супруга, любящая с нежностью своего Героя, следовала иногда за ним на войну, преобразясь в ратника. Такие превращения часто встречаются в поэмах нашего Барда...» (*Оссиан*. Ч. 1. С. XLIII). В балладе В. Скотта «Владыка огня» (1801) жена рыцаря-отступника, принявшего ислам, переоделась пажем, чтобы увидеть мужа, и погибла на поединке с ним. Наконец, образ *девушки — узницы подземелья* был характерен для немецкого рыцарского романа, откуда перешел в роман готический.

Средневековые приметы этого «черного» (готического) романа: ужасные тайны, подземелья, кровавые призраки, сцены насилия, загадочно-демонические незнакомцы — были обычны для исторических романов и повестей a la Вальтер Скотт (см.: *Виноградов В. 1976*, 93). Так, начало фрагмента соотносится с началом последней главы в повести О. Сомова «Гайдамак» (1826): отряд козаков везет связанного по рукам и ногам разбойника-гайдамака Гаркушу. В романе М. Загоскина «Юрий Милославский» герой тоже был заточен в «мрачном четырехугольном подземелье» разрушенной церкви. Однако образ «закипевшего кровью» призрака находит соответствие не только в «неистовой словесности», на что неоднократно

указывали исследователи, но и в козацких летописях (*Паламарчук*, 420) и той части легенды в «Главе из исторического романа», где пану «чудится», будто из ветвей сосны «каплет человечья кровь», сосна же «вся посинела, как мертвец, и страшно кивает ему черною, всклокоченною бородою». А ситуация, когда в захваченном воине опознают женщину, уже была фактически травестирована Гоголем в повести «Майская ночь»: один неопознанный пленник брошен в темную комору, другой — в темную хату для колодников; в том и в другом случае вместо ожидаемого «демона» перед Головой и его отрядом возникает... «свояченица» (одинаковы по смыслу и «побранки» узников: собачьи дети — чертовы дети, польское «псяюха» = шельма).

Само же заглавие фрагмента «Пленник» (тем паче «Кровавый бандурист»!), если сравнить с нейтральным «Глава из...», уже подразумевает конфликт. Его определяет такая же атмосфера **насилия**, что в легенде из «Главы...». Ночью в украинский городок входит отряд «рейстровых коронных войск», появление которого обычно «служило предвестием буйства и грабительства», но на этот раз «к удивлению... жителей» внимание солдат приковывал пленник «в самом странном наряде, какой когда-либо налагало насилие на человека: он был весь с ног до головы увязан ружьями... (Так поступали с пойманными на охоте дикими зверями. — *В. Д.*) Пушечный лафет был укреплен на спине его. Конь едва ступал под ним. ...толстый канат... прирастил его к седлу». Даже «месяцу» не разглядеть «капли кровавого пота» на лице «несчастного пленника», потому что «оно было заковано в железную решетку», а солдаты отгоняют любопытных, показывая «угрожающий кулак или саблю». **Насилие** проявляется и по отношению к служителям Православной церкви: воевода стреляет в церковное окно, бранится и богохульствует, угрожает расправой (ср. в легенде: глумление над дьяконом и его казнь). Запрещенный цензурой финал отрывка добавлял натуралистическую картину пыток и кровавый образ казненного бандуриста.

Таким образом, в «Пленнике» — как в легенде из «Главы...» — конфликтующие стороны открыто противостоят друг другу. Неправедную оккупационную власть, основанную на силе оружия, представляют польские солдаты и наемники, которые одновременно и презирают, и боятся козаков, видят в них дикарей, почти животных (примерно таков смысл вопроса воеводы: «...чего они так быстры на ноги, собачьи дети?»). Жертвами насилия выступают все остальные персонажи, особенно пленник. Не зная об ужасном финале, читатель «Арабесок» мог лишь предположить, что пленник не мужчина, по его «слабому стенанию», ужасу и обмороку...

Но воины, способные наслаждаться «муками слабого», тем более девушки, за чьи «снежные руки... сотни рыцарей переломали <бы> копья»,

не могут быть рыцарями! Демоническое в них обусловлено и «смешением пограничных наций». Так, в роли готического злодея здесь выступает начальник польского отряда — «родом серб, буйно искоренивший из себя всё человеческое в венгерских попойках и грабительствах, по костюму и несколько по языку поляк, по жадности к золоту жид, по расточительности его козак, по железному равнодушию дьявол». А настоящим Рыцарем, несмотря на свои слабости, предстает пленница в доспехах и шлеме с забралом — своеобразный андрогин, олицетворяющий сопротивление Украины насилию захватчиков. Ведь если женщина, вопреки традициям и собственной природе, берется за оружие, значит, исчерпаны другие возможности сопротивления, переполнилась чаша народного гнева!

Именно этому соответствует художественное (а не хронологическое) время действия в отрывке. Ведь для читателя, хотя бы отчасти знакомого с историей Украины, упоминание о «рейстровых коронных войсках» делает очевидной некорректность датировки «1543 год», которая к тому же нарушает принятое в «Вечерах...» и 1-й редакции «Тараса Бульбы» **ограничение** гоголевского повествования серединой **1570**-х годов, когда легендарный козацкий предводитель Иван Подкова (Серпяга) несколько месяцев владел молдавским престолом (за что и был предан казни. — См. примеч. 2 на с. 502), а главное — временем «короля Степана», правившего Польшей с 1576 г. и фактически создавшего регулярное войско украинских козаков. Согласно *ИР* и *ИМР*, религиозная война, что показана в отрывке, началась в конце XVI в., после Брестской унии 1596 г., когда простые украинцы оказали ожесточенное сопротивление польско-католической экспансии, в то время как многие знатные люди, в том числе из козацкой старшины, унию приняли.

Отмеченные в гоголевском фрагменте реминисценции, переклички, сходство ситуаций с литературными и фольклорными произведениями расширяют панораму повествования, вовлекая в него дополнительные планы, пересечение которых и образует «сверхсмысл». Но единственно схожим с «Кровавым бандуристом» по тематике, стилю и датировке гоголевским произведением следует признать «Страшную месть» (1832), где мир прошлого с приметами XVI—XVII веков тоже воссоздавался на готической основе, включавшей народные предания, поверья, песни, апокрифы. *Чудесное*, невероятное — по законам жанра — здесь тоже представало как демонически ужасное (например, появление колдуна на свадьбе). А сама жизнь отступника от козацкого мира становилась символом противоестественного, почти животного (сродни волчьему), нехристианского существования. Наоборот, в «Кровавом бандуристе» ужасные муки героев-страдальцев, по-христиански пренебрегающих «телесным», символизируют искупительную

жертву во имя национальной независимости. Соответственно этому изображены жители «страны, терпевшей кровавые жатвы», а также храм и его настоятель, монастырские катакомбы как «иной мир» — разрушительный для тела и спасительный для души.

По замыслу автора, и повесть, и фрагмент изображали народное прошлое в готическом стиле. Однако — в отличие от «Страшной мести» — готические черты «Кровавого бандуриста» не были «уравновешены» собственно фольклорным материалом, хотя литературно-фольклорные параллели основных мотивов очевидны: попрание христианских канонов и кара за это, подземный мир смерти, девушка-воин, бандурист. Эту «литературность», сближающую фрагмент с «Главой из исторического романа» и повестью «Вечер накануне Ивана Купала», написанными в 1830 г., следует рассматривать как характерную особенность ранних гоголевских произведений. Опираясь на известные тогда литературно-фольклорные параллели, используя типичные литературные шаблоны, автор ограниченно вводит фольклорный материал, которым, видимо, в то время еще владел недостаточно, или подвергает его значительной литературной переработке.

Все это позволяет полагать, что в 1831—1832 годах, создавая повести для второй книжки «Вечеров на хуторе близ Диканьки», Гоголь писал некую большую историческую («готическую») вещь, намек на которую, по мнению исследователей, есть в предисловии ко 2-й части «Вечеров...», где Рудой Панек заявлял: «...для сказки моей нужно, по крайней мере, три такие книжки» (I, 713). Работа над ней возобновилась летом 1833 г. (см. об этом ниже, на с. 317). А когда возникла необходимость дать что-то новое в журнал «Библиотека для Чтения», Гоголь обработал один из ярких, характерных набросков этой вещи, назвав его «Кровавый бандурист».

Однако позднее в «Арабесках» и «Пленник», и «Глава...» вошли в разнородную структуру сборника как две главы **одного** исторического романа. Поэтому заявленный в примечании к ним **отказ** от всего романа, на наш взгляд, говорит о том, что автор предпочел *современную* «синтетическую» форму, совмещавшую научное и художественное (а не противопоставлял роман и еще не опубликованную повесть «Тарас Бульба». — Ср.: *Зарецкий*, 322—323). В этом плане «Арабески» можно истолковать как **эквивалент** исторического романа, где художник-ученый восстанавливает как интуитивно, так и логически весь путь человечества, объединяя разные стороны и эпохи человеческого бытия — и скрепляя распадающийся мир Словом. Сюжетом гоголевской книги становится вся духовная история человечества, которую автор отражает в своем духовном

развитии и как ее наследник, и как представитель своего народа, и как художник-демиург, воссоздающий — в меру сил — лишь какие-то части (фрагменты, наброски, арабески) картины мира, и просто как один из героев этого общечеловеческого действа. Однако на таком фоне *малороссийское* оказывалось заведомо меньше *всемирного* как его часть. Видимо, потому отрывкам романа и «Взгляду на составление Малороссии» (как отрывку ее истории) в сборнике предпосланы примечания, указывающие, что все эти *арабески*, входя в принципиально неполный «малороссийский» контекст, дают лишь представление о контурах и жанре возможного **целого** — многопланового исторического повествования о гетмане или нескольких гетманах.

Но было ли оно в каком-то виде создано Гоголем? — Этот вопрос остается открытым. Парадокс в том, что «недостающие» читателю «Арабесок» основные элементы сюжетной схемы заявленного исторического романа о гетмане (в том числе — обязательная любовная коллизия) восполняются в большом рукописном отрывке, найденном после смерти писателя в его бумагах. Впервые публикуя этот текст, написанный «на отдельных листках самым неразборчивым почерком», издатели полагали, что он «принадлежит к самым молодым произведениям нашего автора и писан может быть еще до появления „Вечеров на хуторе близь Диканьки“, но в нем... проглядывает то художественное представление страны и характеров, которое с такою полнотою развилось в *Тарасе Бульбе* и других... произведениях» (*Соч. 1855—1856*. Т. 5. С. IV, 411). По мнению исследователей, полулисты с текстом были вырезаны из Записной книги *РМ* (см. примеч. на с. 504). В их копии, сделанной П. Кулишом, зафиксировано несколько гоголевских исправлений и приписок (РО ИРЛИ РАН. Фонд 652. Опись 2. Ед. хр. 71), а позднее Н. С. Тихонравов обратил внимание на принадлежность к тому же тексту и скопированных Кулишом отдельных черновых вариантов (*Соч., 10-е изд.* Т. IV. С. 549—551). Очевидные нестыковки — например, вариативность имен и характеристик героев — на наш взгляд, свидетельствуют о том, что здесь впервые были сведены для работы какие-то предварительные наброски (об этом см. ниже).

В гоголеведении данный текст стали считать непосредственным началом романа «Гетьман» (см. об этом: III, 711—716) и соединять с фрагментами того же романа, какими, согласно утверждению Гоголя в «Арабесках», были «Глава из исторического романа» и «Пленник». Не отрицая связи рукописи с замыслом «Гетьмана», мы полагаем, что объявлять ее началом такого романа нет оснований, если «первая часть его была написана и сожжена», а принадлежность к нему обеих напечатанных «глав» и сюжетное их (и смысловое) единство, как было показано выше, весьма сомнительны.

Поскольку намеченные в рукописи главки явно меньше, чем у обычного романа того времени, и в них кратко упомянуты события, предшествовавшие действию, можно определить жанр как *романтическую повесть* (совокупность нескольких эпизодов, важнейших для жизни героя, — хотя на этом этапе работы масштаб и детали изображаемого, а соответственно и его жанр вряд ли были ясны самому Гоголю). Следовательно, более точным рабочим названием этого произведения, на наш взгляд, будет <Главы исторической повести>.

Видеть в них начало романа «Гетьман» исследователям позволяет фамилия главного героя — исторически достоверного гетмана Остраницы (*Летопись*, 14). Согласно «Истории Русов», нежинский полковник Стефан Остраница (по другим сведениям — простой козак Степан или Яков Искра-Острянин) в 1638 г. был избран гетманом и возглавил восстание на Запорожье против польской и украинской шляхты. Он показал себя искусным полководцем, очистив приднепровские города от поляков и наголову разбив польские войска у реки Старицы. Гетман Лянцкоронский позорно бежал, но был окружен козаками в местечке Полонном, и только посредничество русского духовенства спасло ему жизнь. Подписав трактат о вечном мире с поляками, Остраница поверил их клятвам и распустил свое войско, а сам с частью войскового чина заехал помолиться в Каневский монастырь, где и был предательски захвачен поляками, отправлен в Варшаву и там после пыток казнен вместе с 37 соратниками (*ИР*, 53—56). В повести «Тарас Бульба» Гоголь повторяет эту версию: «Немного времени спустя, после вероломного поступка под Каневым, голова гетмана вздернута была на кол вместе со многими сановниками» (см. примеч. 146, 166 на с. 474—475). Другие источники сообщают о том, что Степан Остраница (или Яков Искра-Острянин) был убит в 1641 г. во время выступлений против козацкой старшины на Слободской Украине, куда он увел часть войска после поражения в Жовнинской битве (*Комментарии* СС. Т. 7. С. 528—529).

Гоголь не мог не знать имени и обстоятельств жизни нежинского полковника хотя бы потому, что опирался на «Историю Русов» (см. об этом: III, 714—715). Следовательно, в <Главах...> фамилия Остраницы использована для *условного* обозначения персонажа, на что указывает и его *переименование*. Украинское имя Тарас (от греч. tarassō — волновать, возбуждать, приводить в смятение, тревожить) также имело значение «бунтовщик, мятежник» (Справочник личных имен народов РСФСР. М., 1987. С. 524) и напоминало о гетмане Тарасе Федоро́виче (Трясыло), под чьим руководством в 1630 г. под Переяславом была одержана победа над поляками в ночном сражении, оставшемся в народной памяти

как «Тарасова ночь»[20]. Можно полагать, что на этого легендарного могучего (буквально «трехсильного») героя вначале и ориентировалось приуроченное к «1625-му году» повествование о герое страннике или — как он сам говорит о себе — «странной судьбы» (РО ИРЛИ. Фонд 652. Опись 2. Ед. хр. 71. Л. 3). Обрабатывая текст, Гоголь изменил дату на «1645» — и приблизил время действия к началу народно-освободительной войны под руководством Б. Хмельницкого в 1648 г. При этом следы «двойной» хронологии в тексте сохранились: так Остраница и Пудько вроде бы говорят о турецком походе 1640 г., но упоминание о «Сиваче» (Сиваше) подразумевает знаменитую «битву при Соленом озере» в походе 1620 г.

Итак, сочетание имени и фамилии (прозвища) народных героев-гетманов вкупе с обозначением времени, предшествующего народно-освободительной войне, должны создать у читателя представление о **типе** героя. Его сближение с гетманом, который «облагородил и возвысил» национальный характер (*Максимович 1834*, V), вполне закономерно для исторических произведений той эпохи, нередко использовавших фольклорную традицию изображения легендарных героев (в данном случае она обозначена самим переименованием Зиновия в *Богдана*). Обозначение славного «времени Хмельницкого» Гоголь использовал сначала в журнальном варианте повести «Вечер накануне Ивана Купала», где основное время действия было маркировано «малолетством Богдана» (см. примеч. 3 на с. 503), а затем в повести «Страшная месть» (1832): бандурист «повел про прежнюю гетьманщину, за Сагайдачного и Хмельницкого», когда «иное было время: Козачество было в славе; топтало конями неприятелей, и никто не смел посмеяться над ним» (I, 279). Гоголь, безусловно, знал и «Песнь о Богдане Хмельницком» — переложенную Л. Рогальским народную украинскую песню о гетмане — в переводе, точнее, пересказе О. М. Сомова (Благонамеренный. 1821. № 7), и стихотворение своего однокашника В. И. Любича-Романовича «Сказание о Хмельницком» (*СОиСА*. 1829. № 41).

Особенно интересно, что начало <Глав исторической повести> перекликается с произведениями К. Ф. Рылеева — самого известного тогда поэта-историка Малороссии. После успеха поэмы «Войнаровский» (1824—1825) он работал над поэмами и драматическими произведениями о религиозной и национально-освободительной борьбе на Украине в XVI—XVII веках

[20] По другим сведениям, в 1628 г. малороссийские козаки избрали себе в гетманы некого Тараса из простых козаков, а потом «битву учинили с поляками и победили их множество» (*Летопись*, 13). Поэтому контаминацию образов Федоро́вича и Остраницы в гоголевском тексте можно объяснить сведениями, что Остраница в 1638 г. — через 10 лет! — тоже был избран в гетманы из простых козаков (*Летопись*, 14).

(см.: *Рылеев*, 29—34, 438—443). В центре конфликта здесь оказывался харизматический герой, наделенный властью «от Бога» за то, что живет чаяниями своего народа, чувствует и выражает его волю и готов пожертвовать собой для общего блага. И хотя у такого вождя были характерные черты легендарных украинских гетманов (Наливайко, Палея, Мазепы), следовало понимать, что прообраз каждого из них **один** — спаситель народа Богдан Хмельницкий, а главные события так или иначе напоминают Хмельнитчину 1648—1654 годов. Например, действие поэмы о восстании Наливайко 1594 г. разворачивается в Чигирине (возле него расположено Субботово — вотчина Хмельницких), там происходит расправа со старостой ляхом (как известно, «чигиринский подстароста Чаплицкий» был их врагом), а герой в черновике один раз прямо назван Хмельницким. И хотя, по утверждению С. А. Фомичева, «имя Хмельницкого... здесь легло под перо Рылеева по ошибке», исследователь вынужден признать, что «не случайно Наливайко в поэме Рылеева наделяется отчасти чертами биографии Хмельницкого...» (*Фомичев*, 370). Вместе с тем в творческом сознании поэта-трибуна образ мятежного народного вождя (Наливайко, Палея, Хмельницкого) формировался под явным воздействием поэмы Байрона «Мазепа».

В фольклорную основу поэмы Рылеева входили и мотивы народных дум о Хмельницком. Парадокс в том, что — в отличие от народного избавителя, заступника, мудрого полководца, каким предстает гетман в думах, — автор изобразил героя-одиночку трагически отчужденным от общества из-за своей высокой миссии: его живая «страсть к свободе» оказывалась сильнее животного инстинкта самосохранения, свойственного большинству, он знал, что обречен, но понимал свою смерть как условие свободы Отечества, как неизбежную жертву на ее алтарь. Недаром будущие декабристы ощущали это пророчеством, грозным предсказанием судьбы (*Рылеев*, 31).

Понятно, что малороссийские произведения Рылеева на Украине обрели огромную популярность, на которую, безусловно, влияла и трагическая судьба их создателя, поэтому Гоголь вряд ли мог их не знать. Свидетельством тому представляется определенная близость к ним некоторых описаний и ситуаций в повести «Тарас Бульба» (так, ее финал — чудесное спасение козаков в Днестре — напоминает отрывок из поэмы Рылеева «Палей», где, окруженный «несметными толпами» поляков, герой находил спасение в Днепре). А высказанное Рылеевым намерение «объехать разные места Малороссии... чтобы дать историческую правдоподобность своему сочинению» (Там же. С. 33) Гоголь фактически повторяет, желая «осмотреть многие места, где происходили некоторые события» для достоверности создаваемой в середине 1830-х годов «Истории Малороссии» (цит. по изд.: *Машинский*, 150).

Поэтому, видимо, не случайно сюжетная схема первой из <Глав исторической повести> Гоголя во многом напоминает план поэмы Рылеева «Наливайко» (1824) в пунктах «Сельская картина. Нравы малороссиян <...> Евреи. Поляки. Притеснения и жестокости поляков» (*Рылеев*, 439). И есть все основания полагать, что гоголевский замысел включал изображение козацкого восстания. Но еще ближе первая из <Глав...> к прологу исторической трагедии «Богдан Хмельницкий», который Рылеев читал публично в середине ноября 1825 г., — это последнее, что он завершил на воле (Там же. С. 442).

Очевидно, в основу этих произведений Рылеева и Гоголя одинаково положены сведения «Истории Русов» и козацких летописей о том, как после козацко-крестьянских восстаний против Брестской унии на Украину были введены польские войска, а православные «церкви не соглашавшихся на Унию прихожан отданы... в аренду и положена за всякую в них отправу денежная плата» (*ИР*, 40). Итак, и Рылеев, и Гоголь начинают действие у церкви — центра каждого православного поселения, а причиной конфликта становится противоречие между естественными потребностями верующих и не знающей предела корыстью и подлостью арендатора Янкеля (весьма схожего с будущим гоголевским героем — см.: *Вайскопф*, 607), который для защиты от народа обращается к военным, дальнейшее же развитие конфликта приводит к насилию, обостряя до предела отношения противоборствующих сторон. У Рылеева разноголосое движение от просьб и обращений — к негодованию и открытому протесту козаков и крестьян образует «народно-исторический» фон для появления героя, выражающего их нужды и чаянья, так же, как они, страдающего от несправедливости, насилия, преступлений захватчиков-поработителей. Очевидно, у Гоголя этот конфликт еще больше обостряется — завязкой действия, приуроченного к Светлому Воскресению, — впрочем, тоже вслед за Рылеевым, который в отрывках поэмы «Наливайко» («Полярная Звезда» 1825 г.) сравнивал страдания малороссиян под чужеземной властью с муками Страстной недели и противопоставлял этому весеннее пробуждение природы. Тот же мотив прозвучит в гоголевских <Главах...> — и слитность изображаемой толпы, ее инстинктивные (природные) действия, и резкое возвышение над ней Героя «от Бога» (о чем речь впереди) говорят о том, что Гоголь в подобной ситуации использовал прежнюю романтическую концепцию «Героя и толпы» у Рылеева, — ведь о прологе к трагедии «Богдан Хмельницкий» начинающий автор мог знать лишь в пересказе (скорее всего, О. М. Сомова, близко знавшего поэта и посвященного в его творческие планы). Рылеевым упомянута и «Тарасовская ночь в Переславле», повторения которой смертельно боятся арендаторы (*Рылеев*, 251). Это событие представало

прологом Хмельнитчины, а вождь народного восстания должен был стать прообразом Богдана (как у Гоголя).

В литературе того времени образ Хмельницкого рисовался неоднозначно. Иногда аллюзии гиперболизировали его противоречия, что пагубно отражалось на достоверности и мотивации поведения героя (возможно, потому в 1835 г. и была запрещена к постановке драма «Богдан Хмельницкий»[21]). Вот как представлял автор трех «исторических» малороссийских романов П. И. Голота обычное поведение гетмана: «Высокие думы рисовались на его челе... с необыкновенной живостию пробегал он огненными глазами... письма и то улыбался, то принимал на себя важный вид и в то время залпом выпивал по несколько чарок горелки, стоявшей перед ним, от чего, повидимому, наполнялся опять вдохновения, отваги и решимости» (*Голота 1834*. Ч. III. С. 72).

В патриотической поэме «Богдан Хмельницкий» (1833), анонимно изданной в Петербурге и, можно полагать, известной Гоголю, главный герой впервые являлся «В одежде крымца не простого, / По виду ляха молодого, / И по словам... — / Украинца»[22]. То есть герой в костюме знатного крымского татарина выглядел поляком, но говорил по-украински. Возвратившись в родные места, он получал весть о смерти отца и *тотчас* пытался отомстить за нее виновнику — старосте Чаплицкому, но *вдруг* обнаруживал необъяснимую доверчивость и позволял схватить себя (так же, как в финале романа Ф. Глинки). А когда он в заточении ожидал казни, его *вдруг* спасала полячка — дочь антагониста (опять — как в финале романа Ф. Глинки, следовавшего *ИР*).

В думе Рылеева «Богдан Хмельницкий» (1822) героя спасала сама «младая жена» Чаплицкого: она «связь с тираном разорвала» и, потрясенная «мученьем и вместе мужеством» героя, принесла ему освобождение, меч и... себя. По романтическому стереотипу, освобожденный пленник должен без промедления (сразу!) ответить своему спасителю таким же пламенным чувством. И действительно, герой думы, не задумываясь, обменивал настоящие оковы на узы супружества со своей впервые увиденной спасительницей — и получал «внешнюю» свободу и возможность действовать: «Жена Чаплицкого приносит Тебе с рукой свободу в дар <...>

---

[21] См. об этом: *Барон Дризен Н. В.* Драматическая цензура двух эпох. 1825—1881. <СПб.>, 1916. С. 64.

[22] Богдан Хмельницкий: Поэма в шести песнях. СПб., 1833. С. 3. Любовно-авантюрная коллизия в поэме значительно усложнена по сравнению с думой Рылеева, а счастливая развязка отнесена ко времени, когда народно-освободительное движение уже победило. Вопрос об авторстве поэмы рассматривается в книге: *Фризман Л. Г., Лахно С. Н.* М. А. Максимович — литератор. Харьков, 2003. С. 175—177.

Будь мой!» — «Я твой!» — «Прими свой меч!» (*Рылеев*, 158). И хотя о героине больше не упоминалось, сделанный ей выбор означал признание высочайших моральных качеств Героя, его правоты, справедливости его притязаний и естественного, «от Бога», права властвовать другими. Мало того, любовная коллизия обосновывала его переход от личной мести тирану к гражданской позиции:

А ты, пришлец иноплеменный,
Тиран родной страны моей,
Мучитель мой ожесточенный,
Чаплицкий! трепещи, злодей!
За кровь пролитую, за слезы
И жен, и старцев, и сирот,
За все — и за сии железы
Тебя мое отмщенье ждет.

После чего Герой утверждался в роли народного вождя, вокруг которого «как моря волны, / Рои толпятся козаков» (Там же. С. 157—158), где «волны» и «рои» означают стихийную, динамично-хаотическую массу козаков — «разнонаправленную», «слепую», без руководства. И потому действия возглавившего ее Героя «от Бога» предстают действиями всего войска:

Преследуя, как ангел мщенья,
Герой везде врагов сражал,
И трупы их без погребенья
Волкам в добычу разметал!..

(Там же. С. 159.)

Вероятно, такими же представлял Гоголь отношения козацкой массы и Тараса Остраницы, который в <Главах исторической повести> соединяет имя и стать одного гетмана с фамилией (прозвищем) другого. При описании того, как в Светлое Воскресение все козаки пришли в церковь, автор употребляет, по сути, те же сравнения: «...как рои пчел, толпились козаки...» и «...море голов, почти не волновавшееся». И далее в изображении молящихся козаков совмещаются динамика и статика (по словам автора, это «картина великого художника, вся полная движения, жизни, действия и между тем неподвижная»), а духовное единство собравшихся подчеркнуто одинаковой реакцией: «...на лице каждого выходившего дрогнули скулы <...> После перемены в лице, рука каждого невольно опустилась к кинжалу или к пистолетам <...> все спокойно вошли в церковь <...> На всех лицах

просияла радость...» — и, наконец, после окрика Героя — «Послушно все, как овцы, разбрелись по своим местам...»

Мотивы появления оружия и вооруженного конфликта (насилия) в церкви, не соответствующие христианской религии, динамика и статика присутствующих, а также возможное отражение этого художником на картине представлены в романе В. Скотта «Ламермурская невеста» (1819). Во время заупокойной службы по лорду Рэвенсвуду в церкви появился «полицейский чиновник с вооруженными людьми» и потребовал прекратить обряд. В ответ сын покойного обнажил свою саблю, угрожая приставу, и тут же «пред глазами» того заблистали «сотни саблей <...> Это явление <было> достойно кисти художника. Под сводами жилища смерти священник, устрашенный зрелищем, коего он был свидетелем, и беспокоясь о собственной безопасности, читал скоро и без сердечного участия торжественные молитвы своей церкви. Вокруг него в молчании <замерли> родственники умершего; более раздраженные, нежели опечаленные, и их поднятые сабли разительно противоречили их печальной одежде» (<Скотт В.> Невеста Ламермурская. Новые сказки моего хозяина, собранные и изданные Джедедием Клейшботамом, учителем и ключарем Гандерклейгского прихода: В 3 ч. М., 1827. Ч. 1. С. 16—17).

В <Главах исторической повести> Остраница появляется среди вооруженных молящихся «почти незаметно», но сразу же привлекает внимание, возвышаясь «над другими целою головою», выделяясь «каким-то крепким, смелым окладом» своего лица, которое «было спокойно и вместе так живо», что способно «было всё заговорить конвульсиями», — и «все мало-помалу начали обращаться на него». Затем он как бы растворяется среди «массы... народа... лиц...», чтобы, вновь возникнув из «толпы» или хаотической «кучи», остановить ее волнение «одним своим мощным взглядом» да окриком: его «взгляд и голос... как будто имели волшебство: так были повелительны». Это очевидное физическое и духовное превосходство Героя — свидетельство его власти над людьми «от Бога». Но и обладая такой харизматичностью, Остраница не уверен ни в собственной правоте, ни в избранной цели. На то есть основания...

После долгого вынужденного отсутствия Тарас возвратился на родину в разгар конфликта Речи Посполитой и украинского Козачества. И те, кто узнал Героя (Пудько, Галя-Ганна), уверены, что он вернулся для борьбы с поляками. Однако, как признается себе Тарас, его привела сюда «не правда, и месть, и жажда искупить себе славу силой и кровью... Всё вы, всё вы, черные брови!» Отсюда мучительное противоречие между чувством и долгом в сознании Героя, который, по наблюдению исследователей, «более рыцарь, как неоднократно называет его Гоголь, чем настоящий

козак» (*Розов*, 166). Хотя он привел запорожцев, пообещав им какое-то «предприятие», но теперь, когда возлюбленная согласна уехать с ним, готов нарушить данное запорожцам слово. Для него — как потом для Андрия Бульбы — личное чувство оказывается выше патриотического долга, хотя в душе он осуждает себя за власть, которую позволил взять над собой любви, — непозволительную для козака. К тому же любовь к невесте была причиной его невольного промедления в бою с поляками, из-за чего козаки были разбиты.

Подобное противоречие свойственно и Гале-Ганне, которая готова пожертвовать чувством к Тарасу ради благополучия своей матери. Это «двойное» женское имя Гоголь использовал в трех произведениях, включая «Майскую ночь» (и никогда и нигде больше!). В списке «Имен, даемых при Крещении» украинское отождествление «Ганна, Галя, Галька... Анна» — единственное, противоречащее русскому, кроме *Маруси* — *Марины* (IX, 513). В русском языке уменьшительные *Галя*, *Галька* восходят к *Галине*, а значение этого имени «спокойная, безмятежная» явно отличается от значения «милость Божия» у *Анны/Иоанна*. По-видимому, **единое** украинское имя[23], варианты которого принадлежат **различным** русским именам, по мысли Гоголя, отражает «двойственную» природу типичной героини: духовное имя *Ганна* соответствует ее небесным мечтам, порывам ввысь, а имя *Галя* — земной, чувственной, слабой стороне ее натуры. То есть героиня должна сделать выбор между дочерним долгом перед матерью и чувством к любимому, а неуверенный в себе герой — между любовью и патриотическим долгом, тогда как им обоим противостоит недостойный отец героини — домашний тиран, предавший Остраницу и козаков. Эта коллизия напоминает любовный треугольник в повести «Майская ночь», где и Ганна-Галя, выбирающая между сыном и отцом, и юный Левко, искренне любящий ее, бескомпромиссный, уверенный в своей правоте, и его антипод — недостойный деспотичный отец — Голова, заранее уверенный в своей неотразимости, как бы дополняют и уравновешивают друг друга.

В <Главах...> наглядно видно, как борьба долга и чувства — эта главная «пружина» исторических произведений того времени — организует, «закручивает» все действие. На таком противоречии, вероятнее всего, основывалось бы и дальнейшее развитие сюжета. Уже готов был вмешаться антагонист героя — отец возлюбленной (тогда конфликт мог развиваться, как у Хмельницкого с Чаплицким). Но возможно участие и другого антаго-

---

[23] Галей-Ганнусенькой звали и героиню народной песни «Побег малороссиянки» (*Максимович 1827*, 121).

ниста — ведь Герой смертельно оскорбил поляка, вырвав у него ус, и уланы, которыми тот командует, оказываются ночью в поместье Остраницы... Подобными явными и скрытыми противоречиями определяется сюжетное построение («остановившееся движение» молящихся козаков, оружие в храме, народная ненависть к полякам — вынужденное подчинение силе, угрожающее взрывом, любовная коллизия), а также поступки Героя. Вот Остраница расправляется с начальником польских уланов и оставляет его в живых только как «слугу короля», но сам же его вскоре и спасает от гнева толпы, дав понять козакам, что винить в своих бедах они должны самого короля. А рядом с возлюбленной Герой размышляет о возможной поездке «в Польшу к королю», хотя, по ее словам, «ляхи еще не вышли из Украины» и про Остраницу «никто не позабыл». Вероятно, Гоголь ввел этот мотив, чтобы затем использовать сведения о том, как Владислав IV, польский король в 1632—1648 годах, при встрече с Богданом Хмельницким дал тому понять, что Козачество вольно само решать свою судьбу оружием[24] (упоминания о вражде короля и шляхты сохранились в козацких песнях).

По мысли автора, Герой одновременно молод и умудрен опытом, горяч и хладнокровен, откровенен и скрытен, жесток и великодушен, известен и неузнаваем (и Галя — «девушка лет осьмнадцати» — не узнает любимого после *долгих лет* разлуки). Близким к идеалу вольного козака странником он стал по воле исключительных жизненных обстоятельств: чудесное рождение и круглое сиротство, участие в запорожских набегах, «полон» у татар, вынужденное выступление против ляхов и поражение от них и/или турецкий поход. Все это отчуждает Героя, делает его одиноким. И потому семья представляется ему высшей и единственной ценностью, ради которой, считает он, можно обратиться к польскому «королю <...> или хоть к султану», а при случае поселиться с возлюбленной «на Перекопе или на Запорожье» — то есть у крымских татар или на хуторах возле Сечи (ведь в самой Сечи женщин быть не могло). Стоит ли говорить, насколько такое пренебрежение традициями противопоставляло Героя его народу!

Характеристика Героя содержит взаимоисключающие черты и как бы суммирует известные обстоятельства жизни разных легендарных гетманов — не только Хмельницкого. При этом противоречия и эклектика, свойственные, по мысли автора, той эпохе и потому характеру Героя (в разной степени и другим характерам тоже), еще недостаточно обоснованы «художнически», слишком резки и потому так бросаются в глаза. Более

---

[24] Согласно преданию, «Владислав спросил: „Что вы здесь жалуетесь, разве не стало у вас рук и сабель?“ — Сей ответ развязал руки и изострил сабли козаков на освобождение отчизны их» (*Глинка Ф.* Зиновий Богдан Хмельницкий, или Освобожденная Малороссия. СПб., 1819. С. 14).

чем прозрачна и цель изображения **пути** Героя: каждая последующая встреча должна добавлять ему какую-нибудь новую черту, обнаруживать противоречия характера. А семантика имени Тарас обусловливает вероятность того, что «мятущийся» герой-индивидуалист байронического плана, самодостаточный одиночка, усомнившийся в справедливости миропорядка, волею судьбы станет «мятежным» героем-бунтарем во главе стихийного народно-освободительного движения — как это произошло с главным героем известного Гоголю романа В. Скотта «Пуритане» (1816; рус. пер.: Шотландские пуритане, повесть трактирщика, изданная Клейшботемом, учителем и ключарем в Гандер-Клейге. Исторический роман, соч. Вальтера Скотта. М., 1824).

Представление о Козачестве в <Главах исторической повести> создают и «портрет деда Остраницы, воевавшего под знаменем Батория <...> суровое, мужественное лицо, которому жалость и всё мягкое, казалось, было совершенно неизвестно», и «небольшая картина... изображающая беззаботного запорожца с бочонком водки, с надписью „*Козак, душа правдивая, сорочки не мае*“», и нарисованные народным умельцем «сцены из Священного Писания», где изображены «Авраам, прицеливающийся из пистолета в Исаака; св. Дамиян, сидящий на колу, и другие подобные». Заметим, что ситуация, когда Авраам намеревается убить Исаака, — это версия библейского сюжета о принесении Авраамом сына Исаака в жертву Богу: «И простер Авраам руку свою, и взял нож, чтобы заколоть сына своего» (Быт. 22:10; ср.: убийство Тарасом Бульбой сына Андрия). А св. Дамиан-бессребреник был искусным лекарем и обладал даром исцелять даже безнадежные болезни силою молитвы, однако в его житии нет эпизода казни на колу. То есть ситуации козацкой жизни оказываются здесь переосмыслены как библейские и житийные сюжеты.

В этой перспективе судьба Героя-странника, круглого сироты, обусловлена и его козацким родом, и **чудом**. Он родился от... *погибших* родителей: «...странная судьба моя! Отца я не видал: его убили на войне, когда меня еще на свете не было. Матери я видел только посинелый и разрезанный труп. Она, говорят, утонула. Ее вытянули мертвую и из утробы ее вырезали меня, бесчувственного, неживого». Этот мотив «чудесного рождения» обычно в фольклоре определял миссию *народного спасителя, избавителя*[25], с присущими ему неестественно быстрым развитием и неосознанно-свободо-

[25] По-видимому, Гоголь сближает Героя с Моисеем (др.-евр. 'извлеченный или спасенный из воды'), спасшим евреев из плена египетского, — и потому вводит образ 120-летнего старца, соответствующего возрасту Моисея. С этим библейским патриархом обычно сравнивали Хмельницкого (так, С. В. Величко видел в нем «второго Моисея»).

любивыми устремлениями (*Пропп В. Я.* Фольклор и действительность. М., 1975. С. 237). Все это подтверждается быстрым взрослением Остраницы («Еще мал и глуп... уже наездничал с запорожцами»), а потом и побуждением вместе с козаками «отмстить за ругательство над Христовой верой и за бесчестье народу». Однако он признается себе, что тогда «ни о чем не думал» (его «почти силою уже заставили схватиться за саблю») и стал виновником поражения козаков, не ударив из засады, потому что увидел среди врагов «Галькиного отца» (ср.: Андрий Бульба из-за любви к дочери воеводы возглавил засаду поляков в битве с запорожцами).

Если в архаических жанрах мотив «чудесного рождения» маркировал героя, избавлявшего людей от гнета и/или беды, то в современном Гоголю романе этот мотив был, как правило, связан с тайной происхождения героя. Так, в романе В. Скотта «Антикварий» (1816) идет речь о том, как состоявшая в тайном браке беременная леди Невил была заключена под стражу, бежала оттуда и бросилась в море. Когда ее спасли, у нее начались преждевременные схватки, и, родив сына, она скончалась. Ее свекровь, подстроившая все, чтобы разрушить брак, приказала служанке Элспет убить мальчика, но его спас дядя, брат отца, который затем тайно воспитал героя сообразно титулу и завещал ему свое имение. Состарившаяся Элспет перед смертью хочет облегчить душу и открывает тайну, которая освещает темные, скрытые от других героев связи, подробности прошлого — в конечном итоге, истину, и объясняет ход событий. Но, с точки зрения автора, это происходит как бы само собой, по естественному устройству жизни, где всегда побеждает добро, а зло будет наказано даже официально — государством (<Скотт В.> Антикварий: В 4 ч. М., 1826. Ч. III. С. 227—228).

На фоне романа «Антикварий» (многообразная перекличка с ним ранних гоголевских фрагментов, на наш взгляд, отнюдь не случайна) легко обнаружить заметное снижение поэтики тайны: в <Главах...> тайна уже обусловливает лишь экзотическую сторону сюжета, связанную с его национально-историческим, фольклорным колоритом, и явно профанируется, ибо, не узнаваемый другими, сам герой знает о своем происхождении, а на роль хранительницы тайны подходит как выжившая из ума старая нянька, так и мать Ганны-Гали. Портреты этих старух похожи и на образы Элспет и тещи Глечика, и на описание сосны в «Главе из исторического романа». Так, у Элспет неподвижное сморщенное лицо, «невнятный, могильный голос», «иссохшая рука», движения автоматические; отрешенная от внешнего мира, старуха ничего не замечает, ибо погружена в прошлое; иногда она кажется «мумией, на минуту оживотворенной давно оставившим ее духом» (Там же. С. 107—109). В «Главе...» сосна «посреди обнаженного леса» была похожа на «мумию, которую с изумлением отыскивают между голыми скелетами,

одну, не сокрушенную тлением. В ней видны те же черты, та же прекрасная форма человека объемлет ее. Но, Боже, в каком виде!» Теща Глечика также напоминает «жертву могилы, в которой сильная природа нарочно удерживала жизнь, чтобы показать человеку всю ничтожность долголетия, к коему так жадно стремятся его желания. Могильное равнодушие разливалось на усеянных морщинами чертах ее. Ни искры какой-нибудь живости в глазах! мутные, они устремлялись порой... но тот бы обманулся, кто прочитал бы в них что-нибудь похожее на любопытство. Они ни на что не глядели; им всё казалось смутно, как не совсем проснувшемуся человеку <...> старуха отправилась на печь, всегдашнее свое жилище, весь мир свой, который так же казался ей просторен и люден, как и всякий другой...» В <Главах исторической повести> мать Ганны-Гали — «иссохнувшее, едва живущее существо <...> несчастный остаток человека... олицетворенное страдание <...> длинное, всё в морщинах, почти бесчувственное лицо <...> губы какого-то мертвого цвета <...> слившиеся в сухие руины черты...» Все это наводит на мысль, что, изображая старух на пороге смерти, Гоголь не только наделяет их чертами Элспет, но и варьирует при этом классический образ старухи Смерти, представляя старух носительницами *вечной тайны* и ее символом. Подтверждение тому — в финале «Сорочинской ярмарки», в хрестоматийных образах «старушек, на ветхих лицах которых веяло равнодушием могилы, толкавшихся между новым, смеющимся, живым человеком. Беспечные! даже без детской радости, без искры сочувствия, которых один хмель только, как механик своего безжизненного автомата, заставляет делать что-то подобное человеческому, они тихо покачивали охмелевшими головами, подплясывая за веселящимся народом, не обращая даже глаз на молодую чету» (I, 135—136).

Сам же отчужденный рефлектирующий Герой в <Главах...> пытается противостоять жестокости окружающего мира, насилию, самой *смерти*, и дает отпор не только наглым захватчикам (что совершенно естественно!), но и самосуду над ними «разгневанного народа», и атаману, «учащему» плетью одного из молодых запорожцев в Светлое Воскресенье. Таким образом, Тарас колеблется между козацким и «рыцарским» (*Розов*, 166), между **противостоянием** миру, его законам, его несправедливости (здесь это еще не самая главная черта Козака) и равнодушием к миру, даже его приятием, от выступления против поляков и осуждения короля — к мечтам о милости последнего и «прощении», от турецкого похода — к идее обратиться «к султану». Его заветная мечта — хозяйничать Дома, в «семейном раю» вместе с возлюбленной, и во имя этого он даже способен забыть о своем Долге и товарищах, что было абсолютно недопустимо для Козака. Это поведение обычно для непоследовательного, чувствительного героя в «низовом» исто-

рическом романе, считавшего высшей ценностью *частную жизнь*. Такой герой мог увидеть на балу «волшебную украинку» — и «все планы, все чувства, всё земное было забыто; он желал бы только видеть ее и обратить на себя также внимание» (*Голота 1832*. Ч. 3. С. 68).

Подруге же Остраницы, наоборот, по душе участь вольного Козака, которому «подавай коня, сбрую да степь, и больше ни о чем тебе не думать. Если б я была козаком, и я бы закурила люльку, села на коня — и всё мне (при этом она махнула грациозно рукой) трын-трава! Но что будешь делать? я козачка. У Бога не вымолишь, чтоб переменил долю...» Далее — по сюжету «Кровавого бандуриста» и фрагмента <„Мне нужно видеть полковника“> — та же героиня (если исследователи верно поняли гоголевский замысел) уходит из семьи, переодевается в мужское платье (III, 713) и, отвергая приличия, наравне с мужчинами принимает участие в национально-освободительной борьбе. — Заметим: это более высокая ступень героического противостояния всему миру, чем обычно у козаков.

Рассматривая <Главы исторической повести> как попытку воплотить «идею» исторического романа, мы, вслед за первыми публикаторами, относим данный текст к ранним опытам Гоголя-прозаика 1829—1830 годов. Об этом свидетельствует историко-этнографический фон, детали которого заимствованы из «Истории Малой России» Д. Н. Бантыш-Каменского, а также из «Истории Русов» (*Казарин*, 44—45, 53—54), из словаря и записей «Книги всякой всячины, или Подручной энциклопедии» 1827—1831 годов. В частности, при описании бытовых реалий были использованы выписки из Академического словаря, из словника к сборнику М. Максимовича «Малороссийские песни» (1827) и сведения о старинном украинском быте, присланные по просьбе сына М. И. Гоголь в 1829 г. (IX, 524). Характерология <Глав...> близка фрагментам «малороссийской повести „Страшный кабан“» (1831) и повестям «Вечеров...», особенно первым, которые создавались в 1829—1830 годах. Так, в повести «Вечер накануне Ивана Купала» ухаживающий за Пидоркой «лях, обшитый золотом... со шпорами» соответствует образу «ляха», что возникает в ревнивых подозрениях Остраницы, а имя Ганна-Галя и стилистика объяснения влюбленных сближает <Главы...> с повестью «Майская ночь». Коллизия, когда отец возлюбленной героя «держит вражью сторону», повторяется в повести «Страшная месть».

Время записи <Глав...> в *РМ* можно отнести к 1832—1833 годам (*Казарин*, 33). Однако нестыковки в их тексте, вариативность наименования героев, различие мотиваций станут понятны, если предположить, что так были впервые сведены отдельные варианты ранее написанного. Насколько можно судить, его обработка с точки зрения будущего целого только на-

чиналась и в основном затронула первую главу. Именно здесь, в отличие от других глав, длительное отсутствие Героя пытаются объяснить турецким походом, кроме того, Героя называют сотником — как Хмельницкого (см.: *ИМР*. Ч. 1. С. 187). В последующих главах его отсутствие мотивировано упоминаниями о неудачном восстании против поляков и последующем бегстве, что отчасти сближает Героя с гетманом Остраницей. Возможно, Гоголь изменил дату «1625» на «1645» и соответствующим образом стал прорабатывать текст во избежание историко-смысловых аллюзий с восстанием декабристов 1825 г. — ведь изначально и датировка, и опознаваемые читателями того времени совпадения с Рылеевым, да и сам выбор Героя предполагали такие аллюзии.

Однако и этот обработанный заново текст продолжения не имел — и потому, скорее всего, что тип героя уже не соответствовал задачам повествования. Исключительный Герой, со всеми его противоречиями (непоследовательный, чересчур «вольный», «мятущийся» Тарас Остраница или талантливый, но хитрый и скрытный, себе на уме полковник Глечик в «Главе из исторического романа»), возвышаясь над другими, противопоставляет себя среде и, по сути, становится чужим для своего народа, подобно колдуну в «Страшной мести». Основой же первых повестей «Вечеров на хуторе близ Диканьки» как поэтической истории народа стало изображение *типичного народного героя* — не такого, как «средний» герой популярных в то время романов В. Скотта (об этом см.: *Альтшуллер*, 16—19), — пока что *народный герой* у Гоголя больше напоминал персонажей украинского вертепа (*Перетц 1902*, 50—51). И в отличие от романов В. Скотта, где толерантно изображались обе стороны уже исчерпанного религиозно-идеологического конфликта и соответствующие идеалы этих сторон, гоголевское повествование изначально ориентировалось на утраченные идеалы Козачества.

Поэтому, когда Гоголь, используя опыт «Вечеров...», сведет варианты <Глав...> воедино и обработает первую из них, добавляя «приметы Хмельницкого», это фактически означает «усереднение» Героя (его *превращение* в обычного героя). Одновременно писатель отказывается от тенденциозного изображения страданий малороссиян, которое было принципиальным для ранних исторических фрагментов. И лишь затем, на рубеже 1833—1834 годов, «идея» романа о Козачестве, которая с 1829 г. определяла сбор сведений по украинской истории и фольклору, публикацию материалов в журнале Свиньина, вдохновляла ранние исторические фрагменты и подпитывала повести «Вечеров...», в какой-то мере воплотится в повествовании о Бульбе и его сыновьях. Этому, несомненно, способствовали разработка замысла всемирной, средневековой и малороссийской истории, изучение украинского фольклора и летописей.

Можно предположить, что первоначально государственно-историческая «идея» была связана с материалами для трагедии, которые Гоголь начал собирать еще в гимназии с 1827 г., когда в его письмах матери появились намеки о «начале великого предначертанного мною здания» (X, 117 и след.). Дальнейшая разработка «идеи» предшествовала созданию первой части «Вечеров...» в 1829—1831 годах и потом шла параллельно, оказывая существенное влияние на весь цикл (как показывают исследования, для творчества Гоголя характерна «перекрестная» работа над несколькими замыслами). Подтверждение мы находим в письмах того периода. Так, летом 1829 г. Гоголь сообщает матери: «В тиши уединения я готовлю запас, которого, порядочно не обработавши, не пущу в свет <...> Сочинение мое, если когда выдет, будет на иностранном языке, и тем более мне нужна точность, <чтобы> не исказить неправильными наименованиями существенного имени нации» (X, 150), — а затем опять упоминает о каком-то «обширном труде» (X, 178). Как можно понять, речь идет о нескольких произведениях малороссийской тематики, причем одно из них объемное, историко-этнографического плана (см.: *ПССиП*. Т. 1. С. 596—597), то есть явно иное, нежели повести «Вечеров...», на которые обычно указывают комментаторы. Сама же «идея» (судя по отсутствию уточнений в письме, известная матери), вероятно, возникла из вполне естественного интереса к истории своего рода после внезапной смерти отца в 1825 г.

Таким образом, к 1835 г. <Главы исторической повести>, «Глава из исторического романа» и «Кровавый бандурист» в представлении автора были связаны как различные и разновременные варианты воплощения «идеи» романа о национально-освободительной борьбе (с XVI до середины XVII в.), «идеи», развитие которой привело к созданию «Тараса Бульбы». Именно там получили окончательное воплощение многие характеры, ситуации, описания, картины быта в предшествовавших фрагментах. Кроме того, все эти произведения связаны общностью места действия — Полтавщиной и временем, что можно назвать *условно-историческим*: несмотря на точные или неточные даты, иногда противоречивые хронологические детали, оно по сути соотносится с любым моментом изображаемой эпохи, но вместе с тем ориентировано и на современность. Подобная ахронологичность присуща историческому повествованию у романтиков (анахронизмы нередки у В. Скотта), впрочем, как и предшествовавшему *готическому* роману — например, знаменитым «Удольфским тайнам» (1794) А. Радклиф.

Исходя из явной тенденциозности <Глав исторической повести>, следует полагать, что к единому сюжетному повествованию на основе накопленного материала автор пришел на рубеже 1830—1831 годов, к началу Польского восстания, когда обострился общественный интерес к проблемам

русско-украинско-польских отношений. А «Глава из исторического романа» представляет предшествующий этап разработки «идеи» — на основе семейных преданий и актуальных реминисценций из романов (в основном, М. Загоскина), — от чего Гоголь в дальнейшем отказался. По-видимому, его не удовлетворила по своим возможностям и любовно-авантюрная коллизия <Глав исторической повести>, один из набросков которой стал затем основой «Кровавого бандуриста». Учитывая все это, вкупе с замечанием о «частях романа», о его сохранившихся отрывках, нельзя исключить, что, согласно «идее», на каком-то этапе ее воплощения автор представлял целое или как взаимосвязанные *эпизоды жизни легендарных гетманов* — от Наливайко до Хмельницкого, или же как *цепь* эпизодов (глав) из жизни гетманов, которые характерными чертами внешности, поведением, обстоятельствами жизни *напоминали* Богдана Хмельницкого, — и это свое представление обозначил как роман «Гетьман». Неизвестно, были ли написаны другие эпизоды или же дело ограничилась набросками, но очевидно, как сама разработка «идеи», попытки ее воплотить в большом эпическом полотне оказывали огромное влияние на творчество Гоголя с начала 1830-х годов, вдохновляли его последующие исторические и жанровые поиски.

Подготовительным наброском к повести «Тарас Бульба» и вместе с тем «мостиком» между ней и упомянутыми выше фрагментами исторического романа, по наблюдению исследователей, следует считать отрывок <„Мне нужно видеть полковника“>, где представлен герой принципиально иного плана: «Прямо на разостланном ковре сидел полковник. Ему, казалось на вид, было лет 50. Волоса у него стали седеть, сизые усы величаво опускались вниз. Длинный синий рубец на щеке и лбу тянулся по его почти бронзовому лицу. Кажется, нельзя было отыскать никакой резкой характерной черты, но просто оно выражало с спокойствием уверенность козака. Глядя на него, можно было тотчас узнать, что у него рука железная и мощно может управлять уздою. На нем были широкие, синие с серебром, шаровары. Верхнее платье небрежно валялось на полу. Несколько пистолетов и ружей стояли, и висели по углам ставки уздечки; в углу куль соломы. Полковник сам своею рукой чинил свое седло...» (*РП*. Л. 6 об.). Таким видит козацкого предводителя собравшийся поступить в его полк юнец. Старый воин уверен в себе, умел, неприхотлив как простой козак, он явно превосходит остальных выдержкой, мудростью, огромным опытом, в том числе бранным (смертным), о чем говорит сабельный шрам. И потому полковник вполне убежден в своем праве на жизнь козаков (даже способен убить в походе пьяного!), получив власть «от Бога» и боевых товарищей, разделяющих с ним это право, а его властные приказы четко обозначают место действия — украинские «степи».

Подобная переориентация места действия и достаточно целостная, «непротиворечивая» характеристика героя показывают, как изменились взгляды Гоголя на историю Украины и Козачества, когда он принялся за изучение и описание Всеобщей, средневековой и малороссийской истории и уже в этом плане стал рассматривать фольклорные сведения, козацкие и польские летописи. Сложившиеся на этой основе гоголевские представления о Козачестве были запечатлены в повести «Тарас Бульба».

III

Огромная популярность этой повести и ожесточенные споры вокруг нее, вдруг возникшие на рубеже тысячелетий (и совсем недавно — из-за ее экранизации), объясняются возможностью ее прочтения в различных национально-патриотических аспектах. Ярко продемонстрировала это книга В. Я. Звиняцковского «Николай Гоголь. Тайны национальной души» (Киев, 1994). Парадокс, однако, в том, что, при явной антипольской и — шире! — антизападной направленности, 1-я и 2-я (она же каноническая) редакции повести были разведены самим автором по идеологическому вектору «свое/чужое». Только в 1-й редакции «своей» виделась Гоголю украинская козацкая вольница — в ее постоянной борьбе с тремя, а то и всеми четырьмя соседними народами, в ее вольном, анархическом отличии от чужой — жесткой и жестокой — русской самодержавной «вертикали власти», а во 2-й редакции Запорожская Сечь стала частью Святой Православной Руси — в ее вечном противостоянии чуждым, «неверным» Западу и Востоку. Однако противоречий, сформировавших, а затем разрушивших ту самую вольницу, противоречий самого Козачества Гоголь не собирался ни скрывать, ни приуменьшать. Другое дело, что для современного читателя (и даже части исследователей) они не совсем понятны, в большинстве своем малозаметны, и потому нам следует основываться на 1-й редакции повести, где подобные противоречия «первичны»: более крупны, отчетливы, ярки, — но, при необходимости, использовать для сравнения и каноническую редакцию.

В раннем творчества Н. В. Гоголя название повести — в отличие от романа «Гетьман» — означало уже принципиально иной подход к взаимосвязи личного и национального: оно включало главное действующее лицо в ряд типических *заглавных* героев национально-исторических романов «Юрий Милославский», «Рославлев», «Петр Иванович Выжигин» (противопоставленных общеизвестным — исторически достоверным — *заглавным* «героям власти»: «Борис Годунов», «Кочубей», «Димитрий Самозванец»,

«Мазепа», «Хмельницкие»). Кроме того, было упомянуто о смерти гетмана — судя по описанию страшной казни в медном быке — Наливайко, предводителя народного антикатолического движения в конце XVI в. А месть за гибель «гетмана и полковников» вдохновляет поход запорожцев на Польшу и отчасти, как показано, — религиозно-освободительную войну, возглавленную гетманом Остраницей, который тоже трагически гибнет вместе со своими полковниками и войсковым чином. Выступления Наливайко и Остраницы, запечатленные в памяти народа, были самыми крупными до Хмельнитчины. Но, хотя все эти исторически достоверные персонажи и события «большой» истории, несомненно, определяют развитие сюжета, в центре гоголевского повествования оказывается не «история гетманов», а жизнь козацкой семьи как основы православного народа.

Мы уже отмечали, что украинское имя Тарас имело значение «бунтовщик, мятежник» и напоминало о гетмане Тарасе Федоро́виче (Трясыло), под руководством которого в 1630 г. была одержана победа над поляками в ночном сражении, оставшемся в памяти народа как «Тарасова ночь». Имя этого легендарного гетмана и фамилию (прозвище) другого Гоголь дал типичному герою своих ранних исторических набросков Тарасу Остранице. А повесть соединила имя бунтовщика Тараса с фамилией/прозвищем Бульба. В украинском и польском языке XVI—XVII веков слово *бульба* и родственное ему литовское bulve (от лат. Bulbus или нем. Bolle — 'клубень, луковица') — с коннотациями 'круглый, плотный, земляной/земной' — обозначало не картофель, вошедший в обиход с XVIII в., а *земляную грушу*[26] (*Словарь Фасмера*, I, 240). Итак, смысл и происхождение имени-прозвища героя соответствуют «составлению» его народа как молодого европейского, соединившего западное и восточное начала, естественного, еще близкого к природе, к земле и так же искренне, по природе своей, религиозного. Заметим, кстати, что, кроме Бульбы и его сыновей, в повести именем и фамилией наделены лишь исторически достоверные персонажи: воевода Адам Кисель и гетман Николай Потоцкий — дворяне, войсковые начальники, но оставлены безымянными «ковенский воевода», его дочь-панночка, ее прислужница татарка, есаул Товкач, запорожцы Долото, Ремень и другие, у которых имя заменено прозвищем, и наконец, мать Остапа и Андрия.

Сам же Тарас — не гетман, но и не обычный козак. «Когда Баторий устроил полки в Малороссии», Бульба «был из числа первых полковников», которых избирали «голосами свободных рыцарей» (*ИР*, 7). После ссоры

[26] В дальнейшем именно семы 'круглый, плотный, земляной/земной' обусловили перенос наименования *бульба* с земляной груши (Helianthus tuberosus) на картофель.

из-за неравного раздела добычи с поляками «он, в собрании всех, сложил с себя достоинство» и затем «из своего же отцовского имения составил довольно значительный отряд...». Теперь уже выбирал он сам, пользуясь «отеческим правом» *помещика*, с одним только есаулом Товкачом из всего полкового чина (потому, видно, Бульба считает «своими» и козаков, и курени полка[27]). Так он стал одним из тех самодеятельных «партизанов», кого не вносили в польский правительственный «реестр», да и сами они к этому не стремились — просто считали себя обязанными при любых обстоятельствах защищать Веру и Отечество «от неверных», вершили суды-расправы по своему разумению, то есть «по справедливости», охотно при случае поддерживали бунт или выступали в поход с запорожцами. Натура Бульбы соединяет азиатское и европейское, земную, «материальную» основательность, оседлость — и вольность, точнее, необузданное своеволие, страшное «упрямство духа».

По-азиатски деспотичный Бульба, которому жена-рабыня дорога лишь как мать его сыновей, своей настоящей семьей считает суровое товарищество вольных «безженных рыцарей» Сечи. Только с ними он чувствует себя на равных, хотя и отделен от них поместьем, и семьей, и всей своей собственностью, что дает ему независимость и власть. Так, для смещения кошевого недовольный Тарас «собрал кое-каких старшин и куренных атаманов и задал им пирушку на всю ночь», вероятно, недешево ему обошедшуюся. Затем, чтобы увидеть Остапа, он отдает Янкелю «2000 червонных», а за освобождение сына в Варшаве пообещает «еще двенадцать». То есть свое родовое наследство, а также законную военную добычу он не прогуливает, по обыкновению запорожцев, хотя, наверное, и может, не задумываясь, пожертвовать для общего дела. У него (и других «лыцарей») уже есть вкус к наживе, к накоплению, к инфернальному золоту, дающему власть над жизнью других и от них отделяющему.

Однако сыновьям Бульба сначала даст книжно-богословское аскетическое образование — для крепости Веры! — и лишь затем увезет в настоящую республиканскую бескорыстную «школу» Сечи, где они должны пройти испытания на достойную жизнь (или смерть) «вольного козака», породненного со степью. Именно о Козаке и Степи идет речь с начала повести. Вот свобода движений и воля — ее у сыновей, по разумению отца, стесняют «поповские подрясники» и «буквари» бурсы; вот — вместо приветствия — равный бой сына с отцом «на кулаки»; вот помянуты «чистое поле да добрый конь» и сабля вместо матери, а следом прозвучит «Запо-

---

27 Примечательно, что во 2-й редакции такие определения были сняты, а состав полкового чина значительно расширен.

рожье... козак» — и отъезд назначен на утро; вот мать «как степная чайка» вьется «над детьми своими...».

Так развивается противопоставление Дома и того, что в нем («бабы, нежбы» и прочих, на взгляд Бульбы, бесполезных, а значит и гибельных, «удобств»), — тому, что «за порогом», где-то на просторе, в Сече. Впрочем, и в самом доме глиняный пол, «на стенах — сабли, нагайки, сетки для птиц, невода и ружья...» (II, 44)[28] — все необходимое для вольной козацкой жизни вне Дома. А светлица для Бульбы не только «освященное убежище» с маленькими окнами-бойницами, «какие встречаются ныне только в старинных церквах», или — по праздникам — место разгульного пира, где вволю пьют «горелку», закусывая «целым бараном» (тоже приметы степи), но и «темница», которую при случае не грех разрушить изнутри, истребив нажитое, или просто отвергнуть: чуть стемнело, лечь спать на дворе под «бараньим тулупом», пока не донесется «со степи... звонкое ржание жеребенка» и не пора будет в «путь великий». Мятежному Тарасу тесно здесь, отчасти потому он и затеял биться «на кулаки» (ср.: схватки в Сече между куренями или в «Страшной мести» — смертельную схватку Данилы с тестем), и мала пирушка: их всего четверо за столом (ср.: двухтысячный козацкий пир на поле брани под Дубно), и зачем ждать еще неделю, чтобы отправить сыновей на Сечу, а сам он «должен разве смотреть за хлебом да за свинарями? Или бабиться с женою?» Забегая вперед, скажем, что, потеряв сыновей, он больше не возвратится в дом, откуда начинался совместный их путь.

Двор усадьбы, «дальний луг» за хутором, а затем «равнина», которая «кажется издали горою и все собою закрыла», — это предвестия простора Степи, напоминающие ее (хотя все не она!), так же как родительский дом, «и детство, и игры», и бурса, и встречи с «чернобровой козачкой» — всего лишь *прошедшее* перед настоящей козацкой жизнью. И готовность ради нее отказаться от *прошедшего* (и от самого себя — *прежнего*) определяет для сыновей Бульбы их будущее соответствие Степи и Сече. На этом пороге юноши оглядываются, как бы прощаясь со своим прошлым. Индивидуальное (и прошлое, что питает и обусловливает личность) должно раствориться в будущем единении, где над земным — родовым, семейным, собственным — преобладает *духовное*, свойственное всем козакам: энтузиазм их природной Веры и мужество ее защиты, вольнолюбие, товарищество, что даны Степью и противопоставляют Козака всему остальному миру. Он герой не только потому, что защищает родину от «трех разнохарактерных наций» — турок, татар и поляков, с которыми кровно связан по происхождению, но и потому, что для защиты Веры и Отечества покидает семью,

---

28 На наш взгляд, эта детализация во 2-й редакции лишь проясняет изначальный замысел.

зачастую разрывает отношения с близкими, бросает повседневные дела, занятия, отвергая удобства мирной жизни. Без этого нет Козака!

Православных степных «лыцарей» многое сближало, но многое и разделяло с европейским католическим рыцарством (эти отличия будет акцентировать 2-я редакция «Тараса Бульбы»). Рыцарь-аристократ, как правило, самоотверженно служил Вере, сеньору и Даме — но индивидуально: больше всего он ценил свою Честь, Вольность и Собственность и неохотно, в крайнем случае, объединялся с другими. Гоголь показывает Козачество как основу народа — «соль» и «цвет» его Православного воинства (во 2-й редакции о Козачестве будет сказано, что «его вышибло из народной груди огниво бед». — II, 44). Подобно монахам, «лыцари» из разных слоев населения по своей воле отказались от семьи, дома, обычных занятий и живут в товариществе по заветам христианского братства, без излишнего, но религиозный аскетизм им чужд, они неудержимы и в битве, и в пиршествах, а служение Вере сочетают с азиатским пренебрежением к женщине. Они еще отчасти варвары, кочевники, близкие природе, и, соответственно, им присущи некоторые языческие черты. Недаром как в повести, так и в статье «Взгляд на составление Малороссии» Козачество уподобляется Адаму («из земли») и древним германцам — этому «первобытному народу», порожденному своей землей, черпавшему в ней силы, героически-вольному, имевшему «только обычаи, которые обыкновенно сильнее самих законов» (*Ар.*, 178—179, 181).

Поэтому не случайно изображение Козака сохраняет у Гоголя архаические черты родоплеменных испытаний, отчасти уже отмеченные исследователями (см., например: *Есаулов*, 43—44), хотя ритуалы посвящения, о которых писатель мог знать (или догадываться) на основании доступных ему немногочисленных устных и письменных источников, по-видимому, были переосмыслены и трансформированы — так же, как «переплавлялись» в горниле его художественной системы фольклорные мотивы. Следы этой переработки, «отголоски» инициации, что мы находим в гоголевской повести, интересно сопоставить с общей схемой родоплеменного посвящения у восточных славян (она уже была кратко охарактеризована выше, на с. 264—265). Весной, когда у древних славян начинался Новый год, юношей, достигших определенного возраста, отправляли в лагерь вне территории племени или рода — в лесу, реже в поле. Сам выход юношей за границу территории приравнивался к смерти, а нахождение в святилище (лагере) — к пребыванию на «том свете». Ритуальным перевозчиком между «этим» и «тем» светом служил конь. Инициация начиналась с физических испытаний: юношам наносили болезненные удары, иногда неглубокие раны, морили голодом, испытывали также их силу, ловкость и выносливость.

Кроме того, их всячески унижали, при этом запрещая смеяться и говорить. Обязательным было посвящение в тайные (мужские, воинские) знания, когда юношам передавали мифы, традиции, обряды, различные магические приемы влияния на окружающий мир... Основными обрядами были временная ритуальная смерть, когда испытуемых поглощало чудовище, и последующее «воскрешение» — освобождение из его чрева (*Пропп*, 149) и перерождение в тотемного зверя, обычно волка (отсюда народные легенды про оборотней-вовкулаков и поверья о волке-демоне). Вероятнее всего, ритуал превращения завершался употреблением наркотических веществ, позволявших неофиту «беседовать» с духами предков, а главное — ощущать в себе дух тотемного предка. После этого молодые воины должны были пожить «волчьей жизнью» вдали от поселений, воюя или занимаясь набегами и грабежами. Отголоски этого во времена Гоголя сохранялись как набеги парубков на селения и отдельные дворы — ритуальные бесчинства, иногда граничившие, что и показано в повести «Майская ночь», с настоящим разбоем.

Хозяином волков или «волчьим богом» в украинских легендах про оборотней в других фольклорных материалах обычно называли св. Юрия (Георгия), именуемого Козаком, который заменил языческого громовержца Перуна и отчасти его змеевидного врага Велеса. Поэтому можно предположить, что Велес был покровителем на первом этапе инициации, пока юношей ритуально проглатывал Змей и происходило их символическое перерождение в волков, а бог-воитель Перун выступал уже как покровитель молодых воинов-«волков», которые главным образом воевали или совершали набеги. И когда члены «волчьего» союза доказывали силу и мужество, они проходили заключительные обряды инициации — возвращение в свою общину и посвящение в ее полноправные члены. Вероятно, последний этап подразумевал и ритуальный переезд на коне с «того света» в мир людей. «Заново рожденные», как правило, обозначали свой новый статус соответствующим изменением облика: наряжались в иную (новую или праздничную) одежду, по-особому стриглись, а также могли получать другое имя (ср., прозвища запорожцев).

Основные события в жизни сыновей Бульбы отчасти напоминают схему инициации:

- «Они были отданы по двенадцатому году в киевскую академию...» — то есть в особое учебное заведение, чтобы постигать «книжную премудрость» в отдалении от дома — в Киеве, священной столице Древней Руси и Православия, которое было принято здесь народом, через книги и грамоту получившим сакральные знания, затем передававшиеся священнослужителями;

• во время учебы «школяры» подвергались унизительным физическим наказаниям, терпели лишения, голодали и т. п.; они не имели права ездить верхом и носили «длинные чубы, за которые мог выдрать их всякий козак, носивший оружие»;

• лет через 10, окончив духовное заведение (Академию/семинарию/бурсу — повествователь намеренно не различает этих наименований: важно, что здесь готовят служителей христианской церкви, чьим «оружием» должны быть любовь к Богу и «ближнему» да Слово Божье), они вернулись в отчий дом — весной и впервые на коне, полные решимости, оставив Дом и отбросив гуманную «премудрость», испытать себя в Сече и на войне;

• для такой поездки их впервые обряжают в новую, козацкую одежду и дают оружие.

Следовательно, в начале повести речь идет не о «козацкой чести» только что выпущенных «бурсаков» (ср.: *Есаулов*, 44). Насмешкой, упреком в несвободе Тарас продолжает испытывать сыновей. И Остап, как подобает старшему сыну, первенцу, отстаивая оскорбленное достоинство свое и брата, идет против всех, не исключая родителя; «Хоть ты мне и батько, а как будешь смеяться, то, ей-Богу, поколочу! <...> За обиду не посмотрю и не уважу никого». Но тем самым он нарушает Пятую заповедь: «Чти отца своего и мать свою...» — несмотря на гибельное следствие: «Кто ударит отца своего или свою мать, того должно предать смерти» (Исх. 21:12, 15)[29].

Воинственную встречу Бульбы с сыновьями, последующий семейный пир и догадки отца, что в Академии сыновьям не давали «и понюхать горелки», а за провинности «кроме суботки, драли... и по середам, и по четвергам», можно сопоставить с эпизодом из повести В. Т. Нарежного «Бурсак» (1824), безусловно известной Гоголю (на ее очевидные связи с «Вием» указывали, начиная с Белинского. — См. с. 432). Когда козацкий полковник встретил сына после учебы в Киевской академии, то «принял в объятия свои... с нежностию и сказал: „Радуюсь, Леонид, той великой перемене, какую в тебе вижу. Об успехах твоих в науках и некоторых искусствах уверяет меня ректор Академии, а в добром поведении, которое и само по себе делает много чести всякому человеку, а в образованном науками оно бесценно, свидетельствует отец Геласий; я обоим верю и радуюсь несказан-

---

[29] Согласно Мышецкому, праздничные кулачные бои были особенно популярны в Сече. Бой Тараса Бульбы и Остапа соответствует «народному *обычаю кулачных состязаний*», ибо «согласно преданию, кулачное состязание является народно-бытовой формой испытания силы, смелости, ловкости и выносливости в борьбе — черт, неизменно присущих типу народного героя»; кроме того, «этот обычай-испытание практиковался в народе при встрече после долгой разлуки товарищей-побратимов, друзей, родных» (*Карпенко*, 107—110; курсив автора).

но...“», — а затем поручил «учредить праздничный обед и пригласить на оный всех начальников и прочих чиновников полка Гетманского от старшего до младшего и познакомить с ними» сына «как будущего сослуживца», да не жалеть «для сего ни кухни... ни погреба...» (*Бурсак*. Ч. 4. С. 37, 39).

Тарас тоже полностью одобрит поведение сына — но после боя, когда испытает силу, напор и умение Остапа: «Добрый будет козак! <...> Вот так колоти всякого, как меня тузил. Никому не спускай!» В отличие от жены он видит сыновей не детьми, а козаками, чья судьба — «поле да добрый конь», и потому затевает пир с «целым бараном», духовитой «горелкой» (для беседы с духами предков?) да напутственным словом будущим козакам[30] — программой, говоря современным языком: «Дай же, Боже, чтоб вы на войне всегда были удачливы! Чтоб бусурменов били, и турков бы били, и татарву били бы; когда и ляхи начнут что против веры нашей чинить, то и ляхов бы били», — при полной поддержке сыновей и готовности их «теперь... расписать всякого... саблями да списами. Вот пусть только попадется татарва» (пока до этого не дошло, «две здоровые девки в красных монистах» привычно бегут, чуть завидев «приехавших паничей, которые не любили спускать никому»), и сам «мятежный» Тарас, все больше распаляясь от боевого задора сыновей, начинает бунтовать против постылого мирного существования в Доме: «На что нам эта хата? к чему нам всё это?..» — и разрушает семейное единство, согласие на пиру.

Дело в том, что Бульба продолжение своего рода хочет видеть отражением своей личности: сыновья — это его физическая и духовная «проекция» в Козацкий мир, — а потому он должен передать им свой опыт Козака. При этом опровергается знание теоретическое, «книжное» («Это всё дрянь... и академия, и все те книжки, буквари и философия...») или женское — пассивное, противоречащее козацкой жизни: «Не слушай, сынку, матери: она — баба. Она ничего не знает <...> А видите вот эту саблю — вот ваша матерь!» В черновике метафора была шире: «...А мушкет видите вы, что у меня висит — вот это ваш батько. А не кто другой...» (см. *Вариант* на с. 229), — то есть Бульба, по мысли автора, «отрекался» от своего отцовства в пользу оружия, символизировавшего не только козацкую, боевую, но и вообще мужскую силу. «Козак с мушкетом» стал гербом Запорожского войска к середине XVI в., и печать с его изображением Стефан Баторий в 1576 г. пожаловал украинскому гетману; в XVII—XVIII веках. «Козака с мушкетом» (обычно красного цвета) помещали как на главных

---

[30] Согласно народным рассказам, «бывшее в чести у запорожцев „бражничество“... всегда сопровождалось обычаем „благословения“ и пожеланий, в которых раскрываются патриотические идеалы...» (*Карпенко*, 111).

полковых знаменах — хоругвях, так и на прапорах, сотенных хоругвях и значках. Последующую замену в беловом тексте мушкета на саблю можно объяснить тем, что хотя мушкет был типичным оружием в то время, но, согласно позднейшим народным представлениям, запечатленным вертепом, Козаку более подобает люлька и/или победительная «шабля», считавшаяся «козацкой матерью» (*Розов*, 105).

Называя жену без имени — «мать», «стара», Тарас свято верит, что не козацкое дело «возиться с бабами», но что «молитва материнская» о сыновьях, обращенная к Божьей Матери — покровительнице Козачества, «и на воде, и на земле спасает». Привычно противопоставляя мужскую преобразовательную земную силу и разум (Адама) плотскому, чувственному, неодухотворенно-земному женскому приятию мира (Евы), Бульба считает последнее ущербным, языческим и попросту дьявольским[31] и в то же время сознает, что слабое женское начало, будучи одухотворено, обретает огромную власть. В повести это Мать, Церковь и Сеча, — хотя мать «жалка, как всякая женщина того удалого века <...> Вся любовь, все чувства, всё, что есть нежного и страстного в женщине, всё обратилось у ней в одно материнское чувство», Покровская церковь[32], где «вся Сечь молилась... и готова была защищать ее до последней капли крови», обходится «без всякого убранства», а Сеча — ее козаки называют Матерью, — оказавшись без защиты своего воинства, будет «взята, разорена татарами...».

В статье о народных малороссийских песнях, созданной практически одновременно с черновой редакцией «Тараса Бульбы», Гоголь говорил о противоречивом единстве мужского и женского начал: в одних песнях «дышит эта широкая воля козацкой жизни. Везде видна та сила, радость, могущество, с какою козак бросает тишину и беспечность жизни домовитой, чтобы вдаться во всю поэзию битв, опасностей и разгульного пиршества с товарищами <...> Остальная половина песней изображает другую половину жизни народа: в них разбросаны черты быта домашнего; здесь во всем совершенная противуположность. Там одни козаки, одна военная, бивачная и суровая жизнь; здесь, напротив, один женский мир, нежный, тоскливый, дышущий любовию. Эти два пола виделись между собою самое короткое время и потом разлучались на целые годы» (*Ар.*, 147—148). То

---

[31] Соотнесение «бабы» с чертом — обычный мотив украинских поверий. Эти представления были обоснованы ролью, которую, согласно Библии, сыграла Ева в грехопадении первых людей, и оправдывали бесправное положение женщины в семье и обществе как «существа низшей породы» (*Булашев*, 146—147).

[32] То есть храм Покрова Пресвятой Богородицы, которая считалась Покровительницей и Заступницей козаков. Связанный с Ее заступничеством за христиан праздник Покрова возник в Византии (см. примеч. 1 на с. 501—502).

есть, с точки зрения Гоголя, подобное единство-различие жизни двух «половин» народа и обеспечивало развитие народного духа.

Таким же противоречивым единством мужского и женского, земного и духовного предстает и семья Бульбы, и даже сочетание его имени и фамилии (прозвища): «мятежный» Тарас — «круглый, плотный, земляной, земной» как бульба — земляная груша (в черновике прозвище Кульбаба — «одуванчик» — грубее, но отчетливее соединяло *земляное/земное* и *женское*). Герой напоминает древнегерманское языческое двуполое божество (Туистона, Тевта, Туисто), рожденное Матерью-Землей и, в свою очередь, породившее первого человека Мана, — о чем говорилось в статье «О движении народов...» (*Ар.*, 178). Это сходство отчасти объясняет и «двадцатипудовый» — 320 кг! — «земной» вес героя[33], и явную «самодостаточность» Бульбы, живущего в *трех* веках, и такие его «звериные», близкие к дьявольским проявления, как «ярость тигра», «гнев вепря» (то есть аномальную для человека жестокость, свирепость), «какой-то исступленно сверкающий взгляд» в сцене убийства Андрия и безмерную, тоже похожую на «звериную», родительскую любовь — дарующую и благословляющую жизнь, но ее же и разрушающую («Я тебя породил, я тебя и убью»), — и преданность Вере и Козачеству, и ненависть к полякам, и архетипические неистовство и строптивость (*Мелетинский*, 25—26, 78).

В данном случае структуру «героя времени» образует не смешение *всяческих* противоречий — как это было у Тараса Остраницы в <Главах исторической повести> (см. выше, с. 313), — а *противоречивое единство* азиатского и европейского, христианского и языческого, индивидуализма и товарищества, личностного и типического, сверхперсонального (даже, как мы заметили, человеческого и природного, животного) — сообразно тем различным «началам», какие, по Гоголю, породили Козачество. Подобное разнородное соединение предполагает и возможность *распада* антитез на означенных «стыках-трещинах», когда у героев остается только «низшее» — земное, безличное, собственническое, животное, а в конце концов дьявольское, — или только «высшее», Божественное. Правда, при этом будет утрачена возможность дальнейшего развития.

«Противоречивое единство? — Это же формула цикла!» — скажет образованный читатель. Выходит, что автор применял эту формулу не только в цикле «Миргород» и — особенно — в сборнике «Арабески», где данный принцип является сюжетообразующим, но и развивая действие, создавая те

---

[33] Ср. «земляную/земную» семантику его прозвища и авторское пояснение: «...был чрезвычайно тяжел и толст» — с истолкованием этого как «художественной гиперболы» (*Карпенко*, 126—127).

или иные образы, как, например, сквозной противоречивый образ Пирабитвы (*Анненкова*, 60—61). Гоголь относит эту формулу к семье, народу, государству, истории — к самому процессу жизни. Так, например, в историческом фрагменте «Жизнь» (1835) даны образы всех средиземноморских древних цивилизаций, которые воплощали *разные* идеи культуры: Египет, Греция, Рим — «...как будто бы царства предстали все на Страшный суд перед кончиною мира» в момент Рождества (*Ар*., 111—112), когда умирающий Древний языческий мир дает начало Новому, Христианскому миру, предвосхищая «конец времен».

Противоречивое единство присуще и богатырскому образу Бульбы, и сообществу его и сыновей, когда обычно противопоставленные молодость и старость, мудрость и задор, разум и чувство, «мятеж» и «стойкость» взаимно дополняют друг друга, а иногда противоположности уравниваются (*Анненкова*, 71). Так, столкновение и поединок Остапа с отцом свидетельствует о духовной их близости, одинаковом взгляде на мир. — Ср. «широко распространенный в эпосе рассказ о бое отца с сыном, не узнающим отца» (Хильдебранда и Хадубранда... Ильи Муромца и Сокольника), где обычно побеждает отец (*Мелетинский*, 45). — И наоборот, Бульбе непонятно поведение младшего сына, который, следуя заповеди, в это время обнимает мать, за что и будет назван «мазунчиком». Однако семейный пир вновь возвращает героям «братскую» христианскую общность, а затем прощание с матерью выявляет сходство и различие их чувства: оба сына «удерживали слезы, боясь отца своего, который, однако же... тоже был несколько смущен, хотя не старался этого показывать». И потом каждый погружается в свои мысли...

Глядя на сыновей, Бульба вспоминает свою козацкую «молодость... протекшие лета» и думает «о том, кого он встретит на Сече из своих прежних сотоварищей... какие уже перемерли, какие живут еще», — о чем обычно думает Козак. Его деятельная, «лыцарская» защита Веры определяет и несколько скептическое отношение к священникам и воинам Христа — монахам. И потому насмешка Бульбы над «поповскими подрясниками» сыновей (затем он сравнит уныло притихших козаков с монахами-«чернецами») могла быть проверкой того, как они воспримут перспективу рукоположения. К его удовлетворению, намек был опровергнут аргументом Силы, кулаком, «рукоприложением». Старший сын не обманул ожиданий, а вот младший насторожил: чувствительностью, недостаточной жестокостью (это «женское», пагубное для воина), означающими склонность к удобствам, «нежбе», «бабам», Дому («цивилизации») — тому, что Бульба отвергает сам и презирает в «чужих», пока у него над чувствами господствуют Вера и разум, не допуская отклонений или сомнения.

По-видимому, повесть о Бульбе и сыновьях его Остапе (Евстафии) и Андрии в какой-то мере опирается на одно из самых известных житий, переведенное еще при христианизации Руси. Это житие великомученика Евстафия, которого обычно изображали римским воином или средневековым рыцарем, держащим на руках двух сыновей (иногда рядом с ним жена, иногда на заднем плане медный бык). Пафос жития — в неколебимой Вере, подвергнутой Богом различным испытаниям, как у Иова. Обращение в христианство Плакиды, знаменитого воеводы царя Траяна, произошло на охоте, когда он увидел белого оленя, между рогов которого сиял образ Спасителя, и услышал глас Божий. Крестившись под именем Евстафия (от греч. eustathēs — 'устойчивый') и окрестив семью, неофит вновь услышал голос свыше, предрекавший ему страдания за Веру. После того как болезнь поразила слуг его и многих домочадцев, Евстафий решил отказаться от своего высокого положения и всего нажитого: они с женой и дети оделись просто, покинули имение, не взяв ничего, кроме необходимого, и стали пробираться туда, где их никто не знал. Испытанием стала долгая разлука. Сначала хозяин корабля, на котором они приплыли в Египет, похитил жену, соблазнившись ее красотой. Затем при переправе через реку отец потерял обоих сыновей: когда он перенес одного и возвращался за другим, лев и волк — каждый на своем берегу — схватили и унесли малышей. После этого Евстафий жил как раб, в неизвестности, скорбя о жене и детях. Во время нашествия варваров его нашли, по приказу Траяна, и призвали для спасения Рима. Он согласился. В походе жена и дети, по Божьему Промыслу оставшиеся невредимыми, оказались в его войске. Сыновья-воины и мать узнали друг друга и пришли к отцу-воеводе. После своей победы Евстафий отказался совершать благодарственные языческие обряды, и его со всей семьей, по велению нового царя-язычника Адриана, пытались отдать на растерзание диким зверям, а потом сожгли в медном быке (118 г.).

Представленные в житии мотивы воинской службы отца и двух его сыновей, испытания его веры, потери сыновей по-своему связаны в гоголевской повести с мотивами религиозного противостояния и мученической смерти за Веру («...гетман, зажаренный в медном быке... лежит еще в Варшаве»). Да и сам сюжет о гибели сыновей и отца влечет многоплановые аллюзии — от античного эпоса (смерть Лаокоона и его сыновей) до фольклора (сказки, былички, легенды про отца и сыновей), от библейского рассказа о жертвоприношении Авраамом своего сына Исаака (Быт. 22: 10) до многочисленных аллюзий на это в житиях, от исторической повести А. Бестужева «Изменник» (1825) — о том, как один из двух братьев перешел на сторону поляков, а потом встретился с братом в смертельном бою (*Вайскопф*, 597), — до народных рассказов и сведений исторической

хроники о судьбе двух сыновей Богдана Хмельницкого: героически погибшего в Молдавии Тимофея (Тимоша) и Юрия (Юрко), который стал после смерти отца гетманом, ориентировался на Польшу и потому прослыл изменником, — или до современной Гоголю, известной тогда всей России полуофициальной легенды о подвиге при Бородине генерала Раевского и двух его юных сыновей. Так образуется смысловой «ореол» текста.

По давнему наблюдению исследователей, имена Остап и Андрий были связаны с историей рода Гоголей-Яновских (*Лазаревский*, 8). Братья в фольклоре антагонистичны: умный и глупый или добрый и злой, — а миф и сказка в большинстве случаев представляют их отношения амбивалентными (*Мелетинский*, 37, 45). Показывая различие характеров братьев-погодков, воспитанных в одинаковых условиях, Гоголь, вероятно, учитывал принцип изображения в пушкинском романе сестер-погодков Татьяны и Ольги Лариных, отношения которых, несмотря на коренное различие характеров, вовсе не конфликтны. Забегая вперед, можно сказать, что в своем противоречивом трагическом единстве судьбы Остапа и Андрия соотносятся как тезис и антитезис козацкой жизни, «мятежного» Тараса и «жестокого века», когда Козачество противостояло иноверческому и «женскому», будучи связано с ними кровно: происхождением, прямым родством.

Естественные козацкие черты Бульбы достаточно рано проявляются в устойчивом, согласно значению имени, характере Остапа (Евстафия): упрямство, «твердость», «прямодушие»; он «считался всегда одним из лучших товарищей <...> и никогда, ни в каком случае не выдавал своих товарищей. Никакие плети и розги не могли заставить его это сделать. Он был суров к другим побуждениям, кроме войны и разгульной пирушки; по крайней мере, никогда почти о другом не думал» — и готов героически противостоять миру. Его искренне трогают «слезы бедной матери, и это одно только его смущало и заставляло задумчиво опустить голову». Вместо его воспоминаний следует рассказ автора про общее прошлое братьев — их первоначальное свободное домашнее воспитание на природе и схоластико-религиозное образование в городе, что «страшно расходилось с образом жизни»: в киевском обществе бурса «составляла совершенно отдельный мир», где вражда «духа», «буквы» и «опыта», телесные наказания и голодная «республиканская» жизнь воспитывали в бурсаках козацкое упрямство, ожесточенность и «предприимчивость, которая после развивалась на Запорожье».

Прошедший ту же школу Андрий — герой «от природы» (греч. andreios — 'мужественный, храбрый' от andros — 'мужчина, муж'), но отличается от брата и отца живыми, развитыми чувствами — быть может, потому что его больше любила мать, — и в своем отношении к миру «неустойчив», скорее принимая его, чем отвергая. Он «учился охотнее и без напряжения...

был более изобретатель... чаще являлся предводителем довольно опасного предприятия и иногда, с помощию изобретательного ума своего, умел увертываться от наказания...» — и хотя тоже, как Остап и другие бурсаки, «кипел жаждою подвига, но, вместе с нею, душа его была доступна и другим чувствам. Потребность любви вспыхнула в нем живо <...> Он тщательно скрывал... эти движения страстной юношеской души, потому что в тогдашний век было стыдно и бесчестно думать козаку о женщине и любви, не отведав битвы», — но, скорее всего, именно он, покидая Дом, вспоминает о «чернобровой козачке» на лугу. Поиски компромисса между чувствами и долгом, между готовностью противостоять всему миру и способностью принять чужое *отделяют* его от брата и сверстников, которым неведомо такое противоречие, и приводят на особый путь.

Все начинается с обособления Андрия «где-нибудь в уединенном закоулке Киева, потопленном в вишневых садах, среди низеньких домиков, заманчиво глядевших на улицу». Справедливо замечено, что история с панночкой происходит «в стороне от общей жизни бурсаков» (*Федоров*, 155). И это «отклонение» свидетельствует о чувственности и мечтательности героя, его склонности к рефлексии, тоске по Дому и семье, о стремлении к жизни частной. А посещение «улицы аристократов... где жили малороссийские и польские дворяне и домы были выстроены с некоторою прихотливостию» может быть истолковано и как пробуждение интереса к богатству и собственности*. Кроме того, Андрий ищет возможность испытать и показать себя не таким, как все, — Героем, и не упускает свой шанс на приключение. Из-за нанесенной возницей обиды он «с безумною смелостию» остановил «колымагу», ухватившись за колесо «мощною рукою своею», но лошади «рванули — и Андрий... шлепнулся на землю, прямо лицом в грязь», и оттуда услышал **над** собой смех, увидел красавицу-солнце и «оторопел. Он глядел на нее совсем потерявшись, рассеянно обтирая с лица своего грязь, которою еще более замазывался». Это поведение юного богатыря, «дурака» из сказки, увидевшего прекрасную дочь царя или воеводы, а грязь здесь символизирует и простое, низкое происхождение героя «от земли», сопоставимого с Антеем, и его земную силу.

Потрясение красотой испытывают, в основном, юные и молодые гоголевские герои — вслед за 20-летним автором, который запечатлел противоречивый «божественно-демонический» образ в письме матери от 24 июля 1829 г.: «...нет, не назову ее... она слишком высока для всякого, не только для меня. Я бы назвал ее ангелом, но это выражение низко и не кстати для нее <...> Это божество, но облеченное слегка в человеческие страсти.

* Отчасти этот мотив будет развит во 2-й редакции повести.

Лицо, которого поразительное блистание в одно мгновение печатлеется в сердце; глаза, быстро пронзающие душу. Но их сияния, жгущего, проходящего сквозь всего, не вынесет ни один из человеков <...> Взглянуть на нее еще раз — вот бывало одно единственное желание, возраставшее сильнее <и> сильнее с невыразимою едкостью тоски <...> Если бы она была женщина, она бы всею силою своих очарований не могла произвесть таких ужасных, невыразимых впечатлений. Это было божество, Им созданное, часть Его же Самого!» (X, 147—148). Контрастные черты этого, несомненно, художественного образа перейдут потом к изображению панночки, какой ее Андрий увидит в Дубно: «...белизна ее была пронзительна, как сверкающая одежда серафима. Гебеновые брови, тонкие, прекрасные, придавали что-то стремительное ее лицу, обдающее священным трепетом сладкой боязни в первый раз взглянувшего на нее <...> это небесное создание <...> взгляд долгий, сокрушительный», — показательна и реакция юноши: «Он... казалось, исчезнул и потерялся <...> Он бросился к ногам ее, приник и глядел в ее могучие очи».

Ведь привлекает и поражает не сама женщина, да и не красота ее, а, по Гоголю, то Божественное, что одушевляет женщину и сияет в ее глазах — «зеркале души», та высшая гармония земного и небесного, что отражается в ее красоте. Именно это неодолимо влечет к ней, обещая герою то, что ему недостает, на что оказалась бедна его жизнь. Именно перед этим он преклоняется. Из-за этого **идеала** пойдет он против всех и против себя тоже и жизнь — бессмысленную без этой красоты и семейного союза — отдаст не задумываясь. Однако сам Гоголь уже знает, что и красота, и ее сияние могут быть призрачными, обманчивыми, дьявольскими...

В статье «Женщина» (1831), которую Гоголь впервые подписал своей фамилией, юный Телеклес после беседы с Платоном признал Алкиною воплощением божественной красоты мира, жизни, самого искусства, красотою порожденного, и «в изумлении, в благоговении повергнулся... к ногам гордой красавицы...» (*Ар.*, 237). В повести «Ночь перед Рождеством» (1832) кузнец Вакула, по его словам, «все бы стоял» перед красавицей Оксаной «и век бы не сводил с нее очей» (I, 209). В отрывке <Фонарь умирал> (1833) герой — бедный немецкий студент, бродивший ночью по Васильевскому острову, — застывает у одного из домов, снизу прильнув к щели в ставне, и «пожирает глазами чудесное видение <...> в чудесно очаровательном, в ослепительно божественном платье...» (*Ар.*, 231). В повести «Вий» бурсак Хома Брут (лат. 'простяк, тупица' — см. с. 394, 482) обмирает при виде красоты панночки, ощущая трепет и робость. Так же ведут себя и герои первых петербургских повестей, создававшихся одновременно с повестями «Миргорода».

Однако Андрий не просто сражен красотой — несмотря на препятствия, он дерзко пробирается к своему «божеству». Зачем? — Любоваться им можно было иначе, без особых хлопот, мстить за женские насмешки — недостойно, да и не в обычае того времени, а для похищения необходимо слишком многое... Ответ будет двойственным. Вероятно, в результате магического воздействия (судя по описанию, это приворот, похищающий часть души) красавица неодолимо влечет Андрия. Кроме того, он обязан прийти, чтобы... *спасти* ее. Дело в том, что описание панночки содержит комплекс редуцированных мотивов, связанных с архетипом царевны в волшебной сказке («царицей» назовет панночку Андрий), а в дальнейшем развитии — с благородной героиней рыцарского романа (или даже Мадонной, как будет во 2-й редакции повести). Обычно герой видит ее высоко вверху: на башне, у окна или на балконе какого-то высокого здания, — где готовая к браку царевна была фактически заточена и строго охранялась, чтобы ее не похитили, причем это заточение «способствовало накоплению магических сил» (*Пропп*, 137—139). Такое положение царевны обусловливалось несколькими табу. В основном ей запрещалось:

• выходить из помещения (темницы) и касаться земли,
• быть освещенной лучами солнца,
• открывать (показывать) свое лицо,
• общаться с кем бы то ни было (или только с посторонними),
• стричь волосы (поэтому они очень длинные),
• употреблять обычную пищу (Там же. С. 132—136).

В данной ситуации сам герой-простяк рассматривался как избавитель, который спасет царевну, похитив ее, — это и есть брачное испытание, соотносимое с инициацией, — чтобы жениться на ней и стать царем. При этом, правда, она сразу или чуть позднее утратит свои магические свойства.

Для католиков св. Андрей олицетворял мужское начало (по семантике имени, о которой мы уже говорили), само Рыцарство и был покровителем брака (Андрей // *Славянские древности*. Т. 1, 109). Такая «индивидуализация» противоречит восприятию Андрея Первозванного в Православии как апостола христианства, проповедовавшего «скифам» Причерноморья, и небесного покровителя России. Однако вечером или ночью накануне Андреева дня многие девушки-христианки гадали, гадают и будут гадать о возможном суженом.

Вернемся к тексту повести. Андрий видит «стоявшую у окна брюнетку (редукция мотива длинных волос, как в повести «Невский проспект». — *В. Д.*), прекрасную, как не знаю что (прозаизация фольклорной формулы «ни в сказке сказать, ни пером описать». — *В. Д.*), черноглазую и белую, как снег, озаренный утренним румянцем солнца» (противоречивое

единство черного и белого, снега, тела и света); «...смех придавал какую-то сверкающую силу ее ослепительной красоте» (мотив лика-солнца, явленного грязному профану, и осмеяния последнего), но при этом нарушен запрет открывать лицо постороннему — так герой узнает про «дочь... ковенского воеводы», которую стережет «куча» дворни «в богатом убранстве». А простяк *обязан спасти* «царевну-невесту» и *жениться* на ней. Поэтому Андрий «чрез трубу камина пробрался прямо в спальню красавицы» (обычный «воздушный» путь романтического героя — ср. «подземный» аналог: ход в крепость), неизбежно вымазавшись, на сей раз в саже, и опять замер, как бы по-женски обомлел при виде панночки.

В сказке грязь или сажа маскировали героя, делая неузнаваемым (*Пропп*, 222), здесь же, наоборот, маркируют «жениха-профана». И красавица, сначала испугавшись, опознает его и потому вновь смеется («смех от души», видимо, связан с мотивом «несмеяны», которая выйдет замуж за рассмешившего ее, но тут для брачного испытания этого явно недостаточно). Более того, обнаружив, что профан «очень хорош собою», она властно берет инициативу в свои руки: «забавляется над ним», травестирует его роль, наряжая невестой («...повесила на губы ему серьги и накинула на него кисейную прозрачную шемизетку...»), — и так подчеркивает чувственное (женское) начало, которое обособило Андрия от всех и привело к ней. Он же, «раскрывши рот и глядя неподвижно в ее ослепительные очи», слепо подчиняется, словно кукла в руках «дитяти», не в силах противостоять ее магическому, завораживающему взгляду и фактически не выдерживает испытания. Затем, перебираясь через забор, он, видимо, из-за происшедшего, был не слишком осторожен — и попал в руки сторожа и дворни, а после того уже не мог здесь появляться.

Поэтому, чтобы еще раз увидеть красавицу, православный бурсак идет в *костел*, где панночка «заметила его и очень приятно усмехнулась, как давнему знакомому» (явное снижение «смеха от души»); потом «он видел ее вскользь еще один раз» (то есть безрезультатно), но вскоре, вероятно, рискнул опять пройти по той же улице и... не обнаружил дворни: воевода уехал, а «вместо прекрасной, обольстительной брюнетки, выглядывало из окон какое-то толстое лицо». Происшедшее показывает Андрия в двойном свете: он чувствителен и поэтому податлив чуждому воздействию, но — вместе с тем — способен ради чувства отказаться от многого, пойти «против течения». Это тоже, хотя искаженное, проявление его героической козацкой натуры, и такая двойственность отчасти может быть объяснена влиянием его польской и татарской крови. Но чтобы понять, что произошло с Андрием потом, надо проследить, как в описании проявляется *противоречивое единство*.

Начало движения героев от Дома в Степь знаменует отчетливая символика разрушения, исчезновения, смерти: «День был серый; зелень сверкала ярко; птицы щебетали как-то вразлад» (дисгармония природы); братья «ехали смутно и удерживали слезы», а «хутор их как будто ушел в землю...» (мотив погребения), «...только стояли на земле две трубы от их скромного домика» (печи с трубами остаются на пожарище); лишь «колесо от телеги», привязанное к шесту над колодцем, «одиноко торчит на небе...» (символы остановившегося движения), а затем всё скрывается — и нет пути назад: «...равнина, которую они проехали, кажется издали горою и всё собою закрыла»[34].

Но в этом дискретном, уходящем за спины героев пространстве есть и детали пейзажа, воспринимаемые братьями как жизнеутверждающие приметы их общего прошлого («...вершины дерев... по сучьям которых они лазили, как белки <...> луг, по которому они могли припомнить всю историю жизни, от лет, когда качались по росистой траве его, до лет, когда поджидали в нем чернобровую козачку...»). А замечание о равнине, вдруг ставшей «горою», показывает, что герои движутся вниз по склону — как выяснится дальше — к Днепру[35]. Тем самым отчасти мотивирована возможность их последующего необыкновенно быстрого перемещения: «...полетим так, чтобы и птица не угналась...»; «...одна только быстрая молния сжимаемой травы показывала бег их». Здесь вынесение вверх точки зрения повествователя, вероятно, обусловлено высотой птичьего полета или высотой неба, куда устремлена козацкая душа, хотя «чем быстрее движение, тем выше выносится в пространственном отношении точка зрения наблюдателя» (*Лотман 1988*, 277—278), но при этом «молния» явно напоминает о Перуне.

В фольклоре полет на коне-помощнике, который ассоциируется с птицей, «отражает... переправу в царство мертвых» (*Пропп*, 293). Такое движение в повести нельзя истолковать однозначно. Ведь козаки возвращаются в естественный мир, где «сердца их встрепенулись, как птицы» (или — в финале повести — спасаются: «... подняли свои нагайки, свистнули, и татарские их кони, отделившись от земли, распластались в воздухе, как змеи, и перелетели через пропасть»), но при этом всадники «пропали

---

[34] Ср. во 2-й редакции: когда, уходя из козацкого лагеря, «Андрий оглянулся, то увидел, что позади его крутою стеной, более, чем в рост человека, вознеслась покатость...» (II, 93).

[35] Пространство этого типа и соответствующая ему скорость передвижения обнаруживаются в финале повести: «Крепость была на возвышенном месте и оканчивалась к реке... страшною, почти наклоненною стремниною... Почти на двадцать сажен вниз шумел Днестр <...> Козаки... бросились бежать во всю прыть <...> только один миг ока остановились, подняли свои нагайки, свистнули, и татарские их кони, отделившись от земли, распластались в воздухе, как змеи, и перелетели через пропасть».

в траве... и черных шапок нельзя было видеть...». И кони их демоничны, недаром Бульба зовет своего коня Чертом (по одному из украинских поверий, лошадь — это превращенный дьявол. — См.: *Булашев*, 401).

Обнаруживается и другой мифологический аспект пути. Это архетипическое противопоставление севера Украины, где находились герои, «благодатному Югу», куда они направляются, — противопоставление, уже запечатленное в «Вечерах...» как антитеза демонически «холодного чиновного Петербурга» и «патриархальной, сказочной Малороссии» (*Мелетинский*, 81). В данном случае антитеза усугубляется такими определяющими для «северного» пространства чертами, как «бледность», дисгармония, разрушение, стагнация. Выявляется и скрытый ранее в тексте главный для Севера признак «холодов»: из-за этого, видимо, Бульба и «любил укрыться потеплее... дома», ночуя весной во дворе под «бараньим тулупом».

По мере движения героев на юг умножаются и усиливаются его благодатные признаки: гармония, изобилие, даже избыток (тепла, света, цвета, звука), цветение, плодоношение, — и все это проявляется в изображении соответствующей целостности и эстетичности естественного пространства. Так, для автора нет ничего «прекраснее и лучше», чем «девственная пустыня» Степи, которая подобна «океану» из множества «диких растений», «миллионов разных цветов». Ее просторы оказываются пронизаны музыкой и светом не только днем («Вся музыка, наполнявшая день, утихала и сменялась другою <...> все это звучно раздавалось среди ночи... и доходило до слуха гармоническим»: на козаков «прямо глядели ночные звезды», которые как бы отражаются в степи, и она казалась «усеянною блестящими искрами светящихся червей»[36]; «Иногда ночное небо в разных местах освещалось дальним заревом... и темная вереница лебедей, летевших на север, вдруг освещалась серебряно-розовым светом...»). При этом целостность и естественность изображаемого также обусловливаются принципом *противоречивого единства*, когда описано происходящее днем, вечером и ночью на земле, в небе и на воде (в «озерах»), а стихии уподоблены друг другу: «Из травы подымалась... чайка и роскошно купалась в синих вол-

[36] В представлении украинцев звезды на небесах всегда были связаны с миром людей: сколько душ на Земле — столько «свечей» звезд Бог зажигает на небе. Это и «грешные души», поставленные Господом отбывать грехи свои на небе, и души праведников. Млечный Путь считался «дорогою из Москвы в Иерусалим» или «дорогою Божией Матери в Иерусалим», «Божией дорогою, по которой ходит Сам Бог, а также ездит на колеснице... св. Илья-пророк»; «дорогою, проведенною по небу и служащею для указания птицам пути» туда, «куда они улетают на зиму»; «дорогою... умерших людей на небо» (*Булашев*, 303—304, 305). Но чаще всего Млечный Путь народ именовал Чумацким шляхом.

нах воздуха»; «...свежий... как морские волны, ветерок едва колыхался по верхушкам травы...» Степь отзывается на каждое движение героев, сама вызывает эти движения — и герои оказываются сродни птицам, чей «полет... подчеркивает безмерность окружающего пространства» (*Гуминский*, 249—250). Таким образом, козаки «соприродны» Степи, Морю и Небу, или, говоря языком некоторых исследователей, «изофункциональны» пространству трех стихий.

Причем одновременно в том же пространстве и даже еще более «изофункциональным» оказывается скачущий татарин с «бесовскими» и животными чертами («Маленькая головка с усами... понюхала воздух, как гончая собака, и, как серна, пропала...»), и этого «беса», по опыту Бульбы, «и не пробуйте; вовеки не поймаете...». Реалистически объяснить эти сравнения помогает книга Боплана, где отмечено, что крымские татары «весьма храбры и проворны на конях, хотя и плохо сидят на оных... конный татарин похож на обезьяну, сидящую на гончей собаке»; воины берут в поход по два коня, и затем, при необходимости, «несясь во весь опор, они перескакивают с усталого коня на заводного и легко избегают преследования неприятелей», а кони их очень выносливы и могут «проскакать без отдыха 20 или 30 миль» (*Боплан*, 43—44).

Для читателя той эпохи степи — «основная природная черта» Малороссии, ее главная особенность: это «бесконечное пространство зелени, произведенной рукою природы украинской для украинских табунов... необозримые луга, где, кажется, никогда не оставляла следов нога человеческая» (*Маркевич*, 123). И поныне для украинца «степь — один из архетипов национального сознания, важнейший компонент национальной модели универсума, с парадигмой степи связаны такие былинные представления украинца... как простор и воля. Одновременно степи постоянно трансформируются в контексте исторических судеб нации: это поле битвы с врагами...» (*Барабаш*, 52).

Поэтически изобразить степь Гоголю посоветовал Пушкин. Как вспоминали Нащокин и Соболевский, некто Шаржинский «очень живо описывал в разговоре степи. Пушкин дал случай Гоголю послушать и внушил ему вставить в Бульбу описание степи» (*Бартенев*, 45). В августе 1834 г. Гоголь написал Максимовичу о С. Д. Шаржинском: «...изъездил всю Русь, охотник страшный до степей и Крыма...» (X, 332). Публикуя письмо, Кулиш к этим словам сделал примечание: «Из его рассказов Гоголь заимствовал много красок для своего „Тараса Бульбы“, например, степные пожары и лебеди, летящие в зареве по темному ночному небу, как красные платки» (*Кулиш*. Т. 1. С. 145). Несомненно, писатель учитывал описание степей в романтической поэзии того времени — в стихотворениях «Аккер-

манские степи» (1826) А. Мицкевича, «Степ» (1830) Н. Маркевича и др. (подробнее об этом см.: *Мацапура*, 235).

Изображая козаков в степи, Гоголь, видимо, придерживался описания отрядов Самуся и Палея в малороссийских летописях конца XVII в., которое цитировал Д. Н. Бантыш-Каменский: «Хотя на широких и пустых степях не имелось ни единой стежки, ни следу, как на море, однако помянутые ватаги, добре знаючи проходы, аки бы по известных дорогах з великим опасением, дабы не были где от татар исследованы, ездили; не имея же себе чрез один и другой месяц огня, единожды в сутки весьма скудной пищи толокна и сухарей толченых кушали, и коням ржати не допуская, будто дикие звери по тернам и камышам крылись и с великим обережением пути своя разно разъезжалися тернами и паки сходилися; познавали же на тех степях дикий путь свой в день по солнцу и кражах высоких земных и по могилах; ночью же по звездах и ветрах и речках; и тако татар высмотревши, нечаянно нападали и малым людом великие их купы разбивали» (*ИМР*. Ч. III. С. 19—20). Этот природный «контекст» Великой Степи придает символическое значение и Бульбе с двумя сыновьями, и самой поездке в «школу» христианского братства Сечи на пространстве Причерноморья, где, по православному преданию, проповедовал «скифам» апостол Андрей Первозванный, и численности всего отряда — **13** человек. Евангельские аллюзии придают героям некое сходство с апостолами, провозвестниками и ревнителями Веры, среди которых изменник, Иуда, — и позволяют усомниться в прочности семейного союза...

Безбрежную Степь как бы продолжает простор Днепра, «где он, дотоле спертый порогами, брал, наконец, свое и шумел, как море, разлившись по воле <...> и волны его стлались по самой земле, не встречая ни утесов, ни возвышений». А расстояние между Степью и островом, «где была тогда Сеча, так часто переменявшая свое жилище» (ибо, в принципе, это точка сопряжения *простора* и *воли*), показано как свободное и очень протяженное пространство, которое козаки преодолевают, спешившись: «...сошли с коней своих, взошли на паром и чрез три часа плавания были уже у берегов острова Хортицы...» И такое, непонятное современным читателям, уподобление «степного / речного» — «морскому» здесь можно принять за гиперболу. Но смысл его, видимо, более широкий, поскольку в дальнейшем повествовании Сечь уже оказывается расположена... в «устье Днепра», куда приплыли — тем же летом! — после малоазиатского набега козаки и где, «неподвижный, сидел... на берегу» Тарас, а «перед ним сверкало и расстилалось Черное море...» — Ср.: в повести Нарежного «Запорожец» козацкая столица была там же — «недалеко от берегов Днепра, где вливаются воды его в Черное море» (*Запорожец*, 138), поэтому сами

запорожцы сразу назывались «черноморцами». И дело здесь не столько в действительном расположении Сечи или в его изменении, сколько в том, что запорожцы из Старой Сечи, разрушенной в 1709 г., и Новой Сечи 1734—1775 годов таким образом сближаются с Черноморским козацким войском, которое князь Г. А. Потемкин образовал из бывших запорожцев в 1787 г., — то есть изображение Сечи сразу же включает и *предел* ее *развития*. Здесь Нарежный фактически приравнивает «Черноморскую Сечь» к Задунайской, где жили запорожцы, бежавшие после разорения Новой Сечи в Турцию, и отчасти сближает защитников России кубанских козаков-«черноморцев» с явными разбойниками. Наряду с этим взглядом существовал более трезвый: что кубанские козаки своей верной службой и подвигами вполне искупили прежнюю вину Сечи. И сентименталист В. В. Измайлов вполне официально объяснял «происхождение Черноморских козаков» тем, что «первоначальное общество их, известное под именем Сечи Запорожской, лишенное своего владычества от измены Мазепы и наконец уничтоженное ЕКАТЕРИНОЮ II, воскресло в то же правление под названием верного Черноморского войска» (*Измайлов*, 12; шрифт изменен автором).

Бытовали и другие мнения о местоположении Сечи. Так, военный инженер Боплан даже не подозревал о возможности существования Сечи на острове Хортице, ибо тот «очень высок, почти со всех сторон окружен утесами, следовательно, без удобных пристаней <...> не подвержен наводнениям и покрыт дубовым лесом», но переводчик счел нужным исправить эту «ошибку» и дополнил: «Там древние Руссы, переплыв благополучно пороги и отразив неприятелей, приносили жертвы; там в начале XVI столетия запорожцы имели Сечь свою, оставили ее, в 1620 году возобновили и вскоре вновь покинули» (*Боплан*, 24—25, 150—151). По словам Карамзина, Сеча была «земляной крепостью ниже Днепровских порогов», которая «служила сперва сборным местом, а после сделалась жилищем холостых Козаков, не имевших никакого промысла, кроме войны и грабежа» (*ИГР*. Т. V. С. 215—216). «История Малой России» это расположение не уточняла: «Сечь, главное укрепленное место, в котором обитали запорожские козаки, было застроено, без всякого порядка, деревянными избами и мазанками. Земляная насыпь, с расставленными на оной в некоторых местах пушками, окружала сие жилище их, разделенное на 38 куреней» (*ИМР*. Ч. 2. С. 61). В романе «Димитрий Самозванец» (1830) Булгарин, используя «Описание Украйны» и польские источники, указывал местоположение и вид Сечи точно: ниже «13 порогов» Днепра — там, где «речка Бузулук... образует два острова. Обширное пространство выше меньшего острова обнесено было вокруг шанцами, батареями и палисадами, которые прикрывались деревьями

и кустарниками. Внутри укрепления построены были мазанки, небольшие домики из тростника, обмазанные внутри и снаружи глиною, с камышовыми крышами; от двадцати до пятидесяти таких хижин, вокруг большого дома, вмещали в себе особую дружину и назывались куренем, под начальством Куренного атамана. Эти курени, числом до тридцати, расположены были отдельно, но без всякого порядка. Посереди Сечи возвышалась небольшая церковь Покрова Пресвятой Богородицы, построенная крестом, сажени две в вышину, с шестью главами. Напротиву четырех сторон церкви стояли открытые колокольни, то есть четыре перекладины на четырех деревянных столбах. Колоколов было множество и разной величины. Вокруг церкви была площадь, а напротив большой длинный дом, в виде сарая. Это было жилище Кошевого атамана и хранилище войсковых сокровищ. Перед куренями находились открытые кухни, несколько камней, между которыми пылал огонь» (*Булгарин 1830*. Ч. II. С. 227).

В сборнике украинских народных песен (1834) М. Максимович вновь привел сведения о Сечи, которые можно считать традиционными: «Сечью называлось укрепление (подобное *острогам* либо *городкам*), где находился главный запорожский табор или *кош*, по имени коего и начальник Сечи назывался *Кошевым атаманом* или просто *Кошевым*. Первая (*старая* или *великая*) Сечь была на днепровском острове Хортице или Хортище...» (*Максимович 1834*, 4; курсив автора; см. также примеч. 8 на с. 452—453).

Мы уже говорили, что наименование запорожцев «изменниками» утратило смысл после русско-турецкой войны 1828—1829 годов, когда войско задунайских запорожцев во главе с кошевым Осипом Гладким перешло на российскую сторону и повернуло оружие против турок. Изменившееся на рубеже 1820—1830-х годов отношение к запорожцам отчасти подтверждается воспеванием Старой Сечи и запорожцев в произведениях М. Максимовича и Н. Маркевича — наряду с традиционной демонизацией запорожцев, которой отчасти следовал в «Вечерах на хуторе близ Диканьки» и Гоголь. Но в повести «Тарас Бульба» (1835) Запорожская Сечь на Хортице уже **едина** с «Черноморской» в устье Днепра, а малоазиатские походы делают Сечь явной наследницей Древней Руси и самой Византии (см. об этом ниже, на с. 383), — и, таким образом, она противостоит «отуреченной» Сечи в устье Дуная. При этом козацкая держава-вольница обрисована историком и художником Гоголем весьма противоречиво.

Хотя в изображении переправы через Днепр на Хортицу отсутствует обычно свойственная гоголевскому повествованию (например, в «Сорочинской ярмарке») символика перехода в «иной мир», дальнейшее описание Сечи имеет особенности, которые можно интерпретировать как черты *цар-*

ства мертвых. Так, например, кузницы, «покрытые дерном и вырытые в земле», и «несколько разбросанных куреней, покрытых дерном» (в черновике яснее: «...покрытые зеленой травой». — *Вариант* на с. 231) напоминают могилы. Здесь царит запустение: «Нигде не видно было забора или... низеньких домиков...» — никто не хранит «небольшой вал и засеку». Зато в Сечи всегда праздник «вольного неба и вечного пира души» (труд — это наказание живых за грехопадение первых людей), и «большая часть гуляла с утра до вечера, если в карманах звучала возможность <...> запорожцы никогда не любили торговаться, а сколько рука вынула из кармана денег, столько и платили» (золото, в народном представлении, маркирует «тот свет»). Еще одна характерная черта *царства мертвых* — забвение прошлого: сыновья Бульбы «скоро позабыли и юность, и бурсу, и дом отцовский, и всё, что тайно волнует еще свежую душу». Напомним, что *царством мертвых* считался военный лагерь, где проходило посвящение и где юноши после своей мнимой смерти должны были забыть о прежней жизни. Вероятно, этим же объясняется и лаконизм опроса приходящих в Сечу: «...во Христа веруешь? <...> И в Троицу Святую веруешь? <...> И в церковь ходишь? <...> А ну перекрестись!» Ведь утвердительно отвечать могли только воцерковленные православные, которые «как будто бы возвращались в свой собственный дом», для них главное — Вера в Жизнь Вечную, поэтому и нет мелочных вопросов «кто они и откуда», обычно предназначенных живым. Итак, чертами *царства мертвых* Гоголь наделяет изображение Сечи как военного лагеря, чьи заросшие травой остатки на островах Днепра в XIX в. напоминали кладбище.

Символика «того света» явственно обозначится в более позднем эпизоде, когда на пароме приплывут козаки «в оборванных свитках... (у них ничего не было, кроме рубашки и трубки)...» (видимо, эвфемизм погребального обряда с «люлькой») и сообщат запорожцам о совершенных поляками злодеяниях. Выходит, что в Сечи, куда постоянно «приходила... гибель народа», не ведают, что происходит «на гетманщине», — очевидное противоречие, которое также может быть понято как характерная черта *царства мертвых.* Сама отделенность «острова Сечи» от «основной» народной жизни степными и водными просторами сближает его с чудесным языческим градом, который окружен непроходимыми степными травами, в распространенной древнерусской «Притче о Вавилоне-граде» или с народной утопией Беловодья (*Вайскопф*, 598—599). Здесь запорожец спит днем на дороге, Бульба пирует «всю ночь» со старшинами, а затем, «загулявшись до последнего разгула», они собирают запорожцев на Раду — скорее всего, на рассвете. Этот вечный праздник **вне** дня и ночи, собирающий на веселье православных воинов, напоминает освещенную мечами языческую

Валгаллу — в древнегерманской мифологии чертог мертвых в небесном дворце Одина, куда попадали погибшие в бою воины и где они пировали, веселились, охотились, упражнялись и соревновались во владении оружием (Гоголь упоминал о Валгалле в статье «О движении народов...» — см.: *Ар*., 179).

Изображаемая таким образом вольная, буйная, разгульная жизнь в Сечи явно противопоставлена жизни мужского монастыря, где напоминающий смерть уход монаха из обычного мира не исключает единоначалия, послушания и труда. Поэтому, как дальше увидит читатель, козаки действительно «всё умели», собираясь в поход и во время его, хотя Сечь умела «только гулять да палить из ружей». В недавнем прошлом, пытаясь разрешить это противоречие, советские исследователи ничтоже сумняшеся исправляли «неточности», якобы допущенные Гоголем: они восстанавливали «трудовые традиции» Сечи, «трудовой стаж» козаков и упорно «реабилитировали» запорожцев (см., например: *Карпенко*, 56—59). Но, согласно 1-й редакции повести, жить в Сечи чем-то, кроме гульбы, позволяли себе немногие козаки: «Некоторые занимались ремеслами, иные держали лавочки и торговли; но большая часть гуляла с утра до вечера...». Вместе с тем Сечь — в отличие от киевской Академии — показана и настоящей «духовной школой», хотя в ней «не было никакого теоретического изучения или каких-нибудь общих правил; все юношество воспитывалось и образовывалось в ней одним опытом, в самом пылу битвы, которые оттого были почти беспрерывны. Промежутки же между ними козаки почитали скучным занимать изучением какой-нибудь дисциплины».

Гоголевское описание Сечи действительно начинается с железного, «оружейного» (а не колокольного), рабочего перезвона «кузнецких молотов» — но в предместье, где кожевники мнут кожи, торговцы сидят с товаром и где, по традиции вертепного театра, каждый характерный персонаж занят свойственным ему делом: татарин готовит баранину, «жид» наливает на продажу «горелку»... «Армянин развесил дорогие платки», но для кого они предназначены, если «даже в предместье Сечи не смела показаться ни одна женщина», ведь разгульным «лыцарям» и в голову не придет покупать такой подарок «впрок»... Скорее всего, здесь «отголосок» вертепа, вертепный образ, которым автор иллюстрирует многонациональность Сечи, причем в черновике этой фразы не было. Скрытый смысл ее и в том, что часть запорожцев жила с женами или подругами на близлежащих хуторах, иногда даже в предместьях Сечи, обзаведясь соответствующим хозяйством, как это описано у В. Нарежного и Ф. Булгарина.

Первым же на глаза героям попадается пьяный «запорожец, спавший на самой средине дороги, раскинув руки и ноги», — тоже типичный для верте-

па образ-эмблема (*Розов*, 111). Его картинная театральность подтверждена реакцией Бульбы как зрителя, который никак «не мог не остановиться и не полюбоваться...

— Эх, как важно развернулся! Фу ты, какая пышная фигура!..» — и далее картина: «...запорожец, как лев, растянулся на дороге. Закинутый гордо чуб его захватывал на пол-аршина земли. Шаровары алого дорогого сукна были запачканы дегтем, для показания полного к ним презрения». Все это напоминает о спящем змее-страже, охраняющем языческий Вавилон (позднее в сказках аналогом змея стал лев. — *Пропп*, 343), а довершает сходство изображение козацкого чуба-змея (*Вайскопф*, 599). Значимо здесь и явное сочетание языческих черт воителя Перуна и змееподобного Велеса. Напомним, что в христианстве змей — символ дьявола, а царственный Лев, обычно воплощающий силу и мощь Иисуса Христа, — символ Воскресения (было поверье, что львята рождаются мертвыми, а жизнь в них вдыхают родители) и также символизирует духовную бдительность и крепость часового, неусыпно охраняющего устои Церкви, поскольку, согласно другому поверью, лев спит с открытыми глазами. Вместе с тем в традиции христианских поучений языческому пьяному сну противополагается трезвое бодрствование, но при этом свирепый, алчущий лев символизирует адские силы: «Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш диавол ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить...» (1 Пет. 5:8).

Далее в повести «львами» (а фактически «орлами», актуализируя темы *вольности* и *силы*) будут названы все запорожцы: «Так вот Сеча! Вот то гнездо, откуда вылетают все те гордые и крепкие, как львы!» А когда Остап обретет «опытность в военном деле», о герое будет сказано, что «все качества его... получили размер шире и казались качествами мощного льва». О дьяволе-змее напомнит подземный ход, откуда незаметно проникла в козацкий лагерь татарка и куда в «небольшое отверстие» под телегой затем «пополз» Андрий, а также сама сцена его соблазнения и «грехопадения». Затем будет сцена, когда Бульба неистово преследует польский отряд Андрия, как «разгневанный вепрь», — при этом его «чуб, как змея, раскидывался по воздуху», и бегущие начали «думать, что они имеют дело с самим дьяволом».

Итак, образ спящего «льва» можно понимать как образ могучего воина-стража (часового) христианства, кто после языческих жертв (Бахусу) беспечно спит среди бела дня, пренебрегая одеждой, удобством и опасностью (ср. эпизод во 2-й редакции, когда запорожцы напились и проспали нападение врага), и потому обретает не христианские, демонические черты. Мотив мертвого («духовного») сна есть в начале повести: «...прежде всего заснул сторож, потому что более всех напился для приезда паничей», — и повто-

ряется в эпизоде, когда Андрий ведет по лагерю татарку: «К счастию его, запорожцы, по обыкновенной своей беспечности, все спали мертвецки <...> Боже, какое счастие! даже зоркий сторож, стоявший на самом опасном посте, спал, склонившись на ружье»; затем, сделав грозное предупреждение сыну, засыпает и сам Бульба[37].

Сон на дороге также свидетельствует о мертвецком опьянении, ибо, по наблюдениям народа, актуальным и поныне, пьяный в бессознательном состоянии не может сойти с дороги. Следует добавить, что дорога, в представлении восточных славян, соотносится с жизненным путем, в конце которого «тот свет», а также с путем души в загробный мир. На дороге (и на меже) нельзя спать или сидеть, чтобы не быть задавленным нечистой силой: это мифологически «нечистое» место, общее для людей и нечистой силы, символически разделено на правую половину — для людей и левую — для потусторонних существ и зверей (Дорога // *Славянские древности*. Т. 2. С. 124, 128). Таким образом, спящие или просто лежащие посреди дороги запорожцы как бы прерывают свой жизненный путь, одновременно демонстрируя и презрение к нечистой силе, и родство с ней, что соответствует представлениям украинцев о бесовской природе «горелки» и пьянства (см.: *Булашев*, 342—346).

В повести такое опьянение мотивируется гульбой, которой посвящают «всё время» козаки: она «признак широкого размета душевной воли» и — как сама Сеча — «беспрерывное пиршество, бал... потерявший конец свой» в «бешеном разгулье веселости», но вместе с тем, предупреждает автор, и не «какой-нибудь пьяный кабак...». Здесь «горелку» считают посредником для веселья в кругу таких же «лыцарей» и для возможного общения с потусторонним миром, с духами предков, ибо она хоть и валит с ног, зато — пусть на время! — освобождает душу от оков материального, как «люлька», ибо, происходя от земли, «горелка» и табак имеют двуединую, Божественную и дьявольскую природу. Так, дома Тарас требует на стол «чистой горелки, настоящей... чтобы шипела, как бес!» — тогда как «перед великим часом» на поле битвы она должна поддержать «веселье», воинский дух: «...чтобы как эта горелка играет и шибает пузырями, так бы и мы шли на смерть». Верный товарищ «люлька», из-за которой потом, как всем памятно, героя схватят поляки, поднимает настроение, сокращает дорогу

---

[37] Ср. в «Пропавшей грамоте» (1831): мотив «ярмарочного» сна персонажей на земле и на дороге поначалу откровенно физиологичен и лишен каких бы то ни было коннотаций: «Возле коровы лежал гуляка парубок с покрасневшим, как снегирь, носом; подале храпела, сидя, перекупка... под телегою лежал цыган... на самой дороге раскинул ноги бородач москаль с поясами и рукавицами... ну, всякого сброду, как водится по ярмаркам» (отмечено: *Гуковский*, 63). Однако затем запорожец предлагает товарищам бодрствовать с ним, чтобы его не унес нечистый.

(«Все думки к нечистому! Берите в зубы люльки да закурим, да пришпорим коней, да полетим...») и сопровождает козака в последний путь[38].

По-видимому, с *царством мертвых* связан и образ «лежащего(-их) на земле». — Ср. призыв Тараса: «...всем, как верным лыцарям, как братьям родным, лечь вместе на поле и оставить по себе славу навеки...». Близкое по смыслу высказывание есть в «Легенде о Монтрозе» В. Скотта (1819). Аллан Мак-Олей, диковатый, огромной силы, иногда, в помрачении ума, кровожадный, склонный к мистике и пророчеству воин, отвечает брату — усомнившемуся, хватит ли места для ночлега множества гостей, — что нынешние представители шотландских кланов ничем не хуже предков: «Раскупорьте бочку водки — и пусть земля будет их постелею, плащи их одеялом, а твердь небесная занавесом», — и предрекает, что многие из них «будут лежать сегодня на земле, но когда зимний ветер станет свирепствовать, тогда и они — в свою очередь — будут ею покрыты — и не почувствуют более холоду!» (Выслужившийся офицер, или Война Монтроза, исторический роман. Соч. Валтера Скотта, Автора Шотландских пуритан, Роб Роя, Эдимбургской темницы и проч. М., 1824. Ч. I. С. 231—232).

После спящего «льва» путники встречают уже в самой Сече своеобразную заставу из «нескольких дюжих запорожцев, лежавших с трубками в зубах на самой дороге...», а затем среди примет Сечи упомянута «бешеная веселость <...> собравшейся толпы, лежавшей на земле...». Это напоминает древнегреческий миф о великане Антее, сыне бога морей Посейдона и богини земли Геры: он был непобедим и «соприроден» стихиям, пока касался матери-земли (коррелят «адамического начала»). Безделье и лень также присущи фольклорным богатырям — это оборотная сторона их героичности. И древние германцы «были беспечны, бездейственны в домашней жизни и представляли совершенную противуположность беспокойному быту воинскому. Они были бесчувственно-ленивы и лежали в своих хижинах, не трогаясь с места <...> Но более всего можно было видеть древнего германца в его пиршествах <...> В этих-то пиршествах созревали все их предприятия. Тут они задумывали свои смелые и дерзкие дела... Они были стремительны, азартны и как только были разбужены, потрясены и выходили из своего хладнокровного положения, то уже не знали пределов своему стремлению» (*Ар.*, 181).

---

[38] В большинстве украинских легенд курение изображено как выдумка дьявола и чертей, правда, в некоторых преданиях оно оценивалось положительно или нейтрально: «От курения ни греха, ни спасения» (*Булашев*, 379—392). Однако козацкой «люльке» неизменно придавалось сакральное значение (см. об этом ниже, с. 380).

У Гоголя одно не исключает другого: наряду с лежащими изображены и собравшиеся «в небольшие кучи», и сидящие, и танцующие, и пьющие и непьющие запорожцы. Но вот музыка постепенно увлекла всех, и затем «вся толпа отдирала танец, самый вольный, самый бешеный, какой только видел когда-либо мир...» — конечно, это «козачок». В черновой редакции тут же говорилось о том, что поднимает человека над землей: «Только в одной музыке есть воля человеку. Он в оковах везде, он сам себе кует еще тягостнейшие оковы, нежели налагает на него общество и власть везде, где только коснулся жизни. Он — раб, но он волен только потерявшись в бешеном танце, где душа его не боится тела и возносится вольными прыжками, готовая завеселиться на вечность» (см.: *Вариант* на с. 231—232). Это романтические представления о «земном», «первородном» рабстве и поднимающих над земной жизнью «музыке души» и танце. «Пир души», то есть свобода воли в отчаянной «гульбе», поддерживает в Сечи равновесие между «земным» и «небесным», жизнью и смертью, **невозможное** в обычной жизни, как равенство собственников, подобных Бульбе, и «беззаботных бездомовников», которые «никогда не любили торговаться», но «как только... не ставало денег, то удалые разбивали... лавочки и брали всегда даром».

Гоголевской «утопии Сечи» соответствует простор ее «идеального» пространства, которое не имеет преград, кроме необходимых атрибутов военного лагеря — «небольшого вала и засеки» (однако «не хранимых решительно никем»), — и «нигде не видно было забора или... низеньких домиков...» Здесь все широко и привольно: «На пространстве пяти верст были разбросаны толпы народа»; «...обширная площадь, где обыкновенно собиралась Рада <...> покрылась приседающими запорожцами»; под ногами танцующих «земля глухо гудела на всю округу...»; «Крики и песни, какие только могли прийти в голову человеку в разгульном веселье, раздавались свободно». Это особое пространство, где каждый православный мог осуществить *свободу воли* и потому «позабывал и бросал все, что дотоле его занимало... плевал на всё прошедшее и с жаром фанатика предавался воле и товариществу таких же, как сам, не имевших ни родных, ни угла, ни семейства, кроме вольного неба и вечного пира души своей». Так образуется **религиозное единство** запорожцев — молодых и старых, уже смотревших в глаза смерти и не знающих жизни безграмотных «бурсаков, которые не вынесли академических лоз», образованных людей и темных крестьян, бессребреников и охочих до наживы, «опытных партизанов» и офицеров, даже «из польских войск» (бывших католиков); «впрочем, из какой нации здесь не было народа?»

С точки зрения повествователя — историка и художника — все обозначенные различия служат единству «безженных рыцарей» Сечи, от-

дающих жизнь борьбе за Веру[39], и это делает почти неразличимыми отдельные лица и противоречия между ними. Так, сообщается, что Бульба «встретил множество знакомых» и вспоминал с ними о других козаках[40], а конкретное описание тех и других «подменяют» типичные запорожские прозвища: Печерица, Козолуп, Долото, Застежка, Ремень, Бородавка, Колопер, Пидсыток, — которые из-за грубых «физических» (и физиологических!) ассоциаций расходятся с «духовным» именем Тараса. Так, Печерица — гриб, шампиньон; перенос. — какой-то низкий и толстый пожилой человек; Долото — ср. в черновой редакции прозвище Долбешка у есаула, который в бою «похож был на... хладнокровную машину»; Колопер (от коло — круг, колесо) — носящийся (движущийся) по кругу; перенос. — вероятно, непоседливый, не могущий устоять на месте; Пидсыток — редкое, негустое сито; перенос. — скорее всего, рябой; Козолуп — тот, кто обдирает козьи шкуры, или бьет (лупит) коз, или занимается скотоложством. — Ср. обвинения св. Петра тем, кто «по воле языческой» предавались «нечистотам, похотям (мужеложству, скотоложству, помыслам), пьянству, излишеству в пище и питии...» (1 Пет. 4:3). — Видимо, не случайно появилось в этом ряду имя Касьян (лат. 'пустой'): так называли профессиональных косарей, но имя это, в представлении народа, принадлежало «неправедному», «немилостивому» святому, в чей день — 29 февраля високосного года — старались не выходить из дома. Имя же Бородавка (Бродавка) историческое: его носил один из гетманов (*Летопись*, 12; *ИМР*. Ч. I. С. 184). Однако в разговоре Бульбы с козаками имена всех, кто жив и кто погиб, уравниваются, потому что «витязи» Сечи — как «тесный круг школьных товарищей <...> Разница та, что вместо насильной воли, соединившей их в школе, они сами собою кинули отцов и матерей и бежали из родительских домов своих», оставили свои занятия ради христианского долга, Отчизны, товарищества. Просто **других** защитников христианства, кроме этих, безудержных в бою и гульбе, свирепых степных «хищников», образовавших «странную республику» Сечи, у Европы в то время **не было**.

Размышляя о героическом прошлом и причинах падения этой «истинной республики», В. В. Измайлов элегически вспоминал как хорошее, так

[39] В стихотворениях «Сон-трава», «Приметы смерти», «Платки на козачьих крестах», «Поминальный день» из книги Маркевича «Украинские мелодии» козаки были тоже изображены давно умершими. Сам же обычай завязывать платки на крестах восходит к преданию, что, при грядущем воскресении из мертвых, этими платками будут утирать слезы козаков.

[40] Ср. «прообраз» этой сцены в повести «Заколдованное место» (1832) — когда дед (козак) встречается с чумаками, которые зовут его Максимом, а он их — по именам и прозвищам: Болячка, Крутотрыщенко, Печерыця, Ковелек, Стецько.

и плохое: «Их (запорожцев. — *В. Д.*) общество было подобно всем тем обществам, которые в младенчестве народов являлись одни за другими на театре мира, с тою разницею, что случай был благоприятен для одних и не был для других. Из шалашей бедных рыбаков возникла Венецианская Республика. Из вертепа разбойников... вышли победители мира.

Запорожская Сечь угасла. Она была в основании своем истинная Республика. Наследственные титла и почести у них не существовали; любовь, доверенность и выбор подавали право на приобретение власти, и Кошевой Атаман, верховный начальник Сечи, получал ее от согласия всего общества. Образ жизни главного Атамана, его одежда, его дом не отличались ничем от других его сотоварищей. Одно поручение власти должно было служить знаком отличия; всеобщая доверенность украшением; любовь народная наградою. Естьли общество было довольно своим Атаманом, то он оставался еще на год в должности Начальника <...>

Советы их, под именем Рады, были самые торжественные и примечательные. Все Запорожцы собирались на открытом поле, чтобы судить единогласно о внутренних и внешних делах своих, придумывать лучшие средства и трудиться общим умом над решением важных вопросов о благосостоянии общества <...> Таким образом, все возрасты жизни и все состояния людей менялись взаимно выгодами природы, преимуществами общества и способностями разума.

Вы видели, может быть, лучшую сторону их; взгляните и на дурную. Сие народное правление было нередко источником пагубного безначалия, междоусобных браней и тысячи зол, конечно, неизбежных в сем роде правления, когда Греки и Римляне не избежали их. Пристрастие, наглость и заговоры обуревали в последствии времени заседания Совета, столь благородного в своем начале, столь священного в глазах мудреца и столь достойного человеческого сана. Вместо рассуждения, вместо позволительного прения царствовали брань и ссора, и ратоборцы ума делались бойцами народных площадей. Прибавьте к этому, что во время Начальника, нелюбимого в Сечи, они предавались таким неистовствам, что никакая власть не могла восстановить порядок.

Запорожцы, подобно Мальтийским Кавалерам, не имели жен, жили всегда на военной ноге в 38 куренях[41], составляющих их Сечь, и исповедовали, от самого своего начала, Греческую веру. Все беглецы, из какого бы народа они ни были, приставали к сим рыцарям, которые, думая мало о нравственности, принимали охотно людей всякого поведения. Набеги их

[41] Курень состоял из нескольких домов, вместе построенных и подчиненных одному куренному Атаману (Примеч. автора. — *В. Д.*).

были самые страшные. Одно имя Запорожской Сечи приводит в трепет тех, которые были жертвами их варварства.

Запрещение супружеского брака было, может быть, главною причиною падения Запорожской Сечи. Устав, противоречащий уставам Природы, не может долго существовать в человечестве и должен рано или поздно ускорить разрушение того общества, которое его приняло...» (*Измайлов*, 13—14, 16—21).

Подобные сведения об устройстве Сечи, о некоторых обычаях запорожцев Гоголь потом использовал во 2-й редакции «Тараса Бульбы» (см., например: *ИМР*. Ч. 2. С. 61—68). Но, создавая в 1-й редакции **миф** о Сече, он оставил в стороне и такие известные факты... впрочем, так «подправляли» историю и Бантыш-Каменский, и Максимович, да и сам Пушкин... Это не значит, что 2-я редакция повести «немифологична», — просто в ней черты царства мертвых (Валгаллы) стали составлять второй план описания битвы с поляками (см. об этом: *Вайскопф*, 599—600), а лишенное этих черт изображение «республики Сечи» нуждалось в дополнительных исторических подробностях.

Вместе с тем Гоголь переосмысливал и достоверные сведения из исторических источников — такие, как описанные Бопланом потайные хранилища запорожцев и место строительства челнов: «Несколько ниже реки Чертомлыка, почти на средине Днепра, находится довольно большой остров с древними развалинами, окруженный со всех сторон более нежели 10,000 островов, которые разбросаны неправильно, беспорядочно, почву имеют иные сухую, другие болотистую, все заросли камышом, возвышающимся подобно пикам и закрывающим протоки между островами. Сии-то многочисленные острова служат притином для казаков, которые называют их Войсковою Скарбницею, т. е. казною. Все они, исключая развалин, потопляются весенним половодием <...> Там никакие силы турков не могут вредить казакам <...> Они скрывают под водою не только пушки, отбиваемые у турков, но и деньги, которые берут только в случае необходимости. Каждый казак имеет на островах свой тайный уголок. Возвратясь с поисков над турками, они делят в Скарбнице добычу и все, что ни получают, скрывают под водою, исключая вещей, повреждаемых оною <...> В Войсковой Скарбнице казаки строят также челны свои, на которых разгуливают по Черному морю...» (*Боплан*, 26—27). — Гоголь помещает челны на берега Хортицы, а «скарбницу» — «на противуположном утесистом берегу Днепра, где в неприступном тайнике» скрыта «часть приобретенных орудий и добыча», — как бы «подправляя» Боплана: добыча общая, и ни один запорожец от своих товарищей ничего не прячет, тем более в воду.



Портрет В. А. Гоголя-Яновского.

Неизвестный художник.
Начало 1820-х годов.



Портрет
М. И. Гоголь-Яновской.

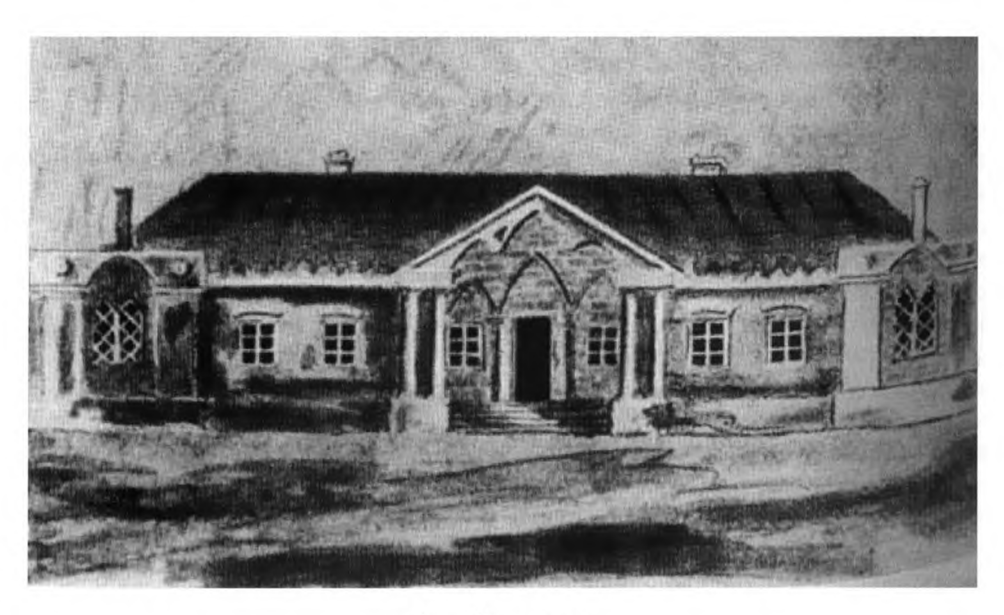
Неизвестный художник.
1810-е годы.



Крест на могиле родителей Гоголя
в с. Гоголево Шишацкого района
Полтавской области.



Дом-музей в с. Гоголево.
Современная фотография.



Дом в Васильевке.
Акварель Н. Гоголя.



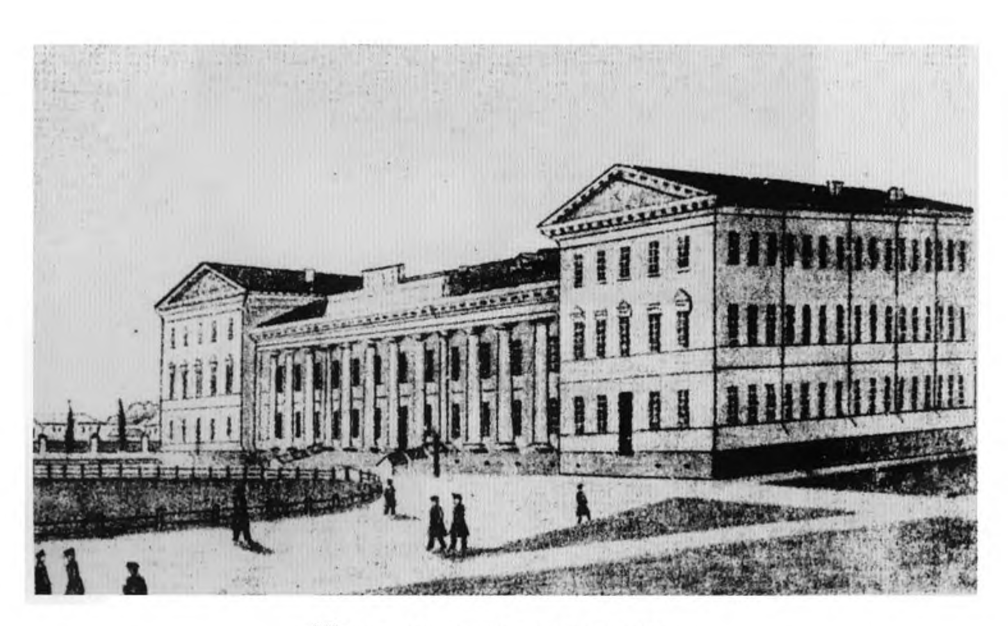
Директор Нежинской гимназии
И. С. Орлай.

Фрагмент портрета неизвестного художника. 1820-е годы.



Гоголь-гимназист.

Гравюра на дереве неизвестного художника. 1827.



Нежинская гимназия высших наук.

Акварель О. Визеля 1830-х годов.



А. С. Пушкин.
Портрет работы К. Горюнова. 1835.



Портрет В. Г. Белинского.
Акварель Н. Мартынова. 1838.



Портрет О. И. Сенковского.
Акварель П. Соколова. Начало 1830-х годов.



Н. Я. Прокопович.
Дагерротип 1840-х годов.



Портрет И. П. Котляревского.

Неизвестный художник.
Начало XIX в.



В. Т. Нарежный.

Гравюра Ф. Алексеева с портрета работы неизвестного художника. 1844.



И. И. Срезневский.

Литография по рисунку Н. Ванифатьева. 1854.



М. А. Максимович.

Портрет работы неизвестного художника. 1830-е годы.



Г. де Боплан. «Украина — страна Козаков».

Фрагмент карты XVII в.

Крымские татары.
Европейская гравюра XVII в.





Турецкий воин.
Гравюра И. Аммана. XVII в.



Н. М. Карамзин.

Портрет работы В. Тропинина. 1818.



И. И. Дмитриев.

Портрет работы В. Тропинина. 1835.



Д. Н. Бантыш-Каменский.

Акварель неизвестного художника 1830-х годов.



Портрет В. В. Капниста.

Гравюра А. Осипова. Начало 1810-х годов.



Коронационный портрет Императора Николая I.

Гравюра с портрета Дж. Доу. 1826.



Коронационный портрет Императрицы Александры Федоровны.
Гравюра с портрета Дж. Доу. 1826.



Д. П. Трощинский.

Фрагмент портрета работы
В. Боровиковского. 1819.



Портрет В. П. Кочубея.

Литография 1860-х годов П. Бореля
с портрета Дж. Доу.



Портрет графа С. С. Уварова.

Литография А. Маурина 1830-х годов.



Граф А. Х. Бенкендорф с женой.

Рисунок Ел. Риджиби. 1840.

Портрет Н. К. Загряжской.
Акварель П. Соколова. 1821.





Епископ Белорусский
Преосвященный Г. Конисский.





Малороссийские крестьянки.



Малороссийский крестьянин.



Малороссийский козак.



Козацкий сотник.



Малороссийский дворянин.



Польский шляхтич.



Малороссийская дворянка
с корабликом на голове.
Рисунок А. Ригельмана.



Король Стефан Баторий.

Гравюра с портрета работы В. Стефановского. 1576.



Сигизмунд III.

Польская гравюра конца XVI в.



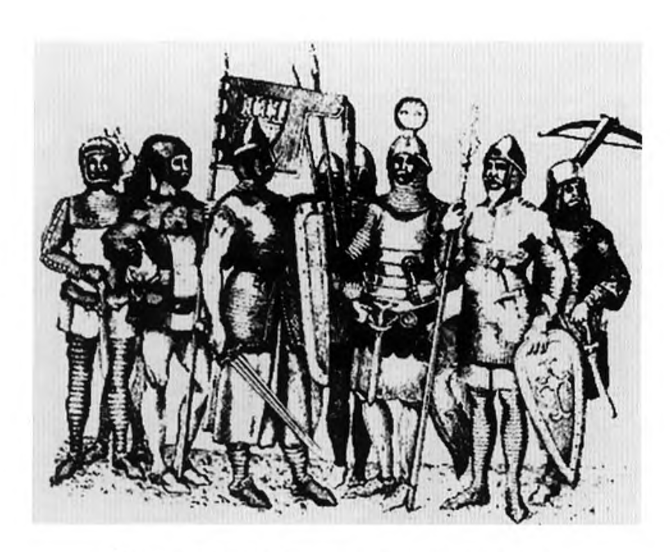
Владислав IV Ваза, польский король.

Гравюра В. Гондиуса с портрета П. Рубенса. Начало 1640-х годов.



Ян II Казимир.

Фрагмент портрета работы Д. Шульца. 1650.



Амуниция и вооружение польских воинов.
Европейская гравюра XVII в.



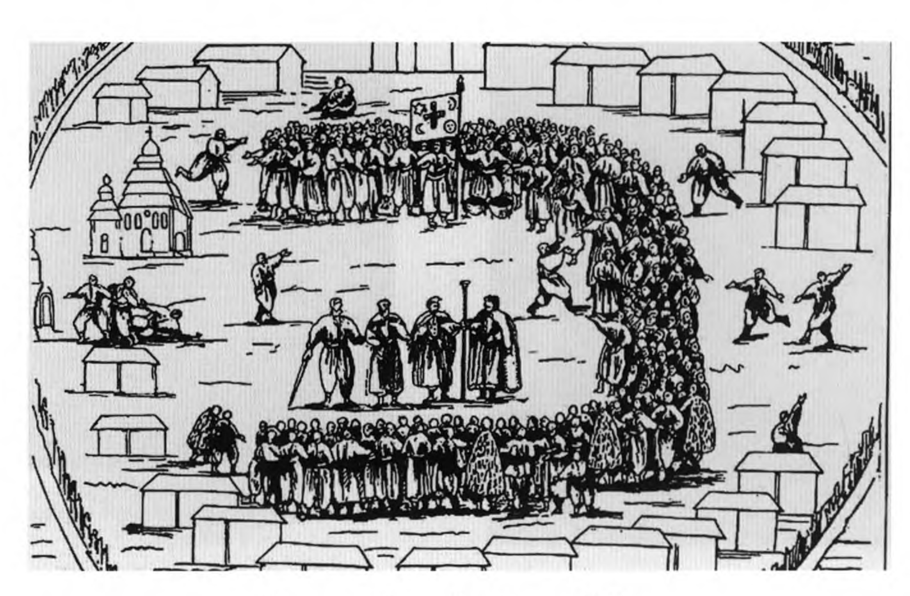
Адам Кисель, воевода Киевский.
Гравюра с парадного портрета начала 1650-х годов.



Великий коронный гетман Миколай Потоцкий.
Портрет работы В. Герсона (в кн.: Гетманы польские коронные и Великого княжества Литовского: Альбом. Варшава, 1860—1866).



Запорожские козаки.
Гравюра XVIII в. (по изд. А. Ригельмана).



Козацкая Рада в Запорожской Сечи
(по изд. А. Ригельмана).



Портрет Д. Апостола

(по изд.: Лушев А. М. Петр I Великий и его деятели. Исторический альбом: Юбилей 1672—1872. СПб., 1872).



Иван Подкова.

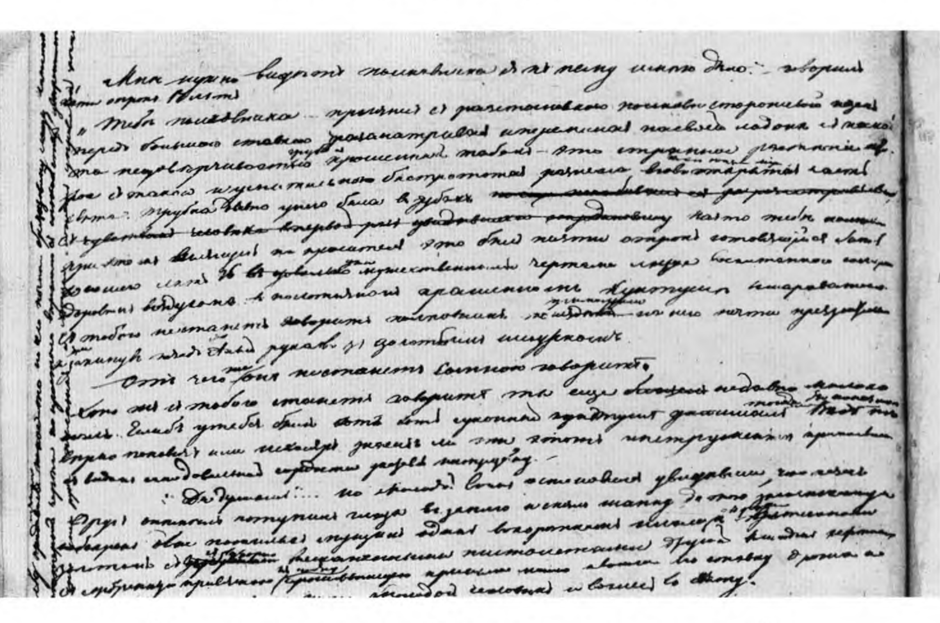
Рисунок неизвестного художника. Из польского альбома начала XVII в.



Петр Конашевич Сагайдачный — гетман Войска Запорожского.

Гравюра начала XVII в.

Рукописный фрагмент <„Мне нужно к полковнику“>
(РО РНБ. Фонд 199. Ед. хр. 1. Л. 6).



Рукописный фрагмент <„Мне нужно видеть полковника“>
(Там же. Л. 6 об.).

ВЕЧЕРА

НА ХУТОРѢ

БЛИЗЪ ДИКАНЬКИ.

ПОВѢСТИ,

Изданные

Пасичникомъ Рудымъ Панькомъ.

Первая книжка.

САНКТПЕТЕРБУРГЪ.

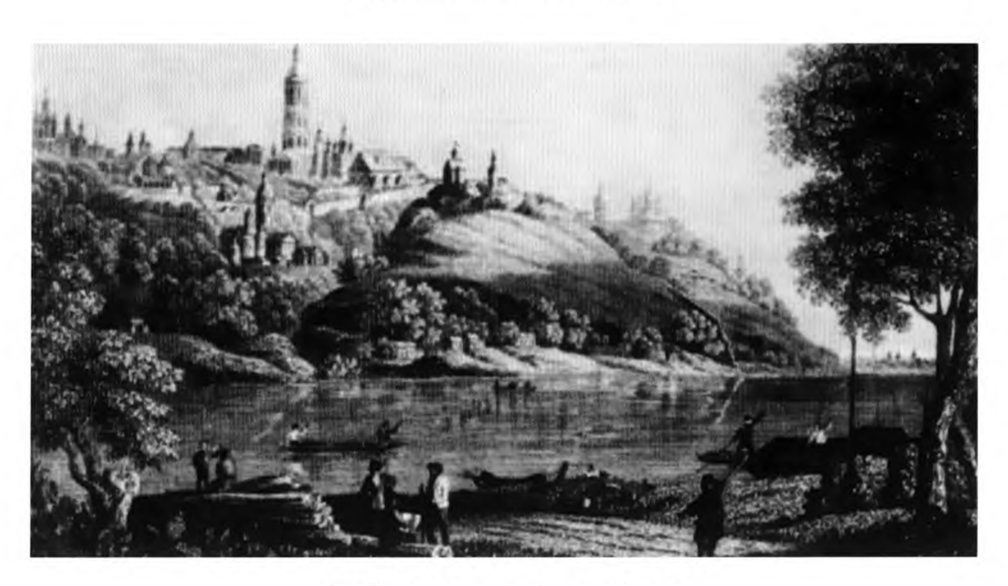
ВЪ ТИПОГРАФ. ДЕПАР. НАРОД. ПРОСВЕЩЕНІЯ.

1831.

«Вечера на хуторе близ Диканьки».
Титульный лист первого издания. 1831.



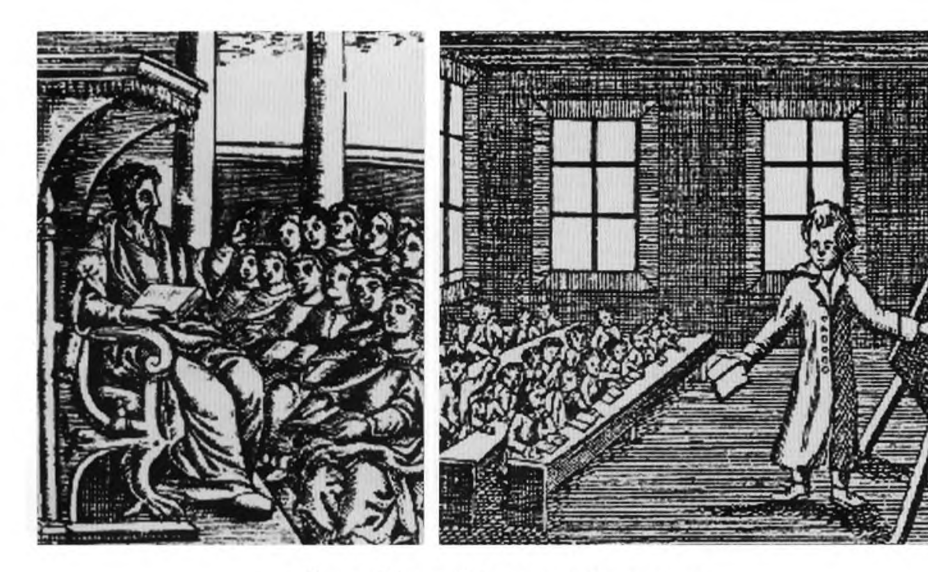
Переправа Н. Гоголя через Днепр.
Художник А. И. Иванов. 1845.



Вид Киева с левого берега Днепра.
Рисунок 1840-х годов.



Киево-Братский монастырь и Духовная академия.
Гравюра 1840-х годов.



Урок в Киево-Могилянской академии.
Фрагменты гравюры. 1712.

Рукопись повести «Старосветские помещики»

(РО РНБ. Фонд 199. Ед. хр. 1. Л. 12).



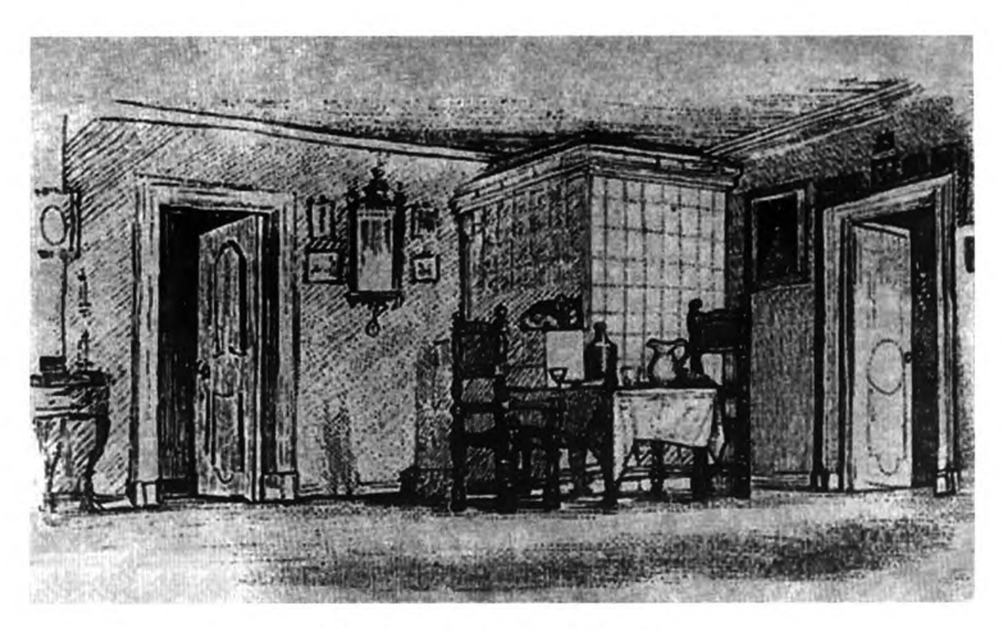
Афанасий Иванович и Пульхерия Ивановна.
Гравюра по рисунку П. Соколова. 1853.



Афанасий Иванович.
Рисунок П. Боклевского. 1887.



Пульхерия Ивановна.
Рисунок П. Боклевского. 1887.



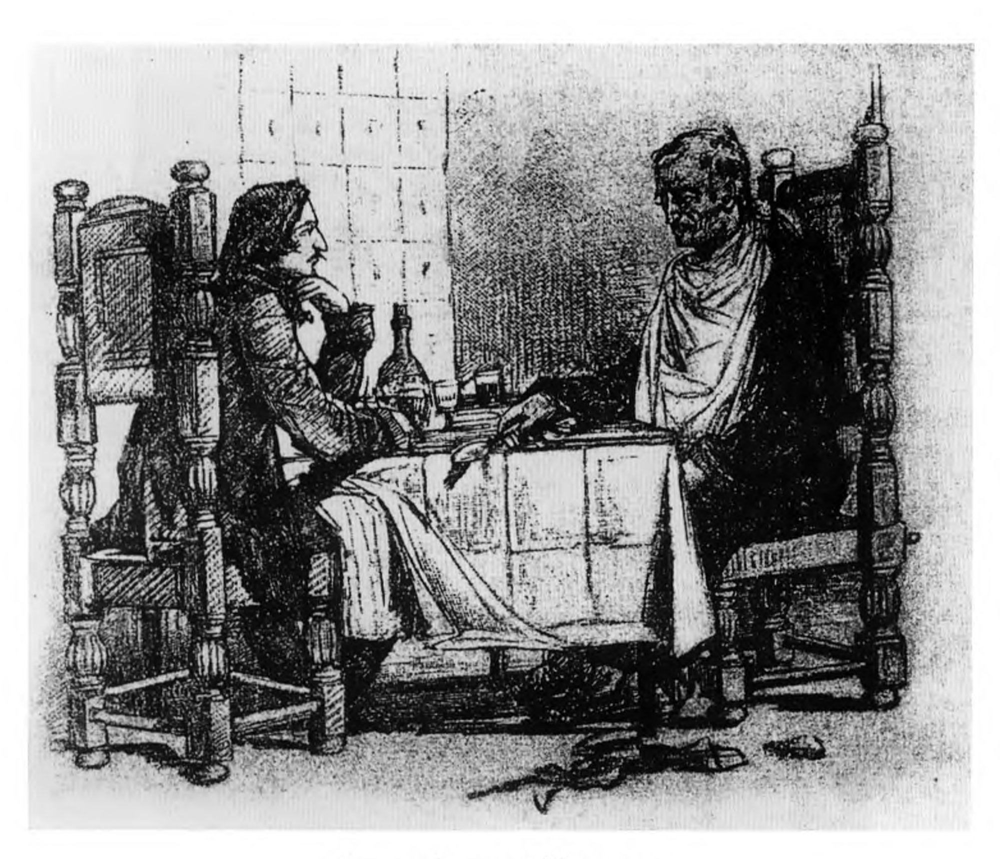
В доме старосветских помещиков.

Гравюра по рисунку П. Соколова. 1853.



<Обед>. «Вот это, — говорила она, снимая пробку с графина, — водка, настоянная на деревий и шалфей».

Гравюра по рисунку П. Соколова. 1853.



Автор и Афанасий Иванович.

Гравюра по рисунку П. Соколова. 1853.

ГЕРЦОГИНЯ

де ла

ВАЛІЕРЪ.

Сочиненіе Госпожи

ЖАНЛИСЪ.

Переводъ съ Французскаго

ЧАСТЬ I.

МОСКВА, 1804.

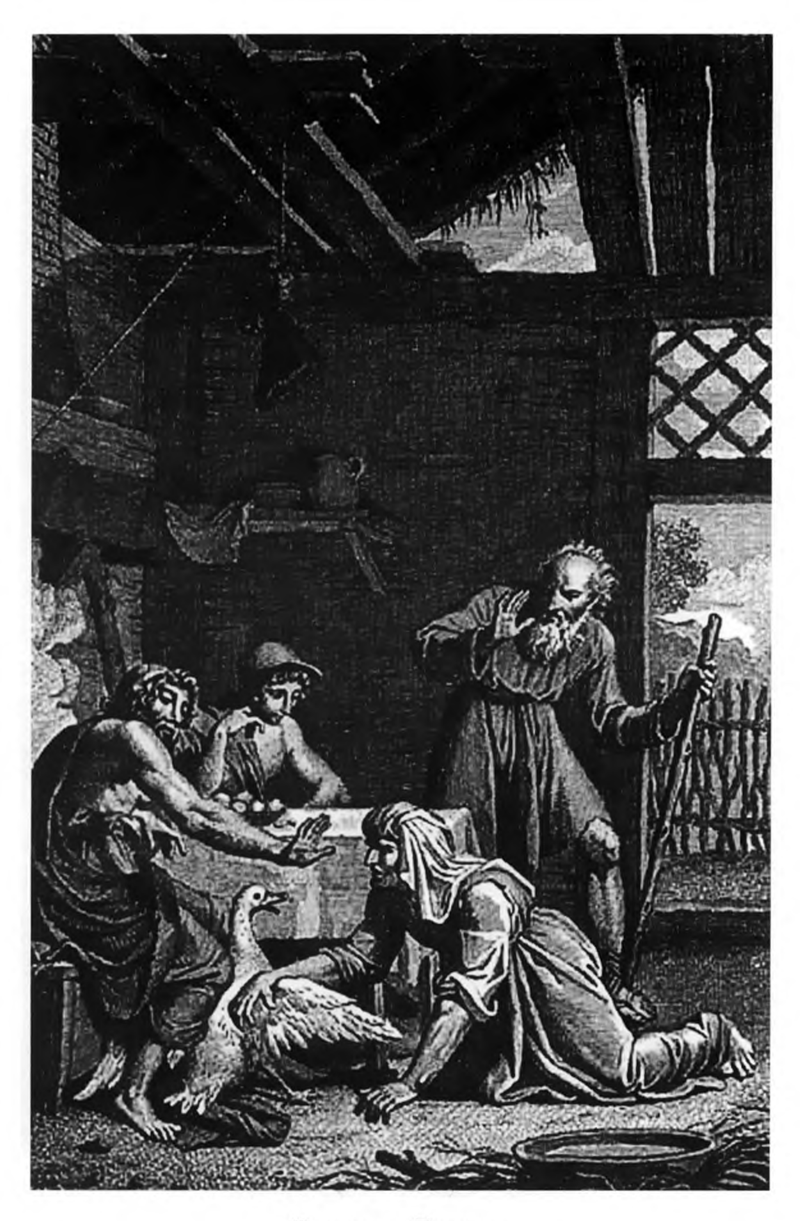
ВЪ Университетской Типографіи,

у Любія, Гарія и Попова.

Титульный лист романа С.-Ф. Жанлис «Герцогиня де ла Валиер».



Фронтиспис книги С.-Ф. Жанлис.



Филемон и Бавкида.
Гравюра Н.-А. Монсио начала XIX в.

Рукопись повести «Тарас Бульба»
(РО РНБ. Фонд 199. Ед. хр. 1. Л. 16).



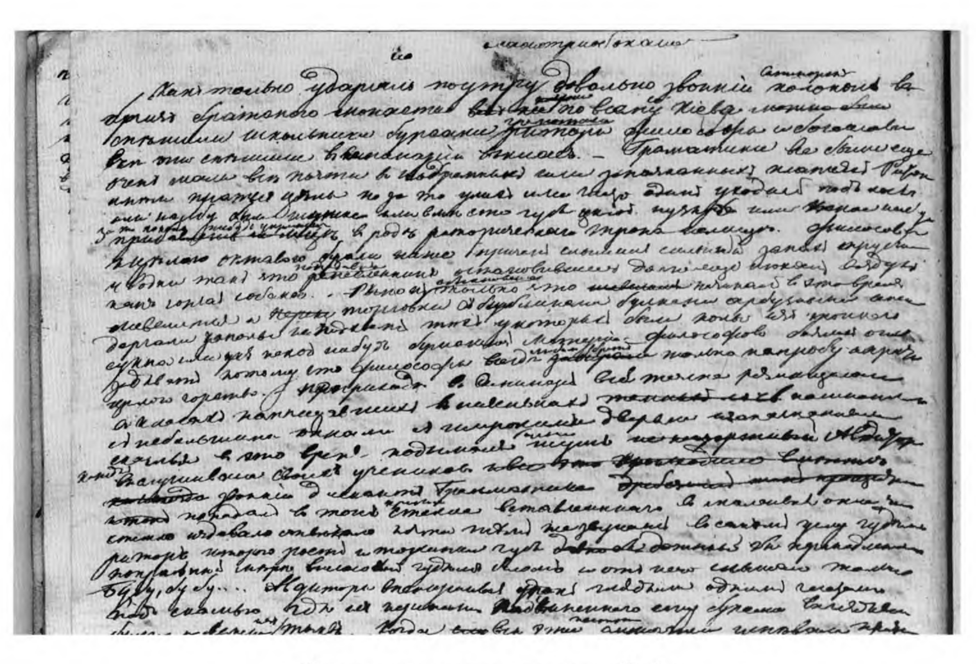
Встреча Тараса Бульбы с сыновьями.
Рисунок Т. Шевченко. 1842.



Смерть Андрия.
Рисунок П. Соколова. 1861.



Тарас после пленения Остапа.
Рисунок М. Микешина. 1859.



Фрагмент рукописи повести «Вий»
(РО РНБ. Фонд 199. Ед. хр. 1. Л. 32 об.).



Ведьма на Хоме Бруте.
Литография по рисунку М. Микешина. 1890.

Явтух и Хома.
Рисунок М. Микешина. 1886.





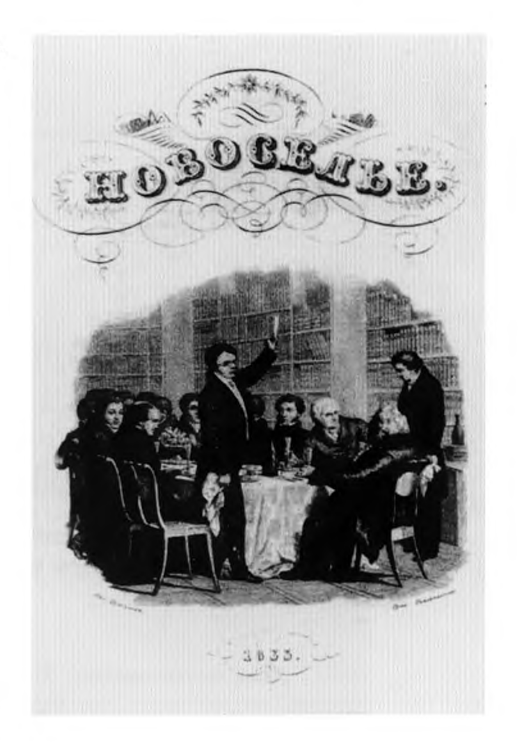
Хома в церкви.
Рисунок М. Микешина. 1874–1875?

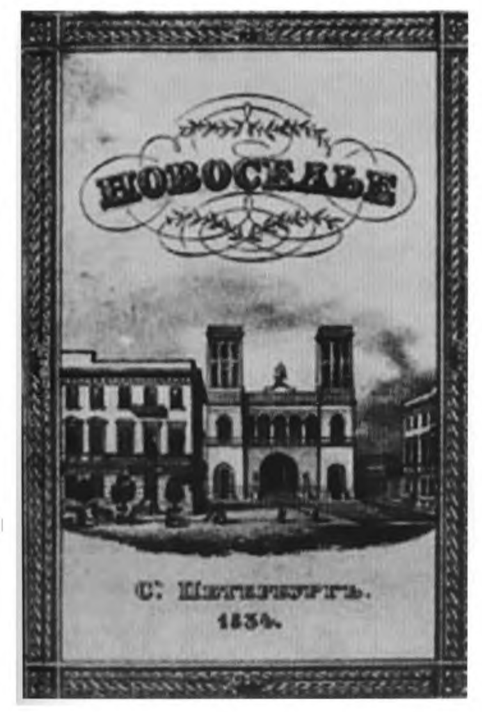
Панночка, сотник и Хома Брут.
Рисунок М. Микешина. 1872.



Гроб панночки несут в церковь.
Светогравюра по рис. М. Микешина. 1872.

Обложка альманаха «Новоселье» (1833. Ч. 1).





Обложка альманаха «Новоселье» (1834. Ч. 2).

ПОВѢСТЬ

О ТОМЪ, КАКЪ ПОССОРИЛСЯ ИВАНЪ ИВАНОВИЧЪ СЪ ИВАНОМЪ НИКИФОРОВИЧЕМЪ.

(Одна изъ неизданныхъ былей Пасичника рудаго Панька).

Глава I.

Иванъ Ивановичъ и Иванъ Никифоровичъ.

Славная бекеша у Ивана Ивановича! отличнѣйшая! А какія смушки! Фу ты пропасть, какія смушки! сизыя съ морозомъ! Я ставлю, Богъ знаетъ что, если у кого либо найдете такія! Взгляните ради Бога на нихъ, особенно, если онъ станетъ съ кѣмъ нибудь

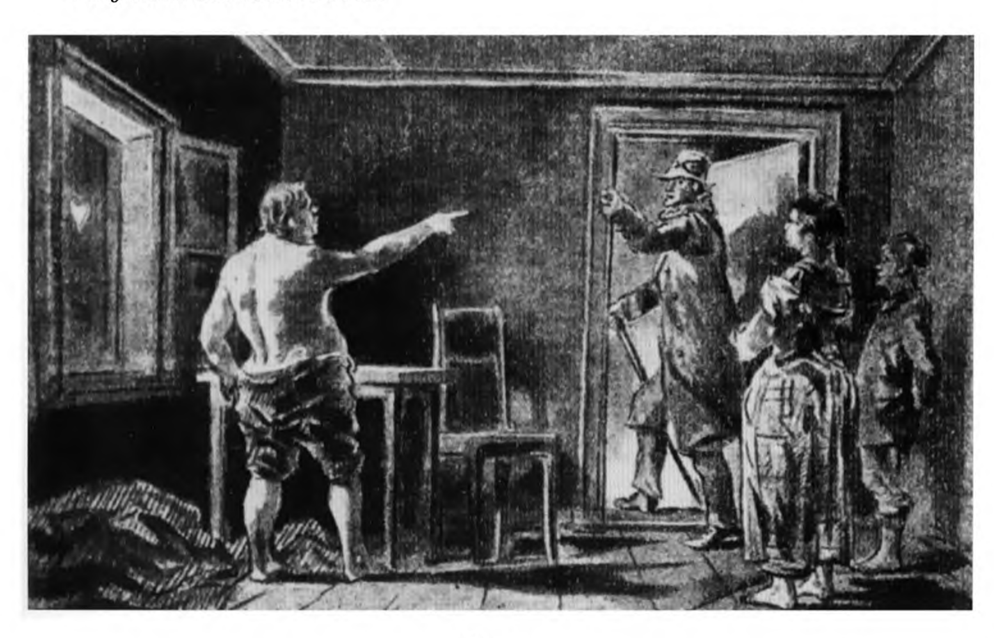
Начало повести о двух Иванах в альманахе «Новоселье» *(Ч. 2. С. 475)*.



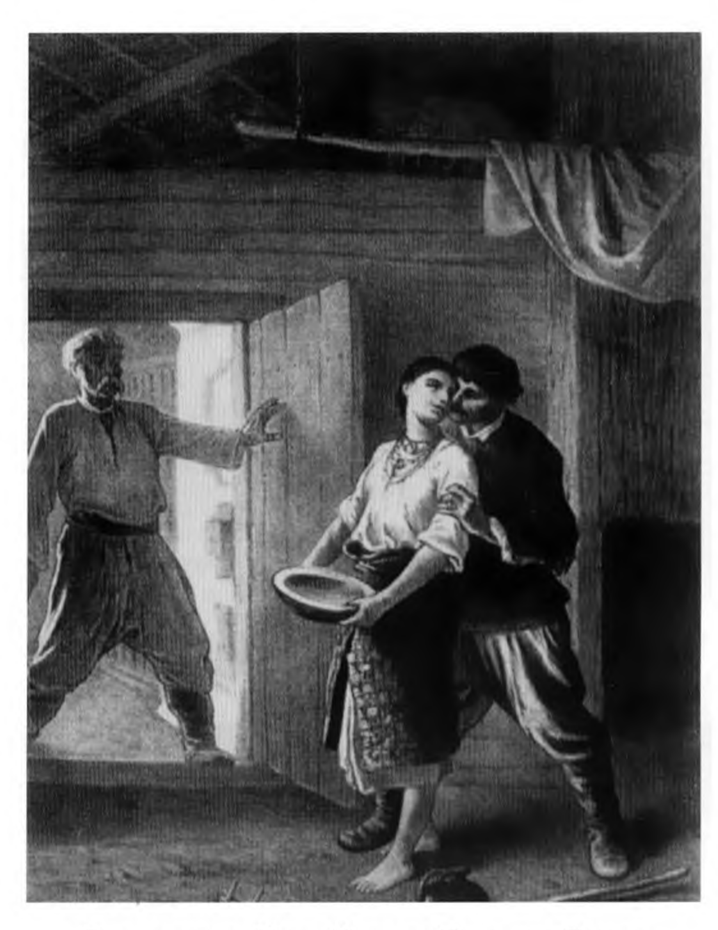
Иван Иванович.
Рисунок П. Боклевского. 1882.



Иван Никифорович.
Рисунок П. Боклевского. 1882.



Ссора.
Рисунок П. Соколова. 1891.



«Вечер накануне Ивана Купала». Пидорка и Петрусь.
Художник К. Трутовский. 1876.

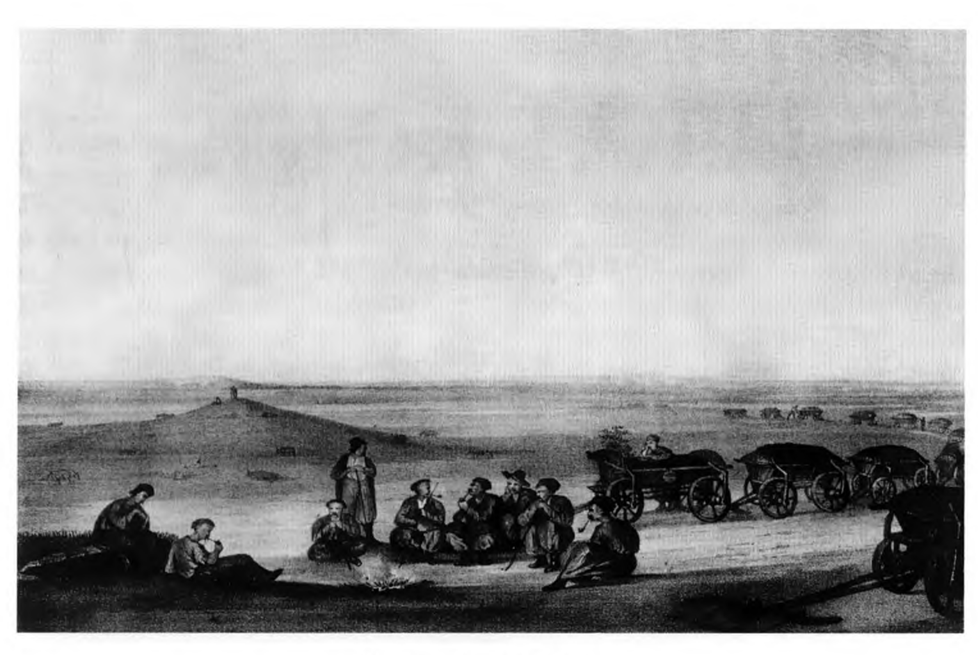


«Вечер накануне Ивана Купала». Клад.
Художник В. Маковский. 1876.



Праздник Купала.

Литография И. Селезнева по эскизу Л. Ангельштета. 1838.



Чумацкий табор в степи.
Литография по рисунку с натуры Л. Ангельштета. 1840.

АРАБЕСКИ.

РАЗНЫЯ СОЧИНЕНІЯ

Н. ГОГОЛЯ.

—

Часть первая.

—



САНКТПЕТЕРБУРГЪ.

ВЪ ТИПОГРАФІИ ВДОВЫ ПЛЮЩАРЪ СЪ СЫНОМЪ.

1835.

Титульный лист сборника «Арабески. Разные сочинения Н. Гоголя».

Определенную роль, видимо, сыграли и козацкие песни, и общие исторические сведения из сборника украинских народных песен, чьи отпечатанные листы весной 1834 г. Гоголь получал от М. А. Максимовича. Например: «Сечь делилась на части, называемые **куренями**, управляемые *Куренными атаманами*. Эти *курени* или *холивы* состояли из землянок, мазанок и шалашей <...> Кроме Кошевого и Куренных атаманов в Сечи были еще старшины: *Войсковой судья*, *Войсковой писарь*, *Асаул*. Все старшины выбирались на *Раде*, т. е. Совете (мирской сходке, вече). *Громадою* называлась общая сходка на Раду; у куреней были свои частные Рады...» (*Максимович 1834*, 4; изменения шрифта — авторские).

Но в основном историографы того времени, по указанным выше причинам (см. с. 277—278), изображали Запорожскую Сечь негативно. Так, «История Малой России» пеняла запорожцам за то, что они «не заботились, подобно малороссийским козакам, исхитить из рук иноверного народа землю Русскую, потому что земля сия соделалась чуждою для сердец, ожесточенных грабежами и убийствами. И могли ли пришлецы, составлявшие их братство, люди различных с ними языков и исповеданий, упоенные распутством и безначалием и скрывавшие под притворною набожностию гнусное отвращение к православию, — иметь какую любовь к стране, в которой процветало благочестие с отдаленных времен? Холостая, праздная и беспечная жизнь, пьянство и необузданная вольность были отличительные черты характера сего буйного и грубого народа. Скотоводство, звериная и рыбная ловля, воровство, разбой и измена составляли их главные упражнения. Но запорожцы, со всеми пороками своими, отличались примерною храбростию <...> запорожец, сохраняя первобытную суровость и бесчувственность своих предков, не дорожил в битвах жизнию, к которой не имел никакой привязанности. Странно, что сей дикий и свирепый народ, в ущелинах и порогах живший, любил также невинные увеселения. Запорожец играл на бандуре, припевая песни, но песни сии уподоблялись жестокому его нраву» (*ИМР*. Ч. 2. С. 61—63).

Отмеченные выше разнородные «стихийные» начала Сечи литература того времени обычно истолковывала в байроническом (демоническом) плане непримиримых, чудовищных, гибельных противоречий. Так, в повести В. Т. Нарежного «Запорожец» (1824) козацкая столица — это «одно место в юго-восточном краю Европы, где может найти верное убежище всякой, такового ищущий. Это место называется *Запорожская Сечь* и лежит недалеко от берегов Днепра, где вливаются воды его в Черное море. Первоначально поселились там разного звания малороссияне, не находившие в отчизне своей ни крова, ни пищи. Чтобы предохранить себя от ссор, непорядков и раздоров, могущих небольшую республику сию нис-

провергнуть, храбрые люди сии положили непоколебимым законом — не иметь при себе не только жен, но даже чтобы ни одна женщина не переходила ворот их города. Но как и самые небольшие общества имеют нужду в ремеслах, рукодельях и искусствах разного рода, а посвятившие себя единственно военному делу люди неудобно и неохотно могут заниматься чем-нибудь другим, кроме оружия, то запорожские козаки дозволяют и козакам жениться и заниматься куплею и продажею нужных вещей, но с тем, чтобы таковые промышленники жили вне города Сечи в предмести<ях> и на хуторах вместе с женами и детьми. Там дозволяется жить и торговать христианам всех исповеданий, магометанам разных поколений, жидам и язычникам. В приеме в козаки старшина[42] совсем не заботится, кто из желающих сделаться запорожцами — какой веры, какой земли, звания, поведения; равным образом не выспрашивает, что принуждает кого, оставя отчизну, искать у них убежища <...> Но при вступлении в сие особенного рода общество, подобно как при посвящении в монашество, надобно оставить все прежние титла и знаки отличия; там все равны: сегодня кошевой атаман или судья, а завтра простой козак; при принятии нового собрата ему дают прозвание, какое вздумается, бреют голову, оставляя один оселедец[43], и сей профан в короткое время становится просвещенным в таинствах запорожских» (*Запорожец*, 138—140; курсив автора). И хотя было «устроение Запорожской Сечи сделано на тот конец, чтобы храбрые козаки защищали пределы российские от беспрестанных нападений соседей, всегда хищных, всегда вероломных; однако и самые сии защитники, сколько по уродливому образованию правления, столько и потому, что почти половина их состояла из иностранцев, для которых выгоды России или ничего, или очень мало значили, нередко бывали гибельнее для родных своих, чем неверные...» (Там же. С. 177). Эта странная республика обречена на гибель, ибо, по мнению ее просвещенного атамана, досконально знающего установления и обычаи Запорожья, если уж «знатнейшие царства и республики пали в свое время, то как не последовать сего с Сечью запорожскою? — Пройдет столетие, — и, может быть, одним только географам будет известно место, где стояла некогда Сечь запорожская» (Там же. С. 178).

В почти одновременно изданной малороссийской повести В. Нарежного «Бурсак» Запорожская Сечь названа «чудовищной столицей свободы, равенства и бесчиния всякого рода» (подобно революционному Парижу!),

[42] Сим именем вообще называются все начальники... войсковой и куренные атаманы, судья и проч. (Примеч. автора. — *В. Д.*).

[43] На макуше головы небольшой клочок волос во всю их длину, который завивается за ухо (Примеч. автора. — *В. Д.*).

чьи обитатели имеют «высокое право похабничать, забиячить и даже разбойничать...» (*Бурсак*, 152). По словам благородного героя, попавшего в запорожцы волею судьбы, вся эта «убийственная и даже бесчестная жизнь» ведет к «погибели», ведь «рано или поздно, а какая-нибудь из соседних держав обрушится... всеми силами, и — что из Сечи останется? Кучи золы и громады черепов козацких», — а уставший от преступлений обычный «черноморец»-запорожец тоже считает такую жизнь «поганой... несравненно хуже цыганской» (Там же. С. 164—165).

Подобный, заранее негативный взгляд на Запорожскую Сечь обусловил ее описание в романе Ф. Булгарина о Самозванце. Чтобы объективно показать разные стороны жизни Запорожья, куда недаром попадает заглавный герой, жуткий злодей, были использованы различные исторические свидетельства, в основном польские (к ним можно отнести и записки Боплана, служившего польской короне). Однако Булгарин уже не мог отрицать общеизвестных героических черт этих бесстрашных воинов. В результате повествование о них выглядит не столько эклектичным (что обычно для автора), сколько противоречивым и недостоверным, даже местами косноязычным... — так бывает, когда писатель принужден говорить против воли или смысла, руководствуясь чужими мнениями или словами.

«Удивительное явление эта Сечь Запорожская!.. Трудно поверить, чтоб какое-нибудь общество могло так долго существовать без письменных законов, без всяких основных правил гражданского порядка <...> запорожцы не хотели не только строить городов, но даже жениться, чтоб удобнее перенестись в другое место в случае опасности. Войско свое пополняют они не только пришлецами из Украины, с Дона и России, но всеми беглецами из Польши, Венгрии и земли Волошской (Молдавии. — *В. Д.*). Кроме того, они в набегах своих берут с собою детей мужеского пола и воспитывают их в войске. Таким образом поддерживается эта воинская республика, управляемая волею избираемого ими Кошевого атамана и старыми обычаями. В последствие времени многие ученые иноземцы, подвергнувшиеся в своем отечестве несчастьям или совершившие какое преступление, стали искать убежища в Сечи, но они не могли иметь никакого влияния на дикое устройство войска и зверские обычаи запорожцев. Напротив, кто желает остаться в Сечи, тот должен во всем сообразоваться с сими дикарями и покрывать знания свои оболочкой невежества. Это характер запорожцев: они должны казаться грубыми, несведущими, хотя между ними есть весьма много людей мудрых и ученых из поляков и немцев (по словам Булгарина, там даже бывшие иезуиты. — *В. Д.*). Их кошевые атаманы, часто безграмотные, знают лучше дела и выгоды войска, нежели... письменные войты и сенаторы» (*Булгарин 1830*. Ч. II. С. 214, 217).

Будущий Самозванец после своих злодейств нашел приют на берегах Днепра у старого запорожца Евангелика[44], который рассказал ему о Сечи восторженно и оптимистично. «Ох, Запорожье, Запорожье! <...> Там-то привольное житье: и сыто, и весело, и драки вдоволь!» В запорожцы принимают «всякого, кому Бог дал силу и смелость. Будь он поляк, татарин, волох, венгр или немец, лишь бы крестился в Русскую веру, десять лет не женился да переправился в ладье через пороги — так и наш» (Там же. С. 202—203). Их жены живут отдельно: «в слободах» вне Сечи — ведь здесь «не терпят ни баб, ни латинов, ни панычей, ни каких неженок. У нас должно быть закаленным, как булат, на всякую беду и опасность <...> в Сечи пасем коней, едим саламату да пьем вино, пока есть, а нет, так на лодки да в Туречину, так и всего довольно. Наш брат, казак, умеет и весело пожить, и весело потерпеть. Нет мяса и муки, так сосем лапу, как медведь, пьем днепровскую водицу да попеваем о старых походах до нового, без горя и кручины... кто не бывал запорожским казаком, тот не бывал воином. У нас жизнь, что старый кафтан. Сбросил с плеч — легче! Сегодня жить, а завтра гнить! День мой, век мой!» Здесь «лицо старого казака покрылось румянцем, глаза оживились» (Там же. С. 204—205).

Соответствует этому и описание лагеря запорожцев, куда прибывает герой: «В Сечи раздавался глухой шум от смешанных голосов тысяч тридцати суровых воинов. Некоторые из них занимались приготовлением пищи или чисткою своего оружия, другие пили и ели в веселых кругах, иные, напившись допьяна, расхаживали с песнями. Во многих местах слышны были звуки бандуры и волынки. Беспечность, дикое веселие и излишество в употреблении пищи и крепких напитков заметны были во всех концах всего воинского поселения. Везде видны были кучи мяса и рыбы, бочки с вином и пивом и люди пресыщенные, которых все занятие состояло, казалось, в истреблении съестных припасов»; удивительно «только, что вино не рождало драк и ссор в этих диких толпах, а возбуждало одно веселие. Братство и дружество строго было соблюдаемо между запорожцами, и если б один осмелился обидеть другого, то нашел бы немедленно тысячи противников, которые наказали бы его за нарушение равенства и доброго согласия» (Там же. С. 245, 256).

Подробнее о бытовой стороне жизни Сечи рассказывает ставший запорожцем шляхтич Меховецкий. По его словам, в «войске множество всякого рода ремесленников, но они работают не за деньги, не по заказу, а для общественных надобностей. Здесь никто о себе не думает, а каждый печется об одном существе, войске запорожском, этом великане, которого

---

[44] Сведения о пребывании Самозванца в «шайке Герасима Евангелика» автор почерпнул из *ИГР* (Т. XI. С. 14).

мы члены»; вместе с тем личная «нечистота почитается... похвальным качеством, как презрение пышности между монахами <...> Эти шаровары отняты моим товарищем у турецкого старшины под Аккерманом; полукафтанье выкроено из польского кунтуша, снятого с одного богатого польского пана, неприязненного казакам; шапка отнята... у татарина в степи. Все это немного запачкано <...> Для защиты себя от насекомых мы смачиваем рубахи в дегте. Это бережет нас также и от чумы. Впрочем, чистота тела соблюдается строго, и добрый казак зимою и летом купается ежедневно в Днепре» и всегда уверен: «Куда пролетит птица и проплывет рыба, туда проберется и запорожец» (Там же. С. 249—251, 261). В Сечи «каждый казак получает свое прозвание от особенного отличительного качества <...> о прежних названиях и жизни до вступления в Сечь здесь никто не заботится и не спрашивает. Здесь... такая смесь имен, племен, народов и в жизни каждого казака столько подвигов, которых открывать не должно, что никто не смеет обременять товарища расспросами <...> Женщин здесь нет, так нет и любопытства» (Там же. С. 244).

«...Казаки жертвуют жизнью, идут смело и охотно на все опасности, претерпевают недостатки, чтобы приобресть средства пожить несколько времени в совершенном изобилии или, лучше сказать, чтоб иметь в излишестве все, что услаждает грубую чувственность. Пока всего довольно, то казаки в Сечи проводят время в пиршествах, пьянстве и ходят в свои слободы наслаждаться любовными утехами. Когда же наступает недостаток в съестных припасах и крепких напитках, то они или начинают жить скромно, или снова отправляются на грабежи. Это... настоящая волчья жизнь. — Казак запорожский в недостатке питается одною рыбою и так же весел, как при величайшем изобилии <...> Здесь... некому проповедовать о воздержании и хозяйстве, некому смотреть за порядком. Каждый казак — полный властелин над собою, и... чиновники начальствуют... только в общественных делах, а не могут приказывать, как кто должен вести себя». Далее следуют пассажи в духе В. Т. Нарежного: «...в Сечи добром называется то, от чего добрые люди в другом месте крестятся, а злом почитается то, в чем другие ищут спасения. Пить, бить, резать, грабить, не щадя своей жизни, называется... высочайшею добродетелью, а умеренность, сострадание, уважение чужой собственности и попечение о сохранении своей жизни почитаются величайшими пороками. Вот запорожская нравственность» (Там же. С. 246—248).

Но чуть позже в историческом романе «Мазепа» (1833—1834)[45], верный официальной политике, Булгарин изменит тон, хотя и осудит «дикость

[45] Гоголь в 1833 г. сразу же и резко не принял роман — возможно, это стало одной из причин художественного переосмысления истории Малороссии, а затем и создания повести о семье козаков.

Запорожья и Заднеприя (Левобережья. — *В. Д.*), где все достоинство человека поставлялось в удальстве и наездничестве» (*Булгарин 1833.* Ч. 1. С. IV). В обзоре истории Украины он торжественно объявит, что «бедствия, угнетавшие страну, не истребили в храбрых ее жителях духа народности, основанного на Православной Вере, и священная память Русской независимости сохранялась в народе, подобно неугасаемому огню древних язычников. Со времени первого нашествия татар на Южную Россию, толпы отважных ее защитников, будучи не в силах спасти отечество, и влекомые любовью к независимости и чувством народной самобытности, удалились в пустыни и на диких берегах Днепра, возле порогов, в густых камышах и неприступных засеках[46], основали беспримерную дотоле в мире, подвижную военную республику, получившую впоследствии название *Сечи Запорожской.* В течение нескольких столетий Сечь держалась и укреплялась новыми пришельцами из порабощенной родины и удальцами из соседних и дальних стран, сохраняя древние воинские обычаи предков. Презирая негу, живя добычею и почитая дикую независимость превыше жизни и всех ее наслаждений, запорожцы исключили женщин из воинского своего пристанища, как лишнее бремя для человека, посвятившего себя на вечную войну. Вольное Запорожье не признавало ничьей власти и ничьих прав в порабощенном отечестве и жестоко отмщало потомкам орд Батыевых и соотчичам польских вельмож за прошлые и настоящие бедствия Южной России, питая в жителях ее надежду к освобождению и поддерживая в народе воинственный дух. Надежда сия исполнилась, ибо основана была на справедливости. Созрели горькие плоды угнетения: ненависть и жажда мести, — и мужественный, предприимчивый Зиновий Хмельницкий, восстав с горстью запорожцев противу притеснителей, воззвал к оружию весь народ Малороссии и Украйны, свергнул польское иго и возвратил России древнее ее достояние» (Там же. С. 2—4; курсив автора).

Однако менее чуткие авторы второго ряда продолжали ревностно обличать запорожцев. Так, студент Московского университета П. И. Голота, приспосабливая идею поэтической истории народа к пониманию полуобразованного «среднего слоя» общества, в начале 1830-х гг. написал три «исторических» малороссийских романа: «Иван Мазепа» (М., 1832), «Наливайко, или Времена бедствий Малороссии» (М., 1833) и «Хмельницкие» (М., 1834). Автор показывал запорожцев как свирепых, бесчеловечных разбой-

[46] «Сечь, вероятно, происходит от слова *Засека*. Естественно: укрепление есть засека в местах лесных, а вал и ров в полях», — уточнял Булгарин. Описывая Сечь, он пересказывал *ИГР* (Т. V. С. 215—216), однако, в отличие от Карамзина и вслед за Бопланом, видел в запорожцах воплощение всего Козачества.

ников-варваров, отверженных обществом и целым миром и потому, в свою очередь, всем мстящих (это мало чем отличалось от того, как зарубежные авторы и переводчики изображали «козацко-татарские шайки», — см. об этом выше, на с. 294). Например, утверждалось, что Сечь основали «беглецы, преступники, грабители, разбойники», нашедшие убежище на ужасных своей дикостью днепровских порогах. «Сии буйные, грубые и, может быть, недостойные члены гражданственности, как бы озлобясь на весь мир и благоустроенные общества, составили отдельную республику, положили строгие обычаи и правила (нельзя сказать — законы), от коих, к удивлению, никто не отступал, и чрез то сделались могущественными и опасными для своих соседей. Так часто своеволие или судьба созидают целые нации, дают им совершенно оригинальный, особенный характер, образ мыслей, особенную нравственность, цивилизацию, особенную жизнь и совсем не те законы, которым они были прежде подчинены. Нельзя не вспомнить при сем высокого изречения: всяк человек есть ложь, и не удивиться, от чего грубые невежды-поселенцы, преступавшие прежде на всяком шагу удобоисполнимые законы, с невероятною, стоическою твердостию стали повиноваться своим — гораздо суровейшим, жестоким, основанным на грубых предрассудках и невежественных понятиях. Так, почитая грабеж, разбой и убийство за самую необходимейшую цель бытия человеческого, они в то же самое время казнили смертию того, кто бы осмелился насладиться утехами даже законной любви или уличен был в воровстве у своего собрата. Защищая ляха против русского, назавтра искали его гибели, соединяясь с прежними врагами. Словом, запорожцы представляли собою странную смесь храбрости, честности и вместе непостоянства, варварства, даже любви к родине[47], и глубокого почтения, преданности к вере, равняясь и с первыми римлянами, и с дикими обитателями Гренландии. Но при всем том, сей союз братства, ибо иначе нельзя его назвать, был необходим и весьма полезен во многих случаях и для многих враждующих держав, где требовалась их помощь; так, например, России, Польши и наконец Малороссии... Но кому уже они неизвестны, где не пронеслось звучное имя запорожцев и кем они не были описаны (хотя, может быть, и с ненадлежащей точностию)!.. <...>

...запорожцы, побунтовав по белу свету и успевши передраться и перессориться с русскими, поляками, татарами и турками, теперь оставались

[47] Надобно признаться, что запорожцы не могли похвалиться сим высоким чувством; причина тому, полагаю, та, что не все из них были настоящие малороссияне, а смесь из разных европейских народов, и если удалось Хмельницкому склонить их на свою сторону, то это надобно также отнести к их ненасытному корыстолюбию, желанию прославиться и случаю подраться (Примеч. автора. — *В. Д.*).

в бездействии, занимались охотою или разбоем по Дону и Донцу; немногие только оставались в Сече, влача бездейственную, непривычную жизнь в скуке, тоске и отчаянии и предавая проклятию всех народов, вздумавших без всякой важной причины жить сложа руки, и безмятежно бранили также малороссиян за их трусость и неготовность восстать еще раз против поляков; решались даже сами сделать нападение на пограничные воеводства Польши, и одно лишь малочислие их удерживало сей пламенный порыв страсти. Дабы хоть несколько утишить свой гнев и как-нибудь рассеяться, запорожцы в самые бурные ненастные дни, когда рассвирепевший Днепр, выступая за пределы, истреблял все встречающееся ему на пути... пускались в легких *чайках* по вздымавшимся его валам или преследовали ожесточенных зверей в самых их логовищах и, наконец, тешились, взирая на борьбу стихий, предаваясь опасностям, ища смерти. Так грустна и безотрадна жизнь кочующая, хищническая, буйная, бессемейная!

В один из таковых дней, когда природа, поссорясь, так сказать, сама с собою, изъявила негодование зловещею, гибельною бурею, запорожцы, собравшись на берегах Днепра, варили кашу, курили люльки <...> дикий, принужденный хохот и свисты, смешанные с ревом и воем бури, заключали в себе нечто ужасное и отвратительное; на грубых лицах козаков заметно, однако ж, было тайное уныние и грусть. Казалось, ничего не могло их развлечь, хотя они и старались чем-нибудь заняться...» (*Голота 1834.* Ч. III. С. 7—11; курсив автора). Среди них — набожный и трусливый раскольник, пьяница немец, курящий свою трубку и вместо пива довольствующийся брагой, татарин — любитель конины и кумыса; остальные запорожцы просто глушат сивуху, закусывая чесноком и луком. А затем все они, сияя «радостными, но дикими лицами», соглашаются служить Хмельницкому (Там же. С. 12, 22). Характерно, что подобное изображение запорожцев соответствует литературной традиции описания разбойников в «разбойничьем» романе того времени: об этом свидетельствует явная зависимость ситуаций в романе П. Голоты от повести «Гайдамак» О. М. Сомова о малороссийских разбойниках XVIII в. (в частности, сцена в романе, когда еврей Гершко попадает в руки козаков). Забегая вперед, можно отметить, что повесть Гоголя о судьбе козацкого полковника и его сыновей противопоставлена традициям «разбойничьего» романа, отчетливо и последовательно сближаясь, особенно во 2-й редакции, с древнерусской воинской повестью, согласно творческой установке автора (об этом см.: *Душечкина,* 30—34, *Осетров Е. И.* Гоголь и «Слово о полку Игореве» // Гоголь: История и современность. С. 326—332).

Близкое к гоголевскому описание Сечи мы находим лишь в поэме «Богдан Хмельницкий» (СПб., 1833), где Запорожье описывается в том

же «природно-республиканском» духе стихии днепровских порогов, а польскому рабству на Украине противопоставляется братская кипучая жизнь на просторе, вольность и удальство воинственных молодцов-запорожцев:

Там — *Сечь*; удалым там приволье,
Там жизнь кипит, там ей — раздолье,
Там каждый житель молодец:
Переселенец иль беглец.

Там козаки не знали рабства
Еще дотоль; и Кошевой
Был только в битвах их главой,
В дни мира — жил по праву братства.

<...> И битвы шли своей чредой.
Как при *Дашковиче*, и ныне,
Козак был страшною грозой
Странам соседним и чужбине:

Стамбул, Очаков, Варна, Крым
Пред Запорожцами дрожали,
Когда они мушкетный дым
С свинцом к ним в гости посылали.

(Там же. С. 61—63; курсив автора).

Далее в поэме описано, как на Раде запорожцы избрали нового кошевого, который сразу призвал к борьбе с поляками и для этого передал воинскую власть Хмельницкому (Там же. С. 77). Запорожцы выступили под ее началом, а затем на их сторону перешло и Козачество, — так вольная Сечь породила национально-освободительное движение Хмельнитчины.

У Гоголя стихийное движение изображается в ином масштабе с другой мотивацией. Узнав о злодействах поляков, запорожцы отвечают тем же — свирепым разорением польских земель; они так же грабят и убивают, считая это справедливым, так же заинтересованы в добыче. Им помогают такие «партизаны», как Тарас Бульба со своим отрядом, которые мстят полякам по личным мотивам. И этот конфликт типичен для ветхозаветного сознания в Средневековье. Речь о национальном освобождении — черте Нового времени — пойдет позже, при описании того, как Козачество во главе с Остраницей отстаивает свои права, и запорожцы при этом не упоминаются.

Кроме различий *принципиальных*, гоголевское описание отличается от **всех** представленных выше еще и тем, что в 1-й редакции «Тараса Бульбы» запорожцы показаны в духе типовых стилизованных «народных картинок», отражавших характерные занятия козаков — пьянствующих, играющих на бандуре, пляшущих, воюющих и т. п. (возможно, и лежащих на земле/дороге). На этот источник указал сам Гоголь. Так, в <Главах исторической повести> описана «небольшая картина, масляными красками, изображающая беззаботного запорожца с бочонком водки, с надписью: „*Козак, душа правдивая, сорочки не мае*“*, которую и доныне можно иногда встретить в Малороссии». В повести «Вий» упомянуто, что на стене погреба «нарисован был сидящий на бочке козак, державший над головою кружку с надписью: *Все выпью*»**. А соединение этих образов-эмблем происходит при описании Сечи: «На большой опрокинутой бочке (очевидно, из-под водки. — *В. Д.*) сидел запорожец без рубашки; он держал в руках ее и медленно зашивал на ней дыры», — где актуализирована семантика растраты и пустоты (в черновике этой фразы не было). По-видимому, близко к «народным картинкам» изображен и «молодой запорожец», что «отплясывал» среди толпы на площади, «заломивши чертом свою шапку и вскинувши руками», в окружении «старых», и «Фома с подбитым глазом», отмерявший «каждому пристававшему по огромнейшей кружке» водки[48]. Но после указания на общую «флегматическую наружность» запорожцев о них сообщается лишь «дюжие» или «дряхлые», «молодые» или «старые, загорелые, широкочленистые... с проседью в усах». Правда, как обычно в художественном мире Гоголя, у правила есть исключение — довбиш (литаврщик, подающий сигнал о Раде), «высокий человек, с одним только глазом, несмотря на то, страшно заспанным», — то есть тот, кто обязан сразу и всех оповещать, плохо видит и постоянно спит.

Все это лишь наружные различия, ибо автор представляет запорожцев едиными по духу, по самосознанию («Мы все запорожцы, все из одного гнезда, всех нас вспоила Сеча, все мы братья родные...»). Так, они «в важных делах никогда не отдавались первому порыву, но молчали и между тем в тишине совокупляли в себе всю железную силу негодования», подавляя

---

* Курсив автора. — *В. Д.*

** Курсив автора. — *В. Д.*

48 Ср. в повести «Гайдамак» О. М. Сомова: «Посереди площади собралась толпа народа. Молодой чумак в синем жупане тонкого сукна, в казачьей шапке с красным верхом, лихо заломанной на голове, с алым шелковым платком на шее, распущенным на груди длинными концами, и в красных сафьянных чоботах шел, приплясывая и припевая, вел за собою музыкантов и ватагу весельчаков и сыпал деньгами в народ. Чтобы показать свое удальство и богатство, он то расталкивал ногою плоды у торговок, то бил нарочно стеклянную посуду... — и платил за все вдесятеро» (*Гайдамак*, 177).

«чувства... в душе силою дюжего характера <...> волновались всё характеры тяжелые и крепкие. Они раскалялись медленно, упорно, но зато раскалялись, чтобы уже долго не остыть». В традициях своего противоречивого века, они были суровы и свирепы для врагов, но знали милосердие и великодушие, воевали во имя христианской Веры, но «слышать не хотели о посте и воздержании», среди них были «охотники... до золотых кубков, богатых парчей, дукатов и реалов», а церковь Покрова Пресвятой Богородицы (покровительницы козаков) была самая скромная, поскольку большинство из них, вместо пожертвования на храм, предпочитало пропивать «почти всё... при жизни своей», понимая гульбу и войну как религиозный «пир души» ради Товарищества. — Ср. в «Запорожце» Нарежного: запорожцы строго соблюдают православные традиции, служат молебны, а десятину от добычи всегда отдают «на украшение Храма Угодника Божия» (*Запорожец*, 6).

Соответствующие противоречия присущи и всей Сечи. «Эта странная республика была именно потребность того века», поскольку сочетала азиатские формы слитной, «братской», «роевой» жизни и деспотизма с европейской вольностью и независимостью каждого «лыцаря», а формы их самоорганизации — с территориальной «арматурой» войска, что ввел Баторий (от города — полк, от местечка — сотня...). Поэтому атмосферу Рады может определять и общее настроение, и козацкая старшина, и даже один, как показано в повести, упрямый «мятежный» Тарас, и — тем более! — кошевой как «слуга» козаков, якобы покорно исполняющий их «волю», но в то же время, говоря современным языком, умело манипулирующий воинственной толпой (двойственна и его позиция по вопросу о войне: «ему казалось неправым делом разорвать мир», который клятвенно «обещали султану», хотя сам он был уверен, что Козаку «без войны не можно пробыть. Какой и запорожец... естьли он еще ни раза не бил бусурмана?»). И когда, по предложению кошевого, думают отправить на челнах «несколько молодых людей, под руководством старых и опытных», «пусть немного пошарпают берега Анатолии», чтобы вызвать гнев султана и развязать войну (а козацкое войско будет «наготове... и силы... будут свежие»), — запорожцы уверены, что поступают «совершенно по справедливости». Справедлив в их глазах и еврейский погром после известий о «беззаконии» на Гетманщине и злодеяниях поляков и евреев-арендаторов, хотя евреи — шинкари и торговцы в Сечи — никак не могут быть к этому причастны (скорее всего, подоплекой расправы с беззащитными стало то, что «многие запорожцы позадолжались в шинки» и, по словам кошевого, им уже «ни один черт теперь и веры неймет»).

Но вот козаки решают идти «прямо на Польшу, так как оттуда произошло всё зло», — и прежняя азиатская «необыкновенная беспечность»

сменяется «необыкновенной деятельностью», и каждый знает, что делать: «И вся Сеча вдруг преобразилась. Везде были только слышны пробная стрельба из ружей, бряканье саблей, скрып телег; всё подпоясывалось, облачалось. Шинки были заперты; ни одного человека не было пьяного <...> Кошевой вырос на целый аршин. Это уже не был тот робкий исполнитель ветреных желаний вольного народа (черты европейские. — *В. Д.*). Это был неограниченный повелитель. Это был почти деспот, умевший только повелевать (черты азиатские. — *В. Д.*). Все своевольные и гульливые рыцари стройно стояли в рядах, почтительно опустив головы, не смея поднять глаз, когда он раздавал повеления...» — а затем все вместе, без различия по старшинству, стояли на молебне и «целовали крест», и, покидая Сечь, все обратились к ней «почти... в одно слово», — это Слово-Бог, символ единения Православных.

Религиозный энтузиазм и товарищество дают запорожцам единство, красоту и силу «свыше естественной <...> Какое-то вдохновение веселости, какой-то трепет величия ощущался в сердцах этой гульливой и храброй толпы. Их черные и седые усы величаво опускались вниз; их лица были исполнены уверенности. Каждое движение их было вольно и рисовалось <...> Под свист пуль выступали они, как под свадебную музыку. Без всякого теоретического понятия о регулярности, они шли с изумительною регулярностию, как будто бы происходившею от того, что сердца их и страсти били в один такт единством всеобщей мысли. Ни один не отделялся; нигде не разрывалась эта масса <...> Вся эта конная толпа неслась как-то вдохновенно, не изменяясь, не охлаждая, не увеличивая своего пыла. Это была картина, и нужно было живописцу схватить кисть и рисовать ее». Однако тут одновременно присутствует и другой, не названный план изображения: козаки отчасти похожи на демонов *кентавров*, в античной мифологии — полулюдей, полуконей, пристрастных к вину спутников Диониса (этот план актуализируют моменты уподобления-расподобления: «...да пришпорим коней, да полетим <...> И козаки, прилегши несколько к коням, пропали в траве»; «...бешеный конь его (Бульбы. — *В. Д.*) грыз и кусал коней неприятельских...»; «...голос его, как отдаленное ржание жеребца, переносили звонкие поля» и т. п. — тогда как всадник Янкель «подпрыгивал на лошади»). Может быть, поэтому, «оставляя за собою пустые пространства», разрушая дома и храмы, истребляя мирных жителей, козаки напоминают и выходцев из *царства мертвых*, и своих извечных противников — татар: «Ничто не могло противиться азиатской атаке их <...> тактика их соединяла азиатскую стремительность с европейскою крепостию». В Малой Азии они грабят и предают «мечу и огню цветущие берега <...> Запорожцы пере-

ели и переломали весь виноград; в мечетях оставили целые кучи навозу; персидские дорогие шали употребляли вместо очкуров <...> Третья часть их потонула в морских глубинах; но остальные... прибыли к устью Днепра с двенадцатью бочонками, набитыми цехинами». Православные «лыцари», как не раз уже было отмечено, мстят по *ветхозаветному* принципу «око за око, зуб за зуб»[49], они отправляются в поход, «желая внести опустошение в землю неприятельскую и предвидя себе при этом добычу». — Сопоставьте с более поздним описанием разразившейся **народной** войны: «Это уже не был какой-нибудь отряд, выступавший для добычи или своей отдельной цели: это было дело общее <...> это принадлежит истории. Там изображено подробно, как бежали польские гарнизоны из освобождаемых городов, как были перевешаны бессовестные арендаторы-жиды, как слаб был коронный гетман Николай Потоцкий с многочисленною своею армиею против этой непреодолимой силы...»

Выделяя среди «воинственной толпы» Тараса и его сыновей, автор постоянно подчеркивает общее и типическое в их внешности и поведении. Отец — «один из тех характеров, которые могли только возникнуть в грубый XV век...» — соединяет азиатскую деспотичность и европейскую вольность, а единственное внешнее его отличие от других козаков в том, что лицо Бульбы постоянно «сохраняло какую-то повелительность и даже величие, особливо, когда он решался защищать что-нибудь»[50]. Вернувшиеся домой сыновья смотрят «исподлоба» — как и должны смотреть «недавно выпущенные семинаристы. Крепкие, здоровые лица их... покрыты первым пухом волос, которого еще не касалась бритва». Когда же они впервые одеваются по-козацки, «их лица, еще мало загоревшие, казалось, похорошели и побелели: молодые черные усы теперь как-то ярче оттеняли белизну их и здоровый, мощный цвет юности; они были хороши под черными бараньими шапками с золотым верхом». В Сечи, «имевшей столько приманок для молодых людей», Остап и Андрий, подобно другим пылким юношам, «скоро позабыли и юность, и бурсу, и дом отцовский, и всё, что тайно волнует еще свежую душу. Они гуляли, братались с беззаботными бездомовниками и, казалось, не желали никакого изменения такой жизни». Затем, уже в походе, они оказываются среди *таких же* «молодых, попробовавших битв и опасностей...

---

[49] О неоднозначности такого изображения см., например: *Барабаш Ю.* Сладкий ужас мщенья, или Зло во имя добра? (Месть как религиозно-этическая проблема у Гоголя и Шевченко) // Вопросы литературы. 2001. № 3. С. 35—38.

[50] Типичен и образ матери. Когда она слышит о «скорой разлуке», ее «бледное» лицо искажают «слезы» и «горесть, которая, казалось, трепетала в глазах ее и в судорожно сжатых губах <...> слезы остановились в морщинах, изменивших ее когда-то прекрасное лицо», ибо «ее прекрасные свежие щеки и перси без лобзаний отцвели и покрылись преждевременными морщинами».

вдруг приобревших опытность в военном деле, пылких, исполненных отваги, желавших новых встреч, жадных узнать новые эволюции и вариации войны и показать свое умение играть опасностями».

Отношение братьев к войне не противопоставлено (как будет во 2-й редакции), а просто разное: *волевой* Остап, как будто созданный «только на то... чтобы гулять в вечном пире войны... и теперь уже казался чем-то атлетическим, колоссальным», с уверенными движениями и всеми «качествами мощного льва»; *чувственный* Андрий «также погрузился весь в очаровательную музыку мечей и пуль, потому что нигде воля, забвение, смерть, наслаждение не соединяются в такой обольстительной, страшной прелести, как в битве», — и потому оба, подобно другим молодым козакам, мучаются и «сгорают нетерпением» от двух недель «роздыха, который они имели под стенами города...». Но в ситуации, когда Остап и остальные, видимо, чем-то занимают себя (это будет изображено во 2-й редакции) и не задумываются: ведь у них нет и не может быть близких среди гибнущих жителей осажденного города, — Андрий почему-то не находит себе места, ночью ему не спится... И это подчеркнутое отличие героя от окружающих ставит под сомнение заявленную ранее общность.

В рамках авторского повествования картина «огненной ночи» в Польше соотносится с поэтическим изображением украинской степной ночи. Но если в степи лишь «иногда ночное небо в разных местах освещалось дальним заревом от выжигаемого по лугам и рекам сухого тростника» — от огня «созидательного» и потому красиво освещавшего «серебряно-розовым светом» в небе «темную вереницу лебедей», то «величественное зрелище» перед глазами Андрия, — это беспощадное истребление огнем всего, что создано природой и человеком, это опустошение земли в «июньскую прекрасную ночь, с бесчисленными звездами», которые в представлении украинцев означают *души* (см. примеч. на с. 339). Пламя летит от земли до «самых дальних небес», достигая звезд (*Вайскопф*, 600—601), а птицы — символ Небесного простора и воли — кажутся лишь «кучею темных мелких крапинок» или «крестиков на огненном поле». Это разрушение «лестницы Иакова» (Быт. 28:10—21)[51] как символа связи человека с Богом, оно предвещает Апокалипсис (см. об этом: *Хомук*, 38—39).

---

[51] Библейский образ лестницы Иакова в повести неоднозначен. Одна из аллюзий — антагонизм двух сыновей Исаака: его первенца, охотника Исава, и земледельца Иакова, который, обманув отца, получает право на первородство, но будет прощен свыше, избран для связи с людьми, для строительства Храма. — Ср.: в финале «Выбранных мест из переписки с друзьями», в главе XXXII «Светлое воскресенье», Гоголь писал: «Бог весть, может быть, за одно это желанье (хоть один день провести по законам Христа. — *В. Д.*) уже готова сброситься с Небес нам лестница и протянуться рука, помогающая возлететь по ней» (VIII, 416).

Такое видение мира Андрием демонстрирует открытость его сознания, подготавливает и мотивирует дальнейшую передачу чувств и мыслей героя, а главное — подчеркивает принципиальное сходство его взгляда на мир с тем, как видит мир всеведущий автор — ученый и художник. Для обоих — это «страшная и чудная картина», и недаром здесь в отсветах пламени возникают бесовские «смуглые черты лица» татарки (напомним, что ни в Сечи, ни в лагере козаков под страхом смерти «не смела показаться ни одна женщина»). Андрий «вдруг почувствовал... присутствие» ее (может быть, по инстинкту или голосу крови, о чем было сказано выше), узнал служанку «дочери ковенского воеводы» — и прошлое вновь захватило героя, его чувство к панночке оказывается живо и противостоит «опустошению земли», и потому его «сокрушает» известие, что она в осажденном городе и «другой день уже ничего не ела». По сути, речь идет только о христианском милосердии героя (и он, и татарка в данном эпизоде усердно взывают к Богу). Это отнюдь не предполагает измену. Панна лишь надеется, что Андрий не захочет «изменить ей», и доверяет ему тайну подземного хода, от которого зависит жизнь — не только ее, всего города. Пройдя по этому ходу, герой может увидеть красавицу и спасти ее от смерти, как положено настоящему рыцарю, но (вот парадокс!) с помощью грубой пищи, нагруженной в козацкие «мешки и неизмеримые шаровары», а сказочной царевне, мы знаем, нельзя употреблять обычную еду. Так, уступая личной христианской «потребности любви», Дома и «рыцарства», Андрий отделяется от Козачества (ср. — Тарас Остраница).

Это происходит через «обряды смерти», необходимые для «инициации» новой жизни героя. Сначала «грудь его» копьем пронзает «острие радости», затем, когда татарке угрожает разоблачение, он смотрит вокруг с «мертвою, убитою душою»; после вопроса отца о татарке Андрий уподобляется «мертвецу, вставшему из могилы» (ведь наказанием тому, кто нарушил установления и привел в лагерь женщину или здесь встретился с ней, должна быть смерть — а не порка, которую обещал сыну Тарас); дальше сказано, что его «дух... казалось, улетал при одной мысли о той радости, которая ждала его впереди»; наконец, перед своим уходом юноша уже не чувствует «ни сердца, ни земли, ни себя, ни мира...». Семантику могилы актуализирует упоминание о крышке, маскирующей подземный ход: это был «небольшой четвероугольник дерна»; «небольшое отверстие» как бы само собою «вдруг открылось перед ним и снова за ним захлопнулось», оставив героя «в совершенной темноте». Он *вслепую* идет *вниз* по лестнице, его ведет *неведомая рука* (духовно соблазнившей его татарки) — это метафора пути «от Бога»[52],

---

[52] Ср.: «Грех и зло есть движение вниз и от Бога» (*Флоровский Г. В.* Восточные отцы V—VIII веков. Париж, 1933. С. 219).

обратного лестнице Иакова, православной «Лествице». А «новую» жизнь Андрий начнет на заре, когда из могильной темноты поднимется в город.

Средневековую метафору «душевного города» автор указал в отношении «Ревизора», но ее никогда не обращали к средневековому «Тарасу Бульбе», хотя она лишь более отчетлива во 2-й редакции, а следовательно — изначальна. Запорожцев в городе привлекает богатая добыча, для чьей защиты, на их взгляд, и возвели стены. Но сами они ненавидят города и дома, противопоставляя им степной или морской простор и волю, и в городе-крепости, как Тарас в Варшаве, видят воплощение чуждого им индивидуализма, меркантилизма и обособления человека от людей. Наоборот, Андрий идет в город, вдруг ощутив: этого недостает его душе, без этого неполна и бессмысленна его дальнейшая жизнь, которой он теперь не дорожит, и не только «царевну» спасает, но и цельность своей души. Причем в этой ситуации роль *избавителя* подразумевает, как в сказке о спящей царевне[53], спасение ее и всех окружающих — в данном случае жителей осажденного города — от чар злого колдовства[54].

Так Андрий оказывается в мертво спящем городе, где «ни одна труба не дымилась» и «мертвый вид... прерывался слабыми, болезненными стонами», а «на страже стояли часовые, бледные, как смерть... больше привидения, нежели люди», где на дороге «женщина, страшная жертва голода... при последнем издыхании» стиснула «зубами иссохшую свою руку». Содрогаясь от увиденного, герой спешит «вслед за татаркою» в дом своей возлюбленной, где тоже мертвое забытье: «Везде была тишина: всё или спало, утомленное страданием, или безмолвно мучилось. Он вступил на порог спальни. О, как замерло его сердце!..» И когда он видит панночку, она «томна... бледна... белизна ее... пронзительна, как сверкающая одежда серафима»; у нее «небесное лицо», и «это небесное создание... которое, казалось, для чуда было рождено среди мира, к ногам которого повергнуть весь мир, все сокровища казалось малою жертвою... терпело голод...» («...а козаки менее всего могли сносить голод...»). Обожествляя страдающую панночку, герой тем самым признает ее власть над собой, вновь подчиняется «долгому, сокрушительному» взгляду, буквально склоняется перед ней («Он бросился к ногам ее, приник и глядел в ее могучие очи»), называет «царицей» и готов разделить ее судьбу, а для этого «со всею силою и крепостью воли» козака

[53] Сказку «Спящая царевна» написал В. А. Жуковский летом 1831 г. в Царском Селе, когда он и Пушкин, как бы соревнуясь, создали несколько литературных сказок — почти на глазах у Гоголя, приходившего к ним из Павловска, где он жил на даче Васильчиковых. О мотиве заколдованного града в русских сказочных повестях XVIII в. см.: *Вайскопф*, 603.

[54] Ср. 2-ю редакцию повести, где герой осознает эту миссию и, отрекаясь от отца, брата, товарищей, дает обещание «прогнать запорожцев <...> биться со всеми...» (II, 113).

отрекается от «всего, что ни есть на земле», чтобы быть с ней, отдает своих «отца, брата, мать, отчизну...».

Однако выбирать из ряда неоднозначных мотивировок его поведения лишь одну, как это видим в некоторых исследованиях, представляется не совсем корректным. Сложность ситуации в том, что Андрий действительно изменяет Козачеству, предает родных и товарищей, но переходит на заведомо слабую, страдающую сторону, рискует умереть от голода в городе, или, в случае его захвата, быть как изменник повешенным, или, тоже по обычаю того времени, быть утопленным в мешке с котом, петухом и змеей. Его оправдывает цель, ради которой он всем рискует, идет против всех, проявляя свою козацкую натуру, — это воссоединение души, двух ее «половинок» в единое целое (подтверждаемое единением телесного: «...лобзание... слило уста их, прикипевшие друг к другу») в то время, когда враждуют народы и «мужское» противопоставлено «женскому». Недаром сразу после встречи Андрия с панночкой городу приходит помощь[55]. Но, возможно, все происходящее с героем — результат колдовского «обворожения», похитившего часть его души (ведь панночка так похожа на ведьму «Вия», и вместе с татаркой — демоническим помощником они буквально «разрывают» природу героя), а спасая панночку и город, Андрий губит свою душу.

В пользу этого предположения говорит стремительная дегероизация Андрия, который после своей измены, по сути, отчуждается от всех. Так, для Янкеля (демонического помощника козаков) он стал «важным рыцарем», как польские паны, потому что надел «богатые латы: все в золоте», за «сто восемьдесят червонных», и «славно муштрует солдатами», — а с точки зрения Бульбы, за деньги и власть «продал Христову веру и отчизну» и не может быть его сыном: такого изменника «породил... черт, на позор всему роду!» Во время боя Андрий возглавляет «отряд, стоявший, по-видимому, в засаде», — то есть, по замыслу воеводы, должен напасть на козаков внезапно, с тыла, ошеломить своим появлением, заведомо меньше рискуя, чем в открытом бою. Обратим внимание, что, когда Андрий идет на это, он как бы лишается коня, «спешивается» (хотя окружающие его поляки на конях), — и тогда он уже не воин! Это подтверждает его поведение: вот он «узнал... издали» отца и «весь затрепетал. Он, как подлый трус, спрятался за ряды своих солдат и командовал оттуда своим войском <...> Нужно было... увидеть олицетворенное свирепство (Тараса. — *В. Д.*), чтобы извинить трусость Андрия, чувствовавшего свою душу не совсем чистою.

---

[55] Более отчетливой будет связь с финалом сказки о спящей царевне во 2-й редакции повести: «...кинулась она к нему на шею... и зарыдала. В это время раздались на улице неясные крики <...> В это время вбежала к ним с радостным криком татарка. „Спасены, спасены! — кричала она, не помня себя. — Наши вошли в город, привезли хлеба, пшена, муки и связанных запорожцев“» (II, 107).

Бледный, — он видел, как гибли и рассеивались его поляки, он видел, как последние, окружавшие его, уже готовы были бежать...» Все это не мужские и уж тем более не воинские проявления *чувственного* начала, которые венчаются чисто женской реакцией — истерикой («„Спасите!“ — кричал он, отчаянно простирая руки...»), а затем полной неподвижностью, ступором: «Отчаянный (здесь: *отчаявшийся. — В. Д.*) Андрий сделал усилие бежать, но поздно... Безнадежно он остановился на одном месте»[56].

Перед отцом Андрий тоже «был безответен <...> не произнес ни слова; он стоял, как осужденный <...> бледный, как полотно, прошептал губами одно только имя... это было имя прекрасной полячки <...> повис он головою и повалился на траву, не сказавши ни одного слова», — то есть был убит гораздо *раньше* выстрела Тараса. Трагедию сыноубийства сопровождают и общепринятая тогда эмблема «жатвы» смерти — «хлебный колос, подрезанный серпом», и сравнение с «молодым барашком, почувствовавшим смертельное железо», которое обусловливает аллюзии с жертвоприношением Авраама (о них см. на с. 314). Внешне Андрий и после смерти сохраняет естественное сочетание мужского и женского, красоты и мужества: «Он был и мертвый прекрасен: мужественное лицо его, недавно исполненное силы и непобедимого для жен очарования, еще сохраняло в себе следы их; черные брови как траурный бархат оттеняли его побледневшие черты», — смерть примиряет с отцом и братом, которые погребут его как воина «честно... в земле» (в черновой редакции было: «...при свисте и пуль и крике двух бившихся народов»).

Примечательно, что тема *отступничества* была обозначена гораздо раньше предательства Андрия и не исчерпывается его казнью. Так, хранящий по закону мир с «бусурменами» кошевой выглядит предателем в глазах Бульбы, хотя прямое нарушение перемирия козаками означало бы клятвопреступление. Православные «лыцари» допускают оскудение Божьего храма, не заботясь о приличествующем ему убранстве. В их глазах отступники от христианства — «нечистое католичество», которое преследует право-

56 Совершенно иначе во 2-й редакции. Сначала Янкель сообщает Бульбе, что Андрий «весь сияет в золоте. И коня дал ему воевода самого лучшего под верх: два ста червонных стоит один конь <...> И сам разъезжает... Как наибогатейший польский пан!» (II, 112). Затем показано единство «бурого аргамака» и всадника: «Впереди перед другими понесся витязь...» — однако тут же введен бестиальный план, объясняемый потерей свободы воли: «...понесся, как молодой борзой пес... Атукнул на него опытный охотник — и он понесся...» (II, 142). Далее герой все больше отделяется от подаренного воеводой скакуна («Ударив острыми шпорами коня, во весь дух полетел он за козаками <...> Разогнался на коне Андрий... как вдруг чья-то сильная рука ухватила за повод его коня»), пока окончательно не спешивается по приказу Тараса на свою погибель (II, 143—144).

славных и отдает их церкви в аренду, но и кровавая «ветхозаветная» месть козаков полякам — тоже отступление от христианских канонов, а разное понимание христианского долга вносит раскол в ряды запорожцев, когда одни, чтобы вызволить товарищей из плена, уходят в погоню за татарами, другие остаются на верную гибель. Позднее нарушают свой долг и Остап, который в пылу боя, сражаясь, вышел за оборонительные порядки козаков и попал в плен, и Бульба, забывший о «важности своего поста» из-за «желания подать помощь и освободить любимого сына» и тем самым погубивший весь свой отряд.

Затем путь Тараса к Остапу, как ни странно, чем-то напоминает тайный переход Андрия в город. Начинается путь в Сечи, когда, оправившись от ран, Бульба впервые ощутил одиночество среди товарищей: «...ничто не могло развлечь его. По-видимому, самые пиршества запорожцев казались ему чем-то едким. С ним неразлучно было то время... когда он гулял с своими сыновьями, еще крепкими, свежими, исполненными сил, — и на этом, дотоле ничем не колеблемом лице, прорывалась раздирающая горесть...» Его испытания: потеря сыновей, ранение, отчуждение от всего прежнего — пробуждают в нем чувственное начало, страсти. Разум и Вера, до сих пор определявшие жизнь Бульбы, теперь соседствуют с унынием и отчаянием, греховными для христианина, духовное — с «физической», земной жизнью рода, и желание «еще раз увидеть» сына Остапа подкрепляется стремлением «сказать ему хоть одно слово». И тогда, как в случае с Андрием, на помощь приходит **демонический посредник**.

Согласно романтической характерологии, *демоническое* обусловлено происхождением такого героя или его контактом с дьявольскими силами и проявляется в его отчуждении от общества, особых вредоносных качествах, внешности и поведении. К таким, безусловно демоническим по своему происхождению, персонажам в современном Гоголю историческом повествовании относились образы инородцев, чаще всего мусульман, цыган, евреев, реже — чухонцев, поляков, немцев (впрочем, *немцем*, как известно, именовали любого иноземца) и... запорожцев. Как правило, такое изображение было обосновано фольклором, но в некоторых случаях главную роль играла позиция удивительно веротерпимой Российской православной державы по отношению к отступникам, изменникам, «переметчикам». И если демонизация Мазепы поддерживалась государственно-церковной традицией предания его анафеме, то демонизация поляков была обусловлена не само́й (достаточно в то время сильной) антикатолической тенденцией, а Польским восстанием 1830—1831 годов. Для запорожцев основное значение, видимо, имели правительственное постановление об уничтожении Сечи и последующий исход части запорожцев в Турцию. Но для украинцев,

демонизировавших в своем фольклоре цыгана[57], «жида» и «москаля», запорожец оставался героем. В раннем творчестве Гоголя представлен *весь круг* демонических персонажей: и поляки, и цыган, и «жид», и баба (ведьма), и черт[58] — «совершенно немец», и запорожец, а демонизм северной природы у русских и чухонцев косвенно характеризует «огненная картина» Петербурга в «Ночи перед Рождеством».

Демонизация евреев в европейской литературе восходит к Средневековью[59], когда их стали считать народом, который «возгордился» и отвернулся от Христа, отправив Его на казнь, и был наказан Богом — «низвергнут» как Сатана: лишен родины и рассеян по лику земли. Современная Гоголю романтическая литература изображала еврея подлым, коварным, алчным, трусливым предателем-Иудой, шпионом, христопродавцем, «губителем Христа», «ненавистником христианства». Современный израильский исследователь утверждает, что «применительно к еврейству в целом романтическая литература исходила из того непререкаемого — и для католичества, и для православия — положения, что после распятия Иисуса само существование этого народа утратило всякий положительный смысл, поскольку чаемый мессия уже пришел, ветхозаветное „предисловие" сменилось евангельским откровением, а „ветхий" Израиль — „новым", то есть вселенской церковью <...> Иначе говоря, евреи, с религиозной точки зрения, были заведомым анахронизмом, главная польза от которого заключалась в том, чтобы служить наглядным пособием по истории церкви, демонстрируя ее сокрушительную победу над синагогой. Заботливо акцентированные убожество и забитость современного еврейства и в романтической литературе, и за ее пределами выглядели столь же убедительным свидетельством христианской истины, как и мертвенность Страны Израиля, навеки ставшей „Гробом Господним", скопищем могил и руин, окаменевшим хранилищем христианских чудес» (*Вайскопф Михаил*. «Странные пророки»: народ и Земля Израиля в трактовке русских романтиков // Новое литературное обозрение. 2005. № 73. С. 75).

---

[57] На Украине считалось, что цыгане «сродни черту»: именно у него они выучились основному промыслу — кузнечному делу (огонь изобрел тоже черт); мелкого вора и обманщика цыгана можно провести, как и «москаля», но лучше с ним не связываться (*Булашев*, 176, 191, 341).

[58] Например, в «Сорочинской ярмарке»: по легенде о «красной свитке», пьяница черт заложил ее «жиду-шинкарю», тот продал ее «пану», а того «обокрал на дороге какой-то цыган и продал свитку перекупке...» (I, 125—127).

[59] О постепенном нарастании антисемитизма в Средние века см.: *Гуревич А. Я.* Культура и общество Средневековой Европы глазами современников. М., 1989. С. 305—309.

В русле той же традиции оказываются известные Гоголю сведения из «Истории Русов», а также из козацких и польских летописей о том, как поляки позволили «жидам» арендовать православные церкви, осквернять церковную утварь и одежду, богохульствовать, ставить особые значки на просфоры и пасхальный хлеб (последнее можно понять, по «Откровению Иоанна Богослова», как предвестие конца света). Недаром в украинском вертепе «жид» вместе с чертом живет в аду (*Розов*, 120). В малорусской драме его традиционно «обвиняют не только в мошенничестве и обмане, но и в систематическом союзе с поляками для угнетения крестьян, доходящего до последних пределов бесчеловечности» (Там же. С. 128). Украинцы считали, что под покровительством «панов» евреи крупно обогащаются и — в отличие от мелкого вора и мошенника цыгана — их нельзя провести, ибо они хитрей и умней самого черта, поэтому с ними не стоит иметь никаких дел — все равно обманут (*Булашев*, 163, 176).

Эти же мотивы характерны для гоголевского повествования. Так, Бульба говорит про евреев традиционное: «Вы хоть черта проведете. Вы знаете все штуки <...> Вы всё на свете можете сделать, выкопаете хоть из дна морского, и пословица давно уже говорит, что жид самого себя украдет, когда только захочет украсть». Нетрадиционна лишь некая «избыточная» противоречивость демонического персонажа. Олицетворяющий «бедных сынов Израиля» (*Вайскопф*, 607), «высокий и тощий» Янкель, с «жалкой своей рожей, исковерканной страхом», потерявший «присутствие своего и без того мелкого духа» (то есть почти мертвый), во время погрома заботится только о сохранении собственной жизни и далее будет постоянно балансировать на грани жизни-смерти и правды-лжи. Так, он — единственный «из кучи своих товарищей» — за себя и за них отрекается от соплеменников-арендаторов, бранит поляков и называет запорожцев «родными братьями», а затем, чтобы спастись от их смертоносных объятий, умоляет Бульбу именем его *покойного брата*, которому якобы помог «выкупиться из плена у турков». Опасность еще не миновала, и Янкеля могли бы, по словам Бульбы, «застрелить, как воробья»[60], а он «уже раскинул свою лавочку» и торговал, обещая в походе «продавать провиант по такой дешевой цене, по какой еще никогда никто не продавал». Но, хотя потом он «маркитанствовал и шпионничал при запорожском войске», Тарас готов убить «проклятого Иуду», услышав от него, что Андрий «теперь держит сторону Польши». «Отметина смерти» и в том, что Янкель, у которого нет семьи, молится

---

[60] Во 2-й редакции мотив смерти усилен: когда Янкель проник в город за должником, его хотели повесить и уже «закинули веревку на шею», а затем и Тарас подтверждает свое намерение убить «чертова Иуду», выхватив саблю (II, 111, 114).

один, «накрывшись... довольно запачканным саваном», и «по обычаю своей веры» плюет, а его душу, «как червь», точит «вечная мысль о золоте...». Занятый в Умани «какими-то подрядами и сношениями с тамошними арендаторами», он помогает Бульбе в благодарность за спасение жизни, и вновь опасаясь за нее, и надеясь на вознаграждение, и стараясь преодолеть вечные страх и корысть, определяющие характер демонического персонажа, и так, «на всякий случай», хотя не забывает при этом проверить полученные от своего спасителя червонцы «на зуб».

На пути к цели и сам Бульба должен пройти через смерть. Поляки оценили его голову в «2000 червонных», и Тарас, отдавая Янкелю эти червонцы, которые здесь явно сближены с «червем», как бы выкупает свою жизнь. Так дьявольское, по народным представлениям, золото становится неким эквивалентом жизни и смерти, «земного» бытия или небытия (ср. во 2-й редакции: Янкель саркастически предполагает, что тот, у кого Бульба «обобрал такие хорошие червонцы, и часу не прожил на свете...» — II, 151). Далее вполне отчетливую семантику тюрьмы-гробницы обретает непостроенный Дом — воз с кирпичом, в «тесной клетке» которого Тарас скрытно доехал до Варшавы. А изображение варшавской «темной, узенькой улицы» в единстве противоречий: черное и белое, отсутствие солнца — его отблеск — мрак в сочетании с хаосом и грязью — напоминает подземное *царство мертвых*. Сама улица носит «название Грязной и вместе Жидовской», она «чрезвычайно походила на вывороченную внутренность заднего двора. Солнце, казалось, не заходило сюда вовсе. Совершенно почерневшие деревянные домы со множеством протянутых из окон жердей (как сухие ветки или корни деревьев. — *В. Д.*) увеличивали еще более мрак. Изредка краснела между ними кирпичная стена, но и та уже во многих местах превращалась совершенно в черную. Иногда только вверху ощекотуренный кусок стены, обхваченный солнцем, блистал нестерпимою для глаз белизною. Тут всё состояло из сильных резкостей: трубы, тряпки, шелуха, выброшенные разбитые чаны», — а вверху на сухих жердях-ветвях-корнях вместо плодов «висели жидовские чулки, коротенькие панталонцы и копченый гусь», в том же ряду оказывается и «довольно смазливенькое личико еврейки, убранное потемневшими бусами», что «иногда... выглядывало из ветхого окошка. Куча жиденков, запачканных, оборванных (как сама улица. — *В. Д.*), с курчавыми волосами, кричала и валялась в грязи». Добавим к этому «что-то похожее на шкаф» и на гробницу, где спит с женой «хозяин дома» (а это кровать под балдахином), и — как символ города — безобразное «строение, имевшее вид сидящей цапли. Оно было низкое, широкое, огромное, почерневшее, и с одной стороны его выкидывалась, как шея аиста, длинная, узкая башня, на верху которой торчал кусок крыши. Это строение отправля-

ло множество разных должностей. Тут были и казармы, и тюрьма, и даже уголовный суд».

Зачем же Тарас пришел в этот неестественный, выморочный, тесный, абсолютно чуждый ему и Степи мир? — Если вернуться к метафоре «город — душа», то за частью своей души, которая в Остапе: без этой духовной связи Бульба чувствует свою жизнь неполной (ср.: Андрий и панночка). Но город инфернально *бездушен* и связывает всех лишь корыстью. Поэтому, только приехав, Янкель сразу узнал необходимое прямо на улице от своих соплеменников, «с большим жаром» тут же готовых на всё за деньги, и потому у самого Бульбы «вспыхнуло какое-то сокрушительное пламя надежды» спасти Остапа «от дьявольских рук» дьявольским же золотом, выкупить его жизнь от смерти. Кроме того, в случае удачи Тарас обещает продать все свое имущество и заключить с помощниками «контракт на всю жизнь, с тем, чтобы всё, что ни добудет на войне, делить... пополам!» — договор, противопоставленный побратимскому, когда «всё пополам» с обеих сторон, и сопоставимый с дьявольским, о *продаже души*. Постепенно затем увеличивая, умножая вознаграждение, Бульба поступает по законам этого дьявольского меркантильного мира и, казалось бы, вправе рассчитывать на успех... Однако, пытаясь выкупить только своего сына, Тарас нарушает законы товарищества, несоблюдение которых взбунтовало его в лагере под Дубно, и теперь, подобно Антею вне земли, оказывается «в странном, небывалом положении: он чувствовал в первый раз в жизни беспокойство. Душа его была в лихорадочном состоянии. Он не был тот прежний, непреклонный, неколебимый, крепкий, как дуб: он был малодушен; он был теперь слаб. Он вздрагивал при каждом шорохе <...> Сердце Тараса замерло». И «вся твердость возвратилась в его душу», когда он удостоверился в невозможности выкупа и решил последний раз повидать сына.

Обычная роль демонического посредника в произведении — не только помощь герою, установление связи с антагонистом(-ами), но и косвенная характеристика обеих противоборствующих сторон (например, степень участия Мефистофеля в делах Фауста обусловлена «мефистофельским» в самом ученом). Так, простота, прямодушие, естественность и широта натуры Бульбы выявляются на фоне особых — в том числе и предполагаемых героем — качеств демонических персонажей. Он, по своему признанию, затем и обратился к ним, что сам «не горазд на выдумки», а они всё знают — «на то уже и созданы». Это подтверждают и мгновенно придуманный Янкелем безопасный способ добраться до Варшавы, и его знание Польши и психологии поляков, тогда как хитрость самого Тараса по-детски наивна и беспочвенна. Однако находит ведь он с демоническими персонажами «общий язык» золота, а потом легко меняет свой естественный вид на обличье

«иностранного графа, приехавшего из немецкой земли», и даже молодеет, так что «никто бы из самых близких к нему козаков не мог узнать его. По виду ему казалось не более тридцати пяти лет. Здоровый румянец играл на его щеках, и самые рубцы придавали ему что-то повелительное. Одежда, убранная золотом, очень шла к нему». Видимо, всем этим он обязан «злому» в себе, хотя у него нет и принципиально не может быть страха, скупости, расчета или, наоборот, инстинктивной, азартно-нерасчетливой корысти демонических персонажей. Да и они по отношению к Бульбе почти во всем проявляют лучшие человеческие качества: понимание, сочувствие, верность слову, — чего нет у поляков.

Безусловно, пафос гоголевского повествования — изобличение «проклятых ляхов» в заурядном, обыденном, но оттого не менее дьявольском, чем у демонических персонажей, вероломстве и меркантилизме. И если перед поездкой Янкель предупреждает Бульбу: «Там все такие ласуны, что Боже упаси. А особливо военный народ: будет бежать верст пять за бочкою (если подумает, что в ней «горелка». — *В. Д.*) <...> Там везде по дороге люди голодные, как собаки; раскрадут, как ни береги», — то затем в Польше уже откровенно сокрушается: «...что это за корыстный народ! И между нами таких нет». Все это подтверждается эпизодом, когда Бульбу в обличье иностранного графа Янкель ведет в тюрьму к Остапу и, «встречаясь со всяким» военным, подчеркивает меркантильную общность с ним, некий корыстный интерес: «Пан, это ж мы. Вы уже знаете нас, и пан граф еще будет благодарить <...> Это мы, это я, это свои!» Последний на их пути — бестиальный «гайдук, с усами в три яруса», «очень похожий на кота», со смехом, «несколько похожим на лошадиное ржание», олицетворяет грубость, невежество, а главное — алчность, злобу и коварство польских военных. К этому типу принадлежит в отрывке «Пленник» начальник «отряда рейстровых коронных войск <...> с неизмеримыми, когда-либо виданными усами, длиннее даже локтей...», в <Главах исторической повести> — «начальник польских улан» («...рослый поляк с глупо-дерзкою физиономиею», у кого Остраница вырвет ус), чей образ близок к изображению «пана — угнетателя крестьян и Козаков» в вертепе (*Розов*, 168).

Грубая, преувеличенная лесть Янкеля неотразимо действует на этого самовлюбленного пана, для которого его внешность и благополучие важнее всего в мире. Подобно другим полякам, он считает козаков «собаками» и «недоверками», но не стесняется шантажировать оплошавшего врага, чтобы извлечь выгоду из его положения, обобрать до нитки. После чего Янкель, «которого ела грусть при мысли о даром потерянных червонцах», сопоставляя себя с паном, посетует с иронией и горечью: «...какое счастие

посылает Бог людям! Сто червонцев за то только, что прогнал нас! А наш брат: ему и пейсики оборвут, и из морды сделают такое, что и глядеть не можно, а никто не даст ста червонных». Показательно: демонический персонаж служит доброму делу, исходя из принципов, которые чужды положительному герою, тогда как в «Истории Русов» рассказывалось, что гетмана-предателя Перевязку (скорее всего, за деньги или какие-то блага) высвободил из рук стороживших его козаков некий крамарь Лейбович, «очаровавший якобы стражу проданным от него для караульных табаком» (*ИР*, 52).

Варшавские эпизоды завершаются тем, чем и должно завершиться романтическое повествование о «нехорошем народе», — массовой сценой, где толпа католиков, пришедших поглазеть на казнь, одновременно проявляет демонические равнодушие, любопытство, «деловой» интерес и даже прямую одержимость: «Иной, и рот разинув, и руки вытянув вперед, желал бы вскочить всем на головы, чтобы оттуда посмотреть повиднее <...> Иные рассуждали с жаром, другие даже держали пари; но большая часть была таких, которые на весь мир и на все, что ни случается в свете, смотрят, ковыряя пальцем в своем носу». Такое поведение толпы обусловлено чувственно-земным, «женским» началом[61], «страстями», но не разумом (недаром здесь «множество старух, самых набожных, множество молодых девушек и женщин, самых трусливых...»), а любое разумное объяснение казни заранее профанируется ее толкованием, которое дает немногословный «знаток» мясник или женоподобный шляхтич для своей «коханки Юзыси». Явно бесовские — одновременно и мужские и женские! — «престранные рожи в усах и в чем-то похожем на чепчики» выглядывают «из слуховых окон»; панна бросает земные «плоды» в «толпу голодных рыцарей», что похоже на кормление стаи охотничьих собак[62]. Бесовский и бестиально-охотничий план изображения довершает ловчий сокол «в золотой клетке», который «был также зрителем: перегнувши набок нос и поднявши лапу, он, с своей стороны, рассматривал также внимательно народ». Такие детали, подробности описания «прозаизируют» происходящее (см.: *Федоров*, 156—157), но при этом масса католиков обнаруживает и «хищные», «животные», и демонические, и «деловые» черты.

Животная безрассудность и жестокость «черни» (образ толпы-зверя-ребенка) — идеальный фон для Героя, страдающего за Веру и Отечество,

[61] Представление о «женской страсти» поляков красиво и дорого одеваться будет развито во 2-й редакции повести.

[62] Эта ассоциация основана на негативном переносном значении слова «собака» в повести: так Бульба называет поляков. Отсутствием истинной веры «собаки и объединяются с иноверцами: и те, и другие лишены общения с Богом... а тем самым с людьми, объединенными верой...» (*Успенский*, 94).

который в данном случае противостоит не только палачу, исполняющему волю враждебного государства, но и равнодушию и праздному любопытству окружающих. От них Остапа и его соратников отличает естественность, бескорыстие, жертвенность, ответственность, «тихая горделивость»; козаки «не глядят и не кланяются», ибо не считают собравшихся христианами. По существу, сцена казни подтверждает слова Тараса: «То татарва, а то ляхи — другое дело... Еще у бусурмена есть совесть и страх Божий, а у католичества и не было, и не будет <...> Что, если бы вы попалися в плен да начали бы с вас живых драть кожу или жарить на сковродах?» Недаром сцена казни Остапа и его товарищей среди враждебной польской толпы так схожа с описанием казни Паткуля в романе И. И. Лажечникова «Последний Нови́к» (М., 1833. Ч. 4. Гл. 8) или в «Истории Карла XII» Вольтера (рус. пер. — М., 1804), на которую опирался Лажечников. А фигура умолчания об «адских муках» (их картиной автор якобы не рискует смущать нынешних читателей), видимо, позаимствована из описания пыток инквизицией католического монаха Гилария в упоминавшемся выше романе Льюиса «Монах». Впрочем, бесчеловечные пытки и изощренные способы казни «ляхами» запорожцев — наравне с меркантилизмом поляков — были распространенными мотивами украинского вертепа, «Истории Русов» (откуда подобные картины попали в «Историю Малой России» и были соответственно представлены в исторических сочинениях того времени). Так, в стихотворении Н. Маркевича «Медный бык» было изображено, как толпа на варшавской площади радуется казни Наливайко:

Ребячески буйно народ хохотал,
И шапками каждый огонь раздувал <...>
Мальчишки с весельем скакали кругом,
Отцы приводили детей на потеху.

(*Маркевич*, 62).

Следует отметить и развитие мотива *инициации*: испытания Остапа приводят к «апостольской» смерти **живого** «среди мертвой толпы», среди «неверных», смерти, способствующей утверждению и распространению Веры, а его обращение к отцу в смертную минуту вызывает евангельскую ассоциацию. И последующая народная война — это и ответ на казнь Остапа и его товарищей, и «след» Тараса, чей «совет дышал только одним истреблением... седая голова его определяла только огонь и виселицу». Но в решающий момент гетман Остраница и козацкая старшина поддаются чувству: зная о вероломстве поляков, проявляют, по словам Тараса, «бабье малодушие» и заключают с ними «трактат, обеспечивший бы во всем козаков»,

за что и будут затем замучены. И только Тарас будет мстить полякам за них и за Остапа, распространяя везде хаос и смерть: он «нес гибель туда, где его вовсе не ожидали. Никакая кисть не осмелилась бы изобразить всех тех свирепств, которыми были означены разрушительные его опустошения. Ничто похожее на жалость не проникало в это старое сердце, кипевшее только отмщением. Никому не оказывал он пощады. Напрасно несчастные матери и молодые жены и девицы, из которых иные были прекрасны и невинны, как ландыш, думали спастись у алтарей: Тарас зажигал их вместе с костелом. И когда белые руки, сопровождаемые криком отчаяния, подымались из ужасного потопа огня и дыма к небу и растрепанные волосы сквозь дым рассыпались по плечам их, а свирепые козаки подымали копьями с улиц плачущих младенцев и бросали их к ним в пламя, — он глядел с каким-то ужасным чувством наслаждения и говорил: „Это вам, вражьи ляхи, поминки по Остапе!“ — и такие поминки по Остапе отправлял он в каждом селении». Так соединяются мотивы огненного языческого жертвоприношения и погребального костра, адского огня и сожжения еретиков (аутодафе), избиения младенцев, Божьей кары — Потопа и, видимо, Апокалипсиса. Однако, согласно выявленному нами принципу антитетического единства, здесь огненный демонизм «исступленного седого фанатика» представляет собой лишь иную сторону его религиозного энтузиазма.

На пиру перед битвой Бульба выступал в роли священника, ведущего литургию, где «Телом Христовым представало соборное тело „товарищества“, что оставалось нерушимо целостным после ухода Андрия, потерь и даже раскола в запорожском войске» (*Вайскопф*, 603—604), «горелка» из боевой рукавицы была причастием — кровью Христа, которая объединяет козаков, проливающих за Веру кровь, и приобщает их к смерти («...чтобы как эта горелка играет и шибает пузырями, так бы и мы шли на смерть»), а Сечь была названа оплотом Веры (фактически Церковью), противостоящим «всему бусурманству» и порождающим Козачество. Вместе с тем пожелание Тараса, чтобы «вера Христова» разошлась бы «по всему свету... и все бусурмены поделались бы наконец христианами», — двусмысленно, ибо предвещает появление антихриста и конец света.

На Бульбу отчасти ложится отсвет Небесного Отца и Его Сына: ведь Тарас всегда мечтал о «подвигах... которые представляли <бы> ему мученический венец по смерти». О том же свидетельствуют отмеченные нами евангельские аллюзии: своеобразное «триединство» отца и сыновей, 13 всадников (где предводитель напоминает Христа, а кто-то — Иуду). Об этом же говорит обращение Остапа перед последними, смертными муками к «батьке», как Христа к Богу-Отцу (Мф. 27:46), только «батько» здесь внимает сыну и откликается (*Вайскопф*, 610). Другая ипостась этого об-

раза — «страшный отец», убивающий сына-отступника. Мотив сыноубийства отчетливо перекликается с жертвою сына-агнца, которую Бог требовал от Авраама (Там же. С. 609—610). Видимо, данная ипостась отражает ветхозаветный принцип родовой кары. Ведь увидеть Остапа и спасти от смерти — его одного! — Тарас пытается с помощью демонических персонажей, поклоняющихся ветхозаветному богу Яхве и связанных со смертью (Там же. С. 607—609), а затем мстит за Остапа по ветхозаветному принципу.

Потеря и поиск люльки ведут к трагической смерти героя. «Одни усматривали в этом „немотивированный обрыв" эпико-героического пафоса, другие объявляли эту сцену следствием сплетения двух изобразительных аспектов — эпико-героического и комического», но «казацкая люлька здесь отнюдь не бытовая, а *художественная* деталь. В структуре финальной сцены она приобретает значение эпического символа, широко обобщающего народно-патриотические идеалы героя», — пишет А. Карпенко. По его наблюдению, у фольклорного «символа люлька-свобода» разные значения: в песнях «палити люльку» — метафора национально-освободительной борьбы, потеря же *люльки* — это «потеря благополучия». Например, в народной песне про козака Вакулу, известной Гоголю по учебнику Ал. Павловского «Грамматика малороссийского наречия» (СПб., 1818), поиски утерянной *люльки* в «годину злую» приводят героя к гибели. Таким образом, в различных жанрах: «в предании, пословицах, песне — образ *потерянной люльки* символизирует урон достоинства казака — его чести, свободы, вольного казакования» (*Карпенко*, 132—133).

Различные ипостаси героя соединяет сцена казни. Со взятым в плен атаманом поляки обращаются, как с диким зверем, пойманным на охоте (нам это знакомо по отрывку «Пленник»): «...прикрутили руки, увязали веревками и цепями, привязали его к огромному бревну...» — в результате получится подобие фигуры языческого божества на корабельном бушприте; впрочем, сохранен и намек на распятие: «...правую руку, для большей безопасности, прибили гвоздем... он стоял выше всех и был виден всем войскам» — но «как победный трофей удачи». «Белые волосы» — знак мудрой старости, почитаемой «первобытными народами»*, обреченно развевались на ветру. Такая зависимость от воздушной стихии говорит о некой «спиритуальности» героя, лишенного земли и — соответственно — силы (как Антей): «Казалось, он стоял на воздухе, — и это, вместе с выраже-

---

* В статье «О движении народов...» указано, что «старейшинами семейств» у древних германцев были «седовласые (grawion), после изменившие это название в графов...» (*Ар.*, 180; см. также примеч. 131 на с. 471).

нием сильного бессилия, делало его чем-то похожим на духа, представшего воспрепятствовать чему-нибудь сверхъестественною своею властью и увидевшего ее ничтожность». Однако, теряя физическую, земную мощь, предчувствуя, что его «заживо разнимут по кускам и что кусочка... тела не оставят на земле», Тарас, верный долгу Товарищества, с «высоты» своей казни указывает козакам путь к спасению — «под кручею» на берегу реки, на границе *земли*, *воды* и *воздуха*, — а ветер доносит его слова. И козаки, «соприродные» стихиям (вспомним Степь!), «перелетели» пропасть и затем, не обращая «никакого внимания» на «град пуль», отчалили от берега и «плыли под пулями и выстрелами... хорошенько выправляли парус, дружно и мерно ударяли веслами и говорили про своего атамана». То есть мятежный Тарас остается на земле Словом Божьим.

Таким образом, повесть о *семье козаков*, начавшаяся встречей отца и сыновей, заканчивается исчезновением этого *козацкого рода*. Испытания героев приводят к измене Андрия и его позорной смерти от руки отца, а затем к мученической, «апостольской» гибели рыцарей православия Остапа и Тараса во имя Веры и Товарищества.

V

Временной план гоголевского повествования вполне можно объяснить формулой *противоречивого единства*, ибо здесь обнаруживаются противоречия, свойственные <Главам исторической повести>, то есть среди хронологических обозначений в повести «Тарас Бульба» основными тоже выступают приметы Хмельнитчины 1648—1650-х годов. Так, указано, что в Академии (точнее, Киевско-Могилянской коллегии, основанной П. Могилой в 1632 г.) сыновья Бульбы были во времена Адама Киселя, воеводы Киева в 1649—1652 годах, который вел переговоры с Хмельницким от имени польского правительства. Только в эту эпоху стал принципиально возможен поход на Польшу (до тех пор козаки традиционно связывали с ней определенные политические ожидания и экономические интересы), и козацкую осаду город Дубно испытал лишь в 1650-х годах. Упомянутый в тексте коронный гетман Николай Потоцкий (ум. 1651) руководил с 1646 г. подавлением козацко-крестьянских восстаний на Украине и был захвачен в 1648 г. козаками Хмельницкого. А использованные в повести записки об Украине Г. Л. де Боплана охватывали период, когда тот служил в польской королевской армии: с 1631 г. и до начала Хмельнитчины в 1648 г. *Гетманщиной* называли Левобережную Украину после Хмельнитчины, но в повести это наименование применено

в более широком и пространственном, и хронологическом плане — по словам М. А. Максимовича, ко всей истории Украины: «**Гетьманщиною** называлась Украина от своих вождей, кои именовались **гетьманами**, по примеру вождей литовских, называвшихся *гетманами*, *гедманами* или *гедиманами*, вероятно по имени славного *Гедимина*» (*Максимович 1834*, 20; шрифт изменен автором).

Другие — собственно хронологические и более общие указания — противоречат времени Хмельнитчины и друг другу. Так, в начале повести определено, что время действия «касалось XVI века, когда еще только что начинала рождаться мысль об унии» — не ранее 1580-х годов. Но далее сказано, что Бульба «был один из тех характеров, которые могли только возникнуть в грубый XV век и притом на полукочующем востоке Европы...» — а следом идет датировка, которая отменяет и первую, и вторую: он стал полковником на Запорожье, «когда Баторий устроил полки в Малороссии», — на рубеже 1570—1580-х годов. После гибели сыновей 60-летний Тарас участвует в движении Остраницы (конец 1630-х годов), и среди причин восстания уже названа «уния» 1596 г.

Не стоит забывать, что писал это отнюдь не дилетант — из тех, кто обращается со временем играючи, а преподаватель всеобщей истории, по долгу службы требовавший знания хронологии от учениц Патриотического института и сам на основании дат составлявший синхронистические таблицы по истории (см.: *Лонгинов М. Н.* Воспоминание о Гоголе // *ГВС*, 72). К тому же даты эти были в то время общеизвестны и употреблялись в исторических романах вполне адекватно, как, например, в упомянутых выше опусах Петра Голоты с безукоризненной хронологией, явно взятой из «Истории Малой России» и/или гимназических учебников.

Но может ли быть, чтобы время действия, которое в принципе должно соответствовать жизни заглавного героя, занимало **три** века? — Действительно, в черновой редакции все происходило **только в XV в.** (конец Средневековья). Далее под «жестоким веком» автор стал понимать мифологическое время **украинского Средневековья** и для его обозначения использовал приметы XV—XVII веков. **Хмельнитчина** же — время наивысшего подъема Козачества, когда оно стало грозной независимой силой. Подобное обозначение времени мы находим в «Гайдамаке» Сомова: слушая песни бандуриста, слушатели вспоминают «старую Гетманщину, времена Хмельницкого, времена истинно героические, когда развившаяся жизнь народа была в полном соку своем, когда закаленные в боях и взросшие на ратном поле казаки бодро и весело бились с многочисленными и разноплеменными врагами и всех их победили; когда Малороссия почувствовала сладость свободы и самобытности народной и сбросила с себя иго вероломного

утеснителя, обещавшего ей равенство прав, но тяжким опытом доказавшего, что *горе покоренным!*» (*Гайдамак*, 183—184)[63].

Кроме того, обозначены и другие периоды той эпохи — какими они остались в памяти народа: 1) время «за короля Степана» (1570-е годы), которым Гоголь принципиально ограничивал свое историческое повествование: именно при польском короле Батории козаки были признаны серьезной военной силой и организовано их войско; 2) время после Брестской унии 1596 г., когда уже «переполнилась» чаша народного терпения, — период национально-освободительной и религиозной борьбы, козацко-крестьянских восстаний. Два самых известных, согласно «Истории Русов», выступления закончились тем, что гетманы Наливайко и Остраница, которые попали с полковым чином в руки поляков, были казнены, приняв мучения и смерть за Веру, подобно апостолам, святым и великомученикам (св. Георгию или вмч. Евстафию).

Если в статье Гоголя «Взгляд на составление Малороссии» появление козаков было, вслед *ИГР*, датировано «концом XIII... началом XIV века» (*Ар.*, 80), то становление Козачества как воинства Православного в повести, видимо, отнесено к XV в. и связано с падением Византии. Дело в том, что набеги козаков на черноморское побережье Малой Азии напоминают и морские завоевательные походы викингов (в Западной Европе их называли норманнами, на Руси — варягами) против христианских государств Северной Европы, и военные экспедиции древнерусских князей варяжского происхождения к христианскому Царьграду. Это подтверждают звучащие в повести (особенно во 2-й редакции) мотивы «бешеного веселья» в бою, посмертной славы, воздаяния в горнем мире — родственные языческим представлениям о войне и Валгалле у древних германцев (*Вайскопф*, 599), о которых в статье «О движении народов...» Гоголь писал: «Они жили и веселились одною войною. Они трепетали при звуке ее, как молодые, исполненные отваги тигры. Думали о том только, чтобы померяться силами и повеселиться битвой. Их мало занимала корысть или добыча. Блеснуть бы только подвигом, чтобы после пересказали его дело в песнях» (*Ар.*, 179). Но — в отличие от древних германцев, викингов и воинов дохристианской Руси — козацкие «лыцари» борются против врагов христианства на захваченной «бусурменами»-язычниками территории Византии (на эту борьбу, заметим, не отваживалось ни одно христианское государство со времен Крестовых походов!). Разоряя турецкие прибрежные города, дважды осаждая Стамбул, который они именуют по-прежнему Царьградом,

---

63 При публикации повести в «Невском альманахе на 1827 год» именно эту фразу не пропустила цензура.

козаки таким образом мстят за гибель Византии, откуда их предки приняли Православие в X в.

Царьград-Константинополь был колыбелью Православия: именно здесь в 381 г. Вселенский собор принял Символ Веры, запечатлевший суть Православного вероучения. После разделения Римской империи (395 г.) это столица Восточной Римской, а затем Византийской империи, где в IX—XI веках формировались богословские основы Православия. Во время Крестового похода 1202—1204 годов (откровенно направленного против Византии) ее столица была взята и разграблена католическими рыцарями-крестоносцами, что, в конечном счете, способствовало падению православного государства. Захваченный в 1453 г. город турки-османы стали называть Истанбул. Идея возвращения Константинополя питала «греческую» политику Российской империи: подобное завоевание означало бы торжество Православия и России, тогда как западные государства около трех веков не могли освободить от язычников бывшую христианскую столицу.

В начале 1830-х годов эти исторические аллюзии были более чем актуальны. Последняя по времени Русско-турецкая война 1828—1829 годов разразилась из-за поддержки Россией национально-освободительной борьбы греков-этеристов (их вождь Ипсиланти ранее был генералом русской службы, а первым президентом Греческой Республики стал бывший российский дипломат граф Каподистрия). Сначала Франция и Англия поддерживали Россию в «греческом вопросе» против турок. Но победы русской армии и ее продвижение на Балканы обозначили реальную перспективу разрушения Османской империи, а затем объединения славянских православных и неправославных народов вокруг державы-победительницы, которая таким образом вышла бы в Средиземноморье. И когда ее армия стояла у ворот Стамбула, Англия, Франция и Австрия нейтрализовали дальнейшие усилия России, разрушив Священный союз, заключенный христианскими европейскими государствами в 1815 г. Президент Каподистрия погиб в результате заговора. Запад также инспирировал, а затем поддержал Польское восстание 1830—1831 годов. И потому официальное и общественное мнение в России восприняло борьбу с польским мессианизмом как «священную войну» (*Вайскопф*, 594—596). По-видимому, этим и объясняется, почему в 1-й редакции повести «Тарас Бульба» славяне-католики фактически поставлены ниже «неверных» — турок, крымских татар и демонических персонажей — и почти не персонализированы в открытом единоборстве с козаками.

Историософскими взглядами писателя обусловлены и ужасающие читателя черты этой *эпохи* (свирепость и неистовство козаков, неприятие и уничтожение всего чуждого, казни невинных, «избиение младенцев», сыно-

убийство и под.). Средние века, по мысли Гоголя, — это время жесточайшей борьбы христианства с язычеством, подобное *ветхозаветному*, и потому под Средневековьем на Украине он понимает эпоху XV—XVII веков, когда православное Козачество боролось против мусульманства, с одной стороны, а с другой — защищалось от католичества, униатства и протестантизма. На этом пути были колебания, было предательство (такова измена Андрия, напоминающая *библейскую* историю обольщения Олоферна Иудифью. — *Комментарии* СС. Т. 1/2. С. 467). Конец этому положило воссоединение с единоверцами, которое многие затем пытались подвергнуть ревизии, а то и разрушить. Последней была попытка гетмана Мазепы.

По Гоголю, «великая истина» состоит в том, что в истории «в общей массе всего человечества душа всегда торжествует над телом» (VIII, 24). Но если во времена Авраама человек во имя Веры порывал с природой, с кровными, семейными узами, то в конце Средневековья он уступает своей греховной природе (чёрту). Перекличка времен подчеркнута и тем, что евреи — мелкие торговцы в Сечи, арендаторы, жители варшавского гетто — носят библейские имена: *Шлема* и *Шмуль* — уменьшительные от имен легендарного царя Соломона и пророка Самуила, последнего судии народа Израильского; *Янкель* — от Иакова, сына Исаака и Ревекки, которого Яхве впервые назвал Израилем (о *лестнице* Иакова в связи с Андрием см. с. 366); *Мардохай* от героя Мардохея — благодаря ему и его племяннице Есфири иудеи, находившиеся под властью царя Артаксеркса, были спасены от гибели и отомстили своим врагам. Показанные в повести потомки библейских героев живут мелкими, корыстными, в конечном счете — чужими интересами потому, что они лишены своей земли, основы естественной жизни народа, а изображение варшавского гетто, его обитателей и «внутренности» их домов напоминает картины «грязного ада» в «Энеиде» И. П. Котляревского. На этом фоне настоящими героями, подобными библейским (хотя и такими же неистовыми, жестокими, кровожадными!), предстают защитники Украины и Веры — Тарас и Остап Бульба и запорожцы, олицетворяющие Козачество!

Очевидно, типичность, символизм и «синтетичность» этих образов в «Тарасе Бульбе» обусловлена множеством исторических, мифологических и литературных связей. Это же определяет со- и противопоставление типов: **семья** Бульбы (жена — Тарас — сын Остап — сын Андрий) — **запорожцы** (отдельные козаки — их группы — кошевой) — **враги** («татарва», «ляхи», варшавская толпа и люди из толпы — панночка — ее брат — служанка татарка — французский инженер — усатый гайдук — палач и др.), — чьи отношения характерны для того времени. И когда автор «высвечивает» из массы какое-то лицо, этот тип не имеет имени (пьяный,

плящущий, довбиш — «единица массы» в разной степени индивидуализации) или носит характерное, типизирующее имя (ср., как прозвища запорожцев в сцене встречи с Бульбой отражают их судьбы).

Все это, как и рассмотренная нами «синтетичность» мифологического времени повести, определяет ее близость к *эпопее*, которая понимается как правдивая героическая (по)весть (песнь, дума) о самых важных, переломных, судьбоносных моментах в жизни народа. Здесь картину народного прошлого определяют герои-богатыри, что противостоят чуждому, не-Православному миру, дают отпор врагам, — и потому независимы, строптивы, неистовы, даже демоничны. Исторические и мифологические истоки гоголевской *эпопеи* отчетливы: она близка преданию, волшебной сказке, летописи, исторической песне (думе), рыцарскому роману, она патриархальна — понимая общественные отношения родовыми, кровными (козаки называют друг друга «братами», братья Остап и Андрий становятся врагами), а сама Запорожская Сечь видится обращенной в прошлое национальной социально-религиозной утопией, противопоставленной изначальной идиллии в семье Бульбы.

VI

Размышления о религиозной подоплеке повествования у Гоголя приводят нас к одному из центральных образов его творчества. Храм — это модель мира, которая отражает то или иное представление о его устройстве, символизируя гармонию «внешнего» и «внутреннего». Поэтому изображение храма метафорично, ибо оно передает «дух» или «идею» эпохи, основные, порой противоречивые интенции развития общества. Подобное соотнесение свойственно общественному сознанию любой эпохи, будь то размышления о «долгострое» Исаакиевского собора как памятнике «двух царствований» или образ разоренной (перестроенной в клуб) церкви, который, пожалуй, лучше всяких исследований помогает понять, что произошло с нами, нашей страной и нашей культурой. В христианской аксиологии человек воплощает собой Храм Божий — по словам апостола Павла, «вы храм Бога жива...» (2 Кор. 6:16). *Храм* символизирует *Веру*, *Отечество*, *народ*, *его верховную власть*, *дом* и *семью*. Для романтизма, обращавшегося к национальному на основе христианского, использование этой метафоры было принципиально: таким, например, изображали средневековый храм В. Скотт и его русский последователь М. Н. Загоскин; воплощенной метафорой стал роман В. Гюго «Собор Парижской Богоматери» (1831). Гоголевская статья о средних веках представляла их так: «...величествен-

ные, как колоссальный готический храм, темные, мрачные, как его пересекаемые один другим своды, пестрые, как разноцветные его окна и куча изузоривающих его украшений, возвышенные, исполненные порывов, как его летящие к небу столпы и стены, оканчивающиеся мелькающим в облаках шпицем» (*Ар.*, 19). В раннем творчестве Гоголя метафора храма имеет особое значение.

Образ «природного» храма возникает в первом же произведении, которое Гоголь подписал своим именем. В философском диалоге «Женщина» (*ЛГ.* 1831. № 4) место действия обозначено несколькими деталями: мраморная колонна с коринфским оглавием, купол и — главное — как бы растворяющее стены обилие света, что создает представление не столько о культовом сооружении, сколько о «пространстве Света» — добра, мудрости, красоты. Но здесь и капище языческого идола, пренебрежительно названного «истуканом». Далее подобная двойственность будет свойственна и монологу Платона, который говорит о Зевсе, Аиде, многобожии наравне с утверждениями о Боге и рае, — это, с точки зрения романтиков, было основным противоречием «юной и светлой» древнегреческой эпохи. Само пространство «храма природы» (здесь, несомненно, прообраза христианской церкви) как бы инициирует мудрость платоновских суждений (прообраз и фундамент будущего христианского богословия), предопределяя последующее примирение Телеклеса с Алкиноей и возникающее духовное единство всех героев.

Образ «природного», простого, аскетичного православного Храма на страницах повести «Тарас Бульба» и фрагментов, посвященных истории Украины, воплощает «всю летопись страны, терпевшей кровавые жатвы». В <Главах исторической повести> именно «старая, истерзанная временем, покрытая мохом» сельская церковь становится на Пасху местом стихийного выступления козаков против оккупантов и их приспешников. Прямое нарушение канонов (оружие в храме, насилие) обусловлено народной ненавистью к тем, кто, используя силу, попирает православные традиции, обычаи предков. Сама борьба за Веру оправдывает в глазах козаков насилие (даже «злодейства», как сказано в черновике «Тараса Бульбы») и то небрежение религиозными установлениями, какое, например, проявляется по отношению к храму: «И вся Сечь молилась в одной церкви и готова была защищать ее до последней капли крови, хотя и слышать не хотела о посте и воздержании», — а по словам кошевого атамана, «не то уже чтобы снаружи церковь, но даже образа без всякого убранства; хотя бы серебряную рясу кто догадался им выковать; они только то и получили, что отказали в духовной иные казаки; да и даяние было бедное, потому что почти всё пропили еще при жизни своей». Затем, по давнему наблю-

дению исследователей, во второй редакции «Тараса Бульбы» аскетизм «деревянной небольшой церкви» будет противопоставлен обольстительному великолепию католического собора так же, как простое ратное снаряжение козаков окажется противопоставлено показному богатству наряда и оружия «польских витязей». При этом образ католического храма создается сочетанием противоречивых мотивов: «земляные» мрак, теснота и сырость ведущего к храму подземного хода завершаются «маленькой железной дверью», за ней — «большой простор» и «высокие темные своды»; общая молитва «о чуде», общие смиренные позы молящихся — и некая разъединенность их между собой; «темный угол» — озаряющий свет — его разложение на «голубые, желтые и других цветов кружки» — «радужно освещенное облако»; «величественный стон органа» — «тяжелые ропоты грома» — «небесная музыка» — и вновь «густой рев и гром» (II, 95—97). Все это потрясает чувства восприимчивого героя. И предательство Андрия в данном случае объясняется не только «податливостью его природы» дьявольскому (здесь: явно индивидуалистическому, «европейскому») соблазну гордыни, славы, богатства и забвением догматов Веры, но и пробуждением в нем эстетического чувства, когда герой преклоняется перед «внешней» красотой (богатым убранством и музыкой костела или панночкой, в его глазах подобной Мадонне).

По Гоголю, дьявольское с течением времени все больше «порывается показаться в мир» («Портрет»; *Ар.*, 72), искажая образ Божий в человеке. **Идиллия** и **эпопея** в «Миргороде» сменяются **мистерией** (точнее, мираклем[64]), а затем и откровенной **сатирой** на мелкое убожество «существователей» Нового времени. За героическим эпосом «Тараса Бульбы» следует устрашающе-поучительная фантастика «Вия», вырастающая, как указывал автор, из «народного предания». Разрушена общая козацкая семья-республика Сеча — и все больше сирот без роду и племени, которым, собственно, нет дела до других и до всего света, если нечего поесть. Они еще помнят, каким должен быть Козак, держат в голове догматы, молитвы, заклинания и применяют при случае, да и службу, в общем, знают, только смысл этого для них почти утрачен, словно в песне, которую напевают пьяные козаки, везущие Хому к сотнику (показательна ирония автора в отношении боевого их прошлого и крепостного настоящего: «Небольшие рубцы говорили, что они бывали когда-то на войне, не без славы», а «свитки из тонкого сукна с кистями показывали, что они принадлежали

[64] Миракль (фр. miracle, от лат. miraculum — ‘чудо’) — жанр средневекового драматического представления религиозного характера, изображающего чудо: вмешательство «небесных сил» в судьбу человека, которое приводит к торжеству добродетели и наказанию порока.

довольно значительному и богатому владельцу»). И в той же «республиканской» бурсе, казалось бы, всё почти так же, как было у Остапа и Андрия (налеты на рынки и сады, бурсацкие забавы и стычки, за исключением более мягкого, «либерального» отношения к торговле и торговкам), и... нет былого единства! Об этом сказано в самом начале повести. Колокол *Братского* монастыря звонит, указывая путь к Слову Божиему, но чаемое христианское *братство* семинаристов уже расколото на толпы «своекоштных» и бурсаков, на «грамматиков, риторов, философов и богословов», «авдиторов» и «цензоров», на тех, кто покупает на рынке, и тех, кто может только попросить, отнять или украсть. Оттого сражения за первенство и результаты их постоянны. Походы же и битвы за веру христианскую для Хомы Брута и таких же, как он, — только **прошлое**. Бульба и его соратники не боялись ничего, пока находили опору в Вере, — мир «Вия» пронизан страхом: человека здесь обессилила формальная, недостаточная вера, легко заглушаемая «материальными» соблазнами плоти и «внешней» красоты, которые разделяют людей.

Символом этого в повести становится образ «темного» храма: «Церковь, деревянная, почерневшая, убранная зеленым мохом, с тремя конусообразными куполами, уныло стояла почти на краю села. Заметно было, что в ней давно уже не отправлялось никакого служения <...> ее ветхие деревянные своды» показывали, «как мало заботился владетель поместья о Боге и о душе своей». Внутри церкви «черный гроб», «темные образа»; «Отдаленные углы... закутаны мраком <...> Позолота в одном месте опала, в другом вовсе почернела; лики святых, совершенно потемневшие, глядели как-то мрачно»; и даже когда Хома зажигает много свечей, «вверху только мрак сделался как будто сильнее, и мрачные образа глядели угрюмей...». Темнота, мрак — метафоры «морока» недостаточной веры Хомы, и здесь свет «физический» не может заменить «духовного Света». Недаром «темнота» усугубляется «страшной, сверкающей красотой» покойницы — «внешней» красотой, поражающей и соблазняющей героя, который всегда осознавал себя «черт знает чем»: такая красота воздействует через телесную сферу и эстетическое чувство на его самосознание. И панночка, оживающая перед героем, — это *чудо*, которого он боится и... ждет: «Вот, вот встанет! вот поднимется, вот выглянет из гроба! <...> Что... если встанет она? <...> Ну, если подымется?..» — хотя раньше Хома убеждал себя: «Ведь она не встанет из своего гроба, потому что побоится Божьего слова».

В заупокойной службе кратко изображается вся судьба человека. Он, несмотря на множество грехов, остается «образом славы Божьей», который создан по образу и подобию Божьему, и Церковь молит Господа, по Его неизреченной милости, простить усопшему грехи и удостоить его Царствия

Небесного, и потому в чтениях говорится о будущем воскресении. Мертвое тело «полагается во гроб как бы в ковчег для сохранения», а зажженные свечи «напоминают о переходе умершего от темного жития земного к свету истинному»; по объяснению С. Солунского, они изображают собою «непрестанный Божественный свет, которым просвещен христианин в крещении... вместе с этим... свет служит „прознаменованием будущего, не вечереющего света“» (*Булгаков*, 1198, 1200, 1203). Но вот, когда Хома читает в «темном» храме о будущем *воскрешении души*, происходит противоестественное *оживление* мертвой ведьмы, а ее «страшная красота» превращается в ужасающее безобразие «трупа».

Фольклорный сюжет о мертвой ведьме, которая в церкви ожила и убила или изуродовала того, кто ее отпевал (*РДС*, 67—68), в то время был достаточно распространен. Подобные славянские и европейские сказки о ведьме, в зависимости от структуры фольклорного сюжета, можно разделить на три группы (см.: II, 737—742). В основной группе сказок сюжет таков: парень любит дочь ведьмы, но вместо свадьбы по каким-то причинам оставляет ее, и та начинает мстить; ночью она в виде кошки приходит к парню, он же, предупрежденный матерью, раньше девушки успевает набросить на нее уздечку и вскочить ей на спину. Превратившаяся в коня ведьма носит на себе парня до тех пор, покуда в полном изнеможении не падает на землю и не умирает, вновь обращаясь в девушку. По требованию ее родителей, парень как виновник смерти должен три ночи провести около гроба, читая псалтырь. Там ему видятся разные ужасы, из ночи в ночь усиливающиеся, но, по советам родителя (матери, деда...) или предка, ему удается избежать гибели. Поскольку ни умершая ведьма, ни прочие мертвецы не могут переступить черту и увидеть парня, то на третью ночь они обращаются за помощью к «старшей ведьме», которая и указывает на парня, но в это время поют петухи. Обычный финал большинства таких сказок: парень остается жив, а ведьму уничтожают. Но есть несколько сказок, в конце которых после испытанных ужасов умирает и сам парень.

Сюжетная схема другой группы сказок отличается от основной зачином и структурой персонажей. Так, главный герой волею судьбы оказывается в селе (городе, другой стране), где умершая дочь помещика/воеводы/царя убивает всех, кто должен провести три ночи около ее гроба. Герой пытается бежать, но «добрый советник» (старик или старуха) останавливает его и уговаривает провести ночь у гроба. Далее все происходит, как в сказках основной группы: герой переживает ряд ужасов, ужасы нарастают; на третью ночь, когда мертвая дева встает из гроба, герой ложится в гроб и не встает, пока не начинают петь петухи. «Заклятие» спадает с девушки, власть нечистой силы разрушена, и сказка заканчивается свадьбой. Мо-

дификацией подобных сказок являются их варианты о бесстрашном герое (в частности — некоторые сказки Афанасьева и братьев Гримм). Такой герой хочет испытать себя и вызывается провести ночь около гроба умершей ведьмы в доме или заколдованном дворце. Все это также заканчивается благополучно: девушка (царевна) освобождена от заклятия, и герой женится на ней.

Исследователями также отмечено, что очередность эпизодов «Вия» (когда Хома отвергает ведьму, она кошкою прыгает ему на спину и заставляет бежать как коня) соответствует последовательности эпизодов в сказках основной группы. Но если в повести «Майская ночь» Гоголь сохранял конкретный фольклорный мотив *превращения* ведьмы в кошку, то здесь он заменяет его сравнением: ведьма прыгает на спину Хоме, *как* кошка; Хома не превращается в коня, но, *как конь*, везет ведьму и т. п. Затем он начинает избивать ведьму подобранным на дороге поленом — так же, как герои сказок убивали ее осиновым поленом или «дубчиком» (аналогичным осиновому колу). Из этого следует, что Гоголь не просто соединял отдельные мотивы, взятые из различных вариантов сказок о ведьмах, но следовал сюжетной схеме именно сказок основной группы. А принципиальное отличие «Вия» от них в том, что в повести **нет** сакрального или демонического «добровольного помощника», который советовал герою сказки, как тому поступить, чтобы не погибнуть. Обычно это был «носитель знаний»: старик/старуха, мать/отец (или другие *старшие* родственники), иная ведьма или колдун, в церкви герою помогал священник, или св. Николай, или апостол Петр...

В повести же, по-видимому, **чудесное** в основном связывается с характером маргинального героя, с его «податливостью» искушению, с его отступлением от канонов церковной службы из-за боязни мирского суда или наказания (согласие отпевать убитую им же и, как явствует, «нераскаянную» ведьму) и, наконец, совмещением экзорцистской практики с богослужением. Нарушением канона является и неосмысленное, «механическое чтение» — во хмелю[65], с помыслами о «люльке», — должно было читать «со умилением и сокрушением сердечным, разумно, со вниманием, а не борзясь, якоже и умом разумевати глаголемое» (цит. по изд.: *Булгаков*, 1201). Эти мотивы «неправильного служения» будущего церковнослужи-

---

[65] В одном из эпизодов повести В. Т. Нарежного «Два Ивана, или Страсть к тяжбам» (1825) дьячок Фома отпевает в церкви как покойника мертвецки пьяного пана Занозу и впадает в прострацию, когда тот просыпается, а затем оба, по случаю «воскрешения», возобновляют возлияние, горланят псалмы, вызывая ужас домашних и священника, которые идут в церковь крестным ходом изгонять нечисть.

теля подтверждают исконную, органическую «неправедность» героя — соответственно мысли Гоголя о постепенном, *историческом искажении* образа Божьего в человеке Нового времени. По словам православных исследователей, «можно отметить целый ряд черт, характеризующих героя именно как „духовного недоросля". Это его рассеянность в молитве (при постоянном в то же время поминании нечистой силы), это несоблюдение героем постов, его душевная и физическая леность, „стоическое" пребывание в нравственном нечувствии к добродетели и скорая податливость ко греху, невосприимчивость героя к очистительному воздействию выпадающих на его долю испытаний; праздное любопытство, упование на собственные силы, суеверие вместо веры, стремление к сытости и покою, сибаритство, блуд, пьянство, — и закономерно вытекающее отсюда отсутствие упования на Бога, уныние и отчаяние» (*Виноградов 2000*, 100).

Поэтому все происходящее в «темном» храме первой и второй ночью можно истолковать как видения Хомы от страха, нечистой совести, обильного предшествующего возлияния и проч. («...страх загорался в нем вместе с тьмою, распростиравшеюся по небу»), когда человек бессилен против «темного» в себе и своем мире. Уже на вторую ночь защита его храма нарушается будто бы извне: «...вдруг сквозь окна и двери посыпалось с шумом множество гномов, в таких чудовищных образах, в каких еще не представлялось ему ничто, даже во сне»*. А дальнейшее, неоднократно переработанное Гоголем описание «гномов» и самого Вия (см.: II, 574—575, 583—586), по-видимому, совмещает черты католических химер, языческих божеств и человеческих монстров. Но следует уточнить давнее «наблюдение, что завязнувшие в окнах и дверях церкви гномы... определенно соотносятся с химерами готических храмов» (*Комментарии* СС. Т. 1/2. С. 482). Химеры изображали грехи человеческие, языческих идолов или дьявольские силы, для которых освященное пространство недоступно, и потому всегда находились **вне** храма. А гномы «Вия» легко проникают в пространство «темного» храма и... остаются: они «завязнули» не только в углах, окнах и дверях, но и — в самом куполе, который, как известно, символизирует Небо.

Примечательно, что эти «гномы» удивительно схожи с образами фантастических чудовищ на картинах Иеронима Босха, которые Гоголю не могли быть известны (о художнике забыли в XVII в. и вновь «открыли» лишь в начале XX в.). Вместе с тем гениально разработанные Босхом изображе-

* В канонической редакции это произойдет лишь на третью ночь: «Вихрь поднялся по церкви, попадали на землю иконы, полетели сверху вниз разбитые стекла окошек. Двери сорвались с петлей, и несметная сила чудовищ влетела в Божью церковь» (II, 216).

ния обитателей ада послужили образцами для работ на подобные сюжеты Питера Брейгеля Старшего, чьи гравюры для простонародья были широко известны в Европе. С конца XVIII в. эти гравюры Брейгеля — в частности, «Искушение св. Антония», аллегорические изображения «Грехов» и «Добродетелей» — находились в собрании Публичной библиотеки, тогда же появилась русская лубочная картинка «Бесы искушают св. Антония» (см. об этом: *Ландер*, б/п). Распространенными были копии с картины художника Б. Мурильо на этот сюжет. Одна из таких копий находилась в с. Михайловском, и пушкинские впечатления от нее, возможно, в какой-то мере повлияли на характер изображения чудовищ во сне Татьяны, которые похожи и на «галерею карикатур» мелкопоместных соседей, съехавшихся на именины Татьяны (*Бродский*, 236). Гоголь мог видеть эти и подобные изображения в Публичной библиотеке, в Академии художеств и во время первого заграничного путешествия 1829 г. в Германии. Кроме того, одним из возможных литературных источников, уже известных пушкиноведению, могло быть описание нечистой силы в «Русских сказках» М. Чулкова (1783): «Вся комната наполнилась дьяволами различного вида. Иные имели вид исполинский, и потолок трещал, когда они умещались в комнате; другие были так малы, как воробьи и жуки с крыльями, без крыльев, с рогами, комолые, многоголовые, безголовые, похожие на зверей, на птиц и все, что есть в природе ужасного. Все ревели, страшно выли, сипели, скрежетали и бросались на богатыря» (цит. по изд.: *Сиповский*, 470).

Такие сближения, а также определенное типологическое сходство между гномами «Вия» и чудовищами из сна Татьяны («Евгений Онегин», гл. 5, XVI—XIX; об этом см.: *Лотман 1980*, 272) позволяют предположить, что одним из главных сюжетообразующих элементов повести был фольклорный мотив смешения похоронного и свадебного обрядов, ранее представленный в «Главе из исторического романа» и «Вечере накануне Ивана Купала» (см. примеч. 28 на с. 522). Этот мотив здесь отчетливо связан с «дьявольской свадьбой» — «свадьбой наоборот», влекущей смерть одного или обоих участников, и осложнен Купальской символикой и гаданием на «суженого». Свадебную тематику в повести уже не раз опознавали (см. об этом: *Виноградов 2000*, 87—91), но ее нельзя правильно истолковать, не допуская, что ведьма-панночка, по обряду гадания, сделала Хому «суженым» и/или узнала о нем что-то очень важное, чего он не знает о себе сам. Поэтому она и смогла заманить героя вместе с другими бурсаками, отделить от них в «овин» — одно из сакральных мест гадания и тут воздействовать на него. В черновой редакции сотник вспоминал, как она говорила ему перед смертью о Хоме Бруте: «Он знает меня, пусть только вспомнит в овечьем...», — не произнося слова «овин».

Вместе с тем образы чудовищ, чье пространное описание будет сведено в канонической редакции «Вия» до минимума, — это не только различные гротескные воплощения дьявола или Вельзевула, но и знаки-«эмблемы» *земных пороков* Хомы, явленные в его сознании, поскольку слово *гном* в гоголевской «Книге всякой всячины» имело значение «знак»: «Следующими гномами изображают вес аптекарский...» (*Комментарии* СС. Т. 1/2. С. 473, 483). Так, «правильная пирамида» — символ эгоизма, челюсти вместо ног — чревоугодия, ломка «длинного языка» — это болтливость и полуправда, то есть ложь... Подобные пороки («духи земли», европейские гномы) возникают, когда «голый человек на голой земле» пытается подменить общий спасительный храм-«ковчег» Веры — личным, ограничивающим ее земным «кругом»... *Земля* нависает над Хомой вместо храма «крутой горой» с бурьяном, по которой обратно в Киев идет дорога, запретная для героя. *Земле* принадлежит соблазняющее его «демоническое» золото. И хотя герой говорит старухе, что не оскоромится в пост «и за тысячу золотых», но уже назавтра, оказавшись в затруднительном положении, разыскивает на рынке молодую вдову и за известные услуги, помимо всего прочего, получает и «ползолотой». У гроба, еще не видя покойницы, Хома надеется, что ему за службу «пан набьет... оба кармана чистыми червонцами». И обещание сотника о награде за «христианское дело» также имеет отнюдь не христианский смысл: «Не исправишь (здесь: не выполнишь. — *В. Д.*) — не встанешь; а исправишь — тысяча червонных!» Это возвращает к отказу Хомы от соблазна в начале действия и предшествует «мести земли». Именно *земле* принадлежат в фольклоре «дьявольские» зелья: табак и «горелка», соблазнительные для козаков (см. об этом выше, на с. 347), а значит и для Хомы. *Земля* порождает «бурьян» и «терновник», постоянно сопутствующие Хоме (как Петрусю в «Вечере накануне Ивана Купала») в связи с библейским мотивом возмездия человеку за первородный грех, когда была проклята и *земля*, чьи начала: Змий и Древо — играли свою роль в грехопадении. Тогда Адаму («взятому из земли») было определено: «...проклята земля за тебя; со скорбию будешь питаться от нее во все дни жизни твоей. Терние и волчцы произрастит она тебе; и будешь питаться полевою травою» (Быт. 3:17—18).

Подобному истолкованию способствует «универсальное» прозвище героя. Уже не раз отмечалось, что украинское имя Хома перекликается с Homo — лат. «человек вообще» и евангельским «Фомой неверующим», а Брут означает «простак, тупица» (см. с. 335). Однако действительное значение имени Фома (др.-евр. 'близнец') позволяет интерпретировать сюжет как историю о разлученных близнецах, из которых один «небоже» — сирота, несчастный, обездоленный, неимущий (в том числе

вида) — посвящен Богу, а другой — прекрасный, удачливый, любимец и наследник родителей (родителя) — демоническим силам. Это две половинки андрогина, которые обречены искать друг друга, притягиваться, но никогда, из-за разной направленности, не могут стать единым целым или быть вместе (мотив очень важный для Гоголя, возможно, потому что был биографическим: моложавую красавицу М. И. Гоголь иногда принимали за старшую сестру ее невзрачного сына). В этом случае «богатейший сотник» играет двойную роль: и «страшного отца», который вправе ужасно наказать за ослушание, даже убить свое дитя, или сказочно вознаградить золотом за службу, или страшно отомстить за его смерть, и «отца неправедного» (как Голова в повести «Майская ночь, или Утопленница»), кто отрекается от своего дитя и/или его не признает, не заботится о храме Божьем в своем селении, да и «храме души» своих детей. Тогда понятно, почему Хоме так нравится это село и почему он не может уйти — до разрешения конфликта с отцом, а козаки вроде и готовы отпустить героя, но как-то само так получается, что не отпускают.

Этот конфликт дублируется на нескольких уровнях. Изначально поиск героем Софии (Церкви и Премудрости) обращается в поиски сиротой приюта и Дома (ведь Хома идет *куда-то* на каникулах), затем высота поиска снижается до желания найти ночью в степи дорогу, кров и еду, которое приводит на хутор к старухе и профанируется до сушеного карася и овечьего хлева, до пустой хаты бурсы, а затем до вдовы, ее домика, сытного угощения и «ползолотого». Все это по-своему повторяется на «обратном» пути философа, когда, подчиняясь приказу ректора, он едет к сотнику и пирует с козаками в придорожной корчме. Наконец Хому привозят в Дом (сотника), кормят и, после вразумления хозяином, ведут в неказистую церковь, где его ждут ночные Откровения. Пародируют это «поиски» в хате пригожей молодки, «пир» на двоих с Дорошем и «откровения» дворни о ведьме, которые схожи с ночным приключением Хомы: начало его скачки напоминает «историю псаря Миколы», а ее предварение — «историю о Шепчихе». Одновременно повествование сохраняет и мифологический уровень аллюзий на Священное Писание, заявленный при описании вертепа. Например, действия старухи-ведьмы в хлеву походят на попытки жены начальника стражи Пентефрия (Потифара) искушать целомудренного Иосифа (Быт. 39:7—20), но в очевидном ироническом аспекте, разговор Хомы и сотника — библейский диалог Моисея с Богом (Исх. 3:10—11, 4:1, 10:14), а дикие заросли за домом сотника напоминают остатки райского сада, оставленного человеком в небрежении (*Вайскопф*, 209—211).

«Земное» повторяется на уровне животных-близнецов: волков и собак — то сходящимися, то расходящимися мотивами (свирепости, наси-

лия/охраны, лая/воя...). И потому волчий вой как знак дикой «земляной» жизни, своеобразная замена «волчцов» (в данном контексте антитеза «возвышающему» колокольному звону[66]) звучит ночами перед встречей Хомы с ведьмой, перед последней его службой и перед явлением *Вия* как Адама (или Иуды. — См.: *Виноградов 2000*, 102—104). Это растущий в *земле* мертвец, плоть от ее плоти, который, по сути, остается человеком и потому, в отличие от чудовищ, способен увидеть Хому. Ответный же взгляд героя на своего «земляного/земного» прародителя обнаруживает ужасающе пустое «подземелье» душевного храма Хомы — ту его духовную неуверенность, «двойственность», «темноту», которая роднит его с ведьмой-сестрой и пороками-чудовищами. «Бездыханный грянулся он на землю, и тут же вылетел дух из него от страха». А посрамленная «Божья святыня» становится *земной могилой* для «трупов» Хомы и его чудовищ: «И с тех пор так всё и осталось в той церкви. Завязнувшие в окнах чудища там и поныне. Церковь поросла мохом, обшилась лесом, пустившим корни по стенам ее; никто не входил туда и не знает, где и в какой стороне она находится» (в канонической редакции сказано проще и сильнее: «Так навеки и осталась церковь с завязнувшими в дверях и окнах чудовищами, обросла лесом, корнями, бурьяном, диким терновником; и никто не найдет теперь к ней дороги». — II, 217).

Таким же поруганным храмом в эпилоге предстает опустошенная, «мертвая» душа. Товарищ Хомы, бывший богослов Халява стал «звонарем самой высокой колокольни» Киево-Печерской Лавры (о ней см. с. 482) в священном городе, откуда Православие распространилось на Русь, и созывал верующих на богослужение колокольным звоном, подавая весть о Боге. Но при этом Халява остался во власти *земли*: постоянно «являлся с разбитым носом», а во хмелю, перед тем как спрятаться «в бурьяне... не позабыл, по прежней привычке своей, утащить старую подошву от сапога...» (чем как бы восполнил свое земное бытие, ведь *халявой* называлось «сапожное голенище». — *Вайскопф*, 226).

От «Вия» становится «видимо далеко во все концы» гоголевского творчества (ср. «подземную» и «подводную» тематику предшествующих «Вечеров...» и/или всеобъемлющий страх «Ревизора»). В мрачном подземелье возле православного храма полякам является призрак казненного — «кровавого бандуриста». В полутемной церкви будут молиться два одиноких, ослепленных враждой к ближнему героя «Повести о том, как поссорился

[66] Ср.: в поэме «Мертвые души» о деревне Коробочки оповещает не колокольный звон, а ночной «собачий концерт» (лай), один из голосов которого «отхватывал наскоро, как пономарь...» (V, 44).

Иван Иванович с Иваном Никифоровичем» — каждый о своей, но одинаково неправедной победе в тяжбе из-за пустяков, на что оба не жалеют ни денег, ни имущества, ни всей оставшейся им жизни. Старая подошва от сапога выглянет из кучи хлама в доме Плюшкина. Романтические оппозиция и двойничество *земного* и *небесного* усложняются Гоголем за счет переосмысления высказываний, цитат, ситуаций из Евангелия и Библии, за счет исторических, фольклорных и религиозных ассоциаций, образуя «притчевую подоплеку» текста, ныне «затемненную» для исследователя, а тем более читателя. И один из ее главных элементов — изображение храма.

В «Вечерах на хуторе близ Диканьки» черты величественного «храма природы» обнаруживало самое начало цикла: «...когда полдень блещет в тишине и зное и голубой неизмеримый океан, сладострастным куполом нагнувшийся над землею, кажется, заснул... На нем ни облака. В поле ни речи... серебряные песни летят по воздушным ступеням на влюбленную землю...» (I, 111). Здесь, по мысли автора, естественному христианскому сообществу и природному храмовому пространству его жизни противостоит мир инородный, ночной — подземный в повестях «Вечер накануне Ивана Купала» и «Страшная месть», подводный, русалочий в «Майской ночи», холодный — «воздушный» и петербургский — в «Ночи перед Рождеством» (а еще ад-берлога, где живет черт), откровенно необычный, дьявольский, но по-своему естественный — в «Пропавшей грамоте» и «Заколдованном месте», инославный мир «чужой земли», где «и люди не те, и церквей Христовых нет...» (I, 244), — в «Страшной мести», и пошлый, прозаический, выморочный мир современной автору действительности, лишенный «высоких» человеческих отношений, — в повести «Иван Федорович Шпонька и его тетушка».

Народный мир-храм сам отторгает дьявольское начало и сохраняет естественное равновесие между добром и злом — основу жизни. Однако дьявольское постепенно «прорастает», как мертвец-первопредок в «Страшной мести», сотрясая мир и человека, и мирские соблазны, распри и недоверие привносятся в церковь. В храм Диканьки, где кузнец Вакула изобразил на стене «Святого Петра в день Страшного суда», ходит и ведьма Солоха, отвлекая прихожан и самого дьяка от молитвы. Там даже во время Рождественской службы многих одолевают мирские заботы и страсти. В канун праздника богобоязненный кузнец-художник Вакула, который был черту «противнее проповедей отца Кондрата», решается на самоубийство из-за кокетки Оксаны. Затем он использует бесовскую силу для выполнения прихоти красавицы, в то время как решается судьба Сечи, и пропускает праздничную службу среди огненного, явно дьявольского миража Петербурга, хотя впоследствии искупит все искренним покаянием. В канонической

редакции повести «Вечер накануне Ивана Купала» Пидорка надеется излечить мужа у знахарей и колдуньи — и не идет в храм св. Пантелеймона, великомученика и целителя, а святая вода уже не помогает от бесов (*Комментарии* СС. Т. 1/2. С. 434).

Мотив гибельного искушения человека, особенно художника, современным миром главенствует в повести «Портрет». Религиозный живописец запечатлел ужасного ростовщика с мыслью использовать это для «священного изображения» в храме, а когда осознал содеянное, то удалился в монастырь, где со смирением стал искупать свой грех «подвигами» и созданием высоких, истинно христианских произведений. Обветшавшая монастырская церковь со «множеством деревянных почерневших пристроек», для которой художник-монах написал «большую картину, изображавшую Божию Матерь, благословляющую народ», противопоставлена петербургскому «ветхому дому» ростовщика Петромихали, дому «со множеством пристроек... на Козьем болоте» (*Ар.*, 64, 71) — своего рода «антихраму», где хранится материальное: там драгоценное не отличается от ремесленного или негодного (прообраз знаменитой кучи хлама у Плюшкина) и поклоняются деньгам, бесчеловечной наживе. Именно здесь «нерв» гоголевского Петербурга, а «всемогущий Невский» со знаменитой «выставкой вещей» — лишь его эманация.

Меркантильная суета Невского проспекта не дает прохожим заметить строящуюся церковь. В погоне за незнакомой красавицей офицер Пирогов проскакивает «темными Казанскими воротами» (*Ар.*, 137) мимо храма, символизировавшего славу русского оружия в Отечественной войне 1812 года. Зато в Казанском соборе, согласно 1-й редакции повести «Нос», будет «набожно» молиться пропавший нос майора Ковалева. Возле главного храма столицы Православия просят милостыню старухи-нищенки с провалившимися носами, немногочисленные «оглашенные» стоят у входа в почти пустой собор. Здесь Ковалев спорит со своим носом, затем, увидев дам, привычно охорашивается, желая привлечь внимание и, если повезет, завести интрижку. Испытание героя-пошляка не в силах изменить его натуру: для спасения он обратится не к Богу (что за него делает Нос, пусть лицемерно, пародийно), а к официальной власти — церковной, полицейской, «газетной», к мирским связям и докторам, ибо верит лишь в силу порядка вещей. Оскудение «храма души» делает невозможным единение, любовь и гармонию.

Храм как прообраз Царства Божьего, «ковчег», спасающий от страстей и соблазнов, воплощается в современном автору мире только «храмом искусства». Настоящее искусство, по словам художника-монаха во 2-й редакции «Портрета», религиозно, оно — «намек о божественном, небесном

рае», оно «нисходит в мир... для успокоения и примирения всех» и потому «не может поселить ропота в душе, но звучащею молитвой стремится вечно к Богу» (III, 135), **от** земли. Служение искусству фактически приравнивается к богослужению: художник «чище всех должен быть душою», избегая мирских соблазнов, творить же он может только в особом «храмовом» пространстве монастыря или Рима. И потому картина истинного художника *сопоставима* с храмом: «Чистое, непорочное, прекрасное, как невеста, стояло... произведение художника <...> Оно возносилось скромно. Оно было просто, невинно, божественно, как талант, как гений. Изумительно прекрасные фигуры группировались непринужденно, свободно, не касаясь полотна и, изумленные столькими устремленными на них взорами, казалось, стыдливо опустили прекрасные ресницы. В чертах божественных лиц дышали те тайные явления, которых душа не умеет, не знает пересказать другому; невыразимо выразимое покоилось на них, — и всё это было наброшено так легко, так скромно-свободно, что, казалось, было плодом минутного вдохновения художника, вдруг осенившей его мысли. Вся картина была — мгновение, но то мгновение, к которому вся жизнь человеческая — есть одно приготовление. Невольные слезы готовы были покатиться по лицам посетителей... Казалось, все вкусы, все дерзкие, неправильные уклонения вкуса слились в какой-то безмолвный гимн божественному произведению» (*Ар.*, 56—57). И все это, несомненно, противопоставлено смешению «искусства/неискусства» в лавке и на аукционе, где главным сразу становится страшный портрет с живыми глазами, воплощающий антихриста.

Для гоголевского творчества принципиально важны случаи, когда изображение храма — обязательное или подразумеваемое — в данном контексте отсутствует. Так, у старосветских помещиков, как выясняется, единственная церковь — кладбищенская (иначе Пульхерию Ивановну отпевали бы в домовой). Однако нигде не упомянуто о посещении церкви старичками **вне** усадьбы, в то время как отмечены единичные выезды Пульхерии Ивановны на «ревизию».

Бездуховность и замкнутость их «самодостаточного» существования в какой-то мере связана и с неисполнением ими христианского долга. Если у супругов не было детей, то истинным христианам следовало заняться благотворительностью и/или официально взять на воспитание ребенка. Вероятно, нарушение этих норм и провоцирует последующее явление наследника-«реформатора» (может быть, сознавая это, Пульхерия Ивановна завещает похоронить себя «возле церковной ограды», на границе освященной земли). Дело в том, что старички считают храмом Дом, усадьбу, хозяйство и травестируют богослужение угощением гостей, подменяют его культом еды — непрерывным гомерическим насыщением плоти от зари до

ночи («Афанасий Иванович по точному подсчету кушал девять раз в сутки...» — *Белый А.*, 168). Пульхерия Ивановна умирает и от того, что «не могла уже принимать никакой пищи», а потом вдовец видит обычную совместную трапезу поминальной тризной. Кроме того, дом иногда походил на «химическую лабораторию», то есть на языческий «храм науки»: здесь стоял жреческий «треножник» (с котлом или медным тазом для варки плодов), под которым «вечно был разложен огонь», а рядом «кучер вечно перегонял в медном лембике водку», причем это происходило под яблоней — библейским «древом соблазна».

Представляя старичков жрецами семейного храма, Гоголь указал на источник сравнения — миф о Филемоне и Бавкиде в «Метаморфозах» Овидия (лат. Philemon, Baucis). Однажды Юпитер и Меркурий, принявшие обличье странников, чтобы испытать благочестие людей, обходили дома поселян, и никто им не дал приюта, а в одном доме хотели натравить собак. Лишь в убогом жилище под крышею из камыша их встретили достойно. Хозяева этой хижины прожили здесь от свадьбы до старости, но не нажили ни детей, ни достатка. Не стыдясь нищеты, Филемон и Бавкида, подобно рабам, омыли ноги гостей теплой водой, заняли беседой и подали на стол лучшее, что было, даже хотели зарезать единственного гуся, а потом с изумлением увидели, как пополняется сам собою кратер с вином, и узнали, кто перед ними. Испуганные старики стали умолять богов простить за столь скромный прием... и те оценили их благочестие и наказали потопом селение, превратив его в болото, а нечестивых жителей — в лягушек. По просьбе Филемона и Бавкиды боги сделали их жрецами своего храма, возникшего из хижины. Кроме того, старики пожелали окончить жизнь вместе, в один и тот же миг, чтобы им не пришлось оплакивать друг друга. И когда истек срок их земной жизни, они сразу превратились в растущие из одного корня два дерева — дуб и липу, которые напоминают путникам о случившемся.

Миф о Филемоне и Бавкиде был освоен европейской литературой в период классицизма, когда подчеркивалась поучительная сторона истории о добродетельных супругах, их верность долгу. Такими они изображены в близкой к тексту Овидия поэме Ж. Лафонтена (1685), вольный перевод которой сделал сентименталист И. И. Дмитриев в 1805 г. Буржуазный век принес переосмысление мифа: во II части «Фауста» (1831) И. В. Гете гибель Филемона и Бавкиды стала символом крушения понятного и уютного патриархального мира-храма, предвещая уход самого автора (об этом см.: *Звиняцковский 1994*, 391—404 и др.). Гоголь, видимо, переосмысливал мотивы античного мифа — на фоне традиций классицизма и сентиментализма карамзинского толка — по правилам нового, романтического на-

правления литературной игры, которые он тогда принимал и от которых затем попытался так же настойчиво отказаться. В этом плане «Миргород» можно рассматривать как *реквием* великой литературе и ее корифеям: художникам-историкам Карамзину, Гете (умер весной 1832 г.) и В. Скотту (умер осенью 1832 г.)[67].

Какие же мотивы истории Филемона и Бавкиды, начиная с «длинношейного гуся», были важны для Гоголя, что им прибавлено и что преобразовано? Современный исследователь замечает об этом: «Вообще параллель Филемон и Бавкида / Афанасий Иванович и Пульхерия Ивановна <...> представляется более глубокой, чем это может показаться на первый взгляд. При всем различии „Метаморфоз" Овидия и реалистического произведения XIX столетия имеет место целый ряд знаменательных перекличек, что свидетельствует о „памяти" идиллической традиции.

1. Радушие супругов обнаруживается при помощи взгляда извне: богов у Овидия и рассказчика у Гоголя, которые и в том и в другом произведении выступают в функции „гостей".

2. Противопоставление мира старичков иному, „большому" миру, совпадающему у Гоголя с миром, в котором живет рассказчик, наблюдается и у Овидия, где противопоставлены „праведные" супруги и „безбожные соседи".

3. Отсутствие детей у Товстогубов... не может быть показателем их семейно-идиллической „ущербности": у овидиевских героев детей также нет.

4. И для Овидия, и для Гоголя время, в котором разворачивается действие произведений, как показывает экспозиция, — уже прошедшее» (*Есаулов*, 27—28).

Добавим сюда мотив *служения храму*, что вводят персонажи, изображенные на картинах в доме старосветских помещиков: архиерей (его избирают только из черного монашества), Петр III (видимо, ему присягал Афанасий Иванович, вступая в службу, и остался верен своей присяге) и, наконец, герцогиня Лавальер — фаворитка Людовика XIV, которая его боготворила и родила от него двух детей, но не смогла перенести охлаждения любви короля и в 30 лет ушла в монастырь. Описывая тот монастырь кармелиток в «Письмах русского путешественника», Н. М. Карамзин восхищается картиной живописца Лебрюна, изображающей «милую, тро-

---

[67] В статье «О движении журнальной литературы, в 1834 и 1835 году» (1836) Гоголь написал о смерти «знаменитого шотландца... гения XIX века», но утверждал, что «в литературном мире нет смерти и мертвецы так же вмешиваются в дела наши и действуют вместе с нами, как и живые» (VIII, 171—172). Судя по другим историческим и эстетическим статьям, в том же ряду классиков должен быть и Шиллер (его влияние на Гоголя до сих пор почти не изучено).

гательную» Марию Магдалину, и объясняет причину своего пристрастия: художник «в виде Магдалины изобразил нежную, прекрасную герцогиню Лавальер, которая в Лудовике XIV любила не царя, а человека и всем ему пожертвовала: своим сердцем, невинностию, спокойствием, светом» (*Карамзин*. Ч. V. С. 252—257). Храм создается *службой* ему человека, который тем самым воздвигает храм в себе. Однако далее Гоголь травестирует мотив *служения*, переосмысливая слово **жрец** по отношению к героям, непрерывно расходующим, перерабатывающим, потребляющим (в основном, пожирающим) блага земного храма, который обеспечивает жизнь своим **жрецам** и челяди в замкнутом, раз и навсегда заведенном кругообороте патриархального хозяйства. Оно погибнет, как только нарушится этот механизм, основанный на человеческом труде и заботах.

Поэтому в повести, наряду с мотивами античного мифа, возникает и тема **наказания** за первородный грех, которая здесь обоснована «райским изобилием», точнее, «земным изобилием рая»: это и страдания от пресыщения («...дворовые девки... забираясь в кладовую, так ужасно там объедались, что целый день стонали и жаловались на животы свои»; иногда по ночам от того же стонал Афанасий Иванович; сам рассказчик в этом доме «объедался страшным образом, как и все гостившие у них, хотя... это было очень вредно...»), и травестия непорочного зачатия, как бы обусловленного такой едой («...не проходило нескольких месяцев, чтобы у которой-нибудь из... девушек стан не делался гораздо полнее обыкновенного: тем более это казалось удивительно, что в доме почти никого не было из холостых людей...»). Но, чтобы не обвинять, подобно некоторым исследователям, Афанасия Ивановича в адюльтере, вспомним, что бездетные старички «всю привязанность» сосредоточили на самих себе и границы сакрализованного пространства усадьбы (за «частоколом») относительно непроницаемы только для них, а для прислуги и животных таковых границ не существует, — потому и свободу, с какой кошечка-фаворитка покидает это пространство «домашних благ» после почти ритуального потребления и насыщения ими, ее хозяйка понимает как *разрушение* своего изобильного мира, весть о смерти.

Это тоже связано с храмом, но мотивировано несколько иначе и раньше, когда Афанасий Иванович предлагал жене вместо кошки завести в доме собаку, а Пульхерия Ивановна ответила: «Собака нечистоплотная, собака нагадит, собака перебьет всё, а кошка тихое творение, она никому не сделает зла». В канонических правилах православной церкви есть запрет вводить собаку в храм из-за ее беспокойного поведения, нарушающего благоговейный порядок и тишину, запаха и т. д., тогда как кошка допускается даже в алтарь. Основание тому — древние представления о нечистоте пса и его

упоминание как *нечистого животного* в Библии (об этом: *Успенский*, 86—99), а также поверья, что под видом пса может являться дьявол. Вот почему собаке нельзя давать христианское имя, а кошке можно. Вместе с тем привязанность собаки к хозяину, ее верность и самоотверженность вошли в поговорку так же, как «отделенность» кошки от людей.

В понимании Гоголя связанные с *землей* животные амбивалентны: и кошка, и собака, и «бурая свинья» могут стать, как в фольклоре, пристанищем беса, игрушкой дьявольских сил[68], разрушительных для дома и хозяев — жрецов «храмового» пространства. Поэтому образ серенькой домашней кошечки, уходящей к «диким котам» в первозданные заросли и «бурьян» и туда же возвращающейся — из родного теплого Дома от «домашних благ», несмотря на заботу хозяйки, — вводит мотив «дикой» земной *стихии*, то есть неодухотворенного и потому «неблагодарного» хаоса, разрушающего сложившиеся границы и порядок Дома, равные отношения человека и мира. Этим кошка противопоставлена собаке, что живет вне Дома (храма), но порядок его (с)охраняет. — Ср.: постоянный «лай, который поднимали флегматические барбосы, бровки и жучки, был приятен» рассказчику при посещении «Эдема», и затем, когда он приезжает после смерти хозяйки, «те же самые барбосы и бровки, уже слепые или с перебитыми ногами, залаяли, поднявши вверх свои волнистые, обвешанные репейниками хвосты». И столь же убогим, подслеповатым, заброшенным он видит самого хозяина и дряхлеющий дом, где прошла жизнь «двух старичков прошедшего века <...> и чувства мои странно сжимаются, когда воображу себе, что приеду со временем опять на их прежнее, ныне опустелое жилище и увижу кучу развалившихся хат, заглохший пруд, заросший ров на том месте, где стоял низенький домик, — и ничего более».

Ничего более... ибо храм разрушен и вместе с малороссийскими Филемоном и Бавкидой исчезают «старомодные» отношения любви, приязни, уважения к другим и заботы о них, гостеприимства, верности традициям, обязанностям, своим привычкам, и особая атмосфера Дома, — что ценит и не может забыть автор. По закону жизни, к гибели ведут не только «страсти», но и «уединенность» и бесконфликтность недвижного растительного мира, ничем не возмущаемого, «райски» изобильного (как будто в барочных утопиях «Сказание о роскошном житии и веселии» XVII в. и «Энеиде» И. П. Котляревского), и глубокая, по меркам XIX в., старость супругов (60 и 55 лет), их закоснелые, пошлые формы проявления заботы и любви,

---

[68] Ср.: в повестях «Вечер накануне Ивана Купала» и «Вий» ведьма может обернуться и кошкой, и собакой, в повести «Майская ночь» — кошкой «с железными когтями», также, по народным представлениям, — свиньей или сорокой.

комично искажающие духовное содержание. Все это не позволяет супругам **вместе** уйти в иной мир, как было даровано Филемону и Бавкиде и героям средневековой «Повести о Петре и Февронии»[69], хотя Пульхерии Ивановне, а потом и Афанасию Ивановичу, в отличие от простых смертных, все же дано знать о времени своей кончины. Но после смерти «прекрасной» Пульхерии «бессмертный» Афанасий уже не может жить (и служить) один, без «половины» своей души — невосполнимая духовная утрата делает его существование и физически бессмысленным, как будто он лишился части своего тела[70]. Храм превращен в хижину, а по смерти владетеля и вовсе рушится, тогда как в прошлом, наоборот, ветхая хижина Филемона и Бавкиды, по воле богов, уничтоживших «неправедных» жителей вместе с их домами, «вдруг» обращалась великолепным храмом — подобием Эдема.

А для рассказчика сентиментальная идиллия «старосветского Эдема», где одновременно «душистая черемуха», «багрянец вишен», «яхонтовое море слив» и «воз с дынями», где «на минуту забываешься и думаешь, что страсти, желания и неспокойные порождения злого духа, возмущающие мир, вовсе не существуют...», — была прибежищем-ковчегом среди мирской суеты, и, даже выродившись в «низменную буколическую жизнь» самостоятельного множества мелочей, картинок, «поющих» дверей, была тем единственным, что осталось от библейской истории и времен Филемона и Бавкиды в современной автору России. Теперь лишь воспоминания об этой идиллии можно противопоставить полуевропейскому Петербургу, где «пространство Храма» (Града Божьего) неумолимо сокращается и разрушается, уступая материальному «земному граду», и можно вслед описанию Невского проспекта повторить: «Всё обман, всё мечта, всё не то, чем кажется!» (*Ар.*, 144). Вот супруги, которые, по словам Белинского, «только пили и ели и потом умерли», — и какая в этом поэзия?! А грубые, свирепые, безудержные в пиру и бою запорожцы предстают не только защитниками и ревнителями Православия, но и любящими, нежными, самоотверженными родителями. И наоборот, брат и сестра — разлученные близнецы, разные по характеру и судьбе, — при встрече губят друг друга. Вот соседи, что «прежде были известны за самых неразлучных друзей», два «таких между

[69] С историей любви князя и крестьянки связаны в «Старосветских помещиках» мотивы ответственности любящих, житейской премудрости и хозяйственности героини, лечения «целящими или утешающими плодами, занесенными из рая» (см.: *Гуминский В. М.* О смысле любви у Гоголя (церковная и литературная традиция в «Старосветских помещиках») // Рождественские чтения, 7-е: Христианство и культура. М., 1999. № 7. С. 70—71).

[70] Физиологическое сравнение вдовца с безногим инвалидом, подчеркивающее ущербность его одиночества, видимо, навеяла Гоголю повесть «Блаженство безумия» Н. А. Полевого (*МТ.* 1833. № 1—2; отмечено: *Вайскопф*, 363—364).

собою приятеля, каких свет не производил», повздорили и... теперь Иван Иванович с Иваном Никифоровичем судятся и ненавидят друг друга.

Впрочем, одни они откровенно ссорятся в бесконфликтном Миргороде — и потому так всех поражают: ведь остальные, даже близкие родственники, просто «живут между собою, как собаки», по словам самого судьи, и хотели бы видеть в «двух единственных друзьях» недостижимый для себя идеал. В представлениях того времени, дружба — одна душа «напополам», когда друзья едины в мыслях, отношениях, вкусах... Тогда были актуальны античные образцы дружбы: родственной — близнецов Кастора и Полидевка Диоскуров (покровителей дружбы), героической — Ореста и Пилада, Ахилла и Патрокла, чьи имена стали нарицательными и вошли в пословицы. Считалось, что способны дружить только нравственные, душевные, благородные люди. Дружба, по Аристотелю, есть величайшая социальная и личная ценность, необходимейшая в жизни: друзья дороже всех прочих благ. И не может быть искренней или прочной дружба, основанная на соображениях пользы или удовольствия, настоящая же бескорыстна, ибо отношение к другу в принципе не различается с отношением человека к самому себе. Какова же была «трогательная дружба» Ивана Ивановича с Иваном Никифоровичем, да и была ли она вообще?

И здесь выясняется, что восторженно, с любовью обрисованные повествователем эти «два почтенных мужа, честь и украшение Миргорода» — на самом деле «существователи», которые, говоря словами юного Гоголя, «задавили корою свой земности, ничтожного самодоволия высокое назначение человека» (X, 98)[71]. Их «героические» черты лишь нарисованы на маске, скрывающей корысть, эгоизм и безнравственность, их дружба и благочестие показные, они каждое воскресение в церкви, но в сердце лицемерны и немилосердны, ведь главное для них — **довольство собой**, своим положением, Домом и собственностью. Так Иван Иванович одинаково «человеколюбиво», долго и вдумчиво расспрашивает каждую нищенку, но никому не подает ни копейки милостыни.

Человек Нового времени предстает здесь не просто сиротой (как, например, Хома Брут, оставленный Богом, родителями и товарищами) — теперь он почитает это одиночество высшим благом для себя, все свои действия — несомненно и единственно правильными и чванится невежеством и грехами как добродетелью. Проявляется это большей частью именно по мелочам. Так, съев очередную дыню, Иван Иванович «сам, собственною

---

[71] В том же письме Г. И. Высоцкому от 26 июня 1827 г. Гоголь высказал опасение, что **и его** «неумолимое веретено судьбы зашвырнет... с толпою самодовольной черни (мысль ужасная!) в самую глушь ничтожности...» (X, 101).

рукою, сделает надпись над бумажкою с семенами: „Сия дыня съедена такого-то числа“», а когда ему предлагают чашку чая, он несколько раз солидно откажется, прежде чем взять. Городничий «при ежедневных рапортах, которые отдают ему квартальные надзиратели, всегда спрашивает, нашлась ли пуговица» от его мундира, которая «оторвалась во время процессии при освящении храма назад тому два года...». Он же сообщает, что «наукам не обучался никаким: скорописному письму... начал учиться на тридцатом году своей жизни». Главные герои облачаются напоказ — и летом! — в такую богатую одежду, как меховой кафтан (бекешу), своего рода визитную карточку, по которой их должны ценить окружающие, но, когда их не видят, обнажаются частично или совсем, как бы не доверяя себя лишним оболочкам одежды. Поэтому любое умаление своего достоинства они почитают преступлением и ожесточенно мстят за него, даже если это грозит уничтожить их самих и все нажитое. Такой «смертельной для... чина и звания обидой» Иван Иванович считает «гнусное» уподобление себя «гусаку» (но пропускает мимо ушей более обидный из-за сопоставления мужчины с курицей тоже «птичий» глагол «раскудахтался»), ибо он гусаком «никогда отнюдь не именовался и впредь именоваться не намерен». А доказательством собственного «дворянского происхождения» он считает церковную запись про свое рождение и крещение («Гусак же <...> не может быть записан в метрической книге, ибо гусак есть не человек, а птица...»).

Хуже обиды может быть только потеря собственности! Например, Антон Прокофьевич Пупопуз (или Голопузь — как, очевидно, шутит рассказчик) «не имеет своего дома. У него был <...> но он его продал и на вырученные деньги купил тройку... и небольшую бричку», а «их променял на скрыпку и дворовую девку, взявши придачи двадцатипятирублевую бумажку. Потом скрыпку... продал, а девку променял за кисет сафьянный с золотом. И теперь у него кисет такой, какого ни у кого нет. За это наслаждение он... должен оставаться в городе и ночевать в разных домах, особенно тех дворян, которые находили удовольствие щелкать его по носу». И потому с ним «никто иначе не говорил, как шутя», а иногда «клали ему на голову зажженную бумагу, чем особенно любили себя тешить судья и городничий» (ср.: Башмачкин в повести «Шинель», — то есть благородные люди издевались над беззащитным, а больше всего те, кто официально стоял на страже закона). Сам же приживала, в какой-то мере предтеча Ноздрева, принимал это как само собою разумеющееся и готов был на всё за приют и еду, при этом «божился десять раз на один час», клялся самым дорогим, поскольку его клятвопреступления абсолютно безнаказанны. Герой потерял себя, когда лишился собственности: он беззащитен, полностью зависим от других и «совершенно добродетельный человек во всем значении этого

слова: даст ли ему кто из почетных людей в Миргороде платок на шею или исподнее — он благодарит; щелкнет ли его кто слегка в нос, он и тогда благодарит». Этот «голый человек на голой земле» бесприютен в ином, высшем смысле — оставлен Богом и потому не различает добра и зла, лжет нагло, бесстыдно, постоянно, ибо полагает, как позднее герои Достоевского, что уже «все позволено». Недаром среди героев-миргородцев нет священника даже в церкви — она «пуста» в праздничный день (см. с. 491).

Подобное ослабление, деградация духовного начала (процесс апостасии[72]), связующего и удерживающего материальное, физическое начало мира, приводит к неестественной активности телесного, животного и вещественного, и они обретают некую самостоятельность, как бы выходя из подчинения человеку. Отсюда глупость и скудоумие, отличающие рассуждения героев, нарушение ими логики, которое обычно связано с тем, что долг службы подчиняется личным интересам (занятый разговором судья не слышит ни слова из прочитанной ему бумаги, но затем подпишет ее; городничий, придя по службе к Ивану Ивановичу, именует его «любезный друг и благодетель», туманно ссылается на «требования правительства», но в конце концов соглашается со всем, что сказал хозяин, выпрашивает у него хоть что-нибудь и «не получив никакого успеха, должен был отправиться восвояси»; а «протопоп отец Петр... всегда говорит, что он никого не знает, кто бы так исполнял долг Христианский и умел жить, как Иван Иванович»). Все это мы увидим в комедии «Ревизор» вместе с общим «окаменением»...

Статичность двух Иванов приходит на смену ожесточенному движению в художественном мире «Тараса Бульбы» и «Вия», определяя ключевые сцены, напоминающие «живые картины» того времени (см.: *Манн 1988*, 376): «...Иван Никифорович, стоявший посреди комнаты в полной красоте своей без всякого украшения! Баба, разинувшая рот и выразившая на лице самую бессмысленную, исполненную страха мину! Иван Иванович с поднятою вверх рукою, как изображались римские трибуны! Это была необыкновенная минута! спектакль великолепный!» Но рядом помещен персонаж, своими движениями подчеркивающий искусственность и комизм происходящего, — это полный равнодушия «мальчик в неизмеримом сюртуке, который стоял довольно покойно и чистил пальцем свой нос». А при попытке примирить героев их просто сталкивают друг с другом.

---

[72] «Согласно христианскому пониманию истории, процесс апостасии (нового отступничества от Бога, Который есть **любовь**) связан... с подчинением человека собственным **страстям** и **желаниям** (злоупотреблением внешней свободой). ...этот процесс неизбежен и должен завершиться... приходом антихриста и победой Христа над ним в Своем Пришествии» (*Есаулов*, 33; шрифт изменен автором).

На фоне «неподвижных» героев, которые «большею частию лежат», как Поприщин, сидят или стоят, множатся их жесты и/или одно движение распадается на отдельные фазы (*Белый А*., 160—163), а высказывание — на отдельные фразы: «Иван Иванович, если попотчивает вас табаком, то всегда наперед лизнет языком крышку табакерки, потом щелкнет по ней пальцем и, поднесши, скажет, если вы с ним знакомы: „Смею ли просить, государь мой, об одолжении?“ — если же незнакомы, то: „Смею ли просить, государь мой, не имея чести знать чина, имени и отчества, об одолжении?“» Мыслительные процессы речи и чтения обретают более физиологические черты: «Иван Иванович имеет необыкновенный дар говорить чрезвычайно приятно <...> Это ощущение можно сравнить только с тем, когда у вас ищут в голове или потихоньку проводят пальцем по вашей пятке <...> Приятно! чрезвычайно приятно! как сон после купанья»; герой всегда читает одну и ту же книжку, названия которой «не помнит» (ср., Манилов в поэме «Мертвые души»).

Тело героев и его части проявляют некое «самоуправство» (Иван Никифорович превышает нормальный объем; «самопроизвольно» движутся раненая нога городничего и нос судьи; когда герой «задумался», его глаза «перешагнули чрез забор в двор...»; и под.). Инстинктивные же действия животных представлены как сознательные, человеческие: «собаки Ивана Никифоровича» видели в Иване Ивановиче «знакомое лицо» и потому ночью «позволили ему, как старому приятелю, подойти к хлеву», ибо «еще ничего не знали о ссоре», а «бурая свинья вбежала в комнату и схватила... прошение Ивана Никифоровича...». И наоборот — люди уподоблены растениям, животным или неживому (хрестоматийное «Голова у Ивана Ивановича похожа на редьку хвостом вниз; голова Ивана Никифоровича на редьку хвостом вверх»; дама «откусила ухо у заседателя»; узкие двери делят Ивана Никифоровича на «переднюю половину» и «остальную»). Смещены границы живого и неживого, обычного и необычного: у тех, кто прибыл на «ассамблею» городничего, есть разные «породы» не лошадей, а повозок; «Домы и домики, которые издали можно принять за копны сена, обступивши вокруг, дивятся красоте» миргородской лужи, и сама «прекрасная лужа», занимая «почти всю площадь», представляется городничему «озером». Поэтому все большее место в мире занимают животные, растения, постройки, вещи... рухлядь. Портрет Ивана Ивановича начинается бекешей и смушками и переходит в описание дома, сада и огорода, где, наряду с овощами, есть «даже гумно и кузница». К его дому «со всех сторон пристроены сени и сенички... видны одни только крыши, посаженные одна на другую, что весьма походит на тарелку, наполненную блинами, а еще лучше на губки, нарастающие на дереве». В Миргороде больше собак «попадается на улице,

нежели людей...». «Тощая баба» выносит «выветривать» множество негодных или ненужных вещей, которые хранятся вместе с «юбкой покойной бабушки», чиновничьей шпагой и сломанным ружьем.

Это негодное ружье и становится предметом раздора приятелей, поскольку для каждого из них имеет разную ценность, символизируя различные идеалы (охоту, дворянство, безопасность и проч.). Причем выясняется: на самом деле каждый всегда считал себя выше другого и лишь «дарил» его дружбой, смотрел на него как на пьедестал собственных добродетелей. Ссора приятелей и предшествующий ей диалог в «совершенно темной» комнате обнаруживают их духовную «темноту» (та же скрытая метафора характеризовала Хому Брута. — См. выше, на с. 391—392). Кроме того, есть интересная особенность в виде «солнечного луча», который проходил через комнату «и, ударяясь в противостоящую стену, рисовал на ней пестрый ландшафт из очеретяных крыш, дерев и развешанного на дворе платья, все только в обращенном виде. От этого всей комнате сообщался какой-то чудный полусвет». Все это позволяет исследователям говорить о перекличке с образом «пещеры» в седьмой книге «Республики» Платона (*Вайскопф*, 306—308): здесь *диалог* не приводит к установлению истины, иллюстрируя тезис философа об искаженном восприятии действительности людьми, как бы заключенными в темную пещеру, перед которыми луч света извне рисует непонятные картины внешнего мира. Сама же обстановка «пещеры», где лежит голый человек, намечает атмосферу доисторических времен (вспомним мотив «дикой» стихии, тяготеющей к распаду и хаосу), а «чудный полусвет», подобный «чудному свету» в сцене колдовства из «Страшной мести» (II, 257), — знак уже иного, скорее всего, злого, бесовского мира. Тем самым темная «пещера», где кипят человеческие страсти, противопоставлена Храму[73].

История в «Миргороде» и «Арабесках» — это Божественный Храм, который совместными усилиями, по Божьему Промыслу, возводит человечество и который достигает высшей точки на Рождество Христово, после чего в Средневековье люди пытаются страшными усилиями сохранить достигнутое, удержать равновесие Божественного и дьявольского, духовного и материального, религиозного и мирского, однако Новое время все больше разделяет «Град Небесный» и «земной». Не исключение и украинская история: она сопрягается не только с Древней Русью, норманнами (викингами), Россией и Польшей, но и с прежними культурными эпохами, что отражены

[73] Ср. описание храма, где «служит» Платон, в философском диалоге «Женщина» (1831): «Свет сыпался роскошным водопадом чрез смелое отверстие в куполе на мудреца и обливал его сиянием...» (*Ар.*, 235).

в ее развитии (Древняя Греция — отчасти в «Старосветских помещиках» и «Тарасе Бульбе», Древняя Греция и Древний Рим — в бурсацких сценах «Вия», а черты Древнего Рима периода упадка, неправедно и бесславно воюющего, — в повести о ссоре двух друзей). А далее, как показывает хронология повести (см. с. 492—493), «большая», общая для человечества история распадается на хаотическое множество «личных» жизненных линий — все больше расходящихся, не сводимых воедино даже великими событиями. Людей Нового времени уже вовсе не интересует общее!

Такое понимание истории в «Миргороде» выражается в самом движении художественных форм. Здесь *идиллия* как *равенство* духовного и физического начала, человеческого и природного (растительного, животного), как форма их *сосуществования* в неком согласии-родстве сменяется *героическим эпосом* противостояния, когда человек и целые народы сталкиваются, бьются и гибнут за Веру, за идею и те духовные ценности, что определяют национальный идеал. Но изначально противоречие возникает между телом и духом человека, который своим религиозным энтузиазмом одушевляет природу и, даже погибая физически, остается жить в духовно-религиозном единстве, в Слове, как Тарас Бульба (см. выше, с. 381). Таким образом, в первой части цикла еще преобладает духовное начало. Однако во второй части его нейтрализует *мистерия* (миракль) «Вия», где герои уже сомневаются или прямо отвергают Веру, а недостаточный энтузиазм, вялость, неправедность Хомы восполняется активностью нечисти в самой церкви, и только гибель как взаимоуничтожение противостоящих сторон уравнивает их, после чего остаются лишь слухи и домыслы. Наконец, *сатира* о том, как поссорились два приятеля, использует подобные слухи и домыслы как единственное знание о жизни, которое доступно героям и рассказчику в мире, подобном темной «пещере» Платона, поскольку здесь люди пренебрегают *истинами* евангельского четверокнижия — земной истории Сына Божьего.

Вместе с тем четыре повести «Миргорода» в какой-то мере отражают жанровый поиск в раннем гоголевском творчестве: от *идиллии* «Ганца Кюхельгартена» к *героическому эпосу* исторического романа и повестей «Вечеров...» о судьбах Козачества, к наглядной *мистериальности* «Бисаврюка, или Вечера накануне Ивана-Купала» и почти одновременно к *сатирическому* изображению заурядной, пошлой, выморочной современности в главах «Страшного кабана» и повести о Шпоньке. Но лишь в «Арабесках» и «Миргороде» изображению действительности присущи явно апокалиптические тенденции (см.: *Ар*., 357—358), которые опираются на пророчества Священного Писания и указанные в них приметы «последних времен», когда «люди будут самолюбивы, сребролюбивы, горды, надменны, злоречивы, родителям непокорны, неблагодарны, нечестивы,

недружелюбны, непримирительны, клеветники, невоздержны, жестоки, не любящие добра, предатели, наглы, напыщенны, более сластолюбивы, нежели боголюбивы...» (2 Тим. 3:2). И вероятно, потому не так уж наивно звучит вопрос рассказчика повести о двух Иванах: «Что ж теперь прочно на этом свете?» — когда типичные герои современности возвеличивают себя, даже находясь в церкви, вносят туда распри вместо любви и тем самым губят свой Храм гордыней и самообо́жением, приближая «конец времен».

Пустой или заброшенный (как в «Миргороде»), вовсе не построенный (как в комедии «Ревизор»), разворованный, загаженный, разоряемый страстями храм символизирует и духовную опустошенность, «темноту» заблуждающихся, погрязших в пороках гоголевских героев, и надежду на их грядущее духовное воскрешение, которое возможно, если каждый очистится, возродив «храм души» на основании неколебимой Веры в предвестии Высшего Суда. Созиданию такого «храма души» в «монастыре» России затем Гоголь посвятит «Выбранные места из переписки с друзьями» и свою поэму о «мертвых душах» современности.

* * *

Моя сердечная благодарность всем, кто помогал готовить это издание: Елене Анненковой, Игорю Виноградову, Владимиру Воропаеву, Ивану Есаулову, Владимиру Казарину, Александру Карпову, Павлу Корнакову, Владимиру Котельникову, Павлу Михеду, Ольге Николенко, Марии Свиченской, Людмиле Шишовой, работникам Российской национальной библиотеки, рукописных отделов ИРЛИ РАН (Пушкинского Дома) и Российской государственной библиотеки, — и всем, кто долгие годы поддерживает нашу кропотливую работу делом и Словом!

ПРИМЕЧАНИЯ

В настоящем издании взят за основу свободный от посторонних поправок первопечатный текст «Миргорода». Конъектуры, введенные Н. Я. Прокоповичем (*Соч. 1842*. Т. II) и Н. П. Трушковским (*Соч. 1855—1856*. Т. 2), учитываются, если они исправляли дефекты первопечатного текста. Тот или иной рукописный вариант восстанавливается в случаях, когда причиной искажения первопечатного текста стали явные опечатки, описки, вмешательство цензуры. Все конъектуры обозначены угловыми скобками, в квадратных скобках восстановлено зачеркнутое автором. В основном тексте литера **в** указывает на самые значимые по смыслу варианты из рукописей и первопечатных публикаций, отвергнутые автором во время работы над произведением или при подготовке его к изданию (в том числе из-за автоцензуры), — они в настоящем издании составляют раздел «Варианты». В «Приложениях» помещены художественные фрагменты, статьи и заметки, имевшие отношение к творческой истории сборника. Ссылки на печатные и рукописные редакции текстов в *АСС Гоголя 1937—1952* как на самый авторитетный в текстологическом плане источник везде даны в круглых скобках, где указаны через запятую том — римской цифрой, страница — арабской; все произведения, относящиеся к сборнику «Арабески», цитируем по *Ар.* (с учетом новейших редакций текста в изданных томах *ПССиП*).

Основной текст произведений снабжен нумерованными ссылками на постраничный комментарий, при подготовке которого использованы разыскания П. А. Кулиша, Н. С. Тихонравова, В. И. Шенрока, В. В. Гиппиуса, И. Я. Айзенштока, В. П. Петрова, Н. Л. Степанова, Ю. В. Манна, С. Г. Бочарова, М. Я. Вайскопфа, И. А. Виноградова, В. А. Воропаева, Е. Е. Дмитриевой, Л. В. Дерюгиной, И. А. Есаулова, В. Я. Звиняцковского, а также сведения Интернет-порталов. Взятые в кавычки пояснения Гоголя приведены по составленному им указателю «Малороссийские слова, встречающиеся в первом и втором томах» (*Соч. 1842*. Т. II. С. 485—490; далее — «Малороссийские слова»), по «Лексикону малороссийскому» и перечню «Имена, даемые при Крещении» из «Книги всякой всячины, или Подручной энциклопедии» 1826—1831 годов (IX, 495—501, 513).

В настоящем издании тексты сборника и «Приложений», а также варианты гоголевских текстов печатаются по нормам современной орфографии, за исключением отдельных написаний и форм, присущих языку той эпохи («верьх», «домы», «дышущий» и под.) или ярко характеризующих особенности авторского стиля и языка персонажей.

Везде в словах «козак» и производных от него (для Гоголя они обозначали особую национально-историческую общность) сохранено написание рукописных редакций, которое в первопечатном тексте почти везде подверглось последовательной цензурной замене на *казак* и под., подразумевающей общее происхождение украинских и российских казаков.

Творческую историю «Миргорода» принято начинать с поездки Гоголя на родину летом 1832 г. Однако сам он, посылая новый сборник матери 12 апреля 1835 г., назвал повести «довольно давними» (X, 363). Это указание можно объяснить и тем, что они были основаны на каких-то давних впечатлениях и разработках — возможно, еще гимназических времен. Вместе с тем на замысел второго украинского цикла повлияли и преподавание Всеобщей истории в Патриотическом институте (1831—1834), и занятия Гоголя средневековой, русской и украинской историей, и чтение летописей, украинского, русского и западноевропейского фольклора, русской и зарубежной классики, романтических произведений, и, конечно, работа над «Вечерами на хуторе близ Диканьки», отразившими судьбы Козачества, которое Гоголь считал корнем и основой всего народа. По мысли автора, новый цикл «служил продолжением», преемником прежнего (что обозначено повторением его структуры: две части, четыре повести, — и развитием основных тем и мотивов). В этом плане *героико-мистическая козацкая* линия «Миргорода» продолжает «Страшную месть» и отчасти «Пропавшую грамоту», *сниженно-бытовая, гротескная* — «Сорочинскую ярмарку» и повесть о Шпоньке, *любовная* — «Майскую ночь» и «Ночь перед Рождеством» и, наконец, от первой опубликованной повести — «Вечер накануне Ивана Купала» — унаследованы темы предательства, отступничества, христианские и «купальские» мотивы цикла (об этом см. вступ. ст.). Этим цикл, в глазах автора, «примирил», объединил и продолжил разные начала его творчества, означенные фрагментарно в «Вечерах...» и «Арабесках». Недаром Гоголь никогда больше не переиздавал эти сборники отдельно: он потом и «Миргород» сделал вторым томом Собрания сочинений 1842 г., для чего существенно переработал повести «Вий» и — особенно — «Тарас Бульба». При этом писатель сделал специальное примечание, что читатели могут начинать знакомство с его творчеством сразу этим томом, минуя «Вечера...», то есть фактически признал «Миргород» творением, достойным художника-ученого, который открывает современникам правду о жизни.

Общим рукописным источником для цикла «Миргород», за исключением повести о двух Иванах, является Записная тетрадь Гоголя (*РП*), из числа принадлежавших И. С. Аксакову (ОР РНБ. Фонд 199. Ед. хр. 1; впервые описана: *Кулиш*, 167—170). Здесь, начиная с л. 2 (л. 1 считается утраченным), находятся: заметки по истории Малороссии (л. 2—3 об.), первый набросок повести «Нос» (л. 4 об.), художественные отрывки „Мне нужно видеть полковника“ (в двух вариантах на л. 6 и 6 об.) и <Рудокопов> (л. 7 об.), исторический фрагмент <Новоплатоническая Александрия> (л. 9) и неозаглавленные черновые автографы «Старосветских помещиков», «Тараса Бульбы», «Вия» (вписаны на л. 12—40 в том же порядке, в каком затем появились в сборнике). По-видимому, Гоголь изначально предполагал исполь-

зовать *РП* для своих исторических работ о Малороссии, хотя несколько раз заносил туда фрагменты иной тематики, а потом все оставшиеся страницы отдал украинским повестям, состав которых — в отличие от названий — к тому времени уже определился. Анализ их черновых автографов показывает, что, как правило, они записывались частями — на основании предварительно сделанных набросков, причем большинство изменений было сделано в ходе записи или когда она почти сразу дорабатывалась. Судя по основным вариантам почерка, черновой автограф «Старосветских помещиков» был завершен не ранее февраля — марта, а «Вия» — не ранее декабря 1834 г.; работа над черновой редакции «Тараса Бульбы» продолжалась с февраля—марта по октябрь—ноябрь (более полугода), причем идентичность почерка и чернил в разных ее местах говорит о том, что работа над ними иногда шла одновременно.

В цензурном деле сборника «Миргород» (РГИА. Фонд 777. Дела Петербургского цензурного комитета) нет замечаний. Книга была подготовлена к публикации в конце декабря 1834 г., когда уже печатался сборник «Арабески». Предварительное разрешение на ее выпуск 29 декабря дал цензор В. Н. Семенов (1801—1863), литератор, выпускник Царскосельского лицея, благоговевший перед Пушкиным (находясь в должности с 1830 г., именно он обычно цензуровал издания пушкинского круга, «Литературную Газету» и альманах «Северные Цветы», был знаком через Пушкина с Гоголем, который иногда читал ему написанное, чтобы узнать об этом мнение Семенова и как цензора. — См.: II, 752). Поскольку вторая часть сборника набиралась с печатного и рукописного текста, между повестями оказался «пробел», который был заполнен заметкой «Погрешность», относящейся к «Вию», и новым предисловием к повести о двух Иванах (см. об этом ниже, с. 477, 489). Однако затем его снял или сам Гоголь, или, при просмотре отпечатанной второй части сборника, назначенный его цензором А. В. Никитенко[1]: данное «Предисловие» подразумевало его же цензурные купюры при первой публикации текста в альманахе А. Ф. Смирдина «Новоселье» (СПб., 1834. Ч. 2). Такое изъятие привело к тому, что в середине второй книжки опять осталась пустая страница. Чтобы избежать переверстки, Гоголь дополнил предыдущую повесть «Вий» новым финалом: разговором приятелей Хомы о его судьбе — и сделал необходимые изменения в тексте (об этом ниже, на с. 477—478), видимо, еще и потому, что повесть была написана последней и обработана меньше других.

Подобно ранее изданным гоголевским книгам — «Вечерам на хуторе близ Диканьки» и «Арабескам», — сборник «Миргород» состоял из двух книжек-частей с отдельным оглавлением в каждой. Издать их удалось тоже за два месяца: сборник увидел свет в самом конце февраля—начале марта 1835 г. Это следует из переписки Гоголя того времени. 20 февраля он известил М. П. Погодина, что книга «уже отпечатана» и назавтра «должна поступить в продажу», а 10 марта писал С. П. Шевыреву в Москву, что отправляет сборник ему, а через него — И. В. Киреевскому и Н. И. Надеждину, и просил отозваться о своих новых книгах (X, 353—354). По-

[1] Вероятно, это затруднение имел в виду Гоголь, когда в письме А. В. Никитенко от «Генваря 24» 1835 г. сообщал: «...мне бы нужно было о многом переговорить с Вами таком, что на бумаге как-то не может говориться» (X, 350).

видимому, теперь все они представлялись автору неким целым: ведь появление «Арабесок. Разных сочинений Н. Гоголя», которые он называл собранием «всякой всячины», отражавшим различные стороны его петербургской жизни художника, историка, педагога и мыслителя, должно было сопровождаться переизданием «Вечеров...» (обе книги были сданы в цензуру и разрешены к печати одновременно), а вышедший следом «Миргород» имел подзаголовок «Повести, служащие продолжением „Вечеров на хуторе близ Диканьки"». Кроме того, на обороте издательской обложки «Арабесок» было помещено объявление: «**Его же Гоголя**. В непродолжительном времени выйдет продолжение *Вечеров на хуторе близъ Диканьки*», — тогда как объявление на обложке «Миргорода» гласило: «Продается во всех книжных лавках. Цена за обе части 12 руб. — Там же можно получать на днях вышедшую книгу: „Арабески. Повести и разные сочинения Н. Гоголя". Цена за обе части 12 руб. — В непродолжительном времени выйдет второе издание „Вечеров на хуторе близ Диканьки", его же, Гоголя, in 8. Цена за оба тома 12 руб. Желающие могут адресоваться заблаговременно к книгопродавцам и получать билет». Таким образом, подписавшийся получил бы своего рода «собрание сочинений» автора в трех книгах (для чего, видимо, и понадобилось задним числом переменить подзаголовок «Арабесок», сделав акцент на «Повестях» сборника — в отличие от других «сочинений»).

На фоне ярких, неординарных «Арабесок» (см. об этом: *Ар.*, 364—366) малороссийские повести «Миргорода» выглядели более традиционными и в основном воспринимались как «сказки» — соответственно подзаголовку сборника: «...продолжение *Вечеров на хуторе близъ Диканьки*». Позднее Гоголь писал В. А. Жуковскому, что «Старосветские помещики» и «Тарас Бульба» — «это те две счастливые повести, которые нравились совершенно всем вкусам и всем различным темпераментам», но при этом добавлял: «...все недостатки, которыми они изобилуют, вовсе неприметные были для всех, кроме вас, меня и Пушкина» (XI, 98; видимо, «Старосветских помещиков» читатели воспринимали как патриархальную идиллию, противопоставленную «меркантильному веку», а «Тараса Бульбу» — как официозно-патриотическую историческую повесть на актуальную тему русско-украинско-польских отношений). Но именно критические статьи, заметки, отзывы о «Миргороде» фактически положили начало традиции рассматривать творчество его автора (а не *Рудого Панька*) на фоне русской и европейской литературы. Причем борьба «за и против» Гоголя, критические мнения о его книге на первых порах выражали не столько те или иные оценки его таланта определенными литературными группировками, сколько личное отношение критиков. Два характерных отзыва о сборнике опубликовал журнал «Московский Наблюдатель», для которого Гоголь в то время готовил «особенную повесть» («Нос»; см.: X, 352—354), считая его основных сотрудников своими литературными единоверцами и даже — отчасти — учителями. И потому 10 марта 1835 г. он обратился к С. П. Шевыреву с просьбой: «Посылаю вам мой Миргород и желал бы от всего сердца, чтобы он для моей собственной славы доставил вам удовольствие. Изъявите ваше мнение наприм. в Московском наблюдателе. Вы этим меня обяжете много: Вашим мнением я дорожу» (X, 354). Ответом стали панегирик М. П. Погодина и аналитическая статья С. П. Шевырева во втором номере этого журнала.

Именитый историк, писатель и журналист М. П. Погодин восторженно отзывался о новых драматических и прозаических опытах молодого автора: «*Гоголь* читал мне отрывки из двух своих комедий. Одна под заглавием — *Комедия*! Другая — *Провинциальный Жених*[2]. Что за веселость, что за смешное! Какая истина, остроумие! Какие чиновники на сцене, какие канцелярские служители, помещики, барыни! Талант первоклассный. На днях вы получите его *Миргород* и должны будете поклониться этим повестям, со всеми нашими повествователями без исключения, стихотворными и прозаическими. Вот рассказ, вот живость, вот поэзия, истина, мера! Вы прочтете там повесть *Старосветские Помещики*. Старик со старухою жили да были, кушали да пили и умерли обыкновенною смертию, вот все ее содержание, но сердцем вашим овладеет такое уныние, когда вы закроете книгу; вы так полюбите этого почтенного Афанасия Ивановича и Пулхерию (sic!) Ивановну, так свыкнетесь с ними, что они займут в вашей памяти место подле самых близких родственников и друзей ваших, и вы всегда будете обращаться к ним с любовию. Прекрасная Идиллия и Элегия. А *Тарас Бульба*! Как описаны там казаки, казачки, их набеги, жиды, Запорожье, степи. Какое разнообразие! Какая Поэзия! Какая верность в изображении характеров! Сколько смешного и сколько высокого, трагического. О! на горизонте Русской Словесности восходит новое светило, и я рад поклониться ему в числе первых» (*МН*. 1835. Ч. I. Кн. 1—2. Отд. VII. Смесь. О литературных и ученых новостях из Петербурга. Письмо М. П. Погодина. С. 445; курсив автора).

Литературный критик и теоретик искусства С. П. Шевырев начинал превозносить те же повести с эмоциональностью не меньшей, чем Погодин: «Кто из русских читателей не знает теперь о знаменитой ссоре Ивана Ивановича с Иваном Никифоровичем? Что ваши гвельфы и гиббелины, Мономаховичи и Ольговичи[3] перед этими миргородскими помещиками? Я и теперь еще вижу эту славную бекешь Ивана Ивановича, это диво всего Миргорода; я и теперь еще вижу его самого, как он лежит в счастливом бездействии и самодовольстве; как смотрит на бабу, развешивающую сокровища его соседа; как попадется ему в глаза ружье, вина знаменитой распри; как он, несмотря на лень свою, идет к Ивану Никифоровичу с роковым предложением... А их разговор, писанный, право, с натуры! А вся постепенность этой драмы! А сцены в суде! Этот поветовый судья, Демьян Демьянович, с его замечательною губою! Эти две красноречивые просьбы, из которых в одной Иван Иванович так важно доказывает, что в приходской метрической книге он никогда не назывался гусаком; что гусак есть не человек, а птица... Это похищение просьбы бурою свиньею... Свидание Городничего с Иваном Никифоровичем... Наконец бал у Городничего... И неудачные усилия всего Миргорода примирить двух противников...» (Там же. Отд. V. Критика и библиография. «Миргород». Повести Н. Гоголя. С. 396—397). Далее критик объяснял

---

[2] Речь идет об отрывках из комедии «Владимир 3-ей степени» (1832—1833; они затем были обработаны как отдельные драматические сцены) и комедии «Женихи» (1833—1834; будущая «Женитьба» в ее «провинциальном» варианте).

[3] *Гвельфы* и *гибеллины* — представители двух враждующих итальянских феодальных группировок в XII—XV веках; *Мономаховичи* (потомки Владимира Мономаха) и *Ольговичи* (потомки Олега Святославича) — две ветви рода Рюриковичей, ожесточенно враждовавшие с конца XI в.

смех Гоголя безобидно-комическим («...надрывался от смеху, читая...»), насмешкой над извечным человеческим несовершенством, смакуя особый малороссийский юмор: «Мы не знаем, где, в каком углу Малороссии, в Миргороде или в Диканьке, автор этих хохотливых вечеров отрыл клад, до сих пор в такой степени еще не виданный в нашей литературе: это клад простодушного, искреннего, ни у кого не занятого и неистощимого смеха. Я думаю, что он нашел его в Малороссии, что он откупорил этот веселый дух из заветной кубышки какого-нибудь малороссиянина, потому что в литературе русской, и простонародной, и образованной, мы не находим предания о такой простодушной веселости <...> Г. Гоголь соединил оба качества смешного: его смех — простодушен, его смех — неистощим. Читая его комические рассказы, не понимаешь, как достает у него вдохновения на этот беспрерывный хохот <...> Хотя этот простодушный и неистощимый смех составляет резкую и отличительную черту в физиономии писателя, которого я разбираю, но этой чертою еще не ограничивается эта физиономия, довольно сложная и являющаяся нам новыми чертами, особенно в его новых произведениях. В одном журнале, где вообще не благоволят к лучшему цвету наших литераторов, ограничили талант г. Гоголя одним умением писать карикатуры. Его *Миргород* является как будто нарочно с тем, чтобы вдруг решительно обличить едва ли не умышленную односторонность такого суждения, но кроме *Миргорода* еще и в прежних *Вечерах на хуторе близ Диканьки* уже ярко выдавались другие черты этого писателя, который в самом первом своем произведении обнаружил какую-то свежесть вдохновения, что-то непочатое, новое, небывалое у нас, который пошел не по утоптанным следам, а с первого раза был оригинален... и оригинален без усилий, а свободно, по призыву вдохновения» (Там же. С. 397—399; курсив автора).

Дело в том, что Шевырев определяет смешное по канонам французского классицизма, восходящим к поэтике Аристотеля, — «как бессмыслицу жизни. Человек создан разумной тварью, и всё, что не имеет смысла, для него смешно», то есть «смешное есть бессмыслица безвредная», — таковой критик видит «стихию комического... истинно смешное» у Гоголя, поэтому и советует ему направить талант на описание «образованного круга» общества: «Автор *Вечеров Диканьки* имеет от природы чудный дар схватывать эту бессмыслицу в жизни человеческой и обращать ее в неизъясняемую поэзию смеха. В этом даре его мы видим зародыш истинного комического таланта. Но желательно бы было, чтобы он обратил свой наблюдательный взор и меткую кисть свою на общество, нас окружающее. До сих пор за этим смехом он водил нас или в *Миргород*, или в лавку жестяных дел мастера Шиллера, или в сумасшедший дом[4]. Мы охотно за ним следовали всюду — потому что везде и над всем приятно посмеяться. Но столица уже довольно смеялась над провинцией и деревенщиной, хотя никто так не смешил ими, как автор *Миргорода*; высший и образованный класс общества всегда смеется над низшим, потому немудрено рассмешить и жестяных дел мастером... Но как бы хотелось, чтобы автор, который, кажется, каким-то магнитом притягивает к себе все смешное, рассмешил нас нами же самими; чтобы он открыл эту бессмыслицу в нашей собственной жизни, в кругу так называемом образованном,

---

[4] Речь идет о Шиллере, персонаже «Невского проспекта», о Поприщине в «Записках сумасшедшего».

в нашей гостиной, середи модных фраков и галстухов, под модными головными уборами... Вот что ожидает его кисти! Как ни рисуйте нам верно провинцию — всё она покажется карикатурой, потому что она не в наших нравах... Я уверен, что Иван Иванович и Иван Никифорович существовали... Так они живо написаны... Но общество наше не может поверить в их существование... Для него это или прошлое столетие, или смешная мечта автора...

Конечно, автор начал свой дебют в комическом с того, что ярче нарезалось в его памяти, со своих малороссийских преданий, — но должно надеяться, что он соберет нам впечатления и с той общественной жизни, среди которой живет теперь, и разовьет блистательно свой комический талант в том высшем кругу, который есть средоточие русской образованности...

Обратимся к прочим чертам физиономии нашего повествователя. Я сказал, что дар к смешному составляет главную и резкую черту в ней, но еще в первых *Вечерах Диканьки* можно было видеть обилие фантазии свежей, живой, своенравной, прихотливой, носящей на себе оттенок какого-то *юмора*, который не есть подражание ни английскому, ни немецкому, потому что юмору подражать невозможно, но который, как я думаю, есть наследие отчизны автора. Г. Гоголь разуверил меня в том, что юмор есть исключительная принадлежность англичан и немцев, Жан-Поля[5] и Гофмана. Он привил и к нашей повести юмор, взяв его, как кажется, из малороссийских сказок, которые отличаются каким-то особенным юморизмом <...>

Но нельзя не заметить, что в новых повестях, которые читаем мы в *Арабесках*, этот юмор малороссийский не устоял против западных искушений и покорился в своих фантастических созданиях влиянию Гофмана и Тика — и мне это досадно. Ужели ничто оригинально русское не может устоять против немецкого? Ведь эти немцы, как свидетельствуют нам прекрасные образцы жестяных дел мастера Шиллера и сапожника Гофмана, не русеют же у нас в России, — отчего же нам, русским, обнемечиваться у нас же в отечестве? Может быть, это есть влияние Петербурга на автора... Но утешимся: в своих *Старосветских помещиках* и в своем *Тарасе Бульбе* он еще верен во всей силе малороссийскому духу.

Еще в первых *Вечерах Диканьки* фантазия автора блистала роскошью оригинальных описаний, из которых описание Днепра, вероятно, памятно каждому читателю. В двух повестях *Миргорода*, мною помянутых, особенно в *Тарасе Бульбе*, эта фантазия от описаний лирических восходит уже к созданиям характеров и картин, отличающихся силою и яркостью кисти.

<...>

Старосветские помещики — это два живые, яркие портрета, во вкусе Теньера[6], снятые верно с малороссийской жизни. Афанасий Иванович и Пульхерия Иванов-

---

[5] Жан Поль (наст. имя И. П. Ф. Рихтер; 1763—1825), немецкий писатель-сентименталист, предтеча романтизма, автор сатирических сочинений, эстетик и публицист.

[6] Теньер Давид Младший (Тенирс; 1610—1690) был известным фламандским жанровым живописцем, с его именем в первой половине XIX в. связывали изображение «низменной» натуры простонародной жизни. Шевырев называл Гоголя Теньером и потом, в статье, посвященной «Мертвым душам».

на — говоря выражением самого автора, Филемон и Бавкида Малороссии, — представляют добрую, верную, гостеприимную чету, прожившую свой век душа в душу, без вреда и без пользы ближнему. Весь домашний быт их должен быть списан верно, потому что это не может быть несхоже: так оно ярко и живо. Все окружение этой семейной картины, вся эта малороссийская природа, тучная и плодоносная, составляет живой ландшафт, которым она прекрасно обставлена. Эти два лица старика и старушки, эти два портрета служат явным обличением тем критикам, которые ограничивают талант автора одною карикатурою. Автор изобразил нам их не с одной смешной стороны. Малороссийская доброта, теплая дружба, которая связывает их и за могилою, эти веселые шутки, которыми муж как будто сердит жену для разнообразия в жизни, — всё это черты, схваченные резко с самой природы. А заботливость доброй супруги перед ее кончиною о своем муже, который останется без присмотра, и эти слезы, через пять лет по ее смерти брызнувшие из глаз доброго старика, когда подали ему на стол любимое кушанье покойницы, — всё это черты, показывающие кисть, одушевленную чувством, кисть живую и разнообразную. — Мне не нравится тут одна только мысль, убийственная мысль о привычке, которая как будто разрушает нравственное впечатление целой картины. Я бы вымарал эти строки...

Но *Тарас Бульба* выше всего! Этот дивный тип запорожца написан широкими и крупными чертами. Это есть одно из тех созданий, которые отмечены печатью народности и глубоко нарезываются на воображении читателя. Яркая картина Запорожья свежа, нова и исполнена какого-то удалого разгулья казачьего. Эти широкие степи Малороссии с их чудною растительностию поглощают наше воображение <...> Автор искусно знакомит нас с различными характерами юношей: Остапа, сурового и воинственного, и Андрия, нежного и мечтательного, которому в сердце запала уже любовь к очаровательной польке <...> Любовь победила в нем все другие чувства, Андрий изменил отчизне и предался врагам. Закипела вся кровь отца при вести об измене сына... Тарас в битве поднял руку на свое детище, убил изменника и сам похоронил его... Эта картина была бы ужасна, если бы черты воинственной дикости не объясняли ее возможности и если бы потом не смягчена она была сильным чувством любви родительской <...> Этот запорожец, которого мы видели таким неумолимым к его сыну, изменившему отчизне, тут трогает нас своим чадолюбием и истребляет в душе первое впечатление своей жестокости <...> Бульба на площади... Он видит своего сына, гордо идущего вперед на плаху; он слышит его речь против еретиков <...> Мучают Остапа... Кости его хрустят. Остап крепится... и, в припадке мучений, вскрикивает невольно: „батько! где ты? Слышишь ли ты?“ <...>

Это славное *слышу!* отдалось в душе громко и глубоко, и верно таким же звуком отдастся в душе каждого из читателей. Это *слышу!* останется навсегда памятным в нашей литературе, и если бы г. Гоголь не изобрел ничего другого, кроме этого славного *слышу!* — то одним этим мог бы заставить молчать всякую злонамеренность критики. Повесть кончается славною местью Тараса полякам, поминками по Остапе и чудною и страшною кончиною самого героя, которая фантастически заключает этот огненный рассказ. Старик Бульба, привязанный к бревну, и его вьющиеся белые волосы резко печатлеются в воображении...

Я от искреннего убеждения позволяю себе сказать, что мы можем поздравить нашу словесность с таким созданием, которое обличает талант многосторонний, решительный и кисть широкую и смелую в повествователе.

Мне бы не хотелось от *Тараса Бульбы* переходить к другой повести, которая, по моему мнению, есть слабейшая в *Миргороде*: это *Вий*. Она, как говорит автор, пересказана им почти точь-в-точь с народного предания. Это повесть фантастическая. Но мне кажется, что народные предания для того, чтобы они производили на нас то действие, которое надо, следует пересказывать или стихами, или в прозе, но тем же языком, каким вы слышали их от народа. Иначе в нашей дельной, суровой и точной прозе они потеряют всю прелесть своей занимательности. В начале этой повести находится живая картина киевской бурсы и кочевой жизни бурсаков, но эта занимательная и яркая картина своею существенностью как-то не гармонирует с фантастическим содержанием продолжения. Ужасные видения семинариста в церкви были камнем претыкания для автора. Эти видения не производят ужаса, потому что они слишком подробно описаны. Ужасное не может быть подробно: призрак тогда страшен, когда в нем есть какая-то неопределенность, если же вы в призраке умеете разглядеть слизистую пирамиду с какими-то челюстями вместо ног и с языком вверху... тут уж не будет ничего страшного — и ужасное переходит просто в уродливое <...> Создайте мне для этого какой-нибудь новый, другой, прерывистый язык, в звуках, в бессвязии которого был бы след вашего собственного страха... Испугайтесь сами и заговорите в испуге, заикайтесь от него, хлопайте зубами... Я вам поверю, и мне самому будет страшно... А пока ваш период в рассказах ужасного будет строен и плавен... я не верю в ваш страх — и просто: не боюсь...

Слог автора имеет меткость и верность выражения, когда оно свободно, по вдохновению льется с его пера. Особенно широк, свободен и смел этот слог в описаниях малороссийской природы. Но там, где надобен труд, а в слоге он надобен, мы его не видим, к сожалению. Виною тому, кажется, скоропись, которою увлекается повествователь. Он слишком эскизует свои прекрасные создания. Даже самый Тарас Бульба отзывается скоростью эскиза. Мы желали бы также, чтобы повествователь не был сам и издателем своих повестей и поручал бы другим заботиться об опрятности своих изданий. Иногда, читая его страницы, думаешь, что держишь корректуру, и как-то невольно хочется ее выправить. А эта опрятность есть необходимая обязанность перед публикой: нельзя же нечесаным и в нечищеном фраке приехать в общество. К тому же иные смотрят только на задний двор в сочинении. Надо же таких беречься. Это нерасчет, вредящий самому же автору» (Там же. С. 400—411).

Таким образом, в целом критик принимает гоголевское творчество с его характерными чертами: естественным (украинским) юмором и комизмом, патетикой, изобразительностью, верностью чувству, — но при этом не признает права автора на особый путь в литературе, на выбор предметов описания и способов подачи материала, выдвигая обычные литераторские критерии (слог, эскиз, мера), несовместимые с оригинальностью. Всему «виною», видимо, были принципиальная простота и новизна изображения, сочетающего не сочетаемые, с точки зрения классической

поэтики, черты. Поэтому Шевырев, пересказывая повести для возможного читателя, существенно исказил их смысл, а кроме того, вступил в противоречие со своей же характеристикой «Миргорода» — недаром его оценки влияния фантастики «Гофмана и Тика» на «Вий» и на первые гоголевские повести о Петербурге во многом перекликаются с оценками О. И. Сенковского (об этом см. ниже). Сам Гоголь позднее, видимо, признал справедливость упреков критика в «эскизности» и «неопрятности», отчасти в неудаче фантастических образов «Вия», ибо постарался это исправить при подготовке своего Собрания сочинений 1842 г.

Заметкой о «Миргороде» в самом популярном тогда журнале «Библиотека для Чтения» продолжились выпады О. И. Сенковского[7] против автора «Арабесок», который, по мнению критика, «обманывает себя до того, что хочет провозглашать какие-то новые истины по части наук и художеств, блистать каким-то юным слогом, быть высокопарным и заставлять беспрестанно читателя смеяться над неловкостью своих начинаний, тогда как по роду своего дарования он мог бы смешить его и писать хорошие сказки» (*БдЧ*. 1835. Т. IX. Ч. 2. Отд. VI. Литературная летопись. Февраль, 1835. С. 10). Тем же менторским тоном Сенковский теперь противопоставил и «Арабески» — «Миргороду», и две части нового сборника: «Вот это совсем другое дело! Тут нет ни всеобщей истории, ни изящных художеств — есть только сказки, и г. Н. Гоголь, у которого мы уже в прошлом месяце заметили особенное дарование рассказывать шуточные истории, является повествователем занимательным, умным, оригинальным. Малороссийская повесть — настоящая его сфера. Эти два тома читаются легко и приятно.

В „Миргороде" четыре повести. Лучшая из них — „Тарас Бульба". В ней очень живо нарисована картина Запорожской Сечи и Казацкого удальства. Изображение материнской любви замечательно по верности и простоте красок», — далее шла объемная «патетическая» цитата о чувствах матери, подтверждавшая правоту критика для любого читателя, и следовал приговор: «Такие же страницы, в которых проглядывает неподдельное чувство, встречаются и во второй повести, „Старосветские Помещики". Во второй части их нет. Там автор поместил старую свою повесть „О том, как поссорились Иван Иванович с Иваном Никифоровичем", напечатанную в *Новоселье*, и еще другую, „Вий", взятую из народного предания. О первой из них мы всегда были того мнения, что она очень грязна. В „Вие" нет ни конца, ни начала, ни идеи — нет ничего, кроме нескольких страшных, невероятных сцен. Тот, кто списывает народное предание для повести, должен еще придать ему смысл, тогда только оно сделается произведением изящным. Вероятно, что у малороссиян Вий есть какой-нибудь миф, но значение этого мифа не разгадано в повести» (Там же. Март, 1835. Новые книги. С. 30—31, 33).

В «Литературных прибавлениях к „Русскому Инвалиду"» была помещена статья «Мои коммеражи[8] о соч. Н. Гоголя: „Миргород"», автор которой — человек мыс-

---

[7] Осип (Юлиан) Иванович Сенковский (1800—1858), востоковед, модный тогда журналист и писатель, известный под псевдонимом Барона Брамбеуса, редактор журнала «Библиотека для Чтения» (1834—1837), который вместе с Ф. Булгариным и Н. Гречем составил пресловутый «журнальный триумвират».

[8] Коммеражи — здесь: легковесные суждения (от фр. commérage — 'болтовня, пересуды, слухи').

лящий и образованный (вероятно, чиновник или преподаватель из Дерпта) под псевдонимом *А. в. м. л.* — на свой лад судил о прочитанном: «...В повестях *Н. Гоголя* сюжет прост, занимателен, величествен, как природа, рассматриваемая не очами слепца; выполнен сюжет — увлекательно. С радостию скажем, что автор *Миргорода* уже оставляет свою прежнюю напыщенность: *простота* есть одна из трех граций — изящного!.. Теперь каждое слово *Н. Гоголя* есть необходимая часть целого, ни одно слово не уронено на ветер... так и надобно писать!..

В повестях *Н. Гоголя* много аналогии с повестями *Цшоке*[9]. Он срывает ту же улыбку у читателя, что и *Цшоке*. Лица его повестей — яркие, добрые оригиналы, с которыми побыть очень занимательно, очень весело. Характер этих оригиналов прекрасно выдержан автором: припомним миргородского городничего, у которого *плохая пехота* и проч. — Многие повести *Н. Гоголя* вполне принадлежат к разряду *фамильных повестей*.

Нравится мне в повестях *Н. Гоголя* отсутствие *светскости*; он в этом случае диаметрально противоположен *Брамбеусу*[10] <...> В повестях *Н. Гоголя* видно, что автор не думал ни о читателях, ни о модном свете; он видел только предмет описываемый и весь исчезал в предмете.

В числе повестей *Миргорода* особенно достойна внимания *Тарас Бульба*, в которой яркими чертами изображен характер запорожцев в XVI столетии. Читая эту повесть, перелетаешь в XVI столетие, в Запорожскую сечь. — Настало то время, когда люди уже не так строги к недостаткам ближнего, не предают анафеме эти недостатки, а сожалеют о них. Характер запорожцев, этих воинов, обвенчавшихся не с *чернобривою*, а с саблей острою, несмотря на цинизм его, несмотря на его зверства, дикость, имел много великого, патриархального. — Жизнь запорожца в некоторые минуты дыбом вздымает волос, в некоторые ж минуты — трогает сладостно сердце, извлекает слезу умиления. — Повесть *Тарас Бульба* так жива, что, кажется, слышишь, читая ее, брящание сабли, видишь подергивание усов. Много поэзии в положении общества людей буйных, разгульных, энтузиастов, между тем робко повинующихся одному человеку — Атаману! Но каков же должен быть этот Атаман! *Карл Моор*[11]*! Ермак!* <...> В заключение, как русский, как любящий Малороссию, подаю руку автору. Я знаю его, хотя он меня не знает. Уверен, что он, как автор *Миргорода*, позволит мне с чувством пожать ему руку» (*ЛПРИ*. 1835. № 33. От 24 апреля. С. 262—263; курсив автора)[12].

---

[9] *Цшокке Г.* (1771—1848) — немецкий и швейцарский писатель-просветитель, автор многих исторических, фантастических, богословских и проч. сочинений, в том числе пяти романов. Автор имел в виду русские переводы его произведений: «Повести Генриха Цшокке» (СПб., 1831) и «Дилижанс, или Чудная свадьба» (М., 1834).

[10] *Барон Брамбеус* — псевдоним О. И. Сенковского, автора «Фантастических путешествий барона Брамбеуса» (СПб., 1833) и других повестей (см. выше, примеч. 6).

[11] *Карл Моор* — герой трагедии Ф. Шиллера «Разбойники» (1782), старший сын графа фон Моора, пылкий и восторженный юноша, из-за козней своего младшего брата ставший благородным атаманом разбойников.

[12] Позднее сам А. Ф. Воейков — издатель *ЛПРИ* назвал вышеупомянутые «сказки» Гоголя «Лафонтеновски-простодушными и вместе остроумными» (Там же. 1835. № 75. От 18 сентября).

И лишь в конце мая газета «Северная Пчела», обычно первая сообщавшая обо всем, наконец опубликовала в разделе «Новые книги» сообщение о «Миргороде» некого П. М-ского. Этот псевдоним (а также *П. Медведский* и *П. М.*) принадлежал начинающему критику и драматургу П. И. Юркевичу (ум. 1884), в основном писавшему театральные заметки. Видимо, отзыв о «Миргороде» через месяцы (!) после его выхода Ф. Булгарин специально поручил неопытному рецензенту, который не мудрствуя лукаво пошел по пути Сенковского, но взял для примера лишь начало «Тараса Бульбы» и сопоставил сразу все увидевшие свет гоголевские сборники: «К счастию, в начале этой книги нет никакого Предисловия. Г. Гоголю не всегда удаются Предисловия: пример этому мы недавно имели случай видеть в его „Арабесках". К счастию также, в „Миргороде" ни слова нет ни об архитектуре, ни о живописи, ни об истории, ни о Пушкине, ни о Брюлове. Но зато в „Вечерах на хуторе близ Диканьки" и в „Продолжении" этих „Вечеров" есть Малороссия, целая Малороссия, с ясным ее небом, с ее вишневыми садами, черноглазыми казачками, горелкою, бурсаками; с ее поверьями, нравами, обычаями, с оригинальным бытом ее обитателей, нынешних и прежних. Г. Гоголь говорит о Малороссии гораздо лучше, нежели об истории и изящных искусствах.

В новом собрании его Малороссийских повестей помещены три новые: *Старосветские Помещики*, трогательные сцены из простой семейной жизни двух супругов; *Тарас Бульба*, Повесть из рыцарской истории казачества времен Запорожской Сечи, и, наконец, *Вий*, фантастический рассказ, основанный на малороссийском поверье. Четвертая *Повесть о том, как поссорились Иван Иванович с Иваном Никифоровичем* была уже помещена в *Новоселье* и здесь является в другой раз. В ней описана прозаическая жизнь двух соседей бедного, уездного городка, со всеми ее незанимательными подробностями, описана с удивительною верностию и живостию красок. Но какая цель этих сцен, не возбуждающих в душе читателя ничего, кроме жалости и отвращения? В них нет ни забавного, ни трогательного, ни смешного. Зачем же показывать нам эти рубища, эти грязные лохмотья, как бы ни были они искусно представлены? Зачем рисовать неприятную картину заднего двора жизни человечества без всякой видимой цели?

Из всех четырех повестей нам больше всего понравилась одна: *Тарас Бульба*. Характер казацкого полковника и его двух сыновей, Запорожская Сечь, битвы, набеги, жиды, Литва и Малороссия описаны в ней живо и оригинально; рассказ увлекательный; местные краски блестят удивительною свежестию», — и, подтверждая свою мысль, рецензент дал начало повести до слов: «Вот там только наберетесь разуму!» (*СПч*. 1835. № 115. От 25 мая; курсив автора).

Молодой критик В. Г. Белинский впервые высказал свое мнение о «Миргороде» в газете «Молва», когда писал про новые книги: «Всем известен прекрасный талант г. Гоголя. Его первое произведение „Вечера на хуторе близ Диканьки" возбудили в публике самые лестные надежды. Но благоразумнейшие из читателей, наученные горьким опытом, не смели слишком предаваться этим надеждам. В самом деле, как богата наша литература такими писателями, которые первыми своими произведениями подавали о себе большие надежды, а последующими уничтожали эти надежды. У меня

вертится на языке несколько творений такого рода, к которым так хорошо идет эпитет счастливых или удачных... Есть люди, которые в больших статьях неудачу вторых и третьих романов приписывают какому-то меркантильному направлению и торговым расчетам гг. авторов; по моему мнению, это странное явление можно всего естественнее и всего справедливее объяснять бездарностию гг. авторов: истинный талант не могут убить ни хорошая плата за заслуженные труды, ни резкая критика. Гораздо страннее успех такого рода литературных рыцарей; но, назвавши их произведения счастливыми или удачными, вы легко разгадаете и эту загадку... Но не о том дело... Я хочу сказать, что г. Гоголь составляет прекрасное и утешительное исключение из сих столь общих и столь обыкновенных у нас явлений: две его пьесы в „Арабесках“ («Невский проспект» и «Записки сумасшедшего») и потом „Миргород“ доказывают, что его талант не упадает, но постепенно возвышается. Подробный отчет о сих двух его книгах будет помещен в № 5 „Телескопа“; теперь же мы скажем только то, что эти новые произведения игривой и оригинальной фантазии г. Гоголя принадлежат к числу самых необыкновенных явлений в нашей литературе и вполне заслуживают те похвалы, которыми осыпает их восхищенная ими публика» (Молва. 1835. № 15. Новые книги. Арабески... Н. Гоголя... Миргород... Н. Гоголя... Стлб. 239—242).

И действительно, затем в журнале «Телескоп» увидела свет критическая статья, которой суждено было раздвинуть рамки конкретного обзора произведений Н. Гоголя и стать, по существу, манифестом «реального» направления в литературе и искусстве. Называлась она «О русской повести и повестях г. Гоголя», извещала о произошедшей смене «идеальной (чистой) поэзии» на суровую жизненную прозу (повесть), отражающую действительность во всех ее аспектах и потому вмещающую все остальные жанры. Соответственно приветствовалось и падение прежних кумиров. А квинтэссенцией нового направления были объявлены «сочинения г. Гоголя», и сам он «становился на место, оставленное Пушкиным» («...который уже свершил круг своей художнической деятельности»), как «поэт жизни действительной».

Свои суждения о молодом писателе Белинский начал с декларации, что «этот поэт», конечно, не равен «Шекспиру, Байрону, Шиллеру и пр. Но здесь вопрос не о степени, не о великости таланта, а о таланте: для гения и таланта одни законы, несмотря на все их неравенство. Скажите, какое впечатление прежде всего производит на вас каждая повесть г. Гоголя? Не заставляет ли она вас говорить: „Как все это просто, обыкновенно, естественно и верно и, вместе, как оригинально и ново!“ Не удивляетесь ли вы и тому, почему вам самим не пришла в голову та же самая идея, почему вы сами не могли выдумать этих же самых лиц, так обыкновенных, так знакомых вам, так часто виденных вами, и окружить их этими самыми обстоятельствами, так повседневными, так общими, так наскучившими вам в жизни действительной и так занимательными, очаровательными в поэтическом представлении? Вот первый признак истинно художественного произведения. Потом, не знакомитесь ли вы с каждым персонажем его повести так коротко, как будто вы его давно знали, долго жили с ним вместе? Не дополняете ли вы своим воображением его портрета, и без того уже нарисованного автором во весь рост? Не в состоянии ли прибавить к нему новые черты, как будто забытые автором, не в состоянии ли вы рассказать об этом лице несколько анекдотов, как будто бы опущенных автором? Не верите ли вы на слово, не готовы

ли вы побожиться, что все рассказанное автором есть сущая правда, без всякой примеси вымысла? Какая этому причина? Та, что эти создания ознаменованы печатью истинного таланта, что они созданы по непреложным законам творчества. Эта простота вымысла, эта нагота действия, эта скудость драматизма, самая эта мелочность и обыкновенность описываемых автором происшествий — суть верные, необманчивые признаки творчества; это поэзия реальная, поэзия жизни действительной, жизни, коротко знакомой нам. Я нимало не удивляюсь, подобно некоторым, что г. Гоголь мастер делать всё из ничего, что он умеет заинтересовать читателя пустыми, ничтожными подробностями, ибо не вижу тут ровно никакого уменья: уменье предполагает расчет и работу, а где расчет и работа, там нет творчества, там все ложно и неверно при самой тщательной и верной копировке с действительности. И чем обыкновеннее, чем пошлее, так сказать, содержание повести, слишком заинтересовывающей внимание читателя, тем больший талант со стороны автора обнаруживает она. Когда посредственный талант берется рисовать сильные страсти, глубокие характеры, он может стать на дыбы, натянуться, наговорить громких монологов, насказать прекрасных вещей, обмануть читателя блестящею отделкою, красивыми формами, самым содержанием, мастерским рассказом, цветистою фразеологиею — плодами своей начитанности, ума, образованности, опыта жизни. Но возьмись он за изображение повседневных картин жизни, жизни обыкновенной, прозаической — о, поверьте, для него это будет истинным камнем преткновения, и его вялое, холодное и бездушное сочинение уморит вас зевотою. В самом деле, заставить нас принять живейшее участие в ссоре Ивана Ивановича с Иваном Никифоровичем, насмешить нас до слез глупостями, ничтожностию и юродством этих живых пасквилей на человечество — это удивительно; но заставить нас потом пожалеть об этих идиотах, пожалеть от всей души, заставить нас расстаться с ними с каким-то глубоко грустным чувством, заставить нас воскликнуть вместе с собою: „Скучно на этом свете, господа!“ — вот, вот оно, то божественное искусство, которое называется творчеством; вот он, тот художнический талант, для которого где жизнь, там и поэзия! И возьмите почти все повести г. Гоголя: какой отличительный характер их? что такое почти каждая из его повестей? Смешная комедия, которая начинается глупостями, продолжается глупостями и оканчивается слезами и которая, наконец, называется жизнию. И таковы все его повести: сначала смешно, потом грустно! И такова жизнь наша: сначала смешно, потом грустно! Сколько тут поэзии, сколько философии, сколько истины!..»

Таким образом, «отличительные черты характера произведений г. Гоголя суть простота вымысла, совершенная истина жизни, народность, оригинальность — всё это черты общие; потом комическое одушевление, всегда побеждаемое глубоким чувством грусти и уныния, — черта индивидуальная.

Простота вымысла, в поэзии реальной, есть один из самых верных признаков истинной поэзии, истинного и притом зрелого таланта. Возьмите любую драму Шекспира... например, его „Тимона Афинского“: эта пьеса так проста, так немногосложна, так скудна путаницею происшествий, что, право, невозможно и рассказать ее содержания <...> И однако ж у Шекспира... подробности так занимательны, что вы не оторветесь от них, и однако ж у него мелочность и пустота этих подробностей приготовляет ужасную катастрофу, от которой волосы встают дыбом <...> И вся эта

ужасная, хотя и бескровная, трагедия, ужасная даже в своей простоте, в своем спокойствии, приготовляется глупою комедиею, отвратительною картиною <...> И вот вам жизнь, или, лучше сказать, прототип жизни, созданный величайшим из поэтов! Тут нет эффектов, нет сцен, нет драматических вычур, все просто и обыкновенно, как день мужика, который в будень ест и пашет, спит и пашет, а в праздник ест, пьет и напивается пьян. Но в том-то и состоит задача реальной поэзии, чтобы извлекать поэзию жизни из прозы жизни и потрясать души верным изображением этой жизни. И как сильна и глубока поэзия г. Гоголя в своей наружной простоте и мелкости! Возьмите его „Старосветских помещиков": что в них? Две пародии на человечество в продолжение нескольких десятков лет пьют и едят, едят и пьют, а потом, как водится исстари, умирают. Но отчего же это очарование? Вы видите всю пошлость, всю гадость этой жизни, животной, уродливой, карикатурной, и между тем принимаете такое участие в персонажах повести, смеетесь над ними, но без злости, и потом рыдаете с Филемоном о его Бавкиде, сострадаете его глубокой, неземной горести и сердитесь на негодяя-наследника, промотавшего достояние двух простаков! И потом, вы так живо представляете себе актеров этой глупой комедии, так ясно видите всю их жизнь, вы, который, может быть, никогда не бывал в Малороссии, никогда не видал таких картин и не слыхал о такой жизни! Отчего это? Оттого, что это очень просто и, следовательно, очень верно; оттого, что автор нашел поэзию и в этой пошлой и нелепой жизни, нашел человеческое чувство, двигавшее и оживлявшее его героев: это чувство — привычка. Знаете ли вы, что такое привычка, это странное чувство, о котором Пушкин сказал:

Привычка небом нам дана:
Замена счастия она!

Можете ли вы предположить возможность мужа, который рыдает над гробом своей жены, с которой сорок лет грызся, как кошка с собакою? Понимаете ли вы, что можно грустить о дурной квартире, в которой вы жили много лет, к которой вы привыкли, как душа к телу, и с которою у вас соединяются воспоминания о простой, однообразной жизни, о живом труде и сладком досуге и, может быть, о нескольких сценах любви и наслаждения, и которую вы меняете на великолепные палаты? Понимаете ли вы, что можно грустить о собаке, которая десять лет сидела на цепи и десять лет вертела хвостом, когда вы мимо ее проходили?.. О, привычка великая психологическая задача, великое таинство души человеческой. Холодному сыну земли, сыну забот и помыслов житейских, заменяет она чувства человеческие, которых лишила его природа или обстоятельства жизни. Для него она истинное блаженство, истинный дар провидения, единственный источник его радостей и (дивное дело!) радостей человеческих! Но что она для человека в полном смысле этого слова? Не насмешка ли судьбы! И он платит ей свою дань, и он прилепляется к пустым вещам и пустым людям и горько страдает, лишаясь их! И что же еще? Г-н Гоголь сравнивает ваше глубокое, человеческое чувство, вашу высокую, пламенную страсть с чувством привычки жалкого получеловека и говорит, что его чувство привычки сильнее, глубже и продолжительнее вашей страсти, и вы стоите перед ним, потупя глаза и не зная, что

отвечать, как ученик, не знающий урока, перед своим учителем!.. Так вот где часто скрываются пружины лучших наших действий, прекраснейших наших чувств! О бедное человечество! жалкая жизнь! И однако ж вам все-таки жаль Афанасия Ивановича и Пульхерии Ивановны! вы плачете о них, о них, которые только пили и ели и потом умерли! О, г. Гоголь истинный чародей, и вы не можете представить, как я сердит на него за то, что он и меня чуть не заставил плакать о них, которые только пили и ели и потом умерли!

Совершенная истина жизни в повестях г. Гоголя тесно соединяется с простотою вымысла. Он не льстит жизни, но и не клевещет на нее; он рад выставить наружу все, что есть в ней прекрасного, человеческого, и в то же время не скрывает нимало и ее безобразия. В том и другом случае он верен жизни до последней степени. Она у него настоящий портрет, в котором всё схвачено с удивительным сходством, начиная от экспрессии оригинала до веснушек лица его; начиная от гардероба Ивана Никифоровича до русских мужиков, идущих по Невскому проспекту, в сапогах, запачканных известью; от колоссальной физиономии богатыря Бульбы, который не боялся ничего в свете, с люлькою в зубах и саблею в руках, до стоического философа Хомы, который не боялся ничего в свете, даже чертей и ведьм, когда у него люлька в зубах и рюмка в руках. „Прекрасный человек Иван Иванович! Он очень любит дыни. Это его любимое кушанье. Как только отобедает и выйдет в одной рубашке под навес, сейчас приказывает Гапке принести две дыни. И уже сам разрежет, соберет семена в особую бумажку и начинает кушать. Потом велит принести Гапке чернильницу, и сам, собственною рукою, сделает надпись над бумажкою с семенами: сия дыня съедена такого-то числа. Если при этом был какой-нибудь гость, то: участвовал такой-то...“; „Иван Никифорович чрезвычайно любит купаться и, когда сядет по горло в воду, велит поставить также в воду стол и самовар и очень любит пить чай в такой прохладе“. Скажите, Бога ради, можно ли язвительнее, злобнее и, вместе с тем, добродушнее и любезнее наругаться над бедным человечеством?.. И все оттого, что слишком верно! А вот посмотрите на жизнь Филемона и Бавкиды: «Нельзя было глядеть без участия на их взаимную любовь. Они никогда не говорили друг другу ты, но всегда вы: „вы, Афанасий Иванович“; „вы, Пульхерия Ивановна“. — „Это вы продавили стул, Афанасий Иванович?“ — „Ничего, не сердитесь, Пульхерия Ивановна: это я“...» Или: «После этого Афанасий Иванович возвращался в покои и говорил, приблизившись к Пульхерии Ивановне: „А что, Пульхерия Ивановна, может быть, пора закусить чего-нибудь?“ — „Чего же бы теперь закусить, Афанасий Иванович? разве коржиков с салом или пирожков с маком, или, может быть, рыжиков соленых!“ — „Пожалуй, хоть и рыжиков или пирожков“, — отвечал Афанасий Иванович, и на столе вдруг являлась скатерть с пирожками и рыжиками» (и далее цитата продолжается до слов «...как будто сделалось легче». — *В. Д.*).

Как вы думаете об этом? По-моему, так в этом очерке весь человек, вся жизнь его, с ее прошедшим, настоящим и будущим! А супружеская любовь двух старцев, а насмешечки Афанасия Ивановича над своею сожительницею касательно внезапного пожара в их доме или, что еще ужаснее, касательно его намерения идти на войну; страх доброй Пульхерии Ивановны, ее возражения, ее легкая досада и, наконец, чувство самодовольствия, испытываемое Афанасием Ивановичем при мысли, что ему удалось

подшутить над своею дражайшею половиною! О, эти картины, эти черты — суть такие драгоценные перлы поэзии, в сравнении с которыми все прекрасные фразы наших доморощенных Бальзаков настоящий горох!.. И всё это не придумано, не списано с рассказов или с действительности, но угадано чувством, в минуту поэтического откровения! Если бы я вздумал выписывать все места, доказывающие, что г. Гоголь уловил идею описываемой жизни и верно воспроизвел ее, то мне пришлось бы списать почти все его повести, от слова до слова.

Повести г. Гоголя народны в высочайшей степени; но я не хочу слишком распространяться о их народности, ибо народность есть не достоинство, а необходимое условие истинно художественного произведения, если под народностию должно разуметь верность изображения нравов, обычаев и характера того или другого народа, той или другой страны. Жизнь всякого народа проявляется в своих, ей одной свойственных, формах, следовательно, если изображение жизни верно, то и народно. Народность, чтобы отразиться в поэтическом произведении, не требует такого глубокого изучения со стороны художника, как обыкновенно думают. Поэту стоит только мимоходом взглянуть на ту или другую жизнь, и она уже усвоена им. Как малороссу, г. Гоголю с детства знакома жизнь малороссийская, но народность его поэзии не ограничивается одною Малороссией. В его „Записках сумасшедшего“, в его „Невском проспекте“ нет ни одного хохла, всё русские и, вдобавок, еще немцы; а каково изображены им эти русские и эти немцы! Каков Шиллер и Гофман? Замечу здесь мимоходом, что, право, пора бы нам перестать хлопотать о народности, так же как пора бы перестать писать, не имея таланта; ибо эта народность очень похожа на Тень в басне Крылова[13]: г. Гоголь о ней нимало не думает, и она сама напрашивается к нему, тогда как многие из всех сил гоняются за нею и ловят — одну тривияльность.

Почти то же самое можно сказать и об оригинальности: как и народность, она есть необходимое условие истинного таланта. Два человека могут сойтись в заказной работе, но никогда в творчестве, ибо если одно вдохновение не посещает двух раз одного человека, то еще менее одинаковое вдохновение может посетить двух человек. Вот почему мир творчества так неистощим и безграничен <...> Один из самых отличительных признаков творческой оригинальности, или, лучше сказать, самого творчества, состоит в этом типизме, если можно так выразиться, который есть гербовая печать автора. У истинного таланта каждое лицо — тип, и каждый тип, для читателя, есть знакомый незнакомец. Не говорите: вот человек с огромною душою, с пылкими страстями, с обширным умом, но ограниченным рассудком, который до такого бешенства любит свою жену, что готов удавить ее руками при малейшем подозрении в неверности — скажите проще и короче: вот Отелло! Не говорите: вот человек, который глубоко понимает назначение человека и цель жизни, который стремится делать добро, но, лишенный энергии души, не может сделать ни одного доброго дела и страдает от сознания своего бессилия — скажите: вот Гамлет! Не говорите: вот чиновник, который подл по убеждению, зловреден благонамеренно, преступен добросовестно — скажите: вот Фамусов! Не говорите: вот человек, который подличает без выгод, подличает бескорыстно, по одному влечению души — скажите: вот Молчалин! Не говорите:

---

[13] Басня Крылова «Тень и Человек».

вот человек, который во всю жизнь не ведал ни одной человеческой мысли, ни одного человеческого чувства, который во всю жизнь не знал, что у человека есть страдания и горести, кроме холода, бессонницы, клопов, блох, голода и жажды, есть восторги и радости, кроме спокойного сна, сытного стола, цветочного чаю, что в жизни человека бывают случаи поважнее съеденной дыни, что у него есть занятия и обязанности, кроме ежедневного осмотра своих сундуков, анбаров и хлевов, есть честолюбие выше уверенности, что он первая персона в каком-нибудь захолустье; о, не тратьте так много фраз, так много слов — скажите просто: вот Иван Иванович Перерепенко, или: вот Иван Никифорович Довгочхун! И поверьте, вас скорее поймут все. В самом деле, Онегин, Ленский, Татьяна, Зарецкий, Репетилов, Хлестова, Тугоуховский, Платон Михайлович Горич, княжна Мими, Пульхерия Ивановна, Афанасий Иванович, Шиллер, Пискарев, Пирогов: разве все эти собственные имена теперь уже не нарицательные? И, Боже мой! как много смысла заключает в себе каждое из них! Это повесть, роман, история, поэма, драма, многотомная книга, короче: целый мир в одном, только в одном слове! Что перед каждым из этих слов ваши заветные: „Qu'il mourût!", „Moi!", „Ах, я Эдип!"*? И какой мастер г. Гоголь выдумывать такие слова! <...> отпускать такие bons mots! (фр. 'остроты'. — *В. Д.*). А отчего он такой мастер на них? Оттого, что оригинален. А отчего оригинален? Оттого, что поэт.

Но есть еще другая оригинальность, проистекающая из индивидуальности автора, следствие цвета очков, сквозь которые смотрит он на мир. Такая оригинальность у г. Гоголя состоит, как я уже сказал выше, в комическом одушевлении, всегда побеждаемом чувством глубокой грусти. В этом отношении русская поговорка: начал во здравие, а свел за упокой — может быть девизом его повестей. В самом деле, какое чувство остается у вас, когда пересмотрите вы все эти картины жизни, пустой, ничтожной, во всей ее наготе, во всем ее чудовищном безобразии, когда досыта нахохочетесь, наругаетесь над нею? Я уже говорил о „Старосветских помещиках" — об этой слезной комедии во всем смысле этого слова <...> Я уже говорил также и о „Ссоре Ивана Ивановича с Иваном Никифоровичем" в сем отношении; прибавлю еще, что, с этой стороны, эта повесть всего удивительнее. В „Старосветских помещиках" вы видите людей пустых, ничтожных и жалких, но по крайней мере добрых и радушных; их взаимная любовь основана на одной привычке: но ведь и привычка все же человеческое чувство, но ведь всякая любовь, всякая привязанность, на чем бы она ни основывалась, достойна участия, следовательно, еще понятно, почему вы жалеете об этих стариках. Но Иван Иванович и Иван Никифорович существа совершенно пустые, ничтожные и притом нравственно гадкие и отвратительные, ибо в них нет ничего человеческого; зачем же, спрашиваю я вас, зачем вы так горько улыбаетесь, так грустно вздыхаете, когда доходите до трагикомической развязки? Вот она, эта тайна поэзии! вот они, эти чары искусства! Вы видите жизнь, а кто видел жизнь, — тот не может не вздыхать!..

---

* Это реплики из классицистических трагедий Корнеля: «Да умрет он!» («Гораций», д. III, явл. 6); «Я!» («Медея», д. I, явл. 5), — а также из трагедии В. Озерова «Эдип в Афинах» (д. II, явл. 1). Ирония Белинского объясняется тем, что данные реплики в нормативных поэтиках обычно приводились как образцы «высокого».

Комизм или гумор г. Гоголя имеет свой, особенный характер: это гумор чисто русский, гумор спокойный, простодушный, в котором автор как бы прикидывается простачком. Г-н Гоголь с важностию говорит о бекеше Ивана Ивановича, и иной простак не шутя подумает, что автор и в самом деле в отчаянии оттого, что у него нет такой прекрасной бекеши. Да, г. Гоголь очень мило прикидывается; и хотя надо быть слишком глупым, чтобы не понять его иронии, но эта ирония чрезвычайно как идет к нему. Впрочем, это только манера, и истинный-то гумор г. Гоголя все-таки состоит в верном взгляде на жизнь и, прибавлю еще, нимало не зависит от карикатурности представляемой им жизни. Он всегда одинаков, никогда не изменяет себе, даже и в таком случае, когда увлекается поэзиею описываемого им предмета. Беспристрастие его идол. Доказательством этого может служить „Тарас Бульба“, эта дивная эпопея, написанная кистию смелою и широкою, этот резкий очерк героической жизни младенчествующего народа, эта огромная картина в тесных рамках, достойная Гомера. Бульба герой, Бульба человек с железным характером, железною волею: описывая подвиги его кровавой мести, автор возвышается до лиризма и, в то же время, делается драматиком в высочайшей степени, и все это не мешает ему по местам смешить вас своим героем. Вы содрогаетесь Бульбы, хладнокровно лишающего мать детей, убивающего собственною рукою родного сына, ужасаетесь его кровавых тризн над гробом детей, и вы же смеетесь над ним, дерущимся на кулачки с своим сыном, пьющим горелку с своими детьми, радующимся, что в этом ремесле они не уступают батюшке, и изъявляющим свое удовольствие, что их добре пороли в бурсе. И причина этого комизма, этой карикатурности изображений заключается не в способности или направлении автора находить во всем смешные стороны, но в верности жизни. Если г. Гоголь часто и с умыслом подшучивает над своими героями, то без злобы, без ненависти; он понимает их ничтожность, но не сердится на нее; он даже как будто любуется ею, как любуется взрослый человек на игры детей, которые для него смешны своею наивностию, но которых он не имеет желания разделить. Но тем не менее это все-таки гумор, ибо не щадит ничтожества, не скрывает и не скрашивает его безобразия, ибо, пленяя изображением этого ничтожества, возбуждает к нему отвращение. Это гумор спокойный и, может быть, тем скорее достигающий своей цели. И вот, замечу мимоходом, вот настоящая нравственность такого рода сочинений. Здесь автор не позволяет себе никаких сентенций, никаких нравоучений; он только рисует вещи так, как они есть, и ему дела нет до того, каковы они, и он рисует их без всякой цели, из одного удовольствия рисовать. После „Горя от ума“ я не знаю ничего на русском языке, что бы отличалось такою чистейшею нравственностию и что бы могло иметь сильнейшее и благодетельнейшее влияние на нравы, как повести г. Гоголя. О, пред такою нравственностию я всегда готов падать на колена! В самом деле, кто поймет Ивана Ивановича Перерепенко, тот верно рассердится, если его назовут Иваном Ивановичем Перерепенком. Нравственность в сочинении должна состоять в совершенном отсутствии притязаний со стороны автора на нравственную или безнравственную цель. Факты говорят громче слов; верное изображение нравственного безобразия могущественнее всех выходок против него. Однако ж не забудьте, что такие изображения только тогда верны, когда бесцельны, когда созданы, а создавать может одно вдохновение, а вдохнове-

ние может быть доступно одному таланту, следовательно, только один талант может быть нравственным в своих произведениях!

Итак, гумор г. Гоголя есть гумор спокойный, спокойный в самом своем негодовании, добродушный в самом своем лукавстве. Но в творчестве есть еще другой гумор, грозный и открытый; он кусает до крови, впивается в тело до костей, рубит со всего плеча, хлещет направо и налево своим бичом, свитым из шипящих змей, гумор желчный, ядовитый, беспощадный». Далее критик подтверждает это пересказом и частичным воспроизведением повести В. Ф. Одоевского «Насмешки мертвого» в альманахе «Денница на 1834 год» (М., 1834). Поэтому нельзя «решить, которому из этих двух видов гумора должно отдать преимущество. Вопрос о подобном превосходстве был бы так же нелеп, как вопрос о превосходстве оды над элегиею, романа над драмою, ибо изящное всегда равно самому себе, в каких бы видах ни проявлялось. Есть вещи, столь гадкие, что стоит только показать их в собственном их виде или назвать их собственным их именем, чтобы возбудить к ним отвращение; но есть еще вещи, которые, при всем своем существенном безобразии, обманывают блеском наружности. Есть ничтожество грубое, низкое, нагое, неприкрытое, грязное, вонючее, в лохмотьях; есть еще ничтожество гордое, самодовольное, пышное, великолепное, приводящее в сомнение об истинном благе самую чистую, самую пылкую душу, ничтожество, ездящее в карете, покрытое золотом, умно говорящее, вежливо кланяющееся, так что вы уничтожены перед ним, что вы готовы подумать, что оно-то есть истинное величие, что оно-то знает цель жизни и что вы-то обманываетесь, вы-то гоняетесь за призраками. Для того и другого рода ничтожества нужен свой, особенный бич, бич крепкий, ибо то и другое ничтожество покрыто тройною бронею. Для того и другого рода ничтожества нужна своя Немезида, ибо надобно же, чтобы люди иногда просыпались от своего бессмысленного усыпления и вспоминали о своем человеческом достоинстве; ибо надобно же, чтобы гром иногда раздавался над их головами и напоминал им о их творце; ибо надобно же, чтобы, за пиршественным столом, посреди остатков безумной роскоши, среди утех беснующейся масленицы, унылый и торжественный звук колокола возмущал внезапно их безумное упоение и напоминал о храме Божием, куда всякий должен предстать с раскаянием в сердце, с гимном на устах!..[14]

Г-н Гоголь сделался известным своими „Вечерами на хуторе“. Это были поэтические очерки Малороссии, очерки, полные жизни и очарования. Все, что может иметь природа прекрасного, сельская жизнь простолюдинов обольстительного, все, что народ может иметь оригинального, типического, все это радужными цветами блестит в этих первых поэтических грезах г. Гоголя. Это была поэзия юная, свежая, благоуханная, роскошная, упоительная, как поцелуй любви... Читайте вы его „Майскую ночь“, читайте ее в зимний вечер у пылающего камелька, и вы забудете о зиме с ее морозами и метелями; вам будет чудиться эта светлая, прозрачная ночь благословенного юга, полная чудес и тайн; вам будет чудиться эта юная, бледная красавица, жертва ненависти злой мачехи, это оставленное жилище с одним растворенным окном, это пустынное озеро, на тихих водах которого играют лучи месяца, на зеленых берегах

[14] В последней фразе воспроизведены мотивы и образы фрагмента «Бал» В. Ф. Одоевского в альманахе «Новоселье» (I. СПб., 1833).

которого пляшут вереницы бесплотных красавиц... Это впечатление очень похоже на то, которое производит на воображение „Сон в летнюю ночь" Шекспира. „Ночь пред Рождеством Христовым" есть целая, полная картина домашней жизни народа, его маленьких радостей, его маленьких горестей, словом, тут вся поэзия его жизни. „Страшная месть" составляет теперь pendant (фр. 'параллель' — *В. Д.*) к „Тарасу Бульбе", и обе эти огромные картины показывают, до чего может возвышаться талант г. Гоголя». Это позволяет сказать, что «„Арабески" и „Миргород" носят на себе все признаки зреющего таланта. В них меньше этого упоения, этого лирического разгула, но больше глубины и верности в изображении жизни». Кроме того, здесь Гоголь «расширил свою сцену действия и, не оставляя своей любимой, своей прекрасной, своей ненаглядной Малороссии, пошел искать поэзии в нравах среднего сословия в России. И, Боже мой, какую глубокую и могучую поэзию нашел он тут!»

Однако также «надо сказать, фантастическое как-то не совсем дается г. Гоголю, и мы вполне согласны с мнением г. Шевырева, который говорит, что „ужасное не может быть подробно: призрак тогда страшен, когда в нем есть какая-то неопределенность; если же вы в призраке умеете разглядеть слизистую пирамиду, с какими-то челюстями вместо ног и языком вверху, тут уж не будет ничего страшного, и ужасное переходит просто в уродливое". Но зато картины малороссийских нравов, описание бурсы (впрочем, немного напоминающее бурсу Нарежного), портреты бурсаков и особенно этого философа Хомы, философа не по одному классу семинарии, но философа по духу, по характеру, по взгляду на жизнь. О несравненный dominus (лат. 'господин'. — *В. Д.*) Хома! как ты велик в своем стоическом равнодушии ко всему земному, кроме горелки! Ты натерпелся горя и страху, ты чуть не попался в когти к чертям, но ты все забываешь за широкою и глубокою ендовою, на дне которой схоронена твоя храбрость и твоя философия; ты, на вопрос о виденных тобою страстях, машешь рукою и говоришь: „Много на свете всякой дряни водится!"; у тебя половина головы поседела в одну ночь, а ты оттопываешь тропака, да так, что добрые люди, смотря на тебя, плюют и восклицают: „Вот это как долго танцует человек!" Пусть судит всякий как хочет, а по мне так философ Хома стоит философа Сковороды! Потом, помните ли вы невольное путешествие философа Хомы, помните ли попойку в шинке, этого Дороша, который, нагрузившись пенником, вдруг захотел узнать, непременно узнать, чему учат в бурсе (шуточное дело!), этого резонера, который божился, что „все должно оставить так, как есть, что Бог знает, как нужно", и, наконец, этого казака с седыми усами, который рыдал о том, что остался круглым сиротою... А эти поучительные беседы на кухне, где „обыкновенно говорилось обо всем, и о том, кто пошил себе новые шаровары, и что находится внутри земли, и кто видел волка"? А суждения этих умных голов о чудесах в природе? А портрет пана сотника, и кто перечтет?.. Нет, несмотря на неудачу в фантастическом, эта повесть есть дивное создание. Но и фантастическое в ней слабо только в описании привидений, а чтения Хомы в церкви, восстание красавицы, явление Вия бесподобны.

Я еще мало говорил о „Тарасе Бульбе" и не буду слишком распространяться о нем, ибо, в таком случае, у меня вышла бы еще статья, не менее самой повести... „Тарас Бульба" есть отрывок, эпизод из великой эпопеи жизни целого народа. Если в наше время возможна гомерическая эпопея, то вот вам ее высочайший образец, идеал

и прототип!.. Если говорят, что в „Илиаде“ отражается вся жизнь греческая в ее героический период, то разве одни пиитики и риторики прошлого века запретят сказать то же самое и о „Тарасе Бульбе“ в отношении к Малороссии XVI века?.. И в самом деле, разве здесь не всё козачество, с его странною цивилизацией, его удалою, разгульною жизнию, его беспечностию и ленью, неутомимостью и деятельностию, его буйными оргиями и кровавыми набегами?.. Скажите мне, чего нет в этой картине? чего недостает к ее полноте? Не выхвачено ли все это со дна жизни, не бьется ли здесь огромный пульс всей этой жизни? Этот богатырь Бульба с своими могучими сыновьями; эта толпа запорожцев, дружно отдирающая на площади тропака, этот козак, лежащий в луже, для показания своего презрения к дорогому платью, которое на нем надето, и как бы вызывающий на драку всякого дерзкого, кто бы осмелился дотронуться до него хоть пальцем; этот кошевой, поневоле говорящий красноречивую, витиеватую речь о необходимости войны с бусурманами, потому что „многие запорожцы позадолжались в шинки жидам и своим братьям столько, что ни один черт теперь и веры неймет“; эта мать, которая является как бы мимоходом, чтобы заживо оплакать детей своих, как всегда являлась в тот век женщина и мать в козацкой жизни... А жиды и ляхи, а любовь Андрия и кровавая месть Бульбы, а казнь Остапа, его воззвание к отцу и „слышу“* Бульбы и, наконец, героическая гибель старого фанатика, который не чувствовал своих ужасных мук, потому что чувствовал одну жажду мести к враждебному народу?.. И это не эпопея?.. Да что же такое эпопея?.. И какая кисть, широкая, размашистая, резкая, быстрая! какие краски, яркие и ослепительные!.. И какая поэзия, энергическая, могучая, как эта Запорожская сечь, „то гнездо, откуда вылетают все те гордые и крепкие, как львы, откуда разливается воля и козачество на всю Украину!..“

<...> Но какой же общий результат выведу я из всего сказанного мною? Что такое г. Гоголь в нашей литературе? Где его место в ней? Чего должно ожидать нам от него, от него, еще только начавшего свое поприще, и как начавшего? Не мое дело раздавать венки бессмертия поэтам, осуждать на жизнь или смерть литературные произведения; если я сказал, что г. Гоголь поэт, я уже все сказал, я уже лишил себя права делать ему судейские приговоры. Теперь у нас слово „поэт“ потеряло свое значение: его смешали с словом „писатель“. У нас много писателей, некоторые даже с дарованием, но нет поэтов. Поэт высокое и святое слово; в нем заключается неумирающая слава! Но дарование имеет свои степени; Козлов, Жуковский, Пушкин, Шиллер:

---

* Впрочем, я не ставлю в слишком большую заслугу г. Гоголю этого „слышу“ и не думаю, подобно некоторым (подразумевается статья С. Шевырева. — *В. Д.*), что если бы г. Гоголь и не изобрел ничего другого, кроме этого славного „слышу“, то одним им мог бы заставить молчать злонамеренность критики; ибо, во-первых, злонамеренность критики нельзя обезоружить изящными созданиями, чему примером может служить этот же самый г. Гоголь, некоторыми благонамеренными критиками пожалованный в Поль де Коки (это мнение О. Сенковского и Ф. Булгарина. — *В. Д.*); потом, это славное „слышу“ не имело бы никакого смысла, без отношения к целой повести и без связи с нею; и, наконец, теперь уже прошло то время, когда в пример высокого представляли: „Qu'il mourût!“, „Moi!“, „Ах, я Эдип“, „Я росс“ (реплика в трагедии Я. Княжнина «Росслав»; см. также наше примеч. выше, на с. 429. — *В. Д.*) и т. п.; зачем же обогащать педантов новым примером высокого в выражении?

эти люди поэты, но равны ли они? Разве не спорят еще и теперь, кто выше: Шиллер или Гете? Разве общий голос не назвал Шекспира царем поэтов, единственным и несравненным? И вот задача критики: определить степень, занимаемую художником в кругу своих собратий. Но г. Гоголь еще только начал свое поприще: следовательно, наше дело высказать свое мнение о его дебюте и о надеждах в будущем, которые подает этот дебют. Эти надежды велики, ибо г. Гоголь владеет талантом необыкновенным, сильным и высоким. По крайней мере, в настоящее время он является главою литературы, — главою поэтов; он становится на место, оставленное Пушкиным. Предоставим времени решить, чем и как кончится поприще г. Гоголя, а теперь будем желать, чтобы этот прекрасный талант долго сиял на небосклоне нашей литературы, чтобы его деятельность равнялась его силе.

<...> Поэты бывают двух родов: одни только доступны поэзии, и она у них бывает более способностию, чем даром или талантом, и много зависит от внешних обстоятельств жизни; у других дар поэзии есть нечто положительное, нечто составляющее нераздельную часть их бытия. Первые, иногда один раз в целую жизнь, выскажут какую-нибудь прекрасную поэтическую грезу и, как будто обессиленные тяжестью свершенного ими подвига, ослабевают и падают в последующих своих произведениях; и вот отчего у них первый опыт, по большей части, бывает прекрасен, а последующие постепенно подрывают их славу. Другие с каждым новым произведением возвышаются и крепнут; г. Гоголь принадлежит к числу этих последних поэтов: этого довольно!

Я забыл еще об одном достоинстве его произведений; это лиризм, которым проникнуты его описания таких предметов, которыми он увлекается. Описывает ли он бедную мать, это существо высокое и страждущее, это воплощение святого чувства любви — сколько тоски, грусти и любви в его описании! Описывает ли он юную красоту — сколько упоения, восторга в его описании! Описывает ли он красоту своей родной, своей возлюбленной Малороссии — это сын, ласкающийся к обожаемой матери! Помните ли вы его описание безбрежных степей днепровских? Какая широкая, размашистая кисть! Какой разгул чувства! Какая роскошь и простота в этом описании! Черт вас возьми, степи, как вы хороши у г. Гоголя!..

В одном журнале было изъявлено странное желание, чтобы г. Гоголь попробовал своих сил в изображении высших слоев общества[15]: вот мысль, которая в наше время отзывается ужасным анахронизмом! Как! неужели поэт может сказать себе: дай опишу то или другое, дай попробую себя в том или другом роде?.. И притом, разве предмет делает что-нибудь для достоинства сочинения? Разве это не аксиома: где жизнь, там и поэзия? Но мои „разве" никогда бы не кончились, если бы я захотел высказать их все, без остатка. Нет, пусть г. Гоголь описывает то, что велит ему описывать его вдохновение, и пусть страшится описывать то, что велят ему описывать или его воля, или гг. критики. Свобода художника состоит в гармонии его собственной воли с какою-то внешнею, не зависящею от него волею, или, лучше сказать, его воля есть вдохновение!..» (Телескоп. 1835. Ч. XXVI. № 7. С. 392—417; № 8. С. 536—603).

П. В. Анненков вспоминал о значении этой статьи для Гоголя: «...Белинский обладал способностью отзываться, в самом пылу какого-либо философского или

[15] Имеется в виду статья С. П. Шевырева (см. выше, с. 417—418).

политического увлечения, на замечательные литературные явления с авторитетом и властью человека, чувствующего настоящую свою силу и призвание свое. В эпоху шеллингианизма одною из таких далеко озаряющих вспышек была статья Белинского „О русской повести и повестях Гоголя", написанная вслед за выходом в свет двух книжек Гоголя: „Миргород" и „Арабески" (1835 год). Она и уполномочивает нас сказать, что настоящим восприемником Гоголя в русской литературе, давшим ему имя, был Белинский. Статья эта вдобавок пришлась очень кстати. Она подоспела к тому горькому времени для Гоголя, когда, вследствие претензии своей на профессорство и на ученость *по вдохновению*, он осужден был выносить самые злостные и ядовитые нападки не только на свою авторскую деятельность, но и на личный характер свой. Я близко знал Гоголя в это время и мог хорошо видеть, как озадаченный и сконфуженный не столько ярыми выходками Сенковского и Булгарина, сколько общим осуждением петербургской публики, ученой братии и даже приятелей, он стоял совершенно одинокий, не зная, как выйти из своего положения и на что опереться. Московские знакомые и доброжелатели его покамест еще выражали в своем органе («Московском наблюдателе») сочувствие его творческим талантам весьма уклончиво, сдержанно, предоставляя себе право отдаваться вполне своим впечатлениям только наедине, келейно, в письмах, домашним образом. Руку помощи в смысла возбуждения его упавшего духа протянул ему тогда никем не прошенный, никем не ожиданный и совершенно ему неизвестный Белинский, явившийся с упомянутой статьей в „Телескопе" 1835 года. И с какой статьей! Он не давал в ней советов автору, не разбирал, что в нем похвально и что подлежит нареканию, не отвергал одной какой-либо черты, на основании ее сомнительной верности или необходимости для произведения, не одобрял другой как полезной и приятной, — а, основываясь на сущности авторского таланта и *на достоинстве его миросозерцания*, просто объявил, что в Гоголе русское общество имеет будущего *великого писателя*. Я имел случай видеть действие этой статьи на Гоголя. Он еще тогда не пришел к убеждению, что московская критика, то есть критика Белинского, злостно перетолковала все его намерения и авторские цели, — он благосклонно принял заметку статьи, а именно, что „чувство глубокой грусти, чувство глубокого соболезнования к русской жизни и ее порядкам слышится во всех рассказах Гоголя", и был доволен статьей, и более чем доволен: он был осчастливлен статьей, если вполне верно передавать воспоминания о том времени. С особенным вниманием остановился в ней Гоголь на определении качеств истинного творчества <...> Но решительное и восторженное слово было сказано, и сказано не наобум. Для поддержания, оправдания и укоренения его в общественном сознании Белинский издержал много энергии, таланта, ума, переломал много копий, да и не с одними только врагами писателя, открывавшего у нас реалистический период литературы, а и с друзьями его. Так, Белинский опровергал критика „Московского наблюдателя" 1836 года (С. Шевырева. — *В. Д.*), когда тот, в странном энтузиазме, объявил, будто за одно „слышу", вырвавшееся из уст Тараса Бульбы в ответ на восклицание казнимого и мучимого сына: „Слышишь ли ты это, отец мой?" — будто за одно это восклицание „слышу" Гоголь достоин был бы бессмертия; а в другой раз опровергал того же критика, и не менее победоносно, когда тот выразил желание, чтобы в рассказе „Старосветские помещики" не встречался намек на *привычку*, а все сношения между идиллическими

супругами объяснялись только одним нежным и чистым чувством, без всякой примеси» (*Анненков*, 160—162).

Более поздний отзыв А. С. Пушкина в рецензии на второе издание «Вечеров на хуторе близ Диканьки» был лапидарным: «...явился Миргород, где с жадностию все прочли и Старосветских помещиков, эту шутливую, трогательную идиллию, которая заставляет вас смеяться сквозь слезы грусти и умиления, и Тараса Бульбу, коего начало достойно Вальтер-Скотта. Г. Гоголь идет еще вперед. Желаем и надеемся иметь часто случай говорить о нем в нашем журнале» (Современник. 1836. Т. 1. С. 312). В ответ на это рецензент «Северной Пчелы» (возможно, писатель Василий Ушаков) вновь высоко оценил *Рудого Панька* и «Миргород»[16], но отказался «безотчетно жаловать г. Гоголя в Русские Вальтер-Скотты» (*СПч*. 1836. № 26).

МИРГОРОД

Такого заголовка в *РП* не было — так же, как и заглавий трех украинских повестей.

Миргород — название уездного города Полтавской губернии, история которого восходит к XI в., когда Великий князь Владимир построил на восточных границах с Дикой степью цепь укреплений для защиты Киевской Руси; их использовали и для встреч враждующих сторон, и для заключения торговых сделок. Поэтому одна из крепостей была названа Миргородком. Первое упоминание Миргорода в летописи относится к 1530 г., когда город получил Магдебургское право и герб: щит, на его лазоревом поле вверху — золотой крест, внизу — серебряная восьмиконечная звезда Богородицы, покровительницы Козачества. Несмотря на свое название, город стал крупным центром изготовления селитры и пороха, с 1575 г. польский король Стефан Баторий сделал его полковым. Миргородский полк был третьим по величине среди козацких реестровых полков, однако за участие в восстаниях Павлюка и Остраницы (1637—1638) он был расформирован по указу польского сейма. Возрождение полка произошло в начале народно-освободительной войны 1648—1654 годов, вскоре он прославился в сражениях, и недаром в июле 1650 г. именно в Миргороде начинал Богдан Хмельницкий переговоры о воссоединении Украины и России.

Соотношение названия, подзаголовка и двух эпиграфов сборника подразумевало их единство и перекличку. Названия города и села в родном крае Гоголя были памятны ему с детства; причем дорога из Васильевки на Диканьку и Полтаву шла «вглубь» Украины, а дорога на Миргород обозначала направление на северо-запад, в Россию; уездный город был упомянут в «Вечерах на хуторе близ Диканьки» (предисловие к первой и второй книжкам, повести «Сорочинская ярмарка» и «Ночь перед Рождеством»). Подзаголовок «Миргорода» обозначал жанр литературного произведения, утверждал его творческую связь с известными читателю «Вечерами...» Пасичника Рудого Панька и обосновывал введение эпиграфов. Вместе с тем, по смыслу заголов-

[16] Вряд ли это мог сделать Ф. В. Булгарин (ср.: *Манн 1994*, 447; примеч. 55).

ка, подзаголовка и эпиграфов, Миргород как искусственное порождение цивилизации был противопоставлен естественным вечерам и хутору как уединенному поселению на природе (этот контраст снимался оксимороном: *Мир* божествен и всеобъемлющ — *город* рукотворен и локален), Диканькой же называлось тогда не только образцовое поместье Кочубеев, но и некое «дикое место» (возможное обиталище «диконьких мужичков» — духов такого места, вроде «полевого или лесного... оберегателя кладов». — *Словарь Даля*, I, 436).

Заглавие «Миргород» также противопоставлено «Диканьке» в символическом плане, понятном образованному человеку того времени. Подразумевался главный труд Августина Аврелия «О Граде Божьем» (412—426), в котором тот сделал попытку осмыслить всемирно-исторический процесс, обусловив развитие человечества планами и намерениями Бога (Промыслом Божьим), и выдвинул концепцию морального (духовного) прогресса и линейного регресса в истории. Моральный прогресс начинается с грехопадения Адама и рассматривается как поступательное движение Человека к обретаемому через Благодать нравственному совершенству. В историческом процессе Августин, основываясь на библейской истории, выделяет шесть эпох: от грехопадения Адама до Страшного Суда, причем последняя эпоха началась Рождеством Христовым и завершится концом человеческой истории вообще. Ее развитие обусловлено существованием и борьбой двух миров (городов): «града земного» — светского государства, дьявольского царства зла и греха (его воплощением был Рим) и «Града Небесного» — христианской церкви как государства Божьего. Два мира-города символизируют любовь как эгоизм («любовь к себе, доходящая до самообóжения и пренебрежения к Богу») и морализм («любовь к ближнему и Самому Богу вплоть до забвения себя»). В «конце времен» граждане «Града Небесного» получат Блаженство, а жители «земного града» будут преданы вечным мучениям. Таким образом, в Истории духовная власть, основанная на Вере и любви к ближнему, превосходит светскую, укрепляя и расширяя «Град Божий», а земные государства обречены на постоянную деградацию, войны и конечное разрушение.

Каким же «градом» предстает Миргород? Про это два разных эпиграфа. Первый говорит о «невеликом» городе, который «имеет 1 канатную фабрику, 1 кирпичный завод, 4 водяных и 45 ветреных мельниц. *География Зябловского*». По разысканию И. А. Есаулова, источником была книга профессора Е. Ф. Зябловского «Землеописание Российской империи для всех состояний» (СПб., 1810. Ч. I—VI), где указано: «*Миргород* при реке Хороле; расстоянием от Москвы 708, а от Санктпетербурга 908 верст. Имеет 4 церкви, более 1 000 домов и до 6 500 жителей. Козаки составляют почти половинную часть жителей; немало есть евреев. Ярмарки бывают: 1) на четвертой неделе Великого Поста; 2) в день Вознесения, 3) сентября 8, и 4) декабря 6 чисел. На оных торг производится более мелочными товарами. В нем есть: 1 канатная фабрика, 1 кирпичный завод, 4 водяных и 45 ветреных мельниц» (Ч. VI. С. 53). Сократив до минимума эту характеристику, Гоголь ввел слова «нарочито невеликий» («нарочито» означало 'весьма' или 'очень'), явно пародируя тяжелый, несколько архаичный стиль географа и подчеркивая «отсутствие величия» у небольшого городка (*Есаулов*, 78, 100). Это соответствовало действительности, ибо он и раньше, и позднее напоминал деревню (см., например: *Рубан В. Г.* Землеописание Малыя

России, изъявляющее города, местечки, реки, число монастырей и церквей... СПб., 1777. С. 33). Источник же второго эпиграфа: «Хотя в Миргороде пекутся бублики из черного теста, но довольно вкусны. *Из записок одного путешественника*», — нельзя установить в принципе, ибо это пародия на форму и содержание сентиментальных «записок путешественника», который отметил из городских достопримечательностей лишь вкусные бублики (скорее всего, потому что больше вспомнить не о чем). Таким образом, эпиграфы вроде бы представляют различные взгляды на город (объективный, беспристрастный, «внешний», «официально-географический» и личный, «внутренний», вкусовой), а по существу оба характеризуют только земную сторону, «сте́ны града», где нет духовности (и как бы самих жителей, ведь даже бублики здесь «пекутся» как будто сами собой. — *Есаулов*, 79). Настоящим же ответом на возникающий вопрос о сути общества, живущего в таком Мир-городе, служит совокупность четырех повестей с обратной перспективой: от сентиментальной «природной» идиллии к искусственной «городской» сатире. В этом контексте вполне земным Мир-городом предстает не только сама Миргородчина, но и весь «мир» украинской столицы и провинции, где в основном происходит действие повестей (кроме повести о ссоре), и упомянутый в первой же повести Петербург, куда устремляются из провинции меркантильные потомки козаков.

Вопрос о смысле заглавия и эпиграфов нового гоголевского сборника возник одним из первых. Так, рецензент «Северной Пчелы» П. М-ский (П. И. Юркевич) недоумевал: «Назвав свою книгу, не знаем почему, именем уездного городка Полтавской губернии, автор придал ей два самые странные эпиграфа <...> Нынче в моде щеголять странностию эпиграфов, которые не имеют ни малейшего отношения к книге» (*СПч*. 1835. № 115).

Кроме того, название цикла также в какой-то мере указывает на два его истока — литературный и фольклорный. Четыре повести Гоголя (особенно о ссоре двух Иванов) во многом отчетливо перекликаются с произведениями уроженца Миргородчины Василия Трофимовича Нарежного (1780—1825; с 1803 жил в Петербурге), чье родовое имение Устивцы было неподалеку от гоголевской Васильевки. «Славенские вечера» В. Т. Нарежного (1809) привлекли внимание просвещенных земляков, которые видели в его книгах отражение малороссийской жизни и гордились «своим» автором (видимо, к ним принадлежал и В. А. Гоголь-Яновский). И этапы развития Н. В. Гоголя-писателя обнаруживают определенное сходство в жанрово-тематическом плане с творчеством Нарежного: оба начинают как поэты: стихами, поэмами, стихотворной драмой, — а затем уже в прозе обращаются к отечественной истории (исследователями отмечены сходство названий «Славенских вечеров» и «Вечеров...» Гоголя, а также некая их «поэтическая» близость). Определенную роль в ориентации Гоголя на эти произведения также мог сыграть земляк писателей О. М. Сомов, литератор-журналист (см. о нем ниже, на с. 518), который знал Нарежного и отчасти использовал его недописанный роман «Гаркуша, малороссийский разбойник» в своей повести «Гайдамак», где главным героем стал Гаркуша. Однако Гоголь не только «перенимает» у Нарежного многие черты украинского быта, сюжетные линии, ситуации, типы народных героев, но и дает им новую жизнь, переосмысливает в ином окружении на фоне известных образованному читателю того времени произведений этого автора.

Так, в петербургских повестях «Арабесок» есть реминисценции романа Нарежного «Российский Жилблаз» (СПб., 1814), повести «Бурсак» и «Новых повестей» 1824 г. (см.: *Ар.*, 352, 438, 480). Что касается «Миргорода», то здесь соответствия с творчеством Нарежного очевидны, широки и принципиальны. Кроме основных сюжетных параллелей, «Два Ивана, или Страсть к тяжбам» (М., 1825) сближаются с гоголевской сатирой и мотивами беззаконной *любовной* страсти, причем добрая бездетная пара Улитта и Кирик, предоставившая молодым героям место для свиданий, напоминает старосветских помещиков, возвращение двух семинаристов в родные места — начало «Тараса Бульбы» и ночное путешествие бурсаков из «Вия», а чудесное «воскрешение» в церкви пьяного пана Занозы как будто пародирует соответствующие эпизоды «Вия». В «малороссийской повести» Нарежного «Бурсак» (М., 1824) главный герой — круглый сирота, не знающий своих родителей (как Хома Брут), — случайно попадает в поместье своего отца и влюбляется там в свою сестру; один из бурсаков по имени Сарвил любит спать в бурьяне (как богослов Халява), а когда его выгоняют из бурсы, он прибивается к дородной шинкарке Мастридии[17], хозяйничает в шинке, она же его кормит и одевает; в повести изображается жизнь бурсы и — черными красками — Запорожская Сечь и ее обычаи (см. вступ. статью). Несколько иначе, ближе к традициям воинского эпоса, Сечь описана в повести «Запорожец» (1824), которую обычно сравнивают с «Тарасом Бульбой», где в какой-то мере были использованы возможности подобного авантюрно-исторического сюжета. Однако прямое обличение социальных язв, антиклерикализм, а также «учительность» сюжета и его некая «запутанность» в указанных произведениях оказались чужды Гоголю, который явно продолжает барочную линию нраво- и бытописания Нарежного, изображая «старинный малороссийский быт... особенно быт частный, домашний...» (*Шенрок*, 71—72, 156—157; подробнее об этом см.: *Михед П. В.* Крізь призму бароко. Київ, 2002. С. 9—59).

Своеобразным Мир-городом был и вертеп (театр кукол), о котором Гоголь упоминает в первой опубликованной «миргородской» повести. Популярный тогда на Украине народный театр представлял собой короб-«скрыньку» в виде двухъярусного домика. «Действо» состояло из канонической (духовно-религиозной) и бытовой (фарсовой) части: на верхнем ярусе («небе») шло представление по сюжету из Священного Писания, а на нижнем («земле») разыгрывались интермедии, сценки из народного быта и проч. Вертепщик (по Гоголю — «пройдоха») незаметно для зрителей приводил в движение кукол, за которых сам говорил, меняя голос сообразно роли. Чаще всего с вертепом ходили на святках, изображая Рождество Христово и связанные с ним события; прологом к представлению служило пение колядок и кантов, иногда его сопро-

---

[17] Для Нарежного эти пошлые герои — своего рода антиподы христианского мученика Сарвила Сирийского и Мастридии Иерусалимской, которая вела необыкновенно строгую, праведную девическую жизнь. Когда ее стал преследовать юноша, в коем дьявол разжег нечистую страсть, то Мастридия взяла немного бобов и удалилась в пустыню, дабы уберечься от соблазна, и долго жила там, неведомая никому, питаясь лишь взятой пищей; одежда ее не изнашивалась. В «Житиях святых... Димитрия Ростовского» рассказывается о Преподобной Мастридии Александрийской, которая из-за подобного преследования затворилась в своем доме, а затем послала служанку за сгорающим от страсти юношей. Тот явился, и она спросила, что в ней его прельщает, а когда узнала, что глаза, тут же выколола их челноком. Потрясенный этим юноша ушел в монастырь.

вождал оркестр из скрипки и бубна (об органической связи гоголевских «Вечеров...» с народным театром см.: *ПССиП*. Т. 1. С. 628—629, 690—691).

Традиция западноевропейских религиозно-театральных мистерий в честь Рождества (нем. Christschau) проникла на Украину из Польши, где в XVI в. театр-«шопка» (от нем. Schoppen — 'хлев/сарай') стал каникулярным занятием семинаристов, ходивших с ним по городам и селам. Популярность «шопки» обусловливало соединение религиозного и бытового содержания с народным, иногда «черным», юмором. Пастухи, пришедшие поклониться Христу, царь Ирод, воины и другие персонажи имели местный колорит, изображая людей из народа. Сопоставление духовных сцен вертепа со сценами в польском и немецком представлениях показывает, что «вертепное действо» составили ученики Киевской Духовной академии в начале XVIII в. и польское влияние сказалось только в общей схеме «действа», его подробности были разработаны самостоятельно. Общим для славянского вертепа стал и своеобразный «ведущий» — дьячок (пономарь), приглашавший возвестить о рождении Спасителя (возможно, поэтому Гоголь и сделал рассказчиком в первых украинских повестях именно дьячка). А круг народных персонажей в интермедиях: дед и баба, польский пан, цыганы и евреи, запорожец, шинкарка, черт, униатский поп, мужик и его жена, «кондяк» (домашний учитель-семинарист), школяр... — в основном соответствует типажам ранней гоголевской прозы. В «Миргороде» также есть прямые переклички с вертепом (как в диалоге Ивана Ивановича с нищенкой — см. примеч. 9 на с. 494), однако большинство соответствий уже не опознается. Не знакомый с народным театром современный читатель не видит, например, в «бурой свинье», похитившей судебную бумагу, «шкодливую свинью» из вертепа, которую давно перестали кормить (II, 758), и не соотносит комический народный дуэт «деда и бабы» с идиллией «двух старичков прошедшего века».

Часть первая

СТАРОСВЕТСКИЕ ПОМЕЩИКИ

Впервые: Миргород. Ч. 1. С. 1—55. Перепечатано при жизни Гоголя в *Соч. 1842* (Т. II. С. 7—54) под ред. Н. Я. Прокоповича. В 1850—1851 годах Гоголь просмотрел корректурные листы с текстом повести для т. II в новом Собрании сочинений.

Черновая неозаглавленная редакция повести (*РП*. Л. 12—15а) не завершена: она заканчивается разговором повествователя с Афанасием Ивановичем и сообщением о его смерти, помещенными на «лоскутке бумаги» (*Кулиш*, 169). Это позволяет предположить существование еще одной редакции — возможно, расширенной, с несколько иным финалом — промежуточной между черновой и беловой. Абсолютное большинство исправлений и пометок в черновике было сделано по ходу записи для уточнения тех или иных деталей повествования.

Замысел повести и начало работы над ней исследователи обычно относят к концу 1832 г., описание хутора старосветских помещиков связывают с Васильевкой — ро-

довым имением Гоголя, где он провел лето этого года. Среди возможных прототипов героев повести — дед и бабка писателя Афанасий Демьянович и Татьяна Семеновна Гоголь-Яновские, знакомое семейство Зарудных (*Шенрок*, 141). Однако, создавая эти образы, писатель естественно сочетал переосмысленные воспоминания детства и юношества с более поздними жизненными наблюдениями. Близко знавшая юношу Гоголя, дочь поэта В. В. Капниста Софья вспоминала о знакомых старичках Бровковых, у которых они обычно останавливались в Миргороде: «Старик и старушка встречали нас всегда с большим радушием и не знали, чем и как угощать. Чуть ли не их описал Н. В. Гоголь в своей повести „Старосветские помещики". Подъезжая к их маленькому домику, мы всегда встречали старика с трубочкой в руках, высокого роста, с правильными чертами лица, выражавшими и ум и доброту, сидевшего на простом деревянном крылечке с небольшими столбиками; он приветливо встречал нас, вводил в маленькую, низенькую и мрачную гостиную с каким-то постоянным особенным запахом и с широкой деревянной дверью, издававшей при всяком входе и выходе ужасный скрип.

Тут нас радостно встречала, переваливаясь с ноги на ногу, добрая старушка, его жена, небольшого роста <...> Одета она была всегда в ситцевое платье, с чистеньким белым платочком на груди и на голове. Она жила положительно только для добра. Каждую субботу пеклись у нее всякого рода калачи, хлебы и пироги и полной телегой отправлялись в городскую тюрьму <и> для раздачи нищим, толпа которых окружала дом ее в этот день.

При наших посещениях она больше всего хлопотала о том, чтобы изготовить повкуснее малороссийский стол и накормить наших людей и лошадей досыта и до отвала.

Ее муж, от природы человек умный, будучи раньше простым казаком, сумел приобрести порядочное состояние, приписав к своей земле людей, живших на ней...

<...> Никто в городе том не запомнит таких трогательных похорон, какие были устроены старушке-покойнице, жене его. Дом и двор их до того были наполнены плачущими и облагодетельствованными ею людьми, что стороннему человеку трудно было добраться до ее гроба. До сих пор память о ней сохраняется в Миргороде» (*Капнист-Скалон*, 355—356).

Кроме того, образ Пульхерии Ивановны, несомненно, родствен предшествующим образам старушек-помещиц, увлеченно хозяйствующих и гостеприимных, — таких, как Анна Ивановна в главе «Учитель» (из малороссийской повести «Страшный кабан») (*ЛГ*. 1831. № 1) и матушка Григория Сторченко в повести «Иван Федорович Шпонька и его тетушка» (*Шенрок*, 137—141). Повествование о том, как исчезла и возвратилась кошечка, так поразившая воображение Пульхерии Ивановны, основано на услышанном Гоголем от М. С. Щепкина рассказе о таком же происшествии с его бабкой. Когда актер прочел повесть, то «при встрече с автором сказал ему шутя: „А кошка-то моя!" — „Зато коты мои!" — отвечал Гоголь, и в самом деле коты принадлежали его вымыслу» (см.: *Афанасьев А. Н.* М. С. Щепкин и его записки // *БдЧ*. 1864. № 2. Отд. XI. С. 7—8). Обстоятельства приготовлений героини к смерти перекликаются с предчувствиями смерти паном Данилой в повести «Страшная месть», причем похожи их просьбы к живущим беречь тех, кто был героям при жизни дороже всего (*Шенрок*, 127).

Пушкин охарактеризовал повесть как «шутливую, трогательную идиллию, которая заставляет вас смеяться сквозь слезы грусти и умиления...». Исследователями отмечалось, что на нее оказала влияние карамзинская сентиментально-идиллическая традиция. Подтверждение тому видят в письме Гоголя к старому другу Н. М. Карамзина поэту И. И. Дмитриеву (написано в июле 1832 г. из имения Васильевка): «Теперь я живу в деревне, совершенно такой, какая описана незабвенным Карамзиным. Мне кажется, что он копировал малороссийскую деревню: так краски его ярки и сходны с здешней природой» (X, 239; подразумевается идиллическое описание усадебной жизни в очерке «Деревня» 1791 г.). «Старосветские помещики» пронизаны сентиментальными мотивами таких произведений Карамзина, как «Послание к Дмитриеву в ответ на его стихи, в которых он жалуется на скоротечность счастливой молодости» (1794), «Письмо сельского жителя» (1803), и переклички с «вольным переводом» поэмы Лафонтена «Филемон и Бавкида», сделанным Дмитриевым в 1805 г., с пасторальными романами, подобными «Дафнису и Хлое» Лонга. Сентиментально-идиллическое, к тому же осложненное прозаическим снижением, противопоставлено в повести романтической, по существу, трагикомической «городской» истории влюбленного юноши, который не хотел больше жить, потеряв возлюбленную, и... утешился, женившись на другой. В ином плане патриархальной идиллии противоречат и последующие цивилизаторские потуги «дальнего родственника» — наследника имения, которые быстро приводят к полному его разорению.

Изначально героине предназначалось имя Настасия (*Вариант* на с. 227), и тогда «сами антропонимы — Афанасий (греч. 'бессмертный') и Анастасия (греч. 'воскресшая') указывали бы на тему вечной любви и связанный с ней литературный сюжет... об утраченной возлюбленной и о чувстве, которое оказывается сильнее смерти...» (*Карпов*, 158). В окончательном варианте сочетание имен Афанасий и Пульхерия (греч. 'прекрасная') добавляет сюжету мотив исчезающей, увядающей «природной» красоты жизни. Причем эти «поэтические, идеализирующие имена» сопровождает простонародное, в то время крестьянское отчество Иванова (у него — Иван*ович*), фамилия Товстогуб и прозвище Товстогубиха (в черновике «Сырогубы». — *Вариант* на с. 227). Таким образом «высокое и приземленное неразрывно связываются уже в самих прозваниях персонажей» (*Карпов*, 158). Общность и различие этих антропонимов подчеркивают и «нераздельность» супругов как своеобразного андрогина, и «само несходство их характеров: шутливость Афанасия Ивановича — серьезность его подруги, „игривость“ его ума — ее простодушие, безразличие героя к повседневным заботам — хозяйственность героини. Дополняя друг друга, они лишь вместе составляют гармоничное единство» (Там же. С. 160).

Сочетание имен Иван и Афанасий (имя деда Гоголя с материнской и деда с отцовской стороны) впервые встречается здесь после повести «Вечер накануне Ивана Купала» и указывает, что изображаемое очень близко и дорого автору: ему, очевидно, знакомы с детства эти места, картины малороссийского помещичьего быта, и он испытывает «тяжелое чувство» при виде того, как исчезают основы патриархальной жизни. Своих героев он наделяет какими-то чертами родных и близких (напрмер, по семейному преданию Гоголей, дед Афанасий увез тайком из родительского дома Лизогубов

будущую жену, как Товстогуб) и делится с читателем жизненными впечатлениями, изображая свои детские страхи или положение провинциала в столице. Недаром подобные личные признания иногда как бы сами собой разворачиваются в «лирические отступления» (*Шенрок*, 141—142). И этот задушевный, доверительный рассказ о самом сокровенном и главном в природном существовании — о постепенном увядании, разрушении, предвещающем новую жизнь, — определяет сентиментальный план повести, «ненарочное» сочетание в ней высокого и низкого, прозаического, комического и трагического, что свойственно жизни и настоящему искусству. Разноплановость же и разновременность эпизодов, связанных больше интонацией и чувством, нежели сюжетом (это сразу отметила критика), сближает повесть с «Арабесками».

[1] *...яхонтовым морем слив, покрытых свинцовым матом...* — Яхонтовый — цвет яхонта (старинное название рубина и сапфира); это слово имеет различные значения, в данном случае обозначает цвет темно-синий или фиолетовый с матовым, тусклым оттенком.

[2] *Буколическая жизнь* — деревенская, простая, природная (по названию цикла стихотворений римского поэта Вергилия «Буколики», славивших прелести деревенской жизни).

[3] *Камлот* — грубая и плотная шерстяная ткань.

[4] *Дегтярь* (дегтярник) — тот, кто занимается выгонкой или продажей дёгтя.

[5] *Палата* — название многих административных учреждений: казенная палата (от министерства финансов), гражданская палата (высшее в губернии судебное учреждение) и др.

[6] *Ябедник* — тот, кто заводит судебные тяжбы, сутяжничает.

[7] *...служил в компанейцах, был после секунд-майором...* — Компанейцами (от укр. компанейство — 'товарищество') или охочекомонными назывались «вольные кавалерийские войска» («Малороссийские слова»), которые формировались из добровольцев на своих конях (др.-рус. комонь — 'конь'), — то есть вольнонаемная легкая козацкая кавалерия; в 1776 г. она была преобразована в регулярные части. Секунд-майор (от лат. secundus — 'второй'), штаб-офицерский чин в русской армии XVIII в., следовавший за чином капитана; упразднен в 1797 г. Чин секунд-майора выслужил дед Гоголя Афанасий Дамианович.

[8] *Камзол* — здесь: длинный жилет, надевавшийся под кафтан.

[9] *Печатка* — небольшая печать для писем, которые запечатывались сургучом или особыми облатками; на ней обычно вырезали дворянский герб владельца, различные изречения, символы, инициалы и проч. Печатки (золотые, медные, сердоликовые) носили на часовой цепочке как брелоки.

[10] *Архиерей* (от греч. archiereus — 'старший священник'), архипастырь, святитель, иерарх (от греч. hieros — 'священный' и arche — 'власть') — название священнослужителей высшей ступени в христианской церковной иерархии: епископов, архиепископов, митрополитов, экзархов, патриархов, которые обладают апостольской благодатью совершать все таинства, в том числе рукоположение, и руководить церковной жизнью. Архиерея принято ставить от черного духовенства (монахов); из числа архиереев пожизненно избирается патриарх.

[11] *Петр III* (1728—1762) — российский император (1761—1762), внук Петра I, немецкий принц Карл Петр Ульрих. Рано осиротевшего принца как вероятного наследника шведского престола воспитывали в лютеранской вере, внушая ненависть к России — врагу Швеции. Когда в 1742 г. на российский престол взошла Елизавета Петровна, его привезли в Петербург и объявили престолонаследником; принц принял православие и получил имя Петра Федоровича. В августе 1745 г. он вступил в брак с принцессой Софией Фредерикой Августой Ангальт-Цербстской (будущей императрицей Екатериной II). Брак оказался неудачным: только в 1754 г. у четы появился сын Павел. Неприязнь Петра ко всему русскому и его неспособность к государственным делам вызывали беспокойство Елизаветы, намеревавшейся даже передать трон малолетнему Павлу (при регентстве Екатерины) либо самой Екатерине. Однако императрица не изменила порядок престолонаследия, и после ее смерти в 1761 г. Петр занял российский престол. Он тут же заключил Петербургский мир с Пруссией (что обесценило победы русских войск в Семилетней войне) и ввел в армии прусские порядки. Вместе с тем он возвратил из ссылки раскольников и ряд опальных деятелей, провел важные реформы: уничтожил Тайную канцелярию как орган политического сыска, даровал дворянам право освобождения от службы (Указ о вольности дворянства, 1762), отменил обременительную соляную пошлину... Однако это не принесло Петру III популярности, наоборот, введение в армии прусских порядков вызвало негодование гвардии, а политика веротерпимости, отказ от преследований старообрядцев и попытка церковных реформ восстановили против него духовенство. Фактически управление страной перешло к придворной знати и высшей администрации (А. И. Глебов, М. И. Воронцов и др.). Летом 1762 г. Петр III был свергнут в результате переворота, организованного с помощью гвардейских офицеров его женой Екатериной, и вскоре умер при невыясненных обстоятельствах (вероятнее всего, убит гвардейской охраной, официально же сообщили, что император скончался «от приступа геморроя»); был похоронен в Благовещенской церкви Александро-Невской лавры. После своего воцарения в 1796 г. Павел I приказал перенести прах отца в Петропавловский собор и захоронить рядом с Екатериной II. Именем Петра III пользовались многие самозванцы, среди которых наиболее удачливым был Емельян Пугачев.

[12] *Герцогиня Ла Вальер* — Луиза-Франсуаза Де ла Вальер (1644—1710), фаворитка французского короля Людовика XIV, имевшая от него детей; не смогла перенести его охлаждения и в 30 лет ушла в монастырь. Описывая его в «Письмах русского путешественника», Н. М. Карамзин выражает восхищение картиной живописца Лебрюна, изображающей «милую, трогательную» Марию Магдалину, и объясняет причину своего пристрастия: художник «в виде Магдалины изобразил нежную, прекрасную герцогиню Лавальер, которая в Лудовике XIV любила не царя, а человека и всем ему пожертвовала: своим сердцем, невинностию, спокойствием, светом. Я воображаю тихую лунную ночь, когда, гуляя в Версальском парке со своими подругами, милая Лавальер сказала им: „Вы говорите о придворных красавцах, а забываете первого: нашего любезного Короля. Не пышность трона ослепляет глаза мои; нет, и в сельской хижине, в платье бедного пастушка предпочла бы я его всем мужчинам на свете“. — Король был в двух шагах от прелестной, скрывался за деревом, слышал ее слова, и сердце ему сказало: „Вот та, которую ты любить должен!“ Он не знал ее;

на другой день старался говорить со всеми придворными дамами, узнал Лавальер по голосу — и несколько лет, будучи обожаем, сам обожал ее; изменил — и несчастная оставила свет, заключилась в Кармелитском монастыре, истребила в душе все земные склонности, жила 36 лет единственно для добродетели, для неба, под именем Луизы, *сестры милосердия*, ревностно исполняя строгие должности ордена и звания своего» (<*Карамзин Н. М.*> Письма русского путешественника. 2-е изд. М., 1801. Ч. V. С. 252—257). «Чувствительностью» и объясняется, почему образ Лавальер стал идеалом искусства рококо. Роман С. Ф. Жанлис «Герцогиня де ла Валиер» (1804; рус. пер.: СПб., 1804—1805), где сцена с подслушивающим королем была обрисована в тех же сентиментальных тонах (с. 61—63), сразу стал популярен в России. Эта книга иронически упоминается в повести о двух Иванах (см. примеч. 31 на с. 496) и поэме «Мертвые души».

[13] *Исподница* — здесь: шерстяная полосатая юбка крестьянок (*Словарь Даля*, II, 55).

[14] *...перегонял в медном лембике водку... на золототысячник...* — Лембик (иск. араб. аль-имбик) — куб для перегонки и очистки домашней водки (самогона), изначально употреблявшийся в алхимии. Золототысячник — одно- или двухлетнее травянистое лекарственное растение, известное с античных времен; о нем сложено множество легенд (так, его считали травой, которой бог врачевания Асклепий излечивал безнадежно больных); применяется в народной медицине для возбуждения аппетита и улучшения пищеварения, а также от грудных и других болезней. Перегонять (*на что-то*) — имеется в виду общепринятый в России XIX в. способ получения ароматизированных водок (настоек), для чего растительное сырье заливали спиртом или очищенной водкой и настаивали, а потом перегоняли в кубе.

[15] *Войт* — выборный староста селения.

[16] *Дрожки* — легкий открытый рессорный экипаж на одного или двух человек.

[17] *Милиция* — имеется в виду малороссийское ополчение 1806—1807 годов; оно было создано после манифеста Александра I, которым царь извещал подданных о возможной войне с Францией и необходимости создать народное ополчение, названное *внутренней временной милицией* или земским войском; после Тильзитского мира это войско расформировали.

[18] *Ничипор* — украинская форма греческого имени Никифор (Победоносец); варианты: «Нечипір, Нечипірко — Никифор» («Имена, даемые при крещении»).

[19] *Зимние дули* — имеются в виду груши сорта дюшес (от фр. duchesse).

[20] *Шинок* — кабак, питейный дом.

[21] *Ночевка* — здесь: корытце.

[22] *Узвар* — компот из высушенных плодов.

[23] *Тендитный* — слабосильный, нежный («Малороссийские слова»).

[24] *...француз тайно согласился с англичанином выпустить опять на Россию Бонапарта...* — Вероятно, эти разговоры были связаны со слухами о побеге Наполеона с острова Эльба и о его вторичном правлении во Франции с 20 марта по 22 июня 1815 г.

[25] *Пистоли* — пистолеты; «пистоль... одноручное ружьецо; короткое огневое оружие, коим владеют одною рукою...»; скорее всего, здесь: «Кавалерийские пистоли, кобурные, большего калибра, тяжелые» (*Словарь Даля*, III, 114).

[26] *Комора* — «амбар» («Малороссийские слова»); здесь также: чулан, кладовая.

[27] *...водка, настоенная на деревий и шалфей...* — Деревий — укр. название травы тысячелистник. См. также выше, примеч. 14.

[28] *...грибки с чебрецом... и волошскими орехами...* — Чебрец (чабрец) — так называемая богородская травка. Волошские орехи — грецкие.

[29] *Травянки* — грибы.

[30] *Нечуй-витер* — «трава, которую дают свиньям для жиру» («Малороссийские слова»); трава «мышьи ушки».

[31] *Урда* (вурда) — выжимки из семян конопли или зерен мака для начинки вареников или пирогов.

[32] *Какой-нибудь завоеватель собирает все силы своего государства, воюет несколько лет, полководцы его прославляются, и наконец всё это оканчивается приобретением клочка земли, на котором негде посеять картофеля...* — Очевидный намек на судьбу французского императора Наполеона I Бонапарта, умершего в ссылке на скалистом острове Святой Елены (1821). Кроме того, возможна и литературная реминисценция. В трагедии Шекспира «Гамлет» (д. IV, явл. 4) полковник говорит, что воюет из-за «куска земли... / В котором польза вся его лишь имя», а Гамлет жалеет юношей, которые отдают жизнь «за горсть песку» в споре из-за «земли... на коей места для могил их мало» (Гамлет. Трагедия в 5 д. Соч. В. Шекспира / Пер. с англ. М. В<ронченко>. СПб., 1828. С. 131—133; отмечено: *Гуминский*, 253).

[33] *...два какие-нибудь колбасника двух городов подерутся между собою за вздор, и ссора объемлет наконец города, потом веси и деревни, а там и целое государство.* — Видимо, это вольный метафорический пересказ сюжета комедии Аристофана «Всадники» (424 г. до н. э.), в которой высмеивается борьба двух «слуг народа» (политических деятелей, выведенных под именами Колбасника и Кожевника) за власть над глупым немощным Стариком (афинским Демосом).

Колбасник — также презрительная кличка немца в России XIX в. Весь (др.-рус.) — селение.

[34] *Декохт* (декокт) — густой лечебный отвар.

[35] *Явдоха* — украинская форма греческого имени Евдокия (Благоволение); «Вiвдя, Овдюшка, Евдоха — Евдокия» («Имена, даемые при крещении»).

[36] *Растрощило* — раздробило.

[37] *Петит-уверт* (от фр. petite ouvert) — букв.: ‘маленькая открывает!’ (термин карточной игры).

[38] *Марки* — здесь: жетоны, заменяющие деньги во время игры.

[39] *Мнишки* — «кушанье из муки с творогом» («Малороссийские слова»); сырники.

[40] *Вам, без сомнения, когда-нибудь случалось слышать голос <...> после которого следует неминуемо смерть.* — О таком голосе Гоголь упомянул во фрагменте «Кровавый бандурист», предназначавшемся для *БдЧ* (см. об этом ниже, на с. 525), в конспекте-очерке книги Н. Нефедьева «Подробные сведения о волжских калмыках» (СПб., 1834) и в драматическом отрывке под условным названием <Что это?> (рукопись датируется 1834 г.).

[41] *Поручик* — самый распространенный младший офицерский чин 12-го класса.

[42] *Заседатель* — здесь, видимо, сельский заседатель: выборный член уездного суда.

[43] *Штабс-капитан* — младший офицерский чин 11-го класса (в пехоте, артиллерии, инженерных войсках) между поручиком и капитаном.

[44] *Пенька* — вымоченное и вычесанное конопляное волокно; из него плели веревки или грубую ткань; один из самых распространенных дешевых товаров в Малороссии того времени.

ТАРАС БУЛЬБА

Впервые: Миргород. Ч. 1. С. 57—224. Больше при жизни Гоголя эта редакция не печаталась, поскольку в глазах автора ее полностью заменила вторая, каноническая редакция повести, созданная в 1838—1841 годах и опубликованная в *Соч. 1842* (Т. II. С. 55—303).

В отличие от печатной редакции повести, которая разделена на 9 небольших глав, ее черновую неозаглавленную редакцию (*РП*. Л. 16—32) составляли три большие главы. Каждую из них автор вписывал в несколько приемов — частями, причем некоторые части оставил незавершенными, что позволяет предположить существование неизвестной нам, возможно, более обширной редакции — промежуточной между черновой и беловой. Так, обращение Андрия к панночке было прервано после слов «Клянусь Богом и всем что ни есть на свете», далее остались не заполнены 4/5 страницы, а на обороте другими почерком и чернилами вписано начало следующей части (л. 24—24 об.). Описание степи, завершавшее вторую главу на с. 19 об., по-видимому, изначально замышлялось пространным, ибо для него было оставлено намного больше места, нежели заняла запись. Идентичность почерка и чернил в разных местах автографа, особенно при завершении частей, позволяет говорить о том, что работа над ними иногда шла параллельно. Большинство обычных поправок было сделано по ходу письма, а для крупных вставок специально оставлено место в конце л. 16 об., 18, 19 об. Внесенными задним числом представляются немногие поправки и вставки, сделанные иным пером и другими чернилами и/или надписанные над строчками и на полях (20 об., 21 об., 23).

Ряд особенностей записи и очевидная тенденция сокращения текста позволяют полагать, что изначально отдельные описания могли быть более пространными и обстоятельными — как, например, картина степи или подробности боев, но автор, стремясь к «равновесию» повести со всеми другими произведениями сборника, убирал подобные длинноты, чем и заслужил упреки критики в некой «эскизности» и схематизме. По-видимому, Гоголю эти замечания показались справедливыми: перерабатывая повесть, он расширил некоторые описания, восстановил и прежние пропуски текста, — в результате 2-я редакция стала равна по объему трем остальным повестям, нарушив пропорции «Миргорода» как цикла, что, несомненно, повлияло и на восприятие ее читателями.

Начало работы над повестью «Тарас Бульба» исследователи относят к рубежу 1833—1834 годов. В то время Гоголь задумывает обширные труды по Всеобщей, средневековой и украинской истории (см. об этом с. 274—275), однако накоплен-

ные сведения требуют обобщения и тщательной систематической обработки. В ходе ее разыгрывается творческое воображение автора — и тогда Гоголь начинает соединять научное и художественное, факты и миф, жизненную правду и вымысел, чтобы создать свою, художественную историю Украины, отразить в судьбе одной козацкой семьи думы, устремления и конфликты всего Козачества. Емкие образы козацкой эпопеи вбирают черты и поступки различных исторических деятелей, события народно-освободительной борьбы нескольких поколений украинцев, яркую картину Запорожской Сечи, мирную жизнь и величайшие подвиги, жертвы, победы, поражения и предательства... Работу над повестью Гоголь завершит только в начале 1840-х годов, когда создаст ее каноническую редакцию, навсегда отказавшись от замыслов научно-поэтической истории.

Основой штудий Гоголя по истории Украины были «История Государства Российского» Н. М. Карамзина (Т. 1—12. 1816—1829; цит. по изд.: *ИГР*), где приведены сведения о происхождении козаков, отрывки из «Хроники Польской, Литовской, Жмудской и всей Руси» М. Стрыйковского (*Комментарии СС*. Т. 7. С. 547). Этот фундаментальный труд оказал огромное воздействие на молодого писателя не только в плане историко-философском, но и в художественном, питая его слог и образную систему произведений. И хотя Гоголь во многом следовал Карамзину и поверял *ИГР* ход своих исторических размышлений, он не стеснялся с ней полемизировать, если на то были веские основания. Большую роль при этом играла «История Малой России» Д. Н. Бантыш-Каменского[18] (1822; 2-е изд. — 1830; цит. по изд.: *ИМР*; об использовании этого труда в «Тарасе Бульбе» см.: *Казарин*, 21, 66). Привлекались также «Краткая летопись Малой России...» В. Г. Рубана (СПб., 1777; цит. по изд.: *Летопись*), компилятивная работа Ж.-Б. Шерера «Annales de la Petite-Russie, ou L'Histoire des Casaques Saparogues et les Casaques de l'Ukraine (Летопись Малороссии, или История Казаков запорожских и Казаков украинских)» (Paris, 1788; цит. по изд.: *Шерер*) и книга Г. де Боплана «Описание Украйны»[19] (1651; рус. пер. — 1832; цит. по изд.: *Боплан*). Гоголь мог знать «Историческое известие о возникшей в Польше

[18] Дмитрий Николаевич Бантыш-Каменский (1788—1850) — историк, археограф, писатель и крупный российский чиновник. Получив домашнее образование, в 1800 г. поступил в Московский архив Коллегии иностранных дел, которым тогда управлял его отец, академик Н. Н. Бантыш-Каменский (1737—1814). По смерти отца перешел в Санкт-Петербургскую Коллегию иностранных дел, как дипломат присутствовал на мирных переговорах в Париже и Вене. С 1816 по 1822 г. служил в Полтаве у военного губернатора Малороссии князя Н. Г. Репнина и при его содействии, пользуясь архивами его канцелярии, трудился над «Историей Малой России».

[19] Гийом Левассер де Боплан (ок. 1595—1685) служил военным инженером и картографом польской королевской армии (1631—1648) в основном на Украине, в 1637—1638 годах принимал участие в походе гетмана Конецпольского, предпринятом для подавления козацко-крестьянских восстаний Павлюка и Остраницы. Книга «Описание Украйны» (1-е изд.: Description des contrées du Royaume de Pologne, contenues depuis les confins de la Moscowie, insques aux limites de la Transilvanie. Par le Sieur de Beauplan / Описание окраин Королевства Польши, простирающихся от пределов Московии, вплоть до границ Трансильвании, 1651) заключала сведения о географии, экономике, населении Украины, здесь были подробно описаны днепровские пороги и другие экзотические достопримечательности. «Описание» практически впервые показало западному читателю быт и нравы украинцев, вызвало интерес в Европе и потому в XVIII в. было переведено на английский и немецкий языки.

Унии» Н. Н. Бантыш-Каменского (М., 1805) и подробный очерк «Общежитие донских казаков в XVI—XVII столетиях» декабриста В. Д. Сухорукова (Русская Старина. Карманная книжка для любителей отечественного, на 1825 год, изданная А. Корниловичем. СПб., 1824; отмечено: *Гуковский*, 178—179).

При создании повести Гоголь опирался на известные ему списки козацких летописей, которые освещали происхождение Козачества, его историю, деяния и подробно рассказывали о событиях народно-освободительной войны 1648—1654 годов (Хмельнитчины). Вероятно, в поле зрения писателя изначально были полтавские источники — такие, как летопись гадячского полковника Г. Грабянки (где впервые связно излагалась история Украины с древности до Полтавской битвы), частично опубликованная под названием «Летописец Малыя России» в журнале Ф. Туманского «Российский магазин» (1793. Ч. 2—3; 1794. Ч. 3), фрагменты летописи войскового канцеляриста С. В. Величко, составленной с привлечением множества источников, списком которой располагал М. П. Погодин, — а также летопись Самовидца[20], «История о казаках запорожских» князя Мышецкого (цит. по изд.: *Мышецкий*) и др. В письме к фольклористу И. И. Срезневскому от 6 марта 1834 г. Гоголь утверждал, что у него есть «почти все» изданные летописи из упомянутых Д. Н. Бантыш-Каменским, и просил корреспондента сообщить выписки из рукописных, то есть еще не опубликованных летописей (X, 298—299). Там же были упомянуты известные Гоголю «летописи Кониского, Шафонского, Ригельмана» — рукописные труды А. Ф. Шафонского «Черниговского наместничества топографическое описание с кратким географическим и историческим описанием Малой России, из частей коей оное наместничество составлено» (опубл.: Киев, 1851) и А. И. Ригельмана «Летописное повествование о Малой России и ее народе и козаках вообще, отколь и из какого народа оные происхождение свое имеют, и по каким случаям они ныне при своих местах обитают, как то: Черкасские или Малороссийские и Запорожские...» (опубл.: М., 1847). Основополагающее значение для работы имела «История Русов, или Малой России» (опубл.: 1846), которую приписывали Святителю Георгию (Конисскому[21];

---

[20] Первые полные издания: Действия презельной и от начала поляков крвавшой небывалой брани Богдана Хмелницкого, гетмана Запорожского, с поляки... Киев, 1854; на шмуцтитуле название «Летопись *Григория Грябянки*»; Летопись событий в Юго-Западной России в XVII-м веке. Сост. *Самоил Величко*, б<ывший> канцелярист Канцелярии Войска Запорожского, 1720. Т. 1—4. Киев, 1848—1868; Летопись самовидца о войнах Богдана Хмельницкого и междоусобиях, бывших в Малой России по его смерти... М., 1846; <Мышецкий С. И.> История о казаках запорожских, как оные из древних лет зачалися, и откуда свое происхождение имеют, и в каком состоянии ныне находятся. М., 1847. О фрагменте какого-то из этих трудов (вероятнее всего — летописи *Величко* от М. П. Погодина) Гоголь сообщил Пушкину в письме 23 декабря 1833 г., что «достал летопись без конца, без начала, об Украйне, писанную, по всем признакам, в конце XVII века» (X, 290).

[21] Григорий Осипович Конисский (1717—1795) происходил из козацкого рода, его отец, сотенный урядник, был бургомистром Нежина. Григорий окончил Киевскую Духовную академию «с особенною похвалой» в 1743 г., принял постриг под именем Георгия, в 1752—1755 годах был ректором академии, затем стал епископом Могилевским. Поскольку епархия находилась на территории Польши, где православные (равно как и протестанты) подвергались дискриминации, он боролся за равенство прав польских граждан различных конфессий, опираясь в своей деятельности

ее автором одни историки считают Г. А. Полетику, другие — его сына В. Г. Полетику); на рубеже 1820—1830-х годов Гоголь ее прочел по одному из списков, принадлежавших Пушкину, М. А. Максимовичу и, вероятно, О. М. Сомову. У молодого писателя были и свои основания доверять этому труду: Г. О. Конисский был сыном бургомистра Нежина и ректором Киевской Духовной академии в то время, когда там учился дед Гоголя; имя архиепископа освящало публикацию некоторых документов о преследовании православных во времена унии.

Из фольклорных источников, которым Гоголь придавал значение исторических (см. об этом ниже, на с. 527), были использованы сборники народных песен: «Опыт собрания старинных малороссийских песен» (СПб., 1819) князя П. Цертелева, «Малороссийские песни» М. Максимовича (М., 1827), «Запорожская Старина» И. Срезневского (Харьков, 1833), «Украинские народные песни» М. Максимовича (М., 1834), присланная из Васильевки «старинная тетрадь с песнями» (о ней см. на с. 536), а также песни из рукописного собрания З. Доленго-Ходаковского и др. По мнению ученых, в «Тарасе Бульбе» нет ни одного сколько-нибудь значительного эпического или лирического мотива, который не имел бы своей аналогии в украинских народных песнях и думах. При этом Гоголь опирался на стихийные национально-исторические представления о Козачестве, которое воплощает народные чаяния и видит свое призвание в защите «отчизны и веры» от всех «нехристианских хищников» (*Карпенко*, 112).

Повесть тесно связана со всеми предшествующими произведениями Гоголя о Козачестве, но особенно с повестью «Страшная месть» (1832) и фрагментами исторического романа, над которым он работал в 1830—1833 годах (об этом см. ниже, на с. 509), со статьями «Взгляд на составление Малороссии», «О малороссийских песнях» (см. Приложения). В некоторых местах авторское повествование отчетливо перекликается с известными в то время произведениями европейской литературы, обнаруживая пристрастия Гоголя-читателя. Так, упоминание о «двух здоровых девках», бегущих от «приехавших паничей», соотносится с эпизодом в первом романе В. Скотта «Уэверли» (1814), когда герой увидел на лугу двух девушек, которые полоскали босыми ногами «в огромной бочке», но, «устрашенные нечаянным появлением, поспешили опустить платье для закрытия ног, которые от их движений могли представить неприличность. — *Ах, господа!* вскричали они, и голос их выражал вместе скромность

на исторические документы и юридические акты о правах православных верующих на польской территории. Летом 1759 г. во время богослужения в г. Орше его изгнали из церкви, заставили укрыться в монастыре, который осаждала толпа, намеревавшаяся убить епископа, и ему удалось тайно выбраться из монастыря в крестьянской телеге, покрытой сверху навозом. В 1760 г. на его дом и семинарию напали, ранили нескольких семинаристов; Георгию удалось укрыться в подвале. На коронации Екатерины II в 1762 г. епископ просил ее оказать помощь православным на территории Польши. В 1765 г. он выступил с яркой речью в защиту православных перед новым королем Польши С. Понятовским, а затем направил польскому правительству записку о положении верующих во всех западнорусских епархиях. В 1783 г. он стал архиепископом, членом Святейшего Синода. Святитель был известен как выдающийся проповедник, в своих проповедях обличавший человеческие пороки, затрагивавший острые социальные проблемы. Память о нем сохранилась в Белоруссии до наших дней.

и кокетство, и пустились бежать, как дикие козы» (Веверлей, или Шестьдесят лет назад. Соч. Сира Валтера Скотта. М., 1827. Ч. I. С. 92—93)*. С другими романами В. Скотта, в первую очередь — «Пуритане» (1816, рус. пер. — 1824) и «Легенда о Монтрозе» (1819, рус. пер. — 1824), «Тараса Бульбу» сближают обрисовка героев, патриархальность их высказываний и особенности повествования (см. вступ. статью). Красочное описание украинской степи подобно картине прерий в романе Ф. Купера «Американские степи» («Прерия», 1827, рус. пер. — 1829), причем стихийно-руссоистские воззрения, природное вольнолюбие главных героев этого и следующих романов Купера («Поселенцы», 1823, рус. пер. — 1832; «Последний из могикан», 1826, рус. пер. — 1833) соотносятся со взглядами Бульбы (*Вайскопф*, 442). Уже давно отмечено, что один из главных эпизодов повести — убийство Тарасом своего сына Андрия (возможно, первоначальное «зерно» всего сюжета) — восходит к знаменитой новелле П. Мериме «Маттео Фальконе» (впервые: Revue de Paris. 1829. № 4. Mai)**. Вместе с тем перекличка не столь однозначна, как представляется на первый взгляд... Маттео (др.-евр. 'Божий человек') казнит своего ребенка — единственного сына, избалованного матерью и старшими сестрами наследника — за то, что тот нарушил «кодекс чести» и выдал разбойника, попросившего его о помощи, «чужим», государственным людям. Польстившись на блестящую игрушку Нового времени, механические часы, ничтожные перед вечно меняющейся природой и сменой поколений, мальчик предал все, ради чего живет семья и весь род Фальконе. Таким образом, Маттео убивает как бы самого себя и прекращает свой род потому, что породил недостойного сына, — и Бог не отводит руку отца, как это было в библейском рассказе. А Бульба убивает взрослого сына-козака, который, изменив Вере, родным и товарищам, перешел с оружием к врагу, — и отец-патриарх, отрекшийся от родства с ним, карает его своей рукой как отступника от общего, святого дела, но все же потом, после колебаний, соглашается отдать должное его воинской доблести и похоронить с честью***. С точки зрения художника-историка, это средневековая искупительная

* Во 2-й редакции «Тараса Бульбы» перекличка стала и отчетливее, и содержательнее: «Они, как видно, испугались приезда паничей... или же просто хотели соблюсти свой женский обычай: вскрикнуть и броситься опрометью, увидевши мужчину, и потом долго закрываться от сильного стыда рукавом» (II, 43).

** Новелла сразу стала популярна во Франции, а затем и других европейских странах (немецкий поэт-романтик А. фон Шамиссо в 1830 г. даже переложил ее стихами); в России ее перевели почти сразу после публикации (Матео Фальконе, или Корсиканские нравы // Атеней. 1829. Ч. 3. № 15. Август. С. 228—250) — и дважды в 1832 г., варьируя то же название: «Корсиканские нравы. Матео Фальконе» (*ЛПРИ*. 1832. № 81. С. 644—647; № 82. С. 615—655. Пер. В. Соколова); «Матео Фальконе. Корсиканские нравы» (Дамский журнал. 1832. Ч. 40. № 50. Декабрь. С. 161—169; № 51. С. 171—187. Пер. А. П.), — все это не могло пройти незамеченным для Гоголя, постоянного и внимательного читателя русских журналов и альманахов.

*** Узнав об измене сына, Бульба отказывает в родстве «чертовой детине», которую «породил» не он, а «черт на позор всему роду», но при этом «чертовым племенем» и Иудой называет принесшего эту весть «шпиона» Янкеля. Во 2-й редакции Андрий после измены будет назван Иудой, на которого не распространяются понятия доблести и чести, и на предложение Остапа похоронить брата «честно» Тарас отвечает отказом, хотя и колеблется (II, 144—145).

жертва Новому времени, когда человек, отходя от Бога и Веры, «самовластно» поступая, тем самым разрушает себя и прерывает свой род.

Влиянию повести на русскую, украинскую и другие литературы и на общественное сознание в разные эпохи посвящено множество исследований, книг, публицистических статей.

[1] *...цур тебе...* — Украинское междометие, означающее «(да) ну тебя!». Российские мифологи первой половины XIX в. считали Цур (Чур) именем славянского бога родового очага Чура, оберегавшего имение и его границы, но существование такого божества не доказано (*Словарь Фасмера*, IV, 385—386). Современные словари толкуют чур/цур как часть фразеологизма, обращения за помощью к пращуру (предку-покровителю рода в славянской мифологии).

[2] *Академия* — здесь: Киево-Могилянская коллегия, первое высшее богослужебное учебное заведение Южной России, крупнейший учебный и культурный центр Украины, Белоруссии и России в XVII—XVIII веках; преобразована из Киевской братской школы в 1632 г. киевским митрополитом П. Могилой. Сюда принимали сыновей шляхтичей, козацкой старшины, зажиточных горожан и духовенства. В течение 12 лет их обучали греческому, латинскому и славянским языкам, пиитике и риторике, философии, богословию и другим предметам, а по субботам проводили диспуты (см. ниже, примеч. 44). В 1701 г. коллегию, увеличив круг предметов, переименовали в Киевскую Духовную академию (здесь учился дед Гоголя Афанасий Дамианович). С 1817 по 1819 г., пока ее реформировали, была открыта Киевская семинария. Видимо, поэтому Гоголь не разделяет понятий «академия», «семинария» (среднее духовное учебное заведение), «бурса» (среднее или низшее духовное учебное заведение и/или общежитие при нем), называя учащихся то семинаристами, то бурсаками, то в черновой редакции — «академиками» (см. также примеч. 1—3 к повести «Вий»).

[3] *Пышный* — здесь: гордый, важный.

[4] *Бейбас* (бельбас) — балбес.

[5] *Сажень* — здесь: прямая сажень (размах рук человека от конца пальцев одной руки до конца пальцев другой), русская мера длины; с 1835 г. она равнялась 213, 3 см, или 3 аршинам.

[6] *Мазунчик* (от укр. мазать — 'ласкать, баловать') — маменькин сынок, баловень.

[7] *Ка зна що* — дрянь, чепуха.

[8] *Запорожье* — здесь: Запорожская Сечь (Низовое войско Запорожское), стихийно возникшая военная и общественно-политическая организация козаков в XVI—XVIII веках. Сечь (Сеча) как центр управления войсковыми делами располагалась в труднодоступном, хорошо укрепленном месте, обычно на острове ниже порогов Днепра; в этой крепости вокруг Покровской церкви стояли курени — жилища запорожцев (см. примеч. 29), дома атамана, старшин и хозяйственные постройки. Само Запорожье называли «землями Войска Запорожского», или Запорожским Кошем (от татар. кош — 'лагерь, стан'; см. также примеч. 76), его границы постоянно менялись, и по размерам в начале XVIII в. оно приближалось к островной части Англии.

«История Русов» сообщает, что Запорожье — пограничная область «над рекою Днепром, пониже порогов <...> где Козаки, ради всегдашнего пребывания, поделали

укрепления или редуты, названные засеками от сечения дерев, на палисады употребленных. От чего впоследствии Козаки, тамо засевшие, названы Запорожскими Козаками; место же пребывания их названо Сечью Запорожскою, и Козаки первые переменялись другими, из жилищ их командированными <...> Для содержания же и снабжения войска сего наданы и отведены ему достаточные земли Малороссийские, с угодьями по обеим сторонам Днепра и порогов, между речек Конской, Самары, Калмиуса, Ташлика и Буга» (*ИР*, 14). Кроме того, запорожцы «населили в отдалении от Сечи, между Днепром и Бугом реками, деревни, в которых жительствовали женатые с их семьями, когда в Сечи одним холостым пребывать позволялось» (*Миллер*, 2—3).

[9] *Пампушек, маковников, медовиков и других пундиков...* — Пампушки — «вареное кушанье из теста» («Малороссийские слова»); пышки. Маковник — пирог с маком или лепешка с медом и маком. Медовик — медовый пряник. Пундики — вареные сласти, лакомства.

[10] *...горелки... с изюмом, родзинками и другими вытребеньками...* — Горелка (укр. горілка) — водка (*Словарь Фасмера*, I, 440). Родзинки — изюм. Вытребеньки (укр.) — выдумки, причуды, затеи, прихоти; в «Книге всякой всячины» записано выражение «здаться на витребеньки (быть балагуром, выдумщиком)». Вытребеньками назвал Гоголь хутор главного героя в повести «Иван Федорович Шпонька и его тетушка» (1832).

[11] *Красное монисто* — здесь: красивое ожерелье из бус, монет, разноцветных камней.

[12] *Уния* (от лат. unio — союз, объединение) — Брестская уния, принятая в 1596 г. церковным собором в Бресте, по которой Православная церковь Украины и Белоруссии объединялась с католической, признавая власть папы римского и ряд католических догматов, но сохраняя собственные обряды и богослужение на родном языке (см.: *ИМР*. Ч. 1. Примеч. на с. 11). Ее насильственное распространение привело к усилению гнета польских помещиков и католического духовенства. В «Истории Русов» об унии говорится, что даже сами «историки Польские... сколько ни увеличивали вин Козацких и сколько ни прикрывали самовластных посягательств вельмож и Духовенства Римского на землю Рускую...», признают, однако, что «миссия Духовенства Римского, замыслив произвесть в Руской религии реформу, для единства с своею, слишком поспешила совершить ее так нагло и так отважно в народе грубом и всегда воинствующем» (*ИР*, 40). Хотя часть козацкой верхушки приняла унию, простые люди и Козачество остались православными; народное сопротивление с начала XVII в. привело к ожесточенным униатским войнам, лишь после этого польские власти вынуждены были разрешить легальное существование Православной церкви.

[13] *Все было чисто, вымазано глиною. Вся стена была убрана саблями и ружьями. Окна в светлице были маленькие, с круглыми матовыми стеклами, какие встречаются ныне только в старинных церквах. На полках... стояли глиняные кувшины, синие и зеленые фляжки, серебряные кубки, позолоченные чарки <...> Липовые скамьи вокруг всей комнаты и огромный стол посреди ее, печь, разъехавшаяся на полкомнаты, как толстая русская купчиха, с какими-то нарисованными петухами на изразцах...* — Описание светлицы — светлой, чистой, парадной комнаты — представляет собой сокращенное до эмблематичного изображение светлицы

в доме Остраницы из <Глав исторической повести>: «Стены были очень тонки, и вымазаны глиною и выбелены снаружи и внутри так ярко, что глаза едва могли выносить этот блеск. Весь пол в комнате был тоже вымазан глиною, но так был чисто выметен, что на нем можно было лечь, не опасаясь запылить платья. В углу комнаты у дверей находилась огромная печь и занимала почти четверть комнаты <...> Окна были невелики, круглые матовые стекла, пропуская свет, не давали видеть ничего происходящего <на> дворе <...> Подальше висели несколько турецких саблей, ружье и разной величины пистолеты...». Почти та же обстановка в жилище полковника Глечика («Глава из исторического романа»): «Всю комнату обходили липовые широкие и узкие лавки; у дверей громоздилась печь с отверстием внизу <...> На стене висели: серп, сабля, ружье... секира, турецкий пистолет, еще ружье... коса и коротенькая нагайка...». Целью подобных описаний было показать героя из народа, чей дом подобен жилищу современных автору и читателю простолюдинов*, и отличающую от них воинственность как характерную черту того времени. Оружие на стене — эмблема занятий героя и его трофеи, оно здесь и для воспоминаний на пиру о битвах и схватках, и для воспитания сыновей, и для обороны дома через окошки-бойницы. Такие же небольшие круглые окна были в деревянных церквях с тремя конусообразными куполами-«банями», в то время широко распространенных на Украине. В описании объединены характерные черты русского и украинского: хата-мазанка и огромная русская печь, а также мирского, церковного и военного: лавки, окна-бойницы, оружие.

Фляжка — здесь: бутылка (укр. фляшка/пляшка от нем. Flasche. — *Словарь Фасмера*, IV, 200).

[14] *Дай же, Боже, чтоб вы на войне всегда были удачливы!* — «...бывшее в чести у запорожцев „бражничество"... всегда сопровождалось обычаем „благословения" и пожеланий, в которых раскрываются патриотические идеалы...» (*Карпенко*, 112).

[15] *Чтобы бусурменов били... и татарву...* — Бусурмен (басурман, бусурман — испорч. «мусульманин», то есть иноверец, главным образом представитель ислама. Татарва — здесь: крымские татары.

[16] *Ляхи* — старинное название поляков по имени их мифического родоначальника князя Ляха (Леха), который, согласно легенде, основал первый польский город. В своей исторической заметке «Западные славяне» Гоголь записал: «Валахи (румыны. — *В. Д.*) <...> вытесняют, по Нестору, славян дунайских, поселившись между ними, и заставляют иных поселиться на Висле под именем ляхов <...> Стало быть, лях есть общее название народа» (IX, 37).

[17] *А как по-латыни горелка? То-то, сынку, дурни были латынцы: они и не знали, есть ли на свете горелка.* — Намек на иное название водки: укр. «оковитая», что через пол. okowita восходит к лат. aqua vitae — вода жизни (так назвали водку в XIV в. получившие ее немецкие алхимики). В «Лексиконе малороссийском» записано: «Оковыта, хлебное вино первого сорту...». В сборнике «Украинские народные песни...» (М., 1834), отпечатанные листы которого М. А. Максимович высылал Го-

* По замечанию автора, в доме Глечика «было почти так же, как и ныне у простолюдимов Малороссии...».

голю, также указано: «Оковитая — aqua vitae! — хлебное вино». Это наименование отражает представление о жизненной необходимости водки для мужчины.

В повести показано неоднозначное, исторически сложившееся отношение козаков к спиртному. Все они без исключения, сообщает Боплан, «стараются превзойти друг друга в пьянстве и бражничестве, и едва ли найдутся во всей Христианской Европе такие беззаботные головы, как казацкие <...> нет на свете народа, который мог бы сравниться с казаками в пьянстве: не успеют проспаться и вновь уже напиваются», но все это лишь «в досужее время» — в походах и каких-то общих делах, предприятиях они сохраняют трезвость (*Боплан*, 5, 7). Тарас Бульба отличает пьянство от «бражничества», которое он считал «одним из первых достоинств рыцаря» (приравнивая к «ратной науке»), дарящим духовную радость и праздник людям, сближающим их, позволяющим общаться с духом предков. Можно пить на пиру среди родственников и духовно близких людей, в походе же «пили только по одной чарке, единственно для подкрепления, потому что Тарас Бульба не позволял никогда напиваться в дороге...». Таково же отношение запорожцев: в мирное время в Сечи они могут позволить себе «пиршество», «праздник», однако «это не было какое-нибудь сборище бражников, напивавшихся с горя...». Вместе с тем в повести приведены и отрицательные примеры козацкого пьянства (сторож на хуторе Бульбы и валявшийся на дороге в Сечи запорожец), которое подвергнется прямому и безусловному осуждению во 2-й редакции повести.

[18] *Гораций* — Квинт Гораций Флакк (65—8 до н. э.), древнеримский поэт, чьи произведения считались *образцами* стихосложения, соединившими теорию и практику.

[19] *Архимандрит* — старший церковный сан, который дается настоятелю православного монастыря и другим монашествующим, занимающим важную административную должность. Здесь: ректор Киевской Духовной академии.

[20] *...кроме суботки, драли... и по середам, и по четвергам?* — Суббота была традиционным днем порки в учебных заведениях.

[21] *Списы* — «спис (пол., нем.), копье» («Лексикон малороссийский»).

[22] *...против трех разнохарактерных наций...* — Турок, крымских татар и поляков.

[23] *Когда Баторий устроил полки в Малороссии и облек ее в ту воинственную арматуру, которою сперва означены были одни обитатели порогов, он был из числа первых полковников.* — Баторий Стефан (1533—1586), знаменитый полководец, польский король (1576—1586), одобрявший походы запорожцев против турок на Черном море (см.: *ИМР*. Ч. 1. С. 140—144; *ИР*, 25—26). По наблюдению В. П. Казарина, Гоголь основывался на утверждении Д. Н. Бантыш-Каменского, что именно Баторий провел военную реформу в Малороссии по административно-территориальному принципу, связав формирование и поддержку козацких частей с подвластными им землями и поселениями, от которых, помимо жалования, получали свой доход воинские чины; высшие — от «староств» (жилых округов), «ранговых деревень» или нескольких «дворов», положенных «по рангу» данному чину (*ИМР*. Ч. 1. С. 154; об этом см.: *Казарин*, 66—67). О реформе Батория говорит и козацкая летопись: «При Стефане же Батории, короле польском, в том же 1576 годе, козаки в лутший порядок устроены, который, ради их мужества, поставил сам им гетмана <...> а армат (здесь: оружие. — *В. Д.*) и военных припасов, воюя Турков, сами до-

були себе. Да тот же король Баторий и старшину войсковую в них учредил: обозных, судей, писарей, асаулов, полковников, сотников и атаманов» (*Самовидец*, 2).

В «Истории Русов» часть этих установлений отнесена еще к XIV в.; в гоголевской выписке из *ИР* указано: «Гетьманам и другим важным урядникам даются на содержание староства и ранговые деревни...» — подобно княжеским уделам (IX, 79). А более поздние преобразования *ИР* приписывала князю Евстафию Ружинскому, атаману козаков в 1514—1534 годах, который «по изволению Короля Сигизмунда Первого, пресекая своевольства и нестроения, учредил в Малороссии 20 непременных Козацких полков, в 2 тыс. каждый, назвав их по знатнейшим городам <...> Каждый полк разделил на сотни, названные так же по городам и местечкам. Во всякий полк определил выбранные товариством и Козаками из заслуженных товарищей полковников, сотников и старшин полковых и сотенных, кои оставались в чинах на всю уже их жизнь и завели с тех пор чиновное в Малороссии Шлехетство...» (*ИР*, 15—16; согласно другим источникам, это сделал Богдан Рожинский при короле Батории). Но *ИМР* также сообщала, что при Сигизмунде I (1467—1548, король польский и великий князь литовский с 1506) «предводитель Козаков Евстафий Дашкович, первый гетман, разделил сих воинов на сотни и полки, снабдил их ружьями и мечами» (Ч. 1. С. 112), а Н. М. Карамзин упоминал о преобразованиях Дашковича, относя это к 1515 г. Возможно, речь шла об одном и том же историческом лице, и эту неувязку Гоголь заметил и пытался обойти, предложив иную формулировку. Гетман (укр. гетьман) — см. ниже, примеч. 85.

Полк как войсковая и административно-территориальная единица на Украине в XVI—XVII веках именовался по названию города, где находилась войсковая старши́на во главе с полковником, которого козаки «вольными голосами» сообща выбирали «из заслуженных товарищей» (*ИР*, 15). В козацком полку было от 7 до 20 сотен под командованием сотников (см. примеч. 24 к повести «Вий»), сотня делилась на десятки во главе с десятниками.

По росписи административных чинов Козачества, «Полковники занимали первые места после генеральных старшин <...> Им были подчинены все военные, полицейские и земские дела, равно полковая артиллерия. Каждый из них председательствовал в своей полковой канцелярии <...> Полковой старшина и сотники... находились в непосредственном их начальстве <...> При Богдане Хмельницком они пользовались доходами с мельниц... потом владели ранговыми деревнями, состоявшими в некоторых полках из нескольких тысяч душ. Доходы их были столь значительны, что даже генеральные старшины переходили в полковники» (*ИМР*. Ч. 3. С. 221).

Обитатели порогов — запорожцы.

[24] *Комиссары* — здесь: польские сборщики налогов.

[25] *Старшины* — здесь: выборные должностные лица гражданского населения — например, старосты и подстаросты. Далее в «Миргороде» упоминается только войсковая старши́на Козачества: атаманы, есаулы, сотники, писари и др.

[26] *Партизан* — «начальник легкого, летучего отряда, вредящего противнику внезапными покушеньями с тылу, с боков» (*Словарь Даля*, III, 19).

[27] *Жизнь вел он самую простую, и его нельзя бы было вовсе отличить от рядового козака, если бы лицо его не сохраняло какой-то повелительно-*

сти и даже величия... — Вероятно, Гоголь отчасти наделил своего героя чертами Д. П. Трощинского (1754—1829), потомка старинного козацкого рода, выпускника Киевской Духовной академии, екатерининского вельможи, министра уделов, а затем юстиции при Александре I, предводителя миргородского дворянства. Этот дальний родственник, покровитель и сосед по имению Гоголей-Яновских поражал воображение будущего писателя своей незаурядной личностью и карьерным «взлетом» от армейского писаря до министра.

[28] *...асаулу, которого называл Товкачом...* — Есаул (асаул, от тюрк. ясаул — начальник; по Далю — помощник; по Фасмеру — распорядитель, исполнитель повелений) — выборная административно-войсковая должность и чин в козацких войсках с 1576 г. (были есаулы генеральные, полковые и сотенные); распространенное название «старшего помощника военачальника, адъютанта» (*Словарь Даля*, I, 522). Товкач (от укр. товкти — толочь) — самый большой деревянный пест. В черновике есаул назван Довбешкой (от укр. довбать — долбить; сильно бить, ударять; так же образовано слово «довбиш». — См. ниже, примеч. 79).

[29] *Курень* — здесь и далее: «отделение военного стана запорожцев» («Малороссийские слова»), а также его расположение или жилище (по Гоголю — землянка). Изначально жителями одного куреня, видимо, была группа земляков, которые выбирали себе куренного атамана, ведающего хозяйством и всеми внутренними делами. По Измайлову, «курень состоял из нескольких домов, вместе построенных и подчиненных одному куренному Атаману», что «пребывал под властию Кошевого Атамана и повелевал... в своем курене или слободе, как тот во всем обществе»; всего в Сече было 38 куреней (*Измайлов*, 15, 20).

[30] *...как степная чайка, вилась над детьми своими.* — Обычно в народной песне «скорбь матери передается образом чайки... или степной перепелки...» (*Карпенко*, 203). Так, песня «Ой, біда, біда мні, чайці-небозі», ставшая народной, чье авторство обычно приписывают Ивану Мазепе и реже — Богдану Хмельницкому, рассказывает о том, как степная чайка (или чибис) свила гнездо у торной дороги и вывела птенчиков, но пришли жнецы (либо тем шляхом ехали чумаки) и забрали «чаеняток», сварили в котле. Эта песня «аллегорически представляла Малороссию как птицу, свившую гнездо свое близь дорог, окружавших ее со всех сторон», и была любимой украинской песней Д. П. Трощинского; ее «прекрасная музыка... а более еще значение слов... до того были трогательны», что, слушая ее, он «часто закрывал лицо свое рукою и проливал слезы» (*Капнист-Скалон*, 364). Указание Гоголя на эту песню позволяет видеть в образе козацкой матери черты самой матери-Украины.

[31] *Очкур* — «шнурок, которым стягиваются шаровары» («Малороссийские слова»).

[32] *Козакин* (казакин) — военный короткий кафтан на крючках с мелкими сборками у талии сзади и невысоким стоячим воротником.

[33] *...узорчатым поясом...* — Длинный шелковый или шерстяной, затканный серебром или золотом пояс являлся на Украине одним из предметов щегольства. Были пояса зимние и летние, для праздников и погребальных обрядов и др. Большей частью это были пояса польского и восточного изготовления (турецкие, персидские, китайские), которые в отличие от дешевых и повседневных поясов местного производства

стоили очень дорого. Такие роскошные пояса нередко завещались в церковь и шли на священническое облачение (*Виноградов 2009*, 624—625).

[34] *Молитва материнская и на воде и на земле спасает.* — Ср.: «...много бо может моление Матернее ко благосердию Владыки...» (песнь ко Пресвятой Богородице, исполняемая в церкви на шестом часе).

[35] *Смутно* (укр.) — грустно, печально.

[36] *...перед ним проходила его молодость, его лета, его протекшие лета, о которых всегда почти плачет козак, желавший бы, чтобы вся жизнь его была молодость.* — Реминисценция украинской песни «Летыть орел по над морем...», выписанной Гоголем из рукописного собрания З. Доленго-Ходаковского (об этом см. преамбулу примеч. к статье о малороссийских песнях, а также ниже, примеч. 71):

Летыть орел по над морем
По высокой высокости.
Плаче козак старесенький
По своей молодости:
Ой, лита ж мои молодые,
А де ся вы подилы?
Чи вы в луги, чи в буйраки,
Причь вид мене полынулы?

(*Памяти Жуковского и Гоголя*. С. 154).

Такие песни исполнял запорожец в вертепе, считая себя «бездомным рыцарем, по котором ни одна живая душа не заплачет. Теперь он уже устарел, сила покинула его <...> Он не боится смерти; ему жаль только, что некому будет схоронить его тело в степи» (*Перетц 1895*, 143).

[37] *Монастырский служка* — послушник, собирающийся стать монахом и прислуживающий в монастыре.

[38] *...это говорил тот же самый Тарас Бульба, который бранил всю ученость...* — Образ козацкого полковника, который «бранил всю ученость», но отправлял сыновей в академию «выучиться всем наукам», создавался Гоголем в соответствии с данной им ранее в статье «Взгляд на составление Малороссии» характеристикой украинского народа в целом, у которого «стремление к развитию и усовершенствованию» сочеталось с «желанием казаться пренебрегающим всякое совершенствование». В то же время в реплике Тараса, осуждающего современную ему «науку» («тогдашний род ученья»), есть определенный исторический подтекст. При известном господствующем влиянии в духовных училищах Южной России в XVI и XVII веках католической «школьной» схоластики (которую Тарас называет презрительно «философией», а рассказчик — оторванными от жизненного опыта и современности «схоластическими, грамматическими, риторическими и логическими тонкостями») пренебрежение Бульбы к школьной выучке его сыновей указывает на понимание относительной ценности подобных «тонкостей», а не на недостаток «образованности», — и прямо связано с общим противокатолическим замыслом повести. Напомним шуточную «присказку»

в предисловии к первой книжке «Вечеров на хуторе близ Диканьки» о школяре-«латыньщике», который, по словам рассказчика, выучился «у какого-то дьяка грамоте» и начал «сворачивать» все слова «на *ус*», «позабыл даже наш язык православный». В 1836 г. Гоголь, продолжая начатые в «Тарасе Бульбе» размышления о «раздоре теории с практикою» (характерном, по его наблюдениям, и для других порождений западной схоластики — всевозможных «психологических», «нравственных» и «философских» трактатов XVIII—начала XIX в.), писал в рецензии на книгу Е. И. Ольдекопа «Картины мира, или Полезное и приятное чтение для юношества» (СПб., 1836), что, несмотря на интерес к таким сочинениям, «нравственность» читателей их была «не очень чиста» (VIII, 204). Это размышление перекликается со строками известного Гоголю «Курса всеобщей истории» Е. Ф. Зябловского о связи «постыдного поведения Римского духовенства» с «господством Схоластиков»: «...Великие сокровища отсылались в Рим, для удовлетворения любочестия и пышности тамошнего двора, для удовлетворения срамных прихотей <...> Папы при каждом случае старались прикрывать наглые свои поступки благочестием Христианским. <...> Господство Схоластиков служило не малою подпорою сему заблуждению. (Схоластиками в сих веках назывались те, которые в школах и монастырях занимались только Богословиею, состоящею в одних спорных тонкостях или зараженною бреднями Арабского Перипатетизма)» (Курс Всеобщей Истории, читанный на публичных лекциях, учрежденных при Санкт-Петербургском Педагогическом Институте для чиновников, обязанных Гражданскою службою, оного Института Профессором, Евдокимом Зябловским. Часть третья, содержащая Новую Историю. СПб., 1812. С. 4—5). Главную вину за равнодушное отношение к вере и нравственности Гоголь в статье «О преподавании всеобщей истории» возлагал на схоластику: «Слог профессора должен быть увлекательный, огненный. Он должен в высочайшей степени овладеть вниманием слушателей. Если хоть один из них может предаться во время лекции посторонним мыслям, то вся вина падает на профессора <...> Что же тогда, когда профессор еще сверх того облечен школьною методою, схоластическими мертвыми правилами <...> тогда самые священные слова в устах его, как то: преданность к Религии и привязанность к Отечеству и Государю, превращаются для них в мнения ничтожные» (*Ар.*, 31—32). Во втором томе «Мертвых душ», описывая учебное заведение, в котором обучался Андрей Иванович Тентетников, Гоголь также будет указывать на падение нравственности и утрату «уважения к начальству и власти» среди учеников как следствие схоластического подхода в преподавании наук и в образовании в целом. Очевидно, что образ Андрия, который, слушая схоластические «философские диспуты», предавался тогда же мечтам о женщине, создавался в прямом соответствии с этими размышлениями (*Виноградов 2009*, 625—627).

[39] *Схоластические* — здесь: безжизненно-педантические (от названия средневековой идеалистической философии схоластики, основанной на католических догматах).

[40] *Бублик* — «круглый крендель, баранок» («Малороссийские слова»). Герои-бурсаки постоянно думают о еде, и особо привлекательны для них хлебные изделия, что соотносится по смыслу со вторым эпиграфом к циклу: «Хотя в Миргороде пекутся бублики из черного теста, но довольно вкусны». Сам Гоголь, несомненно, воспоминал

торговок-«пирожниц», «продавщиц бубликов», привлекавших своим товаром учащихся Нежинской гимназии, которую студенты считали «бурсой» и «монастырем» (тем более что мужской монастырь можно было видеть из окон гимназии).

[41] *Консул* — здесь: старший из бурсаков, в чьих обязанностях было и наблюдать за поведением товарищей (от названия высшей административной должности в Древнем Риме).

[42] *...воевода, Адам Кисель...* — Кисель Адам Григорьевич (1580—1653), украинский магнат, последний православный сенатор Речи Посполитой; воевода Киева в 1649—1652 годах (последний, кто был назначен от польской короны). Происходил из старинного шляхетского рода, служившего Речи Посполитой; воевал с турками, русскими и шведами; представлял интересы польского правительства во время козацких восстаний 1630-х годов, и затем, во время Хмельнитчины, на него были возложены переговоры и примирение с восставшими. Шляхтич Кисель не раз просил со слезами Богдана Хмельницкого, чтобы тот отступился от черни: «Пусть воюют козаки, а хлопы работают на панов». В результате воеводой остались недовольны обе стороны: козаки упрекали в том, что «его украинские кости поросли ляшским мясом», а поляки считали его шпионом Хмельницкого — «предателем, гадюкой, холопом и русином». Спасая жизнь, он в 1652 г. бежал в Польшу. После его смерти в Киеве были только российские воеводы.

[43] *Ликтор* — здесь: помощник консула в бурсе, которому поручалось наказание провинившихся товарищей (от названия почетной стражи консулов в Древнем Риме, которая имела право носить перетянутые шнуром или ремнями пучки прутьев, символизировавшие силу и власть; позднее в геральдике эти ликторские пучки — фасции — стали символизировать государственное и национальное единство, защиту государственности).

[44] *Философические диспуты* — здесь: устраивавшиеся по субботам доклады на латинском языке двух учеников, представлявших противоположные взгляды на тот или иной философский (как правило, богословский) вопрос и состязательно доказывавших правоту своего взгляда при поддержке сторонников.

[45] *Колымага* — здесь: старинная громоздкая карета.

[46] *Ковенский воевода* — правитель воеводства (области) с центром в Ковно (ныне г. Каунас).

[47] *...прозрачную шемизетку с фестонами...* — Шемизетка (от фр. chemisette — кофта, блузка) — здесь: накидка. Фестоны (от фр. feston) — зубчатая кайма отделки.

[48] *Чернецы* — так называли простых монахов по цвету их рясы.

[49] *Люлька* — «трубка» («Малороссийские слова»).

[50] *Новороссия* — имеется в виду южная степная часть Европейской России, примыкающая к Черному морю и вошедшая в состав Российской империи в результате многолетних войн с Турцией. Во времена Гоголя названием Новороссия обычно объединяли Бессарабию, Херсонскую, Екатеринославскую, Таврическую губернии и землю Войска Донского.

[51] *...волошки... дрок...* — Волошки — здесь: васильки. Дрок — степной кустарник с желтыми цветами. «Дрок. Когда бешеная собака укусит», — записано на

первом листе гоголевского гербария (Государственный Исторический музей. Фонд 446. Ед. хр. 42).

[52] *Баклажка* — уменьш. от «баклага» — «род плоского бочонка» («Малороссийские слова»); стянутая обручами или долбленая деревянная фляга для воды и вина.

[53] *Корж* — «сухая лепешка из пшеничной муки, часто с салом» (Там же).

[54] *Амбра* — здесь: чудесный аромат, благоухание.

[55] *Оврашки* (укр. ховрашки) — суслики.

[56] *Кулиш* (кулеш) — жидкая каша с салом.

[57] *Светящиеся черви* — светлячки.

[58] *...попробуйте догнать татарина! ...вовеки не поймаете: у него конь быстрее моего Черта.* — По свидетельству Боплана, крымские татары «весьма храбры и проворны на конях, хотя и плохо сидят на оных, подгибая колена от коротких стремян: конный татарин похож на обезьяну, сидящую на гончей собаке»; в поход он берет двух коней, и затем, при опасности, «несясь во весь опор... перескакивает с усталого коня на заводного и легко избегает преследования неприятелей», так как выносливые кони могут «проскакать без отдыха 20 или 30 миль» (*Боплан*, 43—44). Гоголь при чтении этого места записал: «И такой легкий, как птица: как только увидит заводского коня, так на него разом и перескочит, а его конь всё бежит сбоку, так что <потом> он опять на его перескочит...» (IX, 82). Козаки успешно переняли этот опыт: как показано далее, отряд Тараса спасают от преследования поляков «одни только татарские кони, которых он имел обычай держать целый табун при своем войске...».

[59] *Это было то место Днепра, где он, дотоле спертый порогами... шумел, как море <...> у берегов острова Хортицы, где была тогда Сеча, так часто переменявшая свое жилище.* — Об этом месте упомянуто в гоголевской исторической заметке начала 1830-х годов «Описание греческого пути» (то есть пути «из варяг в греки»): «Проехав... пороги, они приходили к Крарийскому перевозу... месту широкому Днепра и глубокому, как только можно завидеть глазами пущенную стрелу <...> Сюда обыкновенно приходили печенеги делать нападения на русские суда. Потом приезжали к Ост<рову> св. Георгия, где у весьма великого дуба приносили на жертву живых птиц» (IX, 48—49). Боплан описал это место с чужих слов: «...остров Хортицы очень высок, почти со всех сторон окружен утесами <...> Он не подвержен наводнениям и покрыт дубовым лесом», — а переводчик счел нужным дополнить: «Остров сей известен у Константина Багрянородного под именем острова Св. Григория (правильно: Св. Георгия. — *В. Д.*). Там древние Руссы, переплыв благополучно пороги и отразив неприятелей, приносили жертвы; там в начале XVI столетия запорожцы имели Сечь свою, оставили ее, в 1620 году возобновили и вскоре вновь покинули» (*Боплан*, 24—25, 150—151). Руссы (россы) — племя норманнов (варягов), откуда призвали на княжение Рюрика с дружиной (*ИГР*. Т. I. С. 57).

Хортица (Хортыще, от укр. хорт — борзая собака) — скалистый остров на Днепре напротив г. Александровска (ныне г. Запорожье). В повести Гоголя «Иван Федорович Шпонька и его тетушка» (1832) есть село Хортыще. Острова Хортица и Чертомлык — самые известные места, где располагалась Запорожская Сечь. За 250 лет существования она переменила несколько мест в нижнем течении Дне-

пра, всегда располагаясь вблизи удобной переправы, чтобы препятствовать набегам крымских татар на Правобережную Украину. «Считают 8 таких мест, на коих Сечь в разные времена находилась» (*Миллер*, 2). Каждая новая Сечь сменяла прежнюю и существовала от 5 до 40 лет.

[60] *Крамари под ятками...* — мелочные торговцы в палатках. Ятка — «род палатки или шатра» («Малороссийские слова»).

[61] *...на рожнах бараньи катки́...* — На вертелах куски баранины.

[62] *Жид... точил из бочки горелку.* — В журнале «Основа» из-за недоумения читателей по поводу употребления слова «жид» в историческом контексте редакция сочла нужным пояснить: «Слово *жид*, родственное латинскому *Juda eus*, немецкому и французскому *Jude* и *Juif* и польскому *Zyd*, ни по словопроизводству, ни по смыслу своему, ни по значению иудейского племени в ряду прочих племен, нисколько не уступает названиям *Еврей* и *Израильтянин*. Имя *Жида*, т. е. Иудея, только позднейшее (появилось не за тысячи — как другие два, — а за сто лет до Р.Х.), но значение его одно и то же со значением Израильтянина и Еврея <...> Малороссы стали называть издавна и теперь называют Евреев *жидами* не в презрительном, бранном, оскорбительном смысле, а точно так же, как Великороссиян называли и называют Москалями, Поляков — Ляхами; что другого слова, для названия еврейского племени, они почти и не знают. Слово это пришло в Южную Русь, вместе с еврейским населением, из Польши, где и до сих пор служит народным названием не только у Поляков, но и у *самих Евреев* <...> Ученый, занимающийся изучением старой украинской жизни, также не может избежать слова жид, потому что вся старая южно-русская письменность только и знала это слово для обозначения еврейского племени, и всякое, приведенное в подлиннике место акта, летописи, думы, песни, касающееся Евреев, будет содержать это слово» (Основа. 1861. № 5. С. 137—138; курсив редакции).

Точить — здесь: медленно лить, цедить. Образ «целовальника жида» восходит у Гоголя к «народной повести» Ф. Н. Глинки «Лука да Марья» (СПб., 1818): «...не гадали добрые люди и не думали, вдруг приехал из Польши некрещеный жид Янкель <...> Напрасно приходской поп, отец Поликарп, говорил поселянам и наказывал: „Эй, миряне, миряне! Не ходите к жиду некрещеному, не губите в вине православных душ". Крестьяне липли к кабаку, как мухи к сметане <...> Год прошел, кажись, немного, а село Хлебородово уже обесхлебело, а ухлебился один целовальник жид!» (отмечено: *Комментарии* СС. Т. 1/2. С. 477—478).

[63] *Пол-аршина* — русская мера длины, чуть больше 35 см (в аршине 71,1 см).

[64] *...предместие... которое одевало и кормило Сечь...* — В конце гоголевской статьи «Взгляд на составление Малороссии» говорилось о появлении ряда подобных Сечи козацких укреплений: «Наконец целые деревни и села начали поселяться с домами и семействами около этого грозного оплота, чтобы пользоваться его защитою, с условием за то некоторых повинностей». По смыслу это соотносится с записью «О городах», сделанной Гоголем при чтении *ИГР*: «Дружины князей были причиною и зиждителем городов <...> Такое множество воинов, бездействующих и праздных людей, не прилагавших труда, должны были собрать вокруг себя трудящийся класс, доставлявший бы им все нужное» (IX, 61).

[65] *Засека* — оборонительное заграждение из деревьев, подрубленных на высоте 1,5—2 м и поваленных вершинами в сторону неприятеля; применялось в Древней Руси с XIII в.

[66] *Верста* — русская мера длины; с конца XVIII в. была приравнена к 1 км, или 500 саженям.

[67] *Рада* — «совет» («Малороссийские слова»); здесь: собрание всех козаков и старшин. Сечевая Рада была высшим административным, законодательным и судебным органом. На ней сообща обсуждались важнейшие вопросы жизни войска: о походах на неприятеля или о мире, о наказании важных преступников, о разделе земель и угодий, о выборе кошевого атамана и старшин... Рада могла быть созвана в любое время по желанию большинства козаков, но обязательно проходила 1 января (начало нового года), на Покров (храмовый праздник Сечи) и на второй или третий день Пасхи. Решения Рады были обязательны к исполнению для каждого.

В. Измайлов идеализировал Раду в руссоистском духе как народное собрание: «Советы их, под именем Рады, были самые торжественные и примечательные. Все Запорожцы собирались на открытом поле, чтобы судить единогласно о внутренних и внешних делах своих, придумывать лучшие средства и трудиться общим умом над решением важных вопросов о благосостоянии общества. Старцы приносили свою опытность, благоразумие и суждение тихое, медленное, беспристрастное; мужи в постоянных летах — зрелость ума и умеренность страстей; юноши — доброе и неиспорченное сердце, горячее воображение и живые страсти. Люди в зрелых летах оживляли советы пожилых, извлекая из сердца доказательства тех истин, которые в устах старцев казались одним следствием строгого рассудка; молодые, следуя первым движениям души, подавали в свою очередь прекрасные советы <...> Таким образом, все возрасты жизни и все состояния людей менялись взаимно выгодами природы, преимуществами общества и способностями разума» (*Измайлов*, 16—17).

[68] *Фома* — имя Фома (др.-евр. ‘близнец’) здесь может ассоциироваться с «Фомой неверным (от имени апостола) — то есть человеком недоверчивым, склонным к сомнению; простоватым, плохим, вялым» (*Словарь Даля*, IV, 683).

[69] *Козачок* («alla Cosacca») — малороссийский быстрый танец, размер 2/4; наиболее вероятно его происхождение от боевых переплясов козаков.

[70] *... в Толопане... под Кизикирменом...* — Толопан — селение на черноморском побережье Турции. Кизикирмен (по названию укрепления Кызы-кермен — Девичья крепость) — основанный в 1450 г. городок в устье Днепра, который турки в этом месте перегораживали цепями, чтобы не дать козацким лодкам-чайкам выйти в Черное море.

[71] *Это было какое-то беспрерывное пиршество <...> большая часть гуляла с утра до вечера, если в карманах звучала возможность и добытое добро не перешло еще в руки торгашей и шинкарей.* — Реминисценция украинской народной песни «Летыть орел по над морем...» из рукописного собрания З. Доленго-Ходаковского (см. о ней также выше, примеч. 36):

Козачукая добыченька
Марно (напрасно) пропадае,

Тыждень (неделю) козак здобувае,
За един день пропивае.

(*Памяти Жуковского и Гоголя*. С. 154).

Шинкарь — содержатель шинка, кабака.

[72] *Червонец* (червонный, от пол. czerwony — красный, золотой) — здесь и далее в повести: название иностранных монет из высокопробного золота.

[73] *...Цицерон и Римская республика.* — Цицерон Марк Тулий (106—43 до н. э.) — политический деятель Древнего Рима, писатель, один из создателей латинского литературного языка; известен как великий оратор, чье имя стало нарицательным. Римская республика — аристократическая рабовладельческая республика, существовавшая в V—середине I в. до н. э.

[74] *...дукатов и реалов...* — название старинных золотых монет, венецианских и испанских. Позднее на Украине дукатом стали называть и «червонец — трехрублевую золотую монету» («Малороссийские слова»).

[75] *...даже в предместье Сечи не смела показаться ни одна женщина.* — По традиции, тому, кто привел в Сечь женщину, и ей самой полагалась смертная казнь.

[76] *Кошевой* (от тат. кош — лагерь, стан) — атаман Запорожского войска, избиравшийся Радой обычно сроком на один год.

[77] *Татарва* — здесь: Крымское ханство.

[78] *...и Бог и Священное Писание велит бить бусурменов <...> Вот у меня два сына, молодые люди, — им нужно приучиться и узнать, что такое война...* — Имеется в виду начало 3-й главы Книги Судей Израилевых: «Вот <...> народы, которых оставил Господь, чтобы искушать ими Израильтян, всех, которые не знали о всех войнах Хананских, — для того только, чтобы знали и учились войне последующие роды сынов Израилевых...».

[79] *Довбиш* — «литаврщик» («Малороссийские слова»).

[80] *Панове добродийство* — господа благородные, от «добро́дию — сударь, милостивец» (Там же).

[81] *...и веры неймет.* — В «Книге всякой всячины» записано: «Віры не нять (не верить)» (раздел «Пословицы, поговорки, приговорки и фразы малороссийские»).

[82] *Серебряная ряса* — здесь: риза, оклад для иконы.

[83] *Анатолия* — древнее название Малой Азии; здесь имеется в виду ее черноморское побережье.

[84] *Скарбница* — кладовая, казнохранилище; здесь: потайное хранилище. По сообщению Боплана, Войсковую Скарбницу запорожцы хранили на болотистых островах в местах, где сливается с Днепром река Чертомлык (*Боплан*, 26—27).

[85] *Гетманщина* — здесь: Киевское и Черниговское воеводства, управлявшиеся гетманом, которого назначал польский король. В сборнике М. А. Максимовича указано: «Гетьманщиною называлась Украйна от своих вождей, кои именовались гетьманами, по примеру вождей литовских, называвшихся гетманами... или гедиманами, вероятно по имени славного Гедимина <...> На время отлучки гетьмана из резиденции

поставлялся в Украйне наказный гетьман; а в отсутствии с поля битвы, власть его принимал гетьман напольный» (*Максимович 1834*, 20).

Гетман (укр. гетьман, пол. hetman от нем. Häuptmann — капитан) — с начала XVI в. главнокомандующий и военный министр в Польше и Великом княжестве Литовском. Предводители козацкого войска стали называться гетманами после Люблинской унии 1569 г., объединившей в Речь Посполиту Великое княжество Литовское (с Малороссией в его составе) и Польское королевство. Согласно «Истории Русов», тогда же были «учреждены в трех оных нациях три равные Гетмана» («коронным» именовался польский), что «выбираемы были из рыцарства вольными голосами и утверждаемы королем и Сенатом; а Сенат составлялся из особ, выбранных Сеймом, или общим собранием, которое составляли депутаты, посылаемые от народа, состоявшего тогда из трех классов: шляхетства, духовенства и посполыства» (*ИР*, 7). Но официальный титул гетмана был дан польским правительством только в 1648 г. Богдану Хмельницкому. Согласно росписи административных чинов Козачества, «Гетман, главный вождь народа, верховный судья и военачальник, именовался, по примеру польских гетманов, ясновельможным»; сначала козаки «выбирали в это достоинство вольными голосами. Общая любовь, уважение и заслуги возводили на степень, с которой часто низвергала крамола. Впоследствии свободное избрание соблюдалось для одной только формы... Доходы гетманские состояли первоначально в одном старостве Чигиринском, потом Гадячском, но под конец умножились свыше ста тысяч рублей. После гетмана следовали старшины генеральные, именуемые вельможными панами» (*ИМР*. Ч. 3. С. 220).

[86] *Клейтух* — пыж из пакли, при помощи которого забивали пулю в дуло ружья.

[87] *...жиды уже взяли церкви святые, как шинки на аренды?* — Сведения об аренде церквей евреями на Украине Гоголь почерпнул из источников, имевших в его время хождение в рукописях: «История Русов» («Церкви не соглашавшихся на Унию прихожан отданы жидам в аренду и положена за всякую в них отправу денежная плата...» — *ИР*, 40; см. также с. 41, 48—49, 56), козацкие летописи Самовидца, Грабянки и др. (см.: *Самовидец*, 5 и далее; Действия презельной и от начала поляков крвавшой небывалой брани Богдана Хмельницкого... *Г. Грабянки*. С. 30), — а также из украинских дум (например: Дума о жидовских откупах и о войне из-за них // *Кулиш П. А.* Записки о Южной Руси. СПб., 1856. Т. 1. С. 56—63). В 1856 г. Н. И. Костомаров указал на три польских источника, свидетельствующих об аренде евреями церквей на Украине в эпоху Богдана Хмельницкого. В нравоучительной брошюре «Fawor Niebiesky Lublinu okasany», написанной в 1648 г. по поводу спасения города Люблина от войск Хмельницкого, католический священник упрекает своих единоверцев-поляков, что «увлекаемые непомерною роскошью, распространившеюся во всей Польше, паны утесняют бедных подданных, продают их в работы жидам, отдавая им в аренды имения, а в Украине не дозволяют вступать в брак и крестить младенцев, не заплатив жиду особого налога» (цит. по изд.: *Костомаров*, 252). Непосредственный участник войны поляков с козаками Богдана Хмельницкого граф С. Грондский в своей «Истории козацко-польской войны» (1789) также указывал на зависимость церковных обрядов на Украине от евреев-арендаторов: «Когда у русского крестьянина рождалось дитя, он не мог крестить его, не заплатя жиду-арендатору так

называемого дудка (dudek); если он женил сына или отдавал дочь, должен был прежде заплатить подобный дудок» (*Grondski S.* Historia cosacco-polonici. Patzko, 1789. С. 32; цит. по изд.: *Костомаров*, 252; дудек — старинная польская монета; ее название встречается и в украинских народных пословицах, сохранивших память об аренде церквей: «Виграв, як дудек (дудку) на костелі»; «Виграв, як Шлема на оренді»). В издании К. Войцицкого «Pamiêtniki do panowania Zygmunta III, Władysława IV, Jana Kazimiera» (Варшава, 1846. Т. 1) была напечатана еще одна польская летопись XVII в., где среди причин козацких восстаний указывалось и на то, что польские владельцы украинских имений, «допустив к себе жидов, отдавали им все в аренды ради прибытка, и в том числе церкви, от которых жиды держали у себя ключи и всякий, кто имел надобность совершать брак или крещение, должен был платить жиду-арендатору» (цит. по изд.: *Костомаров*, 251). Возможно, какие-то из польских летописей были известны и Гоголю.

В 1895 г. П. А. Кулиш, не упоминая прямо о «Тарасе Бульбе», поставил под сомнение факт аренды евреями церквей на Украине. Основанием явилось то, что, по словам критика, «разнообразная переписка между лицами различных званий, партий и вероисповеданий, сохранившаяся за все время от казни Сулимы до бунта Хмельницкого, не заключает в себе даже и намека на подобные сцены» (*Кулиш П. А.* Украинские казаки и паны в двадцатилетие перед бунтом Богдана Хмельницкого // Русское Обозрение. 1895. № 5. С. 199). Позицию Кулиша относительно аренды церквей на Украине поддержал М. И. Кулишер (*Кулишер М.* Прошлое и настоящее // Книжки Восхода. 1900. № 2. С. 60), в 1902 г. к этому мнению присоединился И. М. Каманин, хотя он и не исключил «возможность» того, что «когда-то и где-нибудь» факт аренды церкви евреем «имел место» (*Каманин*, 107). В 1909 г. со статьей «Арендовали ли евреи церкви на Украине?» (отд. изд.: Киев, 1909) выступил И. В. Галант, которого в целом поддержал «директор центрального архива при Киевском университете» И. М. Каманин, подчеркнув, однако, еще раз, что «нельзя отрицать, чтобы факт аренды церкви, поразивший умы современников, не имел когда-либо места» (Письмо И. М. Каманина // *Галант*, 4). В 1911 г. к однозначно отрицательному мнению П. А. Кулиша, М. И. Кулишера, И. В. Галанта по вопросу об аренде евреями церквей присоединился И. Я. Франко (*Франко І.* Студії над українськими народними піснями // Записки Наукового товариства ім. Шевченка. 1911. Т. 106. Кн. 6. С. 53—76). Противоположное мнение Н. М. Костомарова по этому вопросу разделяли во второй половине XIX—начале XX в. В. Б. Антонович, М. П. Драгоманов (Исторические песни малорусского народа с объяснениями Вл. Антоновича и М. Драгоманова. Киев, 1875. Т. 2. С. 30—31), А. Я. Ефименко (*Ефименко А.* Бедствия евреев в южной Руси XVII в. // Киевская Старина. 1890. № 4. С. 401—403), а также Д. И. Эварницкий, С. М. Соловьев, Д. И. Иловайский и др. В начале XXI в. к этому мнению Н. И. Костомарова и других присоединился А. И. Солженицын (*Солженицын А. И.* Двести лет вместе. М., 2001. С. 67).

Вместе с тем нельзя не заметить ошибки в весьма авторитетном суждении по рассматриваемому вопросу И. М. Каманина. Справедливо указывая, что «при отдаче в аренду имения владельцем и церковь переходила в арендное владение» (по польскому праву, церкви считались собственностью владельцев), он утверждал, что

«в XVII и XVIII вв. евреи никогда не были арендаторами имений, а только доходных статей в имении» (*Каманин*, 106). Это же исследователь подчеркнул и в письме к И. В. Галанту: «...Я не встретил ни одного факта аренды евреями даже панских имений <...> евреи арендовали только шинки, мельницы и тому подобные доходные статьи в имениях» (Письмо И. М. Каманина // *Галант*, 3). Эту мысль дважды повторил И. В. Галант, добавив в 1914 г., что «еще в 1565 г. евреи вообще теряют право владения имениями» (Там же. С. 10). Между тем, как указал еще в 1889 г. С. А. Бершадский, «начало занятия евреев арендами шляхетских имений» относится именно «к концу XVI в.», когда «сотни и тысячи» евреев получают на откуп у князей и других магнатов «города и местечки с целыми округами, вступая во все права, принадлежащие помещику» (*Бершадский С. А.* Еврей король польский // Восход. 1889. № 5. С. 103, 109). Это замечание исследователя подтверждается целым рядом документов, опубликованных ко времени начала полемики по вопросу об аренде евреями церквей. Документы свидетельствуют об аренде евреями в конце XVI—XVII в. целых имений — городов, сел, местечек — с правом суда над крестьянами вплоть до смертной казни (см.: *Памятники*, 66—82, 83—95; Архив Югозападной России. Киев, 1876. Ч. 6. Т. 1. С. 217—221, 233—239, 263—270, 340—345; Регасты и надписи. Свод материалов для истории евреев в России. (80 г.—1800 г.). СПб., 1899. Т. 1. С. 350—351, 369—370, 382, 470—471; *Иловайский Д.* История России при первой династии. М., 1894. Т. 4. Вып. 2. С. 297, 365—370). О том, что «православный народ» на Украине «обратился в крепостных слуг поляков и даже — особо скажем — у евреев», которые «стали там повсеместно управляющими и хозяевами», арендуя у панов целые города (что и явилось впоследствии «причиною страшного бедствия» — массового избиения евреев в эпоху Богдана Хмельницкого), свидетельствует и еврейский хронист XVII в. Н. Ганновер, сочинение которого «Jawen mezulah» («Пучина бездонная») было издано впервые в Венеции в 1653 г. (цит. по изд.: *Боровой С. Я.* Национально-освободительная война украинского народа против польского владычества и еврейское население Украины // Исторические записки. 1940. № 9. С. 103—104, 120; фрагменты из хроники Н. Ганновера по переводу С. Манделькерна, изданному в 1878 г. в Одессе и переизданному в 1883 г. в Лейпциге, приведены в изд.: *Костомаров Н.* Богдан Хмельницкий. Историческая монография. 4-е изд., испр. и доп. СПб., 1884. Т. 3. С. 283—306).

Отзвуки полемики об аренде евреями церквей на Украине до сих пор встречаются в исторической и гоголеведческой литературе (*Виноградов 2009*, 634—637).

88 *...христианину и пасхи не можно есть, покамест... жид не положит значка нечистою своею рукою...* — «История Русов» сообщала: «В знатнейших городах <...> отдан сбор... пасочный также в аренду или откуп жидам <...> у таковых хозяев, кои сами пекли пасочные хлебы, досматривали жиды и ценили при церквах на их освящении, намечая все хлебы <...> мелом или углем, чтобы они от дани не ускользнули» (*ИР*, 48—49; см. также примеч. 3 к <Главам исторической повести>).

89 *Таратайка* — легкая повозка, в которую обычно запрягали одну лошадь.

90 *...гетман, зажаренный в медном быке... в Варшаве.* — По преданию, так был казнен руководитель козацко-крестьянского восстания 1594—1596 годов гетман Северин Наливайко, выданный полякам козацкой верхушкой.

[91] *Шлема... Шмуль* — Шлема (Шлойме), уменьш. от Соломон (др.-евр. — 'мирный'); Шмуль — уменьш. от Самуил (др.-евр. — 'услышанный Богом' или 'имя Божие'); это имена ветхозаветных героев — царя-философа и пророка, последнего судии Израиля.

[92] *Яломок* — «жидовская шапочка» («Малороссийские слова»); «шапка сваляная с коровьей шерсти» («Лексикон малороссийский»); ермолка.

[93] *Дорош* — укр. уменьш. от Дорофей (греч. 'дар божий').

[94] *Цехин* — старинная венецианская золотая монета.

[95] *Янкель* — Иаков (Израиль); это имя третьего библейского патриарха, младшего из сыновей-близнецов патриарха Исаака, родившихся после 20 лет его бесплодного брака с женой Ревеккой. История Иакова, почитаемого в иудаизме, христианстве, исламе, изложена в Книге Бытия (гл. 25, 27—50). Имя его означает «следующий по пятам» (он вышел из чрева матери, ухватившись за пяту старшего брата Исава — Быт. 25:26). Бог открыл беременной Ревекке, что она родит близнецов, которым предназначено стать родоначальниками двух народов, причем тем, кто произойдет от старшего из братьев, будут подвластны потомки младшего. Когда сыновья выросли, мать научила своего любимца Иакова, как хитростью получить благословение на первородство от старого слепого отца. Затем, избегая мести брата Исава, Иаков по совету матери удалился в город Харран к своему дяде Лавану и женился там на его дочерях: сначала Лие, а затем Рахили. От них и их служанок Зелфы и Валлы он имел 12 сыновей и дочь Дину — и так стал родоначальником избранного народа Израильского. Возвратившись на родину, он жил в Ханаане, держась со своими стадами становищ Авраама и Исаака. Однажды во время ночного бдения ему явился Бог, с которым Иаков боролся до рассвета, требуя благословить его, и в схватке повредил себе бедро, но Бог остался удовлетворен его рвением, дал ему благословение и новое имя Израиль (др.-евр. 'имеющий власть над силами') — с напутствием: «...ты боролся с Богом, и человеков одолевать будешь» (Быт. 32:27—28). Судьба Иакова круто изменилась, когда он и его семейство переселились к сыну Иосифу в Египет. Там от сыновей произошли 12 колен народа Израильского, судьба каждого из них была пророчески указана в предсмертном благословении Иакова.

История жизни и сама личность Иакова послужили основой для многочисленных произведений литературы и искусства. — См. о лестнице Иакова во вступ. статье на с. 366.

[96] *...для подвигов... которые представляли ему мученический венец по смерти.* — Согласно обещанию Господа: «Не бойся ничего, что тебе надобно будет претерпеть. Вот, диавол будет ввергать из среды вас в темницу, чтобы искусить вас, и будете иметь скорбь дней десять. Будь верен до смерти, и дам тебе венец жизни» (Откр. 2:10), — мученик христианин, победивший врагов своего спасения (соблазны мира и дьявола), будет увенчан, и выражение «мученический венец» определенно указывает на характер христианского подвига.

В Новом Завете впервые слово «венец» применительно к последователям Спасителя употребляет апостол Иаков: «Блажен человек, который переносит искушение, потому что, быв испытан, он получит венец жизни, который обещал Господь любящим Его» (Иак. 1:12). Апостол Павел использует этот символ для обозначения награды,

ожидающей тех, кто в великой битве добра со злом исполнит свой долг до конца: «Подвигом добрым я подвизался, течение совершил, веру сохранил; а теперь готовится мне венец правды, который даст мне Господь, праведный Судия, в день оный; и не только мне, но и всем, возлюбившим явление Его» (2 Тим. 4:7—8). О венце говорит и апостол Петр: «И когда явится Пастыреначальник, вы получите неувядающий венец славы» (1 Пет. 5:4).

97 *Скудельный* — из глины или земли; непрочный, бренный.

98 *Прелат... в Радзивилловском монастыре...* — Прелат — католический епископ, здесь: настоятель монастыря близ селения Радзивиллово на Волыни, известного с XII в. (город с 1870 г.; с 1939 по 1991 г. — Червоноармейск; ныне г. Радивилов Ровенской обл.).

99 *Дубно* — древнейший город на Украине, впервые упомянут в Ипатьевской летописи под названием Дубен в 1099 г. Центр укреплений города — Дубенский замок — считался неприступным; в середине XVII в. его безуспешно осаждали козаки Богдана Хмельницкого.

100 *...играли в чет и нечет...* — Водящий брал горсть орехов (камешков) и спрашивал: «Чет или нечет?» Так же играли на деньги.

101 *Картезианский монах* — монах католического ордена картезианцев; по названию монастыря, основанного в 1084 г. близ Гренобля в местности Шартрез (лат. Cartusia).

102 *Кобеняк* — «род суконного плаща с пришитою сзади видлогою (откидной шапкой из сукна)» («Малороссийские слова»).

103 *Батог* — «кнут» (Там же).

104 *Серафим* (др.-евр. ‘горящий, пламенеющий’) — один из высших ангельских чинов, ангел с шестью крылами.

105 *Гебеновые брови* — атласно-черные (от названия эбенового, «черного», дерева — редкого и дорогого, растущего в тропиках).

106 *...ой вей мир...* (от нем. O, Weh mir!) — О горе мне!

107 *Далибуг* (от пол. dalibog) — «ей-Богу (польское)» («Малороссийские слова»).

108 *Акшамет* (искаж. пол. aksamit) — здесь: верхняя одежда из бархата. «Оксамит, бархат» («Лексикон малороссийский»).

109 *Сыромаха* — питающийся сырым мясом; волк-сыромаха — традиционный эпитет волка в украинском фольклоре.

110 *... присмыкну к обозу.* — То есть «привяжу к телеге в обозе». Выражение взято Гоголем из подлинного документа 1711 г. — послания гетмана Ивана Скоропадского к некому Васылю Салогубу, взявшемуся поставить овец и похитившему данные ему деньги: «...приказали: Тебе, як собаку за шияку взявши и в колоду забывши, присмыкнуты до обозу...» (раздел «Документы» в «Книге всякой всячины»). Шияка (укр. преувелич.) — шея.

111 *Гайда́* (от тат. айда) — подгоняющий окрик «пошли», «вперед» (*Словарь Фасмера*, I, 64).

112 *Скоро будем жалеть, что бросили жен своих.* — Считалось, что женщина забирает у воина его силу, и потому вступающие в ряды запорожцев символически

венчались с «единственной невестой и женой козака» — свободой. Но это не мешало запорожцам заводить подруг, иметь семьи на хуторах-зимовьях вблизи Сечи или в приднепровских селах. Гоголь об этом постоянно «проговаривается» (см. вступ. статью).

[113] *Яр* — здесь: овраг с обрывистыми краями.

[114] *...французский артиллерист и инженер, служивший в польских войсках...* — Вероятнее всего, здесь подразумевается автор «Описания Украйны» Г. де Боплан (о нем см. выше, на с. 448), служивший у поляков в чине старшего капитана артиллерии королевской армии. Известен также француз Марион, начальник в крепости Кодак (Кудак, 1635).

[115] *Капитан-дьявол* — по европейской легенде, это капитан погибавшего судна, который продал душу морскому дьяволу, получив не только избавление от опасностей и свободное плавание при любых обстоятельствах, но и дьявольское бессмертие, всеведение и хитрость; иногда он отождествлялся с капитаном «Летучего голландца».

[116] *Покотом* — вповалку (укр.).

[117] *Это была картина, и нужно было живописцу схватить кисть и рисовать ее.* — Утверждение, подчеркивающее картинность изображаемого за счет якобы недостатка словесных средств у автора, — весьма распространенный литературный прием. В <Главах исторической повести>, изобразив молящихся в церкви козаков, автор замечал: «Это была картина Великого художника, вся полная движения, жизни, действия и между тем неподвижная». Однако в повестях «Миргорода» о современности это утверждение обретает явно пародийный характер. Так, при встрече Ивана Ивановича с Иваном Никифоровичем на «ассамблее у Городничего» рассказчик восклицает: «Это была картина, достойная кисти великого художника!» — как бы перекликаясь со сказанным ранее: «О, если б я был живописец, я бы чудно изобразил всю прелесть ночи!» Причем ирония может быть направлена и на самого художника: вот картина «двора, на котором пестрели индейские голуби... корки арбузов и дынь, местами зелень, местами изломанное колесо, или обруч из бочки, или валявшийся мальчишка в запачканной рубашке, — картина, которую любят живописцы!» — или портреты старосветских помещиков: «Если бы я был живописец и хотел изобразить на полотне Филемона и Бавкиду, я бы никогда не избрал другого оригинала, кроме их <...> Легкие морщины на их лицах были расположены с такою приятностию, что художник верно бы украл их».

[118] *Гужом* — здесь: вереницей.

[119] *...дал повеление сдвинуть обоз в кучу и окружить его несколькими рядами запорожцев. Этот маневр считался совершенством козацкой тактики ~ Тут козаки никогда не были побеждаемы: окружая обоз... они со всех сторон были обращены лицом к неприятелю.* — По утверждению Боплана, «казаки наиболее показывают храбрость и проворство в *таборе*, огороженные телегами <...> Правда, что сотня их в *таборе* не побоится ни тысячи ляхов, ни нескольких тысяч татар» (*Боплан*, 7—8). Козацкий табор — ряд возов, установленных кругом или четырехугольником и скрепленных цепями. Гоголь знал, что подобный маневр возник во времена общеславянского единства, ибо в исторической заметке «О славянах древних. *Из визант<ийских> хроник*» он писал: «Образ войны славян с телегами самый древний.

Когда полководец Петр <...> послал для преследования славян отряд из 1000, он встретил скоро славян, идущих с добычею. Увидавши греков и не видя возможности избежать их, они поставили телеги около себя, жен и детей спрятавши в середину. Конным было сражаться с ними трудно, покамест один грек не вскочил на телегу и начал рубить наступающих неприятелей, и когда пробились сквозь эту ограду, тогда славяне были изрублены» (IX, 38).

120 *Кий* — здесь: древко копья (так Гоголь называет козацкую пику).

121 *Умань* — местечко близ г. Черкассы, один из центров поселения евреев; упоминается с 1616 г.

122 *...молился, накрывшись... саваном...* — Имеется в виду талес — четырехугольное полотнище, по традиции, из белой шерстяной ткани с черными или синими полосами, которым иудеи покрываются во время молитвы, а также обвивают покойника.

123 *Гаман* — «род бумажника, где хранится огниво, кремень, трут, табак, иногда и деньги» («Малороссийские слова»).

124 *Ласун* — лакомка, сластена. «Ласощохлист, сластолюбец» («Лексикон малороссийский»).

125 *Пейсики* — «жидовские локоны» («Малороссийские слова»).

126 *Мардохай* (Мардохей) — это имя упоминается в ветхозаветной Книге Есфири, где описано, как, благодаря Мардохею и его племяннице Есфири, иудеи, рассеянные в Персии и находившиеся под владычеством ахеменидского царя Артаксеркса (вероятно, Артаксеркс I, правил в 485—465 годах до н. э.), были спасены от истребления и отомстили врагам. В память этого события был установлен праздник Пурим (евр. 'жребий'). В новозаветной традиции заступница за народ перед царем, св. праведная Есфирь, предображает (по толкованию святых отцов) Богоматерь.

127 *Соломон* — легендарный царь Израильско-Иудейского царства (965—928 до н. э.), сын царя Давида, по преданию — автор библейских книг «Песнь песней», «Екклесиаст», «Притчи» и др. Его имя стало нарицательным для обозначения мудреца-философа.

128 *...фалды полукафтанья...* — Судя по описанию, немецкий полукафтан: короткополый (в отличие от кафтана), с косым воротником и разрезом сзади.

129 *Левентарь* (искаж. региментарь, от нем. Regiment — полк) — здесь: воинский начальник (охраны, караула).

130 *...что-то похожее на шкаф.* — Так Бульба воспринимает кровать с балдахином. — См. об этом: *Абрамович Семен.* «Такой нехороший народ, что ему надо на самую голову наплевать»? (Польский и еврейский мир в «Тарасе Бульбе») // Гоголеведческие штудии. Вып. 4. Нежин, 1999. С. 39.

131 *В минуту оделся он; вычернил усы, брови... и никто бы из самых близких к нему козаков не мог узнать его.* — Подобное перевоплощение соответствовало «тактике переодевания» запорожцев: они, по преданию, бывало «вырядяться гайдуками та й прокрадуться у ляшську кріпость» (*Карпенко*, 130). Однако, став неузнаваемым для чужих и для своих, Бульба утрачивает и какую-то часть личности: изначально немецкое слово граф (grawion) означало «седовласого» человека, «старейшину семейства» (Гоголь привел эти сведения в статье «О движении народов в конце V века». См.: *Ар.*, 180).

[132] *Меркантильное* — здесь: корыстное, занятое торговлей.

[133] *Гайдук* — легко вооруженный воин, ратник, пехотинец.

[134] *Шнуречки, бляшечки...* — вероятно, воинские знаки отличия «на шнурах шелковых, повешенных через плечо...» (*ИР*, 125).

[135] *Цурка* (от пол. corka — дочь) — «девушка, дочь» («Малороссийские слова»).

[136] *...называл кумом, потому что в праздничный день напивался с ним в одном шинке.* — Кумовьями называются лица, состоящие в *духовном* родстве: крестные отец и мать относительно родителей и родственников своего крестника и между собою.

[137] *Шляхтич* (от пол. szlachta — мелкое дворянство) — мелкопоместный польский дворянин.

[138] *...с коханкою... Юзысею...* — Коханка — «возлюбленная» («Малороссийские слова»). Юзыся — пол. ласк. от Юзефа (женский вариант имени Иосиф — др.-евр. ‘приумножение, прибыль’ — видимо, сохранил библейскую коннотацию «прекрасная»).

[139] *Секира* — здесь: топор на длинной рукояти.

[140] *Колесовать* — подвергнуть смертной казни колесованием: приговоренному переламывали в двух местах крупные кости тела и позвоночник тяжелым железным ломом (или окованным колесом), затем раздробленное тело привязывали на обод колеса лицом к небу так, что пятки сходились с затылком, и поднимали колесо на шест, где преступник медленно умирал в мучениях. Известная с античных времен казнь была широко распространена в Европе в Средние века, применялась до конца XVIII в.

[141] *Балдахин* — здесь: нарядный навес над сиденьем.

[142] *Кунтуш* — «верхнее старинное платье» («Малороссийские слова»); верхняя женская и мужская одежда польского происхождения, обычно из дорогой материи, иногда на меху, с откидными рукавами, шнурами и пуговицами до пояса. Изначально Гоголь считал ее «длинным женским платьем»; в «Книге всякой всячины» (раздел «Одеяния малор<оссиян>») со ссылкой на Академический словарь записано: «*Кунтуш* — старинное название длинной, нарядной верхней женской распашной, летом и зимой носимой одежды, с широкою вокруг опушкою, рукава у нее бывают узкие с шир<оким?> по локоть клапаном», — и здесь же отмечено: «...обыкновенно шьется из тонкого сукна цветов синих и голубых, с парчовыми отворотами на рукавах и воротнике, шалью сделанном, как в обыкновенном халате; спинка кроится; род сюртука; сзади на фалдах вместо пуговиц нашивается род креста золотым галуном (усы)» (IX, 523). В письме к матери от 8 июня 1833 г. Гоголь благодарил ее за присылку кунтуша.

[143] *...выпить эту тяжелую чашу.* — Парафраз слов Иисуса Христа, сказанных ученикам: «И говорит им: чашу Мою будете пить, и крещением, которым Я крещусь, будете креститься...» (Мф. 20:23), — и Отцу в Гефсиманской молитве: «...да минует Меня чаша сия...» (Мф. 26:39).

[144] *...ему увязали руки и ноги в нарочно сделанные станки...* — За упоминанием об этих «станках» возникает образ ремесленника, «нарочно» их изготовившего. В «Лексиконе малороссийском» у Гоголя было записано: «Теслйк, столяр. Теслиці, деревянные клещи, которые надевают на ноги преступникам». На это же, в частности, указывает перекличка между упоминанием о «дьявольски сплетенной плети» сорочинского заседателя в повести «Ночь перед Рождеством», словами атамана, наказывающего плетью

«молодого преступника», в <Главах исторической повести>: «Что за славная плеть! Чудная плеть! <...> Нашлись же такие искусники, что так хитро сплели!» и замечанием в статье «О средних веках» про «ужасные пытки, на которых человек показал адскую изобретательность...» (*Ар.*, 18). Мысль Гоголя заключается в том, что зрители казни являются во многом и ее исполнителями: «Из толпы <...> высовывал свое толстое лицо мясник, наблюдал весь процесс с видом знатока и разговаривал односложными словами с оружейным мастером...». С этими размышлениями связан в повести и образ французского артиллериста-«инженера», «большого знатока военного дела», возглавлявшего польское войско в сражении. Удовольствие в битве доставляет ему не победа или поражение той или другой стороны, а само «мастерство» сражающихся. Когда, стремительно атакуя, козаки убили «около двух тысяч» польских воинов, он, восхищенный воинским искусством неприятеля, «позабывшись», бьет, как на театральном представлении, в ладоши и кричит «браво». В то же время слова «инженера» — «который был истинный в душе артист», — что поляки, если зажгут лес, «будут иметь славное жаркое из козацкой дичи», сближают его с таким же (согласно черновой редакции) «истинным в душе артистом» — «знатоком»-мясником в сцене казни Остапа.

Владению «ремеслом» войны, внешнему порядку польского войска, управляемого «иноземным инженером», Гоголь противопоставляет нежелание запорожцев заниматься «военною школою» и отсутствие в Сечи «теоретического изучения» каких-либо «военных упражнений», а воинское искусство козаков объясняет единством их духа. «Без всякого теоретического понятия о регулярности, — замечает он о запорожцах, вдохновленных словами Тараса о «вере Христовой», — они шли с изумительною регулярностию, как будто бы происходившею от того, что сердца их и страсти били в один такт единством всеобщей мысли». Ср. в статье «О средних веках»: «...ни одна из страстей, ни одно собственное желание, ни одна личная выгода не входят сюда: все проникнуты одною мыслию — освободить Гроб Божественного Спасителя!» (*Ар.*, 13). — *Виноградов 2009*, 652—653.

145 *...Король всегда почти являлся первым противником этих ужасных мер <...> Но Король не мог сделать ничего против дерзкой воли государственных магнатов, которые непостижимою недальновидностью, детским самолюбием, гордостью и неосновательностью превратили Сейм в сатиру на правление.* — Подразумевается Владислав IV Ваза (1595—1648), польский король в 1632—1648 годах, которого козаки считали противником шляхты. В «Истории Русов» сообщалось, что «власть Королевская с 1572 года... была весьма ослаблена <...> присвоили ее себе вельможи или магнаты Королевства и Духовенство Римское, державшее Короля за одну проформу. Самые Сеймы народные не что иное были, как твари магнатов и Духовенства...» (*ИР*, 39—40). Не способный противостоять властолюбию магнатов, которые, «владея в Украине бесчисленными поместьями и находясь в отдалении от оных на своей родине, не обращали внимания на бедствия народа» (*ИМР*. Ч. 1. С. 220), Владислав на петицию наказного гетмана Ивана Барабаша и генерального писаря Зиновия Хмельницкого ответил, что помочь не может, но они сами могут «стать за себя и свою свободу», и в 1647 г., после гибели Барабаша, успел послать избранному козаками Хмельницкому рескрипт, утверждающий его гетманом (*ИР*, 59, 86).

Магнат (лат.) — вельможа . Сейм — польский парламент.

[146] *Остраница* — нежинский полковник Яков Искра-Острянин, по прозвищу Остраница (упомин. 1633; в других источниках — козак Степан Остранин), в 1638 г. был избран гетманом и возглавил восстание на Запорожье против польской шляхты. «История Русов» сообщает, что Степан (Стефан) Остраница показал себя искусным полководцем, очистив приднепровские города от поляков, нанес поражение польскому гетману Лянцкоронскому и, при посредничестве русского духовенства, добился подписания мира. Он был вероломно пленен поляками в Каневском монастыре, куда отправился для принесения благодарственного моления Богу, отправлен в Варшаву и там после пыток казнен вместе с 37 соратниками (*ИР*, 53—56; см. также примеч. 155 и преамбулу примеч. к <Главам исторической повести> на с. 510). По иным сведениям, после крупного поражения Остраница увел часть козаков с их семьями на Слободскую Украину под защиту Русского государства. Он поселился на Чугуевском городище (ныне г. Чугуев под Харьковом) и был убит в 1641 г., когда обострились отношения между простыми козаками и старшиной.

[147] *Гуня* — Дмитро Тимошевич Гуня (годы рождения и смерти неизвестны) — талантливый полководец, один из руководителей козацко-крестьянских выступлений против польской шляхты в 1630-х годах. После того как восстание Остраницы 1638 г. было подавлено, он с частью войска отступил на Слободскую Украину, входившую в состав Русского государства. В 1640 г. возглавлял совместный поход Донского и Запорожского войска против Турции.

[148] *Потоцкий* — Николай Потоцкий (1595—1651), по прозвищу Медвежья Лапа, граф, польский магнат, государственный и военный деятель, каштелян (комендант) Кракова и великий коронный гетман (назначенный королем пожизненно с 1646 г.); руководил подавлением козацко-крестьянских восстаний Павлюка (Павлюги) в 1637 г., Остраницы и Гуни в 1638 г., за что получил огромные поместья на Украине. Вопреки приказу короля, в 1648 г. выступил против Богдана Хмельницкого и, потерпев два поражения, попал в плен; был выдан крымскому хану, после чего поляки с трудом добились его освобождения за большой выкуп. Возвратившись из неволи, он в 1651 г. вновь возглавил войско, под Берестечком одержал победу над козаками и заключил с ними Белоцерковский договор.

[149] *Полонное* — известный с X в. украинский городок на Волыни.

[150] *Аргамак* — старинное название высоко ценившихся восточных породистых верховых лошадей.

[151] *Трактат* — здесь: подробный договор.

[152] *Полова* — «мякина» («Малороссийские слова»); гречаная полова — шелуха, остающаяся после молотьбы гречихи. Гоголь, видимо, основывался на сообщении «Истории Русов» о том, что «Правительство Польское <...> повелело Гетману Павлюге живому содрать с головы кожу и набить ее гречаною половою, а Старшинам его отрубить целиком головы и их, вместе с чучелою Гетманской головы, отослать на позор в города Малоросийские» (*ИР*, 53).

[153] *Жинка* — «жена» («Малороссийские слова»).

[154] *Тын* — сплошной забор, частокол (*Словарь Даля*, IV, 447).

[155] *...после вероломного поступка под Каневым...* — Городок Канев на правом берегу Днепра, выше г. Черкассы, известен с XI в. В конце XVI в. он стал одним из

символов Козачества: пожилые, больные и увечные запорожцы, которые уже не могли принимать участие в походах и боях, доживали свой век близ Каневского монастыря, на Чернечей горе над Днепром. Туда в 1578 г. козаки перевезли останки казненного во Львове гетмана Ивана Подковы, там окончил свои дни монахом его боевой товарищ, атаман запорожцев Яков Шах, там же был похоронен легендарный гетман Самийло Кошка, герой исторической думы XVII в. Пленение гетмана Остраницы в таком месте выглядело святотатством.

[156] *Краков* — древнейший город в Южной Польше на левом берегу р. Вислы, столица польского государства в XI—XVI веках.

[157] *...поставили это бревно рубом... так что он... был виден... как победный трофей...* — Поставить рубом — поставить на ребро (рубленый край); выставить напоказ (укр.).

ПРИМЕЧАНИЯ К ВАРИАНТАМ

[1] *Кульбаба* (укр.) — цветок одуванчик.

[2] *А по латыни заяц?* — Латинское название зайца (*lepus*), возможно, подразумевало известную украинскую шутку или анекдот, связанные с этим созвучием (возможно, лепый, или укр. ліпший — 'лучший', или подобные).

[3] *Мушкет* (фр. mousquet) — так до XIX в. на Украине называли кремневое ружье с фитильным замком и подставкой для стрельбы.

[4] *Гораськo* — укр. простореч. форма имени Герасим (др.-греч. 'уважаемый, почтенный человек'), созвучная для Бульбы с именем Горация.

[5] *Кираса* (фр. cuirasse) — латы; металлический панцирь из двух пластин, выгнутых по форме спины и груди, соединялся пряжками на плечах и боках.

[6] *Холопья* — дворня; покорные дворовые слуги, близкие по своему положению к рабам.

[7] *Мирра* (миро) — благовонное масло или душистое маслянистое вещество (*Словарь Даля*, II, 329).

Часть вторая

ВИЙ

Впервые: Миргород. Ч. 2. С. 5—96. При жизни Гоголя повесть была перепечатана в *Соч. 1842* (Т. II. С. 305—382) с исправлениями и значительно измененным финалом: «Вдруг... среди тишины... с треском лопнула железная крышка гроба и поднялся мертвец: еще страшнее был он, чем в первый раз. Зубы его страшно ударялись ряд о ряд, в судорогах задергались его губы, и, дико взвизгивая, понеслись заклинания. Вихорь поднялся по церкви, попадали на землю иконы, полетели сверху вниз разбитые стекла окошек. Двери сорвались с петлей, и несметная сила чудовищ влетела в Божью

церковь. Страшный шум от крыл и от царапанья когтей наполнил всю церковь. Все летало и носилось, ища повсюду философа.

У Хомы вышел из головы последний остаток хмеля. Он только крестился да читал, как попало, молитвы. И в то же время слышал, как нечистая сила металась вокруг его, чуть не зацепляя его концами крыл и отвратительных хвостов. Не имел духу разглядеть он их; видел только, как во всю стену стояло какое-то огромное чудовище в своих перепутанных волосах, как в лесу; сквозь сеть волос глядели страшно два глаза, подняв немного вверх брови. Над ним держалось в воздухе что-то в виде огромного пузыря, с тысячью протянутых из середины клещей и скорпионных жал; черная земля висела на них клочками. Все глядели на него, искали и не могли увидеть его, окруженного таинственным кругом.

— Приведите Вия! ступайте за Вием! — раздались слова мертвеца. И вдруг настала тишина в церкви; послышалось вдали волчье завыванье, и скоро раздались тяжелые шаги, звучавшие по церкви; взглянув искоса, увидел он, что ведут какого-то приземистого, дюжего, косолапого человека. Весь был он в черной земле. Как жилистые, крепкие корни, выдавались его засыпанные землею ноги и руки. Тяжело ступал он, поминутно оступаясь. Длинные веки опущены были до самой земли. С ужасом заметил Хома, что лицо было на нем железное. Его привели под руки и прямо поставили к тому месту, где стоял Хома.

— Подымите мне веки: не вижу! — сказал подземным голосом Вий — и всё сонмище кинулось подымать ему веки.

„Не гляди!“ — шепнул какой-то внутренний голос философу. Не вытерпел он и глянул.

— Вот он! — закричал Вий и уставил на него железный палец. И все, сколько ни было, кинулись на философа. Бездыханный, грянулся он на землю, и тут же вылетел дух из него от страха. Раздался петуший крик. Это был уже второй крик; первый прослышали гномы. Испуганные духи бросились, кто как попало, в окна и двери, чтобы поскорее вылететь, но не тут-то было: так и остались они там, завязнувши в дверях и окнах. Вошедший священник остановился при виде такого посрамления Божьей святыни и не посмел служить панихиду в таком месте. Так навеки и осталась церковь с завязнувшими в дверях и окнах чудовищами, обросла лесом, корнями, бурьяном, диким терновником; и никто не найдет теперь к ней дороги».

Замысел «Вия» можно отнести ко времени работы над «Вечерами на хуторе близ Диканьки»: с ними он тесно связан фольклорной основой, жанрово и тематически — в отличие от других повестей «Миргорода». Возможно, этот замысел Гоголь имел в виду осенью 1832 г., когда говорил о каком-то продолжении «Вечеров» (например, в письме М. П. Погодину — см.: X, 237—238). Начало работы над повестью исследователи обычно датируют 1833 г., но ее неозаглавленный черновой автограф в тетради *РП* вписан последним, притом начиная с нечетной страницы (л. 32 об.—40), а это могло быть только после полного завершения предшествующей черновой редакции «Тараса Бульбы». Особенности почерка в черновике «Вия» позволяют говорить о том, что Гоголь работал над ним осенью—зимой 1834 г., одновременно с некоторыми произведениями «Арабесок».

Печатная история «Вия» уникальна. Работая над т. II *АСС*, Н. Л. Степанов в Библиотеке Академии наук обнаружил экземпляр «Миргорода» (1835), в котором эта повесть заканчивалась гибелью героя. Далее на отдельной странице шла заметка о погрешности: «В сей повести, по неосмотрительности, пропущена половина страницы, объясняющая, каким образом бурсак узнал в сотниковой дочери ведьму, приходившую к нему в виде старухи», — а на обороте, тоже отдельно, было помещено ранее неизвестное «Предисловие» к «Повести о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем» (см. на с. 489). По-видимому, это было вызвано технической причиной: между набранной с печатного текста «Повестью...» и набиравшимся затем по рукописи «Вием» остались две чистые страницы, которые Гоголь заполнил заметкой «Погрешность» и «Предисловием», где иронически обыграл прежние цензурные конъектуры. Но затем либо он сам, либо цензор А. В. Никитенко, просматривая уже отпечатанный текст, изъял «Предисловие», и тогда Гоголь для восполнения этого «пробела» написал новый финал — разговор приятелей о смерти Хомы и внес правку на других страницах, чтобы избежать переверстки книги. В то же время, по недосмотру, заметка «Погрешность» осталась в тексте, хотя само противоречие уже было снято введенными подробностями узнавания ведьмы.

Затем, уже в канонической редакции, Гоголь тщательно переработает эпизод, когда Хома стал колотить старуху: «Дикие вопли издала она; сначала были они сердиты и угрожающи, потом становились слабее, приятнее, чище, и потом уже тихо, едва звенели, как тонкие серебряные колокольчики, и заронялись ему в душу; и невольно мелькнула в голове мысль: точно ли это старуха? „Ох, не могу больше!" — произнесла она в изнеможении и упала на землю. Он стал на ноги и посмотрел ей в очи: рассвет загорался, и блестели золотые главы вдали киевских церквей. Перед ним лежала красавица, с растрепанною роскошною косою, с длинными, как стрелы, ресницами. Бесчувственно отбросила она на обе стороны белые нагие руки и стонала, возведя кверху очи, полные слез. Затрепетал, как древесный лист, Хома: жалость и какое-то странное волнение и робость, неведомые ему самому, овладели им; он пустился бежать во весь дух. Дорогой билось беспокойно его сердце, и никак не мог он истолковать себе, что за странное, новое чувство им овладело. Он уже не хотел более идти на хутора и спешил в Киев, раздумывая всю дорогу о таком непонятном происшествии» (II, 187—188).

Однако первоначально, согласно обнаруженному дефектному тексту (надо полагать, по замыслу автора), Хома «не хотел и взглянуть» на упавшую после побоев ведьму (см.: *Варианты*, с. 240) и потому, когда его приводят к покойной панночке, не узнает в ней той ведьмы — об этом должен был догадаться сам читатель так же, как о смысле отношений Хомы с панночкой и сотником. Перерабатывая эти места, Гоголь внес минимальные изменения в несколько взаимосвязанных предложений (теперь Хома разглядывает упавшую на землю ведьму, а затем в доме сотника узнает покойницу: «Это та самая ведьма...») и, чтобы согласовать всё с прежним набором, сократил некоторые фразы. Итак, в новой беловой редакции «Вия» было добавлено послесловие на с. 95—96 и переверстано 4 листа: с. 29—30, 46—47, 52—53 и 54—55, — которыми заменили прежние в отпечатанных дефектных экземплярах 2-й части «Миргорода» (кроме найденного Н. Л. Степановым; подробнее об этом см.: II, 734—735). Их осмотр в Библиотеке Академии наук (шифр III 35К/708)

и библиотеке Пушкинского Дома (шифры 32 1/8; $1939К/1429_2$; 111 $3/17_2$) показал, что переверстанные страницы вшиты или — в последнем случае — вклеены на место вырезанных, остатки которых большей частью сохранились. В других уже отпечатанных «тетрадках» для этой книжки «Миргорода», еще не сброшюрованных или не переплетенных, заменили отдельные дефектные листы — как в экземпляре из Российской национальной библиотеки (шифр $340/74_2$), где есть следы только двух вырезанных листов между с. 54—55 (см. также об этом: *Звиняцковский 2011*, 167).

По своей исторической и фольклорно-литературной ориентации «Вий» — единственная повесть цикла, действительно «служащая продолжением *Вечеров на хуторе близ Диканьки*» как мифологизированное повествование о прошлом в формах и образах самого прошлого. Вначале здесь идет речь о Киевской «бурсе», показано, какими были бурсаки, что указывает на «малороссийскую повесть» В. Т. Нарежного «Бурсак», известную читателю того времени. И далее читатель мог ожидать рассказа про такие же приключения простодушного, сильного, отважного и сообразительного героя, подобных любовно-авантюрному приключению бурсака Андрия Бульбы (см. вступ. ст.). Однако в своих похождениях герой «Вия» больше напоминал не сказочного молодца-простеца, а дяка-пивореза, персонажа народных интермедий, — это тип школяра/семинариста, который «увлекается предметами, чуждыми строгой духовной науке: ухаживает и за торговками, и за паннами, пьянствует... пускается в рискованные аферы» (*Перетц 1902*, 50—51). Чертами такого типа Гоголь ранее наделил бывшего семинариста Ивана Осиповича, видимо, тоже сироту, в главе «Учитель» малороссийской повести «Страшный кабан» (*ЛГ*. 1831. № 1), а затем продолжил разработку данного самодовольного типажа («Ивана, не помнящего родства и родины», живущего только сегодняшним днем, материальными потребностями, не думающего о последствиях своих поступков) в повести о ссоре двух Иванов (см. также с. 492).

Вместе с тем Хома Брут, подобно герою «Бурсака» Неону Хлопотинскому, ведет себя по-козацки, не только прямо называя себя козаком или же, по козацкому обычаю, обращаясь к другим «браты-товарищи», но и уничтожая ведьму, проявляя отвагу и смекалку, представляя обычные козацкие промыслы (см. ниже, примеч. 28, 33), даже греховно мечтая о люльке и горелке в храме. Все это указывает на его принадлежность козацкому роду, что обусловливала поступки героя «Бурсака», который стремился разгадать тайну своего происхождения и... случайно попадал в дом своих родителей, влюблялся в свою сестру — разумеется, не подозревая о том. По-видимому, так же неосознанно ищет родителей Хома. А действие во время бурсацких каникул «с июня» приближено ко дню Ивана Купала (24 июня ст. ст.) или соответствует ему, поскольку в описании очевидна Купальская символика («игра» солнца в воде, особый свет, одухотворенная природа — подробнее см. об этом ниже, на с. 500—501): так, во время «скачки» со старухой Хома «видел, что трава... казалось, росла глубоко и далеко и что сверх ее находилась прозрачная, как горный ключ, вода, и трава казалась дном какого-то светлого, прозрачного до самой глубины моря <...> Он видел, как вместо месяца светило там какое-то солнце; он слышал, как голубые колокольчики, наклоняя свои головки, звенели. Он видел, как из-за осоки выплывала русалка...» — Ср., в канонической редакции «Вечера накануне Ивана Купала» герою чудилось, «будто

трава зашумела, цветы начали между собою разговаривать голоском тоненьким, будто серебряные колокольчики; деревья загремели сыпучею бранью...» (I, 144—145). Уничтожение ведьмы было Купальским обрядом, «русальная неделя», по записи Гоголя, начиналась 23 июня ст. ст., а заканчивалась в Петров день — 29 июня (IX, 518) — так же, как Петров пост, о котором Хома говорит старухе. Вкупе же эти приметы сближают время действия «Вия» и «Вечера накануне Ивана Купала».

С другой стороны, читатели легко опознавали в повести мотивы романа Э. Т. А. Гофмана «Эликсиры сатаны» (1815—1816), где повествование преступного монаха Медарда основано на готическом романе Льюиса «Монах» (см.: *Гофман*, 244—245). Это, в первую очередь, ночная «скачка» героя с близнецом за спиной, от которого он избавляется лишь на рассвете, при этом видит «солнечный луч» и слышит звуки «монастырского колокола» (Там же. С. 165—166, 277). Схожи и видения, и чувства героев: Медарду чудится в кошмарах фантастическая помесь людей, птиц и насекомых; он иногда слышит голос близнеца, неразличимый со своим[22], а при мыслях о сестре испытывает «томительные» ощущения, которые у романтиков маркировали инцестуальные мотивы (Там же. С. 50, 130, 179 и др.). Наконец, «лучезарная красавица», подобие Венеры, с которой художник Франческо жил в греховной связи, по смерти превращается в «отвратительную обезображенную покойницу» — старуху (Там же. С. 188).

Подобное «двойное» освещение обнаруживает балладную основу «Вия», где элементы славянского фольклора соединяются трагическими библейскими и романтическими мотивами. Так, библейский мотив греховной, запретной, богопротивной связи осложняется Купальской фольклорно-языческой символикой (Ивана-да-Марьи, близнецов брата и сестры), романтическими мотивами инцеста, обусловленного проклятием рода за какое-то преступление в прошлом, и, наконец, религиозными мотивами — как первородный грех и Божья кара за него человечеству и как предвестие Страшного суда. На этом фоне две разделенные судьбой половинки андрогина сопрягаются и отталкиваются отношениями не только доброго и злого, брата и сестры, мужчины и женщины, но и старухи и юноши, красавицы и «небоже», панночки-госпожи и нищего слуги, «божьего человека» и грешной женщины, связанной с дьяволом, отчасти человека церкви и ведьмы, Козака и ведьмы. Такое единство разнообразных связующих и разделяющих факторов ограничивает сферу действия героев (см.: *Дерюгина*, 328), которые взаимно дополняют друг друга так, что смерть одного обусловливает и гибель другого. Можно сказать, что здесь зло красиво, а добро лениво. Все это делает «Вий» беспрецедентно сложным, многоплановым, символическим и безмерно глубоким по смыслу произведением русской и мировой литературы — точнее, уникальным фольклорно-литературным сплавом, чей состав столетиями пытаются определить исследователи (обзор таких попыток см. в статье: *Звездин*).

---

[22] Ср.: при попытке бежать Хоме (‘близнецу’) «казалось, с оглушительным свистом трещал в уши какой-то голос: „Куда, куда?“»; и в последнем эпизоде черновой редакции Хома «казалось, слышал шептавший ему на ухо голос: „Ей, не гляди! ей, не гляди!“ Но какое непостижимое любопытство! глаз нечаянно отворился: перед ним стоял какой-то образ человеческий высокий <...> „Ей, не гляди! Не гляди!“ шептал какой-то голос в уши философу. Он не утерпел и глянул...» (см.: *Варианты*, с. 246).

Романтическая тема Божьей кары про́клятому роду, когда цепь преступлений приводит к гибели последнего в этом роде, связывает «Вия» с повестью «Страшная месть» и романом «Эликсиры сатаны» Э. Т. А. Гофмана. Последним в своем козацком роду и уже безвозвратно оторванным от него оказывается Хома (здесь явно Homo), а приведенный Вий, «образ человеческий исполинского роста», подобен гигантскому растущему «под землею мертвецу» — про́клятому Богом за грехопадение, первому человеку Адаму* (или Иуде. — См.: *Виноградов 2000*, 102—104), который знает всех своих потомков (и они его тоже), — поэтому он родоначальник и «гномов», воплощающих человеческие пороки, и всех козацких предков Хомы — рыцарь с «железным лицом» и «железной рукой».

Этот образ «железных времен» возвращает нас к фигуре «богатейшего сотника», владеющего «золотом» и людьми, — «страшного отца» с «необузданным характером», пренебрегающего церковью, готового на нехристианскую **месть** за смерть дочери, какой бы она ни была, кем бы ни был убийца и каковы бы ни были его мотивы. Сотник сознает себя хозяином жизни других людей, как колдун из «Страшной мести», и тоже интересуется некими «книгами», и явно любит дочь больше, чем следует отцу. Образу «жестокосердого», «ветхозаветного» героя, нарушающего Заповеди Христа, сопутствуют мотивы родовой вины-мести и социальной несправедливости: сотник изображен в повести уже не столько командиром, сколько «именитым владельцем» козаков и всего «хутора»/«селения» — на что и намекало упоминание в черновой редакции «песни об угнетенном народе» (*Варианты*, с. 242).

Недаром теперь стала ведьмой и дочь сотника, что по смыслу со- и противопоставлено легенде в повести «Майская ночь, или Утопленница» о том, как в прошлом ведьма — вторая жена сотника, красавица — сгубила его дочь-панночку, сделала ее «простой мужичкой» (в повести «Вий» похожие легенды касаются лишь простонародья). По славянской мифологии, ведьма — как правило, старая уродливая женщина, связанная с нечистой силой от роду или по договору и потому постоянно всячески вредящая людям и домашним животным (в отличие от колдуньи, способной и на доброе, и на злое). Различались ведьмы природные, «от рождения» с небольшим хвостиком, и «ученые», которые перенимали сверхъестественные знания и умения от нечистой силы, причем если природные ведьмы иногда могли исправить причиненный вред, то «ученые» никогда. Ведьма вызывала бурю, град, засуху и прочие бедствия, воровала звезды с неба, вызывала затмение солнца и луны, губила урожай, насылала болезни, властвовала над жизнью и смертью простого человека. Она понимала язык животных и птиц, знала рецепты приготовления лекарств и волшебных зелий и нужные для этого растения, была способна видеть будущее, летать, оборачиваться разными

* В канонической редакции 1842 г. это сходство будет усилено: «...скоро раздались тяжелые шаги <...> какого-то приземистого, дюжего, косолапого человека. Весь был он в черной земле. Как жилистые, крепкие корни, выдавались его засыпанные землею ноги и руки. Тяжело ступал он, поминутно оступаясь. Длинные веки опущены были до самой земли. ... лицо было на нем железное» (II, 217), — это больше соответствует «подземному» и «растительному» генезису умершего «первого человека» Адама, чье имя означало «взятый из земли», и родоначальника-рыцаря, лицо которого скрыто под *наличником* (отчасти это подтверждают ассоциации, связанные с античной и «римской» темой, с личностью исторического Брута. — См. об этом: *Вайскопф*, 214).

людьми, животными и становиться невидимой. Но лучше всего она умела портить продукты, отбирать молоко у коров, шерсть у овец, яйца у домашней птицы и сало у свиней. Ведьмы любили принимать у себя по праздникам нечистую силу и, чтобы ее угостить, выдаивали до крови чужих коров, подбираясь к ним в виде собаки или кошки. Не было ситуации в сельской жизни, когда бы ведьма не могла наделать вреда (об этом см.: *РДС*, 64—78; *Энциклопедия суеверий*, 60—72).

В повестях «Вечеров...» *ведьма* была или уродливой кровожадной *колдуньей*, Бабой-Ягой («Вечер накануне Ивана Купала»; об этом см. с. 265—266), или «злой мачехой»-изменницей Хиврей/Хавроньей («Сорочинская ярмарка»), или «чудищем» на дьявольском шабаше, которое «разряжено, размазано, словно панночки на ярмарке» («Пропавшая грамота»; I, 187), или разбитной любвеобильной и коварной «бой-бабой» Солохой* («Ночь перед Рождеством»), или «злой мачехой» — демонической красавицей, погубившей панночку («Майская ночь, или Утопленница»). Ведьма «Вия» сочетает все упомянутые образы. Вначале она предстает в своем фольклорном обличье — уродливой, грубой, недоверчивой и ворчливой сельской старухи, которую, по замыслу автора, Хома должен потом узнать в мертвой красавице-панночке. В церкви она являет «страшные», демонические черты, а затем превращается в «синий, позеленевший... труп», соединяя прекрасное и ужасное, живое и мертвое, христианское и дьявольское (гроб летает, «крестя во всех направлениях воздух»). Наряду с этим далее герою становятся известны и другие характерные приметы ведьмы, и слухи, их пародирующие: «...в виде скирды сена приехала к самым дверям хаты... украла шапку или трубку; у многих девок на селе отрезала косу; у других выпила по нескольку ведер крови» (см. примеч. 52; фольклор не отождествлял ведьму с вампиром), — когда, с точки зрения рассказчиков, ее действия и безнаказанность обусловлены «господским» положением панночки. Все это наводит на мысль, что она **знала**, куда идет Хома с товарищами, а сотник не сможет не исполнить предсмертную просьбу дочери.

В литературном же плане ведьма и описание возрастающих ночь от ночи «ужасов» в церкви читателю того времени напоминали балладу английского поэта Р. Саути (1774—1843). В переводе В. А. Жуковского это «Баллада, в которой описывается, как одна старушка ехала на черном коне вдвоем и кто сидел впереди» (1814; опубл.: 1831; отмечено: *Шамбинаго*, 14—15). Сюжет о ведьме, завещавшей сыну-монаху вымолить ей отпущение грехов после смерти и на третью ночь отпевания увезенной из храма дьяволом, Саути взял из средневековых английских хроник (такие же мотивы есть в украинских поверьях и средневековой церковной славянской литературе). Гоголь, вероятно, знал от самого Жуковского, что тот изначально назвал перевод «Балладой о том, как одна киевская старушка...» и, придав ему соответствующий колорит, наделил ведьму фольклорными чертами, а Сатану показал ужаснее и могущественнее, чем в оригинале. Эти строфы повлекли запрещение всей баллады из-за показа «торжества дьявола над церковью», и, чтобы снять цензурный запрет,

* В украинском языке слово *солоха* имело значение 'ведьма', в русском языке — 'неопрятная, косматая женщина', а также 'русалка'; оно восходило к славянскому женскому имени Солоха, образованному от Саломея — греческого имени дочери Иродиады и падчерицы Ирода Антипы, которая добилась смерти Иоанна Крестителя (*Словарь Фасмера*, III, 714).

Жуковскому пришлось их переработать: в печатной редакции, Сатана оставался вне храма, не дерзая войти в него, и не касался гроба ведьмы. А картина проникновения чудовищ в церковь, вернее — звуковой рисунок их нашествия, восходит к другой балладе Р. Саути «Суд Божий над епископом» в переводе Жуковского (1831; отмеч.: *Вацуро*, 308—309), где описано, как был «скуп и жесток» епископ Гаттон: в неурожайный год он сжег докучавших голодающих, пригласив их на угощение, а после, по Божьему Промыслу, был заеден сонмом голодных прожорливых мышей, проникших в неприступную башню: «Слышно, как лезут с роптаньем и писком; / Слышно, как стену их лапки скребут; / Слышно, как камень их зубы грызут. //Вдруг ворвались неизбежные звери; / Сыплются градом сквозь окна, сквозь двери, / Спереди, сзади, с боков, с высоты...» (*Жуковский*, 178, 409). Кроме того, основные мотивы повести связывают ее с петербургскими повестями и философско-историческими статьями «Арабесок», над которыми Гоголь тогда работал (см.: *Дерюгина*, 326—329).

О времени действия позволяют судить упомянутые в повести исторические реалии. Так, образ «богослова, ростом мало чем пониже Киевской колокольни» подразумевает главную колокольню Киево-Печерской лавры, высотой более 96 м, возведенную в 1731—1744 годах по проекту И. Шеделя, которая при жизни Гоголя была самым высоким зданием в Киеве. А должность сотника (и других козацких старшин) упразднили в 1784 г. То есть время действия определяется полувеком (1740—1780-е годы), когда происходило медленное разрушение и уничтожение Козачества, и противопоставлено эпохе его подъема в первой половине XVII в. как времени действия в предшествующей повести «Тарас Бульба» (*Звиняцковский 2011*, 169).

Особую роль в характеристике бурсаков играют имена и клички. Так, Хома — украинская форма имени Фома (др.-евр. 'близнец'), которая может ассоциироваться с лат. homo (человек) или с «*Фомой неверным* (от имени апостола) — то есть человеком недоверчивым, склонным к сомнению; простоватым, плохим, вялым» (*Словарь Даля*, IV, 683). У героя-сироты, не знавшего родителей, не было и фамилии, поэтому Брут, видимо, бурсацкая кличка, созвучная укр. бруд — 'грязь'. В Древнем Риме было несколько Брутов (лат. 'простак, тупица; грубый, жестокий'), но известнее всех Марк Юний Брут (85—42 до н. э.), убийца Цезаря, римский политический деятель, сторонник республики; в 44 г. до н. э. он вместе с Кассием возглавил заговор против Цезаря, которого считали его отцом, и, по легенде, одним из первых нанес ему удар кинжалом. Поэтому его имя стало нарицательным для обозначения вероломного друга. Декабристы славили Брута как борца против тирании, хотя, скорее, видели в нем и Луция Юния Брута — «отца римской свободы», консула (по преданию, он предложил заменить царскую власть коллегиальным правлением в 509 г. до н. э. и погиб в битве с царем Тарквинием, стремившимся вновь захватить власть в Риме). Был и Децим Юний Брут Альбин — любимец и друг Цезаря, осыпанный им милостями и почестями за отличия в галльской и гражданской войне, что не помешало Бруту уговорить колеблющегося друга пойти в сенат, где его ожидали заговорщики. Известные тогда каждому просвещенному читателю сведения позволяли истолковать и образ философа Хомы Брута, и образ ритора Тиберия Горобца, ибо укр. горобець означает «воробей», а имя Тиберий происходит от названия реки Тибр в Риме (то есть римский воробей как оратор); это имя и пламенного трибуна Тиберия Гракха (162—133 до н. э.),

и тирана Тиберия (42 до н. э.—37; римский император с 14 г.), пасынка и наследника Августа. Столь же нелепо по смыслу и сочетание богослов Халява (от халява — неряха, растрепа, неопрятный; вялый, сонный, ленивый и дрянной. — *Словарь Даля*, IV, 541—542; отмечено: *Гуковский*, 191). Эти «латино-славянские» клички бурсаков, подобные прозвищам запорожцев, противопоставлены просторечным христианским именам козаков, в большинстве своем греческим: Явтух — «Евтух» («Имена, даемые при крещении») — от Евтихий (др.-греч. 'счастливый, успешный'), Спирид, разг. Свирид — от Спиридон (греч. 'дар души'), Дорош — от Дорофей (греч. 'дар божий'), Микита — от Никита (др.-греч. 'победитель'), Оверко — от Аверкий (возможно, восходит к лат. averto — 'обращать в бегство'). Люди же, не входящие в круг знакомых Хоме бурсаков и козаков, остаются без имен: старуха, вдова, ректор, сотник, панночка, «жид-корчмарь», слуги, пастух...

1 *...у ворот Братского монастыря ~ школьники и бурсаки.* — Киевско-Братский монастырь, основанный в 1588 г. при Богоявленской церкви на Подоле, с 1615 г. перешел в ведение Киевского братства, тогда же здесь открыли братскую школу; в 1632 г. ее преобразовали в Киево-Могилянскую коллегию, которая с 1701 г. стала Киевской Духовной академией (см. примеч. 2 к повести «Тарас Бульба»). Этот монастырь опекал Запорожский гетман Петр Сагайдачный, здесь проповедовал митрополит Петр Могила, сам Киевско-Братский православный монастырь считался оплотом борьбы с католичеством и унией, однако на рубеже XVII—XVIII веков побывал в руках униатов. Школьники и бурсаки (далее: семинария и бурса) — имеется в виду разделение учащихся на «своекоштных», которые жили и питались за свой счет, и бурсаков, живших на «казенном коште» в общежитии-бурсе.

2 *Грамматики, риторы, философы и богословы...* — Ученики разных (от низших к высшему) классов Академии, называвшиеся так по основным учебным дисциплинам. В грамматическом классе преподавалась греческая и латинская грамматика, античная литература; в риторическом — теория красноречия и т. д. Подобное деление классов существовало также в Нежинской гимназии высших наук. В 1822 г. ее директор И. С. Орлай предложил разделить учеников на 6 разрядов: принциписты (обучающиеся началам языка), грамматики (обучающиеся этимологии), синтаксисты, риторы, пииты и эстетики (обучающиеся эстетике). В Ришельевском лицее, уставом которого руководствовалась Нежинская гимназия первые годы своего существования, обучение основывалось на «законе Божием и познании правил веры Христианской», а учащиеся разделялись на классы: грамматики (10—12 лет), словесности (12—14 лет), риторики (14—16 лет) и — последние два года обучения — математики и философии (Образование и Устав Ришельевского Лицея в Одессе. СПб., 1818. С. 7, 40). Нежинский профессор Н. Я. Аристов позднее указывал: «С 1817 г. главным основанием учения и воспитания юношей поставлено религиозное просвещение, система образования основывалась на началах Священного Союза, из школы делали монастырь» (*Аристов Н.* Состояние образования России в царствование Александра 1-го // Известия Историко-филологического ин-та кн. Безбородко в Нежине. 1879. Т. 3. С. 85). И действительно, образование в Нежинской гимназии, подобно другим таким же учебным заведениям, во многом напоминало семинарское (*Виноградов 2009*, 628).

[3] *Пали* — удар линейкой по рукам (выражение из бурсацкого обихода).

[4] *Риторический троп* — фигура речи.

[5] *Ось... вертычки, буханци...* — Ось — вот (укр.). Вертычка — фигурная выпечка из теста. Буханец — «небольшой белый хлеб» («Малороссийские слова»).

[6] *Авдитор* — то же, что аудитор, здесь: старший ученик, которого учитель назначал проверять знания своих товарищей. Гоголь упоминает ниже и «цензоров, обязанных смотреть за порядком и нравственностию... учащегося сословия». Назначение «аудиторов» и «цензоров» из учащихся практиковалось в Нежинской гимназии. По предложению ее директора И. С. Орлая, было принято «из числа превосходных и благонравнейших назначать аудиторов, которым должны быть подчинены несколько учеников, от которых они спрашивают отчета в уроках», а из числа «превосходнейших и благонравнейших» учеников назначать «старших в комнатах для занятий и на прогулках»; и «чтобы старшие или аудиторы не ослабевали по беспечности в своем учении и посредственные имели надежду быть старшими», положено было «позволить всем ученикам беспрепятственно просить посредством испытания или состязания о высшем месте» (*Лавровский*, 30). Избрание «старших» и «аудиторов» затем стало предписываться уставом Нежинской гимназии (*Виноградов 2009*, 627—628). Несмотря на все эти строгости, пансионеры гимназии, по воспоминаниям однокашника Гоголя Нестора Кукольника, так же предпринимали ночные «вылазки» для разорения огородов нежинских обывателей, как и бурсаки (Лицей князя Безбородко. Издал граф Г. А. Кушелев-Безбородко. СПб., 1859. С. 71).

[7] *Канчук* — «нагайка» («Малороссийские слова»), от тат. камча — ременная плеть. Изображая кулачные «битвы» бурсаков, Гоголь мог опираться на воспоминания своего деда, а также на статью гимназического приятеля Платона Лукашевича «О примечательных обычаях и увеселениях Малороссиян на праздник Рождества Христова и в Новый год» (Северный Архив. 1826. № 8. С. 387—389, 392).

[8] *Вертепы* — здесь: театральные постановки на библейские, евангельские, исторические сюжеты (о вертепе см. преамбулу к «Миргороду», с. 439—440). Традицией Киевской Духовной академии были представления на религиозные и нравственные темы в пасхальные каникулы.

[9] *...представлявший Иродиаду или Пентефрию, супругу египетского царедворца.* — Иродиада — упомянутая в Евангелии внучка Ирода Великого; вышла замуж за своего дядю Ирода Филиппа, а потом вступила в новую кровосмесительную связь с другим дядей — Иродом Антипой, правителем Галилеи и Переи. Иоанн Креститель обличал это прелюбодеяние, за что Антипа, «взяв Иоанна, связал его и посадил в темницу <...> И хотел убить его, но боялся народа... Во время же *празднования* дня рождения Ирода, дочь Иродиады плясала пред собранием и угодила Ироду; Посему он с клятвою обещал ей дать, чего она ни попросит. Она же, по наущению матери своей, сказала: дай мне здесь на блюде голову Иоанна Крестителя. И опечалился царь; но, ради клятвы и возлежащих с ним, повелел дать ей, И послал отсечь Иоанну голову в темнице. И принесли голову его на блюде и дали девице, а она отнесла матери своей» (Мф. 14:3—11). После изгнания Ирода Антипы Иродиада последовала за ним и умерла в нищете.

Пентефрия — упоминаемая в Библии (без указания имени) жена начальника стражи фараона Потифара (пентефрий — букв. «преданный фараону» — является коптским титулом египетского царедворца), которая искушала целомудренного Иосифа, а когда тот бежал от нее, публично обвинила его в домогательствах (Быт. 39:7—20). Жена Пентефрия (книжн.) — женщина, охотно срывающая цветы удовольствия, прелюбодействующая. На этот сюжет написаны две знаменитые картины: Гвидо Рени «Иосиф и жена Пентефрия» (первая пол. XVII в.) и Рембрандта «Иосиф, обвиняемый женой Пентефрия» (1655). Гоголь также мог видеть в Академии художеств рисунки на эту тему А. Иванова 1820-х годов.

[10] *Онучи* — «портянки, обвертки на ногу вместо чулков» (*Словарь Даля*, II, 673).

[11] *Кант* — многоголосное похвальное песнопение торжественного (светского или духовного) содержания.

[12] *Хозяин хаты... долго их слушал... потом рыдал прегорько и говорил, обращаясь к своей жене: «Жинко! то, что поют школяры, должно быть очень разумное; вынеси им сала и чего-нибудь такого, что у нас есть!» И целая миска вареников валилась в мешок. Порядочный кус сала, несколько паляниц, а иногда и связанная курица...* — Этот эпизод напоминает вертепную интермедию, где дьячок-семинарист произносил «высокопарную речь» для селянина Клима, «вероятно, передающую черты тех ораций и поздравительных речей, которые произносились странствующими школьниками с целью получить подаяние», и мужик Клим, у кого семинарист был домашним учителем, лил слезы, «растроганный» непонятными речами, и отдавал тому негодные продукты и/или «ледащую шкодливую свинью» (*Перетц 1895*, 148).

Паляница — «небольшой хлеб, несколько плоский» («Малороссийские слова»).

[13] *Тропак* (трепак) — пляска с дробным топотом и мелкими переборами.

[14] *Оселедец* — «чуб, чуприна — длинный клок волос на голове, заматывающийся за ухо; в собственном смысле — сельдь» («Малороссийские слова»).

[15] *Будяк* — «чертополох» (Там же).

[16] *Жито* — общее название для хлеба (пшеницы в зернах или на корню и ржи).

[17] *Фунт* — русская мера веса в 410 г (1/40 пуда).

[18] *Нагольный тулуп* — тулуп, сшитый кожей наружу и не покрытый тканью.

[19] *Галушки* — «клёцки» («Малороссийские слова»).

[20] *Книш* — «род печеного белого хлеба» (Там же); булка из пшеничной муки с завернутыми внутрь краями.

[21] *Очипок* — «род женской шапочки» (Там же); чепец, головной убор замужней женщины.

[22] *Корчма* — постоялый двор, где «держали напитки».

[23] *Ползолотой* (укр. пивзлотый) — 10 копеек (золотой/злотый — 20 копеек).

[24] *Сотник* — воинский чин; здесь: административное лицо на Украине в XVI—XVIII веках, начальник административно-территориальной и военной сотни. Сотник «в сотне своей был то же, что в полку Полковник: надзирал за благочинием, разбирал словесно между казаками земские и маловажные уголовные дела. Сотники служили большею частию на собственном содержании, не многие из них имели ранговые деревни <...> Сотня носила именование от местечка или селения, в котором была рас-

положена главная ее квартира, заключала несколько сел и деревень, разделялась на курени, которые были гораздо менее Запорожских. В каждом находилось несколько десятков выборных казаков и подпомощников» (*ИМР*. Ч. 3. С. 227, 331; см. также примеч. 23 к повести «Тарас Бульба»).

[25] *Отходная* — молитва, читаемая на отход души умирающему.

[26] *Dominus* (лат.) — господин.

[27] *Овин* — строение для сушки хлеба в снопах перед молотьбой.

[28] *Братья-товарищи* — традиционное обращение козаков друг к другу.

[29] *Талмуд* — свод правил и предписаний, составленный на основе священных книг и определяющий порядок жизни иудеев, в частности — регламентирующий питание.

[30] *Резонер* (фр. raisonneur) — здесь: человек, склонный к пространным назидательным рассуждениям, постоянным нравоучениям.

[31] *Инде* — кое-где.

[32] *Сулея* — большая бутыль.

[33] *...ловить рыбу в Днепре и в прудах, охотиться с тенетами или с ружьем за стрепетами и крольшнепами...* — Ловить рыбу и охотиться — традиционное занятие козака в мирной жизни, как и упомянутое ниже очень распространенное «курение» водки, сбыт или продажа которой приносили доход. Тенёта — охотничья сеть для ловли не очень крупных животных и птиц. Стрепет — степная птица из семейства дроф, отличается шумом крыльев при полете; крольшнеп (правильно: кроншнеп — от нем. Kronschnepfe) — вид кулика.

[34] *Дрофа* — крупная степная птица.

[35] *Пенник* — водка, полученная из «простого вина», — «пенное вино» (от слова «пенка», означавшего в XVII—XVIII веках «лучшую верхнюю часть жидкости», подобно «сливкам»). При перегонке «пенкой» называлась лучшая, первая фракция (потом ее стали именовать «первач»), $^1/_4$ или $^1/_5$ от объема «простого вина», полученная при фильтровании через древесный уголь на медленном огне. Затем 100 ведер «пенки» разбавляли 24 ведрами ключевой воды и получали «пенное вино», сопоставимое тогда по цене с натуральным виноградным. Пенник ценили не за крепость, а за чистоту, мягкость и «питкость».

[36] *Добро́дию* — см. примеч. 80 к повести «Тарас Бульба».

[37] *«Скачи, враже, як пан каже!»* — Это выражение в «Книге всякой всячины» (раздел «Пословицы, поговорки, приговорки и фразы малороссийские») снабжено пояснением: «Делай, что велят».

[38] *...против... страстного четверга.* — Перед Великим четвергом в Страстную неделю, когда христиане обязательно исповедуются и причащаются, а церковь вспоминает Тайную вечерю, на которой Иисус Христос установил таинство Евхаристии (Святого Причащения) и омыл ноги ученикам, Его молитву в Гефсиманском саду и предательство Иуды. В народе Страстной четверг именуют Чистым: в этот день принято очищать, мыть и украшать жилище, купаться. Нарушение поста в Страстную неделю почиталось великим грехом.

[39] *...сюда приличнее бы требовалось дьякона или, по крайней мере, дьяка.* — То есть представителей Церкви. Положение дьякона (диакона) как священнослужителя, помогающего священнику при богослужении, выше, чем у дьяка (дьячка) — при-

четника, псаломщика, обычно и звонаря, — как церковнослужителя, не имеющего степени священства.

[40] *Китайка* — здесь: простая хлопчатобумажная ткань разных цветов; первоначально в России так называли шелковую материю, которую привозили из Китая.

[41] *...увитые калиною.* — Калина символизировала девичью красу, чистоту и невинность.

[42] *Нагидочка* — «ноготок, растение» («Малороссийские слова»); полевой цветок.

[43] *Ясочка* — «светик мой» (Там же).

[44] *Налой* (аналой) — высокий, с покатым верхом столик, используемый при богослужении для икон и книг .

[45] *Церковь... с тремя конусообразными банями...* — здесь: куполами.

[46] *Бонмотист* — остряк (от фр. bon mot — красное словцо, острота).

[47] *Псалтырь* (от названия струнного щипкового музыкального инструмента *псалтерия*) — одна из книг Ветхого Завета, состоящая из псалмов (песен, излагающих благочестивые излияния сердца верующего при разных жизненных испытаниях).

[48] *Ковтун* (колтун) — название болезни, при которой волосы сваливаются в неразделимые космы.

[49] *Сивухи кварту...* — Сивуха — неочищенная, с пригаром, мутная или по цвету сероватая (сивая) хлебная водка. Кварта — $^{1}/_{8}$ ведра, или 1,23 литра.

[50] *Вклепался* — влюбился.

[51] *Ох, лишечко!* — Матушки! (Батюшки!) / Мать честная! (укр. разг. от лишечко — горюшко).

[52] *...у многих девок... отрезала косу...* — «Отрезать девке косу, опозорить» (*Словарь Даля*, II, 172).

[53] *Крылос* (искаж. клирос) — в христианской церкви возвышенное место по обе стороны от амвона, отгороженное для певчих (см. также ниже, примеч. 8 на с. 494).

[54] *...из-под ресницы... покатилась слеза <...> это была капля крови.* — У многих народов существует поверье, что кровь из ран убитого или слезы из глаз выступают в присутствии его убийцы.

[55] *Плахта* — «нижняя одежда женщин из шерстяной клетчатой материи» («Малороссийские слова»); шерстяной клетчатый платок, обернутый вокруг пояса вместо юбки.

[56] *...играть в кашу или в крагли — род кеглей, где вместо шаров употребляются длинные палки, и выигравший имел право проезжаться на другом верхом.* — Играли в кашу мячом, изготовленным из шерсти линяющих весной волов или коров, которую постепенно скатывали в комок, смачивая ее водой, и затем обшивали кожей. Играющие собирались в кружок, и один из них, бросая мяч оземь, кричал: «Тут каша, тут!» Все бросались к мячу, стараясь поймать его на лету. Поймавший садился верхом на «коня» (того, кто ловил и не поймал) и в свою очередь бросал мяч. Кто его ловил, садился на другого «коня». Если же всадник потянулся за мячом, но мяч поймал «конь», происходила смена ролей. Если мяч не поймал никто, то «каша рассыпалась»: игра начиналась заново. Вероятно, в нее играли в Нежинской гимназии. Об игре в кашу Гоголь также упоминал в повести «Пропавшая грамота» 1831 г. (*Ви-*

ноградов 2009, 632—633). Крагли — описание этой малороссийской игры в «Книге всякой всячины» восходит к сведениям, присланным в письме М. И. Гоголь: «...две стороны отходят на положенное пространство, ставят, друг против друга, по одному ряду кегель, и поочередно сбивают палкою за положенную черту; чья сторона скорее выбьет, торжествуют: каждый садится верхом на противнике своем и проезжает на нем до заветной черты».

[57] *Запаска* — «род шерстяного передника» («Малороссийские слова»).

[58] *Барвинок* — «растенье» (Там же); вечнозеленое растение, зацветающее ранней весной светло-голубыми цветами; эмблема любви в украинской народной поэзии.

[59] *Небоже* — нищий, убогий, несчастный, бедняга.

[60] *Пфейфер* (от нем. pfeffer) — перец.

[61] *Полведра* — чуть больше 6 л (ведро равнялось 5 штофам, или 12,3 л).

[62] *Кнур* — «боров» («Малороссийские слова»).

ПРИМЕЧАНИЯ К ВАРИАНТАМ

[1] *Омельче* (от *Омелько, Омелян*) — украинские просторечные формы имени Емельян (др.-греч. 'льстивый') входили в список «Имен, даемых при крещении».

[2] *Ставок* — пруд, запруда.

[3] *Ирмос* (греч. 'сплетение, связь') — в русском православном богослужении первая строфа каждой из девяти песен канона, в которой прославляются священные события или лица.

ПОВЕСТЬ О ТОМ, КАК ПОССОРИЛСЯ ИВАН ИВАНОВИЧ С ИВАНОМ НИКИФОРОВИЧЕМ

Впервые: альманах А. Ф. Смирдина «Новоселье» (СПб., 1834. Ч. 2. С. 475—569; цензурное разрешение 18 апреля 1834 г. дал А. Никитенко); подзаголовок «Одна из неизданных былей пасичника Рудого Панька», подпись *Рудый — Панько* и дата «1831». Напечатанная между басней И. А. Крылова «Крестьянин и собака» и стихотворением П. А. Вяземского «К Языкову», повесть фактически завершала альманах. Помещена в сборнике «Миргород» (Ч. 2. С. 97—215) с небольшими поправками. Перепечатана в *Соч. 1842* (Т. II. С. 383—483) под ред. Н. Я. Прокоповича.

Черновая редакция повести не сохранилась.

Датировка и подзаголовок повести о двух Иванах в альманахе «Новоселье» связывали ее с первой книжкой «Вечеров на хуторе близ Диканьки» (возможно, к этому времени относится замысел и начало его разработки). Однако, судя по записи в дневнике А. С. Пушкина от 3 декабря 1833 г.: «Вчера Гоголь читал мне сказку, *Как Ив.<ан> Ив.<анович> поссорился с Ив.<аном> Тимоф.<еевичем>*, — очень оригинально и очень смешно» (*Пушкин*. Т. 12. С. 312), — скорее всего, Гоголь

закончил работу лишь в ноябре 1833 г., когда пора было сдавать в цензуру материалы для второй части альманаха Смирдина (но в письмах именовал свою новую повесть «старинной, писанной за царя Гороха». — X, 283); кроме того, из записи Пушкина, если он не ошибся, возможен вывод, что значимое отчество Ивана Никифоровича было другим. Во время предварительного цензурного просмотра повести замечаний не было. Они возникли при просмотре отпечатанного материала новым цензором А. В. Никитенко, который 14 апреля 1834 г. отметил в своем дневнике: «Был у Плетнева. Видел там Гоголя: он сердит на меня за некоторые непропущенные места в его повести, печатаемой в „Новоселье“. Бедный литератор! Бедный цензор!» (*Никитенко*, 142). Эти сетования становятся понятны на фоне прямых ссылок автора на указания цензуре, которые в то время давали министр народного просвещения С. С. Уваров и управляющий III отделением С.Е.И.В. канцелярии генерал А. Х. Бенкендорф.

В уникальном экземпляре «Миргорода» 1835 г. (об этом см. выше, с. 477) повести предшествовало следующее предисловие:

«Долгом почитаю предуведомить, что происшествие, описанное в этой повести, относится к очень давнему времени. Притом оно совершенная выдумка. Теперь Миргород совсем не то. Строения другие; лужа среди города давно уже высохла, и все сановники: Судья, Подсудок и Городничий — люди почтенные и благонамеренные» (II, 221).

Гоголь написал это для заполнения «пробела», образовавшегося при наборе текста, и затем снял — возможно, по требованию цензуры или сам, опасаясь ее придирок. Предисловие было рассчитано на догадки осведомленного читателя о том, что́ могла изъять цензура в тексте, и содержало ряд заведомо известных ему фактов: повесть — «выдумка», время не «очень давнее», примерно 20—25 лет назад, герои обычные люди, а сам Миргород и его строения «другими» стать не могли, как и «лужа среди города» (см.: *Кошелев*, 62—63). Однако такое «забегание вперед» могло привести к искаженному восприятию текста неподготовленными читателями, отчасти снижая сатирическую остроту изображения «давно прошедшего», и своим канцелярским строем не соответствовало тону рассказчика.

Гоголевское повествование основано на христианских заповедях: «Мирись с соперником твоим скорее, пока ты еще на пути с ним, чтобы соперник не отдал тебя судье, а судья не отдал бы тебя слуге, и не ввергли бы тебя в темницу; Истинно говорю тебе: ты не выйдешь оттуда, пока не отдашь до последнего кодранта» (Мф. 5:25—26); «И то уже весьма унизительно для вас, что вы имеете тяжбы между собою. Для чего бы вам лучше не оставаться обиженными? для чего бы вам лучше не терпеть лишения?» (1 Кор. 6:7). Преступление заповедей подчеркнуто и тем, что герои продолжают враждовать в самой церкви, хотя сказано: «Итак облекитесь, как избранные Божии, святые и возлюбленные, в милосердие, благость, смиренномудрие, кротость, долготерпение, снисходя друг другу и прощая взаимно, если кто на кого имеет жалобу: как Христос простил вас, так и вы» (Кол. 3:12—13). Из жалобы Ивана Ивановича на соседа следует, что они — прихожане церкви Трех Святителей (то есть Василия Великого, Григория Богослова, Иоанна Златоуста, живших в Константинополе в IV в.). Эти Святители были самыми любимыми и почитаемыми иерархами Византии.

Но представлять их единым целым стали позже, в XI в., когда спор об их значимости вспыхнул среди «самых образованных и искуснейших в красноречии людей». Одни ставили выше Василия Великого, другие Григория Богослова, третьи — Иоанна Златоуста. Тогда Святители привиделись песнописцу Иоанну Мавроподу, митрополиту Евхаитскому; они заявили о своем равенстве пред Господом, повелев праздновать память их в один день и сочинить гимны для общего последования. В их честь был установлен праздник, сочинены каноны, гимны, стихотворения, их впервые изобразили на иконах. Учения Трех Святителей, их богословские сочинения и они сами для Церкви — одна из основ Православной веры, пример христианского согласия и борьбы с ересью, необходимый в дни духовных шатаний и нестроений.

Сюжет о нехристианской вражде между соседями в Миргородском уезде, использованный Гоголем, был прежде разработан в повести В. Т. Нарежного «Два Ивана, или Страсть к тяжбам» (см. выше, с. 439). Вместе с тем характеристика героев обнаруживает мотивы произведений русской «смеховой» литературы о братьях Фо́ме и Ерёме — неудачниках во всем, за что ни возьмутся. И хотя братья постоянно противопоставлены друг другу, все противоречия оказываются мнимыми — это, скорее, пародия или карикатура на контраст (как в гоголевской повести[23]): «Ерема был крив, а Фома з бельмом, Ерема был плешив, а Фома шелудив...» И погибают оба так же нелепо, как и жили. Данный сюжет был широко известен по распространявшейся с начала XVIII в. лубочной картинке, его использовали в народном театре и зазывалы балаганов (см.: Ерема и Фома // *Фольклорный театр*, 424—426).

Воздействие театра, и особенно вертепа, прямо упомянутого в повести, заметно в развитии ее сюжета, диалогах героев, архитектонике ключевых сцен (ссора, уничтожение хлева, попытка примирить врагов, встреча в церкви). Особенности же комического сказа: его алогизм, нагромождение деталей, отступления, уводящие в сторону от действия, принципы речевой характеристики персонажей — во многом напоминали читателю известный роман Л. Стерна «Жизнь и мнения Тристрама Шенди, джентльмена» (1760—1767, рус. пер.: 1804—1807), что не раз было отмечено критикой (см., например: *БдЧ*. 1836. № 4). Однако фарсовый колорит действия обусловливали не только литературная и фольклорная традиции, прямая и скрытая цитация малороссийских комедий И. П. Котляревского и В. А. Гоголя-отца, но и успешные драматические опыты самого Гоголя, на которые указал М. П. Погодин (см. выше, с. 416).

Заглавие повести пародировало названия известных в России конца XVIII в. авантюрно-нравоописательных произведений, в большинстве переведенных с французского — такие, как «Повесть забавная о двух турках...» или «Повесть о страстях или приключениях...». Явно пародийными были названия глав, восходящие к переводным романам Г. Филдинга, М. де Сервантеса и популярному роману А.-Р. Лесажа «История Жиль Блаза из Сантильяны» (например, «Глава I. Что сделали Жиль Блаз и его товарищи, расставшись с графом Поланом»; в «Истории Тома Джонса, найденыша»

---

[23] Несколько иначе тот же комический прием использовал Нарежный: дочери пана Занозы, увлеченные сыновьями его врагов, спорили, сравнивая достоинства своих возлюбленных, и не могли прийти к согласию.

Г. Филдинга есть «Глава III, которая еще важнее прежней» и т. п.; подробнее см.: II, 758—759) или к «Балладе, в которой описывается, как одна старушка ехала на черном коне вдвоем и кто сидел впереди» Р. Саути. В повести также пародировались формы и язык судебных бумаг, поданных Иваном Ивановичем и Иваном Никифоровичем друг на друга в поветовый суд, напоминавших определения сотенной канцелярии в «Двух Иванах» В. Т. Нарежного. Сходство этих «документов» подкреплялось опорой Гоголя на примеры украинско-русского «приказного» бумаготворчества из «Книги всякой всячины» и на распространенные тогда канцелярские образцы жалоб в поветовый суд — как, например, в книге И. А. Моркова «Всеобщий стряпчий, или Поверенный, показующий формы и обряды, как и на какой бумаге пишутся...» (6-е изд. датировано 1821 г.).

Изображение «неправедного» судопроизводства в основном опиралось на ту же повесть Нарежного о двух Иванах и, конечно, на знаменитую комедию «Ябеда» (1798) В. В. Капниста, которого Гоголь знал с детства, басню его друга И. И. Хемницера «Два соседа» (1779), где изображена разорительная тяжба из-за свиньи. Картину абсурдных судебных порядков запечатлели и популярные в то время переводные романы В. Скотта «Эдинбургская темница» (1818; рус. пер. — 1825), О. Бальзака «Турский священник» (изд. и рус. пер. — 1832), Ф. Купера «Пионеры» (1823; рус. пер. — «Поселенцы», 1832). Изображение «земного града» глупцов и подобного им «правосудия» в книге К. М. Виланда «История абдеритов» (1780; рус. пер.: 1793—1795) во многом напоминает гоголевский Миргород (отмечено: *Вайскопф*, 311—312).

Финальный эпизод в церкви перекликается с пессимистической концовкой «Бала» (1833) В. Ф. Одоевского: «темная музыка» страстей управляла танцующими «в сладострастном безумии» на бесовском балу, и утром рассказчик ушел оттуда, «истерзанный... мучительным весельем... выскочил на улицу из душных комнат» и увидел «растворенные двери храма.

Я вошел; в церкви пусто, одна свеча горела пред иконою, и тихий голос священника раздавался под сводами; он произносил заветные слова любви, веры, надежды; он возвещал таинство искупления, он говорил о том, кто соединил в себе все страдания человека; он говорил о высоком созерцании божества, о мире душевном, о милосердии к ближнему, о братском соединении человечества, о забвении обид, о прощении врагам, о тщете замыслов богопротивных, о беспрерывном совершенствовании души человека, о смирении пред судьбами Всевышнего; он молился об оглашенных, о предстоящих[24]!

Я бросился к притвору храма, хотел удержать беснующихся страдальцев, сорвать с сладострастного ложа их помертвелое сердце, возбудить его от холодного сна огненною гармониею любви и веры, — но уже было поздно! — все проехали мимо церкви, и никто не слыхал слов священника» (Новоселье. Ч. 1. СПб., 1833; цит. по изд.: *Русские альманахи*, 418; отмечено: *Вайскопф*, 311—312).

---

[24] Оглашенные — люди, еще не принявшие крещение, но уже наставляемые в основах веры (церк.-слав. *оглашенный* означает «желающий принять Святое Крещение и учащийся христианским догматам»); в православной церкви они могут находиться только в притворе храма и не участвуют в церковных таинствах. Предстоящие — участвующие в церковной службе.

Следует пояснить русские и украинские имена и отчества, значение которых, известное читателям того времени, было использовано для характеристики персонажей. Так, русское имя *Иван* (др.-евр. Иоанн — 'милость Божья') было тогда самым распространенным в России, нарицательным для обычного, «среднего» человека, а значит и герой по имени Иван Иванович в высшей степени зауряден, «усреднен». Отчество Ивана Никифоровича добавляет к его имени некую «избранность» (греч. Никифор — 'свет народа'). Его сожительница Агафия Федосеевна оказывается тезкой украинской девки Гапки, живущей с Иваном Ивановичем: «Гапа, Гапка, Гапуся — Агафия» («Имена, даемые при крещении»); это греческое имя со значением «хорошая, мудрая». Отчество Агафии Федосеевны — патроним от Федосий (Феодосий — др.-греч. 'Богом данный') как бы намекает на то, что она свыше предназначена сожителю, несмотря на его сопротивление; кроме того, сразу же сказано, что эта достойная мудрая женщина — «та самая, что откусила ухо у заседателя». Городничий Петр Федорович, из бывших военных, — полный тезка несчастного Петра III, как известно, больше всего любившего игру в солдатики и военные парады. Променявший все свое имение, трусливый приживала носит имя полководца Антона (греч. Антоний — 'вступающий в бой, состязающийся в силе'), его отчество Прокофьевич — патроним от Прокофий (греч. Прокопий — 'опережающий, устанавливающий'); патрон этого имени Прокопий Кесарийский слыл образцом аскетизма: раздав имение нуждающимся, сам скитался и нищенствовал. Этот и остальные герои повести имеют христианские имена, изначально освященные их носителями (см. примеч. 20, 38—39, 42—43, 48, 57, 62, 68), но противоречат явной бездуховностью и пошлостью значению своего имени.

Все это привлекает внимание к хронологии повести — единственной в цикле, время действия которой точно датируется. В прошении Ивана Ивановича сказано, что «смертельная обида» была ему учинена «сего 1810 года июля 7 дня». А перед ссорой он говорит соседу, что «три короля объявили войну царю нашему» и, по его предположению, «хотят, чтобы мы все приняли турецкую веру». И хотя факты явно искажены, это сообщение имеет реальную основу: в 1809 г. Россия действительно вела три войны: Русско-турецкую (1806—1812) и Русско-шведскую (1808—1809), а летом 1809 г. формально участвовала в войне с Австрией на стороне Франции. Далее говорится, что нога городничего была «прострелена в последней кампании» 1807 г. (когда, по словам героя, он «перелез через забор к одной хорошенькой немке». — *Кошелев*, 62). В прошении Ивана Никифоровича уточнена дата происшествия — «7-го числа прошлого месяца» (то есть прошел почти месяц, пока стороны начали тяжбу), повторное же его прошение, взамен утащенного «бурой свиньей», в суде «пометили, записали, выставили нумер, вшили, расписались — всё в один и тот же день, и положили дело в шкаф, где оно лежало, лежало, лежало — год, другой, третий» (с 1810 г.). Итак, городничий дает «ассамблею» в 1813 г., но при этом в доме отставного военного не упоминается про Отечественную войну и Заграничный поход русской армии, — гости говорят «о многих приятных и полезных вещах, как то: о погоде, о собаках, о пшенице, о чепчиках, о жеребцах», наконец, о давней ссоре двух друзей. Затем после неудачной попытки их примирить проходит «целый месяц», пока не пришли в действие «дедовские карбованцы» Ивана Ивановича, и его «с того времени палата из-

вещала ежедневно, что дело кончится завтра, в продолжение десяти лет!» (по 1823 г.). Дальнейшее повествование связывает это общее время действия с личным временем рассказчика: он оказался в Миргороде «назад тому лет пять», после того как не был в нем «двенадцать лет» (всего примерно 16—18, при конечной дате появления повести как «вести о прошедшем» в 1834 г.), — следовательно, он покинул город не раньше 1816 г., когда ход (исход!) тяжбы был вполне ясен.

Повесть о двух Иванах и сам сборник «Миргород» вызвали негодование некоторых земляков Гоголя. В связи с выходом в свет первого тома «Мертвых душ» А. С. Данилевский, однокашник писателя, с которым они вместе приехали в Петербург, писал ему в ноябре 1842 г. из Миргорода: «Патриоты нашего уезда, питая к тебе непримиримую вражду, теперь благодарны уже за то, что ты пощадил Миргород. Я слышал между прочими мнение одного, который может служить оракулом этого класса господ, осыпавшего такими похвалами твои „Мертвые души", что я сначала усомнился было в его искренности; но жестокая хула и негодование на твой „Миргород" помирили меня с нею. „Как! — говорил он, — миргородский уезд произвел до тридцати генералов, адмиралов, министров, путешественников вокруг света (черт знает где он их взял!), проповедников (не шутка!), водевилиста, который начал писать водевили, когда их не писали и в Париже". Это относилось к Нарежному, как после объяснил он, и проч. и проч.; всех припомнить не могу!» (*Переписка Гоголя*. Т. 1. С. 71). По воспоминаниям современников, записанным В. А. Гиляровским, «после того уже как появился рассказ об Иване Ивановиче и Иване Никифоровиче» — М. И. Гоголь поехала «по делу в поветовый суд» Миргорода, там «чиновники были так злы на Гоголя, что Марье Ивановне не предложили сесть, и она простояла часа два, пока не получила нужную справку» (цит. по изд.: *Кошелев*, 58).

Сам Гоголь, обращаясь в ноябре 1850 г. к А. М. Трахимовскому с рекомендацией о выдвижении в депутаты по Миргородскому уезду Д. А. Трощинского, писал: «Придает еще шпоры моей просьбе и неприятный отзыв о Миргородском уезде, который случилось мне услышать дорогою от дворянства других уездов, будто бы они (миргородские. — *В. Д.*) глуше и невежественней всех прочих в Полтавской губернии. Что уездный наш город Миргород плох, мы это знаем сами и над ним смеемся. Но пустынность уездного города и непроцветание его скорее показывает то, что дворяне сидят по местам и заняты делом, а не баклушничают по городам. Дворяне других уездов уже и позабыли, что лучшие губернские предводители, и притом более других пребывавшие в этом звании, были все из Миргородского уезда» (XIV, 212).

П. В. Анненков вспоминал, как Гоголь сначала «сомнительно и даже отчасти грустно» отвечал на «похвалы, расточаемые новой повести» его о двух Иванах: «Это вы говорите, — сказал он, — а другие считают ее фарсом» (*Анненков*, 61). У Константина Аксакова появление «Повести...» в альманахе «Новоселье» 1834 г. вызвало тогда «впечатление... что может равняться радостному, сильному чувству художественного откровения», «новой небывалой художественности» (цит. по изд.: *Аксаков К. С.* Воспоминания студентства 1832—1835 годов. СПб., 1911. С. 27—28).

[1] *Славная бекеша... А какие смушки!* — Бекеша — род сюртука или кафтана для верховой езды, обычно на меху, здесь: на смушках — «мерлушках» («Малороссийские слова»), выделанных шкурках новорожденных ягнят особой породы овец.

[2] *Заседатель* — выборный член уездного суда.

[3] *Очерет* — «тростник» («Малороссийские слова»); камыш.

[4] *Комиссар* — здесь: заведующий припасами (*Словарь Даля*, II, 147).

[5] *Хорол* — название реки, а также уездного города в Полтавской губернии; чтобы попасть из Хорола через Миргород в Полтаву, нужно было сделать значительный крюк.

[6] *Протопоп* — высший сан священника; также настоятель собора, не имеющий прихода.

[7] *Колиберда* (Келеберда) — местечко на берегу Днепра в Кременчугском уезде Полтавской губернии.

[8] *Иван Иванович... обыкновенно помещается на крылосе и очень хорошо подтягивает басом.* — Крылос (искаж. «клирос») — возвышенная предалтарная часть у иконостаса, где во время богослужения находятся певчие, чтецы и причетники, а также лица священного сана, если они непосредственно не участвуют в службе; все поющие на клиросе представляют хоры ангелов, воспевающие славу Божию. Поэтому Иван Иванович, который не читает и не поет, а лишь «подтягивает», не должен там находиться.

[9] *Здорово, небого!* — Небого (укр.) — бедная, убогая, нищая. Далее диалог героя с нищенкой идет по образцу известной вертепной интермедии, в которой цыганка за свою «ворожбу» и «танцы» требовала у запорожца: «Не жалу́й, батеньку, копієчки, та дай дві». — «Що ти, циганко, кажеш? Бо як просять, то недочуваю (недослышу)». Цыганка повторяет просьбу; запорожец удивляется: «Да на що тобі?» — «Я б собі рибки купила», — отвечает она. «А може б ти и товченики* їла?» — «Та їла б, та де-то їх узять!» — «Чому ти мені давно не сказала! — восклицает запорожец. — Я б тобі оцю повну пазушину (вот такую полную запазуху) наздавав. От тобі товченики!» — приговаривает он и бьет цыганку (*Перетц 1895*, 144; украинские слова приведены в современном их написании).

[10] *Чего ж ты стоишь? ведь я тебя не бью!* — Ср. в Соборном послании св. апостола Иакова: «Если брат или сестра наги и не имеют дневного пропитания, А кто-нибудь из вас скажет им: „идите с миром, грейтесь и питайтесь“, но не даст им потребного для тела: что пользы? Так и вера, если не имеет дел, мертва сама по себе» (2:15—17), а также в Первом соборном послании апостола Иоанна Богослова: «Любовь познали мы в том, что Он положил за нас душу Свою: и мы должны полагать души свои за братьев. А кто имеет достаток в мире, но, видя брата своего в нужде, затворяет от него сердце свое, — как пребывает в том любовь Божия? Дети мои! станем любить не словом или языком, но делом и истиною» (3:16—18).

[11] *Ижица* — название последней буквы (ѵ) в гражданском алфавите того времени.

[12] *Казимировые* — из казимира, легкой полушерстяной ткани, тоньше сукна.

---

* *Товченики* — блюдо из вареной толченой рыбы с мукой.

[13] *Бешмет* — стеганый или суконный однобортный короткий кафтан, который застегивался на крючки.

[14] *Шпага* — холодное колющее оружие с прямым длинным клинком; здесь: гражданская форменная шпага, которую в России ввели с конца XVIII в. как атрибут дворянина-чиновника любого класса; согласно декоративной функции, клинок обычно был тонким и гибким. В те времена шутили, что гражданские шпаги носят «на страх врагам и на погибель женщинам».

[15] *...жилет, обложенный золотым позументом...* — здесь: обшитый галуном.

[16] *Царь Ирод* — здесь: персонаж народного театра, его атрибуты — порфира и корона; он появлялся на сцене вместе с воинами, принимал «царей» (волхвов, пришедших поклониться Христу), велеречиво говорил с ними, а когда те исчезали, не простившись, Ирод гневался на них и велел «избивать младенцев» при матерях; далее он приказывал воинам не пускать к нему приближающуюся Смерть (в виде скелета с косою) — она звала на помощь черта, затем убивала Ирода косой, и черт тащил его в ад (*Перетц 1895*, 138—139). Прототипом персонажа являлся герой евангельской истории (Мф. 2:1—18), царь Иудеи Ирод I Великий (ок. 73—4 до н. э.; царь с 40 г.), который был мнительным властолюбцем, беспощадно уничтожавшим соперников, даже родственников; имя его стало нарицательным для великого злодея.

[17] *... на Антона, ведущего козу...* — Антон — персонаж вертепной интермедии «Антон ведет козу на базар», имя которого означает «полководец» (см. с. 492).

[18] *Чепрак* — подстилка под конское седло поверх потника.

[19] *Нанковые* — из нанки (от искаж. названия г. Нанкин в Китае), грубой ткани-китайки из толстой пряжи, как правило, желтого цвета.

[20] *Горпина* — укр. форма имени Агриппина («Имена, даемые при крещении»; греч. 'сельская жительница, крестьянка').

[21] *Сорочинцы* — село в Миргородском уезде, место проведения ярмарок; известно с 1620-х годов.

[22] *Канупер* — «трава» («Малороссийские слова»); бальзамин.

[23] *Качка* — утка («Малороссийские слова»).

[24] *Ваши волы пасутся на моей степи, и я ни разу не занимал их.* — То есть, хотя волы Ивана Ивановича пасутся на пастбище (пажити) Ивана Никифоровича, тот их не использовал.

[25] *...откормил в сажу.* — Саж — «место, где откармливают скотину» («Малороссийские слова»); небольшой хлев.

[26] *...с вами говорить нужно, гороху наевшись.* — Русский перевод украинской пословицы «З тобою говорить, тильки гороху наившись», записанной Гоголем в «Книгу всякой всячины» (раздел «Пословицы, поговорки, приговорки и фразы малороссийские»).

[27] *...нужно и лицо и руки умыть, и самому окуриться.* — Здесь: совершить магические действия, которые считались необходимыми для защиты от нечистой силы, в частности — окурить себя ладаном.

[28] *Штаметовая* — из штамета (стамеда), плотной шерстяной материи.

[29] *Козакин* — см. примеч. 32 к повести «Тарас Бульба».

[30] *Кобылка саврасая* — светло-гнедая с желтизною, с черными хвостом и гривой.

[31] *...книжку, печатанную у Любия Гария и Попова...* — Видимо, имеется в виду переводной роман С.-Ф. Жанлис «Герцогиня де ла Валиер» (М.: В Университетской типографии, у Любия, Гария и Попова, 1804—1805; 2-е изд. — 1815), который будет читать Чичиков — главный герой поэмы «Мертвые души» (1842). В доме старосветских помещиков висел портрет фаворитки французского короля Людовика XIV Лавальер (см. примеч. 12 на с. 444—445). Намек на «фаворитку» и ее незаконнорожденных детей появляется далее, при описании самой книги: «...названия ее Иван Иванович не помнит, потому что девка уже очень давно оторвала верхнюю часть заглавного листка, забавляя дитя...».

[32] *Пономарь* (понамарь) — то же, что дьячок, прислужник в церкви, который, в частности, зажигает свечи, готовит кадило и звонит в колокол.

[33] *Дреколье* — палки, дубины, колья, употребляемые как оружие.

[34] *Поветовый* — уездный (от повет — уезд).

[35] *Зерцало* — здесь: трехгранная, фигурно оформленная, золоченая, увенчанная двуглавым орлом призма с наклеенными на ней тремя указами Петра I: о хранении прав гражданских, о поступках в судебных местах, о государственных уставах, — которая, по закону, была в каждом присутственном месте (учреждении).

[36] *Подсудок* — «заседатель уездного суда» («Малороссийские слова»).

[37] *Бобон* — опухоль, нарыв.

[38] *Захар Прокофьевич* — Захар — др.-евр. 'памятный Богу'; Прокофьевич — патроним от Прокофий (Прокопий — греч. 'опережающий, устанавливающий').

[39] *Демьян Демьянович* — Демьян — от Дамиан (греч. 'покоряющий, усмиряющий').

[40] *...выпил... водки персиковой, настоянной на золототысячник. Была и шафранная...* — См. примеч. 14 к повести «Старосветские помещики». Шафранная (водка) — вероятнее всего, ароматная настойка на шафране, древнейшей специи, получаемой из рыльцев цветков крокуса.

[41] *Позов* (позыв) — «тяжебное прошение» («Малороссийские слова»); вызов на суд.

[42] *Тарас Тихонович* — имя и патроним представляют своего рода оксиморон: укр. имя Тарас (церк. Тарасий, от греч. tarassō — 'волновать, возбуждать, тревожить') также имело значение «бунтовщик, мятежник»; Тихонович — патроним от Тихон (др.-греч. 'счастье', 'удачливый'), кроме того, это имя созвучно русскому слову «тихий».

[43] *Онисиев сын* — устар. укр. патроним от «Онисько, Онисечко — Анисим» («Имена, даемые при крещении»), обычного для духовного сословия имени; его патрон св. Анисим (греч. 'исполнение, завершение') — беглый раб, обращенный в христианство св. Павлом, — распространял веру Христову в разных странах.

[44] *Соха* — здесь: опорный столб деревянной постройки.

[45] *Каганец* — «светильник, состоящий из черепка, наполненного салом» («Малороссийские слова»).

[46] *Протори* — судебные издержки, расходы.

[47] *...купите сантуринского, или никопольского, или хоть просто сделайте пуншику...* — Сантуринское, никопольское — популярные сорта виноград-

ных вин, называвшиеся так по месту производства: острова греческого архипелага Санторин и г. Никополь на Днестре, где была последняя Запорожская Сечь. Пунш — спиртной напиток, для приготовления которого варят ром с сахаром и различными приправами.

[48] *Дорофей Трофимович* — Дорофей (греч. 'дар божий'), Трофимович — патроним от Трофим (греч. 'кормилец').

[49] *...в фризовом подобии полуфрака...* — в короткополой одежде, напоминающей фрак, сшитый из фриза — толстой и ворсистой, как байка, дешевой ткани.

[50] *Фельдъегерь* — военный или правительственный курьер для доставки особо важных документов.

[51] *Ехидненские* — здесь: злобные (от греч. ехидна — согласно Библии, ядовитая змея).

[52] *Тать* — вор, грабитель.

[53] *Филипповка* — Филиппов пост (с 14 ноября ст. ст. до Рождества Христова).

[54] *Аки* — как, подобно.

[55] *Государственный острог* — здесь: тюрьма предварительного заключения (до суда).

[56] *...добре барбарами шмаровать...* — Шмаровать (от нем. schmieren — смазывать) барбарами — здесь: стегать, сечь прутьями. Выражение было заимствовано Гоголем из подлинного документа 1720 г., составленного в миргородской ратуше войтом Закатыленком, городовым атаманом Кузубнею и другими о распутном поведении некой Вацьки Куликивны: «Мы, уряд вышеспецификованный <...> велели сию неверную Вацьку добре барбарами шмароваты и пану сотникове вечно в пекарню отдаты...» (раздел «Документы» в «Книге всякой всячины»). Таким образом, Гоголь применил это выражение еще и в том смысле, что подобное поведение самих героев в Миргороде стало из преступления нормой.

[57] *Орышко* — «Орина, Оришка — Ирина» («Имена, даемые при крещении»). Имя Ирина — древнегреческого происхождения, переводится как «мир», «покой».

[58] *Десятские* — полицейские служители, снаряженные от обывателей.

[59] *Квартальный надзиратель* — полицейский чиновник, в ведении которого находился определенный квартал города.

[60] *...кампания тысяча восемьсот седьмого года...* — неудачные военные действия в Восточной Пруссии российских и прусских войск против войск Наполеона, после чего был заключен невыгодный для России Тильзитский мир (1807).

[61] *Супоросная свинья* — свинья, вынашивающая плод.

[62] *Аграфена Трофимовна* — Аграфена — русская форма имени Агриппина (см. выше, примеч. 20); Трофимовна — патроним от Трофим (греч. 'кормилец').

[63] *Понеже* — поскольку, так как.

[64] *...в приточении ошельмовавшись состоялся.* — Приточиться — случиться, сделаться. Ошельмоваться — показать себя мерзавцем, мошенником, бесчестным человеком.

[65] *Ассамблея* — здесь иронич.: бал, собрание у вельможи.

[66] *Чубук* — деревянная дудка, на которую насаживают табачную трубку (*Словарь Даля*, IV, 611).

[67] *...в серых чекменях... и серяках...* — Чекмень — короткий суконный кафтан в талию со сборками сзади. Серяк — простой серый (грубошерстный) кафтан.

[68] *...Евпл Акинфович, Евтихий Евтихиевич... Савва Гаврилович... Елевферий Елевфериевич, Макар Назарьевич, Фома Григорьевич...* — Евпл Акинфович — редкое крестильное имя Евпл (от греч. eu — 'хорошо', pleo — 'плыть'); Акинфович — патроним от Акинфий (греч. 'яхонт'). Евтихий Евтихиевич — от Евтихий (греч. 'счастливый, успешный'). Савва Гаврилович — Савва — греч. 'родившийся в субботу'; Гаврилович — патроним от Гавриил (др.-евр. 'божественный воин'). Елевферий Елевфериевич — от Елевферий (греч. 'свободный'). Макар Назарьевич — Макар — от церк. Макарий (греч. 'блаженный, счастливый'), Назарьевич — патроним от церк. Назарий (др.-евр. 'посвященный Богу'). Фома Григорьевич — Фома — др.-евр. 'близнец'; Григорьевич — патроним от Григорий (греч. 'бодрствующий, энергичный'); монашеское, пастырское имя, в том числе многих римских пап.

[69] *Мельники* — карточная игра со взятками, которые снова разыгрываются.

[70] *Утрибка* — «кушанье из внутренностей» («Малороссийские слова»).

[71] *...о том соусе, который подавался обхваченный весь винным пламенем...* — По сообщению О. А. Дехановой, речь идет о фламбировании (от фр. flamber — опаливать), которое используется на завершающей стадии приготовления для создания торжественно-декоративного эффекта и придания блюду окончательного вкуса, когда блюдо или соус — как правило, уже поданные на стол, — поливают спиртом, коньяком или ромом и поджигают. «Фламбирование всегда было высшим кулинарным шиком, к которому могли прибегать лишь высококвалифицированные специалисты, поскольку этот прием весьма рискован и требует особенного навыка, а также высокого качества сырья» (*Похлебкин В. В.* Кулинарный словарь. М., 2002. С. 418).

[72] *Каплун* — выхолощенный петух, откармливаемый на жаркое.

[73] *Дирекция* — здесь: направление основного движения.

[74] *Карбованец* — украинское название серебряного рубля.

[75] *Дело было перенесено в палату.* — Имеется в виду гражданская палата как высшее судебное учреждение данной губернии.

[76] *...везде стояли шесты с привязанным вверху пуком соломы: производилась какая-то новая планировка!* — О перепланировке Полтавы, сносе старых и строительстве новых домов как о нужном, хотя и нелегком очищении от старого шла речь в комической опере И. П. Котляревского «Наталка Полтавка» (1819). В комедии Гоголя «Ревизор» (1836) Городничий прикажет поставить такие же шесты, имитируя деятельность по благоустройству города.

[77] *...застава с будкою, в которой инвалид чинил серые доспехи...* — Городская застава представляла собой караул с караульным помещением-будкой и заграждением в виде шлагбаума; здесь, при въезде в город, взимали пошлины, проверяли пассажиров и грузы; обычно службу нес отставной военный-инвалид (и, судя по описанию, не усердствовал).

ДОПОЛНЕНИЯ

БИСАВРЮК, ИЛИ ВЕЧЕР НАКАНУНЕ ИВАНА-КУПАЛА

Впервые: Отечественные записки. 1830. Ч. 41. № 118. Февраль. С. 238—264; № 119. Март. С. 421—442; без подписи. Перепечатано со значительной правкой под сокращенным названием в сборнике «Вечера на хуторе близ Диканьки. Повести, изданные *Пасичником Рудым Паньком*» (Первая книжка. СПб., 1831). Рукописный вариант неизвестен.

Первое печатное прозаическое произведение Н. В. Гоголя было анонимно опубликовано в журнале П. П. Свиньина (1788—1839), литератора, коллекционера, автора исторических и этнографических очерков и обозрений, с которым Гоголь сотрудничал в январе—мае 1830 г. По версии, принятой в гоголеведении, издатель внес правку, исказившую авторский замысел, и Гоголь затем достаточно резко указал на это в предисловии ко 2-й ред. повести в «Вечерах...». Однако отсутствие журнальной редакции с правкой не позволяет говорить, кому она принадлежала. Свиньин весьма жестко редактировал журнал, но поощрял первые опыты молодого автора, был заинтересован его сведениями и, видимо, ввел в круг петербургских художников и литераторов. Гоголь поддерживал его собирательство, исторические и этнографические разработки и, вероятно, вынужден был какое-то время мириться с тем, как были использованы предоставленные им материалы (подробнее об этом: *ПССиП*. Т. 1. С. 711—712).

«Бисаврюк, или Вечер накануне Ивана-Купала» стал первой законченной повестью из будущего состава «Вечеров», работа над ней во второй половине 1829 г. предваряла создание всего цикла. Ее этнографический фон составили сведения, присланные родными из Васильевки по просьбе Гоголя весной—летом 1829 г. (в частности он просил сообщить «названия платья, носимого <...> крестьянскими девками, до последней ленты», «обстоятельное описание свадьбы», «несколько слов <...> о Иване Купале») и затем перенесенные в «Книгу всякой всячины». Фольклорные мотивы, использованные Гоголем в «Вечере накануне Ивана Купала», связаны с народными представлениями об Ивановом дне — великом празднике, почитаемом больше остальных.

Иоанн Креститель (Предтеча), чье Рождество отмечается в Иванов день, провозглашал приближение Царства Божия, призывая людей покаяться в грехах и делать добро ближним. Для покаявшихся он проводил обряд очищения в реке Иордан — «ритуальное крещение водой» (почему и получил имя Крестителя), именно там от него принял крещение Иисус Христос. Сам Предтеча был заключен в темницу за обличение беззакония, а затем обезглавлен (Мф. 14:3—11). Рождество Иоанна Крестителя приходилось у восточных славян на языческий праздник бога земных плодов Купала — в древнем земледельческом календаре это был пик лета с наибольшей активностью солнца, после чего, по восприятию народа, оно «поворачивает» на зиму и постепенно «угасает»: день становится короче, а ночь длиннее. Образ «уходящего» солнца христиане стали воспринимать символом Предтечи, чье Рождество совпадало с днем летнего солнцеворота. На Руси Иоанна нередко именовали «пресветлым

солнцем», но солнцем «угасающим», тогда как рождение Спасителя относили к зимнему солнцестоянию, приравнивали к солнцу «растущему», что соответствует словам Крестителя: «Ему должно расти, а мне умаляться» (Ин. 3:30).

В народном календаре день Ивана Купала (24 июня ст. ст.) вместе с днями Аграфены Купальницы (23 июня) и святых апостолов Петра и Павла (Петров день, 29 июня) образует праздничный цикл («русальную неделю»[25]): это время наивысшего расцвета природы, когда дни — самые длинные в году и самые короткие ночи, солнце в зените, большинство растений цветет, появляются первые плоды. В это время, по народным поверьям, и вода, и земля, и огонь, и растения обретают особую магическую силу, которой славяне приписывали охранительные, очистительные, продуктивные и целебные свойства; приобщение к ней обеспечивало удачу на год. Купальские верования и обряды связаны с природными стихиями: водой и огнем, выступавшим в двух ипостасях — земной (пламя) и небесной (солнце). Огонь и вода понимались как брат и сестра (у восточных славян — Иван и Марья), которые, вступив в любовные отношения, нарушили табу и превратились в растение с желтыми и синими цветами (Иван-да-Марья, «цветок Купалы»). Об этом говорится в Купальских песнях и легендах, восходящих к древним мифам о близнецах: один из них (Иван) связан с жизнью и огнем, а другой (Марья) — со смертью и водой. Отсюда обычай разводить у воды очистительные Купальские костры. В это время очищающую и оздоровляющую силу обретала сама вода: в народе объясняли магию «Купалы» тем, что на восходе дня Ивана Купалы солнце как бы *играет и купается в водах*, — это традиционный образ Купальских песен.

В праздничных ритуалах очищения и оздоровления главную роль играла молодежь, чье состояние соответствовало росту природных сил: парни, девушки, молодые супружеские пары уходили в леса или поля, где устраивали гулянья, разводили костры у воды, водили хороводы, пели, играли в «горелки». Как правило, в магических обрядах участвовали только девушки и молодицы под руководством зрелых женщин, что обусловливалось представлениями о символической связи женщины с плодоносящей землей. Такие обряды «вечером накануне Ивана Купалы» включали сбор трав и цветов, плетение венков, украшение зеленью построек, прыжки через костер (крапиву или букеты зелени), обливание водой, гадания, выслеживание ведьмы и уничтожение ее чучела, ночные бесчинства. В Купальскую ночь, согласно легендам, снимались запреты на любовные отношения между мужчинами и женщинами. С этим соотносятся и Купальские песни о тех, кто нарушал традиционные брачные нормы.

Особое значение в праздник имели поверья и обряды, связанные с миром растений, в том числе сбор ивановских трав и цветов, плетение венков. Были широко распространены легенды о том, что происходит в это время с природой — например, как в зачарованную Купальскую ночь деревья переходят с места на место и говорят друг с другом, шелестя листьями; беседуют между собой и животные, и травы,

---

[25] В «Книге всякой всячины» (раздел «Малор<оссийские> предания, обычаи, обряды») Гоголь записал объяснение этого: «По народному поверью русалки, живущие обыкновенно в Днепре, в сие время расходятся и бегают по лесам и бурьянам до Петрова дня, посему и неделя называется русальною...» (IX, 517).

которые в это время наполняются особыми чудодейственными силами, а в полночь лишь на мгновение раскрывается огненно-красный (издали малиновый), мерцающий цветок папоротника, что дает завладевшему им возможность видеть будущее, а также все клады, как бы глубоко в земле они ни находились. Купальская ночь, наравне со Святками и Рождеством, считалась «неспокойным» временем, когда в обычный мир проникал мир потусторонний. Народные поверья о происках нечистой силы: чертей, демонов, колдунов, ведьм, русалок, — сообщали, как отпугнуть нечисть. О появлении ее в обычном мире предупреждали ряженые в шкуры, в вывороченные мехом наружу шубы или в грязную рваную одежду; они скрывались под масками, надевали рога, скакали верхом на палках. Согласно легендам, проницаемость границ потустороннего мира позволяла получить магические знания, предметы, снадобья, заглянуть в будущее. Традиции «бесовских купальских игрищ», несмотря на строгое церковное осуждение и преследование участников, были живы еще в начале XIX в.

Другие сведения о традициях, обрядах, символике Иванова дня Гоголь мог почерпнуть из распространенных тогда «чародейских травников» (I, 524). Кроме того, мистический план «христианско-языческого» праздника нашел и широкое литературное отражение (например, первой оригинальной балладой В. Скотта был «Иванов вечер», 1800; рус. пер. В. А. Жуковского — 1824; под названием «Замок Смальгольм, или Дунканов вечер»). Очевидно повлияли на повесть также предромантические и романтические оригинальные и переводные произведения: первая часть «Фауста» Гете (1808), «старинная повесть в двух балладах» В. А. Жуковского «Двенадцать спящих дев» (1810—1817; краткое поэтическое переложение немецкого романа Х.-Г. Шписа), повести Л. Тика «Чары любви» («Liebeszauber», 1812; рус. пер. под названием «Колдовство» — 1827) и «Руненберг» («Der Runenberg», 1802; рус. пер. — 1830) — возможно, Гоголь читал их на немецком языке еще в Нежинской гимназии (см.: *Вайскопф*, 93—94). Принципиальным для начинающего автора было использование сюжетных мотивов украинских классических произведений И. П. Котляревского «Перелицованная Энеида» (1798) и «Наталка Полтавка» (1819), а также «малороссийской» повести О. М. Сомова «Русалка» (1829).

[1] *Покровская церковь* — храм Покрова Пресвятой Богородицы, которую Козачество почитает своей Заступницей. Покровская церковь была главной в Запорожской Сече. При основании новой Сечи запорожцы выбирали самое красивое открытое место, в центре его возводили церковь Покрова, а затем вокруг нее все остальные постройки. Мотив Покрова (омофора, распростертого Божьей Матерью над христианами в смертельной опасности) открывает повесть о судьбе Козачества, финал которой можно понимать и как победу церкви над одним из дьявольских воплощений — Бисаврюком.

По преданию, 1 октября 910 г. в осаждаемом сарацинами (мусульманами) Константинополе, во Влахернском храме, где хранилась риза Пресвятой Богородицы, ее пояс и головной покров, св. Андрей (юродивый Христа ради, славянин, в молодости плененный и проданный в рабство в Константинополь) и его ученик Епифаний во время всенощного бдения увидели, как по воздуху идет сама Царица Небесная, окруженная святыми. Остановившись и преклонив колени, она начала со слезами молиться

за всех христиан, просила Господа защитить свой народ от всех врагов, видимых и невидимых. После молитвы Пресвятая Богородица сняла с головы Покров, сиявший ярче солнца, и распростерла его над всеми молящимися, тем самым давая понять, что постоянно молится за свой народ и никогда его не оставит. Сам блистающий Покров после ухода Богородицы сделался невидимым, оставив, однако, после себя святую благодать.

[2] *...удалые подвиги Подковы, Полтора-кожуха и Сагайдачного...* — Речь идет о предводителях Козачества в XVI—начале XVII в. Иван Подкова (Серпяга; казнен в 1578 г.), избранный козаками в атаманы, называл себя братом молдавского господаря Ивони, убитого турками. Слухи об этом дошли до молдаван, недовольных воеводою Петром Хромым, и они отправили в 1577 г. посольство к Подкове, умоляя его стать господарем. С отрядом запорожских козаков атаман пришел в Молдавию и захватил верховную власть. Во время своего короткого правления Подкова отличался добрыми делами (например, приказал отпустить на свободу всех узников, назначенных к продаже). Через два месяца Петр Хромой с войском двинулся к Яссам, но был разбит. Тогда польский король Стефан Баторий написал своему брату, трансильванскому воеводе Христофору, прося о помощи Петру Хромому. После нескольких поражений Подкова решил уйти из Молдавии на Запорожье. Брацлавскому воеводе удалось уговорить его поехать в Варшаву и оправдаться перед Баторием. Однако король в угоду туркам заключил Ивана Подкову под стражу и приказал казнить во Львове в июне 1578 г. Различные источники по-разному оценивают его, называя и авантюристом, и народным героем-освободителем. Согласно «Истории Русов», молдаванин, бывший кузнец Подкова, родственник господарей, был избран гетманом в 1579 г. из полковников. В это же время его дядю Петра Подкову, господаря Валахии, изгнали подданные, и тот попросил о помощи. Гетман Иван Подкова с войском козаков выступил в поход, разбил противника в двух сражениях и подошел к Бухаресту. Его упросили принять господарский престол, но вскоре изменнически убили «в загородном доме на крестинах» у одного вельможи (*ИР*, 29—30). Единственный портрет Ивана Подковы (см. на вклейке) появился в польском альбоме начала XVII в. с надписью: «Был настолько сильным, что не только ломал подковы, но и таляры*. Когда воткнул таляр в деревянную стену, то его нужно было вырубать. Взявшись за заднее колесо, останавливал телегу, запряженную шестью конями (ср., Андрий Бульба. — *В. Д.*). Дышло** ломал о колено. Взяв зубами кадку с медом, перебрасывал ее через голову. Взяв в руки воловий рог, пробил им ворота». Имя Подковы стало легендарным: по одному из преданий, дух его витал над Карпатами; песни о Подкове есть в гоголевской тетради украинских народных песен.

Карп Полтора-кожуха (ум. 1642) — гетман Малороссии в 1639—1642 годах, избран козаками после подавления восстаний Павлюка и Остраницы. Новый гетман и его козаки понимали, что не могут противостоять многочисленным польским войскам,

---

* Таляр (талер; от старонемец. Thaler; швед., норв., голл. — daler; англ. dollar; чеш. и слов. tolar) — польское название большой серебряной монеты, чеканившейся в XVI—XIX веках в богатых европейских странах.

** Дышло — толстая оглобля для парной упряжи.

введенным в то время на Украину, и навязали им партизанскую войну в пограничных с Крымским ханством степях. Там полякам недоставало провианта, зимой они гибли от голода и стужи, а козаки не только уходили от погони, но и при случае захватывали небольшие отряды обессилевшего противника; затем пленных продавали в Крым или обменивали на скот. Летописец иронизировал, что зимой в поисках Полтора-кожуха полякам не помогали и двойные кожухи. Три года держались козаки почти без обоза и теплой одежды, без сообщения с Запорожьем, в столь пустынной местности, что не нашлось и нескольких досок, чтобы сколотить гроб гетману, умершему в 1642 г., и тот был похоронен посреди степи в бочке из-под горелки (*ИР*, 51).

Герой украинских песен и легенд Петр Конашевич (Кононович) Сагайдачный (1570—1622) происходил из православной шляхетской семьи, учился в Острожской школе на Волыни; был домашним учителем в Киеве, откуда отправился на Запорожье, где стал генеральным обозным; здесь же был избран кошевым атаманом. Под его предводительством запорожцы в 1605 г. взяли турецкую крепость Варну, в 1606 г. — Кафу (Феодосию), сожгли турецкий флот и освободили множество христианских невольников. После того как атаман с двадцатитысячным козацким войском в 1618 г. помог королевичу Владиславу под Москвой, он вернулся назад фактически гетманом Малороссии (его стали именовать гетманом Запорожским и все козацкое войско нередко называли Запорожским). Сагайдачный выступал ярым противником униатства: при нем Православная церковь была восстановлена в своих правах. Тогда поляки смирились с этим: им была необходима помощь козаков после поражения от турков под Цецорою в 1620 г. На следующий год гетман участвовал со своим войском в победной для поляков Хотинской битве с турками, был тяжело ранен и уже не оправился от ран: он скончался в 1622 г. и был похоронен в Киево-Братском монастыре. Не смея при Сагайдачном хозяйничать в Малороссии, поляки тотчас по смерти его возобновили прежние гонения на православных (*ИМР*. Ч. 1. С. 182—190; *ИР*, 44—48).

[3] *...за малолетство Богдана...* — В то время, когда Богдан Хмельницкий (ок. 1595—1657) был ребенком — в начале XVII в., после принятия унии.

[4] *...хаты, необмазанные, неукрытые...* — До XVIII в. стены и потолок украинской хаты обычно сплетали из лозняка или очерета (тростника) и залепляли глинистой смесью; лишь иногда их гладко смазывали глиной (отсюда название «мазанка»; ср. описание светлицы в <Главах исторической повести> на с. 454). Неукрытые — без крыши.

[5] *...жили... в землянках...* — Обычным жилищем украинских козаков и запорожцев были курени, вырытые в земле и землей покрытые поверх соломы или очерета, которые вмещали по 10 и более человек (о курене см. примеч. 29 на с. 457).

[6] *А литва? а крымцы?* — Литвой (литвинами) называли и литовцев, и белорусов: их долгое время не различали. Ср.: литвинами Я. Маркович именовал «северных», «лесных» малороссиян, в отличие от малороссиян степных (*Маркович*, 65). Крымцы — крымские татары.

[7] *Гайдамачить* — здесь: разбойничать (от тур. haydamak — нападать).

[8] *Ятка* — здесь описание шалаша в лесу соответствует значению данного слова в повести «Гайдамак» О. Сомова: «Шалаш, где производится на ярманках в Мало-

России продажа хлебного вина» (цит. по изд.: *Русские альманахи*, 189). Ср.: «Ятка, род палатки или шатра» («Малороссийские слова»).

[9] *...слышали какой-то странный, бессмысленный шум и речь совершенно не нашу.* — В славянской мифологии непонятная или неотличимая от природных звуков речь присуща животным и демоническим существам (так ведьма говорит с Бисаврюком «на каком-то чертовском наречии...»).

[10] *Опошнянская дорога* — дорога к местечку Опошня на р. Ворскле в Полтавской губернии. Известная с XII в. Опошня являлась сотенным городом Гадячского полка.

[11] *...а возьмешь — так на следующую ночь как раз и тащится домовой и давай душить за шею, когда на шее монисто ~ бросят в воду, глядь — чертовский перстень или монисто... прямо к тебе в руки.* — Характерный для славянской мифологии мотив неотвязности и неуничтожимости вещей, принадлежащих черту или подаренных чертом (они в огне не горят, в воде не тонут). В украинской традиции последнее связывается с поведением змея-любака — разновидности черта, который может прикинуться лентой или бусами, лежащими на дороге; если девушка их возьмет, черт получает к ней доступ и мучит ее, пока не убьет или не изведет (*ПССиП*. Т. 1. С. 693).

[12] *...церковь во имя Трех Святителей...* — см. об этом в преамбуле примечаний к повести о двух Иванах. Образ разрушенного храма этого имени соответствует морали повествования. На замысел Гоголя могло повлиять сообщение о восстановленном из руин древнем киевском соборе Трех Святителей.

[13] *...почтенный шапар наш Терешко...* — Шапар — церковный староста. «*Терешко*, Терешечко — Терентий» («Имена, даемые при крещении»).

[14] *Иерей* — православный священник, поп.

[15] *Кутья* (сочиво; укр. кутя; белор. куця) — ритуальное поминальное блюдо славян: каша, сваренная из целых зерен пшеницы (реже ячменя или других круп), политая медом (сахарным взваром), иногда с добавлением изюма, орехов, мака. Ее берут в церковь и на кладбище, едят сами и раздают соседям и нищим на помин души. Кроме годовых поминальных праздников, восточные и западные славяне обязательно варили кутью в сочельник перед Рождеством, Новым годом и Крещением. Зерно и мед кутьи имеют символическое значение: зерно — смерть и воскрешение (Ин. 12:24), мед — будущее блаженство.

[16] *...считать за католика, за врага християнской церкви и всего человеческого рода.* — То есть, фактически, считать дьяволом. Понятие «католик» после Брестской унии 1596 г. стало на Украине символом нечестия. В повести О. М. Сомова «Русалка» отмечено: «Когда Малороссия находилась под властью поляков, тогда взаимная недоверчивость поляков и малороссиян, особливо в простом народе, была в самой сильной степени <...> Католик — было у малороссиян бранчивое слово, сделавшееся народным. И теперь еще употребляется оно в том же смысле необразованными простолюдинами в Малороссии» (Подснежник на 1829. СПб., 1829; цит. по изд.: *Сомов О.* Купалов вечер: Избр. произведения. Киев, 1991. С. 123).

[17] *...по имени Петро Безродный...* — Мотив человека, не имеющего ни рода, ни племени, которого зовут Безродным и который для укоренения использует нечистую силу, встречается в славянском фольклоре (см., например, думу «Смерть Федора Безродного». — *Цертелев*, 48). Этому мотиву соответствует и значение имени Петр

(греч. 'камень'), и литературные и фольклорные параллели Петра с Иудой, основанные на отступничестве евангельского Петра (Лк. 22:55—62).

[18] *...одеть... в новый жупан, затянуть красным поясом...* — Жупан — «род кафтана» («Малороссийские слова»). Красный пояс — здесь: красивый, узорчатый (см. примеч. 33 к повести «Тарас Бульба»).

[19] *Смушки* — «мерлушки» («Малороссийские слова»); выделанные шкурки новорожденных ягнят.

[20] *Смурая свитка* — домотканая, из некрашеной и неотбеленной серой шерсти, повседневная верхняя одежда.

[21] *...тогда еще не заплетали... в дрибушки, переплетенные... синдячками...* — См. словарик к повести на с. 168. В «Книге всякой всячины» (раздел «Одеяния малор<оссиян>») объяснено подробнее: «Дрібушки — мелкие косы, их заплетают по нескольку и обвивают вокруг головы. Синдячки, разноцветные ленты, коими повязывается голова, концы их распускаются по плечам».

[22] *Кунтуш* — здесь: нарядная женская одежда польского происхождения; подробнее см. примеч. 142 к повести «Тарас Бульба».

[23] *...удар макогона об стену, которым... мужик прогоняет кутю, за неимением фузеи и пороха.* — Макогон — деревянный, утолщенный и закругленный книзу пест для перетирания мака и других семян в широком глиняном горшке — макитре. По традиции, на Украине мак для рождественской кутьи перетирал мужчина, отец семейства, читая молитву, а макогон и макитра (желательно — новые) символизировали мужское и женское начало. Прогонять — здесь: смешивать. Фузе́я (пол. fuzyja от фр. fusil — кремень) — старинное гладкоствольное ружье с кремневым замком. Речь идет о славянском рождественском обряде с языческими корнями, широко распространенном и на Украине, когда хозяева приглашали на ужин мороз, ветер и другие природные стихии, души предков, а потом их выпроваживали, стреляя из ружья или ударяя в ворота (стену) макогоном.

[24] *Оселедец* — «чуб... длинный клок волос на голове...» («Малороссийские слова»).

[25] *Наездник* — здесь: разбойник.

[26] *Покучила* — заскучала.

[27] *Полкварты* (полштофа) — 1/16 ведра или 0,6 литра.

[28] *Фляжка* — здесь: бутылка.

[29] *...в эту ночь только и цветет папоротник.* — Папоротник как древнейшее тайнобрачное растение размножается спорами и цвести не может. У восточных славян есть поверье, что единственный раз в году, в ночь перед Иваном Купалой, папоротник цветет жар-цветом (огнем), который стережет нечистая сила. Если сорвать цветок и бежать без оглядки, не обращая внимание на преследование нечистой силы, то цветок дает возможность отрывать клады и получить богатство; тот же, кто обернется, умрет или обезумеет. Согласно украинским легендам, папоротник приносит забвение (см.: *Булашев*, 350—353). Все это отражено в повести: сорвав цветок, Петрусь теряет память, а затем и разум, и саму жизнь.

[30] *Могорич* — магарыч (укр. могарыч) — угощенье при сделках и продажах, род взятки, побора (*Словарь Даля*, II, 288). В «Сказках о кладах» О. Сомов указывал:

«Магарыч — попойка, которою заключаются все домашние сделки малороссийских поселян. Такие магарычи нередко уносят все деньги, вырученные за проданную вещь» (Невский альманах на 1830 год. СПб., 1829; цит. по изд.: *Русские альманахи*, 303).

[31] *...черная собака ~ оборотившись в кошку...* — По народным поверьям, ведьмы с помощью особых мазей из трав, собранных на Купалу, могут обращаться в животных, чаще всего — в собаку и кошку (*Булашев*, 414). Этот мотив Гоголь использует в повести «Майская ночь, или Утопленница» (1831).

[32] *...пока не достанет он человеческой крови, до тех пор клад не будет в его руках.* — По народным поверьям, незаклятый клад может взять каждый, но заклятый клад можно взять, лишь выполнив какие-то условия (обычно — пролив свою или чужую кровь, отдав жизнь родственника, которого добывший клад потом лишается, — ср. мотив гибели Ивася). Если отрывать клад начинает не знающий заклятия, то чем глубже он роет, тем глубже клад уходит в землю (этот мотив Гоголь также использовал в повести «Заколдованное место»).

[33] *...и всё, что попадалось на дороге, гналось за ним в погоню.* — В повести «Страшная месть» такая метафора станет более развернутой: «отчаянному» колдуну «чудилось, что всё со всех сторон бежало ловить его <...> сама дорога, чудилось, мчалась по следам его» (I, 276).

[34] *Шеляг* (шелег) — так на Украине называли в XIX в. русскую копейку, а также «неходячую монетку, бляшку, как игрушку, или для счету, в играх, или на монисто, или в память чего. Денег ни шелега!» (*Словарь Даля*, IV, 627).

[35] *Сытые мешки* — здесь: полные с избытком, под завязку (Там же. С. 377).

[36] *...разрезали коровай, заиграли бандуры, цимбалы, сопилки, кобзы...* — Каравай (укр. коровай) — большой пышный хлеб круглой формы, украшенный растительным и решетчатым орнаментом, а также птичками из теста; покрывался крестообразно двумя рушниками, символизируя пожелания добра, счастья, благополучия жениху и невесте, и водружался перед ней на обеде после бракосочетания. В конце обеда дружка, по благословению старшего за столом, читал молитву «Отче наш» и снимал с каравая рушники, а затем, перевязавшись одним из них через плечо, резал (дробил) каравай по числу гостей; каждый, получая свою долю, должен был дать за нее монету «на разживу» новой семье.

Бандура — «род гитары» («Малороссийские слова»); украинский народный струнный щипковый музыкальный инструмент с большим овальным корпусом и коротким грифом; бандуристы защипывают струны пальцами в специальных наперстках (костях). Цимбалы (пол. cymbaly от греч. кимвал) — род малых гуслей в виде плоского ящика с металлическими струнами, по ним ударяют двумя деревянными молоточками. Сопилка — «род флейты» («Малороссийские слова»); деревянная дудочка с отверстиями, атрибут пастуха. Кобза — «музыкальный инструмент» («Малороссийские слова»); старинный щипковый, род лютни с несколькими парами струн; непременная принадлежность вертепного персонажа — козака Мамая.

[37] *...девушки в красивом головном уборе из алых, синих и розовых стричек, сверх коих повязывался золотой галун ~ скакали в горлице...* — В «Книге всякой всячины» (раздел «Одеяния малор<оссиян>») записано: «*Головной убор* у девки

стрічки, т. е. ленты, а *гальонка* золотая сверх стрічок...» Галун (укр. гальонка, галон) — позумент: золотая, серебряная, мишурная узорчатая лента или тесьма, нашитая на одежду и головной убор. Стрічка (укр.) — лента, а также сам девичий головной убор в виде налобной повязки, украшенной стеклярусом или тесьмой. Горлица (укр.) — народный танец, танцуется кадрилью.

[38] *...молодицы с корабликом на голове, которого верьх был весь сделан из сутозолотой парчи и казался словно выкованным из золота, на затылке с вырезом, из которого выглядывал золотой очипок с двумя выдавшимися, один наперед, другой назад, рожками, самого мелкого черного смушка; в синих из лучшего полутабенеку, с красными клапанами, кунтушах... выбивали гопака.* — Молодица — молодая замужняя женщина, которая, по обычаю, на людях обязана покрывать свои волосы головным убором. Далее пересказано описание старинной женской одежды из «Книги всякой всячины» (раздел «Одеяния малор<оссиян>»), которое сообщила, по просьбе сына, М. И. Гоголь в письме от 4 июня 1829 г. О кораблике — женском головном уборе из парчи, бархата, с оторочкой из дорогого меха (см. на вклейке) — там было сказано: «Вершок его из суто золотой парчи (или насипу) и кажется скованным из золота, и как он на затылке вырезан, то видно из-под него золотой очіпок; околица широкая вокруг головы с двумя рожками: один напереди, другой назади, из черного, самого мелкого, хорошего смушка» (IX, 524). Суто — от «сутий, сущий, настоящий» («Лексикон малороссийский»). Очипок — чепец, головной убор замужней женщины. Гопак (от укр. гопати — прыгать, скакать) — украинский народный импровизационный танец, как правило, мужской (вероятно, восходящий к боевым козацким переплясам), но иногда и парный.

[39] *...парубки ~ рассыпались перед ними мелким бесом и точили лясы на колесах.* — Рассыпа́ться мелким бесом — стараться всячески быть любезным. Точить лясы — (перен.) шутить, смеяться, болтать от нечего делать; в прямом значении: делать балясины (балясы, лясы) — точеные столбики для перил, ограды; это считалось легким, не требующим сосредоточенности занятием, дающим возможность петь, шутить, болтать с окружающими, поэтому балясником называли не только мастера, но и шутника, забавника, балагура (*Словарь Даля*, I, 44). Слово «лясы» здесь употреблено Гоголем в значении «спицы колеса».

[40] *...наряжаться в хари...* — в маски животных, что являлось частью ритуальных свадебных бесчинств.

[41] *...только что корчат цыганок да москалей. Нет, вот, бывало, один оденется жидом, а другой чертом...* — Последний день свадебного обряда на Украине обычно представлял собой пародирование настоящей свадьбы: участники свадьбы рядились, чаще всего цыганами, и ходили по селу, выпрашивая по дворам кур, сало, яйца и другую еду. Иногда на время шуточной свадьбы выбирали пару «молодых» — «деда с бабой» и шутили над ними. — Ср. запись Гоголя в «Книге всякой всячины» (раздел «О свадьбах малороссиян»): «Потом уже гуляют сколько угодно или сколько позволят их обстоятельства, наряжаются в разные костюмы, а более — цыганами, которых они чаще всех видят, играют ихние роли, из чего выходит у них род комедии». Обычными персонажами свадебных бесчинств выступали «черт» и «жид», которые всегда (в соответствии с народными легендами и представлениями вертепа) ожесточенно ссорились

между собою, причем «жид» представлял существо, сотворенное «чертом» по своему образу и подобию, только еще «хитрее и умнее» (*Булашев*, 163).

[42] *...как Царь с Царицею. Дом словно полная чаша; платье-то на них как ясные звезды; еда-то у них мед, да сало, да вареники.* — Переложение восточнославянских свадебных песен, где молодых называли царем и царицею или князем и княгинею.

[43] *...пасмурный и угрюмый, как воробьиная ночь...* — В представлении восточных славян, воробьиная ночь — короткая летняя ночь, с непрерывной грозой и/или зарницами, время разгула нечистой силы, когда черт «меряет воробьев». На Украине так называли одну из июньских ночей накануне Ивана Купалы; бытовало поверье, что только в эту ночь и цветет папоротник.

[44] *Кропивянка* (крапивянка) — птичка, то же, что славка.

[45] *...дети огромными киями гоняли по льду деревянные кубари...* — Кий — здесь: палка; кубарь — деревянный шар (кубарем-волчком играли с помощью кнута или веревки).

[46] *...лед... щуки разбивают... хвостами...* — У славян существует поверье, что весна начинается, когда птичка овсянка поет свою первую песню и щука пробивает лед хвостом. В идиллической «Малороссийской деревне» есть эпизод, когда старуха «выглянув из окна на красное солнушко <...> предсказывает своим внукам тот день, в который *алчная щука разобьет своим хвостом лед*... а это — надобно знать — есть первый шаг весны с неба на землю» (*Кулжинский*, 14). — Ср. в песне-веснянке: «Ах, ну-те, подружки, играть веселее! *И щука на речке разбила уж лед*» (Там же. С. 26).

[47] *Бобыль* — одинокий безземельный крестьянин-бедняк, поденщик.

[48] *Бровко* — нарицательная кличка собаки.

[49] *...на два вершка...* — примерно 9 см.

[50] *...лежала куча серого пеплу, который еще дымился местами.* — По славянским поверьям, после смерти человека, связанного с нечистой силой, остается лишь «груда пеплу», — как в финале повести О. Сомова «Киевские ведьмы» (Новоселье. СПб., 1833. Ч. 1). Жгучее пламя, которое изнутри пожирает героя, может быть сродни любовному: так в повести «Вий» от псаря Микиты, очарованного панночкой, по словам козаков, остается «куча золы да пустое ведро: сгорел совсем; сгорел сам собою».

[51] *...одни битые черепки лежали... на место червонцев.* — Превращение клада в черепки — устойчивый фольклорный мотив рассказов о богатстве, добытом с того света, когда все ценности, полученные от нечистой силы, затем обращаются черепками, мусором, навозом...

[52] *Околодок* (околоток) — участок, охраняемый, «околачиваемый» сторожем с колотушкой; скорее всего, слово образовано от глагола «колотить» (*Словарь Фасмера*, III, 130).

[53] *Дижа* — кадка.

[54] *...возле стоящего в захолустьи развалившегося шинка, который черти долго еще поправляли на свой счет, нельзя было ни пройти, ни проехать.* — Фольклорный мотив гиблого места, где обитает нечистая сила, — обычно это болото, или чащоба, или место преступления, или, как здесь, заброшенное, опустевшее, разрушающееся строение вдали от села и дороги.

Художественные фрагменты

<ГЛАВЫ ИСТОРИЧЕСКОЙ ПОВЕСТИ>

Впервые опубликовано Н. П. Трушковским: Соч. Гоголя. Т. 5. С. 367—411; рабочее заглавие <Отрывок неизвестной повести>. В примечании говорилось: «Этот черновой отрывок хранился в числе бумаг, оставленных Гоголем у В. А. Жуковского, и доставлен нам его супругою. Текст его был разбираем многими, но, несмотря на все старания, некоторые слова остались неразобраны, — добавленные же нами, как необходимые для полноты смысла, поставлены в скобках» (С. 367). Текстологическая работа принадлежала в основном О. М. Бодянскому.

Автограф расположен на 5 полулистах, вырезанных, по утверждению исследователей, из записной книги *РМ*, где в черновом тексте «Портрета» между с. 172—173 остались корешки, точно совпадающие с этими пятью вырезанными страницами (*Соч., 10-е изд.* Т. V. С. 549).

В Собрании сочинений и писем Гоголя (СПб., 1857. Т. 3; под ред. П. А. Кулиша) набросок был озаглавлен <Остраница, начало исторического романа>. Затем под названием <Несколько глав из неоконченной повести> этот же текст с приписками, обнаруженными и скопированными П. А. Кулишом (ОР ИРЛИ. Ф. 652. Оп. 2. Ед. хр. 56. № 59—62) и позднее атрибутированными Н. С. Тихонравовым, был воспроизведен в *Соч., 10-е изд.* (Т. V. С. 71—93, 550—551) и послужил основой последующих изданий, поскольку рукопись после работ Бодянского считалась утраченной. В середине 1970-х годов этот текст (*РГ*) вновь нашли и опубликовали, зафиксировав и отдельные разночтения с первопечатным вариантом О. Бодянского, и спорные конъектуры (*Чарушникова*, 185—208). По наблюдению исследователей, «рукопись почти не имеет знаков препинания... заглавных букв, часто это сплошной текст без разделения на предложения <...> Автор не дописывал слова, зачеркивал их и снова писал те же самые, даже не под строкой, а вслед за зачеркнутыми; повторял два раза одно и то же слово в начале предложения и в конце, словно забыв, что уже написал его <...> Весь текст говорит о том, что это самая первая стадия работы над произведением» (Там же. С. 187—188).

Позднее в гоголеведении сложилась традиция прямо соотносить данные главы с историческим романом «Гетьман», о котором Гоголь единственный раз упомянул в «Арабесках», объединив этим примечанием «Главу из исторического романа» с отрывком «Пленник». Однако явные различия во времени действия, различные персонажи, наконец, разные стили изображения в трех фрагментах не позволяют считать их главами одного исторического романа. В более широком плане их взаимосвязь можно объяснить только «идеей» исторического малороссийского романа о гетмане, которая в конце 1820-х—начале 1830-х годов разрабатывалась Гоголем по нескольким линиям и в своем развитии привела к созданию эпопеи «Тарас Бульба» (см. вступ. статью).

Черновая рукописная редакция (*РГ*) разделена на 5 (предположительно — 6) небольших главок, явно меньших, чем обычные главы романа того времени. О событиях, предшествовавших действию, упомянуто кратко, чтобы читатель мог их «довообра-

зить» — согласно известным подробностям жизни различных гетманов, историческим сведениям, часто используемым в романтической литературе сюжетным ходам. Все это позволяет говорить о приметах романтической повести как совокупности эпизодов, важнейших для жизни героя. Потому, вслед за первыми публикаторами, в настоящем издании мы условно называем рукописный отрывок <Главы исторической повести> и датируем его 1829—1830 годами. Об этом свидетельствует историко-этнографический фон, детали которого заимствованы из «Истории Русов» и второго издания «Истории Малой России» (*Казарин*, 44—45, 53), а также из словаря и записей в «Книге всякой всячины» (в частности, при описании бытовых реалий использованы выписки из Академического словаря, словник к сборнику М. Максимовича «Малороссийские песни...» 1827 г. и сведения о старинном украинском быте, присланные М. И. Гоголь в 1829 г.).

Особый интерес представляет перекличка <Глав...> с неопубликованным прологом к исторической трагедии К. Ф. Рылеева «Богдан Хмельницкий» (1825). По своей исторической основе оба отрывка восходят к «Истории Русов», но только этим сходство не исчерпывается — оно типологическое (см. вступ. статью). А точные текстуальные совпадения можно объяснить лишь сведениями, которые Гоголь, вероятнее всего, получил от О. М. Сомова, проживавшего в одной квартире с Рылеевым до его ареста и посвященного в его творческие планы.

Смысловые нестыковки в <Главах...>, вариативность имен героев, различная мотивация их действий наряду с многочисленными механическими поправками в тексте (об этом см. выше), по-видимому, обусловлены тем, что здесь были впервые сведены различные варианты. Поэтому более поздняя датировка (*Казарин*, 33) относится ко времени, когда сводный текст был записан в *РМ*. Судя по всему, его обработка, начатая с точки зрения целого, в основном затронула лишь первую главу. Только в ней, в отличие от других глав, длительное отсутствие героя на родине мотивируется турецким походом 1640 (или 1620) г., в котором принимал участие сотник Хмельницкий (*Рылеев*, 156), и только здесь героя именуют *сотником*, тогда как в остальных главах его отсутствие мотивируют глухие указания на неудачу восстания против поляков и последующее бегство, что отчасти напоминает судьбу гетмана Остраницы.

Поскольку <Главы...> основываются на *ИР* (III, 714—715), Гоголь не мог не знать имени нежинского полковника, поэтому фамилия (прозвище) Остраницы использована здесь для *условного* обозначения персонажа. На это указывает и его переименование. Украинское имя Тарас (от греч. tarassō — волновать, возбуждать, приводить в смятение, тревожить) означало также «мятежник, бунтовщик» и напоминало о гетмане Тарасе Федоро́виче (Трясыло). В народной памяти осталась и его победа над поляками в ночном переяславском сражении 1630 г., известном как «Тарасова ночь», и могучая стать «трехсильного» гетмана. Изначально повествование, датированное 1625 г., видимо, ориентировалось на этого народного героя, чья власть над людьми была «от Бога» (поэтому в тексте Тарасом именуется и атаман запорожцев). Затем персонажа стало характеризовать сочетание имени гетмана-победителя и фамилии легендарного гетмана, который возглавил успешное народное выступление, но потом, подобно Наливайко и Павлюку, был предательски захвачен поляками и варварски казнен. А сходство двух гетманов могло основываться на том, что, согласно

некоторым источникам, и Федоро́вич, и Остраница были выбраны Радой из простых козаков (*Летопись*, 13—14).

В целом же <Главы...> отличаются от других ранних произведений Гоголя откровенно скудным фольклорным фоном. К нему, например, следует отнести «присказки» Остраницы (первая — о том, в какую сторону следует пану крутить свой ус, вторая — о наказанном за глупость школяре), а также редкие присловия, прибаутки, переклички с любовными песнями и описание «народных картинок». Так, подпись к изображению запорожца «Козак, душа правдивая, сорочки не мае» взята из песни в популярной вертепной пьесе 1790 г. (*Розов*, 167). Явное сходство с персонажами народного театра обнаруживает образ польского офицера — грубого, лживого, всегда навеселе, близкий к вертепному изображению пана-угнетателя крестьян и козаков (Там же. С. 168). О вертепе напоминают и фарсовые моменты (традиционная расправа Героя с Янкелем и поляком), и образы болтливо-трусоватого профана Пудько и пьяной няньки Горпины («дура баба»).

Нельзя исключить, что Гоголь изменил дату «1625» на «1645» и соответствующим образом стал перерабатывать текст во избежание историко-смысловых аллюзий с восстанием декабристов 1825 г. (эти аллюзии изначально предполагались и датировкой, и опознаваемой читателем перекличкой с произведениями Рылеева, да и выбором Героя «от Бога»). Но заново обработанный текст дальнейшего продолжения уже не имел — вероятнее всего, потому, что тип Героя перестал устраивать писателя.

Многообразны связи <Глав...> с гоголевской прозой рубежа 1820—1830-х годов. Характерология <Глав...> близка «Главе из исторического романа», главам «малороссийской повести „Страшный кабан"» и повестям «Вечеров...», создававшимся в 1829—1830 годах. В повести «Вечер накануне Ивана Купала» ухаживающий за Пидоркой «лях, обшитый золотом... со шпорами» как бы реализует ревнивые подозрения Остраницы, а употребление имени Ганна-Галя и стилистика объяснения влюбленных роднит <Главы...> с повестью «Майская ночь». Коллизия, когда отец возлюбленной героя «держит вражью сторону», повторяется в повести «Страшная месть».

[1] *Был апрель 1645 года...* — С начала 1640-х годов стычки и даже серьезные бои козаков с польскими войсками на Левобережной Украине стали постоянными. Тогда «Малоросия доведена была поляками до последнего разорения и изнеможения, и всё в ней подобилось тогда некоему хаосу или смешению, грозящему последним разрушением. Никто из жителей не знал и не был обнадежен, кому принадлежит имение его, семейство и самое бытие их, и долго ли оно продлится?» (*ИР*, 56—57).

В рукописной копии «Глав...», которую сделал Кулиш, отмечено, что дата «1645» переправлена из «1625» (ОР ПД. Ф. 652. Оп. 2. Ед. хр. 71. Л. 3; ср.: *ПССиП*. Т. 3. С. 959).

[2] *Паникадило* (греч. 'многосвечник') — большой светильник со многими свечами под куполом церкви.

[3] *...стояли несколько жидов, содержавших, по воле польского правительства, откуп... намечая мелом пасхи, приносимые для освящения христианами.* — «История Русов» сообщала: «Церкви не соглашавшихся на Унию прихожан отданы жидам

в аренду и положена за всякую в них отправу денежная плата»; «...перед праздником Воскресения Христова... продаваемые... на пасху хлебы были под стражей урядников польских. Покупающий пасху униат должен иметь на груди лоскут с надписью „униат“: таковой покупает ее свободно. Не имеющий же начертания того на груди <...> платит дань... В знатнейших городах <...> отдан сбор сей пасочный также в аренду или откуп жидам <...> у таковых хозяев, кои сами пекли пасочные хлебы, досматривали жиды и ценили при церквах на их освящении, намечая все хлебы <...> мелом или углем, чтобы они от дани не ускользнули» (*ИР*, 40—41, 48—49). Все это нашло отражение в украинских летописях и «думах» (см., например: Записки о Южной Руси / Издал П. Кулиш. СПб., 1856. Т. 1. С. 56—58; подробнее см. примеч. 87 к повести «Тарас Бульба»).

Униат — «соединенный», грекокатолик — в противоположность «несоединенным» последователям одной из христианских религий.

[4] *Мушкет* — см. примеч. 3 на с. 475.

[5] *...в галанцях.* — «Галанцi, штаны немецкие» («Лексикон малороссийский»); панталоны в обтяжку (укр.).

[6] *Пейсики* — «жидовские локоны» («Малороссийские слова»).

[7] *Гунство терем-те-те.* — Гунство — ругательство (вероятно, от нем. Hundspfotes — «собачья лапа», но контекст позволяет истолковать это слово и как производное от «гунны» в значении «дикость», букв. «дикарство»). Терем-те-те — распространенное в австро-немецком и западнославянских языках восклицание, означающее «тьфу, пропасть!» или «тысяча чертей!»; оно возникло из венг. teremtete — причастия прошедшего времени от teremteni — «создавать», вошло в гусарский жаргон и стало интернациональным (*Словарь Фасмера*, IV, 47). Подобные слова и выражения армейского жаргона Гоголь, вероятно, узнал от ближайшего друга — А. С. Данилевского, когда тот учился в Школе кавалерийских юнкеров и гвардейских подпрапорщиков (1829—1831).

[8] *Смалец* — «гусиный жир» («Малороссийские слова»), топленое внутреннее сало (укр.).

[9] *Баса мазенята* (басе мазепято) — венгерское матерное выражение, по-видимому, из гусарского жаргона, как и *терем-те-те*, разъясненное в примеч. 7. — См.: *Добродомов И. Г.* Венгерское ругательство в эпистолярии Батюшкова (дополнение к коммент.) // Philologica 2 (1995). С. 265.

[10] *У него еломок краше, чем ваша холопска вяра...* — Еломок (яломо́к) — «жидовская шапочка» («Малороссийские слова»); ермолка. Холопска вяра — это выражение взято из «Истории Русов»: когда «знатнейшее малороссийское шляхетство все почти обратилось... в католичество и осталось в русской религии из народа одно среднее и низшее сословие, то дали они (поляки. — *В. Д.*) новый титул униятству, назвав его „Хлопска вяра“» (*ИР*, 48; указано: *Казарин*, 52—53).

[11] *Ай да Параска! Ай да Пидорка!* — «Параска, Парасочка, Парася — Парасковея» («Имена, даемые при крещении»; от греч. имени Параскева — ‘пятница’), «Пидоря, Пидорка — Федора» (Там же; от греч. ‘Божий дар’) — это типичные украинские женские имена.

[12] *Алгвазил* (от исп. alguacil) — судебный исполнитель.

[13] *Лайдак* (пол. простореч.) — негодяй, подлец, мерзавец.

[14] *Добро́дию* — «сударь, милостивец» («Малороссийские слова»).

[15] *Не Остраница ли вы Омельченко?* — Омельченко — здесь, видимо, патроним от укр. имени «Омелько, Омелян — Емельян» («Имена, даемые при крещении»).

[16] *...пусть ему легко икнется на том свете...* — То есть пусть знает — живые о нем помнят. Основано на бытовом поверье: человек начинает икать, когда его кто-то вспоминает. — Ср. украинское присловье «Нехай йому так легенько ікнеться, як собака з тыну ввірветься» («Пословицы, поговорки, приговорки и фразы малороссийские» в «Книге всякой всячины»).

[17] *Кобеняк* — см. примеч. 101 к повести «Тарас Бульба».

[18] *Кожух* — «тулуп» (Там же); «Кожуг — нагольный тулуп» (*ИМР*. Ч. 1. С. 19).

[19] *Что Дигтяй, Кузубия?* — Прозвища козаков: Дигтяй (Род. п. укр. слова «дігтя». — *Словарь Фасмера*, I, 493) — «черный как деготь»; Кузубия (в «Лексиконе малороссийском»: «Кузубенька, лукошко. Кругл<ый> коробок из липины <...> Козубенька, корзинка») — видимо, о плотном или толстом приземистом человеке.

[20] *...на дне Сивача.* — Сиваш (Гнилое море), мелководные заливы у западного берега Азовского моря. Возможно, имеется в виду сражение с турками под Перекопом в 1620 г. («битва на соленом озере») или турецкий поход 1640 г.

[21] *Пудько* — козацкое прозвище, видимо, от укр. глагола пудити — 'пугать, гнать' (*Словарь Фасмера*, III, 402), которым автор называет трех (!) различных по характеру героев.

[22] *Крашанки* (укр.) — крашеные пасхальные яйца.

[23] *Мизерия* (укр.) — незначительное, мелкое имущество.

[24] *Напросился на дороге жидок один ~ надул, хоть бы чвертку горелки дал...* — В малорусской драме есть сюжет о мужике, которого еврей нанял довезти его с товарами до ярмарки (*Розов*, 128—129). Чвертка (укр.) — четверть штофа или полбутылки, косушка.

[25] *Вербуны* — вербовщики.

[26] *Компанейство* (укр.) — товарищество, но здесь, скорее всего, «компанейское войско» — легкая конница добровольцев (охотников, волонтеров), из которых были образованы «пять полков охочекомонных, называвшихся по фамилиям полковников... и они содержаны на страже пограничной, в низу рек Самары, Буга и Днестра, и получали ежегодно небольшое жалованье, а больше довольствовались звериною и рыбною ловлею; за поведение их отвечали полковники; число же их не определено, но полк считался не более пяти сот человек» (*ИР*, 16; см. также примеч. 7 к повести «Старосветские помещики»).

Охочекомонный (от др.-рус. комонь — конь) — доброволец, являвшийся со своим конем.

[27] *...уже и храмы Божии взяло на откуп жидовство?* — Ср.: «Церкви не соглашавшихся на Унию прихожан отданы жидам в аренду, и положена за всякую в них отправу денежная плата от одного до пяти талеров, а за крещение младенцев и похороны мертвых от одного до четырех злотых» (*ИР*, 40—41; об аренде церквей

см. выше, примеч. 87 к повести «Тарас Бульба», а также: *ИР*, 52, 56; *ИМР*. Ч. 1. С. 178, 203, 217; *Боплан*, 141; *Барабаш*, 134—136). Обобщенный образ «рандарей», которые не только церкви — шляхи, реки, людей, «хрестьянску кровь... орендуют», был создан в думах и малороссийской драме (см.: *Розов*, 107—108, 130—132). Гоголь использовал в <Главах...>, а затем в «Тарасе Бульбе» именно те фрагменты *ИР*, на которых основывался Рылеев, создавая трагедию «Богдан Хмельницкий» и поэму «Наливайко» (1824—1825; см. вступ. статью).

[28] *...что горелка находится <у> врагов Христовых?* — Спиртное продавалось только в арендованных корчмах, и потому «Жиды не дозволяли Козакам иметь для домашнего употребления не только мед, горелку, пиво, но даже и брагу» (*ИМР*. Ч. 1. С. 220).

[29] *Платан* — то же, что явор.

[30] *...посполитый народ!* — То есть крестьяне: «...по селениям свободные миряне, войсковые оклады платящие, и подданные боляр и урядников», — а также «живущие в городах купцы и мещане...» (*ИР*, 8).

[31] *...виноват Король!..* — Здесь король олицетворяет Польско-литовское государство. Видимо, это Сигизмунд III Ваза (1566—1632), король Речи Посполитой с 1587 г., при котором была подписана Брестская уния и на Украину введены польские войска. Его сына Владислава (1595—1648) «История Русов» называет «известным Руским патриотом, ходатайствовавшим некогда за войска Руские у Короля отца своего» (*ИР*, 58), однако, став с 1632 г. королем Владиславом IV, он не смог противостоять всевластию магнатов, которые, «владея в Украине бесчисленными поместьями и находясь в отдалении от оных на своей родине, не обращали внимания на бедствия народа» (*ИМР*. Ч. 1. С. 220) и требовали от правительства дальнейшей полонизации Украины, неуклонного подавления крестьянско-козацких выступлений.

[32] *...у него недостает одной клепки в голове...* — «Клепки — выпуклые дощечки, из которых составляется бочка» («Малороссийские слова»). Само выражение означает: «нет здравого смысла, отчего и все умственные способности рушатся, как посудина без одной клепки» (*Словарь Даля*, II, 117).

[33] *Пашница* — пшеница; «зерновой хлеб, всё, что сеется» (*Словарь Даля*, III, 26).

[34] *Сивуха* — см. примеч. 49 к повести «Вий».

[35] *Осокорь* (укр.) — пирамидальный (черный) тополь, раина.

[36] *...лоза вся в отпрысках.* — Отпрыск — молодой побег дерева, из пня или от корня.

[37] *Повилика* — сорное травянистое растение, не имеющее листьев и корней и живущее на стеблях других растений.

[38] *Глод* (укр.) — боярышник.

[39] *Светлица* — белая (чистая) изба с большими, имеющими ставни окнами, обычно на восток (на восход солнца). «Теперь хатою называется простая с малыми окошками изба; напротив того изба или горница с большими окнами именуется *светлицею*» (*ИМР*. Ч. 1. С. 88; курсив автора).

[40] *Серая очеретяная ее крыша...* — Очеретяный — сделанный из тростника (камыша). См. примеч. 3 к «Повести о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем».

[41] *...дам... еще и злотый.* — Здесь не совсем ясно, подразумевается ли польская монета злотый, достоинством в 20 копеек серебром (*Цертелев*, 60), или просто другой пряник — золотой (то есть красивый, пышный).

[42] *Гребля* (укр.) — плотина, насыпь на топком месте.

[43] *Шелковая плахта и кашемировая запаска туго обхватывали стан ее...* — Плахта — «нижняя одежда женщин» типа юбки; запаска — «род шерстяного передника» («Малороссийские слова»). М. И. Гоголь в письме от 4 июня 1829 г. сообщала: «Плахта, вытканная из шелку, и запаска из материи называлась попередница» (IX, 52). Кашемировая — из кашемира, тонкой шерстяной или полушерстяной ткани. «Жены Чиновников Малороссийских и дочери их одевались прежде как ныне крестьянки, с тою только разницею, что, вместо шерстяных полосатых плахт (юпок), обвертывали себя, сверх рубашек, шелковыми, подвязывали их около живота богатым кушаком и имели передники шелковые же, *запасками* называемые; верхняя часть тела, кроме рубашки, ничем не покрывалась. Одежда сия была домашняя» (*ИМР*. Ч. 3. С. 219; курсив автора; см. на вклейке: крестьянка в плахте и запаске — по Ригельману).

[44] *Цветоч* — самый яркий, сияющий, как «Иванов цвет», то есть цветок папоротника в ночь на Ивана Купалу, — «всем цветам цветоч» (*Словарь Даля*, IV, 572).

[45] *Мережки* — здесь: прямые полоски на ткани, прошитые сквозным решетчатым узором по следу вынутых нитей.

[46] *Галочка* — украинское отождествление «Ганна, Галя, Галька — Анна» («Имена, даемые при крещении»; то же в песне «Побег малороссиянки». — *Максимович 1827*, 121) противоречит семантике имен в русском языке, где уменьшительные Галя, Галька восходят к Галине, а значение имени «спокойная, безмятежная» расходится со значением «милость Божия» имени Анна/Иоанн. Вероятно, так обыгрывается украинское имя, чьи варианты принадлежат двум различным русским именам, и это, по мысли Гоголя, отражает «двойственную» природу героини: духовное имя Ганна соответствует ее небесным мечтам, порывам ввысь, имя Галя — земной, чувственной, слабой стороне ее натуры. Таково имя героини в повести «Майская ночь, или Утопленница» (1831) и во фрагменте <Кровавый бандурист> (1832?).

[47] *Ляхи еще не вышли из Украины.* — Согласно историческим источникам, которые использовал Гоголь, польские войска вошли в Малороссию в 1596 г., после принятия Унии: «В городах и местечках расставлены были сильные гарнизоны, имевшие повеление препятствовать народу и Козакам собираться в одно место для поставления Старшин; Униатам же оказывать всякое пособие в обращении Греко-Россиян» (*ИМР*. Ч. 1. С. 171). Освободительное движение имело частичный и непрочный успех. В конце 1630-х годов, после поражения козацко-крестьянских восстаний Павлюка и Остраницы, снова «Поляки властвовали во всей Малороссии. Казалось, со смертию Остраницы угасла навсегда для жителей сего края надежда сделаться свободными» (Там же. С. 219).

[48] *Прися* — «Приська, Прися, Присечка — Евфросиния» («Имена, даемые при крещении»; от греч. — 'радость, веселье'). Это не описка, а возможный вариант украинского имени юной героини. Оно отсылало читателя к малороссийской повести О. М. Сомова «Гайдамак», где, в частности, описывалось, как богатый отец пре-

лестной Приси, несмотря на ее слезную мольбу, отказался выдать свою единственную дочь за бедного и неродовитого возлюбленного. То есть имя могло быть «сокращенной записью сюжетного хода, использованного здесь и затем в шестой главе отрывка» (*ПССиП*. Т. 3. С. 950).

[49] *Галиция* — в «Истории Русов» отмечено, что Галиция — «область Малороссии, имеющая центром Львов <...> В 1339 г. король польский Казимир III завладел Львовом и всею тою страною... Однако Казимир, соединяя Галицию с Польшей... уравнил во всех преимуществах шляхетство и народ тамошний со шляхетством и народом польским, а равномерно и религию русскую греческого исповедания с религиею католическою римскою и утвердил все это своими привилегиями и пактами. И сия часть Малороссии и вся оная земля никогда оружием польским покорена не была...» (*ИР*, 8).

[50] *...хоть к султану...* — Герой мог полагаться на недавнее прошлое: в 1642 г. козацкие войска во главе с гетманом Максимом Гуканом «были запрошены султаном турецким против персов» и воевали в турецкой армии как наемники (*ИР*, 58). Кроме того, турецкие правители делали ставку на вражду поляков с козаками и, нападая на польские границы, рассчитывали, что козаки не будут помогать своим врагам. Так создавалась некая формальная ситуация «антипольского союза», которой мог воспользоваться герой.

[51] *...суконь, эдамашек...* — Сукня — одежда, платье. Едамашка (эдамашка) — старинная шелковая дамасская ткань, бывшая в большой цене; «материя весьма плотная с узорами того же цвета» (раздел «Одеяния малор<оссиян>» в «Книге всякой всячины»).

[52] *Перекоп* — здесь: Крымское ханство; на Перекопском перешейке оно было защищено главной крепостью Перекоп (по крымско-татарскому названию Ор-Капы — «ворота на рву»). Запорожцы ее неоднократно разрушали, но затем она восстанавливалась.

[53] *Запорожье* — здесь Остраница подразумевает не саму Запорожскую Сечь, где женщине нельзя было появиться, а хутора-зимовья и села в «землях Войска Запорожского», где жили подруги и семьи козаков.

[54] *...я выхлопочу грамоту от короля и шляхетства...* — Здесь герой называет грамотой свидетельство на пожалование прав, владений или наград.

[55] *...как хмелинонька... вьюсь к тебе...* — Хмелинонька (от хмелина), ветка хмеля. Наиболее вероятный источник сравнения — народная песня «В огороде хмелинонька», где, в частности, говорилось: «Як хмелине в гору виться — / Тычины немае! / Як дивчине не журиться — / Козак покидае!» (*Максимович 1827*, 50).

[56] *Каганец* — см. примеч. 45 на с. 496.

[57] *Горпина* — укр. форма имени Агриппина (греч. «сельская жительница, крестьянка»).

[58] *Матусенька* (укр.) — матушка.

[59] *Кий* — здесь: палка или дубинка.

[60] *...воевавшего под знаменем Батория.* — Знаменитого польского короля, полководца Стефана Батория (см. примеч. 23 на с. 455). По его приказу с 1577 г. козацкие войска во главе с атаманом Федором Богданом совершили несколько по-

ходов, в результате чего был заключен выгодный мир с турками, и сам «Король... воздал должное Гетману и всему войску Малороссийскому достойную справедливость, наградив заслуги их подарками, почестями и другими преимуществами, мужество отличающими» (*ИР*, 24—26). Однако непосредственно вместе с Баторием дед Остраницы мог воевать только против войск Иоанна Грозного при взятии Полоцка, Великих Лук и осаде Пскова в 1577—1582 годах. Тогда же в реестровом козацком войске начинал служить и полковник Тарас Бульба, как явствует из текста повести.

[61] *Не мае* (укр.) — не имеет.

[62] *...Авраам, прицеливающийся из пистолета в Исаака...* — Версия библейского сюжета о принесении патриархом Авраамом своего сына Исаака в жертву Богу: «И простер Авраам руку свою, и взял нож, чтобы заколоть сына своего» (Быт. 22:10). — Ср. сцену убийства Тарасом Бульбой своего сына Андрия.

[63] *...святой Дамиян, сидящий на колу...* — Св. Дамиан Бессеребренник был искусным лекарем и обладал даром исцелять силою молитвы даже безнадежно больных. В житии св. Дамиана эпизода подобной казни нет. Таким образом, «сцены из Священного Писания» переосмысливают трагические ситуации жизни козаков.

[64] *И вот приехал я на родину сирота сиротою ~ Никого, никого.* — Подобные элегические мотивы сопровождали образ козака в малорусской драме: «Он только что вернулся на родину. Много он испытал горя на чужбине <...> Но невеселы его впечатления от родного пепелища <...> Нет у него более ни имущества, ни семьи... Одна только „мати старенкая“ рада его возвращению» (*Розов*, 106—107; ср. слова Остраницы: «И у меня тоже есть старая мать...»).

[65] *...байбараки, женские парчовые кораблики, белые намитки, синие кунтуши.* — Байбарак — «крытый тулуп» («Лексикон малороссийский»). «Кораблик, старинный головной убор» («Малороссийские слова»). «Намитка, белое женское покрывало из жидкого полотна, носимое на голове женщинами с откинутыми назад концами» («Малороссийские слова»). Кунтуш — здесь: нарядная женская одежда (также см. примеч. 142 к повести «Тарас Бульба»).

[66] *...должен был перецеловаться и принять необозримое множество яиц ~ отблагодарить угощением.* — Ср.: «А на праздники Господские ежегодно, Декабря 25 числа, то есть на Рождество, и на Светлое Воскресение Христово, собравшись <...> прихаживали с поздравлением на поклон, и приносили гнезда по два и по три лисиц и калачи или куличи, что называлось у них ралец; на первой день к Кошевому, которой для праздника и за приход их должен был поить вином и взварцом, то есть взварное вино с медом и сбитнем и медом достаточно, доколе им будет довольно; на второй день ходили к судье, на третий к писарю, а на четвертой к есаулу с таким же приносом, и так же угащивались, как и у Кошевого» (*Ригельман*. Ч. 4. С. 80).

[67] *Держа в руках плеть, он хлестал ею одного из подчиненных своих ~ можно подумать, что он ласкает родного сына...* — Ср.: «Атаманы куренные имеют свою силу при куренях, так что может своего куреня Козака за всякую вину бить, а Козаки куренные его так слушают, как своего отца» (*Мышецкий*, 20; см. также: *Ригельман*. Ч. 4. С. 77). Подобным образом наказывают плетью провинившегося подчиненного герои в романе «Черный год» В. Т. Нарежного: «Страдалец вертелся на все стороны, но мы продолжали свои увещания, крича за каждым ударом: *Плохо, очень плохо!*»

(Черный год, или Горские князья. Соч. Василия Нарежного: В 4 ч. М., 1829. Ч. 1. С. 72).

[68] *Губка* (укр.) — здесь: сушеный древесный гриб, употреблявшийся как трут (фитиль) при высекании огня.

[69] *Скорее солнце посинеет, вместо дождя посыплются раки с неба...* — Это обычная фольклорная «формула невозможного».

ГЛАВА ИЗ ИСТОРИЧЕСКОГО РОМАНА

Впервые: Северные Цветы на 1831 год. СПб., 1831. С. 226—256. Подпись: 0000. С небольшой стилистической правкой перепечатано: Арабески. Ч. I. С. 41—64, — где подстрочное примечание и дата «1830» объединили «Главу...» с отрывком «Пленник» как две главы исторического романа «Гетьман». Больше при жизни Гоголя «Глава...» не печаталась, о существовании исторического романа не упоминалось. Рукописный источник не сохранился.

Первое историческое произведение Гоголя появилось в альманахе Дельвига и Пушкина «Северные Цветы», материалы которого, собранные в сентябре—октябре 1830 г., были отданы в цензуру 15 ноября. Эта дата, как и зависимость, что обнаруживает «Глава...» от вышедшего в самом конце 1829 г. романа М. Н. Загоскина «Юрий Милославский» (об этом см. ниже), позволяет ограничить время ее создания февралем—октябрем 1830 г. В тот период перед Польским восстанием резко обострились российско-польские отношения. Однако, посылая 21 августа 1831 г. альманах своей матери, Гоголь указал иное время работы над «Главой...» и явно вымышленные обстоятельства ее появления в печати: «Книжка вам будет приятна, потому что в ней вы найдете мою статью, которую я писал, бывши еще в нежинской Гимназии. Как она попала сюда, я никак не могу понять. Издатели говорят, что они давно ее получили при письме от неизвестного и если бы прежде знали, что моя, то не поместили бы, не спросивши наперед меня, и потому я прошу вас не объявлять ее моею никому; сохраняйте ее для себя. Приятно похвастать чем-нибудь совершенным; но тем, что носит на себе печать младенческого несовершенства, не совсем приятно. Она подписана четырьмя нулями: 0000» (X, 205).

В. П. Гаевский объяснил подпись как четыре **о** имени и двойной фамилии автора: Никол**о**ай Г**о**г**о**ль-Ян**о**вский (*Кулиш*, 88—89). Но буквенные псевдонимы обычно включают хотя бы один инициал автора, а потому можно полагать, что Гоголь таким образом мистифицировал «осведомленного» читателя, намекая на авторство **О**реста Михайл**о**вича С**о**м**о**ва (1793—1833), уроженца Слободской Украины, журналиста, редактора, переводчика, автора малороссийских повестей. С ним Гоголь познакомился через своего однокашника В. Любича-Романовича и Сомову — фактическому редактору альманаха «Северные Цветы» и «Литературной Газеты» — был, по-видимому, обязан этой и последующими публикациями (см.: *Гиппиус*, 28, 37).

Перепечатка «Главы...» в сборнике «Арабески» носила принципиальный характер. Ее название совпадало с «Главой из исторического романа» А. С. Пушкина в «Северных Цветах на 1829 год». Многое сближало «Главу...» с первым рус-

ским историческим романом М. Н. Загоскина «Юрий Милославский, или Русские в 1612 году» (М., 1829), а также историческими произведениями О. М. Сомова: незаконченной повестью «Гайдамак» (Невский альманах на 1827 год. СПб., 1826. С. 242—286) и «Отрывком из малороссийской повести» (Северные Цветы на 1828 год. СПб., 1827. С. 227—300). Датировка «Главы...» и сопроводительное примечание в «Арабесках» указывали, **кто** создал первый малороссийский исторический роман — в отличие от эпигонских романов Петра Голоты «Иван Мазепа» (М., 1832), «Наливайко, или Времена бедствий Малороссии» (М., 1833), «Хмельницкие, или Присоединение Малороссии» (М., 1834) и романа Ф. В. Булгарина «Мазепа» (СПб., 1833—1834), который Гоголь высмеял (X, 260). В «Главе...» различимы линии «готического» романа (например, вставная легенда о страшном грешнике), сближающие ее с откровенно «готическим» фрагментом «Кровавый бандурист».

Сама же легенда об ужасном грешнике и его раскаянии восходит к вариантам апокрифов о «крестном дереве» и кающемся великом грешнике-разбойнике; апокрифично и представление о вечно зеленой, по благословению Божию, сосне (см. об этом: *Сумцов*, 151). Эти мотивы значительно преобразованы и включают черты других малороссийских поверий, которые затем — тоже трансформированные — будут представлены в «Вечерах на хуторе близ Диканьки». Так, появление пана-дьявола в красном жупане предваряет легенду о красной свитке в повести «Сорочинская ярмарка». Весть о том, что пан раскаялся, обратился к Православной вере и принял схиму, соотносится с ложным раскаянием колдуна из повести «Страшная месть» и с его клятвой стать схимником; причем после убийства настоящего схимника, который отказался молиться за «великого грешника», путь колдуна не зависит от его воли — так же, как путь пана и его дворни после убийства дьякона.

Замысел рассказа о православном дьяконе, повешенном на дереве под окнами панских покоев, мог возникнуть еще у юноши Гоголя, несомненно, знавшего от матери, что происходило в Кибинцах — имении Д. П. Трощинского. Как вспоминала С. В. Капнист, там постоянно жило несколько шутов, чтобы «забавлять старика», в их числе «и священник, отец Варфоломей, расстриженный (как он всем говорил) за то, что он будто бы обвенчал кого-то вместо венцов бубликами. Вероятно, он выдумал это для большей забавы; вообще он был вовсе не глуп и из хитрости представлялся дураком <...> один раз так называемые шутодразнители, сделав чучело в виде отца Варфоломея, во весь рост, в его рясе, совершенно с его физиономией и с седой бородой, повесили его на ближайшем дереве, близ балкона, предупредив, однако, об этом Дмитрия Прокофьевича <Трощинского>, который пришел и, усевшись на балконе, ожидал, улыбаясь, с нетерпением настоящего отца Варфоломея, чтобы посмотреть, какое коленце он выкинет, увидя своего двойника.

Трудно представить себе страх и изумление несчастного Варфоломея, увидевшего себя висевшим на дереве; перекрестясь, он стал на колени, с поднятыми руками к небу, искривив жалобно свою физиономию, <и> сказал с большим умилением: „Благодарю Господа, что это не я!“ Я и теперь живо представляю себе довольную улыбку на лице Дмитрия Прокофьевича и громкий смех всех окружавших его!» (*Капнист-Скалон*, 364—365). Биографическую основу, скорее всего, имел и образ полковника Глечика, бесподобного рассказчика (см. вступ. статью).

Фамилия польского посланца Лапчинский — вероятнее всего, крестьянская и восходит к «лаптям» (это может указывать на его принадлежность к «ополяченной» части козацкой верхушки, хотя есть и смысловая связь с выражением «гусь лапчатый», имевшим негативное значение «вкрадчивый, скрытный, хитро-осторожный»). Саму фамилию Гоголь не выдумывал, а позаимствовал «из более позднего времени: Лапчинский был послом от Подольского воеводства к воеводам Шереметеву и Ромодановскому в 1706 г.» (*Каманин*, 99). Крестьянским было и мирное прозвище козацкого полковника: на Украине глечиком называли «небольшой кувшин или горшок» (Там же. С. 100). А вот польское имя Казимир/Казимеж двусмысленно (кто «указывает», объявляет мир, — то есть *миротворец*, и тот, кто *нарушает* покой/мир). Козаки хорошо помнили, что король Ян Казимир в XIV в. сделал дворянами «всех верных и храбрых малороссиян», служивших ему, а при заключении Зборовского трактата 1649 г. поляками (от лица Яна II Казимира) и козаками Хмельницкого дворянское достоинство получили «многие из Козаков, оказавших на войне важные услуги» (*Маркович Я.*, 36—37). Однако также они не забывали, как Ян II Казимир организовал карательный поход поляков за Днепр и после Переяславской рады при каждом удобном случае старался подкупить козацкую старшину, чтобы использовать в своих целях. Недаром рядом с Казимиром возникает имя Бригиты — чужеродное, западноевропейское[26]. Этим именам в конце «Главы...» будут противопоставлены русские православные имена детей Глечика: Карп, Маруся (Мария). Правда, в «Именах, даемых при Крещении» украинское имя Маруся возводилось к Марине, Марьяне (IX, 513). Трудно сказать, справедливо ли это только для украинского разговорного варианта в то время, или этот вариант тогда совпадал у имен Марина и Мария, или здесь просто ошибка. Но в Петербурге Гоголь уже не мог игнорировать принятый русский разговорный вариант *Маруся—Мария*, который, видимо, и подразумевал в данном ряду имен. Там же оказался представлен и русский вариант имени Хмельницкого: ведь *Федот* (от греч. Феодот — данный Богом) — это по-украински Богдан.

Современная Гоголю критика оценила его исторические фрагменты скупо, но благожелательно. Как заметил В. Г. Белинский в статье «О русской повести и повестях г. Гоголя («Арабески» и «Миргород»)» 1835 г., хотя «об этих отрывках нельзя судить как об отдельном и целом создании; но... они вполне могут служить залогом... надежд» на развитие «прекрасного таланта» (*Белинский*, 183).

[1] ...*Пирятинский повет от Лубенского.* — «Повет, уезд» («Малороссийские слова»). Пирятин — город на Полтавщине, известен с 1155 г. Город Лубны был основан в 988 г. как сторожевая крепость.

[2] ...*полковником миргородского полку?..* — О Миргородском полку см. выше, с. 436.

[3] *Нагольный тулуп* — тулуп, сшитый кожей наружу и не покрытый тканью.

[4] ...*кобеняк из... смурого сукна...* — Кобеняк — см. примеч. 101 к повести «Тарас Бульба». Смурое сукно — домотканое сукно темно-коричневого или серого цвета.

[26] При этом вряд ли учитывалось действительное значение имени Бригита (от Celebrated Bridget, ирландская святая VI в.), синонимичное «решительности», «силе», «святости».

[5] *Пищаль* — тяжелое фитильное ружье, заряжалось с дула свинцовыми или — при необходимости — каменными пулями. Но вряд ли его носили за поясом: видимо, Гоголь здесь путает пищаль с более легким и коротким самопалом (см. ниже, примеч. 18).

[6] *...что только носило название ляха или принадлежало ляхам...* — см. примеч. 16 на с. 454.

[7] *Ромодановский шлях* — старинный торговый путь, который проходил по Левобережной Украине с севера на юг через Ромны—Лохвицу—Лубны—Кременчуг и был частью большого пути из России в Крым.

[8] *Добро́дию* — см. примеч. 14 на с. 513.

[9] *Шляхетство* (от пол. szlachta — шляхта) — польское дворянство.

[10] *Сула* — левый приток Днепра, упомянут в «Слове о полку Игореве» как граница древнерусского государства; на р. Суле стоит г. Лубны.

[11] *Мосьпане* (пол.) — вельможный господин.

[12] *Жито* — необмолоченные снопы.

[13] *Ворскл(а)* — левый приток Днепра; на р. Ворскле стоит г. Полтава.

[14] *Станица* — здесь: застава, стан отряда козаков для защиты засечной черты (линии) — пограничных оборонительных сооружений из деревьев, поваленных вершинами в сторону неприятеля.

[15] *Лохвица* — название реки и города на Полтавщине, известного с 1320 г. В середине XVII в. по р. Лохвице проходила граница Левобережной Украины и Слободской, которая была в составе Русского государства.

[16] *Батог* — «кнут» («Малороссийские слова»).

[17] *Упырь* — «Упир, вампир или оборотень» («Лексикон малороссийский»); по славянской мифологии, упырем становится после смерти человек, рожденный от нечистой силы или испорченный ею; по ночам такой мертвец выходит из могилы, чтобы есть живых людей или высасывать из них кровь (обычно у спящих).

[18] *...бердыши, самопалы...* — Бердыш (пол.) — холодное оружие пехоты в XV—XVII вв.: широкий топор с лезвием в виде вытянутого полумесяца на длинном древке. Самопал — легкое гладкоствольное фитильное ружье, заряжавшееся со ствола.

[19] *Цимбалы и бандуры...* — См. примеч. 36 к повести «Бисаврюк».

[20] *...на крылос...* — Здесь: вверх, на почетное место (от искаж. названия клироса — возвышения для певчих перед алтарем в православной церкви; см. также примеч. 8 к повести о двух Иванах).

[21] *Схимник* (великосхимник) — высшая степень монашества в Православии, для которой обязателен затвор.

[22] *Купала* — день Ивана Купалы или праздник Рождества Св. Иоанна Предтечи (Иванов день) отмечался 24 июня ст. ст. (подробнее об этом см. на с. 499—501).

[23] *...в красном жупане...* — Жупан — верхняя мужская одежда преимущественно из серого или синего сукна. Красной в народной культуре была одежда праздничная или одежда героя демонического плана (как в легенде о красной свитке в повести «Сорочинская ярмарка»). — Ср. в повести «Страшная месть»: колдун «в красном жупане» идет ночью в свой замок, появляется с поляками и под видом названого брата пана Данилы. Видимо, в этих случаях цветовая символика восходит к польскому

королевскому красному стягу с белым орлом — какой, например, даровал козакам в 1649 г. король Ян II Казимир.

[24] *Буколическая жизнь* — идиллическая, мирная, простая жизнь на лоне природы (по названию цикла стихотворений римского поэта Вергилия «Буколики»).

[25] *...хлеб и соль... в знак того, что гость во всякое время может найти радушный прием...* — «Славянин, выходя из дому, оставлял дверь отворенную и пищу готовую для странника» (*ИГР*. Т. I. С. 64). Подобные сведения о гостеприимстве древних славян Гоголь привел в своем сочинении на «частных» испытаниях по русской истории за 9 класс, предварявших публичный выпускной экзамен в Нежинской гимназии в 1828 г. (IX, 15).

[26] *...неопущенная коса...* — неотпущенная, то есть неточеная.

[27] *Могильное равнодушие разливалось на усеянных морщинами чертах ее. Ни искры какой-нибудь живости в глазах! ~ Они ни на что не глядели; им все казалось смутно...* — Ср. с <Главами исторической повести>, где старая мать Ганы-Гали изображена как «иссохнувшее, едва живущее существо <...> несчастный остаток человека... олицетворенное страдание <...> длинное, всё в морщинах, почти бесчувственное лицо <...> губы какого-то мертвого цвета <...> слившиеся в сухие руины черты...» Возможно, такая обрисовка старых женщин и «сосны-мумии» как символов Смерти восходят к описанию старухи Элспет из романа В. Скотта «Антикварий» (1816), у которой неподвижное сморщенное лицо, потухшие глаза, «невнятный, могильный голос», «иссохшая рука» и движения автомата; отрешенная от внешнего мира, старуха ничего не замечает, ибо погружена в прошлое; иногда она кажется «мумией, на минуту оживотворенной давно оставившим ее духом» (цит. рус. перевод: М., 1826. Ч. III. С. 107—109).

[28] *Два уже поженились на чужой стороне, только черт знает какое приданое взяли за невестами: по сажени земли, на которой ничего не родится, кроме полыни и бурьяну.* — Традиционная фольклорная метафора «смерть—свадьба». — Ср. в украинской народной песне, строки из которой Гоголь использовал в повести «Страшная месть» (1832):

Да не плачь, маты, не журися:
Вжеж твий сынок оженывся,
Да й узяв собе паняночку —
В чистом поле земляночку!..

(*Кулжинский*, 133).

Во 2-й редакции повести «Вечер накануне Ивана Купала» будут так же метафоричны трагические размышления Петруся: «...и дьяков не будет на той свадьбе; ворон черный прокрячет, вместо попа, надо мною; гладкое поле будет моя хата; сизая туча — моя крыша...» (I, 143). Эта метафора свойственна не только народной поэзии, но и похоронному обряду (когда хоронили девушку или парня, умерших до брака, их наряжали в свадебные одежды, а сопровождавшие гроб девушки и парни считались дружками и другими участниками свадебного обряда). Мотив гибели двух сыновей повторится в повести «Тарас Бульба».

ПРИМЕЧАНИЯ К ВАРИАНТАМ

[1] *Полшеляга* — ничтожно малая величина, почти ничего (см. примеч. 34 на с. 506).

<КРОВАВЫЙ БАНДУРИСТ>

Впервые большая часть фрагмента опубликована: Арабески. Ч. II. С. 159—172; под заглавием «Пленник (отрывок из Исторического романа)». При жизни Гоголя этот отрывок больше не перепечатывался. Рукописный источник неизвестен.

Изначально полный текст фрагмента, названного «Кровавый бандурист. Глава из романа», с подписью «Гоголь» и датой «1832», предполагал напечатать журнал «Библиотека для Чтения» (1834. Т. II. Отд. I «Русская словесность». С. 221—232), среди будущих авторов которого были объявлены Пушкин и Гоголь. Но если пушкинская повесть «Пиковая дама» была напечатана в том же разделе, то против гоголевской публикации (скорее всего, с ведома обрабатывавшего все материалы О. И. Сенковского) выступил редактор журнала Н. И. Греч. В письме от 20 февраля 1834 г. он буквально умолял цензора А. В. Никитенко: «...Сделайте милость, не позволяйте печатать в „Библиотеке для Чтения“ статьи „Кровавый бандурист“. Эта гнусная картина противна всем цензурным уставам в мире. Мы негодуем на французскую литературу, а сами начинаем писать еще хуже. В звании редактора я исключил статью, но на меня нападают целою ватагою, утверждая, что я это делаю из зависти к таланту г. Гоголя. Помогите Вы, почтеннейший, и попросите помощи князя Михаила Александровича (Дондукова-Корсакова, председателя Петербургского цензурного комитета. — *В. Д.*). Все отцы семейства к вам взывают: не позволяйте гнусных картин хотя в „Библиотеке“. В целом романе пусть читают! Извините меня, что я вмешиваюсь в дело, которое касается меня не прямо. Цензура вольна делать что угодно, но я счел обязанностию обратить Ваше внимание на сей важный предмет...» (цит. по изд.: Лит. наследство. Т. 58. М., 1952. С. 545—546).

«Мнение» А. В. Никитенко, оглашенное 27 февраля 1834 г. на заседании Петербургского цензурного комитета, оказалось выдержано в том же духе: «Прочитав статью <...> „Кровавый бандурист“ <...> я нашел в ней как многие выражения, так и самый предмет в нравственном смысле неприличными. Эта картина страданий и унижения человеческого, написанная совершенно в духе новейшей французской школы, отвратительная, возбуждающая не сострадание и даже не ужас эстетический, а просто омерзение. Посему, имея в виду распоряжение Высшего Начальства о воспрещении новейших французских романов и повестей, я тем менее могу согласиться на пропуск русского сочинения, написанного в их тоне». Комитет, выслушав цензора, определил: «Удержать статью сию при делах и о запрещении оной уведомить прочие ценсурные комитеты» (цит. по изд.: Литературный музеум. Петроград, 1921. Т. 1. С. 352).

Судя по тому, что название «Кровавый бандурист» фигурировало в первоначальном плане сборника «Арабески», Гоголь до июня 1834 г. не оставлял надежды опубликовать всю «главу из романа», а потом отказался от ее кровавого финала и соответственно переменил заглавие на «Пленник». Дата «1830» под этим отрыв-

ком в «Арабесках» была поставлена, видимо, лишь для согласования с «Главой из исторического романа». Запрещенный цензурой финал, начиная с фразы «„Попался, псяюха!“ — говорил усатый предводитель», впервые напечатал журнал «Нива» (1917. № 1. С. 3—6) по корректурному оттиску, хранившемуся в цензурном деле.

Все это позволяет полагать, что в 1831—1832 годах, создавая вторую часть «Вечеров...», Гоголь писал и какое-то большое историческое (видимо, «готическое») произведение, один из набросков которого станет затем «Кровавым бандуристом» и будет соответственно датирован. Предисловие ко второй части «Вечеров...», по мнению исследователей, содержало намек на такое произведение: «...для сказки моей нужно, по крайней мере, три такие книжки» (см.: III, 713).

А явный *анахронизм* во фрагменте показывает, что изображение «рыцарского» и нерыцарского, трагического, чудесно-ужасного, живого «земного» и мертвого «подземного» в данном случае обусловлено авторским пониманием этого периода истории Украины как времени **мифологически-средневекового**, когда в кровавом неустройстве страны, в столкновении вольности и насилия, народного и чужеземного, духовного и телесного отражается противоборство Божественного и дьявольского — как в европейском средневековье.

[1] *Лукомье* (Лукомль) — городок южнее г. Лубны, на реке Сула.

[2] *...он был весь... увязан ружьями... Пушечный лафет был укреплен на спине его.* — Так обращались с пойманными на охоте хищными зверями.

[3] *Терем-те-те* — интернациональное восклицание из армейского (гусарского) жаргона, означающее «тьфу, пропасть!» или «тысяча чертей!» (см. примеч. 7 на с. 512).

[4] *Кромешник* — обитатель «тьмы кромешной» (то есть ада), черт.

[5] *Але* (укр.) — ну, что ж.

[6] *Лайдак* (пол. простореч.) — негодяй, подлец, мерзавец.

[7] *Же* (укр.) — что, если.

[8] *Псяюха* — «польское бранное слово» («Малороссийские слова»); проклятый, сволочь, шельма.

[9] *Басамазенята* (или басе мазепято) — венгерское матерное выражение, вероятно, из гусарского арго, как и *терем-те-те* (см. примеч. 9 на с. 512).

[10] *Нех* (пол.) — пусть.

[11] *Иезуит* — монах католического ордена (от лат. «Societas Jesu» — «Общество Христа»), основанного в 1534 г. Игнатием Лойолой в Париже. Орден считал допустимым свершать ради «вящей славы Божией» любое преступление. Иезуитом был младший сын Сигизмунда III, будущий польский король Ян II Казимир (о нем см. выше, с. 292).

[12] *Наличник* — забрало, часть боевого шлема, закрывающая лицо.

[13] *...трехипостасною силою...* — силой триединого Бога: Отца, Сына и Святого Духа.

[14] *Почти исполинского роста жаба...* — В Священном Писании жаба — орудие наказания Божия и подобие беса; в поэме Д. Мильтона «Потерянный рай» (1667) в виде жабы был изображен Сатана.

[15] *Ковалки* (пол. разг.) — кусочки, остатки, мусор.

[16] *Совершенного мрака нет для глаза.* — В неопубликованной заметке «О поэзии Козлова» Гоголь писал: «Глядя на радужные цвета и краски, которыми кипят и блещут его роскошные картины природы, тотчас узнаешь с грустью, что они уже утрачены для него навеки: зрящему никогда не показались бы они в таком ярком и даже увеличенном блеске. Они могут быть достоянием только такого человека, который давно уже не любовался ими, но верно и сильно сохранил об них воспоминание, которое росло и увеличивалось в горячем воображении и блистало даже в неразлучном с ним мраке» (*Ар.*, 242).

[17] *Жолнер* (пол.) — «жовнір, солдат» («Лексикон малороссийский»).

[18] *Епанча* — старинный широкий плащ без рукавов.

[19] *На цугундру* (цугундер) — на расправу; от нем. zu hundert — к сотне (ударов); видимо, выражение военного арго, обозначавшее приговор к одному из видов телесного наказания.

[20] *...Ганулечка... Галюночка...* — Это «двойное» имя фигурирует и в повести «Майская ночь, или Утопленница» (1832), и в <Главах исторической повести> (см. примеч. 46 на с. 515).

[21] *...тот ужасный черный голос, который слышит человек перед смертью.* — О таком голосе Гоголь упоминает также в «Старосветских помещиках» (см. примеч. 40 на с. 446).

[22] *Фантом* (фр. fantôme) — призрак, видение.

[23] *...это был человек... но без кожи. Кожа была с него содрана ~ Одни жилы синели и простирались по нем ветвями!..* — Возможно, подробности этого образа обусловило впечатление Гоголя от «экорше Гудона» — модели человека с обнаженными мускулами, которую в 1766 г. создал французский скульптор Жан-Антуан Гудон как подготовительную работу для скульптуры Иоанна Крестителя. Копии этой анатомической штудии, приобретенной у автора французской Академией художеств, до сих пор используют при обучении классическому рисунку.

<„МНЕ НУЖНО ВИДЕТЬ ПОЛКОВНИКА“>

Впервые фрагмент (в двух вариантах) опубликовал П. А. Кулиш: Записки о жизни Н. В. Гоголя. Т. I. С. 167—169.

Первый вариант записан на л. 6 тетради *РП* разборчивым почерком, близким к писарскому, идентичным почерку на л. 2, где начинаются фрагменты истории Малороссии (1832). Второй, расширенный вариант записан на обороте этого же листа скорописью и датируется 1833 г.

По предположению исследователей, смущающимся «отроком» у шатра полковника в первоначальном варианте могла быть переодевшаяся в мужское платье возлюбленная Остраницы Ганна-Галя, которую в <Главах исторической повести> он зовет с собой и которая в <Кровавом бандуристе> оказывается пленником, захваченным вместо него поляками. «Если б я была козаком...» — отвечает она на уговоры Остраницы, как бы предвосхищая свое будущее...

[1] *Кунтуш* — см. примеч. 142 к повести «Тарас Бульба».

[2] *Ставка* — здесь: жилье, которое ставится на время (палатка, шатер и т. п.; см.: *Словарь Даля*, IV, 311).

[3] *...эсаул и полковой писарь...* — Есаул (эсаул, от тюрк. ясаул — начальник) — см. примеч. 28 к «Тарасу Бульбе»; полковой есаул, четвертый старшина в полку, «смотрел за исправностию и чистотою оного»; полковой писарь, третий старшина, управлял всеми входящими и исходящими бумагами в полковой канцелярии; оба получали годовое жалованье и владели ранговыми деревнями (см.: *ИМР*. Ч. 3. С. 226—227).

[4] *...в полотняном крашеном кунтуше и шароварах.* — Ср.: «Малороссияне одежду свою заимствовали частию от Поляков и Черкес. Чиновные особы носили... кунтуш или Черкеску с прорезными рукавами; подпоясывались дорогими кушаками. Нижнее платье их состояло из суконных шаравар, порток, также широких, убраньем называемых» (*ИМР*. Ч. 3. С. 217).

[5] *...не пускать далеко на попас...* — Попасать — пасти коней на подножном корму по пути.

[6] *...не стреляли... дрохв...* — Имеется в виду дрофа (драхва), крупная степная птица.

[7] *Мясоед* — время, когда церковь разрешает употребление мясной пищи.

[8] *Сухари та вода — то козацкая еда.* — Малороссийская поговорка. Ср.: «Пища готовились для Козаков, называемая, первая, саламаха, а вторая, тетеря; первая варилась из муки ржаной с водою густо, другая, из муки ж и из пшена жиже, на квасу, или рыбной ухе <...> Которые же хотели при том иметь когда рыбы или мяса, то покупали... на собственные деньги <...> Обыкновенного хлеба в куренях никогда не имели» (*Ригельман*. Ч. 4. С. 81).

Статьи. Заметки. Наброски

ВЗГЛЯД НА СОСТАВЛЕНИЕ МАЛОРОССИИ

В первой публикации: Отрывок из Истории Малороссии. Том I, книга I, глава 1 // *ЖМНП*. 1834. № 4. Отд. II. С. 1—15; с подписью «Н. Гоголь» и подстрочным примечанием: «Автор избрал первую главу Истории Малороссии для помещения в журнале, потому что она представляет нечто целое и вместе служит введением в саму Историю. Приложения и ссылки отлагаются за недостатком места». Под иным названием статья перепечатана в сборнике «Арабески» (Ч. I. С. 187—209; в оглавлении — «Взгляд на Малороссию») с немногими стилистическими поправками, новым текстом подстрочного примечания и датой «1832». При жизни Гоголя статья больше не печаталась.

Четыре черновых фрагмента неполной редакции статьи (*РП*. Л. 2—4) предшествуют черновикам трех «украинских» повестей, позднее вошедших в цикл «Мир-

город», с которыми часть статьи идентична по основному варианту почерка. Однако в ее начале (точнее — продолжении: л. 1 утрачен) почерк соответствует тому, каким вписан на л. 6 *РП* отрывок <„Мне нужно видеть полковника“> и написана в *РМ* бо́льшая часть повести «Ночь перед Рождеством» на рубеже 1831—1832 годов. Примечательно, что о географии Украины Гоголь написал отдельно (л. 3 об.).

Дата «1832» под статьей в «Арабесках» связывает осмысление Гоголем истории Украины с преподаванием Всеобщей истории в Патриотическом институте и завершением «Вечеров на хуторе близ Диканьки», когда занятия всемирной, средневековой, русской и малороссийской историей стали перемежаться. Определенное воздействие на украинские штудии мог оказать неосуществленный «Очерк истории Украйны» (1831), которым А. С. Пушкин занимался ко времени первого знакомства с Гоголем. Обращает на себя внимание и уверенность молодого автора в том, что он скажет «много того, чего... не говорили» до него, и сделает «кое-что не-общее» (X, 284, 294).

В своих разысканиях Гоголь основывался на книге А. Л. Шлёцера «Нестор» (рус. пер. Д. И. Языкова. — СПб., 1809—1811), исторических трудах Н. М. Карамзина, «Истории Малой России» Д. Н. Бантыш-Каменского, «Истории Русов» псевдо-Конисского и «Краткой летописи Малой России...» В. Г. Рубана, а также на компилятивной работе Ж.-Б. Шерера «Annales de la Petite-Russie, ou L'Histoire des Casaques Saparogues et les Casaques de l'Ukraine (Летопись Малой России, или История Казаков запорожских и Казаков украинских)» и записках Г. де Боплана «Описание Украйны» (см. об этом выше, на с. 448). Особое внимание он уделил Киевской летописи (по Хлебниковскому списку), польским и козацким летописям, сведениям о происхождении Козачества, событиям религиозно-освободительных войн, украинским песням (думам), которые он считал народно-историческими источниками.

О том, что Гоголь задумал написать новую «Историю Малой России», свидетельствует запись в дневнике М. П. Погодина летом 1832 г., когда Гоголь был в Москве: «Говорил с ним о малорос<сийской> истории и проч. Большая надежда, если восстановится его здоровье» (цит. по изд.: X, 450). Однако контуры будущего исторического сочинения определились для автора только в конце 1833 г., когда он стал открыто упоминать о своем труде в письмах (см. с. 275). Размах научно-художественного замысла требовал все новых и новых сведений, и, чтобы их привлечь, Гоголь в конце января 1834 г. дал объявление «Об издании Истории Малороссийских казаков». В то же время обработка в научно-поэтическом плане исторического материала пробуждает его творческую фантазию, и тогда создается «художнический» абрис украинской истории «по Гоголю» — «Тарас Бульба» (как полагают исследователи, повесть была вчерне набросана весной 1834 г. — См. об этом выше, на с. 447). Вероятно, это во многом исчерпало и обесценило в глазах автора прежний грандиозный замысел, от которого остались «Отрывок из истории Малороссии», напечатанный вместе со статьей «О малороссийских песнях» в «Журнале Министерства народного просвещения», а также часть выписок, фрагментов и заметок (из них в «Дополнениях» настоящего издания помещен отрывок <Размышления Мазепы>).

С точки зрения современных исследователей, концепция статьи «Взгляд на составление Малороссии» и освещение в ней исторических фактов обнаруживает

прямую зависимость от самого авторитетного в то время историографического труда — «Истории Малой России» (2-е изд. — М., 1830. Ч. 1), откуда, например, позаимствованы черты характеристики великого князя Гедимина, оценка завоевания им украинских земель как захвата и др. (*Казарин*, 58—60). А некоторые оценки и подробности, приведенные в статье, были взяты из «Истории Государства Российского» Н. М. Карамзина или отчетливо полемичны по отношению к ней (см. ниже примечания к тексту). Впрочем, из канонической редакции статьи Гоголь исключил те ссылки, где упоминался турецкий султан (см. *Варианты* на с. 247) как «общее место» подобных исторических сочинений — например: «И добре ктось рек Турского царя на вопрос о количности козацкого войска. В нас — рече — Турьский царю, що коза, то Козак; а де крак або байрак, то по сто и по двисти Козакив. Тако и все тии зело храбри» (*Срезневский*. Отд. II. С. 23).

Связывая, как это делали многие авторы до и после него, «составление Малороссии» с появлением и становлением Козачества, Гоголь в то же время обошел актуальный вопрос о происхождении слова «козаки», имевший свою историю, которую каждый автор считал необходимым излагать заново, то есть по-своему. Постепенно возобладало мнение, что изначально словом «казак/козак» турки и татары называли «степного бродягу, промышлявшего войной и разбоем» (*Грушевский М*. Иллюстрированная история Украины. Киев, 1996. С. 173—174).

Сам Гоголь в равной степени чувствовал себя и украинцем, и русским, дорожа этой «двойственностью» и, возможно, считая ее знаком судьбы, своеобразным преимуществом, созвучным ходу истории. Позднее, в 1844 г., он писал А. О. Смирновой: «...сам не знаю, какая у меня душа, хохлацкая или русская. Знаю только то, что никак бы не дал преимущества ни малороссиянину перед русским, ни русскому пред малороссиянином. Обе природы слишком щедро одарены Богом, и как нарочно каждая из них порознь заключает в себе то, чего нет в другой — явный знак, что они должны пополнить одна другую. Для этого самые истории их прошедшего быта даны им непохожие одна на другую, дабы порознь воспитались различные силы их характеров, чтобы потом, слившись воедино, составить собою нечто совершеннейшее в человечестве» (XII, 419).

Несколько черновых фрагментов, а точнее — приписок, по тем или иным причинам не вошедших в печатную редакцию статьи, но существенно ее дополняющих, для удобства чтения мы перенесли из раздела «Варианты» в постраничные примечания. Кроме того, мы исправляем в тексте как опечатку название реки «Ирпеть», так как в черновой редакции и записях Гоголь для обозначения этого притока Днепра употреблял слово Ирпень.

[1] *...народный характер, едва начинавший принимать отличительную физиогномию при сильных норманских князьях.* — Здесь Гоголь следует «норманнской» теории — тогда единственной, научно объяснявшей происхождение древнерусского государства, которую обосновали в XVIII в. немецкие историки Санкт-Петербургской Академии наук Г. З. Байер, Г. Ф. Миллер, А. Л. Шлёцер. Используя сведения «Повести временных лет» — древнейшего летописного свода Киевской Руси, они полагали, что древнерусское государство сформировалось под влиянием и непосред-

ственным руководством выходцев из Скандинавии, известных в Европе как норманны или викинги, а на Руси — под именем варягов. Эту роль «норманнисты» объясняли неспособностью славянских племен к самостоятельному государственному объединению. В начале XIX в. — времени становления исторической науки в России — «норманнскую» теорию разделяло большинство ученых, а среди них самые авторитетные для Гоголя — Н. М. Карамзин и М. П. Погодин, склонный преувеличивать западное воздействие на Киевскую Русь и даже объяснять этим ее Крещение.

В «Истории Государства Российского» на вопрос: «...кого именует Нестор Варягами?» — Карамзин отвечает, что, согласно записям Нестора, когда «Варяги овладели странами Чуди, Славян, Кривичей и Мери, не было на Севере другого народа, кроме Скандинавов, столь отважного и сильного, чтобы завоевать всю обширную землю от Бальтийского моря до Ростова (жилища Мери)... мы уже с великою вероятностию заключить можем, что Летописец наш разумеет их под именем Варягов» (*ИГР*. Т. I. С. 55—56). Это подтверждают и скандинавские имена варяжских князей, и различные летописные сведения. Второй вопрос: «...какой народ, в особенности называясь *Русью*, дал отечеству нашему и первых Государей и самое имя..?» — По мнению историков, это было варяжское племя, называвшееся Русью и жившее в «Королевстве Шведском, где одна приморская область издавна именуется *Росскою*, Ros-lagen», и «Финны <...> доныне именуют *всех* ее жителей вообще *Россами*, *Ротсами*, *Руотсами*» (Там же. С. 57; курсив автора).

Однако, хотя Карамзин вслед за «норманнистами» XVIII в. тоже опирался на «Повесть временных лет», он дал этим сведениям иную, вовсе не унижающую славян трактовку: «Начало Российской Истории представляет нам удивительный и едва ли не беспримерный в летописях случай: Славяне добровольно уничтожают свое древнее правление, и требуют Государей от Варягов, которые были их неприятелями <...> Желая некоторым образом изъяснить сие важное происшествие, мы думаем, что Варяги, овладевшие странами Чуди и Славян за несколько лет до того времени, правили ими без угнетения и насилия, брали дань легкую и наблюдали справедливость. Господствуя на морях, имея в IX веке отношения с Югом и Западом Европы <...> Варяги или Норманы долженствовали быть образованнее Славян и Финнов, заключенных в диких пределах Севера; могли сообщить им некоторые выгоды новой промышленности и торговли, благодетельные для народа. Бояре Славянские, недовольные властию завоевателей, которая уничтожала их собственную, возмутили, может быть, сей народ легкомысленный, обольстили его именем прежней независимости, вооружили против Норманов и выгнали их; но распрями личными обратили свободу в несчастие, не сумели восстановить древних законов и ввергли отечество в бездну зол междоусобия. Тогда граждане вспомнили, может быть, о выгодном и спокойном правлении Норманском: нужда в благоустройстве и тишине велела забыть народную гордость, и Славяне, *убежденные* — как говорит предание — *советом Новгородского старейшины Гостомысла*, потребовали Властителей от Варягов» (Там же. С. 93—94; курсив автора). То есть, по Карамзину, древнерусское государство возникло на основе *добровольного взаимовыгодного союза* Запада и Востока: восточные славяне призвали себе князей от варягов (скандинавов), которые пришли со своей дружиной, и это произошло мирным путем (а не завоевательным, как в других

странах), что и обусловило дальнейшее интенсивное расширение, преобразование и развитие государства Киевская Русь.

Переосмысливая это положение, далее Гоголь в своей статье показывает, как из-за татаро-монгольского нашествия на землях Южной России восточные и западные славяне, черкесы и татары объединяются Православной верой и как в них «самопроизвольно» возрождается воинственный норманнский дух.

[2] *...самодержавный папа, как будто невидимою паутиною, опутал всю Европу своею религиозною властью... его могущественное слово прекращало брань или возжигало ее... угроза страшного проклятия обуздывала страсти и полудикие народы.* — Об этом Гоголь писал в других исторических статьях того времени, вошедших в «Арабески», — «О Средних веках» и «О преподавании всеобщей истории» (см.: *Ар.*, 10—19; 29—40).

[3] *...князья умели только поститься и строить церкви...* — В примечаниях к *ИГР* постоянно приводятся летописные сведения о церквях, заложенных теми или иными князьями.

[4] *...жители двух соседних уделов, родственники между собою, готовы были каждую минуту восстать друг против друга с яростью волков.* — Уделы — удельные (выделенные сыновьям или родственникам) княжества, входящие в великое княжество. «Обыкновенною причиною вражды было спорное право наследства... по древнему обычаю не сын, но брат умершего Государя или старший в роде долженствовал быть его преемником» (*ИГР*. Т. II—III. С. 464).

[5] *...от литовских завоевателей...* — В XIII в. на литовских землях образовался воинственный союз князей, а затем возникло раннефеодальное государство, первым великим князем которого был Миндовг (1230—1264). «Сей народ беспрестанными набегами более и более ужасал соседов; занимался единственно земледелием и войною; презирал мирные искусства гражданские, но жадно искал плодов их в странах образованных, и хотел приобретать оные не меною, не торговлею, а своею кровию» (*ИГР*. Т. II—III. С. 501).

[6] *Киев давно уже не был столицею...* — Разоренный междоусобными войнами Киев в 1169 г. был осажден ополчением 11 князей во главе с Андреем Боголюбским, взят приступом и разграблен. С 1169 г. великокняжеским городом сделался Владимир Залесский на Клязьме, а Киев остался центром Киевского удельного княжества.

[7] *...настоящей отчизне славян, земле древних полян, северян, чистых славянских племен...* — Гоголь считал, что славяне изначально населяли восточную часть Европы: «...как германцы аборигены Европы западной, так славяне аборигены восточной» (об этом см.: IX, 29, 34; ср.: *ИГР*. Т. I. С. 47). Поляне и северяне — древние славянские племена, распавшиеся затем на множество ветвей.

[8] *Киев — древняя матерь городов русских ~ едва ли мог сравниться со многими... городами Северной России.* — В декабре 1240 г. Киев был взят и разорен монголами; жители истреблены или уведены в рабство. «Древний Киев исчез, и навеки: ибо сия, некогда знаменитая столица, *мать градов Российских*, в XIV и в XV веке представляла еще развалины; в самое наше время существует единственно тень ее прежнего величия» (*ИГР*. Т. IV. С. 12). Упомянутое определение Киева — «калька

с греческого „митрополия Русская“, так как именно в Киев был поставлен из Константинополя (по другим сведениям — из Ахридской митрополии в Болгарии) первый русский митрополит» (*Паламарчук*, 405).

[9] *Баскак* (тюрк.) — татарский пристав, который собирал подати и надзирал за исполнением ханских повелений, поскольку Киевское княжество с 1240 г. оказалось в вассальной зависимости от Золотой Орды.

[10] *Гедимин* — великий князь литовский с 1316 по 1341 г., захвативший западнорусские земли, сделав своими вассалами и правивших там князей. В хронологических записях Гоголя, которые тот вел при чтении *ИГР* и *ИМР*, перечислены важнейшие события, связанные с «великим язычником»:

«1320. Гедимин берет Овруч, Житомир, города Киевского княж<ества>.

Разбивает киев<ского> кн<язя> Святослава с Олегом Переясл<авским> и союзн<иками> его моголами при Ирпене-реке.

Берет Киев и ставит воеводу своего Миндова. Южная Россия в его власти.

1341. Смерть Гедимина» (IX, 77).

[11] *...вывел на сцену тогдашней истории новый народ ~ известный под именем литовцев.* — Ср.: «...когда народ бедный, дикий, платив несколько веков дань России, и более ста лет умев только грабить, сведал от нас и немцев действия военного и гражданского искусства, в грозном ополчении выступил из темных лесов на феатр мира и быстрыми завоеваниями основал Державу именитую. Говорим о Литве, уж сильной при Миндовге и Тройдене, но еще гораздо сильнейшей при Гедимине» (*ИГР*. Т. IV. С. 123). Гоголь также использовал сведения Д. Н. Бантыш-Каменского, взятые тем из французского источника: «Литовцы поклонялись огню и грому. Рощи и некоторые деревья считались у них священными. Они не только не дерзали рубить их, но даже дотрогиваться; обожали змей, жаб, ящериц; приносили им в жертву петухов» (*ИМР*. Ч. 1. С. 8).

[12] *...луцкий князь Лев успел кое-как уговорить киевского князя Станислава выйти с своими немноголюдными дружинами навстречу грозному победителю ~ Гедимин, сильно поразив их при реке Ирпени, вступил с торжеством в Киев ~ и постановил в нем правителем князя Миндова Ольшанского, принявшего греческую веру.* — В рукописи: «своего племянника князя Миндова». В выписке из хроники Стриковского у Карамзина говорится, что Гедимин «взял Овруч, Житомир, города Киевские, и шел к Днепру. В Киеве властвовал Станислав... он имел время призвать Моголов, соединился с Олегом Переяславским, с изгнанным Князем Луцким Львом, с Романом Брянским; верстах в 25 от столицы, на берегу Ирпени, встретил неприятеля и долго спорил о победе; но отборная дружина Литовская, ударив с боку на Россиян, смяла их <...> Гедимин, отдав всю добычу воинам, осадил Киев. Еще жители не теряли надежды и мужественно отразили несколько приступов; наконец, не видя помощи ни от Князя Станислава, ни от Татар, и зная, что Гедимин щадит побежденных, отворили ворота. Духовенство вышло со крестами, и вместе с народом присягнуло быть верным Государю Литовскому, который, избавив Киев от ига Моголов, оставил там Наместником племянника своего, Миндова, князя Голшанского, Верою Христианина, и скоро завоевал всю южную Россию до Путивля и Брянска» (*ИГР*. Т. IV. С. 124; см. также об этом: *ИР*, 5; *Самовидец*, 1).

[13] *...не изменил обычаев и древнего правления...* — Здесь вероятна скрытая полемика с тезисом Карамзина в *ИГР*, что под игом татар в России народный характер в основном не меняется, тогда как в южной России под властью Литвы перенимают чуждые обычаи.

[14] *Он умер в 1340* году; мертвый был посажен на коня с своим оруженосцем, с охотничьими собаками, соколами и сожжен по языческому обычаю литовцев.* — В рукописи было: «с любимым оруженосцем». Ср. описание, которое, со ссылкой на французский источник, приводит Д. Н. Бантыш-Каменский: «Гедимин кончил славное поприще свое в 1341 году. Он умер — как жил — язычником. Тело его было сожжено по обычаю, существовавшему тогда у литовцев: его посадили на лошадь, служившую ему в битвах, вместе с оруженосцем наиболее им любимым; привязали еще к сему костру двух копчиков, столько же охотничьих собак и две медвежьи лапы и все сие предали огню» (*ИМР*. Ч. 1. С. 27). В записях Гоголя по материалам Стриковского (IX, 77), приведенных в *ИГР*, смерть Гедимина датирована 1341 г.

[15] *...два сильных характера, Ольгерд и Ягайло, вознесли Литву...* — В рукописи: «два исполина, Ольгерд и за ним Ягайло». Ольгерд (Альгирдас) — сын Гедимина, великий князь литовский в 1345—1377 годах; завоевал ряд черниговово-северских уделов, земли в бассейне Днестра и Днепра, Подольскую и Волынскую земли, подчинил Литве Смоленское княжество. Около 1362 г. он захватил Киев и передал его в вассальное владение сыну Владимиру. Ольгерд пытался распространить влияние на Псков и Новгород, но не добился существенных успехов. В 1368—1372 годах он поддерживал Тверь против Москвы и совершил три неудачных похода на Москву (1368, 1370, 1372).

Ягайло (ок. 1350—1434), сын Ольгерда и русской княжны Ульяны, великий князь литовский в 1377—1392 годах (с перерывом). В 1380 г. он заключил договор с Золотой Ордой, был союзником хана Мамая в Куликовской битве. В феврале 1386 г. Ягайло женился на Ядвиге (ок. 1374—1399), младшей дочери короля Венгрии и Польши Людовика (Лайоша I Великого; 1326—1382), польской королеве с 1384 г. Тем самым была оформлена уния 1385 г. Литвы и Польши, и Ягайло стал королем польским под именем Владислава II Ягелло, обязавшись принять христианскую веру, крестить Литву и подчинить ее польским законам. — См. на с. 212 не вошедшее в печатную редакцию описание этих событий, видимо, сделанное по *ИМР* (Ч. 1. С. 38—41); в записях Гоголя на основе того же раздела отмечено:

«1377. Ягайло.

1380. Битва на Куликовом поле.

1386. Ягайло — король польс<кий>.

1387. Ягайло крестит народ литовский. Угнетает греческ<ую> веру, запрещ<ает> браки меж<ду подданными — > католика<ми> и грече<ской веры> <...>

1410. <...> Привилегия короля Ягайла данн<икам> югорусским» (IX, 78).

Из «Истории Русов» Гоголь сделал выписку об основаниях равноправного союза трех наций под властью Ягайло:

---

* Вероятна описка или опечатка: как свидетельствуют приведенные хронологические записи, Гоголь знал верную дату смерти Гедимина.

«1386. Ягайлом соединяются Польша, Малая Россия и Литва.

Трактат присоединения: Пакта Конвента.

Сила его: присоединяем и соединяем как равный с равным и вольный с вольным.

Установление в трех нациях трех равных гетьманов с правом наместника королевства и верховного военачальника.

Гетьм<ан> коронн<ый> польский

Гет<ьман> литовский

Гет<ьман> русский

Установление. Гетьманам и другим важнейшим урядникам даются на содержание старосты и ранговые деревни (вспомнить об уделах).

Резиденцией малороссийского гетьмана делается город Черкас, пониже Киева, над Днепром.

Провинциальное деление земли на воеводства и поветы.

Четыре воеводства: Киевское, Бряцлавское, Волынское и Черниговское, совместно с Севериею, названною Северия Дукатус.

Все чины правит<ельственные>, начиная с гетьмана до городских и земских, выбираемы были из рыцарства вольными голосами и утверждаемы королем и сенатом.

Сенат составлялся из особ, выбранных сеймом или общим собранием. Общее собрание или сейм составляли депутаты, посылаемые от народа.

Народ состоял из трех классов: д<уховенства>, шляхетства и поспольства» (IX, 79). «История Русов» поясняет, что «в поспольстве считались живущие в городах купцы и мещане, а по селениям свободные миряне, войсковые оклады платящие, и подданные боляр и урядников» (*ИР*, 8).

[16] *Сайга* (сайгак) — небольшая степная антилопа, распространенная в низовьях Днепра и северном Причерноморье.

[17] *Двенадцать порогов — выросших со дна реки скал...* — Согласно *ИГР*, на Днепре было 13 порогов, каждый из них с глубокой древности имел свое имя.

[18] *Около порогов водился род диких коз — сугаки, с белыми лоснящимися рогами, с мягкою, атласною шерстью.* — Кратко изложенные сведения Г. де Боплана о «животном, которое по-русски называется сугаком. Величиною оно с козу, ноги имеет весьма тонкие, на голове два рога белые и лоснящиеся, шерсть мягкую, гладкую и нежную, как атлас, когда животное линяет <...> Я пробовал его мясо: вкусом оно не уступает козлятине...» (*Боплан*, 92). Это предложение Гоголь вписал отдельно — и явно позднее основного текста — на л. 4 *РП*. Сугаки — украинское название сайгаков, что отличаются от соседних, темнорогих, лировидными рогами воскового цвета.

[19] *Кипчакские татары* — кипчаки (кыпчаки, самоназвание тюркского племенного союза), в русском употреблении этнонима — половцы, с XI в. до середины XIII в. кочевавшие в южно-русских степях и совершавшие набеги на Русь. Гоголевское указание на них отчасти анахронично, так как к середине XIII в. они были разгромлены и разогнаны татаро-монголами.

[20] *Если не к концу XIII, то к началу XIV века можно отнести появление Козачества...* — В черновике было: «В конце XIV или начале XV в. ...» — по *ИМР*, где появление козаков датировалось не прежде XV в., поскольку они стали известны

полякам в начале XV в. (Ч. 1. С. 109), однако в печатной редакции Гоголь следует мнению Карамзина.

[21] *В это время явился близ порогов городок или острог Черкасы ~ имя которого звучит обитателями Кавказа...* — Д. Н. Бантыш-Каменский относил основание города Черкасы к XVI в. (*ИМР*. Ч. 1. С. 109—110). Гоголь, видимо, основывался на «Истории Русов» — см. выше, в примеч. 15 его выписку «1386. Ягайлом соединяются...», где этот город упомянут уже при описании событий XIV в. (IX, 79).

[22] *Ружинский* — Найденное в летописи XVI в. упоминание о волынских князьях Ружинских (Богдане и/или Михаиле) как атаманах запорожцев заставило современных Гоголю историков спорить о роли князей при образовании Запорожского войска. А «История Русов» называла автором войсковых реформ Евстафия Ружинского (см. примеч. 23 на с. 456).

[23] *...французские инженеры, писавшие об Украйне...* — Подразумевается Г. де Боплан, военный инженер, 17 лет прослуживший в Польше, автор записок о жизни Украины в 1630-х годах (см. с. 448). «Боплан, Инженер Французский, оказал великую услугу Малороссии своим описанием нрава и обычаев тамошних жителей в XVII веке. — Ему обязаны мы и подробными сведениями о запорожцах, сих храбрых наездниках, столь же отважных на море, перед которыми вместе с Тавридою трепетали разные Области Турецкие» (*ИМР*. Ч. 1. С. XIII).

[24] *...вперед, моя история.* — Сокращенная цитата из романа Пушкина «Евгений Онегин» (1823—1831): «Вперед, вперед, моя исторья!» (глава 6, строфа IV).

[25] *...но он должен был непременно принять греческую религию.* — Ср.: «Они всех к себе принимали без разбора, с тем только, чтобы приходящие к ним исповедывали веру Греческую» (*ИМР*. Ч. 1. С. 110).

[26] *Цехин* — золотая монета, чеканилась в Венеции с 1284 г.; со второй половины XVI в. стала чеканиться в ряде европейских стран под названием дукат.

О МАЛОРОССИЙСКИХ ПЕСНЯХ

Впервые: *ЖМНП*. 1834. Ч. II. № 4. Отд. II. С. 16—26; подпись «Н. Гоголь». Перепечатано в *Ар*. (Ч. II. С. 99—117) с небольшой стилистической правкой и датой «1833»; в оглавлении и на шмуцтитуле названо «Малороссийские песни». При жизни Гоголя больше не печаталось. Рукописного источника статьи не сохранилось.

В основу статьи положен тезис Гердера о том, что народные песни воплощают «дух нации» (*Чудаков*, 33—34). Вероятно, наметки такой работы появились в конце 1833 г., когда Гоголь стал писать «Историю Малороссии» и при этом использовать народные песни. В письме к М. А. Максимовичу от 9 ноября 1833 г. он восклицал: «Моя радость, жизнь моя, песни, как я вас люблю. Что все черствые летописи, в которых я теперь роюсь, пред этими звонкими, живыми летописями.

<...> Вы не можете представить, как мне помогают в истории песни. Даже не исторические, даже похабные: они все дают по новой черте в мою историю, все раз-

облачают яснее и яснее, увы, прошедшую жизнь и, увы, прошедших людей...» (X, 284). Романтическая идея постижения «духа народа» по его песням отчетливо звучит в письме к И. И. Срезневскому от 6 марта 1834 г.: «Если бы наш край не имел такого богатства песень — я бы никогда не писал Истории его, потому что я не постигнул бы и не имел понятия о прошедшем, или История моя была бы совершенно не то, что я думаю с нею сделать теперь. Эти-то песни заставили меня с жадностью читать все летописи и лоскутки какого бы то ни было вздору» (X, 299). В более поздних «Петербургских записках 1836 г.» песни выступают основной приметой национальной самобытности: «Покажите мне народ, у которого бы больше было песен. Наша Украина звенит песнями. По Волге, от верховья до моря, на всей веренице влекущихся барок заливаются бурлацкие песни. Под песни рубятся из сосновых бревен избы по всей Руси. Под песни мечутся из рук в руки кирпичи и как грибы вырастают города. Под песни баб пеленается, женится и хоронится русский человек. Все дорожное, дворянство и недворянство, летит под песни ямщиков. У Черного моря безбородый, смуглый, с смолистыми усами козак, заряжая пищаль свою, поет старинную песню; а там, на другом конце, верхом на плывущей льдине, русский промышленник бьет острогой кита, затягивая песню» (VIII, 184).

В университетской лекции «Библиография средних веков», прочитанной в сентябре 1834 г., Гоголь назвал среди источников издание «нескольких саг и эдд норманских, объясняющих начало северной истории» и добавил: «Сверх всех указанных источников <...> можно включить также создания поэтические, выражающие верно минувший быт народный: исторические баллады, народные песни, которыми особенно богата христианская Испания, Шотландия, народы славянские, народы, терпевшие большие потрясения и не имевшие гражданского образования» (IX, 104—105). О том, что сам Гоголь готовит к печати работу «о духе и характере народной поэзии славянских народов: сербов, словенов, черногорцев, галичан, малороссиян, великороссиян и прочих», сообщалось в «Отчете по Санкт-Петербургскому учебному округу за 1835 год» (цит. по изд.: *Машинский*, 150).

Статья была заявлена в первоначальном плане «Арабесок». Непосредственным поводом для ее создания стал выход сборника украинских исторических песен «Запорожская старина», изданного И. И. Срезневским (Харьков, 1833. Ч. I. Отд. I и II). Позднее, в письме Максимовичу от 29 мая 1834 г., появление статьи «О малороссийских песнях» Гоголь объяснял так: «Недавно С. С. Уваров получил от Срезневского экземпляр песней и адресовался ко мне с желанием видеть мое мнение в Журнале Просвещения, так же как и о бывших до него изданиях — твоем и Цертелева. Что ж я сделал. Я написал статью, только самого главного позабыл: ничего не сказал ни о тебе, ни о Срезневском, ни о Цертелеве» (X, 320). Но в письме Срезневскому от 1 июня 1834 г. Гоголь дал несколько иную оценку своей работы над статьей: «Я хотел было сделать несколько замечаний и оценку Вашей „Запорожской старины“ и уже приступ к этому под заглавием О малоросс<ийских> песнях отослал в Журнал Просвещения. Но лень проклятая одолела, и я сел на одном приступе» (X, 321).

Заглавие и содержание статьи перекликается с главами «О малороссийской поэзии» и «Малороссийские песни» в книге преподавателя Нежинской гимназии И. Г. Кулжинского «Малороссийская деревня» (1827), о которой Гоголь-гимна-

зист отзывался пренебрежительно, как о «литературном уроде», но, тем не менее, внимательно ее читал. Видимо, к тому времени он знал и сборники Максимовича и Цертелева, тем более что книгу песен, записанных на Полтавщине, — «Опыт собрания старинных малороссийских песней» (СПб., 1819) — князь Н. А. Цертелев посвятил Д. П. Трощинскому, дальнему родственнику и покровителю Гоголей-Яновских. Из словаря к сборнику «Малороссийские песни, изданные М. Максимовичем» (М., 1827) Гоголь делал выписки для «Книги всякой всячины», однако среди ее фольклорных материалов песни отсутствуют — вероятно, они записывались отдельно.

В письме к Максимовичу от 9 ноября 1831 г. О. Сомов, раскрывая псевдоним Рудого Панька — скорее всего, с его ведома, — сообщал: «У Гоголя есть много малороссийских песен, побасенок, сказок и пр. и пр., коих я еще ни от кого не слыхивал, и он не откажется поступиться песнями доброму своему земляку, которого заочно уважает» (цит. по изд.: Рус. филологич. вестник. 1909. Т. 61. С. 138). В марте 1834 г. Гоголь писал Срезневскому, что располагает примерно 300 украинскими песнями, неизвестными публикаторам (X, 299). Однако в статье «О малороссийских песнях» и в других своих «украинских» произведениях Гоголь, как правило, ориентируется на песню, ранее уже опубликованную в сборниках Цертелева и Максимовича, а разночтения — иногда весьма существенные! — показывают, что писатель отдает предпочтение другому устному ее варианту.

Большую часть песен Гоголь получил от родных. Так, в письме от 2 апреля 1830 г. он благодарил свою тетку Катерину Ивановну за «несколько любопытных песен», а маменьку — за «списанные... две запорожские» (X, 171). По-видимому, он всячески поощрял и свою сестру Марию, чтобы та записывала сказки и песни, а когда ей надоело, уговаривал: «...ты так хорошо было начала собирать малор<оссийские> сказки и песни и к сожалению прекратила. Нельзя ли возобновить это? Мне оно необходимо нужно», — а также просил родных «сказки, песни, происшествия... посылать в письмах или небольших посылках» (X, 208—209). Позднее они порадовали его присланной «старинной тетрадью с песнями... многие очень замечательны» (X, 285). У Гоголя также хранился рукописный сборник старинных украинских песен (ОР РГБ. Ф. 74. Картон 3. Ед. хр. 4), датируемый 1830-ми годами, — возможно, это подарок Максимовича.

Народные украинские и русские песни Гоголь собирал до конца жизни (см. об этом: *Красильников С. А.* Источники собрания украинских песен Н. В. Гоголя // Н. В. Гоголь. Материалы и исследования: В 2 т. М.; Л., 1936. Т. 2. С. 377—406). Часть этих песен он передал для публикации Максимовичу и П. В. Киреевскому, и она затем вошла в состав изданных ими фольклорных сборников.

[1] *...державшиеся в одном народе.* — В журнальной редакции далее шла фраза: «Доказательством этому служат вышедшие недавно издания гг. Максимовича и Срезневского». Объявляя только что разрешенный к печати сборник М. А. Максимовича увидевшим свет наряду с уже изданным трудом И. И. Срезневского, Гоголь — вряд ли по своей воле — несколько опережал события: сборник вышел в конце мая (см. ниже, примеч. 3).

[2] *...музыка их изредка заносилась в высший круг...* — При Петре I украинские песни стали исполнять при дворе, а также в домах высших чиновников-украинцев; народные оркестры имели князь Г. А. Потемкин и гетман К. Г. Разумовский. Возможно, Гоголь имел в виду и то, что последний происходил «из певчих».

[3] *...недавно издано прекрасное собрание песен Максимовичем, и при нем голоса, переложенные Алябьевым.* — Данное примечание появилось только в «Арабесках». К сборнику «Украинские народные песни, изданные Михаилом Максимовичем. Ч. I. Кн. I. Украинские *Думы*. Кн. II. Песни Козацкие *былевые*. Кн. III. Песни Козацкие *бытовые*» (М., 1834; ц/р от 23 марта 1834; предисл. от 21 мая) прилагался нотный альбом Алябьева «Голоса украинских песен». С апреля 1834 г. Максимович пересылал Гоголю отпечатанные листы книги, а в ее «Предисловии» благодарил за оказанную помощь и «Н. В. Гоголя — нового историка Малороссии и автора Вечеров на хуторе близь Диканьки» (С. IV).

Алябьев Александр Александрович (1787—1851), русский композитор-дилетант, автор популярных в то время романсов, использовавший в своем творчестве фольклорные мотивы.

[4] *Реляция* (от лат. relatio — донесение) — описание воинских действий.

[5] *...эта широкая воля козацкой жизни.* — Далее в описании Гоголя даны мотивы «Тараса Бульбы» и других исторических произведений, взятые из народных песен (*Гиппиус*, 62—63).

[6] *...умирающий козак... собирает все силы, чтобы не умереть, не взглянув еще раз на своих товарищей ~ Увидевши их, он... умирает.* — В думе «Смерть Федора Безродного» умирающий от ран герой просил своего чуру (слугу-оруженосца) позвать козаков, чтобы они простились с ним и достойно похоронили. Окончание песни Гоголь дал по изд.: *Цертелев*, 50.

[7] *...кружает ли вольно мед, вино...* — Ср. в песнях, известных Гоголю: «...А козак Нечай, та не подумае, та не погадае... мед вино кружае» (*Памяти Жуковского и Гоголя*. С. 393).

Кружать — пить.

[8] *...вид ли убитого козака... клекты ли орлов в небе, спорящих о том, кому из них выдирать козацкие очи...* — Это мотивы одного из куплетов песни «О побеге трех братьев из Азова». Но Гоголь мог ориентироваться и на русский перевод, данный в предисловии к сборнику: «На холме лежит умерший козак, сизые орлы выклевывают глаза ему; серые косматые волки рвут тело и, растерзав на части, гложут между кустов желтые кости несчастного!» (*Цертелев*, 8).

[9] *Да вжеж мини не ходыты ~ Да вжеж мини минулися / Дивоцкие смишки!* — Отрывок из песни XXXVI в сборнике «Малороссийские песни» (*Максимович 1827*, 64). — Ср. также: «Та вже не ходыты яром за товаром, / Та вже не стояты з козаком Иваном. / Та вжеж ни ходыты, куды я ходыла, / Та вжеж не любиты, кого я любила. / Та не ходыты пишки по оришки, / Уже миняются дивоцки насмишки» (*Памяти Жуковского и Гоголя*. С. 341).

[10] *...привожу одну из них в переводе.* — О тонкостях поэтического перевода Гоголь писал 20 апреля 1834 г. М. А. Максимовичу: «Иногда нужно отдаляться от слов подлинника нарочно для того, чтобы быть к нему ближе. Есть пропасть таких фраз,

выражений, оборотов, которые нам, малороссианам, кажутся очень будут понятны для русских, если мы переведем их слово в слово, но которые иногда уничтожают половину силы подлинника. Почти всегда сильное лаконическое место становится непонятным на русском, потому что оно не в духе русского языка; и тогда лучше десятью словами определить всю обширность его, нежели скрыть его <...> В переводе более всего нужно привязываться к мысли и менее всего к словам, хотя последние чрезвычайно соблазнительны, и, признаюсь, я сам, который теперь рассуждаю об этом с таким хладнокровным беспристрастием, вряд ли бы уберегся от того, чтобы не влепить звонкое словцо в русскую речь, в простодушной уверенности, что его и другие так же поймут. Помни, что твой перевод для русских, и потому все малороссийские обороты речи и конструкцию прочь!» (X, 311—312).

[11] *Рассердился, разгневался на меня мой милый! ~ Жди меня, пока не возвращусь из дальней дороги...* — Ср.: «Ой, куды ты, козаченько, отъизжаешь, / Ой, ты мене молодую кому вручаешь? / Вручаю дивчиноньку Господу Богу, / А сам пиду, сам же пойду, Днипром за водою. / Ой, килы ж тебе, козаченько, у гости ожидаты? / Ожидай, дивчинонька, тоди у гости, / Як пороcте зелена травыця у тебе на погости» (*Памяти Жуковского и Гоголя*. С. 342).

[12] *Они обращаются к Богу, как дети к отцу...* — Так, по словам апостола Павла в Послании к римлянам, должны обращаться к Богу истинные христиане (Рим. 8:14—17).

[13] *Часто тоскующая дева умоляет Бога, чтобы Он засветил на небе восковую свечку, пока ее милый перебредет через реку Дунай.* — Ср.: «Ой, засвичу я ясную свичу, / Пущу ж еи аж до Бога, / Щоб моему миленькому, / Счасливая дорога. / Засвичу ж я ясную свичку, / Пущу ж ее по над ричку, / Щоб моему миленькому / Було видно на всю ничку»; «Ой, засвичу свичку, перебре ричку, / До милой хоть на одну ничку» (*Памяти Жуковского и Гоголя*. С. 255, 317).

[14] *Шли коровы из дубровы...* — Начало песни XXXVIII из того же сборника (*Максимович 1827*, 67; в своем варианте Гоголь заменил «козака» на «милого»). В публикации *ЖМНП* вместо этого двустишия было: «Ой ревнула корова из череды йдучи: / Наскучило миленького ждучи».

[15] *Падение звуков* — каденция (каданс, от лат. cado — 'падаю, оканчиваюсь') — здесь: гармоническое завершение каждой строки в куплетах песни, сообщающее им законченность.

[16] *Русская заунывная музыка выражает, как справедливо заметил М. Максимович, забвение жизни...* — В «Предисловии» к своему первому сборнику Максимович отмечал: «Русские песни отличаются глубокой унылостию, отчаянным забвением, каким-то раздольем и плавною протяженностию», а малороссийские выражают «порывы страсти, сжатую твердость и силу чувств... естественность выражений», «более досаду и тоску», «больше действия», «лаконизм языка» и «драматическое изложение предмета», важнейшее их свойство — «тоска» (*Максимович 1827*, XIII—XV).

[17] *...хищно ворвалась... Уния.* — Имеется в виду польская религиозная и военная экспансия на Украине, захват земель, усиленное закрепощение крестьян после Брестской унии 1596 г. (о ней см. примеч. 12 к повести «Тарас Бульба»).

ОБ ИЗДАНИИ ИСТОРИИ МАЛОРОССИЙСКИХ КАЗАКОВ

Впервые опубликовано: Северная Пчела. 1834. № 24. От 30 января. Перепечатано: Московский Телеграф. 1834. № 3 (цензурное разрешение от 10 февраля) под названием «Объявление об издании Малороссийской Истории»; Молва. 1834. № 8 (цензурное разрешение от 23 февраля) под заголовком «Объявление об издании Истории Малороссии». Больше при жизни Гоголя не печаталось.

Рукописный источник не сохранился.

Помещая в популярных массовых изданиях объявление о своих многолетних научных трудах, автор «Вечеров...» пытался создать в глазах современников образ художника-ученого, самоотверженного энтузиаста. Это должно было подтвердить обоснованность его притязаний на место профессора истории в открывавшемся Киевском университете св. Владимира. И хотя для работы над задуманной «Историей Малороссии» Гоголю действительно недоставало сведений, вряд ли он мог серьезно рассчитывать на приток необходимых рукописных материалов, да еще и не известных науке (*Манн 1994*, 387).

В 1830 г. Гоголь в письме к матери от 2 февраля спрашивал: «Нет ли в наших местах каких записок, веденных предками какой-нибудь старинной фамилии, рукописей стародавних про времена гетманщины и прочего подобного?» (X, 167). Мысль обратиться к читателям, чтобы они присылали новые материалы по истории Малороссии, могло вызвать приобретение, о котором Гоголь сообщил 23 декабря 1833 г. Пушкину: «Порадуйтесь находке: я достал летопись без конца, без начала об Украйне, писанную, по всем признакам, в конце XVII-го века» (X, 291). Однако в своем письме от 6 марта 1834 г. И. И. Срезневскому, откликнувшемуся на «Объявление...», Гоголь откровенно написал об украинских летописях: «Я имел случай многие прочесть и, к сожалению, пропустил случай многие переписать» (X, 299). На «Объявление...» отозвался также Языков, написавший 22 марта 1834 г. М. П. Погодину: «У нас есть нечто для Гоголя — по истории Малороссии, собираемся ему доставить» (X, 470). У самого Погодина «Объявление...» вызвало определенные нарекания. По-видимому, он указал Гоголю на «Историю Малой России» Д. Н. Бантыш-Каменского как на труд, выделяющийся из «многих компиляций». Гоголь отвечал: «Выговоры ваши за объявление имел тоже честь получить. Это правда, я писал его, совершенно не раздумавши. Впрочем, охота тебе вступаться за Бандыша! ведь он п...а и замотал у многих честных людей многие материалы и рукописи» (X, 303).

1 *...этот воинственный народ, казаки...* — Далее в газетной публикации было: «оплот для Европы от магометанских завоевателей».

2 *Дом Лепена* — Дом № 97 Первой Адмиралтейской части, принадлежавший «артисту Императорских театров Лепену» (совр. адрес: Малая Морская ул., 17); здесь Гоголь жил с июля 1833 г. до отъезда за границу в июне 1836 г.

<РАЗМЫШЛЕНИЯ МАЗЕПЫ>

Впервые опубликовано Н. С. Тихонравовым и В. И. Шенроком: *Соч., 10-е изд.* Т. VI. С. 445—446, 796. Бумага автографа имеет водяной знак «<18>29». Написано, вероятнее всего, весной — не позднее осени 1834 г.

В «Объявлении об издании Истории Малороссии» Гоголь замечал, что «около пяти лет» он собирал «с большим старанием материалы, относящиеся к истории этого края», и «половина» его труда «почти готова». Первый из обозначенных в «Объявлении...» периодов украинской истории — когда «отделилась эта часть России» и «образовался в ней этот воинственный народ, казаки» — нашел свое отражение в статье «Взгляд на составление Малороссии». Второму периоду — когда украинский народ «три века с оружием в руках добывал права свои и упорно отстоял свою религию» — посвящены повесть «Тарас Бульба» и предшествовавшие ей фрагменты «Глава из исторического романа», <Главы исторической повести> и <Кровавый бандурист>. Набросок о размышлениях Мазепы перед его изменой присяге и переходом на сторону шведов оказывается связан с последним периодом в украинской истории, когда «мало-помалу вся страна получила новые взамен прежних права и наконец совершенно слилась с Россиею». Эти события имели гибельные последствия для судьбы украинского Козачества и Запорожской Сечи.

В феврале 1834 г. Гоголь сообщал Максимовичу, что «Историю Малороссии» пишет «всю от начала до конца» (X, 297), поэтому следует полагать, что он работал и над ее заключительными главами, в которых, несомненно, отражались деяния Кочубеев, Апостолов, Трощинских (родственников Мазепы) и предков Гоголя — гетманов Е. Гоголя и П. Дорошенко, Лизогубов и Танских. Кроме того, фрагмент о Мазепе мог быть своеобразным откликом на публикацию исторического романа Ф. В. Булгарина «Мазепа» (СПб., 1833—1834) и книги Д. Н. Бантыш-Каменского «Жизнь Мазепы» (М., 1834) летом 1834 г.

[1] *Мазепа Иван Степанович* (1644—1709), гетман Украины в 1687—1708 годах; получил шляхетское воспитание при дворе польского короля Яна II Казимира и даже, согласно некоторым источникам, служил в гвардии. Своим возвышением он был обязан гетману И. С. Самойловичу, у которого исполнял обязанности домашнего учителя и которого, став генеральным есаулом, обвинил в измене во время Крымского похода 1687 г. (тот был арестован, сослан в Тобольск, где и умер). Петр I, в знак безграничного доверия, в 1700 г. наградил Мазепу за «13 лет победы» орденом Андрея Первозванного — вторым в государстве (сам Петр получил шестой орден).

Во время Северной войны, начавшейся между Россией и Швецией в 1700 г., Мазепа с верными ему козаками и частью запорожцев в 1708 г. перешел на сторону шведов, чтобы отторгнуть Малороссию от России. После Полтавской баталии 1709 г. он вместе с Карлом XII бежал в турецкую крепость Бендеры, где и скончался.

[2] *...царство Баториево...* — имеется в виду основополагающая роль в жизни Речи Посполитой государственных реформ Стефана Батория, польского короля в 1676—1686 годах (о нем см. примеч. 23 к повести «Тарас Бульба»).

ИСТОЧНИКИ ТЕКСТА

Рукописные

РП — Записная тетрадь, из числа принадлежавших И. С. Аксакову. — Отдел рукописей Российской национальной библиотеки в Санкт-Петербурге. Фонд 199. Ед. хр. 1 (черновые редакции трех повестей «Миргорода», фрагменты истории Малороссии; отрывок <„Мне нужно видеть полковника“>).

РГ — Рукопись исторического произведения Гоголя. — Рукописный отдел Российской государственной библиотеки в Москве. Фонд 99. Картон 25. Ед. хр. 37.

Печатные

Миргород. Повести, служащие продолжением *Вечеров на хуторе близь Диканьки*. Н. Гоголя: Ч. 1—2. СПб.: В типографии Департамента внешней торговли, 1835. — 224 с. + 215 с.

Отечественные Записки. 1830. Ч. 41. № 118. Февраль. С. 238—264; № 119. Март. С. 421—442 (повесть «Бисаврюк, или Вечер накануне Ивана-Купала»).

Новоселье. [Сборник.] СПб.: В типографии А. Плюшара, 1834. Ч. 2. С. 475—569 («Повесть о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем»).

ЖМНП — Журнал Министерства Народного Просвещения. 1834. Ч. I. № 2. Отд. II. С. 189—209; Ч. II. № 4. Отд. II. С. 1—15, 16—26 (статья «О малороссийских песнях», «Отрывок из Истории Малороссии»).

Арабески. Разные сочинения Н. Гоголя: Ч. I—II. СПб.: В типографии вдовы Плюшар с сыном, 1835. Ч. I. С. 41—64, 187—209; Ч. II. С. 99—117, 159—172 (две главы исторического романа, статьи «Взгляд на составление Малороссии», «О малороссийских песнях»).

Соч. 1842 — Сочинения Николая Гоголя: Т. I—IV. СПб.: В типографии А. Бородина и К°, 1842. Т. II.

Соч. 1855—1856 — Сочинения Гоголя: Т. 1—6. Изд. 2-е. М.: ⌊Н. Трушковский⌋, 1855—1856. Т. 2, 5.

Соч., 10-е изд. — Сочинения Н. В. Гоголя: Т. I—VII. 10-е изд. М.; СПб., 1889—1896. Т. II, V—VII.

АСС — Гоголь Н. В. Полн. собр. соч.: Т. I—XIV. М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1937—1952.

ПССиП — Гоголь Н. В. Полн. собр. соч. и писем: В 23 т. Т. 1, 3. М.: Наука, 2001, 2009 (изд. продолжается).

Ар. — Гоголь Н. В. Арабески / Изд. подгот. В. Д. Денисов. СПб.: Наука, 2009. (Лит. памятники).

ТБ — Гоголь Н. В. Тарас Бульба. Автографы, прижизненные издания. Историко-литературный и текстологический комментарий / Изд. подгот. И. А. Виноградов. М.: ИМЛИ РАН, 2009. С. 107—165, 330—384.

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ

Акимова — Акимова Н. Н. Ф. В. Булгарин: Литературная репутация и культурный миф. Хабаровск, 2002.

Альтшуллер — Альтшуллер М. Г. Эпоха Вальтера Скотта в России. Исторический роман 1830-х годов. СПб., 1996.

Анненков — Анненков П. В. Литературные воспоминания / Вступ. статья В. И. Кулешова. М., 1983. (Серия литературных мемуаров).

Анненкова — Анненкова Е. И. Повесть «Тарас Бульба» в контексте творчества Н. В. Гоголя // Анализ художественного произведения: Художественное произведение в контексте творчества писателя: Книга для учителя. М., 1987. С. 59—73.

Афанасьев — Цит. по изд.: Афанасьев А. Н. Древо жизни: Избр. статьи. М., 1982.

Балушок — Балушок В. Г. Инициации древних славян (попытка реконструкции) // Этнографическое обозрение. 1993. № 4. С. 57—66.

Барабаш — Барабаш Ю. Я. Почва и судьба. Гоголь и украинская литература: у истоков. М., 1995.

Бартенев — Рассказы о Пушкине, записанные со слов его друзей П. И. Бартеневым в 1851—1860 годах. М., 1925.

Белинский — Белинский В. Г. Собр. соч.: В 9 т. М., 1976—1982 (при ссылке на т. 1 опущен № тома).

Белый А. — Белый Андрей. Мастерство Гоголя: Исследование. М.; Л., 1934.

Бродский — Бродский Н. Л. «Евгений Онегин». Роман А. С. Пушкина: Пособие для учителя. Изд. 5-е. М., 1964.

БдЧ — Библиотека для Чтения: Журнал словесности, наук, художеств, промышленности, новостей и мод, составленный из литературных и ученых трудов. СПб., 1834—1865; в 1834 г. под ред. Н. И. Греча и О. И. Сенковского.

Боплан — Описание Украйны, соч. Боплана / Пер. с фр. Ф. Устрялов. СПб., 1832.

Булашев — Булашев Г. О. Украинский народ в своих легендах и религиозных воззрениях и верованиях. Вып. 1. Космогонические украинские народные воззрения и верования. Киев, 1909.

Булгаков — Булгаков С. В. Настольная книга для священно-церковно-служителей. Изд. 2-е, испр. и доп. Харьков, 1900. Вып. 4.

Булгарин 1830 — Булгарин Фаддей. Димитрий Самозванец, исторический роман: В 4 ч. СПб., 1830.

Булгарин 1833 — Мазепа. Соч. Фаддея Булгарина. СПб., 1833. Ч. 1.

Бурсак — Бурсак, малороссийская повесть. Соч. *В. Нарежного*: В 4 ч. М., 1824.

Вайскопф — Вайскопф Михаил. Сюжет Гоголя: Морфология. Идеология. Контекст. 2-е изд., испр. и расшир. М., 2002.

Вацуро — Вацуро В. Э. Из наблюдений над поэтикой «Вия» Гоголя // Культурное наследие Древней Руси: Истоки. Становление. Традиции. М., 1976. С. 307—311.

Виноградов В. 1976 — Виноградов В. В. Поэтика русской литературы: Избр. труды. М., 1976.

Виноградов 2000 — Виноградов Игорь. Повесть Н. В. Гоголя «Вий»: К истории замысла и его интерпретации // Гоголеведческие штудии. Вып. 5. Нежин, 2000. С. 84—108.

Виноградов 2009 — Виноградов И. А. Комментарии // Гоголь Н. В. Тарас Бульба. Автографы, прижизненные издания. Историко-литературный и текстологический комментарий. С. 387—656.

Гайдамак — <Сомов О. М.> Порфирий Байский. Гайдамак. Малороссийская быль // Невский альманах на 1827 год. СПб., 1826 (изначально — в альманахе «Звездочка на 1826 год», тираж которого был арестован); цит. по изд.: Сомов О. Гайдамак. Малороссийская быль // *Русские альманахи*. С. 176—190.

Галант — Галант И. Арендовали ли евреи церкви на Украине? 2-е изд. С письмом И. М. Каманина. Киев, 1914.

ГВС — Гоголь в воспоминаниях современников. М., 1952.

Гиппиус — Цит. по изд.: Гиппиус В. Гоголь; Зеньковский В. Н. В. Гоголь / Предисл. и сост. Л. Аллена. СПб., 1994. С. 11—188.

Голота 1832 — Голота П. Иван Мазепа. Исторический роман, взятый из народных преданий. М., 1832. Ч. 1—4.

Голота 1833 — Голота П. Наливайко, или Времена бедствий Малороссии. М., 1833. Ч. 1—4.

Голота 1834 — Хмельницкие, или Присоединение Малороссии. Исторический роман XVII в.: Соч. П. Голоты. М., 1834. Ч. 1—3.

Гончаров — Гончаров С. А. Творчество Гоголя в религиозно-мистическом контексте. СПб., 1997.

Гофман — Гофман Э. Т. А. Эликсиры Сатаны / Изд. подгот. Н. А. Жирмунская, А. Г. Левинтон, Н. А. Славятинский. 2-е изд. СПб., 1993. (Лит. памятники).

Гуковский — Гуковский Г. А. Реализм Гоголя. М.; Л., 1959.

Гуминский — Гуминский В. М. «Тарас Бульба» в «Миргороде» и «Арабесках» // Н. В. Гоголь: История и современность. С. 240—258.

Даль — Цит. по изд.: Даль Владимир. О поверьях, суевериях и предрассудках русского народа. Изд. 2-е. СПб.; М., 1880.

Двойник — <Перовский А. А.> Двойник, или Мои вечера в Малороссии. Соч. Антония Погорельского. СПб., 1828. Ч. 1—2.

Дерюгина — Дерюгина Л. В. «Вий» как петербургская повесть // Н. В. Гоголь: Материалы и исследования. Вып. 2. М., 2009. С. 308—332.

Домострой — Цит. по изд.: Домострой / Изд. подгот. В. В. Колесов, В. В. Рождественская. СПб., 1994. (Лит. памятники).

Душечкина — Душечкина Е. В. «Тарас Бульба» в свете традиций древнерусской воинской повести // Гоголь и современность: Творческое наследие писателя в движении эпох. Киев, 1983. С. 30—34.

Есаулов — Есаулов И. А. Спектр адекватности в истолковании литературного произведения («Миргород» Н. В. Гоголя). М., 1997.

Жуковский — Жуковский В. А. Полное собрание сочинений и писем: В 20 т. Т. 3. Баллады. М., 2008.

Запорожец — Нарежный В. Запорожец // Новые повести *Василия Нарежного*. СПб., 1824. Ч. 3.

Зарецкий — Зарецкий В. А. Народные исторические предания в творчестве Н. В. Гоголя: История и биографии: Монография. Стерлитамак; Екатеринбург, 1999.

Звездин — Звездин Александр. Проблема генезиса гоголевского Вия в мировой русистике: поиск синтетического решения // Новые Гоголеведческие штудии. Вып. 5 (16). Нежин, 2007. С. 127—148.

Звиняцковский 1994 — Звиняцковский В. Я. Николай Гоголь. Тайны национальной души. Киев, 1994.

Звиняцковский 2011 — Звиняцковский В. Я. Историческое ядро «Миргорода» в свете художественно-мифологических установок XVIII—первой трети XIX в. и документированной истории Украины. Статья 2. Исторические реалии в «Вие» // *Феномен Гоголя*. С. 166—178.

Золотусский — Золотусский И. П. Гоголь. М., 1979. (ЖЗЛ).

ИГР — Карамзин Н. М. История Государства Российского: В 12 т. М., 1989—1998. Т. I—VII.

Измайлов — Путешествие в полуденную Россию. В письмах, изданных Владимиром Измайловым: Ч. 1—4. М., 1802. Ч. 4. Письмо CXXIII. С. 12—22.

ИМР — Бантыш-Каменский Д. Н. История Малой России. С 19 портретами, 5 рисунками, 26 раскрашенными изображениями малороссиян и малороссиянок в старинных одеждах, планом Берестского сражения, снимками подписей разных гетманов и предводителей козаков и с картой, представляющей Малороссию под владением польским в начале XVII в. 2-е изд., перераб. и доп. М., 1830. Ч. 1—3.

ИР — <Конисский Г.?> История Русов, или Малой России // Чтения в Императорском Обществе истории и древностей российских при Московском ун-те. М., 1846. № 1—4. Отд. 2.

Казарин — Казарин В. П. Повесть Н. В. Гоголя «Тарас Бульба»: Вопросы творческой истории. Киев; Одесса, 1986.

Каманин — Каманин И. М. Научные и литературные произведения Гоголя по истории Малороссии // Памяти Гоголя: Научно-литературный сборник, изданный Историческим обществом Нестора-летописца. Киев, 1902. С. 75—132.

Капнист-Скалон — Воспоминания С. В. Скалон (урожденной Капнист) // Исторический Вестник. 1891. Т. XLIV. № 5. С. 338—367.

Карамзин — <Карамзин Н. М.> Письма русского путешественника. 2-е изд. М., 1801.

Карпенко — Карпенко А. О народности Н. В. Гоголя (художественный историзм писателя и его народные истоки). Киев, 1973.

Карпов — Карпов А. А. «Афанасий и Пульхерия» — повесть о любви и смерти // *Феномен Гоголя*. С. 151—165.

Комментарии СС — Воропаев В. А., Виноградов И. А. Комментарии // Гоголь Н. В. Собр. соч.: В 9 т. / Сост. и коммент. В. А. Воропаева, И. А. Виноградова. М., 1994.

Костомаров — Костомаров Н. И. Борьба украинских казаков с Польшею в первой половине XVII века, до Богдана Хмельницкого // Отечественные Записки. 1856. Т. 108. Кн. 9. С. 195—254.

Котляревский — Цит. по изд.: Котляревський І. П. Твори. Киев, 1980.

Кошелев — Кошелев В. А. О «Предисловии» к гоголевской повести о двух Иванах // Гоголеведческие штудии. Вып. 17. Нежин, 2008. С. 55—66.

Кулжинский — Малороссийская деревня, соч. И. Кулжинского. М., 1827.

Кулиш — <Кулиш П. А.> Николай М. Записки о жизни Н. В. Гоголя, составленные из воспоминаний его друзей и знакомых и из его собственных писем: В 2 т. СПб., 1856. Т. I.

Лавровский — Лавровский Н. А. Гимназия высших наук кн. Безбородко в Нежине. (1820—1832 г.). Киев, 1879.

Лазаревский — Лазаревский А. М. Сведения о предках Гоголя // Памяти Гоголя. С. 3—12.

Ландер — Ландер Инга. <Вступ. статья> // Питер Брейгель Старший. «Грехи» и «Добродетели» из собрания ГПБ... — 16 факсимильных репродукций. Л., 1991.

ЛГ — Литературная газета, издаваемая бароном Дельвигом. СПб., 1830—1831.

Летопись — Краткая летопись Малыя России с 1506 по 1776 год, с изъявлением настоящего образца тамошнего правления и с приобщением списка преждебывших Гетманов, Генеральных Старшин, Полковников и Иерархов; також землеописания с показанием городов, рек, монастырей, церквей, числа людей, известий о почтах и других нужных сведений, издана Васильем Григорьевичем Рубаном. СПб., 1777.

Лёвшин — Письма из Малороссии, писанные *Алексеем Лёвшиным*. Харьков, 1816.

Лотман 1980 — Лотман Ю. М. Роман А. С. Пушкина «Евгений Онегин». Комментарий: Пособие для учителя. Л., 1980.

Лотман 1988 — Лотман Ю. М. Художественное пространство в прозе Гоголя // *Он же*. В школе поэтического слова: Пушкин. Лермонтов. Гоголь: Книга для учителя. М., 1988.

ЛПРИ — Литературные прибавления к «Русскому Инвалиду», газета. СПб., 1831—1839. Была основана и до 1837 г. редактировалась А. Ф. Воейковым.

Максимович 1827 — Малороссийские песни, изданные М. Максимовичем. М., 1827.

Максимович 1834 — Украинские народные песни, изданные Михаилом Максимовичем. Часть первая. Кн. I—III. М., 1834; с приложением нотного альбома А. А. Алябьева «Голоса украинских песен».

Манн 1988 — Манн Ю. В. Поэтика Гоголя. 2-е изд., доп. М., 1988.

Манн 1994 — Манн Ю. В. «Сквозь видный миру смех...»: Жизнь Н. В. Гоголя. 1809—1835. М., 1994.

Маркевич — Украинские мелодии. Соч. Ник. Маркевича. М., 1831.

Маркович Я. — Маркович Яков. Записки о Малороссии, ее жителях и произведениях. СПб., 1798. Ч. I.

Мацапура — Мацапура В. И. Украина в русской литературе первой половины XIX века: Монография. Харьков; Полтава, 2001.

Машинский — Машинский С. И. Художественный мир Гоголя. М., 1971.

МВ — Московский Вестник: Журнал, издаваемый М. Погодиным. М., 1827—1830.

Мелетинский — Мелетинский Е. М. О литературных архетипах. М., 1994.

Миллер — Миллер Г. Ф. О Малороссийском народе и о Запорожцах // Чтения в Императорском Обществе истории и древностей российских при Московском ун-те. М., 1846. № 3. Отд. 2.

Михальский — Михальский Е. Н. Н. В. Гоголь и эстетическое сознание первой трети XIX в. // Наследие Н. В. Гоголя и современность. Тезисы докл. и сообщ. Гоголевской конф. Нежин, 1988. Ч. 1. С. 9.

МН — Московский Наблюдатель, журнал энциклопедический / Под ред. В. П. Андросова. М., 1835—1837.

Монах — <Льюис М. Г.> Монах, или Пагубные следствия пылких страстей. Сочинение славной г. Радклиф<sic!>. Пер. с фр. СПб., 1802—1803. Ч. 1—4.

МТ — Московский Телеграф: Журнал литтературы, критики, наук и художеств, издаваемый Николаем Полевым. М., 1825—1834.

Мышецкий — <Мышецкий С. И.> История о казаках Запорожских, как оные из древних лет зачалися, и откуда свое происхождение имеют, и в каком состоянии ныне находятся. М., 1847.

Нарежный 1825 — Два Ивана, или Страсть к тяжбам. Соч. *В. Нарежного*: В 3 ч. М., 1825.

Никитенко — Никитенко А. В. Дневник: В 3-х т. М., 1955. Т. 1. 1826—1857.

Оксман — Оксман Ю. Неосуществленный замысел истории Украины // Литературное наследство. Т. 58. М., 1952. С. 211—221.

Оссиан — <Макферсон Дж.> Оссиан, сын Фингалов, бард третьего века: Гальские стихотворения / Пер. с фр. Е. Костровым. 2-е изд. СПб., 1818.

Павловский — Павловский Ал. Грамматика малороссийского наречия. СПб., 1818.

Паламарчук — Паламарчук П. Г. Узор «Арабесок». Примечания // Гоголь Н. В. Арабески. М., 1990.

Памяти Жуковского и Гоголя — Памяти В. А. Жуковского и Н. В. Гоголя. Вып. 2. [Песни, собранные Н. В. Гоголем. Изд. Г. П. Георгиевским]. СПб., 1908.

Памятники — Памятники, изданные временною комиссиею для разбора древних актов, Высочайше учрежденною при Киевском военном Подольском и Волынском генерал-губернаторе. Киев, 1845. Т. 1. Отд. 2.

Переписка Гоголя — Переписка Н. В. Гоголя: В 2 т. / Сост. и коммент. А. А. Карпова и М. Н. Виролайнен. М., 1988.

Перетц 1895 — Перетц В. Н. Кукольный театр на Руси (Исторический очерк) // Ежегодник императорских театров. Приложения. Кн. 1. СПб., 1895. С. 85—185.

Перетц 1902 — Перетц В. Гоголь и малорусская литературная традиция // Н. В. Гоголь. Речи, посвященные его памяти... СПб., 1902. С. 47—55.

Петрунина — Петрунина Н. Н. Проза Пушкина (пути эволюции). Л., 1987.

Пропп — Пропп В. Я. Исторические корни волшебной сказки // Он же. Собрание трудов. М., 1998. С. 112—436.

Пушкин — Пушкин А. С. Полн. собр. соч.: В 16 т. М.; Л., 1937—1949.

РДС — Русский демонологический словарь / Автор-сост. Т. А. Новичкова. СПб., 1995.

Ригельман — Ригельман А. И. Летописное повествование о Малой России и ее народе и козаках вообще, отколь и из какого народа оные происхождение свое имеют, и по каким случаям они ныне при своих местах обитают, как то: Черкасские или Малороссийские и Запорожские... Ч. 1—4 // Чтения в Императорском Обществе истории и древностей российских при Московском ун-те. М., 1847. № 5—9. Отд. 2.

Розов — Розов В. А. Традиционные типы малорусского театра XVII—XVIII вв. и юношеские повести Н. В. Гоголя // Памяти Н. В. Гоголя: Сборник речей и статей, изданный Императорским университетом Св. Владимира. Киев, 1911. С. 99—169.

Русские альманахи — Русские альманахи: Страницы прозы / Сост., автор вступ. статьи и примеч. В. И. Коровин. М., 1989. (Классическая б-ка «Современника»).

Рылеев — Рылеев К. Ф. Полн. собр. стихотворений / Вступ. ст. В. Г. Базанова и А. В. Архиповой. Примечания А. В. Архиповой и А. Е. Ходорова. Л., 1971. (Б-ка поэта).

Самовидец — Летопись самовидца о войнах Богдана Хмельницкого и междоусобиях, бывших в Малой России по его смерти... М., 1846.

Сенько — Сенько И. М. Смысл названия цикла повестей «Вечера на хуторе близ Диканьки» // Література та культура Полісся. Вип. 7. Ніжин, 1996. С. 8—9.

Сиповский — Сиповский В. В. Пушкин, жизнь и творчество. СПб., 1907.

Славянские древности — Славянские древности: Этнолингвистический словарь: В 5 т. Т. 1—2. М., 1995, 1999.

Словарь Даля — Даль Владимир. Толковый словарь живого великорусского языка: Т. I—IV. (Репринт 2-го изд. 1878—1882). М., 1978 — 1980.

Словарь Фасмера — Фасмер М. Этимологический словарь русского языка: В 4 т. / Пер. с нем. и дополн. чл.-кор. АН СССР О. Н. Трубачева. Изд. 2-е, стереотип. М., 1987.

СОиСА — Сын Отечества и Северный Архив: Исторический, политический и литературный журнал. СПб., 1829—1844, 1847—1852; образован в 1829 г. слиянием журналов «Сын Отечества» Н. И. Греча и «Северный Архив» Ф. В. Булгарина, под их совместной редакцией выходил до 1839 г.

СПч — Северная Пчела, газета. СПб., 1825—1864 (с 1831 — ежедневно); издатель-редактор Ф. В. Булгарин, с 1831 по 1859 — совместно с Н. И. Гречем.

Срезневский — Срезневский И. И. Запорожская старина. Харьков, 1833. Ч. 1.

Сумцов — Сумцов Н. Ф. Очерки истории южнорусских апокрифических сказаний и песен. Киев, 1888.

Троицкий — Троицкий В. Ю. Художественные открытия русской романтической прозы 20—30-х годов XIX века. М., 1985.

Успенский — Успенский Б. А. Мифологический аспект русской экспрессивной фразеологии // *Он же*. Избр. труды: В 2 т. М., 1994. Т. II. Язык и культура. С. 86—99.

Федоров — Федоров В. В. Поэтический мир Гоголя // Н. В. Гоголь: История и современность. С. 132—162.

Феномен Гоголя — Феномен Гоголя: Мат-лы юбилейной Междунар. науч. конф., посвященной 200-летию со дня рождения Н. В. Гоголя / Под ред. М. Н. Виролайнен и А. А. Карпова. СПб., 2011.

Фольклорный театр — Фольклорный театр / Сост., вступ. ст., предисл. к текстам и коммент. А. Ф. Некрыловой, Н. И. Савушкиной. М., 1988.

Фомичев — Фомичев С. А. Комментарии // Рылеев К. Ф. Сочинения / Сост., вступ. ст., коммент. С. А. Фомичева. Л., 1987. С. 352—385.

Хомук — Хомук Н. В. Повесть Гоголя «Тарас Бульба»: от эпического мира — к трагическому // Гоголевский сборник. СПб.; Самара, 2003. С. 37—48.

Цертелев — Цертелев Н. А. Опыт собрания старинных малороссийских песней. СПб., 1819.

Чарушникова — Чарушникова М. В. Фрагмент незавершенного романа Н. В. Гоголя «Гетьман» // Записки Отдела рукописей ГБЛ. Вып. 37. М., 1976. С. 185—208.

Чудаков — Чудаков Г. И. Отношение творчества Н. В. Гоголя к западноевропейским литературам. Киев, 1908.

Шамбинаго — Шамбинаго С. Трилогия романтизма (Н. В. Гоголь). М., 1911.

Шенрок — Шенрок В. И. Материалы для биографии Гоголя: В 4 т. М., 1893. Т. 2.

Шерер — <Шерер Ж. Б.> Annales de la Petite-Russie, ou L'Histoire des Casaques Saparogues et les Casaques de l'Ukraine (Обозрение Малой России, или История Казаков запорожских и Казаков украинских). Paris, 1788.

Энеида — Цит. по изд.: Котляревский И. П. Энеида // Он же. Сочинения. Л., 1986. (Б-ка поэта).

Энциклопедия суеверий — Власова М. Энциклопедия русских суеверий. СПб., 2008.

УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН И МИФОЛОГИЧЕСКИХ ПЕРСОНАЖЕЙ*

* Курсивом обозначены страницы раздела «Приложения».

УКАЗАТЕЛЬ ГЕОГРАФИЧЕСКИХ И ТОПОГРАФИЧЕСКИХ НАЗВАНИЙ

СПИСОК ИЛЛЮСТРАЦИЙ

Портрет В. П. Кочубея. Литография 1860-х годов П. Бореля с портрета Дж. Доу.

Портрет графа С. С. Уварова. Литография А. Маурина 1830-х годов.

Граф А. X. Бенкендорф с женой. Рисунок Ел. Риджиби. 1840.

Портрет Н. К. Загряжской. Акварель П. Соколова. 1821.

Епископ Белорусский Преосвященный Г. Конисский.

Литографии с гравюр Т. Калинского (XVIII в.) в книге А. И. Ригельмана:

Малороссийские крестьянки.

Малороссийский крестьянин.

Малороссийский козак.

Козацкий сотник.

Малороссийский дворянин.

Польский шляхтич.

Малороссийская дворянка с корабликом на голове. Рисунок А. Ригельмана.

Король Стефан Баторий. Гравюра с портрета работы В. Стефановского. 1576.

Сигизмунд III. Польская гравюра конца XVI в.

Владислав IV Ваза, польский король. Гравюра В. Гондиуса с портрета П. Рубенса. Начало 1640-х годов.

Ян II Казимир. Фрагмент портрета работы Д. Шульца. 1650.

Амуниция и вооружение польских воинов. Европейская гравюра XVII в.

Адам Кисель, воевода Киевский. Гравюра с парадного портрета начала 1650-х годов.

Великий коронный гетман Миколай Потоцкий. Портрет работы В. Герсона // Гетманы польские коронные и Великого княжества Литовского: Альбом. Варшава, 1860—1866.

Запорожские козаки. Гравюра XVIII в. (по изд. А. Ригельмана).

Козацкая Рада в Запорожской Сечи (по изд. А. Ригельмана).

Портрет Д. Апостола (по изд.: *Лушев А. М.* Петр I Великий и его деятели. Исторический альбом: Юбилей 1672—1872. СПб., 1872).

Иван Подкова. Рисунок неизвестного художника. Из польского альбома начала XVII в.

Петр Конашевич Сагайдачный — гетман Войска Запорожского. Гравюра начала XVII в.

Рукописный фрагмент <„Мне нужно к полковнику“> (РО РНБ. Фонд 199. Ед. хр. 1. Л. 6).

Рукописный фрагмент <„Мне нужно видеть полковника“> (Там же. Л. 6 об.).

«Вечера на хуторе близ Диканьки». Титульный лист первого издания. 1831.

Переправа Н. Гоголя через Днепр. Художник А. И. Иванов. 1845.

Вид Киева с левого берега Днепра. Рисунок 1840-х годов.

Киево-Братский монастырь и Духовная академия. Гравюра 1840-х годов.

Урок в Киево-Могилянской Академии. Фрагменты гравюры. 1712.

Рукопись повести «Старосветские помещики» (РО РНБ. Фонд 199. Ед. хр. 1. Л. 12).

Афанасий Иванович и Пульхерия Ивановна. Гравюра по рисунку П. Соколова. 1853.

СОДЕРЖАНИЕ

Научное издание

Николай Васильевич
Гоголь

МИРГОРОД

Утверждено к печати
Редакционной коллегией серии «Литературные памятники»

Редактор издательства *И. Е. Петросян*
Художник *Е. В. Кудина*
Технический редактор *Е. Г. Коленова*
Корректоры *Н. И. Журавлева, Л. Д. Колосова, А. К. Рудзик*
и *Е. В. Шестакова*
Компьютерная верстка *Е. С. Егоровой*

Лицензия ИД № 02980 от 06 октября 2000 г.
Сдано в набор 27.02.12. Подписано к печати 04.03.13. Формат 70 × 90 1/16.
Бумага офсетная. Гарнитура Академическая. Печать офсетная.
Усл. печ. л. 45.4. Уч.-изд. л. 42.5. Тираж 500 экз. Тип. зак. № 3544. С 47

Санкт-Петербургская издательская фирма «Наука»
199034, Санкт-Петербург, Менделеевская линия, 1
E-mail: main@nauka.nw.ru
Internet: www.naukaspb.com

Первая Академическая типография «Наука»
199034, Санкт-Петербург, 9 линия, 12



САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ФИРМА
«НАУКА»
ГОТОВИТ К ВЫПУСКУ
В СЕРИИ «ЛИТЕРАТУРНЫЕ ПАМЯТНИКИ»

МОСКОВСКИЙ СБОРНИК

В настоящем издании публикуется вышедший в 1852 г. первый том «Московского сборника», изданного И. С. Аксаковым, а также восстановленные по рукописи материалы второго тома «Сборника», запрещенного цензурой. Издание сопровождается «Дополнениями», в которые вошли тексты, предназначавшиеся для первого тома «Московского сборника», но по различным причинам не вошедшие в него; статьи, которые И. С. Аксаков планировал опубликовать в следующих томах; а также связанные с изданием сборника архивные документы из фонда Московского цензурного комитета Центрального исторического архива г. Москвы (ЦИАМ). Цензорские замечания объединены в особом разделе «Другие редакции и варианты. Текстология».

Таким образом, читатели впервые могут увидеть полный замысел альманаха славянофилов, отстаивавших свою позицию в споре «Россия и Запад», не потерявшем свою актуальность и в наше время.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ФИРМА
«НАУКА»

ГОТОВИТ К ВЫПУСКУ

Ф. М. ДОСТОЕВСКИЙ

ПОЛНОЕ СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ И ПИСЕМ В ТРИДЦАТИ ПЯТИ ТОМАХ 2-Е ИЗДАНИЕ, ИСПРАВЛЕННОЕ И ДОПОЛНЕННОЕ

Второе, исправленное и дополненное, издание Полного академического собрания сочинений Ф. М. Достоевского в 35 томах является результатом работы Института русской литературы (Пушкинский Дом) Российской академии наук. Второе издание следует разработанным академиком Г. М. Фридлендером эдиционным принципам первого и сохраняет состав, структуру и не утратившее своей научной ценности основное содержание справочного аппарата (комментария) соответствующих томов предыдущего издания. Вместе с тем собрание сочинений подверглось существенному обновлению посредством изменений, уточнений и дополнений, отражающих накопленные достоевсковедением за минувшие после выхода первого тома предшествующего издания 40 лет новые сведения, разного рода коррективы и получившие признание интерпретации.

Ф. М. ДОСТОЕВСКИЙ

ПОЛНОЕ СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ И ПИСЕМ
В ТРИДЦАТИ ПЯТИ ТОМАХ
2-Е ИЗДАНИЕ, ИСПРАВЛЕННОЕ И ДОПОЛНЕННОЕ

Том первый

Бедные люди; повести и рассказы 1844—1846 гг.

Первый том включает ранние произведения Ф. М. Достоевского 1844—1846 гг.: роман «Бедные люди», повесть «Двойник» (в двух редакциях), «Роман в девяти письмах», рассказ «Господин Прохарчин» и коллективный, написанный в соавторстве с Н. А. Некрасовым и Д. В. Григоровичем рассказ «Как опасно предаваться честолюбивым снам». Кроме этих произведений, том содержит не вошедший в первое издание выполненный Достоевским перевод повести О. де Бальзака «Евгения Гранде». Все тексты прошли заново фронтальную сверку со своими источниками, что позволило выявить и исправить погрешности и предложить ряд новых текстологических решений. Справочный аппарат тома существенно увеличился как за счет более подробных реальных комментариев, так и вследствие введения в него различных дополнений и обзоров научной литературы, прослеживающих движение исследовательской мысли и показывающих разнообразие точек зрения в достоевсковедении последних десятилетий прошедшего и первой декады нынешнего века.

Издание — научное, предназначено исследователям-литературоведам, преподавателям и студентам литературоведческих специальностей вузов, но будет интересным и необходимым для всех стремящихся глубоко познакомиться с творчеством Ф. М. Достоевского и его освещением в современном литературоведении.

Ф. М. ДОСТОЕВСКИЙ

ПОЛНОЕ СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ И ПИСЕМ
В ТРИДЦАТИ ПЯТИ ТОМАХ
2-Е ИЗДАНИЕ, ИСПРАВЛЕННОЕ И ДОПОЛНЕННОЕ

Том второй

Повести и рассказы 1847—1859 гг.

В очередном томе второго Полного академического собрания сочинений Ф. М. Достоевского печатаются художественные произведения 1847—1859 гг.

Повесть «Хозяйка», рассказы «Ползунков», «Чужая жена и муж под кроватью», «Честный вор», «Елка и свадьба», повесть «Слабое сердце», «сантиментальный роман» «Белые ночи» и оставшаяся незаконченной «Неточка Незванова» создавались в Петербурге и были опубликованы в 1847—1849 гг., до осуждения Достоевского по делу петрашевцев. В основной раздел тома помещены в порядке хронологии, написанные в Семипалатинске в 1854—1856 гг. и печатавшиеся ранее в разделе «Приложение» стихотворения Достоевского не публиковавшиеся при жизни писателя. Рассказ «Маленький герой», написанный в Петропавловской крепости в 1849 г., был напечатан М. М. Достоевским без указания имени автора в 1857 г. «Дядюшкин сон», замысел которого возник и осуществлялся в Семипалатинске, был опубликован в 1859 г.

В разделе «Незавершенные замыслы» печатается беловой автограф наброска очерка «Домовой», в разделе «Другие редакции» рукописный отрывок ранней редакции «Неточки Незвановой».

Для настоящего издания все тексты прошли дополнительную сверку с их источниками, что позволило внести исправления в текст и уточнить раздел «Варианты». Тексты для этого издания, а также обновленные и дополненные комментарии подготовили: С. В. Березкина, Т. И. Орнатская, М. Д. Андрианова, Т. С. Соколова, Т. Б. Трофимова и И. Д. Якубович.

АДРЕСА
МАГАЗИНОВ «АКАДЕМКНИГА»

Магазины
с отделами «Книга—почтой»

119192 Москва, Мичуринский проспект, 12, корп. 1;
(код 495) 932-78-01
Сайт: **http://LitRAS.ru/**; e-mail: **okb@LitRAS.ru**

197110 Санкт-Петербург, ул. Петрозаводская, 7 «Б»;
(код 812) 235-40-64; e-mail: **ak@akbook.ru**

Магазины «Академкнига»
с указанием букинистических отделов

664033 Иркутск, ул. Лермонтова, 298;
(код 3952) 42-96-20; akademkniga@list.ru

660049 Красноярск, ул. Сурикова, 45;
(код 3912) 27-03-90; akademkniga@bk.ru

117312 Москва, ул. Вавилова, 55/7;
(код 499) 124-55-00 (Бук. отдел)

119192 Москва, Мичуринский проспект, 12;
(код 495) 932-74-79 (Бук. отдел)

127051 Москва, Цветной бульвар, 21, строение 2;
(код 495) 621-55-96 (Бук. отдел)

101000 Москва, Б. Спасоглинищевский пер., 8, строение 4;
(код 495) 624-72-19 (Бук. отдел)

142290 Пущино Московской обл., МКР «В», 1;
(код 49677) 3-38-80

191104 Санкт-Петербург, Литейный проспект, 57;
(код 812) 272-36-65; ak@akbook.ru (Бук. отдел)

197110 Санкт-Петербург, ул. Петрозаводская, 7 «Б»;
(код 812) 230-13-28
199034 Санкт-Петербург, Менделеевская линия, 1;
(код 812) 328-38-12

Коммерческий отдел, г. Москва
Телефон для оптовых покупателей: (код 499) 143-84-24
Сайт: http://LitRAS.ru/
E-mail: info@LitRAS.ru
Склад, телефон: (код 495) 932-74-71
Факс: (код 499) 143-84-24



В оформлении обложки использованы фрагменты картин И. К. Айвазовского (1817–1900), С. И. Васильковского (1854–1917), К. Е. Маковского (1839–1915), И. И. Соколова (1850–1911), А. А. Киселева (1838–1911)



